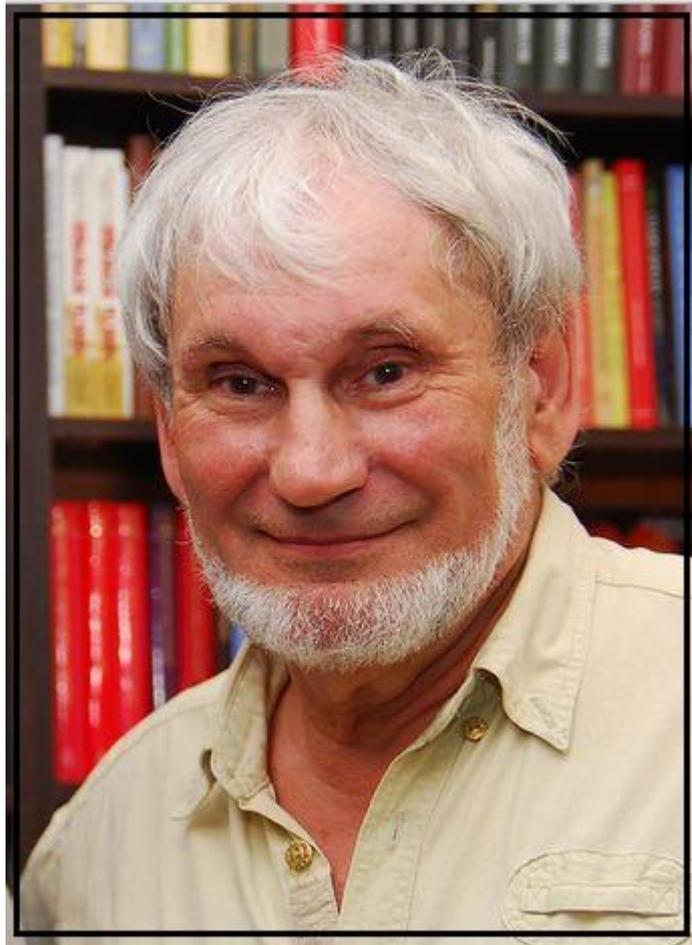


Геннадий Мартович Прашкевич



**Самые знаменитые поэты
России**

Предисловие

Очерки данной книги охватывают два с половиной века русской поэзии. Понятно, здесь не анализируется ее развитие (на это существуют специальные работы), здесь определяются основные направления и обрисовываются фигуры, вызывавшие и продолжающие вызывать интерес читателей. Принцип обрисовки прост: свидетельства современников, прежде всего, и лишь во вторую очередь – свидетельства более поздних биографов. Только в такой смене можно различить живое выражение лиц. «Илья Садофьев, вы меня считаете белым, я считаю вас красным, – сказал в двадцать втором году Виктор Шкловский в ответ на политические обвинения Садофьева. – Но мы оба русские писатели. У нас у обоих не было бумаги для печатания книг. Это кажется, Вам кажется, что мы враги, на самом деле мы погибаем вместе». Уверен, что такое прямое свидетельство дает для обрисовки характера больше, чем любой сухой литературоведческий очерк.

Планировалось начать книгу с Василия Тредиаковского, русского поэта, в 1723 году тайком бежавшего из школы монахов-капуцинов в Славяно-греко-латинскую академию, а затем и дальше – за границу. В Голландии он обучался языкам и знакомился с западной литературой, в Париже слушал математические и философские лекции. В Россию вернулся в 1730 году – образованным человеком, но только после издания модного переводного романа «Езда в остров любви» (к переводу которого он приложил собственные стихи) получил место переводчика в Академии наук. Собственно, с Тредиаковского начинается светская лирика, а с его работы «Новый и краткий способ к сложению российских стихов» (1735) – языковая реформа, в которой остро нуждалась русская поэзия. Вместо неуклюжих силлабических виршей явились стихи гармоничные, легкие, совершенно не представимые до Тредиаковского:

Часто днями ходит при овине,
при скирдах, то инде, то при льне;
то пролазов смотрит нет ли в тыне
и что делается на гумне...

Собственно, говоря, из Тредиаковского вышли все поэты России.

Другое дело, что по-настоящему раскованным языком, полным прелести и гармонии, охватывающем все порядки, впервые заговорил Ломоносов, – именно его и помнят читатели.

Выбор поэтических имен вообще не может не вызывать вопросов, но это естественно: никакой выбор не может быть идеальным уже по той простой причине, что список знаменитых (когда-то или теперь) русских поэтов обширен, а рамки данной книги ограничены. Все же думается, что по очеркам, вошедшим в книгу, можно составить некое первое впечатление о силе и притягательности русской поэзии, о характере ее творцов. Автор сам поэт, поэтому он старался не давать никаких прямых оценок, уверенный в

том, что читатели сами определяются в изумительном разнообразии русской поэзии. Безмерно благодарен автор Л. Г. Киселевой – за подборку материалов и критические взгляды на текст.

Не следует думать, что книга закончена.

Не Тарковским и не Бродским заканчивается русская поэзия – просто эти имена завершают определенную эпоху, которая затем продолжилась в поэзии «шестидесятниках» и всех поэтах, следующих за ними.

Но это уже – материал другой книги.

Михаил Васильевич Ломоносов

С высот надзвездной Музикии
к нам ангелами занесен,
он крепче всех твердынь России,
славнее всех ее знамен.
Из памяти изгрызли годы,
за что и кто в Хотине пал, —
но первый звук Хотинской оды
нам первым криком жизни стал.

В. Ходасевич

Родился 8 (19) ноября 1711 года в деревне Мишанинской близ Холмогор.

Отец имел собственное судно – двухмачтовый «новоманерный гукор» «Святой Архангел Гавриил», прозванный за быстрый ход «чайкой», рыбачил в Белом море и даже в Ледовитом океане. Сын не раз сопровождал его в плаваниях.

Грамоте научился у односельчанина Ивана Шубного и дьячка Семена Никитича Сабельникова. Занятиям этим сильно мешала мачеха. «Имеючи отца, – с горечью писал Ломоносов, – по натуре доброго человека, однако в крайнем невежестве воспитанного, и злую и завистливую мачеху, которая всячески старалась произвести гнев в отце моем, представляя (ему), что я всегда сижу попусту за книгами, принужден был читать и учиться, чему возможно было, в уединенных и пустых местах». Все же Ломоносов самостоятельно изучил «Арифметику» Леонтия Магницкого (которую всегда с уважением называл Вратами учености) и «Славянскую грамматику» Мелетия Смотрицкого – лучшие по тем временам учебные пособия. Все же путь в учебные заведения был для Ломоносова закрыт – в ближайших к деревне Мишанинской Холмогорах знали его простое происхождение. Тайком от родителей выправив паспорт, плечистый парень в декабре 1730 года с обозом мороженой рыбы ушел в Москву. «Дома между тем долго его искали и, не нашед нигде, почитали пропавшим, до возвращения обоза по последнему санному пути».

В январе 1731 года обманным образом Ломоносов поступил в московскую Славяно-греко-латинскую академию: на собеседовании с ректором Г. Копцевичем назвался сыном дворянина. Надо заметить, что Ломоносов и в дальнейшем не пренебрегал подобными методами. Решив, например,

пристать к экспедиции, направлявшейся к Аральскому морю, он назвался сыном священнослужителя («отец у меня – города Холмогор церкви Введения Пресвятыя богородицы поп Василей Ломоносов»). Лишь когда Ставленнический стол Академии, засомневавшись, решил проверить представленные сведения в Камер-коллегии, Ломоносов признался, что он – всего лишь крестьянский сын, а поповичем сказался с простоты своей.

Славяно-греко-латинская академия готовила молодых людей к государственной и церковной службе. Кроме обязательного богословия, в академии обучали древним языкам, риторике, пиитике, философии. Ломоносов превосходно учился: за пять лет прошел курс, рассчитанный на восемь. Однако, было это не просто. «Школьники, малые ребята, кричат и перстами указывают: смотри-де какой болван в лет двадцать пришел латыни учиться! – жаловался Ломоносов. – Обучаясь в Спасских школах, имел я со всех сторон отвращающие от наук пресильные стремления... Имея один алтын в день жалованья, нельзя было иметь на пропитание в день больше как на денежку хлеба и на денежку квасу, прочее на бумагу, на обувь и на другие нужды...»

Ломоносову и впредь не раз пришлось жестко экономить на всем.

Он, например, самолично лил из охотничьей дроби свинцовые палочки, которыми в то время писали, а бывало, и перо драл тайком с чужих гусей – для тех же целей. Характер у него был вспыльчивый и горячий, нетерпимость к невежеству («к любой дурости», как он говорил) сильно усложняли его жизнь. Когда немец историк А. Шлецер в одной из своих работ написал, что «...все, до сих пор в России напечатанное, ощутительно дурно, недостаточно и неверно», Ломоносов, оценивая эту работу, заметил со всей присущей ему прямоотой: «...Из сего заключить можно, каких гнусных пакостей не наколобродит в российских древностях такая допущенная к ним скотина». На заседаниях российской Академии наук случались порой самые настоящие баталии, отнюдь не просто словесные. После одной такой баталии Ломоносов был даже взят под стражу и восемь месяцев провел под строгим домашним арестом. Как раз в эти месяцы создал он «Краткое руководство к риторике» – ученый труд, предназначенный широкому кругу читателей, и впервые написанный на русском, а не на латинском языке.

Но это позже...

А в начале 1736 года в числе нескольких лучших учеников Ломоносов был переведен в Университет при Петербургской академии наук. Академия готовила несколько крупных экспедиций в Сибирь, требовались ученые люди, сведущие в горном деле и в химии. По этой причине с Дмитрием Виноградовым (будущим изобретателем русского фарфора) и Густавом Рейзером Ломоносова отправили за границу, где в течение трех лет русские студенты обучались в Марбургском университете (Германия) под руководством известного ученого Христиана Вольфа. С собою Ломоносов взял купленный перед отъездом трактат русского поэта Тредиаковского – «Новый и краткий способ к сложению российских стихов с определениями

до сего надлежащих званий». К занятиям у Вольфа книга не имела никакого отношения, зато прибавила Ломоносову желания заняться стихотворчеством, русским поэтическим языком. Повезло русскому студенту и в том, что его учитель Вольф умел обучать именно точным и нужным вещам, а не просто «аристотелиеву умению отвечать на любые, даже самые каверзные вопросы».

По окончании курса Ломоносова перевели во Фрейберг – учиться горному делу у бергсрата И. Генкеля. Впрочем, с бергсратом он быстро разругался. «Он презирал всю разумную философию, – писал позже Ломоносов, – и когда я однажды, по его приказанию, начал излагать причину химических явлений (не по его перипатетическому концепту, а на основе принципов механики и гидростатики), то он тотчас же велел мне замолчать, и с обычной своей наглостью поднял мои объяснения на смех, как пустую причуду». В мае 1740 года, никому ничего не сказав, обиженный Ломоносов налегке ушел из Фрейберга, прихватив с собой только точные пробирные весы. Скорее всего, весы ему не принадлежали. Беглый студент попытался разыскать русского посла в Саксонии, но этого не случилось: посол часто переезжал из города в город. Тогда Ломоносов пешком добрался до Лейпцига, а оттуда ушел в любезный его сердцу Марбург. Там, в июне 1740 года, он обвенчался с Елизаветой Цильх – дочерью пивовара, своего домохозяина. Скоро у него родилась дочь Екатерина-Елизавета.

Казалось, жизнь начинает обретать какие-то определенные рамки, но однажды, по уже сложившейся привычке, Ломоносов вновь, никому не сказавшись, вышел со двора и отправился в Голландию. Недалеко от Дюссельдорфа, польстившись на рост и силу странствующего студента, его пытались завербовать в гвардию прусские офицеры. Любившего крепкое вино Ломоносова даже доставили в крепость Вессель, но, проспавшись, он сбежал из крепости, преодолев для этого крепостные сооружения и заполненный водою широкий ров.

Так достиг он вестфальской границы, а затем Амстердама.

Только в июне 1741 года, после почти пятилетнего пребывания за границей, Ломоносов вернулся в Россию. В Петербурге поначалу он выполнял разные поручения: составлял каталог минералов Кунсткамеры, занимался переводами для газет. Но в январе 1742 года, после рассмотрения Конференцией Академии наук поданных им диссертаций (одна из них сохранилась – «Рассуждение о зажигательном катоптрикодиоптрическом инструменте»), он был назначен адъюнктом Академии по физическому классу, а в августе 1745 года – профессором (академиком) химии. «В бытность мою при Академии наук, – писал Ломоносов в одной из челобитных, поданных на имя императрицы Елизаветы, – трудился я довольно в переводах физических и механических и пиитических с латинского, немецкого и французского языков на российский и сочинил на российском же языке горную книгу и риторику и сверх того в чтении славных авторов, в обучении назначенных ко мне студентов, в изобретении новых

химических опытов, сколько за неимением лаборатории быть может, и в сочинениях новых диссертаций с возможным прилежанием упражняюсь».

Из Марбурга в Петербург приехала Елизавета Цильх с дочерью.

Несколько остепенившийся Ломоносов добился того, что в 1748 году была построена на Васильевском острове химическая лаборатория. Благодаря изготовленным им окрашенным мозаичным стеклам, очень понравившимся императрице, Ломоносов в 1753 году получил в свое полное владение поместье в Усть-Рудицах – в 64 верстах от Петербурга. Там он устроил настоящую фабрику, которая производила мозаичное стекло самых необыкновенных расцветок. Из этого стекла, кстати, создана знаменитая мозаичная картина «Полтавская баталия». Уникальная по размерам – 30 кв. м. – картина действительно является художественным созданием и ни в чем не уступает выдающимся образцам итальянских мозаик.

Академические заслуги Ломоносова сейчас общеизвестны: химию из ремесла он поднял до уровня точной науки; предложил корпускулярную теорию и атомистические представления о строении вещества; первый сформулировал закон сохранения вещества и движения; создал различные приборы для химических исследований; организовал исправление географических карт, даже составил в 1763 году «Краткое описание разных путешествий по северным морям и показание возможного проходу Сибирским океаном в Восточную Индию». Наблюдая в мае 1761 года прохождение тени планеты Венеры по солнечному диску, он высказал предположение, что на Венере существует атмосфера, подобная земной. На Венере, писал Ломоносов, как и на Земле, «...пары восходят, сгущаются облака, падают дожди, протекают ручьи, собираются в реки, реки втекают в моря, произрастают везде разные прозябения, ими питаются животные».

К поэзии Ломоносов обратился еще в Славяно-греко-латинской академии: там молодых людей учили вести рассуждения на заданные темы в рифмованных строках, – это считалось важным признаком образованности. Русская словесность только еще выходила из-под церковной зависимости. Появление женщин на ассамблеях и празднествах, разрешенное Петром I, вызвало к жизни первые образцы настоящей любовной лирики. «Вся кипящая похоть в лице его зрится; как уголь горящий все оно краснело. Руки ей давил, щупал и все тело. А неверна о всем том весьма веселилась!» – уже и так осмеливались писать поэты.

Ломоносов решительно поддержал реформу русского поэтического языка, начатую Тредиаковским. Еще в 1739 году, посылая в Петербург оду «На взятие Хотина», он приложил к рукописи сочиненное им «Письмо о правилах российского стихотворства». Все стихотворные произведения устного творчества связаны прежде всего с напевом, утверждал Ломоносов, а их система – тоническая. Именно такие гармонические стихи всегда жили и распространялись в народе, к сожалению, почти не проникая в письменную литературу. В письменной литературе с давних пор утвердилось пришедшая с запада, прежде всего из Польши, система стихосложения, основанная не на

ритме ударений, а на равном количестве слогов в каждой стихотворной строке, так называемая – силлабическая. Каждая пара строк в этой системе связывалась рифмой, причем обязательно женской, потому что ударным оказывался предпоследний слог каждой строки. А в русском языке ударение не закреплено на определенном месте слова, как в польском (на предпоследнем слоге), или во французском (на последнем). Силлабические правила поэтики чрезвычайно ограничивали возможности русского стиха.

«В 1743 году Тредиаковский, Ломоносов и Сумароков, – писал А. Морозов, один из биографов Ломоносова, – согласились испытать свои силы в „переложении“ 143-го псалма, чтобы на деле доказать справедливость своих мнений. Результаты состязаний были опубликованы в следующем году отдельной книжкой, без указаний имен поэтов. В предисловии, написанном Тредиаковским, с гордостью подчеркивалось, что „российские стихи“ ныне являются „в совершеннейшем виде и с приятнейшим слуху стоп падением, нежели как старые бесстопные были“. Эту заслугу Тредиаковский, разумеется, приписывал себе. Но он теперь уже не настаивал на особых достоинствах и преимуществах хорея перед ямбом (как делал прежде), а утверждал, что „некоторая из сих стоп сама собою не имеет как благородства, так и нежности“. Все зависит от характера изображения, „так что и ямбом состоящий стих равно изобразит слаткую нежность, когда нежные слова приберутся, и хореем высшее благородство, ежели стихотворец употребит высокие и благородные речи“. Тредиаковский сообщал, что другой поэт (это был Ломоносов) настаивает на преимуществах ямба и утверждает, что эта стопа „высокое сама собою имеет благородство, для того что она возносится снизу вверх, от чего всякому чувствительно слышна высота ее и великолепие, и что, следовательно, всякой героический стих, которым обыкновенно благородная и высокая материя поется, долженствует состоять сею стопою; а хорей, с природы нежность и приятную сладость имеющий сам же собою“, по его мнению, „должен токмо составлять элегический род стихотворения и другие подобные, которые нежных и мяхких требуют описаний“.

Сумароков разделял мнение Ломоносова. Однако, в этом теоретическом споре более прав оказался Тредиаковский. Стихотворный размер сам по себе еще не определяет ни жанровую пригодность, ни эмоциональный фон произведения, хотя в отдельных литературах возникает традиция восприятия ямба и хорея, определяющая тяготение к ним различных жанров. Свое переложение псалма Ломоносов писал под домашним арестом – после очередной стычки с академическим начальством, в то время почти сплошь состоявшем из немцев. Его Песнопевец, обращаясь к Богу, восклицал:

Меня объял чужой народ,
В пучине я погряз глубокой,
Ты с тверди длань простри высокой,
Спаси меня от многих вод...
Избавь меня от хищных рук

И от чужих народов власти,
Их речь полна тщеты, напасти,
Рука их в нас наводит лук...

Несколько мягче звучало ямбическое переложение Сумарокова:
Простри с небес свою зеницу,
Избавь мя от врагов моих;
Поддай мне крепкую десницу,
Изми мя от сынов чужих,
Разрушь бунтующи народы,
И станут брань творящи воды...

Что же касается Тредиаковского, то, конечно, он выполнил свое переложение хореем:
На защиту мне смиренну
Руку сам простри с высот,
От врагов же толь презренну,
По великости щедрот,
Даруй способ. И избавлюсь;
Вознеси рог, и прославлюсь:
Род чужих, как буйн вод шум,
Быстро с воплем набегает,
Помощь он мою ругает
И приемлет в баснь и глум...

Императрица Елизавета и ее двор мало интересовались научными работами Ломоносова, однако оды поэта нравились. За одну из них Ломоносов получил от императрицы единовременно 2000 рублей, – сумму большую, чем его трехлетнее жалованье в Академии наук (600 рублей в год). Торжественные оды Ломоносова привлекали внимание живостью, звонкостью, свежестью метафор, обращением к реальным вещам, что, собственно, и делало их явлением. Странно, что Валерий Брюсов, обосновывая в начале XX века «научную поэзию», обратился к вполне второстепенному французскому поэту Рене Гилю, а не к чеканным стихам Ломоносова, до сих пор сохраняющим эмоциональную силу.

«Лицо свое скрывает день; поля покрыла мрачна ночь; взошла на горы чорна тень; лучи от нас склонились прочь; открылась бездна звезд полна; звездам числа нет, бездне дна...

Уста премудрых нам гласят: там разных множество светов; несчетны солнца там горят, народы там и круг веков: для общей славы божества там равна сила естества...

Что зыблет ясный ночью луч? Что тонкий пламень в твердь разит? Как молния без грозных туч стремится от земли в зенит? Как может быть, чтоб мерзлый пар среди зимы рождал пожар?».

В 1755 году по инициативе Ломоносова был основан первый в России Московский университет. Заслугой Ломоносова можно считать то, что в университете никогда не читалось богословие, – с самого начала он стал центром именно науки.

В 1757 году Ломоносов получил место советника канцелярии Академии наук, а в 1758 году – смотрителя Географического департамента, а также Исторического собрания, университета и гимназии при Академии наук. В эти годы Ломоносов создал свое учение о «трех штилях» – новую теорию литературных жанров, изложив ее в работе «Предисловие о пользе книг церковных в российском языке».

Три штиля – высокий, средний и низкий – отличаются, считал поэт, пропорцией старославянских и разговорных элементов: высокий штиль – насыщенностью книжных, обветшалых «речений»; средний штиль – смесью «речений» простонародных и старославянских (книжных); наконец, низкий штиль – естественной простотой речи. Понятно, что при таком отношении к языку его словарный состав несомненно начинал влиять на выбор литературных жанров. Высокий стиль, считал Ломоносов, должен помогать написанию героических поэм, торжественных од, речей о важных материях; средний стиль – сочинений для театра, стихотворных дружеских писем и посланий, сатир, эклог, элегий; низкий – комедий, эпиграмм, песен, описаний обыкновенных дел; в низком стиле не могут употребляться старославянские выражения, здесь широко используются обыкновенные простонародные слова. Скажем, вместо глас – голос, вместо хлад – холод, и так далее. Казалось бы, разница небольшая, но она разительно меняла интонацию стихов, их эмоциональное насыщение.

С годами Ломоносов тучнел, здоровье его убывало. Но все с той же энергией вел он борьбу за истинно русский язык. «За то терплю, – с горечью писал он незадолго до смерти, – что стараюсь защитить труд Петра Великого, чтобы выучились Россияне, чтобы показали свое достоинство».

Умер, простудившись, 4 апреля 1765 года.

Гавриил Романович Державин

Река времен в своем стремленье
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.
А если что и остается
Чрез звуки лиры и трубы,
То вечности жерлом пожрется
И общей не уйдет судьбы.

Родился 3 (14) июля 1743 года в деревне Кармачи Казанской губернии.

Потомок татарского мурзы Багрима, выслившегося в XV веке из Большой Орды. Отец был офицером. Выйдя в отставку, приобрел небольшой участок

под Казанью. «Имел за собою по разделу с пятерыми братьями крестьян только 10 душ, а мать – 50. При всем сем недостатке были благодетельные и добродетельные люди».

В 1757 году Державин поступил в Казанскую гимназию.

Учился хорошо, но закончить гимназию ему не удалось: в феврале 1762 года его вызвали в Петербург и определили в гвардейский Преображенский полк. Службу начал простым солдатом и прослужил десять лет. Известно, что первые стихи Державина были обращены к некоей солдатской дочери Наташе. Вместе с полком участвовал в дворцовом перевороте, приведшем на престол императрицу Екатерину II. Горячий от природы, вел жизнь, которую трудно назвать пристойной – участвовал в шумных пирушках, не бежал от карт. Однако в 1767 году, при создании Комиссии по составлению «Нового уложения», Державин, как человек грамотный, был привлечен к ведению письменных дел.

В 1773 году впервые выступил в печати (с переводом и оригинальным стихотворением) в сборнике «Старина и новизна». Осенью того же года Державина прикомандировали к секретной Следственной комиссии; в течение года он находился в войсках, действовавших против Пугачева. В записях А. С. Пушкин сохранилась такая: «(Слышал от сенатора Баранова). Державин, приближаясь к одному селу близ Малыковки с двумя казаками, узнал, что множество народу собралось и намерены идти к Пугачеву. Он приехал прямо к сборной избе и требовал от писаря Злобина (впоследствии богача) изъяснения, зачем собрался народ и по чьему приказанию. Начальники выступили и объявили, что идут соединиться с государем Петром Федоровичем – и начали было наступать на Державина. Он велел двух повесить, а народу велел принести плетей и всю деревню пересек. Сборище разбежалось. Державин уверил их, что за ним идут три полка. Дмитриев уверял, – добавил Пушкин в приписке, – что Державин повесил их из поэтического любопытства».

В 1776 году вышел сборник стихов Державина – «Оды, переведенные и сочиненные при горе Читалагае 1774 года». В феврале следующего года поэт перевелся в статскую службу с чином коллежского советника, а в апреле 1778 года женился на Екатерине Яковлевне Бастидон, которую дома непременно всегда называл только Пленирой.

До Державина русская поэзия все еще оставалась достаточно условной. Он смело и необыкновенно расширил ее темы – от торжественной оды до самой простой песни. Впервые в российской поэзии появился образ автора, личность самого поэта. В основе искусства лежит высокая истина, считал Державин, разъяснить которую может только поэт. Искусство должно подражать природе, только тогда можно приблизиться к истинному постижению мира, к истинному изучению людей, к исправлению их нравов.

В 1783 году в журнале «Собеседник любителей русского слова» была напечатана «Ода к премудрой киргиз-кайсацкой царевне Фелице, писанная татарским мурзою, издавна поселившимся в Москве, а живущим по делам

своим в Санкт-Петербурге». Это сочинение Державина чрезвычайно понравилось императрице. Счастливый и благодарный поэт писал княгине Дашковой, обратившей внимание императрицы на оду: «Сиятельнейшая княгиня, милостивая государыня. Вчера после полудня, часу в девятом, в доме князя Александра Алексеевича получил я в пакете, подписанном на мое имя из Оренбурга, золотую табакерку, осыпанную бриллиантами, и 500 червонных, всего, думаю, тысячи на три рублей. Приказчик мой тамошней деревни моей никогда не был столько щедр. Я догадываюсь, что, конечно, из того края премудрая Фелица, по соседству, своему мурзе послала сей драгоценный дар, но мне попался ошибкою. Как бы то ни было, я принял с радостным замешательством и восторгом моего скрывать не мог; я рассказал всем случившимся мои чувствования как в рассуждении царевны, так и вас, милостивая государыня, предстательством которой, как я думаю, получаю я столь великое и неожиданное награждение за мои слабые дарования...» Известно, что на приеме Екатерина II, выслушав оду «На взятие Измаила», ласково заметила Державину: «Я не знала по сие время, что труба ваша столь же громка, как и лира приятна».

В мае 1784 года Державин был назначен правителем Олонецкой губернии, а в декабре 1785 года его перевели на ту же должность в Тамбовскую губернию. Там не умеющий не наживать врагов поэт попал в 1788 году под суд – за превышение власти. После долгого разбирательства его все же оправдали. «Дело мое кончено, – писал Державин В. В. Капнисту. – Гудович дурак, а я умен. Ее императорское величество всемилостивейшая государыня с особливым вниманием изволила рассмотреть доклад 6-го департамента о моих проступках, о которых Гудович доносил, и приказала мне через статс-секретаря объявить свое благоволение точно сими словами: „Когда и Сенат уже его оправдал, то могу ли я в чем обвинить автора „Фелицы“? – вследствие чего дело повелела считать решенным, а меня представить. Почему я в Сарском Селе и был представлен; оказано мне отличное благоволение; когда пожаловала руку, то окружающим сказала: „Это мой собственный автор, которого притесняли“. А потом, как сказывали, чего я однако же не утверждаю, во внутренних покоях продолжать изволила, что она желала бы иметь людей более с таковыми расположениями, и оставлен был я в тот день обедать в присутствии Ее величества. Политики предзнаменуют для меня нечто хорошее; но я все слушаю равнодушно, а поверю только тому, что действительно сбудется. Посмотрим, чем вознаграждена будет пострадавшая невинность...“

Пострадавшая невинность вознаграждена была в 1791 местом кабинет-секретаря Екатерины II, где поэт сильно докучал императрице своим усердием. В конце концов Державину подыскали не хлопотную должность сенатора.

«XVIII век, – писал поэт В. Ходасевич, один из лучших биографов Державина, – особенно его петровское начало и екатерининское завершение, был в России веком созидательным и победным. Державин был

одним из сподвижников Екатерины не только в насаждении просвещения, но и в области устройства государственного. Во дни Екатерины эти две области были связаны между собою теснее, чем когда бы то ни было, всякая культурная деятельность, в том числе поэтическая, являлась прямым участием в созидании государства. Необходимо было не только вылепить внешние формы России, но и вдохнуть в них живой дух культуры. Державин-поэт был таким же непосредственным строителем России, как и Державин-администратор. Поэтому можно сказать, что его стихи суть вовсе не документ эпохи, не отражение ее, а некая реальная часть ее содержания; не время Державина отразилось в его стихах, а сами они, в числе иных факторов, создали это время. В те дни победные пушки согласно перекликались с победными стихами. Державин был мирным бойцом, Суворов – военным. Делали они одно общее дело, иногда, впрочем, меняясь оружием. Вряд ли многим известно, что не только Державин Суворову, но и Суворов Державину посвящал стихи. Зато и Державин одно время воевал с Пугачевым. И, пожалуй, разница между победами одного и творческими достижениями другого – меньше, чем кажется с первого взгляда».

Впрочем, и сам Державин смотрел на поэзию, на свой талант, прежде всего, как на некое орудие, данное ему свыше для политических битв. Он даже составил особый «ключ» к своим работам – подробный комментарий, указывающий, какие именно события привели к созданию того или иного произведения.

В июле 1794 года умерла первая жена Державина.

«Не могли быть спокойным о домашних недостатках и по службе неприятностях, чтоб от скуки не уклониться в какой разврат, женился он генваря 31-го дня 1795 года на другой жене, девице Дарье Алексеевне Дьяковой (которую в доме с нежностью называл Милена), – в третьем лице писал о себе Державин. – Он избрал ее, так же как и первую, не по богатству и не по каким-либо светским расчетам, но по уважению ее разума и добродетелей, которые узнал гораздо прежде, чем на ней женился».

В 1797 году Державин приобрел имение Званка, где ежегодно проводил по несколько месяцев. В следующем году вышел в свет первый том его сочинений, в который вошли такие обессмертившие его имя стихи, как «На рождение порфирородного отрока», «На смерть кн. Мещерского», «Ключ», оды «Бог», «На взятие Измаила», «Вельможа», «Водопад», «Снегирь». При императоре Павле I поэта назначили государственным казначеем, но с Павлом он не поладил, так как по сформировавшейся у него привычке при своих докладах часто грубил и ругался. «Поди назад в Сенат, – однажды кричал на него император, – и сиди у меня там смирно, а не то я тебя проучу!» Пораженный гневом Павла I, Державин лишь вымолвил: «Ждите, будет от этого царя толк». Александр I, сменивший Павла, тоже не оставил Державина без внимания – назначил его министром юстиции. Но через год освободил: «слишком ревностно служит».

Выйдя в отставку, Державин практически полностью посвятил себя драматургии – сочинил несколько либретто опер, трагедии «Ирод и Мариамна», «Евпраксия», «Темный». С 1807 года активно участвовал в собраниях литературного кружка, позднее составившего известное общество «Беседа любителей русского слова». Работал над «Рассуждением о лирической поэзии или об оде», в которой обобщил свой собственный литературный опыт.

«Почти всякий раз, как я бывал у Державина, – вспоминал писатель С. Т. Аксаков, – я упрашивал его выслушать что-нибудь из его прежних стихов, на что он не всегда охотно соглашался. Я прибегал к разным хитростям: предлагал какое-нибудь сомнение, притворялся не понимающим некоторых намеков, лгал на себя или на других, будто бы считающих такие-то стихотворения самыми лучшими, или, напротив, самыми слабыми, иногда читал его стихи наизусть в подтверждение собственных мыслей, нравственных убеждений или сочувствия к красотам природы. Гаврила Романыч легко поддавался такому невинному обману и вступал иногда в горячий спор, но редко удавалось мне возбудить в нем такое сильное чувство чтением прежних его стихов, какое обнаружил он в первое наше свиданье, слушая оду к Перфильеву. По большей части по окончании чтения он с улыбкой говаривал: „Ну да, это недурно, есть огонь, да ведь это пустяки; все это так, около себя, и важного значения для потомства не имеет; все это скоро забудут; но мои трагедии, но мои антологические пиесы будут оценены и будут жить“. Безгранично предаваясь пылу молодого восторга при чтении его прежних пустяков, я уже не мог воспламеняться до самозабвения, читая его новейшие сочинения, как это случилось со мной при чтении „Ирода и Мариамны“. Державин это чувствовал, хотя я старался по возможности обмануть его поддельным жаром и громом пышной декламации: он досадовал и огорчался. „У вас все оды в голове, – говорил он, – вы способны только чувствовать лирические порывы, а драматическую поэзию вы не всегда и не всю понимаете“. Иногда, впрочем, он бывал доволен мною...

Державин любил также так называемую тогда эротическую поэзию и щеголял в ней мягкостью языка и исключением слов с буквою р. Он написал в этом роде много стихотворений, вероятно втрое более, чем их напечатано; все они, лишённые прежнего огня, заменённого иногда нескромностью картин, производили неприятное впечатление. Но Державин любил слушать их и любил, чтоб слушали другие, особенно дамы. В первый раз я очень смутился, когда он приказал мне прочесть, в присутствии молодых девиц, любимую свою пиесу «Аристиппова баня», которая была впоследствии напечатана, но с исключениями. Я остановился и сказал: «Не угодно ли ему назначить что-нибудь другое?» – «Ничего, – возразил, смеясь, Гаврила Романыч, – у девушек уши золотом завешены».

Благородный и прямой характер Державина, – писал далее Аксаков, – был так открыт, так определен, так известен, что в нем никто не ошибался; все,

кто писали о нем, – писали очень верно. Можно себе представить, что в молодости его горячность и вспыльчивость были еще сильнее и что живость вовлекала его часто в опрометчивые речи и неосторожные поступки. Сколько я мог заметить, он не научился еще, несмотря на семидесятитрехлетнюю опытность, владеть своими чувствами и скрывать от других сердечное волнение. Нетерпеливость, как мне кажется, была главным свойством его нрава; и я думаю, что она много наделала ему неприятных хлопот в житейском быту и даже мешала вырабатывать гладкость и правильность языка в стихах. Как скоро его оставляло вдохновение – он приходил в нетерпение и управлялся уже с языком без всякого уважения: гнул на колено синтаксис, слоудоударение и самое словоупотребление. Он показывал мне, как исправил негладкие, шероховатые выражения в прежних своих сочинениях, приготовляемых им для будущего издания. Положительно могу сказать, что исправляемое было несравненно хуже неисправленного, а неправильности заменялись еще большими неправильностями. Я приписываю такую неудачу в поправках единственно нетерпеливому нраву Державина».

Известна и запись Пушкина, посвященная встрече с Державиным.

«Державина видел я только однажды в жизни, но никогда того не позабуду. Это было в 1815 году. Как узнали мы, что Державин будет к нам (в Царскосельский лицей), все мы взволновались. Дельви́г вышел на лестницу, чтоб дожидаться его и поцеловать ему руку, руку, написавшую „Водопад“. Державин приехал. Он вошел в сени, и Дельви́г услышал, как он спросил у швейцара: где, братец, здесь нужник? Этот прозаический вопрос разочаровал Дельви́га, который отменил свое намерение и возвратился в залу. Дельви́г это рассказывал мне с удивительным простодушием и веселостью. Державин был очень стар. Он был в мундире и в плисовых сапогах. Экзамен наш очень его утомил. Он сидел, подперши голову рукою. Лицо его было бессмысленно, глаза мутны, губы отвислы; портрет его (где представлен он в колпаке и в халате) очень похож. Он дремал до тех пор, пока не начался экзамен в русской словесности. Тут он оживился, глаза заблистали; он преобразился весь. Разумеется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поминутно хвалили его стихи. Он слушал с живостью необыкновенной. Наконец вызвали меня. Я прочел мои „Воспоминания в Царском Селе“, стоя в двух шагах от Державина. Я не в силах описать состояния души моей: когда дошел я до стиха, где упоминаю имя Державина, голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилося с упоительным восторгом... Не помню, как я кончил свое чтение; не помню, куда убежал. Державин был в восхищении; он меня требовал, хотел меня обнять... Меня искали, но не нашли...»

Впрочем, в те годы Пушкин уже считал Державина поэтом прошлого.

В 1925 году он писал А. А. Дельви́гу: «По твоём отъезде перечел я Державина всего, и вот мое окончательное мнение: этот чуда́к не знал ни русской грамоты, ни духа русского языка – (вот почему он и ниже

Ломоносова), – он не имел понятия ни о слоге, ни о гармонии – ни даже о правилах стихосложения. Вот почему он и должен бесить всякое разборчивое ухо. Он не только не выдерживает оды, но не может выдержать и строфы. Читая его, кажется, читаешь дурной, вольный перевод с какого-то чудесного подлинника. Ей-богу, его гений думал по-татарски – а русской грамоты не знал за недосугом. – И дальше: – Державин, со временем переведенный, изумит Европу, а мы из гордости народной не скажем всего, что мы знаем об нем (не говоря уж о его мастерстве). У Державина должно сохранить будет од восемь да несколько отрывков, а прочее сжечь. Жаль, что наш поэт, как Суворов, слишком часто кричал петухом». Но, разумеется, это слова гения, сказанные больше для самого себя.

Умер Державин 8 (20) 1816 года в селе Званка Новгородской губернии.

Похоронен в Петербурге.

Иван Андреевич Крылов

Родился 2 (13) февраля 1769 года в Москве.

«Отец Крылова (капитан) – указывал Пушкин в записях к „Истории Пугачева“ – был при Симанове в Яицком городке. Его твердость и благоразумие имели большое влияние на тамошние дела и сильно помогли Симанову, который вначале было струсил. Иван Андреевич находился тогда с матерью в Оренбурге. На их двор упало несколько ядер, он помнит голод и то, что за куль муки заплачено было его матерью (и то тихонько) 25 р.! Так как чин капитана в Яицкой крепости был замечен, то найдено было в бумагах Пугачева в расписании, кого на какой улице повесить, и имя Крыловой с ее сыном».

В 1774 году отец будущего поэта вышел в отставку и поселился в Твери, где занял должность председателя губернского магистрата. После его смерти мать, впавшая в нужду и подрабатывавшая услугами в богатых домах, упростила местное начальство принять девятилетнего сына, получившего домашнее образование, на службу – переписывать деловые бумаги. А в 1782 году, переехав с матерью в Петербург, Крылов уже сам поступил канцеляристом в Казенную палату. В Петербурге он увлекся театром, в котором ставились пьесы Фонвизина, Княжнина, Сумарокова. Близко познакомился с актерами И. Дмитриевским и П. Плавильщиковым, с директором театров генерал-майором П. А. Соймоновым. Сам в 1783 году написал комическую оперу в стихах «Кофейница», не попавшую, впрочем, ни в печать, ни на сцену.

Следующим сочинением Крылова стала трагедия «Клеопатра».

«Клеопатра» тоже не была ни напечатана, ни поставлена, а Дмитриевский отнесся к трагедии столь сурово, что Крылов понял: тратить время на ее переделку не стоит. Успех пьесы в то время в огромной степени зависел от общественного положения автора: безвестный разночинец Крылов никак не мог так вот сразу войти в круг признанных авторов. «Постоянная нехватка средств и наличие огня в крови», как заметил писатель В. Петров, привели к

тому, что в 1788 году Крылов в сатире-памфлете «Проказники» столь резко высказался в адрес своих обидчиков, что Княжнин и Соймонов попросту порвали с ним всякие отношения. Первые басни, напечатанные Крыловым в 1788 году в журнале «Утренние часы», тоже прошли совершенно незамеченными. Тогда Крылов решил издавать журнал.

В 1789 году вышел в свет первый номер «Почты духов». Это был, можно сказать, журнал одного автора. Все его страницы занимала философическая переписка духов воздушных, водяных и подземных с арабским мудрецом Маликульмульком. «Чем более живу я между людьми, – указывал Маликульмульку гном Зора, – тем больше кажется мне, будто я окружен бесчисленным множеством кукол, которых самая малая причина заставляет прыгать, кричать, смеяться. Никто не делает ничего по своей воле, но все как будто на пружинах». При таком слишком уж конкретном подходе «Почта духов» не могла долго просуществовать и скоро была закрыта цензурой. Тогда с 1792 года начал выходить новый журнал – «Зритель», издаваемый уже не одним Крыловым, а литературным кружком, в который вошли А. И. Клушин, И. А. Дмитриев и П. А. Плавильщиков. В программной статье «Нечто о врожденном свойстве душ российских» с возмущением говорилось о давнем дворянском космополитизме, против которого и был поведен огонь. Впрочем, уже в мае 1792 года «Зритель» тоже был закрыт. Такая же судьба постигла и основанный Крыловым (в компании с Клушиным) журнал «Санкт-Петербургский Меркурий».

На некоторое время Крылов отошел от литературных дел. Средства для существования начала приносить ему карточная игра, в которой он оказался величайшим и дерзким мастером (а говорят, и фокусником). Гастроли Крылова запомнили в Москве, в Нижнем Новгороде, в Ярославле, в Тамбове, в Киеве, в Могилеве, в Серпухове, в Туле. В конце концов, карты, наверное, его и сгубили бы, но в начале 1797 года он близко подружился с князем С. Ф. Голицыным. Князь предложил Крылову занять место его личного секретаря и домашнего учителя. Теперь Крылов много времени проводил в имении князя – селе Казацком Киевской губернии. Владя несколькими языками, он обучал сыновей князя языкам и словесности, играл на музыкальных инструментах. Специально для домашнего театра Голицыных Крылов написал шутовскую трагедию «Трумф, или Подщипа» и сам сыграл в ней роль Трумфа – наглого немецкого принца.

11 марта 1801 года в России произошел дворцовый переворот: император Павел I был задушен, на престол вступил Александр I. Князь Голицын, пользовавшийся доверием нового царя, был назначен лифляндским генерал-губернатором, а его секретарь произведен в правители канцелярии. Два года Крылов прослужил в Риге, а осенью 1803 года переехал в Серпухов к своему брату Льву Андреевичу – офицеру Орловского мушкетерского полка. Тогда же в Петербурге впервые была поставлена на сцене пьеса Крылова – «Пирог». Этот успех позволил Крылову вернуться к литературе. Появились его пьесы «Модная лавка», «Лентяй», а дружба с баснописцем

Дмитриевым подтолкнула его к переводу некоторых басен Лафонтена. В конце концов, Крылов вернулся в Петербург и навсегда в нем обосновался, сняв квартиру в доме А. Н. Оленина.

«Крылов, – вспоминал один из друзей поэта, – был высокого роста, весьма тучный, с седыми, всегда растрепанными волосами; одевался он крайне неряшливо: сюртук носил постоянно запачканный, залитый чем-нибудь, жилет надет был вкривь и вкось. Жил Крылов довольно грязно. Все это крайне не нравилось Олениным, особенно Елисавете Марковне и Варваре Алексеевне. Они делали некоторые попытки улучшить в этом отношении житье-бытье Ивана Андреевича, но такие попытки ни к чему не приводили. Однажды Крылов собирался на придворный маскарад и спрашивал совета у Елисаветы Марковны и ее дочерей; Варвара Алексеевна по этому случаю сказала ему: „Вы, Иван Андреевич, вымойтесь да причешитесь, и вас никто не узнает“.

В 1809 году вышел в свет первый сборник басен Крылова, сразу принесший ему известность. В 1811 году появились «Новые басни Ивана Крылова», в 1815 году – «Басни Ивана Крылова» в трех частях, в 1816 году – «Новые басни И. А. Крылова», составившие четвертую и пятую части, в 1819 году – в шести частях, в 1825 году – в семи, а в 1830 году – уже в восьми.

«В „Беседе ревнителей русского слова“, бывшей в доме Державина, – вспоминал писатель М. Лобанов, близко знавший Крылова, – приготавливаясь к публичному чтению, просили его прочитать одну из его новых басен, которые были тогда лакомым блюдом всякого литературного пира и угощения. Он обещал, но на предварительное чтение не явился, а приехал в Беседу во время самого чтения. И довольно поздно. Читали какую-то чрезвычайно длинную пьесу. Он сел за стол. Председатель отделения А. С. Хвостов вполголоса спрашивает у него: „Иван Андреевич, что, привезли?“ – „Привез“. – „Пожалуйста мне“. – „А вот ужю, после“. Длилось чтение, публика утомилась, начали скучать. Зевота овладевала многими. Наконец, дочитана пьеса. Тогда Иван Андреевич, руку в карман, вытащил измятый листок и начал: „Демьянова уха“... Содержание басни удивительным образом соответствовало обстоятельствам, и принародное чтение было так ловко, так кстати, что публика громким хохотом от всей души наградила автора за басню». Напомним, что речь в «Демьяновой ухе» идет о безмерном угощении, выдержать которое не всякий способен.

В 1812 году в Петербурге открылась Публичная библиотека. Директором ее назначили Оленина, а Крылов получил должность помощника при В. Сопикове – первом русском библиографе. В Публичной библиотеке Крылов прослужил около тридцати лет, до самой своей отставки, последовавшей в 1841 году. «Все видели и знали в нем только литератора, – писал о Крылове барон М. А. Корф, – но этого только литератора уважали и читали не менее знатного вельможи. Крылов был принят и взыскан в самом высшем обществе, и все сановники протягивали ему руку не с видом уничижительного снисхождения, а как бы люди, чего-нибудь в нем

искавшие, хотя бы маленького отблеска его славы. Его столько же любили и в императорском доме, а у императрицы Марии Федоровны и у великого князя Михаила Павловича он был домашним человеком. Скромный и ровный в своем обращении со всеми, он никогда не зазнавался, но ему, думаю, простили бы даже и заносчивость».

В 1830 году, после выхода в свет басен в восьми книгах, император Николай I удвоил пенсию Крылова и произвел его в статские советники, что приравнялось к генеральскому званию. «Царская семья благоволила к Крылову, – рассказывал один из друзей поэта, – и одно время он получал приглашения на маленькие обеды к императрице и великим князьям. Прощаясь с Крыловым после одного обеда у себя, дедушка (А. М. Тургенев) пошутил: „Боюсь, Иван Андреевич, что плохо мы вас накормили – избаловали вас царские повара“. Крылов, оглядываясь и убедившись, что никого нет вблизи, ответил: „Что царские повара! С обедов этих никогда сытым не возвращался. А я также прежде так думал – закормят во дворце. Первый раз поехал и соображаю: какой уж тут ужин – и прислугу отпустил. А вышло что? Убранство, сервировка – одна краса. Сели – суп подают: на донышке зелень какая-то, морковки фестонами вырезаны, да все так на мели и стоит, потому что супу-то самого только лужица. Ей-богу, пять ложек всего набрал. Сомнение взяло: быть может, нашего брата писателя лакеи обносят? Смотрю – нет, у всех такое же полноводье. А пирожки? – не больше грецкого ореха. Захватил я два, а камер-лакей уж удирать норовит. Попридержал я его за пуговицу, и еще парочку снял. Тут вырвался он и двух рядом со мною обнес. Верно, отставать лакеям возбраняется. Рыба хорошая – форели; ведь гатчинские, свои, а такую мелюзгу подают, – куда меньше порционного! Да и что тут удивительного, когда все, что покрупней, торговцам спускают. Я сам у Каменного моста покупал. За рыбами пошли французские финтифлюшки. Как бы горшочек опрокинутый, студнем облицованный, а внутри и зелень, и дичи кусочки, и трюфелей обрезочки – всякие остаточки. На вкус недурно. Хочу второй горшочек взять, а блюдо уж далеко. Что же это, думаю, такое? Здесь только пробовать дают? Добрались до индейки. Не плошай, Иван Андреевич, здесь мы отыграемся. Подносят. Хотите верьте или нет – только ножки и крылушки, на маленькие кусочки обкромленные, рядышком лежат, а самая-то птица под ними припрятана, и нерезаная пребывает. Хороши молодчики! Взял я ножку, обглодал и положил на тарелку. Смотрю кругом. У всех по косточке на тарелке. Пустыня пустыней. И стало мне грустно-грустно, чуть слеза не прошибла. А тут вижу – царица-матушка печаль мою подметила и что-то главному лакею говорит и на меня указывает. И что же? Второй раз мне индейку поднесли. Низкий поклон я царице отвесил – ведь жалованная. Хочу брать, а птица так неразрезанная и лежит. Нет, брат, шалишь – меня не проведешь: вот так нарежь и сюда принеси, говорю камер-лакею. Так вот фунтик питательного и получил. А все кругом смотрят – завидуют. А индейка-то совсем захудалая, благородной дородности никакой, жарили спозаранку и к обеду, изверги,

подогрели! А сладкое! Стыдно сказать. Пол-апельсина! Нутро природное вынуто, а взамен желе с вареньем набито. Со злости с кожей я его и съел. Плохо царей наших кормят, – надувательство кругом. А вина льют без конца. Только что выпьешь, – смотришь, опять рюмка стоит полная. А почему? Потому что придворная челядь потом их распивает. Вернулся я домой голодный-преголодный. Как быть? Прислугу отпустил, ничего не припасено. Пришлось в ресторацию ехать. А теперь, когда там обедать приходится, – ждет меня дома всегда ужин. Приедешь, выпьешь рюмочку водки, как будто вовсе не обедал“.

«Весь смысл жизни, все упоение ее, все блаженство, – писал В. В. Вересаев. – заключалось для Крылова в еде. Современница так описывает один из званых обедов, устраивавшихся Крылову его почитателями. Обедали в пять часов. Крылов появлялся аккуратно в половине пятого. Перед обедом он неизменно прочитывал две или три басни. Выходило у него прелестно. Приняв похвалы как нечто обыденное и должное, Крылов водворялся в кресло, – и все его внимание было обращено теперь на дверь в столовую. Появлялся человек и провозглашал: „Обед подан!“ Крылов быстро поднимался с легкостью, которой и ожидать нельзя было, оправлялся и становился у двери. Вид у него был решительный, как у человека, готового, наконец, приступить к работе. Скрепя сердце, пропускал вперед дам, первый следовал за ними и занимал свое место. Лакей-киргиз Емельян подвязывал Крылову салфетку под самый подбородок, вторую расстилал на коленях и становился позади его стула. На первое блюдо уха с расстегаями; ими всех обносили, но перед Крыловым стояла глубокая тарелка с горою расстегаяев. Он быстро с ними покончил и после третьей тарелки ухи обернулся к буфету. Емельян поднес ему большое общее блюдо, на котором еще оставался запас. На второе подали огромные отбивные телячьи котлеты, еле умещались на тарелке, – не осилишь и половины. Крылов съел одну, потом другую; приостановился, окинул взором обедающих, потом произвел математический подсчет и решительно потянулся за третьей. Громадная жареная индейка вызвала у него восхищение. „Жар-птица! – твердил он, жуя и обкапывая салфетку. – У самых уст любезный хруст. Ну и поджарено! Точно кожицу отдельно и индейку отдельно жарили. Искусники! Искусники!“ К этому еще мочения, которые Крылов очень любил, – нежинские огурчики, брусника, морошка. Крылов блаженствовал, глотая огромные антоновки, как сливы. Первые три блюда готовила кухарка, два последних – повар из английского клуба, знаменитый Федосеич. И вот подавался страсбургский паштет, – не в консервах, присланных из-за границы, а свежеприготовленный Федосеичем из самого свежего сливочного масла, трюфелей и гусиных печенок. Крылов делал изумленное лицо и с огорчением обращался к хозяину: „Друг милый и давнишний, зачем предательство это? Ведь узнаю Федосеича руку! Как было по дружбе не предупредить! А теперь что? Все места заняты!“ – „Найдется местечко!“ – утешал хозяин. – „Место-то найдется, но какое? Первые ряды все заняты, партер весь, бельэтаж и все

ярус тоже. Один раек остался. Федосеич – и раек! Ведь это грешно!“ – „Ничего, помаленьку в партер снизойдет!“ – посмеивался хозяин. – „Разве что так“, – соглашался Крылов и накладывал себе тарелку горой.

Но вот и сладкое.

«Ну, что? Найдется еще местечко?» – интересовался хозяин. – «Для Федосеича трудов всегда найдется. А не нашлось бы, то и в проходе постоять можно», – отшучивался Крылов.

Водки и вина пил он немного, но сильно налегал на квас. Когда обед кончался, то около места Крылова на полу валялись бумажки и косточки от котлет, которые или мешали ему работать, или нарочно, из стыдливости, направлялись им под стол. Выходить из столовой Крылов не торопился, пропуская всех вперед. Войдя в кабинет, где пили кофей, он останавливался, деловито осматривался и направлялся к покойному креслу, поодаль от других. Он расставлял ноги и, положив локти на ручки кресла, складывал руки на животе. Крылов не спал, не дремал, – он переваривал. Удав удавом. На лице выражалось довольство. От разговора он положительно отказывался. Все это знали и его не тревожили. Но если кто-нибудь неделикатно запрашивал его, в ответ неслось неопределенное мычание. Кофея выпивал он два стакана со сливками наполовину, а сливки были – воткнешь ложку, она так и стоит. Чай пили в девятом часу; к этому времени Крылов постепенно отходил, начинал прислушиваться к разговору и принимать в нем участие. Ужина в этом доме не бывало, и хотя Крылов отлично это знал, но для очистки совести, залучив в уголок Емельяна, покорно спрашивал: «Ведь ужина не будет?»

«В поступи его и манерах, в росте и дородстве есть нечто медвежье, – с некоторым сожалением писал о Крылове хорошо знавший его Ф. Ф. Вигель. – Та же сила, та же спокойная угрюмость; при неуклюжести та же смышленость, затейливость и ловкость. В этом необыкновенном человеке были заложены зародыши всех талантов, всех искусств. Скоро, тяжестью тела как бы прикованный к земле и самым пошлым ее удовольствиям, его ум стал реже и ниже парить. Одного ему дано не было: душевного жара, священного огня, коим согрелась, растопилась бы сия масса. Человек этот никогда не знал ни дружбы, ни любви, никого не достаивал своего гнева, никого не ненавидел, ни о ком не жалел. Две трети столетия прошел он один сквозь несколько поколений, одинаково равнодушный как к отцветшим, так и к зреющим. С хозяевами домов, кои по привычке он часто посещал, где ему было весело, где его лелеяли, откармливали, был он очень ласков и любезен; но если печаль какая их постигала, он неохотно ее разделял. Не сыщется ныне человека, который бы более Крылова благоговел перед высоким чином или титулом, в глазах коего сиятельство или звезда имели бы более блеска. Грустно подумать, что на нем выпечатан весь характер русского народа, каким сделали его татарское иго, тиранство Иоанна, крепостное право и железная рука Петра. – Вигель все же добавлял: – Если

Крылов верное изображение его недостатков, то он же и представитель его великих способностей».

Умер 9 (21) ноября 1844 года в Петербурге.

«За несколько часов до кончины, – вспоминал Лобанов, – он, велев принести себя в кресла, сказал: „Тяжко мне!“ и потребовал, чтобы снова положили его в постель. Вспомнив, что напечатано им новое издание его басен, еще не выпущенное в свет, он поручил окружавшим его разослать по экземпляру всем помнящим о нем. Не я один, а, конечно, многие заплакали, получив приглашение на похороны Крылова и вместе с тем экземпляр изданных им самим басен, на заглавном листе которых, очерченном траурной каймой, было напечатано: «Приношение. На память об Иване Андреевиче по его желанию».

Василий Андреевич Жуковский

Родился 29 (9. II) января 1783 года в селе Мишенском Белевского уезда Тульской губернии.

Незаконный сын помещика Афанасия Ивановича Бунина и пленной турчанки Сальхи, муж которой был убит при осаде русскими войсками крепости Бендеры. Турчанку в Мишенское привез крепостной человек Бунина, участвовавший в кампании. Фамилию и отчество будущий поэт получил от проживавшего в доме обнищавшего дворянина Андрея Григорьевича Жуковского. «Я привык отделять себя от всех, – писал позже поэт, – потому что никто не принимал во мне особенного участия и потому что всякое участие ко мне казалось мне милостью».

Учиться Жуковского отдали в Тулу – в известный пансион Х. Ф. Роде, затем в народное училище. Впрочем, и оттуда, и оттуда его отчислили за неуспеваемость. Зато огромное влияние оказали на него директор Благородного пансиона при Московском университете И. П. Тургенев и его сыновья Андрей и Александр, с которыми Жуковский близко подружился. Прекрасно образованные, знавшие западную литературу, они познакомили Жуковского с поэзией Гете и Шиллера. По окончании пансиона они же организовали «Дружеское литературное общество», в котором, кроме братьев Тургеневых и Жуковского встречались поэт А. Мерзляков, М. и А. Кайсаровы, С. Родзянко, А. Воейков. Целью общества было исключительно изучение литературы, но в старом уютном доме Воейкова на Девичьем поле друзья не раз»...распалив вином и спорами умы и к человечеству любовью, хотели выкупить блаженство близких кровью».

Увлеченный литературой, Жуковский перевел «Страдания юного Вертера» Гёте, роман Коцебу «Мальчик у ручья» и его же комедию «Ложный стыд». Благодаря Н. М. Карамзину, редактировавшему в то время «Вестник Европы», появилась в 1802 году в журнале знаменитая элегия Грея «Сельское кладбище», переведенная Жуковским и сразу сделавшая его имя известным. В том же году, оставив службу в Соляной конторе, куда он был определен после окончания университетского курса, Жуковский поселился в родном

селе Мишенском с намерением посвятить жизнь только поэзии. В составленном им плане будущих переводов указывались поэмы Мильтона, Клопштока, Тассо, многочисленные отрывки из Вергилия, Гомера, Лукиана, Овидия, Шиллера, стихи немецких, французских и английских поэтов. Надо сказать, что Жуковский не только выполнил этот план, но во многом и превзошел его. «Могу указать вам легкий способ познакомиться со мною, как с поэтом, – писал он позже одному из своих заграничных почитателей, советуя тому внимательно перечитать оригиналы переведенных им стихов Шиллера, Гете, Гебеля и других. – Читая все эти стихотворения, верьте или старайтесь уверить себя, что они все переведены с русского, с Жуковского: тогда вы будете иметь понятие о том, что я написал лучшего в жизни». И дальше, объясняя особенности своего дара: «Мой ум – как огниво, которым надобно ударить об камень, чтоб из него выскочила искра. Это вообще характер моего авторского творчества; у меня почти все или чужое, или по поводу чужого – и все, однако, мое».

В 1805 году, давая уроки своим племянницам (Протасовым), жившим в Белеве, Жуковский страстно влюбился в старшую – Машу, которой, к несчастью, было в то время всего двенадцать лет. «Можно ли быть влюбленным в ребенка?» – записал он в дневнике. Но это была любовь, и когда Марии Андреевне исполнилось девятнадцать лет, он официально попросил ее руки. Сестра поэта (по отцу), мать девушки, пришла в ужас. Она не только не дала согласия на брак, справедливо указывая на близость родства и на разницу в возрасте, но и взяла с Жуковского слово, что он никогда больше не заговорит с девушкой о своей любви.

В 1812 году Жуковский в чине поручика вступил в Московское ополчение.

В день Бородинского сражения он находился в резерве, всего в двух верстах от места боя; после сдачи Москвы его прикомандировали к штабу М. И. Кутузова. В Тарутино Жуковский написал знаменитую оду «Певец во стане русских воинов», в которой поименно прославил всех живых и погибших героев Отечественной войны. В декабре того же года ода появилась в журнале «Вестник Европы», обратив на поэта внимание двора.

В январе 1813 года Жуковский вернулся в родные места. Мысль о браке с Марией Андреевной ни на один день не оставляла поэта, но Протасовы к тому времени переехали в Дерпт. Отправившись туда, Жуковский узнал, что Мария Андреева выходит замуж за профессора Дерптского университета И. Ф. Мойера. Только убедившись, что брак совершается по взаимной любви, Жуковский, наконец, смирился. Он даже написал невесте письмо: «Маша, смотри же, не обмани меня! Чтобы нам непременно вместе состряпать твое счастье, тогда и все прекрасно!» Печальный роман закончился взаимной дружбой, которая была прервана смертью Марии Андреевны (от родов) в 1823 году.

В сентябре 1815 года Жуковского пригласили на должность чтеца при вдове императора Павла I – Марии Федоровне. Там же, при дворе, он преподавал русский язык немецкой принцессе Шарлотте, будущей жене Николая I, затем

занимался воспитанием и образованием наследника престола, будущего императора Александра II. В его свите в начале двадцатых годов Жуковский путешествовал по Германии, Швейцарии, Австрии и между делами перевел на русский язык повесть Т. Мура «Пери и Ангел», поэму Байрона «Шильонский узник» и трагедию Шиллера «Орлеанская дева». По возвращении в Россию писал мало, зато вновь вернулся к мысли о женитьбе. «Увы! – писал Карамзин Дмитриеву. – Жуковский влюблен, но не жених! Ему хотелось бы жениться, но при дворе не так легко найти невесту для стихотворца, хотя и любимого». Роман поэта с графиней С. А. Самойловой, который многие называли странным, кончился действительно странно. «Жуковский, как сказывали мне, – писал одному из своих приятелей поэт Ю. А. Нелединский-Мелецкий, – объяснялся с графиней Самойловой. Ты знаешь, что считали его в нее влюбленным. Он ей сказал, что сожалеет о том, что исканию его дружбы у нее она не ответствовала, и изъявление его к ней дружбы приписала, как видно, другому чувствованию, которое, впрочем, внушить она всех более может. Как доведено было до этого, и что далее им было сказано, не знаю; но на эти слова она, сказывают, молчала, и будто показались у ней на глазах слезы. И подлинно: как? Человек приходит женщине сказать: не подумай, ради Бога, чтоб я в тебя был влюблен!»

В начале тридцатых годов Жуковский лечился за границей – в Германии. Там были написаны «Сказка о царе Берендее», «Спящая красавица», «Война мышей и лягушек», баллады «Роллан-оруженосец», «Плавание Карла», «Братоубийца». Баллады Жуковского были к тому времени общеизвестны. Никого не интересовало их происхождение, они давно вошли в русскую поэзию и стали явлением именно русской поэзии. «Раз в крещенский вечерок девушки гадали: за ворота башмачок, сняв с ноги, бросали; снег пололи; под окном слушали; кормили счетным курицу зерном; ярый воск топили; в чашу с чистою водой клали перстень золотой, серьги изумрудны; расстилался белый плат и над чашей пели в лад песенки подблюдны...»

В Петербурге Жуковский жил в Зимнем дворце.

«В год переселения нашего семейства в Петербург – мне было тогда 16 лет, – вспоминал И. С. Тургенев, – моей матушке вздумалось напомнить о себе Василию Андреевичу (когда-то они были знакомы). Она вышила ко дню его именин красивую бархатную подушку и послала меня с нею к нему в Зимний дворец. Я должен был назвать себя, объяснить, чей я сын, и поднести подарок. Но когда я очутился в огромном, до сих пор мне незнакомом дворце; когда мне пришлось пробираться по каменным длинным коридорам, подниматься на каменные лестницы, то и дело натыкаясь на неподвижных, словно тоже каменных, часовых; когда я, наконец, отыскал квартиру Жуковского и очутился перед трехаршинным красным лакеем с галунами по всем швам и орлами на галунах, – мною овладел такой трепет, я почувствовал такую робость, что, представ в кабинет, куда пригласил меня красный лакей и где из-за длинной конторки глянуло на меня задумчиво-приветливое, но важное и несколько изумленное лицо самого поэта, – я,

несмотря на все усилия, не мог произнести звука: язык, как говорится, прилип к гортани, – и, весь сгорая от стыда, едва ли не со слезами на глазах, остановился как вкопанный на пороге двери и только протягивал и поддерживал обеими руками – как младенца при крещении – несчастную подушку, на которой, как теперь помню, была изображена девица в средневековом костюме, с попугаем на плече. Смущение мое, вероятно, возбудило чувство жалости в доброй душе Жуковского; он подошел ко мне, тихонько взял у меня подушку, попросил меня сесть, и снисходительно заговорил со мною. Я объяснил ему наконец, в чем было дело – и, как только мог, бросился бежать».

«Портреты Жуковского почти все очень похожи, – писал дальше Тургенев. – Физиономия его была не из тех, которые уловить трудно, которые часто меняются. Конечно, в 1834 году в нем и следа не оставалось того болезненного юноши, каким представлялся воображению наших отцов „Певец во стане русских воинов“; он стал осанистым, почти полным человеком. Лицо его, слегка припухлое, молочного цвета, без морщин, дышало спокойствием; он держал голову наклонно, как бы прислушиваясь и размышляя; тонкие, жидкие волосы всходили косицами на совсем почти лысый череп; тихая благодать светилась в углубленном взгляде его темных, на китайский лад приподнятых глаз, а на довольно крупных, но правильно очерченных губах постоянно присутствовала чуть заметная, но искренняя улыбка благоволения и приветия. Полувосточное происхождение его (мать его была, как известно, турчанка) сказывалось во всем облике».

Пользуясь своим положением при дворе, Жуковский не мало помогал друзьям. По крайней мере, не раз добивался более мягкого отношения к Пушкину, хлопотал о больном К. Батюшкове, об освобождении от солдатчины Е. Баратынского, о выкупе из крепостной неволи Тараса Шевченко; крепостных крестьян из жалованных ему деревенок Жуковский, кстати, отпустил на волю. Уже с утра на лестнице, ведущей в квартиру поэта, толпились просители всякого рода и звания. Что же касается поэтической популярности, то она была столь велика, что в известном литературном обществе «Арзамас» каждый член обязательно принимал имя какого-нибудь героя его знаменитых баллад: Батюшков – Ахилл, сам Жуковский – Светлана, Вяземский – Асмодей, Блудов – Кассандра, А. Тургенев – Эолова арфа, и так далее.

«Жуковский был не только гробовых дел мастер, как мы прозвали его по балладам, – писал Вяземский, – но и шуточных и шутовских дел мастер. Странное физиологическое и психическое совпадение! По натуре идеальной, мечтательной, несколько мистической, в нем были и сокровища веселости, смешливости: в нем были зародыши и залого карикатуры и пародии, отличающиеся нередко острою замысловатостью». Будучи бессменным секретарем «Арзамаса», Жуковский вел протоколы, резко отличающиеся веселостью тона от всех других. «Его превосходительством мною прочитан был протокол предыдущего заседания, – так писал он, – краткий, но

отличающийся тем необыкновенным остроумием, которым одарила меня благосклонная судьба, и члены, глядя на меня с умилением, радовались, что я им товарищ; а я не гордился нимало; напротив, с свойственною мне скромностью принимал их похвалы за одни выражения дружбы и удостоивал друзей моих снисходительной и весьма лестной для них улыбкой. Его превосходительство я же был введен с церемонией в храмину заседания... Меня ввели, и все лица просияли... Я произнес клятву, потом сел или паче вдвинул в гостеприимные объятия стула ту часть моего тела, которая особенно нужна для сидения и которая в виде головы торчит на плечах халдеев „Беседы“ (враждебного „Арзамасу“ литературного общества). Потом отверзлись уста мои, и начал я хвалить одного беседного покойника. Члены отдали справедливость моему красноречию смехом и шумными плесками. А почтенный президент Чу весьма удачно похвалил мои различные достоинства в краткой речи, в которой не забыл упомянуть и о моем друге месяце (часто воспеваемом в стихах Жуковского), за что я ему останусь весьма благодарен... Все это было заключено ужином... Гуся не было, и каждый член, погруженный в меланхолию, шептал про себя: Где гусь? – Он там! – Где там? – Не знаю!». – В приведенном здесь протоколе обыграны строки из стихотворения Державина, и особенности стихов самого Жуковского.

После путешествия с наследником царского трона по России, а затем по Европе (с мая 1838 по начало 1839 года), Жуковский вышел в отставку. Возложенные на него педагогические задачи были выполнены, наследник достиг совершеннолетия. В Германии, в 1841 году, Жуковский женился на дочери своего друга художника Рейтерна – Елизавете, которую знал еще ребенком. Брак этот не оказался счастливым: поселившись в Дюссельдорфе (теперь уже навсегда), Жуковский часто жаловался на тяжелую болезнь жены, на оторванность от друзей, на утрату зрения. Тем не менее, продолжал упорно работать. В последние годы он записал белыми стихами три сказки из собрания братьев Гримм – «Об Иване-Царевиче и сером волке», «Кот в сапогах» и «Тюльпанное дерево», перевел поэму Фирдоуси «Рустем и Зораб», «Одиссею» Гомера.

Умер 12 (24) апреля 1852 года в Баден-Бадене.

Прах поэта перевезен в Петербург; похоронен на кладбище Александровской лавры рядом с Карамзиным.

Александр Сергеевич Пушкин

Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем,
Восторгом чувственным, безумством, исступленьем,
Стенаньем, криками вакханки молодой,
Когда, вясь в моих объятиях змией,
Порывом пылких ласк и язвою лобзаний
Она торопит миг последних содроганий.

О, как милее ты, смиренница моя!
О, как мучительно тобою счастлив я,
Когда, склоняся на долгие моления,
Ты предаешься мне нежна без упоенья,
Стыдливо-холодна, восторгу моему
Едва отвечаешь, не внемлешь ничему
И оживляешься все боле, боле —
И делишь наконец мой пламень поневоле.

Родился 26 (6. VI) мая 1799 года в Москве.

Отец – отставной майор Сергей Львович, из старинного рода.

«Родословная матери моей, – писал поэт, – еще любопытнее. Дед ее негр, сын владетельного князька. Русский посланник в Константинополе как-то достал его из своего сераля, где содержался он аманатом, и отослал его Петру Первому вместе с двумя другими арапчатами. Государь крестил маленького Ибрагима в Вильне, в 1707 году, с польскою королевою, супругой Августа, и дал ему фамилию Ганнибал. В крещении наименован он был Петром; но как он плакал и не хотел носить нового имени, то до самой смерти назывался Абрамом. Старший брат его приезжал в Петербург, предлагая за него выкуп. Но Петр оставил при себе своего крестника. До 1716 года Ганнибал находился неотлучно при особе государя, спал в его токарне, сопровождал его во всех походах; потом послан был в Париж, где несколько времени обучался в военном училище, вступил во французскую службу, во время испанской войны был в голову ранен в одном подземном сражении (сказано в рукописной его биографии) и возвратился в Париж, где долгое время жил в рассеянии большого света. Петр I неоднократно призывал его к себе, но Ганнибал не торопился, отговариваясь под разными предлогами. Наконец государь написал ему, что он неволить его не намерен, что предоставляет его доброй воле возвратиться в Россию или остаться во Франции, но что во всяком случае он никогда не оставит прежнего своего питомца. Тронутый Ганнибал немедленно отправился в Петербург. Государь выехал ему навстречу и благословил образом Петра и Павла, который хранился у его сыновей, но которого я не мог уж отыскать. Государь пожаловал Ганнибала в бомбардирскую роту Преображенского полка капитан-лейтенантом. Известно, что сам Петр был ее капитаном. Это было в 1722 году. После смерти Петра Великого судьба его переменилась. Меншиков, опасаясь его влияния на императора Петра II, нашел способ удалить его от двора. Ганнибал был переименован в майоры Тобольского гарнизона и послан в Сибирь с препоручением измерить Китайскую стену».

Сергей Львович увлекался литературой, в доме Пушкиных бывали Карамзин, Дмитриев, Жуковский. Дядя – Василий Львович – был известный поэт. Сына родители, к сожалению, не любили. С малых лет он был сдан на руки няне Арине Родионовне, крепостной Пушкиных, отпущенной на волю, а когда подрос, под надзор гувернеров-французов.

В 1811 году Василий Львович при помощи влиятельных друзей (прежде всего А. И. Тургенева) устроил Пушкина в только что открывшийся Царскосельский лицей. Это учебное заведение находилось под особым покровительством императора Александра I и должно было готовить будущих государственных деятелей. Попасть в него было трудно, можно было надеяться только на протекцию, отсюда такой разброс: от аристократа Горчакова, ни в чем не знавшего нужды, до бедняка Кюхельбекера, за которого, правда, хлопотал его влиятельный родственник – главнокомандующий русской армией в Отечественную войну 1812 года фельдмаршал М. Б. Барклай-де-Толли.

Поведением юный лицеист не блистал. «Пушкин 6-го числа, – доносил надзиратель Пилецкий в ноябре 1812 года, – в суждении своем об уроках сказал: признаюсь, что я логики, право, не понимаю, да и многие даже лучшие меня оной не знают, потому что логические силлогизмы весьма для него невняты. – 16-го числа весьма оскорбительно шутил с Мясоедовым на щот 4 департамента, зная, что его отец там служит, произнося какие-то стихи, коих мне повторить не хотел, при увещании же сделал слабое признание, а раскаяния не видно было. – 18-го толкал Пущина и Мясоедова, повторяя им слова: что если они будут жаловаться, то сами останутся виноватыми, ибо я, говорит, вывертеться умею. В классе рисовальном называл г. Горчакова вольной польской дамой. – 23-го, когда я у г. Дельвига в классе г. профессора Гауэншильда отнимал бранное на г. инспектора сочинение, в то время г. Пушкин с непристойной вспыльчивостью говорит мне громко: „Как вы смеете брать наши бумаги – стало быть, и письма наши из ящика будете брать?“ Присутствие г. профессора, вероятно, удержало его от худшего еще поступка, ибо приметен был гнев его. – 30-го числа к вечеру г. профессору Кошанскому изъяснил какие-то дела петербургских модных лавок, я не слыхал сам сего разговора, только пришел в то время, когда г. Кошанский сказал ему: я повыше вас, а, право, не вздумаю такого вздора, да и вряд ли кому оный придет в голову. Спрашивал я других воспитанников, но никто не мог его разговор повторить – по скромности, как видно».

В 1815 году в Царское Село возвратилась из заграничного похода гвардия, возглавляемая Александром I. Победоносная война создала особенную атмосферу в столице. На состоявшемся в том же году экзамене Пушкин восхитил Державина своими стихами «Воспоминания в Царском селе», но сам уже тянулся к Батюшкову, к Жуковскому, чему немало способствовало его участие в литературном обществе «Арзамас».

В начале июня 1817 года состоялся первый выпуск лицеистов. Пушкин вышел из лицея с чином коллежского секретаря, а те, кто преуспел больше – титулярного советника. Лето провел в селе Михайловском, затем вернулся в Петербург, где был определен в Коллегию иностранных дел, – с жалованьем 700 рублей в год. Круг знакомств Пушкина к этому времени чрезвычайно расширился. Веселье, молодое буйство кипело в его стихах, да и сам поэт производил впечатление. «В самой наружности его, – вспоминал один из

друзей, – было много особенного: он то отпускал кудри до плеч, то держал в беспорядке свою курчавую голову; носил бакенбарды большие и всклокоченные; одевался небрежно; ходил скоро, повертывал тросточкой или хлыстиком, насвистывая или напевая песню».

В 1818 году Пушкин стал деятельным членом «Зеленой лампы», являвшейся как бы литературным отделением общества декабристов. В число декабристов Пушкин не был приглашен, однако эпиграммы его, а особенно ода «Вольность», попавшие на глаза Александру I, привели царя в гнев. Только заступничество поэтов Жуковского и Крылова, а затем губернатора Петербурга графа Милорадовича, позволило заменить суровую ссылку в Сибирь ссылкой на южную окраину России. Официально ссылку оформили как назначение на службу в Кишинев, и 6 мая 1820 года Пушкин выехал в распоряжение наместника Бессарабии генерала И. Н. Инзова. Уже после отъезда Пушкина вышла в свет поэма «Руслан и Людмила». С семьей генерала Н. Н. Раевского, в старшую дочь которого он был влюблен, поэт совершил поездку на Кавказ и Крым. «Моя Марина славная баба, – писал он Вяземскому, – настоящая Катерина Орлова. Не говори, однако, этого никому». В письмах и в беседах с друзьями увлекающийся поэт часто не щадил своих возлюбленных.

В южной ссылке Пушкин написал «Песнь о вещем Олеге», поэму «Кавказский пленник». За ними последовала поэма «Братья-разбойники», основанная, кстати, на действительном происшествии – побеге двух разбойников из кишиневской тюрьмы, и «Бахчисарайский фонтан». В июле 1823 года поэта перевели в Одессу под начальство новороссийского генерал-губернатора графа М. С. Воронцова. Известная эпиграмма Пушкина («Полумилорд, полу-купец, полу-мудрец, полу-невежда, полу-подлец, но есть надежда, что будет полный наконец») сильно, конечно, преувеличивала недостатки генерал-губернатора, решительно проявившего себя и на Кавказе, и в шведской войне, и в наполеоновских компаниях, и в войне турецкой. После Бородинского сражения, отправляясь на лечение (он был ранен в бою) в собственное имение, Воронцов пригласил с собой пятьдесят раненых офицеров и триста солдат. Покидая с оккупационным корпусом, которым он командовал, Францию, из личных средств оплатил долги всех офицеров. И этим вовсе не ограничивались его достоинства, крепко смешанные, впрочем, с холодностью, честолюбием, властью. Ни по службе, ни по чину, ни тем более по ссыльному своему положению Пушкин никак не мог претендовать на личное знакомство с Воронцовым, лишь столичные рекомендации позволили ему войти в круг генерал-губернатора. «Предания той эпохи упоминают о женщине (красавице Елизавете Ксавериевне, жене Воронцова), превосходившей всех других во власти, с которой управляла мыслью и существованием поэта. Пушкин нигде о ней не упоминает, как бы желая сохранить про одного себя тайну этой любви. Она обнаруживается у него только многочисленными профилями прекрасной

женской головы спокойного, благородного, величавого типа, которые идут почти по всем его бумагам из одесского периода жизни».

Намеренно подчеркивая подневольное положение поэта, Воронцов не раз поручал ему дела, на взгляд самого Пушкина, оскорбительные. Например, отправлял в уезды собирать сведения о появившейся там саранче. Известен стихотворный отчет, поданный Пушкиным генерал-губернатору: «Саранча летела, летела – и села. Сидела, сидела, всё съела и вновь улетела». Старому своему другу А. Тургеневу Пушкин писал: «Я устал зависеть от хорошего или дурного пищеварения начальника, мне надоело, что со мною в моем отечестве обращаются с меньшим уважением, чем с первым английским шалопаем. Воронцов – вандал, придворный хам и мелкий эгоист. Он видел во мне коллежского секретаря, а я, признаюсь, думаю о себе что-то другое». Раздраженный поведением Пушкина Воронцов энергично потребовал его удаления из Одессы. Помог случай: в руки полиции попало письмо, в котором поэт отвергал бессмертие души и одобрял атеизм как «систему, более всего правдоподобную». Царь, когда ему донесли о письме, приказал уволить Пушкина со службы и отправить в новую ссылку, на этот раз в усадьбу отца – село Михайловское Псковской губернии.

На лето в Михайловском собралась вся семья, однако к осени Пушкин остался один. Здесь он продолжил работу над начатым в Одессе романом в стихах – «Евгений Онегин». «Соседей около меня мало, – писал он одному из друзей. – Я знаком только с одним семейством и то вижу его довольно редко. Вечером слушаю сказки моей няни, оригинала няни Татьяны; она – единственная моя подруга, и с нею только мне не скучно». Правда, в селе Тригорском в семье помещицы Осиповой Пушкина полюбили, а в январе 1825 года неожиданно посетил поэта его старый лицейский товарищ И. И. Пущин. В июне того же года Пушкин встретил в Тригорском Анну Керн; эта встреча подарила русской поэзии одно из самых совершенных ее творений – стихи «Я помню чудное мгновенье». Эта внезапно вспыхнувшая любовь, впрочем, протекала на глазах Осиповых и Аннеты Вульф, которым вряд ли приятно было видеть влюбленного поэта, но самого Пушкина это остановить не могло.

В Михайловском усилился интерес Пушкина к истории. Он внимательно изучал работы Карамзина, исследовал материалы, касающиеся Пугачевского бунта, закончил трагедию «Борис Годунов». В декабре 1825 года размеренная жизнь поэта была нарушена известиями о восстании декабристов. Несколько месяцев поэт ждал изменений в своей судьбе, но только в ночь с 3 на 4 сентября 1826 года его вызвали в Москву. «Пушкину, – было сказано в предписании, подписанном Николаем I, – позволено ехать в своем экипаже, свободно, под надзором фельдъегеря, не в виде арестанта». Прямо с дороги Пушкина доставили к царю. Известно, что на вопрос Николая I, где бы он находился 14 декабря, окажись он в Петербурге, поэт прямо ответил, что был бы с мятежниками на площади. Тем не менее, царь простил

его, потребовав отказа от любой борьбы с правительством. «Пиши свободно, – сказал он Пушкину, – я сам буду твоим цензором».

В Москве Пушкин сразу вошел в круг старых друзей – Вяземского, Чаадаева, Баратынского, Веневитинова. «Он был небольшого роста, – вспоминал Пушкина писатель Н. И. Тарасенко-Отрешков, – сухощав, с курчавыми, весьма темно-русскими, почти черными волосами, с глазами темно-голубыми. В облике лица сохранялись еще черты африканского происхождения, но в легком уже напоминании. Даже во множестве нельзя было не заметить Пушкина: по уму в глазах, по выражению лица, высказывающему какую-то решимость характера, по едва ли унимаемой природной живости, какого-то внутреннего беспокойства, по проявлению с трудом сдерживаемых страстей. Таким, по крайней мере, казался мне Пушкин в последние годы своей жизни. К этому можно еще сказать, что также нельзя было не заметить невнимание Пушкина к своему платью и его покрою на больших балах. В обществе, сколько мне случалось его видеть, я всегда находил его весьма молчаливым, избегающим всякого высказывания. Неоднократно я слышал, как Пушкин, со свойственной ему откровенностью, говорил, что не читал многих из называемых ему даже весьма известных сочинений по части древних и новых философий, политики и истории. Зато при большой памяти, познания Пушкина собственно в произведениях словесности европейской и отечественной были обширны... Я помню, – добавлял Тарасенко-Отрешков, – как однажды Пушкин говорил мне, что он терпеть не может, когда просят у него не на водку, а на чай. Причем не мог скрыть своего легкого неудовольствия, когда я сказал, что распространяющийся в наших сословиях народа обычай пить чай благодетелен для нравственности и что нельзя этому не радоваться. „Но пить чай, – возразил Пушкин с живостью, – не русский обычай!“.

Что из себя представляет личная царская цензура, поэт понял, когда ему вернули рукопись трагедии «Борис Годунов», на которой Николай I начертал: «Я считаю, что цель г. Пушкина была бы выполнена, если бы с нужным очищением переделал комедию свою в историческую повесть или роман, наподобие Вальтера Скотта».

В 1827 году Пушкин начал работать над романом «Арап Петра Великого», в 1828 году закончил поэму «Полтава». Но в том же году до Николая I дошел список «Гаврилиады», – поэмы, признанной нечестивой. Пушкин пытался оправдаться перед царем, но вновь был отдан под надзор полиции. Напрасно поэт просил разрешения вступить добровольцем в русскую армию, действовавшую в то время против турок. Просьба его была отклонена, так же, как и просьба выехать за границу. «Государь-император не удостоил снизойти на Вашу просьбу, – ответил Пушкину начальник III отделения граф А. Х. Бенкендорф, – полагая, что это слишком расстроит Ваши денежные дела и в то же время отвлечет Вас от ваших занятий».

В апреле 1829 года Пушкин сделал предложение признанной московской красавице Наталье Николаевне Гончаровой, но не получил определенного

ответа. Удрученный поэт, даже не испросив официального разрешения, уехал на Кавказ, где принял участие в походе русской армии на Арзрум. «Спросите, – зачем? – писал он матери Натальи Николаевны. – Клянусь, сам не умею сказать; но тоска произвольная гнала меня из Москвы; я бы не мог в ней вынести присутствия вашего и ее». Эта поездка вызвала новое неудовольствие властей, пришлось объясняться с графом А. Х.

Бенкендорфом. А журналист Ф. Булгарин в «Северной пчеле» возвращение Пушкина отметил по-своему. «Мы думали, – писал он, – что автор Руслана и Людмилы устремился на Кавказ, чтобы напитаться высокими чувствами поэзии, обогатиться новыми впечатлениями и в сладких песнях передать потомству великие подвиги русских современных героев. Мы думали, что великие события на Востоке, удивившие мир и стяжавшие России уважение всех просвещенных народов, возбуждают гений наших поэтов, – и мы ошиблись. Лиры знаменитые остались безмолвными, а в пустыне нашей поэзии появился опять Онегин, бледный, слабый... Сердцу больно, когда взглянешь на эту бесплодную картину...»

Выгодно продав собрание сочинений, Пушкин несколько поправил свои материальные дела. В мае 1830 года мать Н. Н. Гончаровой дала согласие на брак Пушкина с дочерью, а отец поэта по случаю предстоявшей женитьбы выделил ему двести незаложенных крестьянских душ из своих нижегородских поместий. Для устройства имущественных дел Пушкин в начале осени выехал в село Болдино.

«Милый мой, – писал он П. А. Плетневу, – расскажу тебе все, что у меня на душе: грустно, тоска, тоска. Дела будущей тещи моей расстроены. Свадьба моя отлагается день ото дня далее. Между тем, я хладен, думая о заботах женатого человека, о прелести холостяцкой жизни. К тому же московские сплетни (связанные с прежними многочисленными любовными похождениями поэта) доходят до ушей невесты и ее матери, – отселе размолвки, колкие обиняки, ненадежные примирения, – словом, если я не несчастлив, по крайней мере не счастлив. Осень подходит. Еду в деревню. Бог весть, буду ли там иметь время заниматься и душевное спокойствие... Так-то, душа моя... Чорт меня догадал бредить о счастии, как будто я для него создан. Должно было мне довольствоваться независимостью».

В Болдино Пушкину пришлось провести гораздо больше времени, чем он предполагал, потому что в крае началась холера и на дорогах были выставлены карантинные посты. Это чрезвычайно мучило Пушкина, зато в эту осень (вошедшую в историю русской литературы как болдинская) он закончил роман «Евгений Онегин», написал маленькие трагедии – «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Каменный гость» и «Пир во время чумы», «Сказку о попе и о работнике его Балде», «Повести Белкина», «Историю села Горюхина».

«В душе была усталость от беспутной холостой жизни, жажда тишины, семейного уюта, – писал Вересаев, – поворачивать было поздно. И Пушкин как зачарованный шел к роковой цели. За неделю до свадьбы он писал

другу: „Все, что бы ты мог сказать мне в пользу холостой жизни и противу женитьбы, все уже мною передумано. Я хладнокровно взвесил выгоды и невыгоды состояния, мною избираемого. Молодость моя прошла шумно и бесплодно. До сих пор я жил иначе, как обыкновенно живут. Счастья мне не было. „Счастье – только на избитых тропках“. Мне за тридцать лет. В тридцать лет люди обыкновенно женятся, – я поступаю, как люди, и вероятно не буду в том раскаиваться. К тому же я женюсь без упоения, без ребяческого очарования. Будущность является мне не в розах, но в строгой наготе своей. Горести не удивят меня: они входили в мои домашние расчеты. Всякая радость будет мне неожиданностью“. Последние недели перед свадьбой в душе Пушкина была большая грусть и большая тоска. У друга его Нащокина как-то собрались цыганки, пели. Пушкин попросил цыганку Таню спеть ему что-нибудь на счастье; но у той было свое сердечное горе, она не подумала и спела грустную песню, и в пение вложила всю свою печаль. Пушкин схватился рукой за голову и зарыдал. И сказал: „Ах, эта ее песня все во мне перевернула, она мне не радость, а большую потерю предвещает!“ И уехал, ни с кем не простившись...

18 февраля 1831 года произошла свадьба в церкви Большого Вознесения на Большой Никитской. Пушкин, в противоположность последним дням, был очень радостен, смеялся, был любезен с друзьями. Но во время обряда, при обмене колец, кольцо Пушкина упало на пол. Потом у него потухла свечка. Он побледнел и сказал: «Все – плохие предзнаменования!» Вечером был большой свадебный ужин в новонанятой квартире Пушкина на Арбате. А на следующий день Пушкин встал с постели – да так весь день жены и не видел. К нему пришли приятели, он с ними заговорился, забыл про жену и пришел к ней только к обеду. Она очутилась одна в чужом доме и заливалась слезами...»

В мае 1832 года у Пушкиных родилась дочь Мария, в последующие годы – сыновья Александр и Григорий, дочь Наталья. В доме с Пушкиными жили незамужние сестры Натальи Николаевны – Александрина и Екатерина. Расходы сильно возросли. Светская жизнь требовала средств. Служба в Государственной коллегии иностранных дел давала Пушкину 5000 рублей в год, но этой суммы было недостаточно. Случалось, что Пушкин закладывал в ломбард старую шаль, чтобы уплатить срочный долг. К концу жизни долги поэта составили огромную по тем временам сумму – более 80 000 рублей. Даже морозка, которую давали умирающему Пушкину, судя по записи торговца, была взята в долг.

В 1832 году Пушкин закончил роман «Дубровский» и вплотную занялся «Историей Пугачева». В конце лета, получив на то разрешение, он объехал места, охваченные когда-то Пугачевским восстанием, посетил Казань, Оренбург, знаменитую Бердскую слободу. В 1834 году труд вышел в свет под названием, подсказанным Николаем I – «История Пугачевского бунта». Как некое его продолжение появился осенью 1836 года и роман «Капитанская дочка», надолго определивший интонацию русской прозы.

Накануне нового 1834 года Пушкин записал в дневнике: «Третьего дня я пожалован в камер-юнкеры (что довольно неприлично моим летам). Но двору хотелось, чтобы Наталья Николаевна танцевала в Аничкове... Меня спрашивали, доволен ли я моим камер-юнкерством. Доволен, потому что государь имел намерение отличить меня, а не сделать смешным, – а по мне хоть в камер-пажи, только б не заставили меня учиться французским вокабулам и арифметике». Тем не менее, поэт был уязвлен и через некоторое время подал в отставку. Правда, Жуковский сумел уговорить Пушкина взять свое прошение обратно, поскольку Николай I пригрозил в случае отставки запретить поэту работу с архивом.

В 1835 году Пушкин получил разрешение на издание журнала «Современник»; первая книга журнала вышла уже в апреле 1836 года.

Постоянная зависимость от властей тяготила поэта. Даже близкие друзья – Карамзины, Вяземский, Жуковский, чувствуя нарастающее нерасположение царя к Пушкину, начали отходить от него. К тому же, вышедший к этому времени роман «Евгений Онегин» не вызвал особенного интереса критики. О романе писали, что он «есть собрание отдельных, бессвязных заметок и мыслей о том, о сем, вставленных в одну раму, из которых автор не составит ничего, имеющего свое отдельное значение». И даже так: «Те, кои думали видеть в мыльных пузырьках, пускаемых затейливым воображением Пушкина, роскошные огни высокой поэтической фантазмагии, наконец должны признать себя жалко обманувшимися».

Давили на поэта и семейные неурядицы. Больше всего в это время ему хотелось перебраться в деревню, но этого категорически не желала Наталья Николаевна. «Главное несчастье Пушкина заключалось в том, что он жил в Петербурге и жил светской жизнью, его убившей, – писал граф В. А. Сологуб. – Пушкин находился в среде, над которой не мог не чувствовать своего превосходства, а между тем в то же время чувствовал себя почти постоянно униженным и по достатку и по значению в этой аристократической сфере, к которой он имел какое-то непостижимое пристрастие. Когда при разъездах кричали: „Карету Пушкина! – Какого Пушкина? – Сочинителя!“ – Пушкин обижался, конечно не за название, а за то пренебрежение, которое оказывалось к названию. В свете его не любили, потому что боялись его эпиграмм, на которые он не скупился, и за них он нажил себе в целых семействах, в целых партиях врагов непримиримых».

Нарастающую мрачность поэта отметил и Н. В. Гоголь. «Когда я начал читать Пушкину первые главы из „Мертвых душ“, в том виде, как они были прежде, – писал он, – то Пушкин, который всегда смеялся при моем чтении (он же был охотник до смеха), начал понемногу становиться все сумрачнее, сумрачнее, а наконец сделался совершенно мрачен. Когда же чтение кончилось, он произнес голосом тоски: „Боже, как грустна наша Россия!“ Меня это изумило. Пушкин, который так знал Россию, не заметил, что все это карикатура и моя собственная выдумка!»

В 1834 году в Петербург приехал француз Жорж Дантес, приемный сын нидерландского посланника барона Геккерена. Благодаря связям, он принят был сразу офицером в кавалергардский полк и быстро занял заметное положение в свете. Живость и остроумие Дантеса нравились Пушкину, француз стал бывать в доме, однако Дантес позволил себе влюбиться в Наталью Николаевну, сплетни поползли по Петербургу, а 4 ноября 1836 года Пушкин получил некий анонимный «диплом» следующего содержания: «Великие кавалеры, командоры и рыцари светлейшего Ордена Рогоносцев в полном собрании своем, под председательством великого магистра Ордена, его превосходительства Д. Н. Нарышкина, единогласно выбрали Александра Пушкина заместителем великого магистра Ордена Рогоносцев и историографом ордена». Такие же письма получили многие знакомые Пушкина, в том числе упомянутый в письме Нарышкин, муж красавицы Марии Антоновны, находившейся в долголетней связи с императором Александром I. Заподозрив в случившемся козни барона Геккерена, Пушкин вызвал на дуэль Дантеса, приемного его сына, поскольку вызвать на поединок самого официального посланника не мог. Впрочем, Дантес избежал дуэли, срочно устроив свой брак с сестрой Натальи Николаевны – Екатериной. При этом своих ухаживаний за Натальей Николаевной он не оставил.

«Не в каждом начале уже заложен конец, – писала Н. Берберова в известной книге „Курсив мой“, – а главное, не всегда его можно увидеть, иногда он спрятан слишком хорошо. Смотри назад, в XIX век, видишь, что и смерть Пушкина, и смерть Льва Толстого (и Лермонтова), так похожие на самоубийства, тоже были заложены в их судьбе. Если бы Толстой ушел из дому сразу после „Исповеди“, он умер бы свободным человеком, изжив свою морализирующую религию. Если бы Пушкин ушел от жены, и двора, и Бенкендорфа, ему не пришлось бы искать смерти. Оба стали жертвами своей аберрации – Толстой стал жертвой своей дихотомии, Пушкин стал ясен только теперь, после опубликования Геккереновского архива: стало известно, наконец, что Наталья Николаевна не любила его, а любила Дантеса. На „пламени“, разделенном „поневоле“, Пушкин строил свою жизнь, не подозревая, что такой пламень не есть истинный пламень и что в его время уже не может быть верности только потому, что женщина кому-то „отдана“. Пушкин кончил свою жизнь из-за женщины, не понимая, что такое женщина, а уж он ли не знал ее! Татьяна Ларина жестоко отомстила ему».

«Пушкина мне удалось видеть всего еще один раз, – вспоминал И. С. Тургенев, – за несколько дней до его смерти, на утреннем концерте в зале Энгельгардт. Он стоял у двери, опираясь на косяк, и, скрестив руки на широкой груди, с недовольным видом посматривал кругом. Помню его смуглое небольшое лицо, его африканские губы, оскал белых крупных зубов, всякие бакенбарды, темные желчные глаза под высоким лбом почти без бровей – и кудрявые волосы. Он и на меня бросил беглый взгляд; бесцеремонное внимание, с которым я уставился на него, произвело,

должно быть, на него впечатление неприятное: он словно с досадой повел плечом – вообще он казался не в духе – и отошел в сторону».

26 января 1837 года Пушкин отправил барону Геккерену в высшей степени оскорбительное письмо. «...Вы, представитель коронованной главы, – писал он, – вы отечески служили сводником вашему сыну. По-видимому, всем его поведением (довольно, впрочем, неловким) руководили вы. Вы, вероятно, внушали ему нелепости, которые он брался излагать письменно. Подобно старой развратнице, вы подстерегали мою жену во всех углах, чтоб говорить ей о любви вашего незаконнорожденного или так называемого сына; и когда, больной сифилисом, он оставался дома, вы говорили, что он умирает от любви к ней».

27 января 1837 года, стреляясь с Дантесом вблизи Черной речки, поэт был смертельно ранен. Он упал на шинель, брошенную на снег для указания барьера, секунданты бросились к нему, то же хотел сделать и Дантес, но Пушкин жестом остановил его. «Я чувствую достаточно сил, – сказал он по-французски, – чтобы сделать свой выстрел». На коленях, полулежа, он прицелился и выстрелил, – пуля пробила Дантесу правую руку и попала в пуговицу. «Убил я его?» – спросил Пушкин. Д'Аршиак, секундант, ответил: «Нет, вы его ранили». – «Странно, – сказал Пушкин. – Я думал, что мне доставит удовольствие его убить, но я чувствую теперь, что нет... Впрочем, все равно... Как только мы поправимся, снова начнем...»

Ночь и следующий день прошли в мучениях. У постели умирающего сошлись друзья поэта – Жуковский, Вяземский, Данзас, А. И. Тургенев. У дома постоянно толпились люди, прослышавшие про трагическую дуэль. 29 января 1837 года в 2 часа 45 минут дня Пушкин скончался. Опасаясь невольных волнений, Николай I приказал отправить прах поэта в Михайловское тайно, ночью, в сопровождении жандарма. Что же касается семьи поэта, то в специальной «Записке о милостях» царь указал: «1. Заплатить долги. 2. Заложенное имение отца очистить от долга. 3. Вдове пансион и дочери по замужеству. 4. Сыновей в пажи и по 1500 р. на воспитание каждого по вступление на службу. 5. Сочинения издать на казенный счет в пользу вдовы и детей. 6. Единовременно 10 т». Евгений Абрамович Баратынский (Баратынский)

Родился 19 (2. III) февраля 1800 года в имении Мара Кирсановского уезда Тамбовской губернии.

Отец, генерал-адъютант, умер, когда мальчику исполнилось десять лет. Воспитывался матерью и «дядькой-итальянцем» Джачинто Боргезе. В декабре 1812 года, окончив частный пансион в Петербурге, поступил в Пажеский корпус – одно из привилегированных военно-учебных заведений того времени. Больше всего любил авантюрные и приключенческие книги. «Глориозо Ринальди-Ринальдини и в особенности Шиллеров Карл Моор разгорячали мое воображение. Разбойничья жизнь казалась для меня завиднейшею в свете, и, природно беспокойный и предприимчивый, я

задумал составить общество мстителей, имевшее целью сколько возможно мучить наших начальников».

Шалости малолетних «мстителей», как того и следовало ожидать, не привели к добру. В феврале 1816 года сын камергера Приклонского передал Баратынскому и еще одному своему приятелю ключ, подобранный к отцовскому бюро, откуда мальчишки вынули черепаховую табакерку и 500 рублей. Деньги были быстро прокатаны на извозчике и проедены на пирожках и пирожных, затем дело вскрылось. По личному распоряжению царя за «негодное поведение» Баратынский был изгнан из корпуса со строжайшим запрещением поступать на любую службу, кроме военной, да и то рядовым. «Этот случай принадлежит к тем случаям моей жизни, – писал поэт в 1823 году Жуковскому, – на которых я мог бы основать систему предопределения... Я сто раз готов был лишиться себя жизни... Здоровье мое не выдержало сих душевных движений: я впал в жестокую нервическую горячку, и едва успели призвать меня к жизни...»

Почти три года Баратынский безвыездно провел в имении своего дяди – в селе Подвойском Смоленской губернии, надеясь на высочайшее прощение, но прощения не последовало. В 1818 году Баратынский вернулся в Петербург. Дельвиг ввел его в круг столичных литераторов, познакомил с Пушкиным, стихи поэта начали появляться в журналах, однако осенью того года Баратынский вынужден был все же поступить на военную службу – рядовым в лейб-гвардии Егерский полк. «Не служба моя, к которой я привык, меня угнетает, – писал он уже из полка одному из друзей. – Меня мучит противоречие моего положения. Я не принадлежу ни к какому сословию, хотя имею какое-то звание. Ничьи надежды, ничьи наслаждения мне не приличны».

В 1820 году Баратынского перевели в Нейшлотский пехотный полк, расквартированный в Финляндии. Здесь он провел почти пять лет, правда, свобода его уже не была так стеснена, как прежде, – по крайней мере, он довольно часто приезжал в Петербург. «Мы помним Баратынского в 1821 г., – писал О. Сенковский, – когда изредка являлся он среди дружеского круга, гнетомый своим несчастьем, мрачный и грустный, с бледным лицом, где ранняя скорбь провела уже глубокие следы испытанного им. Казалось, среди самой веселой дружеской беседы, увлекаемый примером других, Баратынский говорил сам себе, как говорил в стихах своих: «Мне мнится, счастлив я ошибкой, и не к лицу веселье мне...» Друзья продолжали хлопотать о судьбе Баратынского, но только в 1824 году генерал-губернатор Финляндии А. А. Закревский (по просьбе героя Отечественной войны 1812 года Дениса Давыдова), перевел опального поэта в свой штаб, находившийся в Гельсингфорсе, а весной 1825 года представил к офицерскому чину, получение которого позволило Баратынскому выйти в отставку. Он уехал в Москву, там выгодно женился на дочери генерал-майора Энгельгардта – Анастасии Львовне, богатой наследнице. Но в свете Баратынские бывали крайне редко. Отец Пушкина Сергей Львович писал: «Видим Баратынского в

Москве очень часто: не зная бессонных ночей на балах и раутах, Баратынские ведут жизнь самую простую: встают в семь утра во всякое время года, обедают в полдень, отходят ко сну в девять часов вечера и никогда не выступают из этой рамки, что не мешает им быть всем довольными, спокойными, следовательно – счастливыми».

Подолгу жил Баратынский в поместье Мураново, где дом был поставлен по его проекту. «Мой дед проявлял живейший интерес к земледелию, садоводству, огородничеству, занимался устройством лесопилки у себя в деревне», – писала позже его внучка Н. А. Обухова. В 1826 году Пушкин весьма похвально отозвался о вышедшей из печати стихотворной «финляндской повести» Баратынского «Эда»: «Что за прелесть эта Эда! Оригинальности рассказа наши критики не поймут. Но какое разнообразие! Гусар, Эда и сам поэт – всякий говорит по-своему. Перечтите сию простую восхитительную повесть, вы увидите, с какою глубиною чувств развита в ней женская любовь». И дальше: «Баратынский принадлежит к числу отличных наших поэтов. Он у нас оригинален – ибо мыслит. Он был бы оригинален и везде, ибо мыслит по-своему, правильно и независимо, между тем чувствует сильно и глубоко. Никогда не старался он малодушно угождать господствующему вкусу и требованиям мгновенной моды. Он шел своей дорогой один и независим». И еще писал Пушкин в письме к П. Вяземскому: «Но каков Баратынский? Признайся, что он превзойдет и Парни и Батюшкова. Оставим ему все эротическое поприще и кинемся каждый в свою сторону, а то спасенья нет».

В 1827 году вышел в свет отдельный сборник стихов Баратынского, в 1828 году появилась поэма «Бал» (в одной книжке с повестью Пушкина «Граф Нулин»), в 1831 году – «Наложница», а в 1835 – второе, дополненное и переработанное издание стихотворений. Огорченный закрытием журнала «Европеец», Баратынский писал в 1832 году И. Киреевскому: «От запрещения твоего журнала не могу опомниться. Что после этого можно предпринять в литературе? Я вместе с тобой лишился сильного побуждения к трудам словесным. Запрещение твоего журнала просто наводит на меня хандру и, судя по письму твоему, и на тебя навело меланхолию. Что делать! Будем мыслить в молчании и оставим литературное поприще Полевым и Булгариным». И напомнил при этом: «Виланд, кажется, говорил, что ежели б он жил на необитаемом острове, он с таким же тщанием отделял бы свои стихи, как в кругу любителей литературы. Надобно нам доказать, что Виланд говорил от сердца. Россия для нас необитаема, и наш бескорыстный труд докажет высокую моральность мышления».

В 1842 году вышел последний прижизненный сборник стихов Баратынского – «Сумерки». А осенью следующего года поэт с двумя старшими детьми отправился в большое путешествие по Европе. Он побывал в Германии, во Франции. В Париже он виделся с декабристом-эмигрантом Н. И. Тургеневым, с Н. П. Огаревым, познакомился с Ламартином, Альфредом де Виньи, Проспером Мериме, Сент-Бевом. «Я очень наслаждаюсь путешествием, –

писал он домой, – и быстрой сменой впечатлений. Железные дороги чудная вещь: это апофеоз рассеяния. Когда они обогнут всю землю, на земле не будет меланхолии». В апреле 1844 года Баратынские через Марсель отправились в Италию, любимую Баратынским с детства, благодаря воспитывавшему его «дядьке-итальянцу». «Много земель я оставил за мною; вынес я много мятежной душою радостей ложных, истинных зол: много мятежных решил я вопросов прежде, чем руки марсельских матросов подняли якорь, надежды символ».

29 июня 1844 года, находясь в Неаполе, Баратынский скорострительно скончался. Тело поэта в кипарисовом гробу перевезли на родину и похоронили в Александро-Невской лавре.

Михаил Юрьевич Лермонтов

Нет, я не Байрон, я другой,
Еще неведомый избранник,
Как он, гонимый миром странник,
Но только с русскою душой.
Я раньше начал, кончу ране,
Мой ум немного совершит,
В душе моей, как в океане,
Надежд разбитых груз лежит.
Кто может, океан угрюмый,
Твои изведать тайны? Кто
Толпе мои расскажет думы?
Я – или Бог – или никто!

Родился 3 (15) октября 1814 года в Москве.

Детские годы провел в имении бабушки Елизаветы Алексеевны Арсеньевой в Тарханах (Пензенская губерния). Мать – Мария Михайловна, урожденная Арсеньева, умерла в 1817 году от чахотки, хотя ходили слухи о добровольном ее отказе от жизни; с отцом тоже были связаны некие тайны: в 1811 году капитан Юрий Петрович Лермонтов вынужден был срочно оставить службу, одни говорили о картах, о нечестной игре, другие – о связи с неким тайным обществом. Распря между отцом и бабушкой, кто будет воспитывать ребенка, кончилась тем, что Юрий Петрович навсегда уступил это право бабушке. Богатой Арсеньева себя не считала, но на образование внука деньги у нее находились. Языкам Мишель обучался у немки Христины Ремер и у француза-гувернера Капе, в прошлом сержанта наполеоновской армии. Мальчик рос забалованным, своенравным, вспыльчивым, полным странных фантазий. «Я рожден, чтобы целый мир был зритель торжества или гибели моей», – заявил он однажды. К тому же, природа не наделила его здоровьем; трижды – в 1818, 1820 и 1825 годах – бабушка возила его на Северный Кавказ лечить минеральными водами.

«Кто мне поверит, что я знал уже любовь, имея десять лет от роду? – писал поэт в 1830 году. – Мы были большим семейством на водах кавказских: бабушка, тетушки, кузины. К моим кузинам приходила одна дама с дочерью, девочкой лет девяти. Я ее видел там. Я не помню, хороша собою была она или нет. Но ее образ и теперь еще хранится в голове моей; он мне любезен, сам не знаю почему. Один раз, я помню, я вбежал в комнату; она была тут и играла с кузиною в куклы: мое сердце затрепетало, ноги подкосились. Я тогда ни об чем еще не имел понятия, тем не менее это была страсть, сильная, хотя ребяческая: это была истинная любовь: с тех пор я еще не любил так. О! сия минута первого беспокойства страстей до могилы будет терзать мой ум! И так рано! Надо мной смеялись и дразнили, ибо примечали волнение в лице. Я плакал потихоньку без причины, желал ее видеть; а когда она приходила, я не хотел или стыдился войти в комнату... Белокурые волосы, голубые глаза, быстрые, непринужденность – нет, с тех пор я ничего подобного не видал... Горы кавказские для меня священны...»

Осенью 1827 года Арсеньевы переехали в Москву.

Историк и литератор А. З. Зиновьев и опытный педагог англичанин Виндсон превосходно подготовили Лермонтова к экзаменам: он сразу был зачислен в четвертый класс Университетского благородного пансиона. В библиотеке в то время по вечерам собирались члены литературного общества, которым руководил довольно известный поэт С. Е. Раич. Здесь Лермонтов увлекся рисованием и музыкой, хотя главным его увлечением уже тогда была поэзия. Трудно поверить, но уже в пансионе он набросал первый вариант поэмы «Демон», написал поэмы «Черкесы» и «Кавказский пленник».

Стать лучшим учеником мешал Лермонтову скверный характер. Однажды на экзамене был задан вопрос, на который воспитанник начал отвечать не совсем то, чего от него ждали. «Я вам этого не читал, – довольно резко прервал Лермонтова профессор. – И желал бы, чтобы вы отвечали мне именно то, чему я вас учил». – «Это правда, господин профессор, – ответил Лермонтов. – Того, что я вам сейчас говорю, вы нам не читали и не могли читать, потому что это слишком ново и до вас еще не дошло. Я ведь пользуюсь источниками из своей собственной библиотеки, снабженной всем современным».

В марте 1830 года в Университетском благородном пансионе побывал царь Николай I. Он остался недоволен независимостью воспитанников. В результате последовал высочайший указ о преобразовании пансиона в казенную гимназию. Как многие воспитанники, Лермонтов не захотел продолжать образование в гимназии и получил свидетельство о том, что он «обучался в старшем отделении высшего класса разным языкам, искусствам и преподаваемым в оном нравственным, математическим и словесным наукам, с отличным прилежанием, похвальным поведением и с весьма хорошими успехами». Образование Лермонтов решил продолжить за границей, но этому категорически воспротивилась бабушка и он вынужден был подчиниться.

В 1830 году с Поволжья к Москве подступила холера. Занятия в Московском университете, куда поступил Лермонтов, на время прекратились. В стихах Лермонтова той поры часты всяческие упоминания смерти, народных бедствий, чумы и холеры. Только в январе 1831 года занятия в университете были возобновлены, но к этому времени Лермонтов к учебе сильно охладел, он был полностью занят сочинением поэмы «Измаил-Бей». В итоге ему посоветовали подать заявление об уходе, и в августе 1832 года поэт уехал в Петербург. Но в Петербургском университете Лермонтову отказались зачесть предметы, сданные в Москве. Не имея желаний начинать учебу заново, в ноябре 1832 года Лермонтов, поборов сопротивление бабушки, поступил в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. «До сих пор я жил для литературной карьеры, принес столько жертв своему неблагодарному кумиру, и вот теперь я – воин, – писал он в письме к своей знакомой. – Быть может, это особенная воля Провидения; быть может, это путь кратчайший, и если он не ведет меня к моей первой цели, может быть приведет к последней цели всего существующего: умереть с пулей в груди – это стоит медленной агонии старика. Итак, если начнется война, клянусь Вам богом, что всегда буду впереди».

Светская красавица Вера Бухарина оставила впечатляющий портрет Лермонтова того времени. «Он, – писала Бухарина, – кончил учение в пансионе при Московском университете и, к большому отчаянию бабушки, упорно хочет стать военным и поступил в кавалерийскую школу подпрапорщиков. Однажды к нам приходит старая тетушка Арсеньева вся в слезах. „Батюшка мой, Николай Николаевич! – говорит она моему мужу. – Миша мой болен и лежит в лазарете школы гвардейских подпрапорщиков!“ Этот избалованный Миша был предметом обожания бедной бабушки, он последний и единственный отпрыск многочисленной семьи, которую бедная старуха видит угасающей постепенно. Она испытала несчастье потерять всех своих детей одного за другим. Ее младшая дочь мадам Лермонтова умерла последней в очень молодых годах, оставив единственного сына, который потому-то и превратился в предмет всей нежности и заботы бедной старушки. Она перенесла на него всю материнскую любовь и привязанность, какие были у нее к своим детям. Мой муж обещал доброй почтенной тетушке немедленно навестить больного юношу в госпитале школы гвардейских подпрапорщиков и поручить его заботам врача.

Корпус школы подпрапорщиков находился тогда возле Синего моста; позднее его перевели в другое место. А громадное здание, переделанное снизу доверху, стало дворцом великой княгини Марии Николаевны. Мы отправились туда в тот же день на санях. В первый раз я видела будущего великого поэта Лермонтова. Должна признаться, он мне совсем не понравился. У него был злой и угрюмый вид, его небольшие черные глаза сверкали мрачным огнем, взгляд был таким же недобрый, как и улыбка. Он был мал ростом, коренаст и некрасив, но не так изысканно и очаровательно некрасив, как Пушкин, а некрасив очень грубо и несколько даже

неблагородно. Мы нашли его не прикованным к постели, а лежащим на койке и прикрытом солдатской шинелью. В таком положении он рисовал и не соблаговолит при нашем приближении подняться. Он был окружен молодыми людьми, и, думаю, ради этой публики он и был так мрачен по отношению к нам, пришедшим его навестить. Мой муж обратился к нему со словами приветия и представил ему новую кузину. Он смерил меня с головы до ног уверенным и недоброжелательным взглядом. Он был желчным и нервным и имел вид злого ребенка, избалованного, наполненного собой, упрямого и неприятного до последней степени...»

И дальше: «Я видела его еще только один раз в Москве, если не ошибаюсь, в 1839 году; он уже написал своего „Героя нашего времени“, где в лице Печорина изобразил самого себя. На этот раз мы разговаривали довольно долго и танцевали контрданс на балу у Базилевских (мадам Базилевская, рожденная Грессер). Он приехал с Кавказа и носил пехотную армейскую форму. Выражение лица его не изменилось – тот же мрачный взгляд, та же язвительная улыбка. Когда он, небольшого роста и коренастый, танцевал, он напоминал армейского офицера, как изображают его в „Горе от ума“ в сцене бала. У него было болезненное самолюбие, которое причиняло ему живейшие страдания. Я думаю, что он не мог успокоиться оттого, что не был красив, пленителен, элегантен. Это составляло его несчастье. Душа поэта плохо чувствовала себя в небольшой коренастой фигуре карлика. Больше я его не видела и была очень потрясена его смертью, ибо малая симпатия к нему самому не мешала мне почувствовать сердцем его удивительную поэзию и его настоящую ценность. Я знала того, кто имел несчастье его убить, – незначительного молодого человека, которого Лермонтов безжалостно изводил... Ожесточенный непереносимыми насмешками, он вызвал его на дуэль и лишил Россию ее поэта, лучшего после Пушкина...»

Кстати, сам Лермонтов не раз говорил, что судьба послала ему «общую армейскую наружность»

22 ноября 1834 года Лермонтов был произведен в офицеры и выпущен в лейб-гвардии гусарский полк, стоявший в Царском Селе. Впрочем, там он появлялся только на дежурствах, – все основное время занимала жизнь в свете. Когда вечером 27 января 1837 года по Петербургу разнеслась весть о том, что Пушкин стрелялся на дуэли и смертельно ранен, Лермонтов написал стихи, которые чрезвычайно быстро распространились в сотнях списках по всему Петербургу. Разгневанный царь приказал немедленно перевести Лермонтова из гвардии в Нижегородский драгунский полк, стоявший на Кавказе. В итоге почти весь год Лермонтов провел в переездах. К месту назначения он не слишком торопился, предпочитая проводить время в Пятигорске среди столичных жителей, приехавших туда на воды. Только в сентябре через Ставрополь и укрепление Ольгинское Лермонтов добрался до Тамани, чтобы морем плыть в Геленджик, – в отряд генерала Вельяминова. Да и там поэт «странствовал, одетый по-черкесски, с ружьем за плечами; ночевал в чистом поле, засыпал под крик шакалов». Одно время

он собирался ехать в Персию, потом в Мекку, потом собирался пойти в Хивинский поход с Перовским, – но судьба его вдруг изменилась. В Дидубе (под Тифлисом) делая смотр войсковым частям Кавказского корпуса, в который входили и четыре эскадрона Нижегородского полка, прибывший на Кавказ царь Николай I нашел их в особенно хорошем состоянии, что, разумеется, ему понравилось. Благодаря хорошему настроению царя и многочисленным энергичным хлопотам старой Арсеньевой и поэта Жуковского, Лермонтова перевели в Гродненский гусарский полк, стоявший неподалеку от Новгорода. Но и в казармах Гродненского полка Лермонтов не задержался: в апреле 1838 года по ходатайству все той же любящей и неутомимой бабушки его перевели в лейб-гвардии гусарский полк.

«В течение месяца, – писал Лермонтов в письме, уже из Петербурга, – на меня была мода, меня наперерыв отбивали друг у друга. Весь этот народ, которому доставалось от меня в моих стихах, старается осыпать меня лестью. Самые хорошенькие женщины выпрашивают у меня стихов и хвастаются ими, как триумфом. Тем не менее, я скучаю. Было время, когда я, в качестве новичка, искал доступа в это общество; это мне не удалось: двери аристократических салонов закрылись предо мной; а теперь в это же самое общество я вхожу уже не как искатель, а как человек, добившийся своих прав. Я возбуждаю любопытство, передо мной заискивают. Меня всюду приглашают, а я и вида не подаю, что хочу этого. Согласитесь, что все это может опьянять; к счастью, моя природная лень берет верх, и мало-помалу я начинаю находить все это несносным».

В «Литературных прибавлениях» к «Русскому инвалиду» появилась «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», затем вышел сборник «Стихотворения М. Лермонтова». Поэт всерьез начал подумывать об отставке, чтобы заняться литературной деятельностью. Однако, жизнь продолжал вести рассеянную. «У княгини Ш., – вспоминал И. С. Тургенев, – я, весьма редкий и непривычный посетитель светских вечеров, лишь издали, из уголка, куда я забился, наблюдал за быстро вошедшим в славу поэтом. Он поместился на низком табурете перед диваном, на котором, одетая в черное платье, сидела одна из тогдашних столичных красавиц, белокурая графиня М. П. – рано погибшее, действительно прелестное создание. На Лермонтове был мундир лейб-гвардии гусарского полка; он не снял ни сабли, ни перчаток – и, сгорбившись и насупившись, угрюмо посматривал на графиню. Она мало с ним разговаривала и чаще обращалась к сидевшему рядом с ним графу Ш., тоже гусару. В наружности Лермонтова было что-то зловещее и трагическое; какой-то сумрачной и недоброй силой, задумчивой презрительностью и страстью веяло от его смуглого лица, от его больших и неподвижно-темных глаз. Их тяжелый взор странно не согласовывался с выражением почти детски нежных и выдававшихся губ. Вся его фигура, приземистая, кривоногая, с большой головой на сутулых широких плечах возбуждала ощущение неприятное; но присущую мощь тотчас сознавал всякий. Известно,

что он до некоторой степени изобразил самого себя в Печорине. Слова: „Глаза его не смеялись, когда он смеялся“ и т. д. – действительно, применялись к нему. Помнится, граф Ш. и его собеседница внезапно засмеялись чему-то и смеялись долго; Лермонтов тоже засмеялся, но в то же время с каким-то обидным удивлением оглядывал их обоих. Несмотря на это, мне все-таки казалось, что и графа Ш. он любил как товарища, и к графине питал чувство дружелюбное. Не было сомнения, что он, следуя тогдашней моде, напустил на себя известного рода байроновский жанр, с примесью других, еще худших капризов и чудачеств.

И дорого же он поплатился за них!

Внутренне Лермонтов, вероятно, скучал глубоко; он задыхался в тесной сфере, куда его втолкнула судьба. На бале Дворянского собрания ему не давали покоя, беспрестанно приставали к нему, брали его за руки; одна маска смеялась другою, а он почти не сходил с места и молча слушал их писк, поочередно обращая на них свои сумрачные глаза...»

Манеры и характер Лермонтова действительно сильно ему мешали. На новогоднем балу 1840 года он неоправданно резко обошелся с дочерьми Николая I, спрятавшимися под маскарадными костюмами, – якобы не узнал их. 18 февраля того же года на балу у графини Лаваль столкнулся с Эрнестом Барантом, сыном французского посланника. «Если бы я был в своем отечестве, то знал бы, как кончить дело», заметил Барант. Разумеется, Лермонтов принял вызов и в тот же день за Черной речкой на Парголовской дороге состоялся их поединок. После первого выпада у Лермонтова сломалась шпага, Барант слегка оцарапал его. Когда перешли на пистолеты, француз стрелял первым и промахнулся; Лермонтов выстрелил в воздух. В результате сын посланника вынужден был вернуться во Францию, а Лермонтов попал под арест. Белинский, навестивший поэта на гауптвахте, писал В. П. Боткину: «Недавно был я у него в заточении и в первый раз разговорился с ним от души. Глубокий и могучий дух! Как он верно смотрит на искусство, какой глубокий и чисто непосредственный вкус изящного!» Между прочим, разговор между критиком и поэтом состоялся о романах Фенимора Купера, которые оба чрезвычайно высоко ценили. Военному суду до романов, правда, дела не было: Лермонтов был лишен чинов, дворянского достоинства и прав состояния и был разжалован в рядовые. Даже царю это показалось чересчур. По высочайшему повелению Лермонтова просто перевели в армейский Тенгинский полк, находившийся на Кавказе, где в то время постоянно происходили стычки с незамирными горцами.

В мае 1840 года вышел отдельным изданием роман «Герой нашего времени», материалом для которого послужили кавказские впечатления поэта. Но неизданной оставалась поэма „Демон“. Знаменитую поэму Лермонтов начал писать в четырнадцать лет и писал, в сущности, всю жизнь. Известно семь редакций поэмы, значительно отличавшихся друг от друга. Сперва Лермонтов задумал поэму о монахини, в которую влюбляется Демон

и губит ее из ненависти к ангелу. Затем, в 1832 году, он пытался приурочить действие поэмы ко времени пленения евреев в Вавилоне. Действие в пятой редакции поэмы вообще происходило на берегу моря. Но, в конце концов, в поэму мощно вторгся Кавказ, а безликая монахиня превратилась в красавицу Тамару. Что же касается первой строфы: «Печальный демон, дух изгнания...», то она появилась еще в первой редакции.

«В начале 1839 года, – писал один из исследователей творчества Лермонтова И. Л. Андроников, – поэма обратила внимание высших кругов, близких к императорскому дому. Ею заинтересовалась императрица. Ввиду того, что успех „Демона“ при дворе мог повлиять на цензуру, Лермонтов заново пересмотрел текст седьмой редакции, внес в него новые исправления и исключил диалог о Боге («Зачем мне знать твои печали?».– этот текст не мог получить одобрения). Исправленный и каллиграфически переписанный текст, так называемый «придворный список», был представлен ко двору, 8–9 февраля прочитан императрицей и возвращен автору.

Цензурного разрешения не последовало.

После этого к работе над «Демоном» Лермонтов больше не возвращался, поэтому последнюю – восьмую – редакцию поэмы следует датировать началом 1839 года, а вовсе не 1841 годом – дата, возникающая по недоразумению. В 1841 году, уже после гибели Лермонтова, воспитатель великих князей, родственник поэта генерал А. И. Философов заказал новую копию с автографа «Демона» с тем, чтобы представить ее ко двору наследника. Впоследствии, когда автограф Лермонтова пропал, эта копия обрела значение первоисточника, а время ее изготовления по ошибке было отнесено к созданию последней редакции поэмы.

Поскольку в 1842 году российская цензура запретила «Демона» окончательно (Краевскому удалось опубликовать в «Отечественных записках» только отрывки), Философов решил напечатать поэму за границей по-русски, с тем, чтобы потом, в Петербурге, раздать экземпляры «высоким особам» все с той же целью – отмены цензурного запрещения. Он осуществил этот план в 1856 году, напечатав поэму в Германии, в Карлсруэ. В основу издания был положен «придворный список». В том же году в Берлине поэма была напечатана по не дошедшему до нас списку, разночтения которого были учтены во втором философском издании (1857). В это второе карлсруйское издание внесен диалог о Боге, отсутствовавший в автографе (так как с него снимался список, предназначенный для императрицы). Очевидно, Философов знал, что диалог исключен был самим Лермонтовым по необходимости. Так возникли два текста «Демона» и продолжавшийся более ста лет спор редакторов, по какому из них печатать поэму».

В июне 1840 года Лермонтов прибыл в Ставрополь.

Вместо того, чтобы отправить поэта на побережье, где опасность была особенно велика, командующий кавказской линией генерал П. Х. Граббе прикомандировал Лермонтова к отряду генерал-лейтенанта А. В. Галафеева

– для участия в походе в Малую Чечню. 11 июля у реки Валерик произошло сражение, описанное Лермонтовым в стихотворном послании к В. А. Лопухиной. А в октябре Лермонтов сообщал брату Лопухиной: «Пишу тебе из крепости Грозной, в которую мы, то есть отряд, возвратился после 20-дневной экспедиции в Чечне. Не знаю, что будет дальше, а пока судьба меня не очень обижает: я получил в наследство от Дорохова, которого ранили, отборную команду охотников, состоящую из ста казаков – разный сброд, волонтеры, татары и проч., это нечто вроде партизанского отряда, и если мне случится с ним удачно действовать, то авось что-нибудь дадут; я ими только четыре дня в деле командовал и не знаю еще хорошенько, до какой степени они надежны; но так как, вероятно, мы будем еще воевать целую зиму, то я успею их раскусить. Вот тебе все обо мне самое интересное».

В начале 1841 года, получив отпуск, Лермонтов последний раз побывал в Петербурге. «Пылкая молодость, жадная впечатлений бытия, самый род жизни, – вспоминал Белинский, – отвлекали его от мирных кабинетных занятий, от уединенной думы, столь любезной музам; но уже кипучая натура его начала устаиваться, в душе пробуждалась жажда труда и деятельности, а орлиный взор спокойнее стал вглядываться в глубь жизни. Уже затевал он в уме, утомленном суетою жизни, создания зрелые; он сам говорил нам, что замыслил написать романтическую трилогию, три романа из трех эпох жизни русского общества (века Екатерины II, Александра I и настоящего времени), имеющие между собой связь и некоторое единство, по примеру куперовской тетралогии...»

Однако, характер Лермонтова вовсе не стал мягче и покладистее. В апреле поэт без приглашения появился на великосветском балу, на котором присутствовали высочайшие особы. Такой поступок опального офицера был оценен как в высшей степени неприличный и дерзкий. 10 апреля Лермонтова вызвали в Военное министерство и предложили в 48 часов отправиться в полк. Вечер у Карамзиных Лермонтов провел в крайне подавленном настроении. Он будто предчувствовал какие-то трагические события.

Вместе с Лермонтовым на Кавказ отправился его давний друг А. А. Столыпин. По пути в полк, вопреки предписанию начальства, друзья самовольно остановились в Пятигорске. В это время там находилось много раненых и отдыхающих офицеров. Среди них оказался Н. Мартынов, с которым Лермонтов когда-то учился в военной школе. Со свойственной ему бесцеремонностью и в то же время изощренностью Лермонтов постоянно вышучивал Мартынова. 13 июля в доме Верзилиных оскорбленный карикатурами и эпиграммами Лермонтова Мартынов вызвал поэта на дуэль, которая и состоялась 15 (27) июля 1841 года у подножья горы Машук.

Время шло к вечеру. Огромная черная туча поднималась из-за соседней горы Бештау. Лермонтов не отказался от дуэли, но предупредил секундантов, что как когда-то в случае с Барантом, выстрелит в воздух. Когда подали знак сходитьсь, Лермонтов остался на месте, взвел курок и поднял

пистолет дулом вверх. Мартынов целился так долго, что Столыпин, секундант Лермонтова, не выдержал и крикнул: «Стреляйте, или я разведу вас!»

Раздался выстрел. Лермонтов был убит наповал.

Разразилась гроза с сильным ливнем, лишь к вечеру тело Лермонтова было перевезено в домик на окраине Пятигорска.

Узнав о дуэли, Николай I приказал «майора Мартынова посадить в Киевскую крепость на гауптвахту и предать церковному покаянию». Секунданты, впрочем, были прощены. А в метрической книге Пятигорской Скорбященской церкви осталась короткая запись: «Тенгинского пехотного полка поручик Михаил Юрьев Лермонтов 27 лет убит на дуэли 15 июля, а 17 погребен, погребение пето не было». (Церковь в то время приравнивала смерть на дуэли к самоубийству.)

В апреле 1842 года прах Лермонтова перевезли в Тарханы, где он и был погребен в часовне – фамильном склепе Арсеньевых.

Александр Сергеевич Грибоедов

Родился 4 (15) января 1795 года.

Родители были богаты, владели двумя тысячами душ крепостных.

Получил превосходное домашнее образование. В 1806 году, одиннадцати лет от роду, поступил в московский Университетский благородный пансион, затем в университет. К 1812 году прошел три факультета – словесный, юридический и математический. Владел французским, немецким, английским, итальянским языками, самостоятельно изучал латинский и греческий, впоследствии – персидский, арабский, турецкий. Превосходно играл на фортепьяно, сам сочинял оригинальные музыкальные композиции. Известный бретер Якубович, на дуэли простреливший поэту руку, в сердцах крикнул ему: «Хоть на фортепьянах стучать не будешь!»

Продолжить образование Грибоедову помешала война: он добровольцем записался на военную службу – корнетом в Московский гусарский полк. Впрочем, всю кампанию провел в резерве, в Казанской губернии. Только в декабре 1812 года Грибоедова перевели в Иркутский гусарский полк под команду полковника П. А. Кологривова. Жил он настоящей гусарской жизнью – много кутил, озорничал. В Брест-Литовске въехал верхом на лошади на второй этаж, на бал, куда его не пригласили; в другой раз забрался в польский костел во время богослужения и стал играть на органе. Играл он так, что всех восхитил, но в самый благостный момент внезапно перешел на «Камаринскую».

В 1816 году Грибоедов вышел в отставку и определился на статскую службу в Коллегию иностранных дел в Петербурге. Слава отъявленного волокиты не мешала Грибоедову заниматься литературой. В 1817 году, в соавторстве с П. А. Катениным, написал пьесу «Студент». Правда, на сцене пьеса не появилась, как и последовавшие за нею – «Своя семья, или Замужняя невеста», «Притворная неверность», «Кто брат, кто сестра, или Обман за обманом». Честолюбивый и энергичный, Грибоедов успевал всюду. Многим

в те годы он казался (по свидетельству Д. И. Завалишина) человеком, принесшим из военной жизни репутацию именно отчаянного повесы. Дурачества его становились темой множества анекдотов, а за веселую охоту за чужими женами его не раз с горечью и настойчивостью упрекал Каховский. Одна из таких интриг привела к нашумевшей двойной дуэли Шереметева с графом Завадовским и Якубовича с Грибоедовым. На дуэли Шереметев был убит. Якубовича, признанного зачинщиком, перевели на Кавказ, Завадовского выслали за границу, только Грибоедов не понес никакого наказания, что дало повод к неким слухам, выставившим его не в лучшем свете. На историю эту, остро пережитую Грибоедовым, наложился еще крестьянский бунт в поместье матери, жестоко подавленный войсками. Летом 1818 года, нуждаясь в средствах, Грибоедов определился секретарем Персидской миссии при главнокомандующем Отдельным Кавказским корпусом генерале А. П. Ермолове. Ехать в Персию ему, правда, не хотелось. «Представь себе, – писал он С. Н. Бегичеву, своему близкому другу, – что меня непременно хотят послать – куда бы ты думал? – В Персию, и чтоб жил там. Как я не отнекиваюсь, ничто не помогает; однако я третьего дня по приглашению нашего Министра был у него и объявил, что не решусь иначе (и то не наверно), как если мне дадут два чина тотчас при назначении меня в Тегеран. Он поморщился, а я представлял ему с всевозможным французским красноречием, что жестоко бы было мне цветущие лета свои провести между дикообразными азиатцами, в добровольной ссылке, на долгое время отлучиться от друзей, от родных, отказаться от литературных успехов, которых я здесь вправе ожидать, от всякого общения с просвещенными людьми, с приятными женщинами, которым я сам могу быть приятен (не смейся: я молод, музыкант, влюбчив и охотно говорю вздор, чего же им еще надобно?), словом, – невозможно мне собою пожертвовать без хотя несколько соразмерного возмездия. – „Вы в уединении усовершенствуете ваши дарования“. – „Нисколько, В. С., музыканту и поэту нужны слушатели, читатели; их нет в Персии“.

Грибоедову предоставили выбор: отправиться в русскую миссию в Союз Американских соединенных штатов или же на Кавказ и в Персию. Подумав, он выбрал последнее. Но столицу покинул с тяжелым сердцем, рассеявшись лишь в Тифлисе, где часто посещал дом П. Н. Ахвердовой, воспитывавшей юную княжну Нину Чавчавадзе, впоследствии ставшую его женой; там же Грибоедов подружился с грузинскими поэтами – А. Чавчавадзе (будущим тестем), И. Бараташвили, Г. Орбелиани.

В феврале 1819 года русская дипломатическая миссия прибыла в Тавриз – резиденцию наследника шахского престола Аббаса-Мирзы, затем была принята шахом в Тегеране. «Пребывание в Персии и уединенная жизнь в Тавризе сделали Грибоедову большую пользу, – писал позже Бегичев. – Сильная воля его укрепилась, всегдашнее любознание его не имело уже преград и рассеяния. Он много читал по всем предметам наук и много учился». По Гюлистанскому трактату, русская миссия имела право требовать

у персов возвращения русских солдат – раненых и дезертиров. «Встретясь с двумя или тремя сарбазами (русскими солдатами, поступившими в персидское регулярное войско) на улице, – писал Бегичев, – он (Грибоедов) начал говорить им, что они поступили подло, изменив присяге и отечеству и проч., вероятно, очень убедительно, потому что солдаты были тронуты этим и спросили его: ручается ли он, что они не будут наказаны, если возвратятся в Грузию? Грибоедов ответил, что ручаться за это не может, но постарается об этом; впрочем, если они и потерпят за преступление, то лучше один раз потерпеть, но очистить свою совесть». В результате осенью 1819 года Грибоедов привел в Тифлис целый отряд из семидесяти сарбазов, за что был представлен генералом Ермоловым к награде.

В Тифлисе Грибоедов начал работу над комедией «Горе от ума». Известно, что с ее созданием связан некий вещий сон. В этом сне поэт увидел своего близкого друга, который спросил, написал ли он для него что-нибудь? Поскольку Грибоедов ответил, что вообще уже давно отклонился от всяких писаний, друг покачал головой: «Дайте мне обещание, что напишите». – «Что же вам угодно?» – «Сами знаете». – «Когда же должно быть готово?» – «Через год непременно». – «Обязываюсь», – ответил Грибоедов. В марте 1823 года, находясь в отпуске в тульском имении своего друга, Грибоедов действительно завершил комедию. «Последние акты „Горя от ума“, – вспоминал Бегичев, – написаны в моем саду, в беседке. Вставал он в это время почти с солнцем, являлся к нам к обеду и редко оставался с нами долго после обеда, но почти всегда скоро уходил и приходил к чаю, проводил с нами вечер и читал написанные им сцены. Мы всегда с нетерпением ждали этого времени. Не имею довольно слов объяснить, до чего приятны были для меня частые (а особенно по вечерам) беседы наши вдвоем. Сколько сведений он имел по всем предметам! Как увлекателен и одушевлен он был, когда открывал мне, так сказать, на распашку свои мечты и тайны будущих своих творений, или когда разбирал творения гениальных поэтов! Много он рассказывал мне о дворе персидском и обычаях персиян, их религиозных сценических представлениях на площадях и проч., а также об Алексее Петровиче Ермолове и об экспедициях, в которых он с ним бывал. И как он был любезен и остер, когда бывал в веселом расположении».

«Он был скромнен и снисходителен в кругу друзей, – подтверждал П. А. Каратыгин, – но сильно вспыльчив, заносчив и раздражителен, когда встречал людей не по душе. Тут он готов был придирается к ним из пустяков, и горе тому, кто попадался к нему на зубок... Когда Грибоедов привез в Петербург свою комедию, Николай Иванович Хмельницкий просил его прочесть ее у него на дому. Грибоедов согласился. По этому случаю Хмельницкий сделал обед, на который, кроме Грибоедова, пригласил нескольких литераторов и артистов. В числе последних были: Сосницкий, мой брат и я. Хмельницкий жил тогда баринном, в собственном доме на Фонтанке у Симеоновского моста. В назначенный час собралось у него небольшое общество. Обед был роскошен, весел и шумен. После обеда все

вышли в гостиную, подали кофе, и закурили сигары. Грибоедов положил рукопись своей комедии на стол; гости в нетерпеливом ожидании начали придвигать стулья; каждый старался поместиться поближе, чтобы не проронить ни одного слова. В числе гостей тут был некто Василий Михайлович Федоров, сочинитель драмы „Лиза, или Торжество благодарности“ и других давно уже забытых пьес. Он был человек очень добрый, простой, но имел претензии на остроумие. Физиономия его не понравилась Грибоедову или, может быть, старый шутник пересолил за обедом, рассказывая неостроумные анекдоты, только хозяину и его гостям пришлось быть свидетелями довольно неприятной сцены. Покуда Грибоедов закуривал свою сигару, Федоров, подойдя к столу, взял комедию (которая была переписана довольно разгонисто), покачал ее на руке и с простодушной улыбкой сказал: „Ого! Какая полновесная! Это стоит моей Лизы“. Грибоедов посмотрел на него из-под очков и отвечал сквозь зубы: „Я пошлостей не пишу“. Такой неожиданный ответ, разумеется, огорошил Федорова, и он, стараясь показать, что принимает этот резкий ответ за шутку, улыбнулся и тут же поторопился прибавить: „Никто в этом не сомневается, Александр Сергеевич; я не только не хотел обидеть вас сравнением со мной, но, право, готов первый смеяться над своими произведениями“. – „Да, над собой-то вы можете смеяться, сколько вам угодно, а я над собой – никому не позволю“. – „Помилуйте, я говорил не о достоинствах наших пьес, а только о числе листов“. – «Достоинств моей комедии вы еще не можете знать, а достоинства ваших пьес всем давно известны». – «Право, вы напрасно это говорите, я повторяю, что вовсе не думал вас обидеть». – «О, я уверен, что вы сказали не подумавши, а обидеть меня вы никогда не сможете». Хозяин от этих шпилек был как на иголках, и, желая шуткой как-нибудь замять размолвку, которая принимала не шуточный характер, взял за плечи Федорова и, смеясь, сказал ему: «Мы за наказание посадим вас в задний ряд кресел». Грибоедов между тем, ходя по гостиной с сигарой, отвечал Хмельницкому: «Вы можете его посадить, куда вам угодно, только я при нем своей комедии читать не буду». Федоров покраснел до ушей и походил в эту минуту на школьника, который силится схватить ежа – и где его не тронет, везде уколется...»

При жизни Грибоедова комедия «Горе от ума» не была ни напечатана полностью, ни поставлена на сцене. «Первое начертание этой сценической поэмы, – с горечью писал Грибоедов, – как оно родилось во мне, было гораздо великолепнее и высшего значения, чем теперь в суетном наряде, в который я принужден был облечь его. Ребяческое удовольствие слышать стихи мои в театре, желание им успеха заставили меня портить мое создание сколько можно было». Но даже отрывки, появившиеся в альманахе Булгарина «Русская Талия на 1825 год», сделали Грибоедова знаменитым. Пьеса ходила по столице в бесчисленных списках, состоялись даже два нелегальных издания, выполненные, скорее всего, в каких-то полковых типографиях. Военные и штатские писари зарабатывали немалые деньги,

копируя списки комедии. Все же первым отдельным изданием она вышла лишь в немецком переводе в 1831 году в Ревеле. Наконец, в 1833 году Николай I разрешил напечатать комедию в России – «чтобы лишить ее привлекательности запретного плода».

Ничего равного комедии Грибоедов больше не написал.

Может быть, не менее высокими достоинствами отличались пьесы «1812 год», или «Грузинская ночь», или «Радомист и Зенобия», но они дошли до нас только в отрывках. «Сохранился план драмы „1812 год“, – замечал В. Вересаев, – которую собирался написать Грибоедов. Героем драмы должен был быть крепостной человек М. Вот окончание плана. Москва уже во власти французов. „Село под Москвой. Является М. Всеобщее ополчение без дворян. Трусость служителей правительства. Зимние сцены преследования неприятеля и ужасных смертей. Подвиги М. Эпилог. Вильна. Отличия, искательства; вся поэзия великих подвигов исчезает. М. в пренебрежении у начальников. Отпускается восвояси с отеческими наставлениями к покорности и послушанию. Село или развалины Москвы. Прежние мерзости. М. возвращается под палку господина. Отчаяние, самоубийство“. Так подойти в то время к „славной эпопее двенадцатого года“ мог только писатель, настроенный очень революционно».

В январе 1825 года Грибоедов писал Катенину: «Искусство в том только и состоит, чтоб подделываться под дарование, а в ком более вытверженного, приобретенного потом и сидением искусства угождать теоретикам, т. е. делать глупости, в ком, говорю я, более способности удовлетворять школьным требованиям, условиям, привычкам, бабушкиным преданиям, нежели собственной творческой силы, – тот, если художник, разбей свою палитру, и кисть, резец или перо свое брось за окошко; знаю, что всякое ремесло имеет свои хитрости, но чем их менее, тем скорее дело, и не лучше ли вовсе без хитростей? *Nugae difficiles*. (Замысловатые пустяки). Я как живу, так и пишу свободно и свободно».

В мае 1825 года Грибоедов прибыл в Киев. Многие, тогда видевшие его, отмечали мрачное настроение поэта. Он сам писал Бегичеву: «Скажи мне что-нибудь в отраду, я с некоторых пор мрачен до крайности. – Пора умереть! Не знаю, отчего это так долго тянется. Тоска неизвестная! Воля твоя, если это долго меня промучит, я никак не намерен вооружиться терпением, пускай оно остается добродетелью тяглого скота. Представь себе, что со мною повторилась та ипохондрия, которая выгнала меня из Грузии, но теперь в такой усиленной степени, как еще никогда не бывало... Ты, мой бесценный Степан, любишь меня тоже, как только брат может любить брата, но ты меня старше, опытнее и умнее; сделай одолжение, подай совет, чем мне себя избавить от сумасшествия или пистолета, а я чувствую, что то или другое у меня впереди...»

Общение с князем Трубецким, с другими членами тайного южного общества не привело Грибоедова к декабристам. Известны его слова: убийственная болтовня! Они были сказаны как раз в адрес тех самых

«мудрецов, намечающих в пять минут все переустроить». Кроме того, рассеянный образ жизни поэта был слишком хорошо известен его друзьям. «Люди не часы, – писал он. – Кто всегда похож на себя и где найдется книга без противуречий?» Тем не менее, в январе 1826 года Грибоедов был арестован в крепости Грозной, а уже 11 февраля находился на гауптвахте Главного штаба в Петербурге, где четыре месяца провел в заключении. Ходили слухи, что поэт был вовремя предупрежден об аресте генералом А. П. Ермоловым и успел уничтожить какие-то важные бумаги. Сам Грибоедов в Следственной комиссии и в личном письме царю полностью отрекся от участия в делах тайного общества, хотя не скрывал, что «брал участие в смелых суждениях насчет правительства». Несомненно, сыграло свою роль и заступничество генерала И. Ф. Паскевича, члена Следственной комиссии. Впрочем, отношение к арестованным, по крайней мере, к той их части, что содержались не в подвалах Петропавловской крепости, а на гауптвахте Главного Штаба, нельзя было назвать чрезмерно строгим. «Невозможно описать впечатления той неожиданности, которую я был поражен, – вспоминал позже полковник И. П. Липранди. – Открывается дверь, в передней два молодые солдата учебного карабинерного полка, без боевой амуниции; из прихожей стеклянная дверь, через нее я вижу несколько человек около стола за самоваром; все это во втором ночи пополуночи меня поражало. „Вот, господа, еще вам товарищ!“ – сказал Жуковский; все глаза обратились на меня. Здесь сидели за чайным столом: бригадный генерал 18-й дивизии, Кольм; известный Грибоедов; адъютант Ермолова Воейков (оба привезенные с Кавказа), отставной подпоручик Генерального Штаба А. А. Тучков (старший брат бывшего в Москве генерал-губернатора) и предводитель дворянства Екатеринославской губернии Алексеев, человек около шестидесяти лет и, как оказалось, привезенный по ошибке вместо своего сына, гусара. Поздний чай произошел от того, что Воейков и Грибоедов были на допросе в комиссии, находящейся в крепости. Через час мы все были как старые знакомые. Предмет разговора понимается: вопросам, расспросам и взаимно сообщавшимся сведениям не было конца. Содержались мы за свой счет, обед брали из ресторации; позволено было выходить вечером с унтер-офицером для прогулки. Немногие, однако же, желали пользоваться сим; книг, набранных Грибоедовым от Булгарина, было много...»

Довольно скоро Грибоедов был освобожден – с полным «очистительным аттестатом». «Коллежский асессор Грибоедов не принадлежал к обществу (декабристов) и о существовании оно не знал, – сказано было в объяснительной записке, поданной императору. – Показание о нем сделано князем Евгением Оболенским 1-м со слов Рылеева; Рылеев же ответил, что имел намерение принять Грибоедова, но не видя его склонность ко вступлению в общество, оставил свое намерение. Все прочие его членом не почитают».

Получив прогонные деньги, поэт сразу уехал на Кавказ.

В июле 1826 года началась русско-персидская война, Грибоедов участвовал в военном походе на крепость Эривань. После падения крепости шах готов был на территориальные уступки, хотя боялся контрибуции. В результате сложных дипломатических переговоров в феврале 1828 года Персидская миссия заключила чрезвычайно важный для России Туркманчайский мир, по которому Персия навсегда уступала России Нахичеванское и Эриванское ханства и обязывалась уплатить 30 миллионов рублей контрибуции. Заслуги Грибоедова в заключении Туркманчайского мира были весьма заметны; именно его отправили в Петербург с Трактатом о мире. «Осмеливаюсь рекомендовать его, – писал императору генерал Паскевич, – как человека, который был для меня по политическим делам весьма полезен. Ему обязан я мыслью не приступать к заключению трактата прежде получения вперед части денег, и последствия доказали, что без сего долго бы мы не достигли в деле сем желаемого успеха».

15 марта 1828 года император принял Грибоедова. За успешные действия генерал Паскевич был пожалован званием графа Эриванского и миллионом рублей награды, а молодой дипломат – чином действительного статского советника, орденом Святой Анны 2-й степени с алмазами, медалью за персидскую войну и четырьмя тысячами червонцев. Все, казалось бы, складывалось для Грибоедова в высшей степени благоприятно, но некая тайная грусть мешала ему. «Случилось обедать с ним у Н. И. Греча, – вспоминал Полевой. – Входя в комнату, я увидел Грибоедова за фортепьяно; он аккомпанировал известному Този (у которого тогда еще был голос) и какому-то другому итальянцу. Дуэт кончился, и Грибоедов был окружен многими из своих знакомых, которые вошли во время игры, и не хотели прерывать музыки приветствиями к нему. Некоторые поздравляли его с успехами по службе и почестями, о чем ярко напоминали бриллианты, украшавшие грудь поэта. Другие желали знать, как он провел время в Персии. „Я там состарился, – отвечал Грибоедов, – не только загорел, почернел, почти лишился волос на голове, но и в душе не чувствую прежней молодости!“ В словах его точно виден был какой-то грустный отзвук...» О том же писал и Бегичев, к которому перед возвращением на Кавказ заезжал Грибоедов. «Во время пребывания его у меня он был чрезвычайно мрачен, я ему заметил это, и он взявши меня за руку, с глубокой горестью сказал: „Прощай, брат Степан, вряд ли мы с тобой более увидимся“. – „К чему эти мысли и эта ипохондрия? – возразил я. – Ты бывал и в сражениях, но Бог тебя миловал“. – „Я знаю персиян, – отвечал он. – Аллаяр-хан мой личный враг, он меня уходит! Не подарит он мне заключенного с персиянами мира“.

Летом 1828 года, прибыв в Тифлис, Грибоедов женился на Нине Чавчавадзе.

«Никогда до этого, – писал один из первых биографов поэта Н. К. Пиксанов, – он не переживал глубокого и сильного чувства. Он даже выработал себе несколько пренебрежительный взгляд на женщин. „Я враг крикливого пола“, – писал он однажды Бегичеву. „Чему от них можно научиться? – говаривал

он. – Они не могут быть ни просвещенны без педантизма, ни чувствительны без жеманства. Рассудительность их сходит в недостойную расчетливость и самая чистота нравов – в нетерпимость и ханжество. Они чувствуют живо, но не глубоко. Судят остроумно, только без основания, и, быстро схватывая подробности, едва ли могут постичь, обнять целое. Есть исключения, зато они редки; и какой дорогой ценой, какую потерю времени должно покупать приближение к этим феноменам! Словом, женщины сносны и занимательны только для влюбленных“.

Теперь Грибоедов убедился, что во многом ошибался. Правда, из-за пароксизма лихорадки, охватившей его во время бракосочетания, он уронил на пол обручальное кольцо, что смутило многих, но впервые поэт чувствовал рядом с собой по-настоящему любимого человека. Вместе с женой в начале октября прибыл он в Тавриз. Данное ему поручение было очень трудным: взыскать с персов полностью контрибуцию за прошлую войну. Он несколько раз писал в Петербург, что персидская казна пуста, а страна разорена и не следует доводить персов до крайности непомерными денежными требованиями, однако ответ из Петербурга был всегда один: взыскивать! С этой целью, оставив в Тавризе беременную жену, Грибоедов отправился в Тегеран.

О событиях, разыгравшихся в столице Персии, рассказал позже единственный уцелевший в той кровавой резне человек – первый секретарь русской миссии И. С. Мальцов. С его слов известно, что при дворе шаха, в качестве одного из самых доверенных чиновников, ведавших делами гарема, служил армянин Ходжа Мирза-Якуб Маркарьян. Это был выдающийся человек по уму, образованию и характеру, и жил он в Персии давно, уже около двадцати лет, даже принял магометанство, хотя втайне оставался христианином и мечтал вернуться на родину. Воспользовавшись пребыванием русской миссии в Тегеране, Мирза-Якуб поздно вечером явился к Грибоедову и попросил отправить себя в Эривань. Грибоедов ответил, что министр русского императора оказывает свое покровительство всегда гласно, на основании подписанного трактата, и что обращаться к нему, как к официальному посланнику, надо явно, днем, а не ночью. Мирза-Якуб ушел, но на другой день вновь явился с той же просьбой. Напрасно Грибоедов уговаривал его остаться в Тегеране, где он все еще пользуется властью и почетом, тогда как в Эривани сразу потеряет всякий вес и значение, – Мирза-Якуб стоял на своем, и Грибоедов вынужден был оставить его в доме миссии. «Он (Грибоедов) послал человека взять оставшееся в доме Мирзы-Якуба имущество, – писал позже Мальцов, – но когда вещи были уже навьючены, пришли ферраши Манучер-хана, которые увели вьюки Мирзы-Якуба к своему господину. Шах разгневался; весь двор возопил, как будто случилось величайшее народное бедствие. В день двадцать раз приходили посланцы от шаха с самыми нелепыми представлениями; они говорили, что ходжа (евнух) то же, что жена шахская, и что следовательно посланник отнял жену у шаха из его эндеруна. Грибоедов отвечал, что

Мирза-Якуб, на основании трактата, теперь русский подданный, и что посланник русский не имеет права выдать его, ни отказать ему в своем покровительстве. Персияне, увидев, что они ничего не возьмут убедительною своею логикой, прибегли к другому средству; они возвели огромные денежные требования на Мирзу-Якуба и сказали, что он обворовал казну шаха и потому отпущен быть не может. Для приведения в ясность всего дела, Грибоедов отправил его вместе с переводчиком Шах-Назаровым к Манучер-хану. Комната была наполнена ходжами, которые ругали Мирзу-Якуба и плевали ему в лицо. „Точно, я виноват, – говорил Мирза-Якуб Манучер-хану. – Виноват, что первый отхожу от шаха, но ты сам скоро за мной последуешь“. Таким образом, в этот раз, кроме ругательства, ничего не последовало.

На другой день посланник был у шаха и согласился на предложение его высочества разобрать дело Мирзы-Якуба с муэтемедом и Мирза-Абдул-Хасаном; но сие совещание отлагалось со дня на день, до тех пор, пока смерть посланника и Мирзы-Якуба сделали оное невозможным. Между тем дошло до сведения муджтехида (высшее духовное лицо) Мирзы-Месхида, что Мирза-Якуб ругает мусульманскую веру. «Как? – говорил муджтехид. – Этот человек 20 лет был в нашей вере, читал наши книги и теперь поедет в Россию, надругается над нашею верою; он изменник, неверный и повинен смерти!» Также о женщинах (бежавших из гарема в русскую миссию) доложили ему, что их насильно удерживают в нашем доме и принуждают будто бы отступить от мусульманской веры. Мирза-Месих отправил ахундов к Шахзадэ-Зилли-султану (губернатору Тегерана); они сказали ему: «Не мы писали мирный договор с Россией, и не потерпим, чтобы русские разрушали нашу веру; доложите шаху, чтобы нам непременно возвратили пленных». Зилли-султан просил их повременить, обещал обо всем донести шаху. Ахунды пошли домой и дорогой говорили народу: «Запирайте завтра базар и собирайтесь в мечетях; там услышите наше слово!»

Наступило роковое 30 число января. Базар был заперт, с самого утра народ собирался в мечети. «Идите в дом русского посланника, отбирайте пленных, убейте Мирзу-Якуба и Рустема!» – грузина, находившегося в услужении у посланника. Тысячи народа с обнаженными кинжалами вторгнулись в наш дом и кидали камень. Я видел, как в это время пробежал через двор коллежский ассессор князь Соломон Меликов, посланный к Грибоедову дядею его Манучер-ханом; народ кидал в него камнями и вслед за ним помчался на второй и третий двор, где находились пленные и посланник. Все крыши были уставлены свирепствующей чернью, которая лютыми криками изъявляла радость и торжество свое. Караульные сарбазы не имели при себе зарядов, бросились за ружьями своими, которые были складены на чердаке и уже растащены народом. С час казаки наши отстреливались, тут повсеместно началось кровопролитие. Посланник, полагая сперва, что народ желает только отобрать пленных, велел трем казакам, стоявшим у него на часах, выстрелить холостыми зарядами, и тогда только приказал заряжать

пистолеты пулями, когда увидел, что на дворе начали резать людей наших. Около 15 человек из чиновников и прислуги собрались в комнате посланника и мужественно защищались у дверей. Пытавшиеся вторгнуться силою были изрублены шашками, но в это самое время запылал потолок комнаты, служившей последним убежищем русским; все находившиеся там были убиты низверженными сверху камнями, ружейными выстрелами и кинжальными ударами ворвавшейся в комнату черни. Начался грабеж; я видел, как персияне выносили на двор добычу и с криком и дракою делили онаю между собою. Деньги, бумаги, журналы миссии, – все было разграблено». Труп Грибоедова выволокли наружу и долго с издевательствами таскали по улицам Тегерана. Обезображенное тело было узнано только по сведенному когда-то от пули Якубовича мизинцу левой руки.

Останки Грибоедова перевозились в русские пределы очень медленно.

Только 2 мая гроб прибыл в Нахичевань. А 11 июня, неподалеку от крепости Гергеры, произошла знаменательная встреча, описанная Пушкиным: «Я переехал через реку. Два вола, впряженные в арбу, подымались по крутой дороге. Несколько грузин сопровождали арбу. „Откуда вы?“ – спросил я. – „Из Тегерана“. – „Что вы везете?“ – „Грибоеда“.

Нина Чавчавадзе похоронила мужа в Тифлисе – в монастыре святого Давида. Впоследствии она поставила над могилой скульптурный памятник, начертав на нем: «Ум и дела твои бессмертны в памяти русских, но для чего пережила тебя любовь моя». Не многие, вероятно, знают, что официальная миссия, возглавляемая внуком персидского шаха Хосров-Мирзой, принесла не только официальные извинения России за смерть ее посланника, но и преподнесла Николаю I один из самых знаменитых драгоценных камней мира – алмаз «Шах». В некотором смысле – цена крови поэта.

Петр Павлович Ершов

Родился 22 (6. III) февраля 1815 года в селе Безруково Ишимского уезда Тобольской губернии. Был столь слаб, что родители, по принятому в Сибири суеверию, через окно продали его за грош нищему. Впоследствии не раз говорил: «Что мне чины и почести, когда я от рождения стою всего только грош».

Когда Ершову исполнилось десять лет, отца – станового исправника – перевели в Тобольск. Будущий поэт чрезвычайно был поражен огромными, как казалось ему, каменными домами, древним Кремлем, пустынным Чувашским мысом, вблизи которого произошло когда-то решающее сражение между войсками Ермака и хана Кучума, а особенно – многолюдной ярмаркой. В 1830 году с отличием закончил гимназию и поступил на философско-юридический факультет Петербургского университета. Студентом, впрочем, Ершов оказался не слишком усердным, удержаться в университете ему помогало своеобразное везение. Если, скажем, готовясь к экзамену по уголовному праву, он успевал выучить только

один билет, то именно этот билет ему и попался на экзамене. Закончив университет, Ершов сам не раз огорчался: «Вот я – кандидат университета, а не знаю ни одного иностранного языка».

В 1833 году профессор литературы П. А. Плетнев прямо на лекции прочел своим студентам первую часть стихотворной сказки «Конек-Горбунок», представленной студентом Ершовым в виде курсовой работы. «За горами, за лесами, за широкими морями, не на небе – на земле жил старик в одном селе. У крестьянина три сына: старший умный был детина, средний сын и так и сяк, младший вовсе был дурак. Братья сеяли пшеницу да возили в град-столицу: знать, столица та была недалече от села. Там пшеницу продавали, деньги счетом принимали и с набитою сумой возвращались домой...»

Сказка понравилась.

Плетнев нашел время показать ее Пушкину.

И Пушкину сказка понравилась, он даже поправил в ней первых четыре стиха. «Теперь этот род сочинений можно мне и оставить, – якобы сказал он друзьям. – Этот Ершов владеет своим стихом, как крепостным мужиком».

В 1834 году сказка «Конек-Горбунок» была напечатана в журнале «Библиотека для чтения». В том же году сказка вышла отдельной книжкой, принеся девятнадцатилетнему поэту широкую известность. При жизни поэта «Конек-Горбунок» выдержал не менее семи изданий, породив при этом массу самых разных подражаний. Только строгий В. Г. Белинский не преминул проворчать что-то про подделку под народное творчество. Впрочем, он и сказки Пушкина считал такой же подделкой.

Летом 1836 года, по окончании университета, Ершов получил назначение в родную ему гимназию. В Тобольске поэт близко сдружился с композитором А. А. Алябьевым, встречался с некоторыми сосланными туда декабристами. Известно, что именно через Ершова был переправлен в Петербург стихотворный ответ Одоевского на послание Пушкина. В Тобольске Ершов написал быль «Сибирский казак», сочинил поэму «Сузге» и рассказ «Купец Базим, или изворотливость бедняка». Однако это оказались вполне ординарные сочинения, ничего равного сказке «Конек-Горбунок» Ершов больше уже никогда не создал, хотя замыслов у него было много. Например, он долгое время собирался написать большой сибирский роман, во всех смыслах – сибирский, взяв за образец популярные тогда романы Фенимора Купера; продумывал огромную сказочную эпопею «Иван-Царевич – сказка сказок в десяти книгах и ста песнях». Может быть он даже что-то успел сделать, – это неизвестно. Архив поэта, насчитывавший, по словам сына, семь солидных, хорошо переплетенных томов, до сих пор не найден.

В Тобольске Ершов горячо влюбился в Серафиму Александровну Лещову – вдову, обремененную четырьмя детьми. Дочь бывшего директора Тобольской гимназии, красивая, образованная, но при этом практичная, не сразу решилась на брак с молодым, на ее взгляд, двадцатитрехлетним учителем. Однако 8 сентября 1839 года свадьба все-таки состоялась.

Женитьба сильно изменила жизнь Ершова.

Теперь он постоянно должен был заботиться о зарботке. Мечты о свободных этнографических исследованиях, которыми он себя прежде тешил, отпали сами собой, слава не прельщала, а может, не казалась уже возможной. «На „Коньке-Горбунке“, – не раз говорил Ершов, – воочию сбывается русская пословица: не родись ни умен, ни пригож, а родись счастлив. Вся моя заслуга тут, что мне удалось попасть в народную жилу». Ко всему прочему сильно осложнились отношения Ершова с директором гимназии Е. М. Качуриным. «Являясь на лекции преподавателей не более одного раза в неделю, – вспоминал о Качурине один из его учеников, – был горд с ними и никогда не подавал им руки». Неприязненные отношения с директором зашли так далеко, что Ершов всерьез подумывал об отъезде из Тобольска. Этому помешали лишь личные обстоятельства – рождение и смерть дочери, да уже налаженный быт, который поэту не хотелось ломать. «Он (Ершов) сделал бы для Сибири много, – жалел позже известный исследователь и общественный деятель Г. Н. Потанин, – если б занялся естественными науками или восточными языками, или снял бы с себя официальный сюртук, обратился в обыкновенного смертного и отдался изучению бытовой жизни простого народа; деля с народом труды и досуг в обозе, на белкованье, на полатях, участвуя на его свадьбах и сходках, он мог бы сделаться народным поэтом Сибири». А так, укорял поэта Потанин, «из него вышел просто чиновник, присосавшийся к жене и к семейной жизни, к тихой уездной жизни и по временам пописывающий стихи». Впрочем, у Потанина и к самой Сибири нашлись укоры: «Она погубила его, эта „северная красавица“, которая однако была холодная, грязная и грубая красавица, колотившая своего любовника кулаками».

Увлечись педагогикой, Ершов пытался создать новый гимназический курс, обдумывал кое-какие реформы в словесности, – однако все эти его работы не были напечатаны, и судить о них сейчас можно только по кратким воспоминаниям его учеников.

В 1844 году Ершова назначили инспектором гимназии, но сам он мечтал о другой должности. «В июне месяце директор Тобольской гимназии Качурин отъезжает в Петербург, – откровенно писал он в столицу бывшему своему профессору П. А. Плетневу. – Он взял отпуск на три месяца, и, слышно, в Тобольск не воротится. Потому на место его есть много претендентов, и об одном из них генерал-губернатор Западной Сибири передал уже докладную записку г. Министру. Между тем место директора в Тобольске – была единственная цель службы моей в Сибири. И казалось бы, что 13 лет службы не без пользы по учебному ведомству давали мне право на эту должность. Однако ж ходатайство одного моего родственника у князя, в бытность его в Петербурге, не имело успеха: князь Горчаков отозвался, что получение подобной должности зависит не от него, а от г. Министра, хотя тут он прибавил, что если почему-либо представлено будет ему назначение директора, то он готов рекомендовать меня. Я удовольствовался бы и этою слабою надеждою, если б не приходило на мысль, что г. Качурин, по

нерасположению своему ко мне, предварительно не отрекомендовал меня г. Министру с невыгодной стороны. Удостоите меня, Петр Александрович, хотя двумя строками ответу: могу ли я надеяться на Ваше ходатайство у г. Министра? Вы успокоите меня и сделаетесь вновь благодетелем целого семейства».

Оставшись в литературе автором одной (правда, знаменитой) сказки, Ершов относился к этому достаточно спокойно, видимо, понимал пределы отпущенного ему дара. «Вы намекнули о литературных трудах моих, – писал он Плетневу. – Что сказать мне на это, разве только то, что они кончились с переходом Современника в другую редакцию (в руки Некрасова). По моему понятию в литературе я охотно участвовал бы в журнале, подобном Вашему Современнику; всякое же другое направление журнала не по мне. Принадлежа долгое время не к деятелям, а к наблюдателям литературы, я научился смотреть на вещи беспристрастно, и литературная известность в настоящее время не слишком лестна даже и для убогого таланта. А поэзия?... Она, кажется, схоронена вместе с незабвенным Пушкиным и Лермонтовым... Лебединая песнь Жуковского заглушена журнальными крикунами, и грустно, если она прервется, подобно песне Гоголя... Одна надежда на светлое будущее, на явление какого-нибудь могучего таланта, который неволью заставит холодный век наш благоговеть перед гармониею звука».

Умер 18 (30) августа 1869 года в Тобольске.

Алексей Васильевич Кольцов

Родился 3 (15) октября 1809 года в Воронеже.

Отец – прасол. Промышлял стадами баранов, как писал позже Белинский, для доставки материала на салотопенные заводы. Был богат, владел большим домом, семейство держал в полном повиновении. Грамоте Кольцова обучил случайный воронежский семинарист. В девять лет мальчик пошел было в Воронежское уездное училище, но уже из второго класса отец забрал его, поскольку остро нуждался в помощнике. «Само собою разумеется, – писал Белинский, – что с ранних лет он (Кольцов) не мог набраться не только каких-нибудь нравственных правил или усвоить себе хорошие привычки, но и не мог обогатиться никакими хорошими впечатлениями, которые для юной души важнее всяких внушений и толкований. Он видел вокруг себя домашние хлопоты, мелочную торговлю с ее проделками, слышал грубые и не всегда пристойные речи даже от тех, из чьих уст ему следовало бы слышать одно хорошее. Всем известно, какова вообще наша семейственная жизнь, и какова она в особенности в среднем классе, где мужицкая грубость лишена добродушной простоты и соединена с мещанскою спесью, ломаньем и кривляньем. По счастью, к благодатной натуре Кольцова не приставала грязь, среди которой он родился и на лоне которой был воспитан». Разъезжая по селам и деревням, Кольцов покупал и продавал скот, вел дела и тяжбы с крестьянами и купцами. «Он любил вечерний огонь, на котором варилась степная каша, – вспоминал позже

Белинский, – любил ночлеги под чистым небом, на зеленой траве; любил иногда целые дни не слезать с коня, перегоняя стада с одного места на другое». Так же полюбив чтение, он никогда не расставался с книгами и в степи. Воронежский книготорговец Д. А. Кашкин разрешил молодому прасолу бесплатно пользоваться книгами из своего магазина, объяснял ему неизвестные слова. В первых стихотворных опытах помог Кольцову и А. П. Серебрянский, автор известной песни «Быстры, как волны, дни нашей жизни...»

В 1830 году, будучи в Воронеже, известный деятель столичного философского кружка Н. В. Станкевич услышал от своего камердинера, что некий местный молодой прасол сочиняет удивительные песни, ни на что не похожие. При этом камердинер процитировал некоторые запомнившиеся ему строки, и Станкевича они заинтересовали. Он встретился с Кольцовым и в следующем году напечатал понравившиеся ему песни в петербургской «Литературной газете».

В 1828 году Кольцов влюбился в крепостную девушку. «Известное дело, – писал позже Белинский, близко друживший с поэтом, – что в этом сословии первое задушевное желание отца состоит в том, чтобы поскорее женить своего сына на каком-нибудь размалеванном белилами, румянами и сурью болване с черными зубами и хорошим, соответственно состоянию семьи жениха, приданым. Связь Кольцова (с крепостной) была опасна для этих мещанских планов, не говоря уже о том, что в глазах диких невежд, простодушно и грубо чуждых всякой поэзии жизни, она казалась предосудительной и безнравственной. Надо было разорвать ее во что бы то ни стало. Для этого воспользовались отсутствием Кольцова в степь, – и когда он воротился домой, то уже не застал ее там. Это несчастье так жестоко поразило его, что он схватил сильную горячку. Оправившись от болезни и призяв у родных и знакомых деньжонок, он бросился, как безумный, в степь разведывать о несчастной. Сколько мог, далеко ездил сам, еще дальше посылал преданных ему за деньги людей. Не знаем, долго ли продолжались эти розыски; только результатом их было известие, что несчастная жертва варварского расчета, попавшись в донские степи, в казачью станицу, скоро зачахла и умерла в тоске и в муках жестокого обращения. Эти подробности, – добавлял Белинский, – мы слышали от самого Кольцова в 1838 году. Несмотря на то, что он вспоминал горе, постигшее его назад тому более десяти лет, лицо его было бледно, слова с трудом и медленно выходили из его уст, и, говоря, он смотрел в сторону и вниз. Только один раз говорил он с нами об этом. и мы никогда не решались более расспрашивать его об этой истории, чтобы узнать ее во всей подробности: это значило бы раскрывать рану сердца, которая и без того никогда вполне не закрывалась...»

В 1835 году, с помощью Станкевича и Белинского, вышел в свет небольшой сборник – «Стихотворения Алексея Кольцова». «Прасол верхом на лошади, – писал Белинский, – гоняющий скот с одного поля на другое, по колена в крови присутствующий при резании, или, лучше сказать, при бойне скота;

приказчик, стоящий на базаре у возов с салом, – и мечтающий о любви, о дружбе, о внутренних поэтических движениях души, о природе, о судьбе человека, о тайнах жизни и смерти, мучимый и скорбями растерзанного сердца и умственными сомнениями, и, в то же время, деятельный член действительности, среди которой поставлен, смышленный и бойкий русский торговец, который продает, покупает, бранится и дружится Бог знает с кем, торгуется из копейки и пускает в ход все пружины мелкого торгашества, которых внутренне отвращается как мерзости: какая картина! Какая судьба, какой человек!».

В то же время поэт целиком и полностью зависел от отца.

«Он был сметлив, практичен, отец постепенно передал ему все дела, – писал Вересаев, – но держал сына в ежовых рукавицах, требовал строгой отчетности; собственных денег у Кольцова никогда не было; любой приказчик по найму был независимее и богаче этого хозяйского сына. По поручению Кольцову случалось ездить в столицы – продавать гурты скота, хлопотать по судебным делам, которых у старика было несчетное количество, особенно с крестьянами по аренде земель. Тут в первый раз старик почувствовал, что пустяковые стишки, которые кропал чудак-сын, дело не безвыгодное. Стишки доставили сыну знакомство с сановными особами, очень полезными при ведении судебных дел. По просьбе сына, Жуковский, кн. Вяземский, кн. Одоевский писали письма воронежским властям и в судебные инстанции и тем много способствовали удачному исходу целого ряда кольцовских процессов. Однако процессов этих было так много, просить покровителей приходилось так часто, что даже благодушный Жуковский, наконец, стал принимать Кольцова холодно и избегать с ним встреч».

И. С. Тургенев, встречавший Кольцова в Петербурге на квартире у Плетнева, писал: «...В комнате находился еще один человек. Одетый в длиннополый двубортный сюртук, короткий жилет с голубой бисерной часовой цепочкой и шейный платочек с бантом, он сидел в уголку, скромно подобрал ноги, и изредка покашливал, торопливо поднося руку к губам. Человек этот поглядывал кругом не без застенчивости, прислушивался внимательно, в глазах его светился ум необыкновенный, но лицо у него было самое простое русское».

Занимаясь самообразованием, Кольцов далеко не всегда мог правильно уяснить суть осваиваемых предметов. «Субъект и объект я еще немножечко понимаю, – писал он Белинскому, вдруг занявшись философией, – а вот абсолюта ни крошечки». Претензии на большое знание, конечно, вызывали среди окружающих поэта людей насмешки. «Что я? – жаловался он Белинскому. – Человек без лица, без слова, безо всего просто. Жалкое создание, несчастная тварь, которая годится лишь на одно: возить воду да таскать дрова... Торгаш, копеечник, подлец... Вот мое значение, вот в каких слоях я могу быть президент...» – «Только в 1841 году серая жизнь Кольцова неожиданно осветилась ярким счастьем, – писал Вересаев. – Он полюбил

заезжую купеческую вдову Варвару Григорьевну Лебедеву. Она отнеслась к его любви благосклонно. „Чудо! – писал Кольцов Белинскому. – Брюнетка, стройна до невероятности, хороша чертовски, умна, образована порядочно, много читала, думала, страдала, кипела в страстях“. Но счастье продолжалось всего два месяца. Красавица оказалась дамой весьма легких нравов. Наградив Кольцова сифилисом, она бросила его и уехала из Воронежа с офицером».

К этому времени отношения Кольцова с отцом почти прервались.

«В конце сентября, – писал он В. П. Боткину, – у меня сделалось воспаление в почках, но пиявки, припарки, прохладительное – возвратили к жизни. Отец, несмотря ни на что, мучить меня не переставал и очень равнодушно сказал мне, что если я умру, он будет рад, а если буду жить, то он предуведомляет меня вперед, чтоб я ничего не ждал и не надеялся; что он дома и ничего мне никогда не предоставит; что если не успеет при жизни прожить, то сожжет. И этак говорил он тогда, когда я ему ни слова ни о чем подобном не сказал и ничего от него не требовал. Мать моя простая, но добрая женщина; хотела мне помочь, но я ее отклонил и поддерживал себя займом. Воспаление прошло, и я немножко опять начал поправляться. Осень. Мезонин холоден, по необходимости поместился вместе. Комнату занял на проходе; удобней не было; было, – да в ней жили старики, ее не дали. Ну, ничего, живу. За сестру сватаются. Завязалась свадьба, все начало ходить, бегать через мою комнату; полы моют то и дело, а сырость для меня убийственна. Трубки благовония курят каждый день; для моих расстроенных легких все это плохо. У меня опять образовалось воспаление, сначала в правом боку, потом в левом против сердца, довольно опасное и мучительное. И здесь-то я струсил не на шутку. Несколько дней жизнь висела на волоске. Лекарь мой, несмотря на то, что я ему мало платил, приезжал три раза в день. А в эту же пору у нас вечеринки каждый день, – шум, крики, беготня; двери до полночи в моей комнате минуты не стоят на петлях. Прошу не курить, – курят больше; прошу не благовонить – больше; прошу не мыть полов, – моют. На пестрой только свадьба кончилась. Шум с плеч долой. На третий день после конца свадьбы отец ко мне приходит. Говорит, чтоб я перешел в его комнату. Я отказался: она зимой сыра, а это мне вредней всего. Он сказал: „Не хочешь? Ну, переходи, куда хочешь, или иди со двора“. И много наговорил в этом роде.

Но вы спросите, отчего ко мне сделался так дурен отец и сестра? – писал дальше Кольцов. – Отец мой от природы с сильною физическою природою человек, жил в приказчиках, приобрел кое-что, сделался хозяином, наживал капиталу 70 тысяч рублей три раза и проживал их вновь, последний раз прожился, – и осталось у него много дел. Он их кое-как затушил, а окончить было нечем. Они пали на меня; в восемь лет я их поуладил, и это дело, за которым я жил в Москве, было последнее. Оно кончилось на время хорошо, теперь у него их нет, он покоен. Выстроил дом, приносит доходу до 6000 в год, да еще у нас девять комнат за собой. Кроме того, у него осталось до двадцати тысяч. Он самолюбив, хвастун, упрям, хвастун без совести. Не

любит жить с другими в доме человечески, а любит, чтобы все перед ним трепетало, боялось, почитало и рабствовало. И я все это переносил и терпел, но как у меня была особая комнатка, уйду в нее и отдохну. Не думал о себе, а только о делах. Но, приняв дела, уладил их. И как был Жуковский (в Воронеже), он дал мне большой вес, и старик, ради дел, по необходимости, дал мне свободы более, чем желал. Это ему наскучило. Ему хотелось одолеть меня прежде, настаивая жениться. Я не хотел. Это его взбесило. Женись – он бы тогда надо мной разговелся. Сестра же против меня его пуще возбудила. Она все мои фантазии, которые я ей рассказывал, перетолковала по-своему, и кончила, что я приехал затем, чтобы обобрать старика, да и в Питер. Она также сбывала с рук меня, чтобы выйти замуж и войти во двор и овладеть всем».

Умер 29 (10. XI) октября 1842.

Замечательно сказал о Кольцове Глеб Успенский.

«В русской литературе есть писатель, которого невозможно иначе назвать, как поэтом земледельческого труда – исключительно. Это – Кольцов. Никто, не исключая и самого Пушкина, не трогал таких поэтических струн народного мирозерцания, воспитанного исключительно в условиях земледельческого труда, как это мы находим у Кольцова. Спрашиваем, что могло бы вдохновить хотя бы и Пушкина при виде пашущего мужика, его сохи и клячи? Пушкин мог бы только скорбеть об этом труженике, „влачащемся по браздам“, об ярме, которое он несет, и т. д. Придет ли ему в голову, что этот раб, влачащийся по браздам, босиком бредущий за своей клячонкой, чтобы он мог чувствовать в минуту этого тяжкого труда что-либо, кроме сознания его тяжести? А мужик, изображаемый Кольцовым, хотя и влачится по браздам, находит возможность говорить своей кляче такие речи: «Весело на пашне, я сам-друг с тобою, слуга и хозяин. Весело я лажу борону и соху». А косарь того же Кольцова, который, получая на своих харчах 50 коп. в сутки, находит возможность говорить такие речи: «Ах, ты степь моя, степь привольная! В гости я к тебе не один пришел, я пришел сам-друг с косою острою. Мне давно гулять (это за 50 коп. в сутки!) по траве степной, вдоль и поперек, с ней хотелось. Раззудись плечо, размахнись рука, ты пахни в лицо ветер с полудня, освежи, взволнуй степь просторную, зажужжи, коса, засверкай кругом!» Тут что ни слово, то тайна крестьянского мирозерцания: все это – прелести, ни для кого, кроме крестьянина, недоступные».

Федор Иванович Тютчев

Тени сизые смешались,
Цвет поблекнул, звук уснул —
Жизнь, движенье разрешились
В сумрак зыбкий, в дальний гул...
Мотылька полет незримый
Слышен в воздухе ночном...

Час тоски невыразимой!
Все во мне, и я во всем!

Сумрак тихий, сумрак сонный,
Лейся в глубь моей души,
Тихий, темный, благовонный,
Все залей и утиши.
Чувства мглой самозабвенья
Переполни через край!
Дай вкусить уничтоженья,
С миром дремлющим смешай!

Родился 23 (5. XII) ноября 1803 года в усадьбе Овстуг Брянского уезда Орловской губернии.

Домашним воспитанием потомственного дворянина Тютчева занимался известный в то время поэт и переводчик Раич. Под его влиянием Тютчев рано начал писать стихи. В основном это были подражания торжественным одам ушедшего века, однако, на чтении, устроенном в 1818 году в Обществе любителей российской словесности, четырнадцатилетний поэт был в знак поощрения избран действительным сотрудником этого общества. Тогда же он поступил на словесное отделение Московского университета.

«Молоденький мальчик с румянцем во всю щеку», как писал о нем современник, блистательно прошел весь университетский курс, отдавая явное предпочтение истории, философии и естественным наукам. В те же годы в журналах появилось несколько его стихотворений, но критика их не заметила, а сам Тютчев своим стихам никогда не придавал значения.

В 1822 году, после окончания университета, Тютчева зачислили на службу в Коллегию иностранных дел. Благодаря родственным связям, он сразу попал в русское посольство, располагавшееся в Мюнхене, столице Баварского королевства – сверхштатным чиновником, затем вторым секретарем. Он уехал в Баварию восемнадцатилетним юношей и провел за рубежом двадцать два года. Впрочем, где бы он ни находился, занимала его не столько служба, сколько светская жизнь и собственные занятия историей и политикой. «Его не привлекали ни богатства, ни почести, ни даже слава, – писал его мюнхенский друг И. Гагарин. – Самым задушевным, самым глубоким его наслаждением было наблюдать за картиной, развертывающейся перед ним в мире, с неослабным любопытством следить за всеми ее изменениями и обмениваться впечатлениями со своими соседями». В Мюнхене Тютчев подружился с Генрихом Гейне, с философом Ф. Шеллингом, общался с приезжавшими в Мюнхен братьями Киреевскими, П. А. Вяземским, А. И. Тургеневым, В. А. Жуковским. Там же в 1826 году он женился на молодой вдове Элеоноре Патерсон, урожденной графине Ботмер. Этот брак казался прочным и долгим, но в 1833 году Тютчев познакомился на балу с двадцатидвухлетней красавицей баронессой

Эрнестиной Дернберг, урожденной баронессой Пфеффель. Начавшийся между ними роман весьма удручал жену Тютчева, бывали дни, когда она склонялась к самоубийству. В конце концов, русский посланник в Баварии приказал перевести Тютчева в Турин, в Сардинское королевство – старшим секретарем миссии. К сожалению, это уже ничем не могло помочь Элеоноре – в августе 1838 года она умерла. «Первые годы твоей жизни, – позже писал Тютчев дочери Анне, – были для меня самыми прекрасными, самыми полными годами страстей. Я провел их с твоей матерью и Клотильдой (сестрой Элеоноры). Эти дни были прекрасны... Нам казалось, что они не кончатся никогда, – так богаты, так полны были эти дни... Но годы промелькнули быстро, и все исчезло навеки. И столько людей более или менее знакомых, более или менее любимых исчезло с горизонта, чтобы никогда больше не появиться на нем... И она также... И все же я обладаю ею, она вся передо мной, бедная твоя мать!». Впрочем, Жуковский, встречавший Тютчева в том же году, с немалым удивлением записал в своем дневнике: «Горе и воображение... Он (Тютчев) горюет о жене, которая умерла мученической смертью, а говорят, что он влюблен в Мюнхене...»

В марте 1839 года Тютчев попросил разрешения у министра иностранных дел графа Нессельроде – «ради покоя и воспитания своих детей жениться на госпоже Дернберг». Женитьбу Тютчеву разрешили, но полагающегося отпуска не дали. В итоге Тютчев попросту бросил казенные дела. Как писал один из его биографов: «намереваясь жениться, этот поверенный в делах (Тютчев) самопроизвольно эти дела покинул и, взяв с собою дипломатические шифры, отправился в Швейцарию со своей будущей женой, Эрнестиной Федоровной баронессой Дернберг, рожденной фон Пфеффель, с нею там обвенчался, а шифры и другие важные служебные документы – в суматохе свадьбы и путешествия потерял».

Случившееся положило конец дипломатической карьере Тютчева.

До 1844 года он жил в Мюнхене, но содержание большой семьи (у него было пять детей) требовало значительных трат, – пришлось хлопотать о службе. Как раз в это время статья поэта «Россия и Германия», в которой Тютчев обосновывал причины того, почему именно с Россией Германия должна находиться в вечном прочном союзе, попала в руки Николая I и очень императору понравилась. «Я нашел в ней свои мысли», – заявил Николай. Благодаря этому поэт вновь был зачислен в Коллегию иностранных дел, но теперь ему пришлось вернуться в Россию. «Я не без грусти расстался с этим гнилым Западом, таким чистым и полным удобств, – писал он одному из друзей, – чтобы вернуться в эту многообещающую в будущем грязь милой родины».

В русской столице Тютчев повел жизнь очень активную. Он был непременным и постоянным участником всевозможных вечеров и собраний, не обязательно литературных, в основном даже вовсе не литературных. В обществе за ним сразу утвердилось слава говоруна и непревзойденного остроумца. В то же время он знал себе цену и никому не прощал попыток

себя уколоть. Так однажды, накануне нового года, в пакете, полученном от великого князя Константина, Тютчев обнаружил очки. За два дня до этого на балу у Анненковых поэт из-за своей близорукости не заметил прошедшего рядом великого князя и не поклонился ему. Решив, что присылка очков – намек на его невоспитанность, Тютчев рассердился. Незамедлительно отослал он великому князю тут же написанные стихи. «Есть много мелких, безымянных созвездий в горней вышине, для наших слабых глаз, туманных, недосыгаемы оне... И как они бы ни светили, не нам о блеске их судить, лишь телескопа дивной силе они доступны, может быть... Но есть созвездия иные, от них иные и лучи: как солнца пламенно-живые, они сияют нам в ночи... Их бодрый, радующий души свет путеводный, свет благой везде, и в море и на суше, везде мы видим пред собой... Для мира дольного отрада, они – краса небес родных. Для этих звезд очков не надо, и близорукий видит их...» Правда, скоро выяснилось, что присылка очков объяснялась всего лишь предстоящим костюмированным балом в Михайловском дворце. На этом балу некоторые гости могли появиться в одинаковых домино, и, не желая быть узанным по очкам (он был близорук и, в отличие от Тютчева, сильно), великий князь распорядился послать одинаковые очки всем, кто собирался появиться на балу в домино.

Будучи убежденным сторонником монархии, во многом примыкая к лагерю славянофилов, в публицистических своих статьях (написанных, кстати, на французском языке) Тютчев самодержавную и православную Россию постоянно противопоставлял безбожному революционному Западу. При этом христианская идея прекрасно совмещалась у него с открытыми призывами к захвату Константинополя, который по созданной Тютчевым концепции Великой греко-русской восточной империи должен был стать столицей огромного будущего государства, объединяющего всех славян под властью русского царя. Даже жене в орловскую деревню Тютчев посылал пространные письма на эту тему. Маленький, тщедушный, зябкий, вечно недомогающий, он проявлял массу энергии, когда следовало донести идею до нужных людей. «Тютчев был одним из самых замечательных русских людей, – замечал по этому поводу Ходасевич, – но, как многие русские люди, не сознавал своего истинного призвания и места. Гнался за тем, для чего не был рожден, а истинный дар свой не то чтобы не ценил вовсе, но ценил не так и не за то, что в нем было наиболее удивительно».

В июле 1850 года (в возрасте сорока семи лет) Тютчев познакомился в Петербурге с Еленой Александровной Денисьевой – племянницей и воспитанницей инспектрисы Смольного института, в котором учились все его дочери. Денисьевой в то время было всего двадцать четыре года, но это не помешало роману, который бурно продолжался четырнадцать лет, окончившись лишь в августе 1864 года, – со смертью Денисьевой. Связь с Тютчевым дорого далась Елене Александровне: перед нею закрылись двери домов, в которых прежде ее принимали с удовольствием; тетке, вырастившей и воспитавшей ее, пришлось оставить Смольный; отец отрекся

от дочери; трех дочерей родила Денисьева Тютчеву, и все они считались незаконнорожденными...

«Вы знаете, – писал Тютчев А. И. Георгиевскому, зятю Денисьевой, после ее смерти, – как я всегда гнушался этими мнимо поэтическими профанациями внутреннего чувства, эту постыдную выставку напоказ своих язв сердечных... Вы знаете, она, при всей своей поэтической натуре, или, лучше сказать, благодаря ей, в грош не ставила стихов, даже и моих – ей только те из них нравились, где выражалась моя любовь к ней – выражалась гласно и во всеуслышание... Вот чем она дорожила: чтобы целый мир знал, чем она для меня – в этом заключалось ее высшее не то что наслаждение, но душевное требование, жизненное условие души ее... Я помню, раз как-то в Бадене, гуляя, она заговорила о желании своем, чтобы я серьезно занялся изданием моих стихов, и так мило, с такою любовью созналась, что так отрадно было бы для нее, если бы во главе этого издания стояло ее имя (не имя, которого она не любила, но она). И что же – поверите ли вы этому? – вместо благодарности, вместо любви и обожания, я, не знаю почему, высказал ей какое-то несогласие, нерасположение, мне как-то показалось, что с ее стороны подобное требование не совсем великодушно, что, зная, до какой степени я весь ее («ты мой собственный», как она говорила), ей нечего, незачем было желать и еще других печатных заявлений, которыми могли бы огорчиться или оскорбиться другие личности. За этим последовала одна из тех сцен, которые все более и более подтачивали ее жизнь и довели нас – ее до Волкова поля, а меня – до чего-то такого, чему и имени нет ни на каком человеческом языке... О, как она была права в своих самых крайних требованиях, как она верно предчувствовала, что должно было неизбежно случиться при моем тупом непонимании того, что составляло жизненное для нее условие! Сколько раз говорила она мне, что придет для меня время страшного, беспощадного, неумолимо-отчаянного раскаяния, но что будет поздно. Я слушал ее и не понимал. Я, вероятно, полагал, что так как ее любовь была беспредельна, так и жизненные силы ее неистощимы – и так пошло, так подло на все ее вопли и стоны отвечал ей этой глупою фразой: «Ты хочешь невозможного...»

Впрочем, уже через два года после смерти Денисьевой Тютчев вновь влюбился, на этот раз в ее близкую подругу – сорокапятилетнюю вдову Е. К. Богданову, урожденную баронессу Услар. Конечно, поэт понимал, что эта столь уже поздняя любовь вряд ли принесет ему счастье, но сил не было отказаться от чувств, которые волновали его до самой смерти.

В 1854 году вышел в свет первый сборник стихов Тютчева, подготовленный И. С. Тургеневым. В специальной статье Тургенев очень высоко оценивал стихи поэта, однако сам Тютчев судьбой их не очень утруждался. Он не только не читал корректур, он вообще старался отстраниться от дел издания. Когда начальник Главного управления по делам печати указал цензору на то, что в книге Тютчева есть стихотворение, которое «заключает брань, обращенную и к Австрийскому эрцгерцогу и к царствующей династии

Габсбургов», – предупрежденный о необходимости убрать из сборника указанное стихотворение Тютчев лишь раздраженно заявил, что ему до всего этого дела нет, пусть делают со стихами, что хотят, сам он знать ничего не желает! Даже дочери, в марте 1868 года, Тютчев писал (по случаю выхода книги «Стихотворения»): «По-видимому, мне суждено было испытать на себе истину изречения, что человека предает домашний его, – и вот на такого-то рода предательство, без сомнения совершенно неумышленное, я собираюсь тебе жаловаться. Речь идет о только что появившемся, весьма ненужном и весьма бесполезном издании сборника виршей, которые были бы годны разве лишь на то, чтобы их забыли. Но так как, несмотря на все отвращение, которое я принципиально к этому питал, я кончил тем, что дал свое согласие – из чувства лени и безразличия, то потому и не имею права на это сетовать. Все же я имел основание надеяться, что издание будет сделано с известным разбором и что не напишут в один жиденький томик целую кучу мелких стихотворений „на случай“, всегда представлявших лишь самый преходящий интерес данного момента; вновь же воспроизведенные, они тем самым становятся совершенно смешными и неуместными. Я отделаюсь тем, что окажусь в роли тех жалких рифмачей, которые по-дурацки влюблены в малейший вырвавшийся у них стишок, – и хотя я, пожалуй, и не совсем в таком положении, но уж примирюсь, без особого труда, из одного отвращения и безучастия, даже с этой нелепой бессмыслицей. Однако то, что в этой несчастной книжонке воспроизвели несколько строк по адресу князя Вяземского, позаботившись проставить в заголовке его имя, его собственное имя! – это, признаюсь, уже слишком... И я настоятельно умоляю, чтобы, если возможно, избавили меня от неминуемых последствий этой проделки. Я попытаюсь временно приостановить продажу издания у здешних книготорговцев до тех пор, пока не исправят эту удивительную оплошность, сохранив, если возможно, злосчастное стихотворение, но без упоминания Вяземского».

В свое оправдание И. С. Аксаков, готовивший сборник «Стихотворения», писал: «Не было никакой возможности достать подлинников руки поэта для стихотворений еще ненапечатанных, ни убедить его просмотреть эти пьесы в тех копиях, которые удалось добыть от разных членов его семьи, частью от посторонних. Между тем некоторые из этих копий были ошибочны или не согласны между собой. Пришлось выбирать лучшие в печать без всякого участия со стороны самого автора».

В 1857 году Тютчев подал в официальные сферы докладную записку «Письмо о цензуре в России», в которой яростно доказывал, что нельзя налагать на умы безусловное и слишком продолжительное стеснение и гнет без существенного вреда для всего общественного организма. Как бы в ответ на эту записку, в следующем году Тютчев был назначен председателем Комитета цензуры иностранной, каковую должность и исполнял до самой смерти.

«Низенький, худенький старичок, – писал о Тютчеве М. Погодин, – с длинными, отставшими от висков, поседелыми волосами, которые никогда не приглаживались, одетый небрежно, ни с одной пуговицей, застегнутой как надо, вот он входит в ярко освещенную залу; музыка гремит, бал кружится в полном разгаре. Старичок пробирается нетвердою поступью близ стены, держа шляпу, которая сейчас, кажется, упадет из его рук. Из угла прищуренными глазами окидывает все собрание. Он ни на чем и ни на ком не остановился, как будто б не нашел, на что бы нужно обратить внимание... К нему подходит кто-то и заводит разговор... Он отвечает отрывисто, сквозь зубы, смотрит рассеянно по сторонам, кажется, ему уж стало скучно: не думает ли он уйти назад... Подошедший сообщает новость, только полученную; слово за слово, его что-то задело за живое, он оживляется, и потекла потоком речь увлекательная, блистательная, настоящая импровизация, ее надо бы записать... Вот он роняет, сам не примечая этого, несколько выражений, запечатленных особенною силой ума, несколько острот, едких, но благоприличных, которые тут же подслушиваются соседями, передаются шепотом по всем гостиным, а завтра охотники спешат поднести их знакомым, как дорогой гостинец: Тютчев вот что вчера сказал на балу у княгини N...»

Во время последней болезни поэта император Александр II выразил желание навестить его. Известно, что Тютчев с присущим ему остроумием заметил, что такая новость приводит его в смущение, ибо будет крайне неделикатно, если он не умрет прямо на другой день после царского посещения. В минуты просветления (болезнь протекала чрезвычайно мучительно) он жадно расспрашивал дежуривших при нем о текущих политических делах. Уже после того как священник прочитал над ним отходную, Тютчев вдруг приоткрыл глаза: «Какие получены подробности о взятии Хивы?»

Умер 15 (27) июля 1873 года.

7 декабря 1899 года секретарь Льва Толстого А. Б. Гольденвейзер занес в дневник следующую запись: «На столике у него лежал том Тютчева. Заговорили о Тютчеве. На днях Л. Н. попало в „Новом времени“ его стихотворение „Сумерки“. Он достал по этому поводу их все и читал больной. Л. Н. сказал мне: „Я всегда говорил, что произведение искусства или так хорошо, что меры для определения его достоинств нет – это истинное искусство; или же оно совсем скверно. Вот я счастлив, что нашел истинное произведение искусства. Я не могу читать его без слез. Я его запомнил. Постойте, я вам сейчас скажу его“. Л. Н. начал прерывающимся голосом: „Тени сизые смешались...“ Я умирать буду, не забуду того впечатления, которое произвел на меня в этот раз Л. Н. Он лежал на спине, судорожно сжимая пальцами край одеяла и тщетно стараясь удержать душившие его слезы. Несколько раз он прерывал чтение и начинал сызнава. Но наконец, когда он произнес конец первой строфы: „Все во мне и я во всем...“, – голос его оборвался. Приход А. Н. Дунаева (друг семьи Толстых)

остановил чтение. Он немного успокоился. „Как жаль, я вам испортил стихотворение“, – сказал он мне немного погодя».

Николай Алексеевич Некрасов

Вчерашний день, часу в шестом,
Зашел я на Сенную;
Там били женщину кнутом,
Крестьянку молодую.
Ни звука из ее груди,
Лишь бич свистал, играя...
И Музе я сказал: «Гляди!
Сестра твоя родная!»

Родился 28 (10. XII) ноября 1821 года в местечке Немиров Подольской губернии. Детские годы провел на Волге, в родовой усадьбе отца, бывшего офицера, убежденного крепостника, в селе Грешневе Ярославской области. Многим обязан матери – Елене Андреевне, урожденной Закревской, человеку редкого обаяния, выпускнице Виленского женского института, знавшей языки, любившей музыку. Может поэтому, считал поэт К. Бальмонт, Некрасов первый в русской поэзии оставил столь впечатляющие портреты женщин.

В 1838 году, оставив гимназию, уехал в Петербург с рекомендательным письмом для поступления в Дворянский полк – одно из лучших военно-учебных заведений того времени. На военной карьере настаивал отец, но Некрасову служить совсем не хотелось. Дважды – в 1839 и 1840 годах – он пытался поступить в университет; к сожалению, слабая подготовка не позволила ему сдать экзамены. К тому же, отец отказал в поддержке, пришлось зарабатывать на жизнь. «Ровно три года, – вспоминал позже Некрасов, – я чувствовал себя постоянно, каждый день голодным. Приходилось есть не просто плохо, не только впроголодь, но и не каждый день».

В 1838 году в журнале «Сын Отечества» появилось первое печатное стихотворение Некрасова «Мысль», а в 1840 году он выпустил целую книжку («Мечты и звуки»), подписав ее инициалами Н. Н. «Прочешь целую книгу стихов, – безжалостно писал Белинский, – встречать в них все знакомые и истертые чувствованья, общие места, гладкие стишки и много-много, если наткнуться иногда на стих, вышедший из души в куче рифмованных строчек, – воля ваша, это чтение или, лучше сказать, работа для рецензентов, а не для публики. Посредственность в стихах нестерпима. Вот мысли, на которые навели нас „Мечты и звуки“ г. Н. Н.».

Покупателей на книжку не нашлось.

Какое-то время Некрасов стихов почти не писал, зато один за другим выходили в печати его рассказы, повести, водевили, сказки, статьи, рецензии, куплеты для бенефисов. Под псевдонимами Н. Перепельский, Ф.

Боб, И. Пружинин, Ф. Белопяткин, Александр Бухалов Некрасов напечатал огромное количество подобных творений. Но в эти же годы по его инициативе вышли альманахи – «Физиология Петербурга» и «Петербургский сборник». «Уму непостижимо, сколько я работал. Полагаю, не преувеличу, если скажу, что в несколько лет исполнил до двухсот печатных листов журнальной работы». Даже Белинский, нещадно ругавший первые стихи Некрасова, заметил однажды на обеде у А. Я. Панаевой: «Эх, господа! Вы вот радуетесь, что проголодались и с аппетитом будете есть вкусный обед, а Некрасов чувствовал боль в желудке от голода, и у него черствого куска хлеба не было, чтобы заглушить эту боль! Вы все дилетанты в литературе, а я на себе испытал поденщину. Вон мне давно пора приняться за разбор глупых книжонок, а я отлыниваю, хочется писать что-нибудь дельное, к чему лежит душа, ан нет, надо притуплять свой мозг над пошлостью, тратить свои силы на чепуху. Если бы у меня было что жрать, так я бы не стал изводить свои умственные и физические силы на поденщине... Я дам голову на отсечение, что у Некрасова есть талант и, главное, знание русского народа, непониманием которого мы все отличаемся...»

«Первый раз я увидела Некрасова в 1842 году зимой, – писала А. Я. Панаева, прожившая с поэтом более пятнадцати лет. – Некрасов, видимо, был сконфужен при начале чтения; голос у него был всегда слабый, и он читал очень тихо, но потом разошелся. Некрасов имел вид болезненный и казался на вид гораздо старше своих лет, манеры у него были оригинальные: он сильно прижимал локти к бокам, горбился, а когда читал, то часто машинально приподнимал руку к едва пробивавшимся усам и, не дотрагиваясь до них, опускал опять ее. Этот машинальный жест так и остался у него, когда он читал свои стихи...»

В 1847 году Некрасов совместно с литератором И. И. Панаевым взял в аренду журнал «Современник» (бывший пушкинский). «Слухи о намерении издавать „Современник“ породили толки в разных литературных кружках, – вспоминала Панаева. – Сначала многие не верили, но потом стали смеяться, говоря, что ничего дельного не выйдет из планов Некрасова и Панаева. Белинскому передавали эти сплетни, и он говорил: „Пусть их смеются и не верят, а как мы им преподнесем первый номер „Современника“, так позеленеют от злости“ Некрасов велел печатать объявления об издании „Современника“ в громадном числе; они помещались почти во всех тогдашних журналах и газетах. Панаев находил, что это стоит дорого и вовсе не нужно, но Белинский ему возражал: „Нам с вами нечего учить Некрасова; ну, что мы смыслим! Мы младенцы в коммерческом расчете: сумели ли бы мы с вами устроить такой кредит в типографии и с бумажным фабрикантом, как он? Нам на рубль не дали бы кредиту, а он устроил так, что на тысячи может кредитоваться...“

К работе в «Современнике» Некрасов действительно привлек лучшие литературные силы страны – В. Белинского, А. Герцена, А. Островского, М. Салтыкова-Щедрина, здесь печатались рассказы И. Тургенева, здесь

появилась «Обыкновенная история» И. Гончарова и первая повесть Льва Толстого. Позже вокруг журнала сплотились народники – Н. Помяловский, В. Слепцов, Н. Успенский, Ф. Решетников, Н. Успенский и другие. В итоге некрасовский «Современник», как прежде, пушкинский, несомненно, стал лучшим журналом России.

В 1856 году Некрасов выпустил книгу своих собственных стихотворений. Известный критик и писатель Н. Г. Чернышевский писал в Италию, где лечился поэт: «Сочувствие публики к Вам очень сильное – сильнее, нежели предполагал даже я, упрекаемый Вами в пристрастии к вашим стихотворениям. Восторг всеобщий. Едва ли первые поэмы Пушкина, едва ли „Ревизор“ или „Мертвые души“ имели такой успех, как Ваша книга...» А Белинский так объяснял успех поэта: «Для искусства нет более благородного и высокого предмета, как человек, – а чтобы иметь право быть изображенным искусством, человеку нужно быть человеком, а не чиновником 14 класса, или дворянином. И у мужика есть душа и сердце, есть желания и страсти, есть любовь и ненависть, словом – есть жизнь. Но чтоб изобразить жизнь мужиков, надо уловить, как мы уже сказали, идею этой жизни. И тогда в ней не будет ничего грубого, пошлого, плоского, глупого...»

«На моих глазах, – писала Панаева, – произошло почти сказочное превращение в наружной обстановке и жизни Некрасова. Конечно, многие завидовали Некрасову, что у подъезда его квартиры по вечерам стояли блестящие экипажи очень важных особ; его ужинами восхищались богачи-гастрономы; сам Некрасов бросал тысячи на свои прихоти, выписывал себе из Англии ружья и охотничьих собак; но если бы кто-нибудь видел, как он по двое суток лежал у себя в кабинете в страшной хандре, твердя в нервном раздражении, что ему все опротивело в жизни, а главное – он сам себе противен, то, конечно, не позавидовал бы ему.

Стихотворение «У парадного подъезда» было написано Некрасовым, когда он находился в хандре. Он лежал тогда целый день на диване, почти ничего не ел и никого не принимал к себе. Накануне того дня, когда было написано это стихотворение, я заметила Некрасову, что давно уже не было его стихотворений в «Современнике». – «У меня, – ответил он, – нет желания писать стихи для того, чтобы прочесть двум-трем людям и спрятать их в ящик письменного стола. Да и такая пустота в голове: никакой мысли подходящей нет, чтобы написать что-нибудь».

На другое утро я встала рано и, подойдя к окну, заинтересовалась крестьянами, сидевшими на ступеньках лестницы парадного подъезда в доме, где жил министр государственных имуществ. Была глубокая осень, утро было холодное и дождливое. По всем вероятностям, крестьяне желали подать какое-нибудь прошение и спозаранку явились к дому. Швейцар, подметая лестницу, прогнал их; они укрылись за выступом подъезда и переминались с ноги на ногу, прижавшись у стены и промокая на дожде. Я пошла к Некрасову и рассказала ему о виденной мной сцене. Он подошел к окну в тот момент, когда дворники дома и городской гнали крестьян прочь,

толкая их в спину. Некрасов сжал губы и нервно пощипывал усы; потом быстро отошел от окна и улегся опять на диване. Часа через два он прочел мне стихотворение «У парадного подъезда»...

Некрасов писал прозу, сидя за письменным столом и даже лежа на диване, – писала Панаева, – стихи же сочинял, большей частью, прохаживаясь по комнате, и вслух произносил их; когда он оканчивал все стихотворение, то записывал его на первом попавшемся под руку лоскутке бумаги. Он делал мало поправок в своих стихах. Если он сочинял длинное стихотворение, то по целым часам ходил по комнате и все вслух однообразным голосом произносил стихи; для отдыха он ложился на диван, но не умолкал; потом снова вставал и продолжал ходить по комнате. Некрасов мог прочесть наизусть любое из своих стихотворений, когда бы то ни было сочиненных, и как бы оно ни было длинно, он не останавливался ни на одной строфе, точно читал по рукописи. Впрочем, он помнил наизусть массу стихотворений и других русских поэтов...»

В 1862 году был арестован Чернышевский. Тогда же на восемь месяцев цензура приостановила выпуск «Современника». Впрочем, по возобновлению выпуска журнала Некрасов сразу начал печатать знаменитый роман Чернышевского «Что делать?» – «Отрадно констатировать, – писал об этом случае писатель В. Набоков, – что тогда какая-то тайная сила все-таки решилась попробовать хотя бы от этой беды Чернышевского спасти. Ему приходилось особенно тяжело, – как было не сжалиться? 28-го числа, из того, что начальство, раздраженное его нападками, не давало ему свидания с женой, он начал голодовку; голодовка была еще тогда в России новинкой, а экспонент попался нерасторопный. Караульные заметили, что он чахнет, но пища как будто съедается. Когда же дня через четыре, пораженные тухлым запахом в камере, сторожа ее обыскали, то выяснилось, что твердая пища пряталась между книг, а щи выливались в щели. В воскресенье, 3 февраля, во втором часу дня, врач при крепости, осмотрев арестанта, нашел, что он бледен, язык довольно чистый, пульс несколько слабее, – и в этот же день, в этот час Некрасов, проездом на извозчике от гостиницы Демута к себе домой, на угол Литейной и Бассейной, потерял сверток, в котором находились две прошнурованные по углам рукописи с заглавием „Что делать?“ Припомнив с точностью отчаяния весь свой маршрут, он не припомнил того, что, подъезжая к дому, положил сверток рядом с собой, чтобы достать кошелек, – а тут как раз сани сворачивали... скрежетание относ... и „Что делать?“ незаметно скатилось: вот это и была попытка тайной силы – в данном случае центробежной – конфисковать книгу, счастливая судьба которой должна была так губительно отразиться на судьбе ее автора. Но попытка не удалась: на снегу, у Мариинской больницы, розовый сверток поднял бедный чиновник, обремененный большой семьей. Придя восвояси, он надел очки, осмотрел находку... увидел, что это начало какого-то сочинения и не вздрогнув, не опалив вялых пальцев, отложил. „Уничтожь!“ – напрасно молил безнадежный голос. В „Ведомостях Санкт-Петербургской

городской полиции“ напечатано было объявление о пропаже. Чиновник отнес сверток по означенному адресу, за что и получил обещанное: пятьдесят рублей серебром...».

Выезжая на охоту в Новгородскую губернию, Некрасов привозил оттуда не только охотничьи трофеи. «В три мои последние поездки туда, – писал он Тургеневу, – убил я поболее сотни белых и серых куропаток и глухарей, не считая зайцев, и услышал одно новое словечко, которое мне очень понравилось, – паморха. Знаешь ли ты, что это такое? Это мелкий-мелкий, нерешительный дождь, сеющий, как сквозь сито, и бывающий летом. Он зовется паморхой в отличие от изморози, идущей в пору более холодную...»

Тогда же Некрасов был принят в члены Английского клуба. «Ты ведь понятия не имеешь о светских женщинах, – долго уговаривал его Тургенев, – а они одни только могут вдохновлять поэта. Почему Пушкин и Лермонтов так много писали? Потому что постоянно вращались в обществе светских женщин. Я сам испытал, как много значит изящная обстановка женщины для нас – писателей. Сколько раз мне казалось, что я до безумия влюблен в женщину, но вдруг от ее платья дохнет кухонным чадом, – и вся иллюзия пропала! А в салоне светской женщины ничто не нарушит твоего поэтического настроения, от каждого грациозного движения светской женщины ты вдыхаешь тончайший аромат, вокруг все дышит изяществом. Ты погубишь свой талант, живя сурком, вследствие этого и выходит у тебя слишком однообразный тон и содержание стихов. А когда будешь вращаться в порядочном обществе, попадешь в салон светской женщины, посмотри как вдохновишься! Баллотируйся, послушайся меня. Да и для журнала это полезно, будут говорить, что ты не прячешься от общества...»

«Некрасов в это время, – писала Панаева, – начал чувствовать боль в горле и страшно хандрить. Мне иногда удавалось упросить его не ехать в клуб обедать, потому что он там засиживался за картами и возвращался домой поздно ночью. Но являлся Тургенев и уговаривал его ехать в клуб. Именно для того, чтобы сестра играла в карты. „При твоём счастье и умении играть в карты, – говорил он, – я бы каждый вечер играл. Ведь на полу не найдешь двухсот рублей. Вот тебе на счастье двугривенный, поезжай! Да и мрачное расположение духа у тебя пройдет. Одевайся и едем вместе“. Некрасов всегда слушался советов Тургенева, который на другое утро прибежал узнавать о результате игры Некрасова и говорил ему: „Ты должен благодарить меня, что я тебя вчера силою прогнал в клуб. Не слушай ты никого, а играй. Все в клубе говорят, что ты играешь во все игры отлично и, главное, сдержан. Знаешь ли ты, что если бы у тебя было в руках тысяча десять, ты бы много выиграл денег. Получи я завтра наследство, я сейчас бы тебе дал тысячу на игру. От нашей паршивой литературы ждать, брат, нечего! Что тебе дало журнальное дело? Долги. А сколько труда потрачено на это дело, сколько испорчено крови! Русские писатели – это каторжники. У меня впереди есть наследство, а у тебя что? Последние силы своего здоровья тратишь, а получаешь шиш! И как приятно писать, зная заранее, что

наша тупоумная цензура поставит красный крест! Лежат у тебя несколько твоих стихотворений и без конца пролежат, потому что их не позволяют никогда напечатать. Ведь мы не европейские литераторы, а татарские, нам нечего рассчитывать ни на почет, ни на обеспечение от литературы. Пушкин тоже вел большую игру, а тогда на писателей еще не смотрели как на прокаженных, от которых надо сторониться“.

В 1866 году, после покушения Каракозова на Александра II, журнал «Современник» был закрыт. На этот раз окончательно. Хвалебные стихи, обращенные к Муравьеву, усмирителю польского восстания, сочиненные Некрасовым и прочтенные им на обеде в Английском клубе, журналу не помогли. Не спасла «Современник» и торжественная ода, написанная Некрасовым в честь мастерового из крестьян Костромской губернии О. Комиссарова, помешавшего Каракозову сделать верный выстрел. Позже Некрасов каялся в этих своих отступлениях: «Не торговал я лирой, но бывало, когда грозил неумолимый рок, у лиры звук неверный исторгала Моя рука...»

С присущим ему упорством, Некрасов начинает переговоры о передаче в его руки журнала «Отечественные записки», издаваемого Краевским, и добивается успеха: в 1868 году журнал начинает выходить в свет – уже под редакцией Некрасова и Салтыкова-Щедрина.

«О слезы женские, с придачей нервических, тяжелых драм! Вы долго были мне задачей, я долго слепо верил вам... Кто ей теперь флакон подносит, застигнут сценой роковой? Кто у нее прощенья просит, вины не зная за собой?... Кто сам трясется в лихорадке, когда она к окну бежит в преувеличенном припадке и „ты свободен!“ говорит?... Кто боязливо наблюдает, сосредоточен и сердит, как буйство нервное стихает и переходит в аппетит?... Кто ночи трудные проводит, один, ревнивый и больной, а утром с ней по лавкам бродит, наряд торгуя дорогой?».

Казалось, редакционная работа отнимала все силы поэта, к тому же очень больного, но именно в последние годы Некрасов написал едва ли не лучшие, и уж в любом случае самые объемные свои поэмы: «Дедушка». «Русские женщины», «Современники», книгу стихов «Последние песни», наконец, знаменитую поэму «Кому на Руси жить хорошо», начатую еще в шестидесятых. К сожалению, это огромное произведение так и осталось незавершенным, хотя именно незавершенность придает поэме какую-то странную особенность, даже загадочность. Неясная последовательность частей, разноречивые указания самого Некрасова об основном замысле поэмы, делает ее текучей, открытой, как сама жизнь, и в чем-то такой же неопределенной.

Годы идут, тяжелая болезнь все чаще укладывает поэта в постель.

Из далекого Вилюйска сосланный туда Чернышевский писал А. Н. Пыпину: «Если, когда ты получишь мое письмо, Некрасов еще будет продолжать дышать, скажи ему, что я горячо любил его как человека, что я благодарю за его доброе расположение ко мне, что я целую его, что я убежден: его слава

будет бессмертна, что вечна любовь России к нему, гениальнейшему и благороднейшему из всех русских поэтов...»

Прозвучало письмо Чернышевского как некролог: 27 (8.1) декабря 1877 года Некрасов умер. «Громадная толпа, по крайней мере в три-четыре тысячи человек, – писали газеты, – сопровождала гроб поэта, который до самого кладбища был несен на руках. Большая часть этой толпы состояла из учащейся молодежи и литераторов. Кроме того, множество почитателей и поклонников покойного положительно всех званий и всякого состояния, не исключая и простых крестьян, шли за гробом народного поэта. По уверению старожил, подобная многолюдная процессия была только на похоронах Крылова...»

Аполлон Николаевич Майков

О Боже! Ты даешь для родины моей
Тепло и урожай, дары святого неба, —
Но, хлебом золотя простор ее полей,
Ей также, Господи, духовного дай хлеба!

Родился 23 (4. VI) мая 1821 года в Москве.

Отец – известный художник. В богатом гостеприимном доме Майковых бывали Тургенев и Панаев, Плетнев и Бенедиктов, Григорович и Достоевский. Отец с удовольствием помогал сыновьям выпускать детский журнал «Подснежник», а наставлял их в литературе И. А. Гончаров, автор романа «Обломов».

В 1837 году Майков поступил в Петербургский университет. Незнание греческого языка не позволило ему заниматься на филологическом факультете, пришлось выбрать юридический. От занятий живописью, которой он всерьез увлекался, к этому времени пришлось отказаться из-за ухудшающегося зрения, зато поэзия захватывала его все больше. В 1840 году в «Одесском альманахе» даже появились два его стихотворения под лаконичным псевдонимом – М.

По окончании университета Майкова зачислили на службу в департамент государственного казначейства. В 1842 году, на средства, отпущенные царским двором, он вместе с отцом отправился в Европу. Почти год прожил во Франции, в Германии, в Италии. Из Рима приезжал в Париж, чтобы слушать лекции в Сорбонне и в Колледж де Франс, в Риме устраивал вечера для живших там русских художников. «С удовольствием вспоминаю, – писал живописец В. Е. Раев, – о тех приятных вечерах. Юный поэт Майков услаждал в эти вечера всех присутствующих чтением прекраснейших своих стихотворений». Увлечись идеями славянофилов, на обратном пути в Россию Майков останавливался в Праге, где общался с известными славистами В. Ганке и Шафариком.

В 1842 году вышел в свет первый сборник Майкова – «Стихотворения». («На днях получил „Стихотворения Аполлона Майкова“, – писал Плетнев

филологу Я. К. Гроту. – Он учился у нас в университете. Эта книга меня усладила. Кажется, я читал идеи Дельвига, переданные стихами Пушкина».) В 1847 году – «Очерки Рима», стихи которого были навеяны Италией. Даже строгий Белинский сразу проникся прелестью антологических мотивов молодого поэта. Да и трудно было не заметить столь гармоничных стихов в эпоху, когда ушли Пушкин и Лермонтов, смолкли Языков и Баратынский, окончательно покинул Россию Жуковский, а новое поколение – А. Фет, А. Григорьев – еще только начинало путь.

В отличие от большинства русских поэтов – истинных пророков и апостолов, Майков никогда не знал ни бедности, ни каких-либо преследований. «Вся моя биография, – писал он, – не во внешних фактах, а в ходе и развитии внутренней жизни, в ходе расширения моего внутреннего горизонта, в укреплении взгляда на жизненные вопросы, нравственные, умственные, политические, во внутренней работе ума... Все прочее – вздор, труха, формуляр...»

В 1844 году Майков занял место помощника библиотекаря при Румянцевском музее, находившемся тогда в Петербурге. «С наступлением весны семья Майкова обычно перебиралась на дачу близ станции Сиверской Варшавской железной дороги, около 60 верст от Петербурга, – вспоминал литератор Е. Н. Опочинин. – Как известно, поэт был страстный рыболов и в Сиверскую привлекала его быстрая и говорливая речка Оредеж, стремящая свои прозрачные воды между крутыми красноглинистыми берегами. Здесь много укромных местечек было излюблено А. Н. Майковым, и многие часы на восходе и на закате солнца проводил он здесь с удочкой в руках...»

В 1852 году, после перевода Румянцевского музея в Москву, Майков перешел в Комитет иностранной цензуры. Здесь он проработал почти полвека, дослужившись до высокого чина действительного статского советника. Убежденный монархист, славянофил, законопослушник, он никогда не скрывал своих верноподданнических чувств. В годы Крымской кампании пел неумеренные хвалы Николаю I, позднее восторженными стихами откликнулся на чудесное спасение наследника (будущего императора Николая II), которого во время визита в Японию ударил саблей японский полицейский. Столь же восторженно принял Майков крестьянскую реформу 1861 года, спущенную сверху. Поэт Е. Щербина, с удивлением следивший за всеми этими движениями поэта, не мог удержаться от злых эпиграмм. «Он Булгарин в „Арлекине“, а в „Коляске“ Дубельт он, так исподличался ныне петербургский Аполлон». Сам Майков, впрочем, в письме к М. Златовратскому объяснял свои метания причинами простыми: «Около этого времени (1851) познакомился я с молодой редакцией „Москвитянина“, с Аполлоном Григорьевым, Островским, Писемским, Эдельсоном и с самим Погодиным, со славянофилами. Здесь показалось мне более правды, чем в западническом наклоне; не приняв кое-что из идей старых славянофилов, я не мог вполне принять их учения. Принял основы, почуяв в них историческую правду, но отверг выводы как фантастические и

отвергающие историю, а с ней и целую российскую империю. На почве славянофилов, но с твердою идеей государства, и с полным признанием послепетровской истории были тогда Погодин и Катков: это цельно, это органически разумно, и это меня сблизило с ними...»

В 1882 году за философско-лирическую драму «Два мира» Академия наук удостоила Майкова Пушкинской премией. Стихотворение Майкова «Кто он?», посвященное Петру I, десятилетиями входило и, кажется, и сейчас входит во все школьные хрестоматии, как дореволюционного, так и советского периода. Думается, что многие помнят и другие хрестоматийные строки Майкова: «Золото, золото падает с неба!» – дети кричат и бегут за дождем... «Полноте, дети, его мы сберем, только сберем золотистым зерном в полных амбарах душистого хлеба!»

«Майков при мне читал только раз, – вспоминала З. Н. Гиппиус. – Он читал очень хорошо. Был сухой, тонкий, подобранный, красивый, с холодно-умными, пронзительными глазами. В чтении его была та же холодная пронзительность и усмешка. Особенно помнится она мне вот в этих двух строках (из стихотворения „Дождь и догаресса“): «Слышит – или не слышит? Спит – или не спит?». Удивительно читал он и «Три смерти»: «Простите, гордые мечтанья, осуществить я вас не мог. О, умираю я как Бог среди начатого мирозданья!». Конечно, Майков был самый талантливый из всей плеяды поэтов того времени. Какой-то одной, нежной, черточки не хватало его дарованию: оттого, вероятно, он и забыт был так скоро и никогда не был любим, как Фет, например, который, по-моему, куда ниже...»

Главным делом искусства Майков считал выявление прекрасного. Искусству, утверждал он, нет дела ни до чего низменного, только красота и любовь неподвластны тлению. Античные барельефы казались Майкову более рельефными, чем образы, возникающие из живой действительности. «Мы принадлежим к детству, – писал он, – которое не от мира сего. Царство толпы меняется, подчиненное моде и времени, а наше – вечно». Белинский не без удивления заметил однажды, что Майков как бы смотрит на жизнь глазами грека. «Прямые, сидящие, но еще с большой темнотой волосы его (Майкова) лежали непослушными прядками на голове, – вспоминал Опочинин, – вокруг щек с подбородком свисала и кругами вилась аккуратная бородка, из-за толстых очков смотрели пристально многотуманные глаза. Все было просто и в то же время необычайно сложно в этой фигуре. Казалось, что такие люди попадают на каждом шагу. Но стоило заговорить ему – и вы начинали думать, что Аполлон Николаевич Майков один на целом свете. В обращении его была какая-то сухость или, может быть, строгость, но это не отталкивало от него, а наоборот, привлекало, словно темный блеск старого золота. Какая-то значительность была в каждом его жесте, в каждом движении. Ни одно слово, срывавшееся с его губ, не могло замереть в воздухе, не приковав к себе вашего внимания. Мне казалось, что таковы именно были пророки и апостолы...»

Много лет Майков работал над грандиозной драмой о столкновении языческой и христианской цивилизаций, правда, выполнить успел только четыре части: драмы «Олинф и Эсфирь», «Три смерти», «Смерть Люция» и «Два мира».

Четыре года отдал Майков «Слову о полку Игореве».

Об особом отношении к этой древней русской поэме Майков признался в предисловии к переводу «Слову»: «Несмотря на семь веков, отделяющих нас от его певца, – писал он, – он (певец) чрезвычайно близок к нынешней нашей литературе. Его поэма точно зародыш, таящий в себе все лучшие качества последней. В этих образах князей Остромысла Галицкого, от престола которого грозы текут по землям, Всеволода Суздальского, что „мог бы Волгу веслами раскропити, а Дон шеломами вылити“, Романа, что в замыслах возносится широко, что Сокол ширяся на ветрах, высматривая добычу, – слышится что-то родственное державинским изображениям Екатерининских орлов. В описании битв тоже. Во всем здоровом тоне поэмы, в этом кованном языке, на который древность наложила какую-то свою особую, вековую печать, в этой поэзии действительности – как бы чувствуется пушкинская стройность, определенность, сдержанность и меткость выражений. Далее эти описания природы, эта жизнь степи в ее мрачном виде, вся эта прелестная идиллия бегства Игоря, эти „дятлы тётком путь к реке казуют“, вся речь Игоря к Донцу – как лелеял князя на серебряных берегах своих, – во всем этом таится как бы зародыш лучших страниц Тургенева... Чувствуется, несмотря на перерыв многих веков, один и тот же гений в творчестве лучших людей тогда и ныне...»

Литератор П. П. Перцов, хорошо знавший поэта, оставил живые записи о невысоком, сухощавом старике с худым лицом и длинными серебристыми волосами и бородой, который беспрерывно «...вскакивал, тушил и зажигал папиросы, и почти бегал вдоль стола и комнаты. Эта живость движений еще дополнялась ярким, молодым огнем прекрасных карих (хотя и полузакрытых очками) глаз. По этому впечатлению какой-то вечной юности Майкову, казалось бы, надо дожить до ста лет. Никогда, ни раньше, ни после, я не слышал лучшего чтения. Он читал чрезвычайно просто, медленно и выразительно, и в то же время сохранял весь ритм и движение стиха».

Умер 8 (20) марта 1897 года в Петербурге.

Алексей Константинович Толстой

Средь шумного бала, случайно,
В тревоге мирской суеты,
Тебя я увидел, но тайна
Твои покрывала черты.
Лишь очи печально глядели,
А голос так дивно звучал,
Как звон отдаленной свирели,
Как моря играющий вал.

Мне стан твой понравился тонкий
И весь твой задумчивый вид;
А смех твой, и грустный и звонкий,
С тех пор в моем сердце звучит.
В часы одинокие ночи
Люблю я, усталый, прилечь —
Я вижу печальные очи,
Я слышу веселую речь;
И грустно я так засыпаю,
И в грезах неведомых сплю...
Люблю ли тебя — я не знаю,
Но кажется мне, что люблю!

Родился 24 (5. IX) августа 1817 года в Петербурге.

По матери — правнук Кирилла Разумовского, последнего гетмана Украины, президента Российской Академии наук, по отцу — потомок старинного известного рода. Детство провел в Черниговской губернии в имении матери Красный Рог, а затем ее брата А. А. Перовского, известного прозаика, выступавшего под псевдонимом Антон Погорельский. «Мое детство, — писал позже поэт, — было очень счастливо и оставило во мне одни только светлые воспоминания. Единственный сын, не имевший никаких товарищей для игр и наделенный весьма живым воображением, я очень рано привык к мечтательности, вскоре превратившейся в ярко выраженную склонность к поэзии. С шестилетнего возраста я начал мараить бумагу и писать стихи — настолько поразили мое воображение произведения лучших наших поэтов, найденные мною в каком-то толстом, плохо отпечатанном и плохо сброшюрованном сборнике. Я упивался музыкой разнообразных ритмов и старался усвоить их технику. Мои первые опыты были, без сомнения, нелепы, но в метрическом отношении они отличались безупречностью».

В 1827 году с матерью и дядей побывал в Германии. Познакомился с Гёте, разговаривал с ним, даже получил подарок — обломок бивня мамонта, украшенный собственноручным рисунком поэта. В 1831 году много ездил по Италии, вел подробный художественный дневник. «В очень короткое время я научился отличать прекрасное от посредственного, выучил имена всех живописцев, всех скульпторов и почти мог соревноваться со знатоками в оценке картин и изваяний. При виде картины я мог всегда назвать живописца и почти никогда не ошибался».

В 1834 году Толстого определили «студентом» в Московский архив Министерства иностранных дел, где обычно начинали карьеру отпрыски самых известных российских родов, а через два года он был прикомандирован к русской дипломатической миссии во Франкфурте-на-Майне. Светский лев, красавец, остроумец, любитель веселья и бесконечных розыгрышей, тонкий ценитель искусства, Толстой и в Европе ни минуты не сидел без дела на месте, старался увидеть и услышать как можно больше.

Всех этих качеств не потерял он и в России, когда в конце 1840 года его перевели во Второе отделение канцелярии Николая I, ведавшее вопросами законодательства. Дружеские отношения с великим князем Александром, будущим царем Александром II, позволили поэту сделать стремительную придворную карьеру: при царе Александре II он был уже флигель-адъютантом, а затем царским егермейстером.

В 1841 году отдельной книгой (под псевдонимом Красногорский) вышла в свет фантастическая повесть Толстого «Упырь». Книгу заметили, казалось, автор должен был бы пытаться развить успех. «Писатель, чувствующий в себе искру поэтического таланта, – объяснял литературные особенности той эпохи Некрасов, – непременно раздувал бы ее сколько возможно, лелеял бы свой талант, как говорили в старину. Но поэту нашего времени этого мало. И, сознавая, что в наше время только поэтический талант, равный Пушкину, мог бы доставить автору и Славу и Деньги, он предпочитает распорядиться иначе: поэтическую искру свою разводит на множество прозаических статей: он пишет повести, рецензии, фельетоны и, получая за них с журналистов хорошие деньги, без сожаления видит, как поэтическая его способность его с каждым годом уменьшается». К счастью, ни деньги, ни слава особенно не волновали Толстого. Охота, литературные вечера, светские балы занимали его время – он успевал всюду. «Коль любить, так без рассудку, коль грозить, так не на шутку, коль ругнуть, так сгоряча, коль рубнуть, так уж сплеча! Коли спорить, так уж смело, коль карать, так уж за дело, коль простить, так всей душой, коли пир, так пир горой!» Этот принцип действительно отвечал его характеру.

В январе 1851 года на балу Толстой познакомился с Софьей Андреевной Миллер, женой конногвардейского полковника Л. Ф. Миллера. Софье Андреевне посвящены самые сокровенные строки Толстого. То, что их встреча вовсе не случайна, они поняли сразу, но соединиться им удалось только через несколько лет, в 1858 году, поскольку муж Софьи Андреевны не хотел давать ей развода, а главное, против такого брака была настроена мать Толстого. «Анна Алексеевна, – писал А. М. Жемчужников, близкий друг и родственник Толстого, побывавший в Красном Роге у Толстых в 1852 году, – была очень рада видеть меня, и всю душою интересовалась узнать мое впечатление и мнение о Софье Андреевне, с которой сошелся ее сын и к которой серьезно и сильно привязался. Ее душа не только не сочувствовала той связи, но была глубоко возмущена и относилась с полным недоверием к искренности Софьи Андреевны. Не раз у меня, тайно от сына, были беседы об этом, и она, бедная, говорила, а слезы так и капали из глаз ее. Меня она обвиняла более всех, как человека самого близкого и наиболее любимого ее сыном и раньше моих братьев познакомившегося с Софьей Андреевной. Я стоял всю душою за Софью Андреевну и старался разубедить ее, но напрасно. Чутко материнское сердце... А что ж Алеша?... Он любил обеих, горевал, и душа его разрывалась на части. Никогда не забуду, как я сидел с ним на траве, в березняке, им насаженном: он говорил, страдая, и со

слезами, о своем несчастье. Сколько в глазах его и словах выражалось любви к Софье Андреевне, которую он называл милой, талантливой, доброй, образованной, несчастной и с прекрасной душой. Его глубоко огорчало, что мать грустит, ревнует и предубеждена против Софьи Андреевны, несправедливо обвиняя ее в лживости и расчете. Такое обвинение, конечно, должно было перевернуть все существо доброго, честного и рыцарски благородного А. Толстого».

В 1854 году в журнале «Современник» впервые появились стихи писателя Козьмы Пруткова, скоро ставшего весьма популярным во всей России. Нелепую эту, но крайне привлекательную фигуру Толстой создал совместно с братьями Жемчужниковыми – Алексеем, Владимиром и Александром. О Жемчужниковых и Толстом ходили по столице самые фантастические слухи. То говорили, что это они под видом флигель-адъютантов объезжали ночью всех петербургских архитекторов со страшным сообщением, что Исаакиевский собор провалился; то в день коронации императора Александра II тайком выпрягли лошадей из кареты испанского посланника; то случайного прохожего, спросившего у них какой-то адрес, направили прямо на Пантелеймоновскую, 9, где находилось Жандармское отделение. Создавая фигуру писателя Кузьмы Пруткова, Толстой и Жемчужниковы не только сочинили все его стихи, басни и афоризмы, но и придумали оригинальную биографию, приложив к ней столь же оригинальный портрет. Козьма Прутков, сообщали друзья, родился 11 апреля 1792 года, в 1820 году был принят в один из лучших гусарских полков, но прослужил в нем лишь два с половиной года – «только для мундира»; в 1823 году – вышел в отставку и поступил на гражданскую службу по министерству финансов – в Пробринную палатку, где прослужил сорок лет, до самой смерти, последовавшей 13 января 1863 года.

В январе 1851 года Алексей Жемчужников записал в дневнике: «Государь Николай Павлович был на первом представлении „Фантазии“ (эта пьеса тоже входила в собрание сочинений Козьмы Пруткова). Эта пьеса шла в бенефис Максимова. Ни Толстой, ни я в театре не были. В этот вечер был какой-то бал, на который мы оба были приглашены и на котором быть следовало. В театре были: мать Толстого и мой отец с моими братьями. Воротясь с бала и любопытствуя знать: как прошла наша пьеса, я разбудил брата Льва и спросил его об этом. Он ответил, что пьесу публика зашикала и что государь в то время, когда собаки бегали по сцене во время грозы, встал со своего места с недовольным выражением в лице и уехал из театра. Услышавши это, я сейчас же написал письмо режиссеру Куликову, что, узнав о неуспехе нашей пьесы, я прошу снять ее с афиши и что я уверен в согласии с моим мнением графа Толстого, хотя и обращаюсь к нему с моей просьбой без предварительного с графом Толстым совещания. Это письмо я отдал Кузьме, прося снести его завтра пораньше к Куликову. На другой день я проснулся поздно, и ответ Куликова был уже получен. Он был короток. „Пьеса ваша и гр. Толстого уже запрещена по высочайшему повелению“.

«В произведении литературы я презираю всякую тенденцию, – писал Толстой Б. М. Маркевичу в декабре 1868 года. – Презираю ее, как пустую гильзу, тысяча чертей! Как раззяву у подножья фок-мачты, три тысячи проклятий! Я это говорил и повторял, возглашал и провозглашал!» И опять уже в письме к М. М. Стасюлевичу: «По мне, сохрани Бог от всякой задачи в искусстве, кроме задачи сделать хорошо. И от направления в литературе, сохрани Бог, как старого, так и от нового! Россини сказал: „В музыке есть только два рода, хороший и плохой“. То же можно сказать и о литературе». Странно, но при всем при этом стихи самого Толстого буквально насыщены были злобой дня. И это относится не только к сочинениям Козьмы Пруткова, но и к «Посланию М. Н. Лонгинову о дарвинизме», и к «Иоанну Дамаскину», и к «Сну Попова», и к «Истории государства Российского от Гостомысла до Тимашова», перемежающейся знаменитым рефреном: «Земля наша богата, порядка в ней лишь нет»...

В самом начале Крымской кампании Толстой и его друг князь А. П. Бобринский решили организовать специальный военный отряд, который помешал бы возможной высадке англичан на балтийском побережье. На свои средства закупили в Туле 80 дальнобойных винтовок, но, к счастью, они негодились. Точно так же не успела пригодиться друзьям быстроходная яхта, которую решено было приобрести для совершения каперских вылазок в море. Поняв, что война, как началась, так и закончится в Крыму, Толстой вступил майором в стрелковый полк, но и тут ему не повезло: под Одессой он тяжело заболел тифом. К счастью, крепкое от природы здоровье не подвело – поэт выжил. Сразу после войны он был произведен в подполковники и одновременно назначен делопроизводителем Секретного комитета о раскольниках. Однако все это совсем не привлекало Толстого. «Государь, – обратился он к императору, – служба, какова бы она ни была, глубоко противна моей натуре; знаю, что каждый должен в меру своих сил приносить пользу отечеству, но есть разные способы приносить пользу. Путь, указанный мне для этого провидением, – мое литературное дарование, и всякий иной путь для меня невозможен. Из меня всегда будет плохой военный и плохой чиновник, но, как мне кажется, я, не впадая в самомнение, могу сказать, что я хороший писатель».

В 1861 году Толстой вышел в отставку.

Жил он попеременно то в своем имении под Петербургом – Пустыньке, то в имении матери – на Черниговщине. Печатался и в либеральном журнале «Вестник Европы», и в противоположном ему по направлению проправительственном «Русском вестнике». В 1867 году вышел в свет единственный прижизненный сборник стихотворений Толстого. «Двух станов не боец, но только гость случайный, – писал он, – за правду я бы рад поднять мой добрый меч, но спор с обоими досель мне жребий тайный, и к клятве ни один не мог меня привлечь; союза полного не будет между нами – не купленный никем, под чье б ни стал я знамя, пристрастной ревности друзей не в силах снести, я знамени врага отстаивал бы честь».

Большой известностью пользовался при жизни поэта его роман «Князь Серебряный». Драматическую трилогию составили драматические пьесы: «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович», и «Царь Борис». А в январе 1884 года вышло в свет первое полное Собрание сочинений Пруткова в одной книге. По свидетельству современников, издание это исчезло из книжных лавок буквально за считанные дни.

В последние годы Толстой страдал сильным расстройством нервов. Еще недавно на охоте он выходил против медведя с ножом в руках, а теперь его мучили астма и ужасные головные боли. Не желая длить столь жалкое состояние, он принял пузырек морфия. Случилось это 28 (10. X) сентября 1875 года в любимом поэтом имении его матери Красном Роге.

Афанасий Афанасьевич Фет

Как мошки зарею,
Крылатые звуки толпятся;
С любимой мечтою
Не хочется сердцу расстаться.
Но цвет вдохновенья
Печален средь буднишних терний;
Былое стремленье
Далеко, как выстрел вечерний.
Но память былого
Все крадется в сердце тревожно...
О, если б без слова
Сказаться душой было можно!

Родился в октябре или в ноябре 1820 года в селе Новоселки, Мценского уезда Орловской губернии.

Отец – помещик Афанасий Неофитович Шеншин, мать – Шарлотта-Елизавета Фет. Шарлотту Шеншин привез из Германии, где проходил лечение. Через два года он обвенчался с нею и все их дети получили фамилию Шеншина, однако, когда первенец – Афанасий – достиг четырнадцати лет, Орловская духовная консистория установила, что мальчик рожден до заключения брака матери с Шеншиным, а значит впредь обязан именоваться не потомственным дворянином Афанасием Шеншиным, а всего лишь гессен-дармштадским подданным Афанасием Фетом. Буквально в один день из потомственного русского дворянина Фет превратился в разночинца, потерял все полагающиеся дворянину привилегии и, ко всему прочему, под всеми официальными документами обязан был отныне подписываться: «К сему иностранец Афанасий Фет руку приложил».

Стремление вернуть потерянное дворянство стало главным в жизни Фета.

Окончив немецкую школу в городе Верро (Эстония), в начале 1838 года он поступил в московский пансион профессора истории М. П. Погодина, и в том же году – в Московский университет на словесное отделение, которое

окончил в 1844 году. В университете Фет подружился с поэтом Аполлоном Григорьевым. «Вместо того, чтобы ревностно ходить на лекции, – писал он позже, – я почти ежедневно писал новые стихи». Там же, в Москве, Фет исправно посещал поэтические салоны Каролины Павловой и Федора Глинки, близко познакомился с Полонским, Герценом, Аксаковыми. В 1840 году под инициалами А. Ф. вышел в свет первый сборник его стихов – «Лирический пантеон», встреченный критиками откровенно издевательски. Но уже стихи, напечатанные Фетом в 1842 году в журналах «Москвитянин» и «Отечественные записки», привлекли серьезное внимание критиков. Белинский даже заметил в обзоре «Русская литература в 1843 году», что «из живущих в Москве поэтов всех даровитее г-н Фет». Самого Фета, впрочем, все эти успехи мало радовали, он тосковал об утерянном дворянстве. «С способностью творения в нем росло равнодушие, – вспоминал Григорьев. – Равнодушие ко всему, кроме способности творить – к божьему миру, как скоро предметы оно переставали отражаться в его творческой способности, к самому себе, как скоро он переставал быть художником. Так сознал и так принял этот человек свое назначение в жизни... Страдания улеглись, затихли в нем, хотя, разумеется, не вдруг. Этот человек должен был или убить себя, или создаться таким, каким он сделался... Я не видал человека, которого бы так душила тоска, за которого бы я более боялся самоубийства... Я боялся за него, я проводил часто ночи у его постели, стараясь чем бы то ни было рассеять это страшное хаотическое брожение стихий его души...»

Окончив университет, Фет решил поступить на военную службу. Офицерский чин по законам того времени приносил разночинцу звание потомственного дворянина, в то время как на гражданской службе к такому результату приводил только чин коллежского асессора. Не имея нужных связей, в 1845 году Фет смог поступить лишь унтер-офицером в захудалый кавалерийский полк – Орденский Кирасирский, и с этого времени почти десять лет странствовал по мелким городкам и селам Херсонской губернии, где полк был расквартирован. К ужасному его разочарованию, за несколько месяцев до получения первого офицерского чина, вышел указ, по которому потомственное дворянство стал давать только чин майора (в кавалерии – ротмистра). На разочарование наложился еще трагический роман с дочерью небогатого херсонского помещика – Марией Лазич. Из-за невозможности содержать семью, может быть, несколько преувеличиваемую Фетом, он не мог жениться на Лазич. «Не могу выбросить из рук последнюю доску надежды и отдать жизнь без борьбы, – писал он другу своему И. Н. Борисову. – Я не женюсь на Лазич, и она это знает, а между тем умоляет не прерывать наших отношений. Этот гордиев узел любви, который чем более распутываю, тем туже затягиваю, я разрубить мечом не имею духу и сил... – И неожиданное признание: – Знаешь, втянулся в службу, а другое все только томит как кошмар...»

Судьба сама, и по-своему, разрешила ситуацию: Мария Лазич погибла от неосторожно брошенной спички.

В 1853 году Фет сумел, наконец, перевестись в гвардейский лейб-уланский полк, расквартированный в районе Волхова. Теперь он стал бывать в столице, подружился с Тургеневым, вошел в круг сотрудников журнала «Современник», редактируемого Некрасовым. «Фет уже был известен своими стихотворениями в литературе с сороковых годов, – не очень доброжелательно писала о нем Панаева, – но я познакомилась с ним только в начале пятидесятых. Он приехал в Петербург на продолжительное время в отпуск из полка, и я виделась с ним каждый день. Фет находился в вдохновенном настроении и почти каждое утро являлся с новым стихотворением, которое читал Некрасову, мне и всем литераторам, кто просил его прочесть. Тургенев находил, что Фет так же плодовит, как клопы, и что, должно быть, по голове его проскакал целый эскадрон, от чего и происходит такая бессмыслица в некоторых его стихотворениях, Но Фет вполне был уверен, что Тургенев приходит в восторг от его стихов, и с гордостью рассказывал, как после чтения Тургенев обнимал его и говорил, что это лучшее из написанного им...»

В 1856 году вышло собрание стихотворений Фета, вполне благожелательно встреченное критикой. К этому времени военная служба окончательно потеряла для поэта смысл: вышел новый указ, по которому потомственное дворянство могли получить лишь офицеры, дослужившиеся до чина полковника, Фет же за много лет дослужился только до поручика. Взяв отпуск, поэт уехал за границу, а вернувшись – вышел в отставку и поселился в Москве. Там же, в 1857 году, он женился на Марии Боткиной, дочери крупного торговца чаем. Невеста не была красивой, прошлое ее было затуманено каким-то неудачным романом, но Фет и не искал красоты и духовности. «Идеальный мир мой разрушен давно, – писал он Борисову. – Ищу хозяйку, с которой буду жить, не понимая друг друга. Если никто никогда не услышит жалоб моих на такое непонимание друг друга, то я буду убежден, что я исполнил мою обязанность, и только...»

Некоторое время Фет пытался жить на литературные доходы, но вскоре убедился, что это невозможно. Мешало то, что единственной задачей искусства он всегда считал умение передать во всей полноте и чистоте некий образ, в минуту некоего восторга возникающий перед художником. «Другой цели у искусства быть не может, – категорически утверждал он. – Произведение, имеющее какую бы то ни было дидактическую тенденцию, – это дрянь». Только беглые настроения стоят внимания, считал он. «В деле свободных искусств я мало ценю разум в сравнении с бессознательным инстинктом (вдохновеньем), пружины которого от нас скрыты». Современники не мало упрекали поэта в сложности, даже в непонятности, имея в виду его эпитеты: звонкий сад, тающая скрипка, румяная скромность, мертвые грезы, благовонные речи, часто прямо называя все это чепухой. Поэт, впрочем, отвечал столь же прямо: «В нашем деле истинная чепуха и

есть истинная правда». И писал Полонскому: «Никто более меня не ценит милейшего, образованнейшего и широкописного Ал. Толстого, – но ведь он тем не менее какой-то прямолинейный поэт. В нем нет того безумства и чепухи, без которой я поэзии не признаю. Пусть он хоть в целом дворце обтянет все кресла и табуреты венецианским бархатом с золотой бахромой, я все-таки назову его первоклассным обойщиком, а не поэтом. Поэт есть сумасшедший и никуда не годный человек, лепечущий божественный вздор».

Поняв, что литературой прокормиться невозможно, Фет в 1860 году купил двести десятин (более 220 гектаров) земли в родном Мценском уезде Орловской губернии и переселился в деревню Степановку. В. П. Боткин успокаивал расстроенную сестру: «...это деятельность, которая займет Фета и даст ему ту душевную оседлость, которую ты, Маша, не довольно ценишь в муже, ибо литература теперь для него не представляет того, что представляла прежде, при ее созерцательном направлении». А Тургенев в письме к Полонскому с некоторым удивлением подтверждал: «Он (Фет) теперь сделался агрономом-хозяином до отчаянности. Отпустил бороду до чресл – с какими-то волосяными вихрами за и под ушами, – о литературе слышать не хочет и журналы ругает с энтузиазмом». И страшно обижался на Фета, который как-то написал ему: «Покупайте у меня рожь по 6 руб., дайте мне право тащить в суд нигилистку и свинью за проход по моей земле, не берите с меня налогов – а там хоть всю Европу на кулаки!»

Став помещиком, Фет практически ушел из литературы. Теперь он выступал в печати только с яростными призывами защитить помещичью собственность от крестьян и наемных рабочих, да укоротить призывы к прогрессу. Чехов не случайно записал в дневнике: «Мой сосед В. Н. Семенович рассказал мне, что его дядя Фет-Шеншин, известный лирик, проезжая по Моховой, опускал в карете окно и плевал на университет. Харкнет и плюнет: тьфу! Кучер так привык к этому, что всякий раз, проезжая мимо университета, останавливался». Имя Фета вызывало колоссальное раздражение в журналах, близких к демократическим кругам. Известный своей нетерпимостью критик Писарев в «Цветях невинного юмора» писал об итоговом собрании стихотворений Фета, вышедшем в 1863 году: «Со временем продадут его пудами для оклеивания комнат под обои и для завертывания сальных свечей, мещерского сыра и копченой рыбы. Г. Фет унижится таким образом до того, что он в первый раз станет приносить своими произведениями некоторую долю практической пользы»... А критик «Русского слова» соглашался с Писаревым: «Такое занятие, как выдумывать такие стихи, ничем не отличается от перебирания пальцами, которому с наслаждением предаются многие купчихи... – И дальше: – Он (Фет) в стихах придерживается гусяного мирозерцания...»

В течение двадцати лет Фет занимался только хозяйством: ставил мельницы, создал крупный конный завод, почти десять лет прослужил мировым судьей. Выпадающий досуг заполнял занятиями философией.

Особенно близким был ему Шопенгауэр. «Шопенгауэр, – писал поэт, – для меня не только последняя крупная философская ступень, это для меня откровение, возможный человеческий ответ на те умственные вопросы, которые сами собой возникают в душе каждого». Он вполне разделял известное мнение Шопенгауэра о том, что история ничего в человеке и в обществе не меняет, что всякий прогресс – мираж, что любые попытки сознательного изменения строя человеческой жизни бессмысленны и безнадежны. В жизни царствовало и всегда будет царствовать страдание, считал Фет, поэтому основным свойством искусства должна быть полная его независимость от всяких «головных» понятий. В письме, адресованном К. Р. (великому князю Константину), он писал: «Цельный и всюду себе верный Шопенгауэр говорит, что искусство и прекрасное выводит нас из томительного мира бесконечных желаний в безвольный мир чистого созерцания: смотрят на Сикстинскую мадонну, слушают Бетховена и читают Шекспира не для получения следующего места или какой-либо выгоды...»

Литературное общение Фета сводилось теперь к простому общению с немногими друзьями. «Вы оба моя критика и публика, и не ведаю другой», – писал он Льву Толстому и его жене. И Толстой отвечал ему тем же чувством: «Вы человек, которого, не говоря о другом, по уму я ценю выше всех моих знакомых и который в личном общении дает один мне тот другой хлеб, которым, кроме единого, будет сыт человек». И в другом письме о стихотворении «Майская ночь»: «Развернув письмо, я – первое – прочел стихотворение, и у меня защемило в носу: я пришел к жене и хотел прочесть, но не мог от слез умиления. Стихотворение – одно из тех редких, в которых ни слова прибавить, убавить или изменить нельзя; оно живое само и прелестно. Я не знаю у вас лучшего». В письме к Боткину тот же Лев Толстой искренне удивлялся: «И откуда у такого добродушного толстого офицера берется такая непонятная лирическая дерзость, свойство великих поэтов?»

В 1873 году произошло событие, которого Фет ждал всю жизнь: царь, наконец, удовлетворил его прошение. Разночинец Фет стал потомственным дворянином, «трехсотлетним Шеншиным». Узнав об этом, Шеншин в тот же день отправил жене письмо с требованием незамедлительно заменить все метки, какие имелись в усадьбе – на столовом серебре, на белье, на почтовой бумаге. «Теперь, – писал он, – когда все, слава Богу, кончено, ты представить себе не можешь, до какой степени мне ненавистно имя Фет. Умоляю тебя никогда его ко мне не писать, если не хочешь мне опротиветь. Если спросить: как называются все страдания, все горести моей жизни, я отвечу: имя им – Фет. Со стороны легко смотреть на чужую изуродованную жизнь, но к своей собственной так легко относиться трудно...»

«Став помещиком, – писал известный литературовед Б. Бухштаб, – выхлопотав причисление „по высшему повелению“ к роду Шеншиных и тем самым получив потомственное дворянство, Фет, казалось бы, добился того, чего желал смолоду. Но глубоко раненное самолюбие не удовлетворялось и требовало новых достижений на том же пути. Притом некоторые знакомые

вовсе не скрывали от Фета недоуменного или прямо иронического отношения к его превращению в Шеншина. Так, Тургенев написал ему по этому поводу: „Как Фет, Вы имели имя, как Шеншин, Вы имеете только фамилию“... На все это Фет реагирует погоней за дальнейшими почестями. Он буквально выпрашивает себе придворное звание камергера к пятидесятилетнему юбилею своей литературной деятельности. Большой старик, еледвигающийся от удущья, мучит себя дворцовыми приемами, сидит из-за них в Москве в летнюю жару, тешится своим званием, являясь в камергерском мундире всюду, куда следует и куда явно не следует...»

И все же это именно Фет сказал: «Я никогда не мог понять, чтобы искусство интересовалось чем-либо помимо красоты».

П. И. Чайковский, писал: «Считаю его (Фета) поэтом безусловно гениальным, хотя есть в этой гениальности какая-то неполнота, неравновесие, причиняющее то странное явление, что Фет писал иногда совершенно слабые, непостижимо плохие вещи... И рядом такие пьесы, от которых волосы дыбом становятся... Фет есть явление совершенно исключительное; нет никакой возможности сравнивать его с другими первоклассными или иностранными поэтами. Скорее можно сказать, что Фет в лучшие свои минуты выходит из пределов, указанных поэзии, и смело делает шаг в нашу область (то есть в сторону музыки). Поэтому часто Фет напоминает мне Бетховена, но никогда Пушкина, Гёте или Байрона, или Мюссе. Подобно Бетховену, ему дана власть затрагивать такие струны нашей души, которые недоступны художникам, хотя бы и сильным, но ограниченными пределами слова. Это не просто поэт, скорее поэт-музыкант, как бы избегающий даже таких тем, которые легко поддаются выражению словом. От этого также его часто не понимают и есть даже и такие господа, которые смеются над ним, утверждая, что стихотворение вроде «Уноси мое сердце в звенящую даль» и т. д. есть бессмыслица. Для человека ограниченного и в особенности немзыкального, пожалуй, это и бессмыслица, – но ведь недаром же Фет, несмотря на свою для меня несомненную гениальность, вовсе не популярен».

Умер 21 (3. XII) ноября 1892 года в Москве.

Яков Петрович Полонский

Мой костер в тумане светит;
Искры гаснут на лету.
Ночью нас никто не встретит;
Мы простимся на мосту.
Ночь пройдет – и спозаранок
В степь, далеко, милый мой,
Я уйду с толпой цыганок
За кибиткой кочевой...

Родился 6 (18) декабря 1819 года в Рязани.

Окончив гимназию, поступил на юридический факультет Московского университета. Жил бедно, поддерживала его только бабушка – Е. Б. Воронцова. Если появлялись какие-то деньги, тратил их в кондитерской, просматривая за чашкой кофе свежие газеты и журналы, подаваемые хозяином. Из-за постоянной необходимости зарабатывать на жизнь, университет закончил только в 1844 году. Тогда же выпустил сборник стихов «Гаммы», замеченный «Отечественными записками». «Полонский обладает в некоторой степени тем, что можно назвать чистым элементом поэзии и без чего никакие умные и глубокие мысли, никакая ученость не сделает человека поэтом», – писал критик. Однако, этот некоторый успех никак не повлиял на материальное положение поэта; в ноябре того же года он уехал в Одессу.

С 1846 года Полонский жил в Тифлисе. Служил в канцелярии кавказского наместника М. С. Воронцова и редактировал газету «Закавказский вестник». Там же, в Тифлисе, вышел в 1849 году сборник стихов «Сазандар».

В 1853 году переехал в Петербург.

Жить в столице было нелегко. Полонский давал частные уроки, некоторое время служил гувернером в семье миллионера С. С. Полякова. Женился. Однажды, торопясь по делам, связанным с рождением первенца, упал с дрожек и получил серьезную травму. Несколько операций, перенесенных им, не принесли выздоровления, до конца жизни Полонский пользовался костылями. Еще большим потрясением для поэта стала смерть его жены – дочери псаломщика русской церкви в Париже Елены Устюжской. При сложной материальной жизни, жена была неоценимой помощницей поэту – сама кормила и нянчила ребенка. Впрочем, это ей было знакомо, поскольку выросла она в большой небогатой семье и, будучи старшей, вынянчила поочередно всех своих братьев и сестер. Потеряв жену, Полонский впал в отчаяние. Он пытался связаться с женой при помощи спиритических сеансов, но утешение поэту приносили только стихи. «По твоим стихам, – как-то написал он Фету, – невозможно написать твоей биографии, и даже намекать на события из твоей жизни... Увы!.. По моим стихам можно проследить всю жизнь мою...»

Стихи Полонского охотно печатались в «Современнике», в «Отечественных записках», в «Русском слове», то есть в журналах самых противоположных направлений, часто идеологически враждебных друг другу. Это лавирование между различными лагерями мешало поэту. Но сам он так объяснял это лавирование (в письме к Чехову): «Наши большие литературные органы любят, чтобы мы, писатели, сами просили их принять нас под свое покровительство – и тогда только благоволят, когда считают нас своими, а я всю свою жизнь был ничей, для того, чтобы принадлежать всем, кому я понадоблюсь, а не кому-нибудь...»

В конце пятидесятых Полонский редактировал журнал «Русское слово», затем служил цензором в Комитете иностранной цензуры, входил в совет Главного управления по делам печати. Но главное место в его жизни

занимала поэзия. «Что такое – отделять лирическое стихотворение или, поправляя стих за стихом, доводить форму до возможного для нее изящества? – писал он. – Это, поверьте, не что иное, как отделять и доводить до возможного в человеческой природе изящества свое собственное, то или другое, чувство».

«Улеглася метелица. Путь озарен. Ночь глядит миллионами тусклых очей. Погружай меня в сон, колокольчика звон! Выноси меня, тройка усталых коней!.. У меня ли не жизнь! Чуть заря на стекле начинает лучами с морозом играть, самовар мой кипит на дубовом столе, и трещит моя печь, озаряя в угле, за цветной занавеской, кровать!.. Что за жизнь! Поинял пестрый полога цвет, я больная брежу и не еду к родным, побранить меня некому – милого нет, лишь старуха ворчит, как приходит сосед, оттого, что мне весело с ним!».

«Как это хорошо! – писал Достоевский. – Какие это мучительные стихи, и какая фантастическая раздающаяся картина. Канва одна и только намечен узор, вышивай, что хочешь... Этот самовар, этот ситцевый занавес, – так это все родное. Это как в мещанских домиках в уездном нашем городишке».

В последние годы, будучи уже признанным, Полонский еженедельно устраивал «пятницы», на которых встречались литераторы, артисты, ученые.

«Большая зала с окнами на две улицы, – вспоминала Зинаида Гиппиус. – Во всю длину залы – накрытый чайный стол (часто, бывало, думаю: и откуда такая длинная скатерть?) За столом – гости. Сухонькая, улыбающаяся хозяйка (вторая жена Полонского, Жозефина А.). У окон где-то рояль, а в самом углу, над растениями, громадная белая статуя. Амура, кажется. Ее отовсюду видно, в зале только она да этот чайный стол. Гостей всегда много, но не тесно, ибо гости меняются: когда приходят новые, – встают и уходят те, кто чай кончил. Уходят через маленькую гостиную в кабинет хозяина, который в зале никогда не присутствует. Он сидит в этой довольно узкой комнате, неизменно на своем месте, в кресле за письменным столом. Вижу этот стол и за ним, лицом к двери, большого угловатого старика – Якова Петровича. Кресло не очень низкое. Полонский сидит бодро, сутулясь чуть-чуть. Рядом – его костыли. У него нет белоснежной бороды Плещеева. Борода не короткая, но и не длинная, и весь он скорее серый, чем белый; весь в проседи. Глаза ужасно живые и прегромкий голос. То кричит весело, то трубит сердито или торжественно. Иногда стучит костылем. От проходящих в кабинет гостей его отделяет письменный стол, и гости сидят прямо перед Полонским, на стульях или на диване у стены. Он и говорит со всеми вместе, точно всегда немного с эстрады. Впрочем, бывает, что кто-нибудь садится на стул сбоку, поговорить поближе...

Полонский охотно говорит о себе, о своих стихах. Рассказывает, какие именно слова он создал, первый ввел в литературу. Если Достоевский бросил слово «стушеваться», то он, Полонский, создал «непроглядную» ночь. Меня, по правде сказать, эти «новые» слова не пленяли, уже казались банальностями. Удивило только открытие, что слово «предмет» не

существовало до Карамзина: он оказался его творцом. Полонский, когда его просили, с удовольствием читал стихи, и это бывало нередко. Читал он любопытно, совсем по-своему. Так же, вероятно, как читал и не на этой домашней «эстраде», за письменным столом, а на настоящей, где мне слышать его не пришлось. Читал густо, тромбонно, с непередаваемой, устрашающей завойкой. Его чтение у меня в ушах, я могу его приблизительно «передразнить», но описать не могу. Плещеев и Вейнберг читали с тем условным пафосом, которого требовал тогдашний студент. Чтение Полонского было другое. Сначала делалось смешно, а потом нравилось. «Есть фо-орма, – но она пуста! Краси-иво – но не красота!» Эти строчки, сами по себе недурные, значительные, во всяком случае, производили большое впечатление в густом рыканье Полонского. Так же декламировал он и свое единственное, считавшееся «либеральным» стихотворение: «Что мне она? Не жена, не любовница и не родная мне дочь. Так почему ж ее доля проклятая спать не дает мне всю ночь?». Не знаю, как случилось, что другое его, воистину прекрасное стихотворение не пользовалось популярностью; и сам Полонский не читал его (при мне) и с эстрады его, кажется, редко читали другие. Легко представляю себе как громовержно продекламировал бы Яков Петрович: «Писатель, если только он волна, а океан – Россия, не может быть не возмущен, когда возмущена стихия. Писатель, если только он есть нерв великого народа, не может быть не поражен, когда поражена свобода». Но «студент» требовал, чтобы его звали «Вперед, без страха и сомненья», доверял только белым бородам, а какие стихи, хорошие или плохие, – ему было в высшей степени наплевать.

Кого только не приходилось видеть на пятницах Полонского! Писатели, артисты, музыканты... Тут и гипнотизер Фельдман, и нововременский предсказатель погоды Кайгородов, и рассказчик Горбунов, и семья Достоевского, и Антон Рубинштейн... На ежегодном же вечере-монстре в конце декабря в день рождения Полонского бывало столько любопытного народа, что, казалось, «весь Петербург» выворотил свои заветные недра. Хозяин сидел там же, на том же месте, за письменным столом, и торжественно принимал поздравления. Впрочем, однажды в этот день он продвинулся на своих костылях в залу; ненадолго, лишь пока Антон Рубинштейн, оторванный от игры в карты и набросившийся на клавиши, с таким озлоблением и с такой силой терзал рояль, точно это был его личный враг...

Все комнаты отворены и все полны народу. Никаких танцев (и карточный стол всего один, специально для Рубинштейна: по пятницам же карты никому не разрешались). Гости все солидные, с сановными лицами и даже со звездами... Жена гр. Алексея Толстого, изящно-некрасивая, под черным покрывалом, как вдовствующая императрица, улыбается тем, кого ей представляют... Мне подумалось: а ведь это ей написано: «Средь шумного бала случайно, в тревоге мирской суеты, тебя я увидел, но тайна твои

покрывала черты...» Все ли знают, что бал этот – маскарад, «тайна» – просто маска и покрывала она редко-некрасивые черты лица...»

«Творчество требует здоровья, – говорил Полонский одному из друзей. – Врет Ломброзо, что все гении были полупомешанные или больные люди. Сильные нервы – это то же, что натянутые стальные струны у рояля: не рвутся и звучат от всякого – сильного ли, слабого ли – к ним прикосновения». И писал, вспоминая своего друга Фета: «...Все тот же огонек, что мы зажгли когда-то, не гаснет для него и в сумерках заката, он видит призраки ночные, что ведут свой шепотливый спор в лесу у перевала, там мириады звезд плывут без покрывала, и те же соловьи рыдают и поют».

Умер 18 (30) октября 1898 года.

Похоронен в Рязани.

Константин Дмитриевич Бальмонт

Я устал от нежных снов,
От восторгов этих цельных
Гармонических пиров
И напевов колыбельных.
Я хочу порвать лазурь
Успокоенных мечтаний.
Я хочу горящих зданий,
Я хочу кричащих бурь!

Упоение покоя —
Усыпление ума.
Пусть же вспыхнет море зноя,
Пусть же в сердце дрогнет тьма.
Я хочу иных бряцаний
Для моих иных миров.
Я хочу кинжальных слов
И предсмертных восклицаний!

Родился 4 (15) июня 1867 года в имении Гумнищи вблизи города Шуи.

«Я вырос в саду, – вспоминал поэт, – среди цветов, деревьев и бабочек. В наших местах есть леса и болота, есть красивые реки и озера, растут по бочагам камыши и болотные лилии, сладостная дышит медуница, ночные фиалки колдуют, дрема, васильки, незабудки, лютики, смешная заячья капуста, трогательный подорожник – и сколько – сколько еще!».

Гимназию не закончил: был исключен за принадлежность к тайному гимназическому кружку, распространявшему прокламации «Народной воли». Пришлось из Шуи отправиться во Владимир – доучиваться. Осенью 1886 года поступил на юридический факультет Московского университета, но и оттуда его исключили за участие в революционно настроенных студенческих кружках. Более того, даже выслали из Москвы – «по месту

проживания». Впечатлительный, остро реагирующий даже на самые незначительные события, в Шую Бальмонт вернулся потрясенный. В 1890 году он еще раз попробовал продолжить образование, но ни в университете, ни в Демидовском лицее в Ярославле надолго не задержался, и весь тот огромный умственный багаж, все те знания, которыми он владел, получил самостоятельно.

В 1890 году в Ярославле вышел первый «Сборник стихотворений». И тогда же Бальмонт женился на Ларисе Гарелиной, такой же, как он, весьма неуравновешенной красавице, дочери богатого шуйского фабриканта. Как это ни странно звучит, но многие современники утверждали, что к вину Бальмонта приучила именно первая жена. Она же вконец рассорила поэта с родителями. 13 марта 1890 года, нервный, склонный к запоям и к истеричным решениям, Бальмонт выбросился с третьего этажа московской гостиницы, где они жили с женой, на булыжную мостовую. «Когда весь избитый и изломанный я лежал, очнувшись, на холодной весенней земле, – вспоминал позже Бальмонт, – я увидел небо безгранично высоким и недоступным. Я понял в те минуты, что моя ошибка – двойная, что жизнь бесконечна...» И дальше: «В долгий год, когда я, лежа в постели, уже не чаял, что я когда-нибудь встану, я научился от предутреннего чирикания воробьев за окном и от лунных лучей, проходивших через окно в мою комнату, и от всех шагов, достигавших до моего слуха, великой сказке жизни, понял святую неприкосновенность жизни. И когда наконец я встал, душа моя стала вольной, как ветер в поле, никто уже более не был над нею властен, кроме творческой мечты, а творчество расцвело буйным цветом...»

По просьбе известного историка западной литературы Н. И. Стороженко издатель Солдатенков предложить Бальмонту перевод серии книг по истории скандинавской и итальянской литературы. Это помогло Бальмонту встать на ноги и укрепить свою литературную репутацию. Обладая невероятным трудолюбием, он прочел горы книг, не меньше написал и перевел. Ему всегда легко давались иностранные языки, он этим умело пользовался. Поэту, утверждал он, надо «уметь в весенний свой день сидеть над философской книгой, и английским словарем, и испанской грамматикой, когда так хочется кататься на лодке и, может быть, с кем-то целоваться, уметь прочесть и 100, и 300, и 1000 книг, среди которых много-много скучных, полюбить не только радость, но и боль, молча лелеять в себе не только счастье, но и вонзающуюся в сердце тоску...»

«В работе Константина Дмитриевича, – вспоминал издатель Сабашников, – меня поразило то, что он почти не делал помарок в своих рукописях. Стихи в десятки строк, по-видимому, складывались в его голове совершенно законченными и разом заносились в рукопись. Если нужно было какое-либо исправление, он заново переписывал текст в новой редакции, не делая никаких помарок или приписок при первоначальном тексте. Почерк у него был выдержанный, четкий, красивый. При необычайной нервности Константина Дмитриевича почерк его не отражал, однако, никаких перемен

в его настроениях. Мне, у которого почерк менялся до неузнаваемости в зависимости от настроения, это казалось и неожиданным, и удивительным. Да и в привычках своих он казался педантично аккуратным, не допускающим никакого неряшества. Книги, письменный стол и все принадлежности поэта находились всегда в порядке гораздо большем, чем у нас, так называемых деловых людей. Эта аккуратность в работе делала Бальмонта очень приятным сотрудником издательства. Рукописи, им представляемые, всегда были окончательно отделаны и уже не подвергались изменениям в наборе. Корректуры читались четко и возвращались быстро...»

В 1896 году по подложному свидетельству (первая жена не дала развода) Бальмонт вступил в брак с переводчицей Е. А. Андреевой. Отношения поэта с женщинами всегда были восторженными, и в то же время трагичными. Самоубийство поэтессы Мирры Лохвицкой, влюбленной в него, потрясло Бальмонта. «О, какая тоска, что в предсмертной тиши я не слышал дыханья певучей души, что я не был с тобой. что я не был с тобой, что одна ты ушла в океан голубой...» Но при всем этом Бальмонт не был создан для верности; до конца прошла с ним путь только Е. К. Цветковская. «Он жил мгновеньем и довольствовался им, не смущаясь пестрой сменой миггов, – писала Андреева, – лишь бы только полнее и красивее выразить их. Он то воспевал Зло, то Добро, то склонялся к язычеству, то преклонялся перед христианством...»

В 1894 году вышел сборник стихов Бальмонта «Под северным небом», в 1895 – «В безбрежности», в 1900 – «Горящие здания», и, наконец, в 1903 – «Будем как Солнце», книга, принесшая ему поистине всероссийскую славу. «Я – изысканность русской медлительной речи, – писал он, – предо мною другие поэты – предтечи, я впервые открыл в этой речи уклоны, перепевные, гневные, нежные звоны. Я – внезапный излом, я – играющий гром, я – прозрачный ручей, я – для всех и ничей...» И действительно не было в те годы поэтического имени более известного. На фоне бесцветной, как бы вылинявшей поэзии конца девятнадцатого века, яркие стихи Бальмонта вспыхнули как Солнце. Войдя в число основоположников символизма, нового, тогда только еще нарождающегося литературного течения, поэт появился очень вовремя. Не случайно сам Бальмонт гордо заявлял: «Имею спокойную убежденность, что до меня, в целом, не умели в России писать звучных стихов».

В 1905 году, из-за цикла «революционных» стихов (в общем того совсем не заслуживающих), Бальмонт был вынужден уехать из России. Вернулся он только через семь лет, – совершив кругосветное путешествие, объездив множество стран. В мае 1913 года в Москве на Брестском вокзале его встречали толпы восторженных поклонников. Жандармы запретили поэту обратиться к встречающим, он, смеясь, бросал в толпу ландыши.

«Среднего роста, полноватый блондин с бородкой, – писала о Бальмонте Б. Погорелова, свояченица поэта Валерия Брюсова. – Когда он читал свои стихи, то слова звучали не по-русски. Происходило это не только от презрительной небрежности в произношении, но также и от какого-то прирожденного

дефекта: некоторых согласных он не произносил. У публики Бальмонт пользовался огромным успехом. При его выступлениях зал был всегда переполнен, и овациям и аплодисментам не было конца. „Скорпион“ (издательство) отводил почетное место его прозе в „Весак“ и стихам в „Северных цветах“. Книги стихов расходились больше всего. Его читали и ценили и пожилые люди, и молодежь, и правые, и левые... Бальмонт всегда был нарядно одет и надушен крепкими английскими духами... Когда Бальмонт приезжал в Москву, то жизнь его проходила в усидчивых занятиях дома, чередовавшихся с длинными и бурными попойками и кутежами. Тогда встревоженная Е. А. принималась разыскивать его по всему городу...»

Об одном таком случае вспоминал искусствовед Л. Сабанеев. «Я и Поляков – писал он, – должны были пойти на какой-то концерт. Зашли по дороге в гостиницу „Альпийская роза“, где жил художник Росинский, чтобы взять его с собой. У Росинского сидел Бальмонт, и у него уже было настроение вздернутое – до нас они пили коньяк. Так как Бальмонт не хотел (да и не мог) пойти вместе на концерт, решили, что пойдем втроем, а он посидит тут, нас подождет. Для безопасности, видя его состояние, сказали служащему, чтобы ему ни в каком случае не давать ни вина, ни коньяку, сказать, что „нет больше“.

Мы ушли.

В наше же отсутствие произошло следующее.

Оставшись один, Бальмонт немедленно спросил еще коньяку. Ему, как было условлено, ответили, что коньяку нет. Он спросил виски – тот же ответ. Раздраженный поэт стал шарить в комнате, нашел бутылку одеколона и всю ее выпил. После этого на него нашел род экстаза. Он потребовал себе книгу для подписей «знатных посетителей». Так как подобной книги в отеле не было, то ему принесли обыкновенную книгу жильцов с рубриками: фамилия, год рождения, род занятий и т. д. Бальмонт торжественно с росчерком расписался, а в «роде занятий» написал: «Только любовь!» Что было дальше, точно выяснить не удалось, но когда мы вернулись с концерта, то в вестибюле застали потрясающую картину: толпа официантов удерживала Бальмонта, который с видом Роланда наносил сокрушительные удары по... статуям негров, украшавших лестницу. Двое негров, как трупы, с разбитыми головами валялись уже у ног его, сраженные. Наше появление отрезвило воинственного поэта. Он сразу стих и дал себя уложить спать совершенно покорно. Поляков выразил желание заплатить убытки за поверженных негров, но тут выяснилось, что хозяин отеля – большой поклонник поэзии, и в частности Бальмонта, что он «считает за честь» посещение его отеля такими знаменитыми людьми и просит считать, что ничего не было. Впрочем, сам поэт об том своем триумфе не узнал – он спал мертвым сном...»

«Я видел много людей исключительных, – писал Бальмонт, будучи сам человеком исключительным. – Была у меня незабвенная беседа с великим чтецом душ, Львом Толстым. Это – как не рассказываемая исповедь. Я был в гостях у Кнута Гамсуна, и когда, рассказывая мне о своей жизни

чернорабочего в Америке, он ходил передо мною взад и вперед по комнате, он походил на осторожного бенгальского тигра, а его бледно-голубые глаза, привыкшие смотреть вдаль, явственно говорили о бирюзе моря и о крыльях сильной океанской чайки. Я встретил однажды на парижском бульваре Оскара Уайльда и меня поразило, как высокий поэт, сам загубивший свой высокий удел, способен быть совершенно один в тысячной толпе, не видя никого и ничего, кроме собственной души. В долгие часы, совсем потопаящие в табачном дыме, с Шибышевским в Мюнхене, я без конца говорил с ним о демонизме и дивился на способность славянской души истекать в словах и кружиться не столько в хмеле вина, сколько в хмельной водоверти умозрений. Еще в ранней юности я бывал в доме у Сурикова, и он бывал у меня, и в каждом слове, в каждом движении этого замечательного художника чувствовалось – так я чувствовал – душевная мощь боярыни Морозовой, широкоплечая сила казачества и необъятная ширь Сибири, где небо целуется с землей. В те же ранние дни я видел Врубеля, говорил с ним, показывал ему редкий портрет Эдгара По, и когда он восхищался этим портретом, я поражался, как много из лица Эдгара По в тонком лице Врубеля и как поразительна в этих двух гениальных ликах явственная черта отмеченности и обреченности. И в те же ранние дни – еще раньше, совсем юношей – я был в Христиании и в ярком свете летнего дня увидел – как видение – Генрика Ибсена, живого, настоящего Генрика Ибсена, которым я восхищался и которого изучал еще с гимназических дней. Он прошел близко передо мною по тротуару, я имел возможность, случайную, подойти к нему и заговорить, но он был такой особенный, так не похожий на кого-либо из людей, что сердце мое замерло в блаженстве, и мне не нужно было подходить к нему. Я видел его, как много позднее увидел в Провансе падение болида – в широком свете небесной неожиданности. Есть видения, которые насыщают душу сразу, вне радости осязания и прикосновения...»

Всю жизнь Бальмонт занимался переводами.

«Мне было 14 лет, – писал он литовскому поэту Людасу Гире, – когда я увлекся мыслью изучить немецкий язык. В гимназии я изучал лишь французский. В течение лета, тайком от родителей и братьев, я купил немецкую грамматику с хрестоматией и словариком и овладел немецким настолько, что добрый учитель Петр Яковлевич Эссеринг-Карклинг, проверив меня и вначале относившийся к моему желанию с недоверием, через пять минут встал и пожал мне руку. Позднее я купил себе немецкий перевод „Отцов и детей“ Тургенева, который был тогда моим любимым писателем, и „Несчастную“, и „Накануне“, и „Дым“, и „Первую любовь“. Это дало мне возможность, действительно овладев немецким языком, перейти к сочинениям Гейне, Ленау и Гёте». Так же изучил Бальмонт и английский. В его переводах выходили и до сих пор выходят многие произведения Шелли, Эдгара По, Уолта Уитмена, П. Кальдерона, Оскара Уайльда, Поля Верлена, Шарля Бодлера. Переводил он и польских, и чешских поэтов, а в 1930 году издал антологию «Золотой сноп болгарской поэзии». Бальмонту

принадлежит и один из лучших переводов поэмы Шота Руставели «Витязь в барсовой шкуре».

«Можно ли и нужно ли, – писал Бальмонт, – переводить чужеземных поэтов?

Конечно, предпочтительнее, и вне сравнения предпочтительнее, изучать самому иностранные языки и читать поэтов в подлиннике. Однако не всем это доступно. Переводы – неизбежность, и поэта, знающего много языков и любящего языки чужих стран и певучий язык Поэзии, влечет к себе искусство переводов. Это – созвучие душ, и поединок, и бег вдвоем к одной цели. Дать в переводе художественную равноценность – задача невыполнимая никогда. Произведение искусства, по существу своему, единично и единственно в своем лице. Можно лишь дать нечто приближающееся больше или меньше. Иногда даешь точный перевод, но душа исчезает, иногда даешь вольный перевод, но душа остается. Иногда перевод бывает точный, и душа остается в нем. Но, говоря вообще, поэтический перевод есть лишь отзвук, отклик, эхо, отражение. Как правило, отзвук беднее звука, эхо воспроизводит лишь частично пробудивший его голос, но иногда, в горах, в пещерах, в сводчатых замках, эхо, возникнув, пропоет твой вскрик семикратно, в семь раз отзвук бывает прекраснее и сильнее звука. Так бывает иногда, но очень редко, и с поэтическими переводами. И отражение есть лишь смутное отражение лица. Но при высоких качествах зеркала, при нахождении удачных условий его положения и освещения, красивое лицо в зеркале бывает красивей и лучезарней в своем отраженном существовании. Эхо в лесу – одно из лучших очарований».

Поэтический стиль Бальмонта превосходно передал в одной из своих редких пародий Александр Блок.

«Я бандит, я бандит! Поднося мне яду склянку, говорила мексиканка: – У тебя печальный вид. Верно ты ходил в пампасы – загрязненные лампасы – стыд!.. Увлеченный, упоенный, озираясь, упиваясь, с мексиканкой обнимаясь, я – веселый целовал мексиканские подолы, взор метал из-под сонных вежд, но страстных, воспаленных, но прекрасных... Сдвинул на ухо сомбреро (приближался кабальеро), стал искать рукоять – шпаги, сабли и кинжала – не нашел – мексиканка убежала в озаренный тихий дол. Я ж, совсем подобен трупю, к утру прибыл в Гваделупу и почил в сладкой дреме, и в истоме, в старом доме, на соломе набираясь новых сил. И во сне меня фламинго в Сан-Доминго пригласил».

Весной 1920 года Бальмонт сумел выхлопотать у наркома просвещения Луначарского временную заграничную творческую командировку.

«Балтрушайтис, – вспоминал писатель Б. Зайцев, – верный друг его, тогда бывший литовским посланником в Москве, устроил ему выезд законный – и спас его этим. Бальмонт нищенствовал и голодал в леденевшей революционной Москве, на себе таскал дровишки из разобранного забора, как и все мы, питался проклятой „пшеникой“ без сахару и масла. При его вольнолюбии и страстности непременно надерзил бы какой-нибудь

„особе“... – мало ли чем это могло кончиться?». За границу поэт выехал с Е. К. Цветковской и дочерью Миррой. Командировка, выданная Луначарским, предполагала год-два работы и жизни за рубежом, но уже в 1921 году поэт заявил о своем нежелании возвращаться в Россию.

«В эмиграции (в Париже) Бальмонты поселились в маленькой меблированной квартире, – вспоминала писательница Н. Тэффи. – Окно в столовой было всегда завешено толстой бурой портьерой, потому что поэт случайно разбил стекло. Вставить новое стекло не имело никакого смысла, – оно легко могло снова разбиться. Поэтому в комнате было всегда темно и холодно. „Ужасная квартира, – говорил он. – Нет стекла, и дует“. В „ужасной квартире“ жила с ними их молоденькая дочка Мирра (названная так в память Мирры Лохвицкой, одной из трех признаваемых Бальмонтом поэтесс), существо очень оригинальное, часто удивлявшее своими странностями. Как-то в детстве разделась она совсем голая и залезла под стол, и никакими уговорами нельзя было ее оттуда вытащить. Родители решили, что это, вероятно, какая-то болезнь и вызвали доктора. Доктор, внимательно посмотрев на Елену, спросил: „Вы, очевидно, ее мать?“ – „Да“. – Еще внимательнее на Бальмонта: „А вы отец?“ – „М-м-м-да“. Доктор развел руками: „Ну, так чего же вы от нее хотите?“.

В эмиграции Бальмонт издал несколько поэтических книг: «Марево» (1922), «Стихи о России» (1924), «В раздвинутой дали» (1930) и две автобиографические книги «Под новым серпом» (1923) и «Воздушный путь» (1923). Но талант его к тому времени потускнел, поэт начал повторяться. Чрезвычайно мучило его и отсутствие читателей. «Никто здесь не читает ничего, – писал он в 1927 году одному из друзей, оставшихся в России. – Здесь все интересуются спортом и автомобилями. Проклятое время, бессмысленное поколение! Я чувствую себя приблизительно так же, как последний Перуанский владыка среди наглых испанских пришельцев». Живя в вечной нужде, на лето поэт уезжал в недорогие богом забытые глухие рыбацьи деревеньки Бретани или Вандеи. Андреевой, сохранившей с ним добрые отношения, он писал: «Какой я сейчас? Да все тот же. Новые мои знакомые и даже прежние смеются, когда я говорю сколько мне лет, и не верят. Вечно любить мечту, мысль и творчество – это вечная молодость. Бородка моя правда беловата, и на висках инея довольно, но все же еще волосы вьются, и русые они, а не седые. Мой внешний лик все тот же, но в сердце много грусти...»

В мае 1937 года Бальмонт попал в автомобильную катастрофу, но в письме к давнему своему другу В. В. Оболенскому, жаловался не на полученные травмы, а на испорченный костюм. «Русскому эмигранту в самом деле приходится размышлять, что ему выгоднее потерять – штаны или ноги, на которые они надеты...»

Умер 24 декабря 1942 года в Нуази-ле-Гран, близ Парижа, оккупированного гитлеровскими войсками. Кончина поэта, когда-то знаменитого, а теперь забытого всеми, больного, почти потерявшего рассудок, случилась в приюте

«Русский дом», который содержала мать Мария (Кузьмина-Караваева), погибшая впоследствии в фашистском концлагере.

Иван Алексеевич Бунин

Родился 10 (22) октября 1870 года в Воронеже.

«О роде Буниных я кое-что знаю, – писал позже поэт. – Род этот дал замечательную женщину начала прошлого века поэтессу А. П. Бунину и поэта В. А. Жуковского (незаконного сына А. И. Бунина); в некотором родстве мы с бр. Киреевскими, Гротами, Юшковыми, Воейковыми, Булгаковыми, Соймоновыми; о начале нашем в „Гербовнике дворянских родов“ сказано, между прочим, следующее: „Род Буниных происходит от Симеона Бунковского, мужа знатного, выехавшего в XV в. из Польши к Великому Князю Василию Васильевичу. Правнук его Александр Лаврентьев сын Бунин служил по Владимиру и убит под Казанью. Стольник Козьма Леонтьев Бунин жалован за службу и храбрость на поместья Грамотой. Равным образом и другие многие Бунины служили воеводами и в иных чинах и владели деревнями. Все это доказывается бумагами Воронежского Дворянского Депутатского собрания о внесении рода Буниных в родословную книгу в VI часть, в число древнего дворянства...“

Детство провел на хуторе Бутырки Елецкого уезда Орловской губернии. «Лет с семи началась для меня жизнь, тесно связанная в моих воспоминаниях с мужицкими избами, а потом и с ними и с моим воспитателем. Чуть не все свободное от учения время я, вплоть до поступления в гимназию, да и переезжая из гимназии на каникулы, провел в ближайших от Бутырок деревушках, у наших бывших крепостных и у однодворцев. Явились друзья, и порой я по целым дням стерег с ними в поле скотину... А воспитателем моим был престранный человек – сын предводителя дворянства, учившийся в Лазаревском институте восточных языков, одно время бывший преподавателем в Осташкове, Тамбове и Кирсанове, но затем спившийся, порвавший все связи родственные и общественные и превратившийся в скитальца по деревням и усадьбам. Он неожиданно привязался ко всем нам, а ко мне особенно, и этой привязанностью и своими бесконечными рассказами, – он не мало нагляделся, бродя по свету, и был довольно начитан, владея тремя языками, – вызвал и во мне горячую любовь к себе. Он мгновенно выучил меня читать (по „Одиссее“ Гомера), распалял мое воображение, рассказывая то о медвежьих осташковских лесах, то о Дон-Кихоте, – и я положительно бредил рыцарством! – поминутно будил мою мысль своими оригинальными, порой даже не совсем понятными мне разговорами о жизни, о людях. Он играл на скрипке, рисовал акварелью, и с ним вместе иногда по целым дням не разгибался и я, до тошноты насасываясь с кисточек водой, смешанной с красками, и на всю жизнь запомнил то несказанное счастье, которое принес мне первый коробок этих красок; на мечте стать художником, на

разглядывании неба, земли, освещения у меня было довольно долгое помешательство...»

Одиннадцати лет был зачислен в Елецкую гимназию, но не окончил ее. Образование продолжил дома под руководством старшего брата Юлия. Рано начал писать стихи, в печати первое появилось в журнале «Родина» в 1887 году. «Моя писательская жизнь, – писал Бунин, – началась довольно странно. Она началась должно быть, в тот бесконечно давний день в нашей деревенской усадьбе в Орловской губернии, когда я, мальчик лет восьми, вдруг почувствовал горячее, беспокойное желание немедленно сочинить что-то вроде стихов или сказки, будучи внезапно поражен тем, на что случайно наткнулся в какой-то книжке с картинками: я увидел в ней картинку, изображавшую какие-то дикие горы, белый холст водопада и какого-то приземистого толстого мужика, карлика с бабьим лицом, с раздутым горлом, то есть с зобом, стоявшего под водопадом, с длинной палкой в руке, в небольшой шляпке, похожей на женскую, с торчащим сбоку птичьим пером, а под картинкой прочел подпись, поразившую меня своим последним словом, тогда еще, к счастью, неизвестным мне: „Встреча в горах с кретином“.

Кретин!

Не будь этого необыкновенного слова, карлик с зобом, с бабьим лицом и в шляпке вроде женской показался бы мне, наверное, только очень противным, и больше ничего. Но кретин? В этом слове мне почудилось что-то страшное, загадочное, даже как будто волшебное! И вот охватило меня вдруг поэтическим волнением. В тот день оно пропало даром, я не сочинил ни одной строчки, сколько ни старался сочинить. Но не был ли этот день все-таки каким-то началом моего писательства?

Во всяком случае, можно подумать, будто некий пророческий знак был для меня в том, что наткнулся я в тот день на эту картинку, ибо во всей моей дальнейшей жизни пришлось мне иметь немало и своих собственных встреч с крестинами, на вид тоже довольно противными, хотя и без зоба, из коих некоторые, вовсе не будучи волшебными, были, однако, и впрямь странны, и особенно тогда, когда та или иная мера крестинизма сочеталась в них с какой-нибудь большой способностью, одержимостью, с какими-нибудь историческими силами, – ведь, как известно, и это бывает, было и будет во всех областях человеческой жизни. Да что! Мне вообще суждена была жизнь настолько необыкновенная, что я был современником даже и таких крестин, имена которых навеки останутся во всемирной истории, – тех «величайших гениев человечества», что разрушали целые царства, истребляли миллионы человеческих жизней...»

В 1889 году Бунин переехал в Харьков, через два года – в Полтаву. Работал библиотекарем, статистиком, даже корректором в местных газетах. «Писал сперва легко, так как подражал то одному, то другому, больше всего Лермонтову, отчасти Пушкину, которому подражал даже в почерке, потом, в силу потребности высказать уже кое-что свое, – чаще всего любовное, –

труднее. Читал я тогда, что попало: и старые и новые журналы, и Лермонтова, и Жуковского, и Шиллера, и Веневитинова, и Тургенева, и Маколея, и Шекспира, и Белинского... Потом пришла настоящая любовь к Пушкину, но наряду с этим увлечение, хотя и недолгое, Надсоном, чему, впрочем, много способствовала его смерть. Вообще о писателях я с детства, да и впоследствии довольно долго, мыслил как о существах высшего порядка. (Помню, как поразил меня рассказ моего воспитателя о Гоголе, – он однажды видел его, – вскоре после того, как я впервые прочел „Страшную месть“, самый ритм которой всегда волновал меня необыкновенно.) Самому мне, кажется, и в голову не приходило быть меньше Пушкина, Лермонтова, – благо лермонтовское Кропотово было в двадцати пяти верстах от нас, да и вообще чуть не все большие писатели родились поблизости, и не от самомнения, а просто в силу какого-то ощущения, что иначе и быть не может. Но это не исключало страстного интереса вообще к писателям, даже к таким, каким, например, был некто Назаров. Озерский кабатчик как-то сказал мне, что в Ельце появился „автор“. И я тотчас же поехал в Елец и с восторгом познакомился в базарном трактире с этим Назаровым, самоучкой-стихотворцем из мещан. Из новых писателей мне очень нравился тогда Гаршин (самоубийство которого ужасно поразило меня). Нравился и Эртель, хотя и тогда чувствовал его литературность, не простоту, копировку Тургенева, даже эту неприятную изысканность знаков препинания, обилие многоточий. В Чехове (его юмористических рассказов я тогда не знал) тоже кое-что задевало меня – то, что он писал бегло, жидко...»

В 1891 году в Орле вышел первый сборник Бунина «Стихотворения». «Я помню, что в ту пору мне все казалось очаровательно: и люди, и природа, и старинный, с цветными окнами дом бабки, и соседние усадьбы, и охота, и книги, один вид которых давал мне почти физическое наслаждение, и каждый цвет, каждый запах...» Но на те же годы пришлось глубокое чувство поэта к Варваре Пащенко, кончившееся тем, что она его оставила. «Я приехал в орловскую гостиницу совсем не помня себя, – писал Бунин старшему брату. – Нервы, что ли, только я рыдал в номере, как собака, и настроил ей преданное письмо: я, ей-Богу, почти не помню его. Помню только, что умолял хоть минутами любить, а месяцами ненавидеть. Письмо сейчас же отослал и прилег на диван. Закрою глаза – слышу громкие голоса, шорох платья около меня... Даже вскочу... Голова горит, мысли путаются, руки холодные – просто смерть! Вдруг стук – письмо!.. Впоследствии я от ее брата узнал, что она плакала и не знала, что делать...»

В 1896 году вышел в свет перевод поэмы Г. Лонгфелло «Песня о Гайавате». А в 1898 году Бунин женился на А. Н. Цакни, «гречанке, дочери известного революционера и эмигранта Н. П. Цакни. Женившись, года полтора прожил в Одессе (где сблизился с кружком южнорусских художников). Затем разошелся с женой и установил в своих скитаниях, уже не мешавших мне работать в известной мере правильно, некоторый порядок: зимой столица и

деревня, иногда поездка за границу, весной юг России, летом преимущественно деревня...»

В 1898 году вышел сборник стихов Бунина «Под открытым небом», а в 1901 году сразу обративший на себя внимание критики и читателей – «Листопад». На фоне нарождающегося русского модернизма стихи Бунина выглядели вызывающе простыми, Не случайно, что именно за «Листопад» поэт был удостоен Пушкинской премии.

В начале 90-х начал писать прозу. Активно посещал «Среды», устраиваемые в Москве писателями-реалистами. «Бунин представлял собой одну из интересных фигур на „Среде“, – вспоминал позже писатель Н. Д. Телешов. – Высокий, стройный, с тонким умным лицом, всегда хорошо и строго одетый, любивший культурное общество и хорошую литературу, много читавший и думавший, очень наблюдательный и способный ко всему, за что брался, легко схватывавший суть всякого дела, настойчивый в работе и острый на язык, он врожденное свое дарование отграничил до высокой степени. Литературные круги и группы, с их разнообразными взглядами, вкусами и искательством, все одинаково признавали за Буниным крупный талант, который с годами все рос и креп, и когда он был избран в почетные академики, никто не удивился; даже недруги и завистники ворчливо называли его „слишком юным академиком“, но и только. Наши собрания Бунин не пропускал никогда и вносил своим чтением, а также юмором и товарищескими остротами много оживления... Это был человек, что называется, непоседа... Его всегда тянуло куда-нибудь уехать. Подолгу задерживался он только у себя на родине, в Орловской губернии, в Москве, в Одессе и в Ялте, а то из года в год бродил по свету и писал мне то из Константинополя, то из Парижа, из Палестины, с Капри, с острова Цейлона. Работать он мог очень много и долго: когда гостил он у меня летом на даче, то бывало целыми днями, затворившись, сидит и пишет; в это время не ест, не пьет, только работает; выбежит среди дня на минутку в сад подышать и опять за работу, пока не кончит. К произведениям своим всегда относился крайне строго, мучился над ними, отделявал, вычеркивал, выправлял и вначале нередко недооценивал их. Так, один из лучших своих рассказов – „Господин из Сан-Франциско“ – он не решался отдать мне, когда я составлял очередной сборник „Слово“; он считал рассказ достойным не более как фельетона одесской газеты. Насилу я убедил его напечатать рассказ...»

Живя в Полтаве, Бунин увлекся толстовством, стал навещать «братьев», живших под Полтавой и в Сумском уезде, даже прилаживался к бондарному ремеслу, опрощаясь, торговал изданиями «Посредника». Но Лев Толстой при личной встрече с писателем отговорил его «опрощаться до конца». А Горький сильно недоумевал (в письме к В. Я. Брюсову): «Не понимаю – как талант свой, красивый, как матовое серебро, он не отточит в нож и не ткнет им куда надо».

В 1907 году Бунин соединил жизнь с Верой Николаевной Муромцевой, прошедшей с ним оставшуюся жизнь до конца. Она даже имя для него

придумала свое – Ян, с каким не обращались к нему другие женщины. «В общем жизненный путь мой был довольно необычен, – писал Бунин, – и о нем и вообще обо мне долго существовало довольно превратное представление. Взять хотя бы первое десятилетие моей литературной деятельности: большинство тех, кто писали о моих первых книгах, не только спешили уложить меня на какую-нибудь полочку, не только старались раз навсегда установить размеры моего дарования, не замечая, что им же самим уже приходилось менять свои приговоры, но характеризовали и мою натуру. И выходило так, что нет писателя более тишайшего („певец осени, грусти, дворянских гнезд“ и т. п.) и человека, более определившегося и умиротворенного, чем я. А между тем человек-то был я как раз не тишайший и очень далекий от какой бы то ни было определенности: напротив, во мне было самое резкое смешение и печали, и радости, и личных чувств, и страстного интереса к жизни, и вообще стократ сложнее и острее жил я, чем это выразилось в том немногом, что я печатал тогда. Бросив через некоторое время прежние клички, некоторые из писавших обо мне обратились, как я уже говорил, к диаметрально противоположным: сперва „декадент“, потом „парнасец“, „холодный мастер“. В то время как прочие все еще твердили: „певец осени, изящное дарование, прекрасный русский язык, любовь к природе... есть что-то тургеневское... есть что-то чеховское...“ (хотя решительно ничего чеховского у меня никогда не было). Впрочем, в литературе тогда стоял невероятный шум...»

Октябрьскую революцию Бунин не принял резко и полностью. Дневник тех лет заполнен множеством поразивших его случаев. «У плотины девочка навстречу, – одна из записей, – „Где потребиловка?“ – „Вон на той стороне, где камни на амбаре“. Двойная изба, в сенцах свиньи. Грязь, мерзость запустения. В одной половине пусто, в углу на соломе хлебы. Милая баба, жена Семена, торгующего. Ждал его. Но сперва пришел пьяный мужик, просил что-то „объяснить“, на взводе затеять скандал. Потом старик, которого Семен назвал „солдатом“, и молодой малый с гармонией, солдат, гнусная тварь, дезертир, ошалевший, уставший от шатанья и пьянства. Молчал, потом мне кратко, тоном, не допускающим возражений: „Покурить!“ Мужиков это возмутило – „всякий свой должен курить!“ Он: „Тут легкий“. Я молча дал. Когда он ушел, „солдат“ рассказывал, что дезертира они не смеют отправить: пять раз сходку собирали – и без результату: „Нынче спички дешевы. Сожжет, окрадет“. Вечером газеты, руки дрожат...» И дальше: «Закрою глаза и все вижу как живого: ленты сзади матросской бескозырки, штаны с огромными раструбами, на ногах бальные туфельки от Вейса, зубы крепко сжаты, играет желваками челюстей... Вовек теперь не забуду, в могиле буду переворачиваться!». И дальше: «Совершенно нестерпим большевистский жаргон. А каков был вообще язык наших левых? „С цинизмом, доходящим до грации... Нынче брюнет, завтра блондин... Чтение в сердцах... Учинить допрос с пристрастием... Сделать надлежащие выводы... Кому сие ведать надлежит... Вариться в собственном соку...»

Ловкость рук... Нововременские молодцы...“ А это употребление с какой-то якобы ядовитейшей иронией (неизвестно над кем и над чем) высокого стиля?». И дальше: «По приказу самого Архангела Михаила не приму большевистского правописания. Уж хотя бы по одному тому, что никогда человеческая рука не писала ничего подобного тому, что пишется теперь по этому правописанию...» И дальше: «Был В. Катаев (молодой писатель). Цинизм нынешних молодых людей прямо невероятен. Говорил: „За сто тысяч убью, кого угодно. Я хочу хорошо есть, хочу иметь хорошую шляпу, отличные ботинки...“

В 1920 году, через Одессу, уехал с женой во Францию.

Эмиграция давалась Бунину не легко. В ноябре 1921 года в дневнике запись: «Все дни, как и раньше часто и особенно эти последние проклятые годы, м. б. уже погубившие меня, – мучения, порою отчаяние – бесплодные поиски в воображении, попытки выдумать рассказ, – хотя зачем это? – и попытки пренебречь этим, а сделать что-то новое, давным-давно желанное, и ни на что не хватает смелости, что ли, умения, силы (а м. б., и законных художественных оснований?) – начать книгу, о которой мечтал Флобер, „Книгу ни о чем“, без всякой внешней связи где бы излить свою душу, рассказать свою жизнь, то, что довелось видеть в этом мире, чувствовать, думать, любить, ненавидеть...» Но несмотря на все эти сомнения, именно в эмиграции написаны рассказы и повести, давно признанные русской классикой: «Митина любовь», «Дело корнета Елагина», «Жизнь Арсеньева», «Темные аллеи». Там же Бунин написал книгу о Льве Толстом («Освобождение Толстого», 1937), «Воспоминания» (1950) и книгу о Чехове (1955).

В 1926 году в курортном местечке в Жуа-ле-Пэн Бунины познакомились с Галиной Кузнецовой, – последней любовью поэта. «Уехав из отеля, в котором Галина жила с мужем, – писала И. В. Одоевцева критику и писателю Н. П. Смирнову, – она поселилась в небольшом отеле на улице Пасси, где ее ежедневно, а иногда два раза в день навещал Бунин, живший совсем близко. Конечно, ни ее разрыва с мужем, ни их встреч скрыть не удалось. Их роман получил широкую огласку. Вера Николаевна не скрывала своего горя и всем о нем рассказывала и жаловалась: „Ян сошел с ума на старости лет. Я не знаю, что делать!“ Даже у портнихи и у парикмахера она, не считаясь с тем, что ее слышат посторонние, говорила об измене Бунина и о своем отчаянии. Это длилось довольно долго – почти год, если я не ошибаюсь. Но тут произошло чудо, иначе я назвать это не могу: Бунин убедил Веру Николаевну в том, что между ним и Галиной ничего, кроме отношений учителя и ученика, нет. Вера Николаевна, как это ни кажется невероятно – поверила. Поверила оттого, что хотела верить. В результате чего Галина была приглашена поселиться у Бунина и стать „членом их семьи...“

В доме Бунина, впрочем, всегда проживали молодые литераторы, которых он опекал – Н. Рошин, позднее Л. Зуров. Но Кузнецова оказалась на особом

положении: она была даже «удочерена» Буниным, иначе он не смог бы взять ее с собой в Стокгольм для получения Нобелевской премии.

В своем дневнике Бунин так описал это событие: «10. XII. 1933. В день получения prix Nobel. Был готов к выезду в 4 ½. Заехали в Гранд-отель за прочими лауреатами. Толпа едущих и идущих на улице. Очень большое здание – «концертное». Лауреатов провели отдельным входом. Все трое молодые. В зале фанфары – входит король с семьей и придворные. Выходим на эстраду – король стоит, весь зал стоит. Эстрада, кафедра. Для нас 4 стула с высокими спинками. Эстрада огромная, украшена мелкими бегониями, шведскими флагами (только шведскими, благодаря мне) и в глубине и по сторонам. Сели. Первые два ряда золоченые вышитые кресла и стулья – король в центре. Двор и родные короля. Король во фраке. Ордена, ленты, звезды, светлые туалеты дам – король не любит черного цвета, при дворе не носят темного. За королем и Двором, которые в первом ряду, во втором – дипломаты. В следующем семья Нобель, Олейниковы. В четвертом ряду Вера, Галя, старушка-мать физика-лауреата. Первым говорил С. об Альфреде Нобеле. Затем опять тишина. Опять все встают, и я иду к королю. Шел я медленно. Спускаюсь по лестнице, подхожу к королю, который меня поражает в этот момент своим ростом. Он протягивает мне картон и футляр, где лежит медаль, затем пожимает мне руку и говорит несколько слов. Вспыхивает магний. Нас снимают. Я отвечаю ему. Аплодисменты прерывают наш разговор. Я делаю поклон и поднимаюсь снова на эстраду, где все продолжают стоять. Бросаются в глаза огромные вазы, высоко стоящие с огромными букетами белых цветов где-то очень высоко. Затем начинаются поздравления. Король уходит, и мы все в том же порядке уходим с эстрады в артистическую, где уже нас ждут друзья, знакомые, журналисты. Я не успеваю даже взглянуть на то, что у меня в руках. Кто-то выхватывает у меня папку и медаль и говорит, что это нужно где-то выставить. Затем мы уезжаем, еду я с этой милой старушкой-матерью. Она большая поклонница русской литературы, читала в подлиннике наших лучших писателей. Нас везут в Гранд-отель, откуда мы перейдем на банкет, даваемый Нобелевским Комитетом, на котором будет присутствовать кронпринц, многие принцы и принцессы, и перед которым нас и наших близких будут представлять королевской семье, и на котором каждый лауреат должен будет произнести речь... Мой диплом отличался от других. Во-первых тем, что папка была не синяя, а светло-коричневая, а во-вторых, что в ней в красках написаны в русском билибинском стиле две картины, – особое внимание со стороны Нобелевского Комитета. Никогда никому этого еще не делалось...»

Галина Кузнецова покинула Бунина неожиданно. Впрочем, сама она, наверное, была готова к такому шагу, по крайней мере среди записей в ее «Грасском дневнике» есть и такая, сделанная ею после того, как Бунин прочел ей какую-то хвалебную, посвященную ему самому статью: «Странно, что когда Иван Алексеевич читал это вслух, мне под конец стало как-то тяжело, точно он стал при жизни каким-то монументом, а не тем существом,

которое я люблю и которое может быть таким же простым, нежным, капризным, непоследовательным, как все простые смертные... Как и всегда, высказанное, это кажется плоским, а между тем тут есть глубокая и большая правда. Мы теряем тех, кого любим, когда из них еще при жизни начинают воздвигать какие-то пирамиды. Вес этих пирамид давит простое нежное родное сердце...» На пути из Швеции, когда Бунины гостили у философа Ф. Степуна, Кузнецова влюбилась в дочь Степуна Маргу. «Бунин, – писала Одоевцева, – обожавший Галину, чуть не сошел с ума от горя и возмущения. В продолжение двух лет – о чем они обе мне рассказывали – он ежедневно посылал ей письмо...»

Годы войны Бунин провел в Грассе. «Никогда, – записывал он в дневнике, – за всю жизнь не испытывал этого: нечего есть, нет нигде ничего, кроме фиников или капусты, – хоть шаром покати!» В отчаянии написал в мае 1941 года в СССР А. Н. Толстому: «Алексей Николаевич, я в таком ужасном положении, в каком еще никогда не был, – стал совершенно нищ (не по своей вине) и погибаю с голоду вместе с больной Верой Николаевной. У вас издавали немало моих книг – помощи, пожалуйста, – не лично, конечно; может быть, Ваши государственные и прочие издательства, издававшие меня, заплатят мне за мои книги что-нибудь? Обратись к ним, если сочтешь возможным сделать что-нибудь для человека, все-таки сделавшего кое-что в русской литературе. При всей разности наших политических воззрений, я все-таки всегда был беспристрастен в оценке современных русских писателей, – отнеситесь и вы ко мне в этом смысле беспристрастно, человечно».

Толстой действительно обратился к Сталину с письмом. «Дорогой Иосиф Виссарионович, я получил открытку от писателя Ивана Алексеевича Бунина. Он пишет, что положение его ужасно, он голодает и просит помощи. Неделей позже писатель Телешов также получил от него открытку, где Бунин говорит уже прямо: „Хочу домой“. Мастерство Бунина для нашей литературы чрезвычайно важный пример – как нужно обращаться с русским языком, как нужно видеть предмет и пластически изображать его. Мы учимся у него мастерству слова, образности и реализму». Однако вскоре началась война, да и желание Бунина вернуться на родину Толстой, несомненно, преувеличил. По крайней мере, в ноябре 1945 года, когда в СССР вновь вспомнили о живущем во Франции писателе, заведующий 1-м Европейским отделом Наркомата иностранных дел СССР С. Козырев сообщал: «Писатель Бунин стар и весьма неустойчив по характеру (он много пьет). Политическое настроение Бунина тоже неустойчиво. То он хочет ехать в СССР, то начинает болтать всякий антисоветский вздор».

Оторванность от России ожесточила Бунина. В конце жизни он многое переоценил, особенно русскую литературную среду. Сам он вошел в нее, когда еще активно работали Толстой, Чехов, Григорович, Короленко. «Но в те годы, – писал он, – была в России уже в полном разгаре ожесточенная война народников с марксистами, которые полагали оплотом будущей революции босяческий пролетариат. И вот: какое удивительное скопление нездоровых,

ненормальных, в той или иной форме, в той или иной степени было еще при Чехове и как все росло оно в последующие годы! Чахоточная и совсем недаром писавшая от мужского имени Гиппиус, одержимый манией величия Брюсов, автор „Тихих мальчиков“, а потом „Мелкого беса“, иначе говоря, патологического Передонова, певец смерти и „отца“ своего дьявола, каменно неподвижный и молчаливый Сологуб – „кирпич в сюртуке“, по определению Розанова, буйный мистический анархист Чулков, иступленный Волынский, малорослый и страшный своей огромной головой и стоячими черными глазами Минский; у Горького была болезненная страсть к изломанному языку („вот я вам приволок сию книжицу, черти лиловые“), псевдонимы, под которыми он писал в молодости, – нечто редкое по напыщенности, по какой-то низкопробной едкой иронии над чем-то: Иегудиил Хламида, Некто, Икс, Антином Исходящий, Самокритик Словотеков. А сколько было еще ненормальных!.. Цветаева с ее непрекращающимся всю жизнь ливнем диких слов и звуков в стихах, кончившая свою жизнь петлей после возвращения в Советскую Россию; буйнейший пьяница Бальмонт, незадолго до смерти впавший в свирепое эротическое помешательство; морфинист и садистический эротоман Брюсов; запойный трагик Андреев. Про обезьяньи неистовства Белого и говорить нечего, про несчастного Блока – тоже: дед по отцу умер в психиатрической больнице, отец „со странностями на грани душевной болезни“, мать „неоднократно лечилась в больнице для душевнобольных“; у самого Блока была с молодости жестокая цинга, жалобами на которую полны его дневники, так же как и на страдания от вина и женщин, затем „тяжелая психостения“, а незадолго до смерти помрачение рассудка и воспаление сердечных клапанов... В петербургской „Бродячей собаке“, где Ахматова сказала: „Все мы грешницы здесь, все блудницы“, поставлено было однажды „Бегство Богоматери с Младенцем в Египет“, некое „литургическое действо“, для которого Кузмин написал слова, Сац сочинил музыку, а Судейкин придумал декорацию, костюмы – „действо“, в котором поэт Потемкин изображал осла, шел согнувшись под прямым углом, опираясь на два костыля, и нес на своей спине супругу Судейкина в роли Богоматери. И в этой „Собаке“ уже сидело немало и будущих „большевиков“: Алексей Толстой, тогда еще молодой, крупный, мордатый, являлся туда важным барином, помещиком, в енотовой шубе, в бобровой шапке или в цилиндре, стриженный мужик; Блок приходил с каменным, непроницаемым лицом красавца и поэта; Маяковский в желтой кофте, с глазами сплошь темными, нагло и мрачно вызывающими, со сжатыми, извилистыми, жабыми губами...»

И так о каждом.

«Трудно общаться с человеком, когда слишком есть много запретных тем, которых нельзя касаться, – писала Берберова, часто встречавшаяся с Буниным во Франции. – С Буниным нельзя было говорить о символистах, о его собственных стихах, о русской политике, о смерти, о современном искусстве, о романах Набокова... всего не перечесать. Символистов он „стирал

в порошок“, к собственным стихам относился ревниво и не позволял суждений о них; в русской политике до визита к советскому послу он был реакционных взглядов, а после того как пил за здоровье Сталина (в советском посольстве), вполне примирился с его властью; смерти он боялся, злился, что она есть; искусства и музыки не понимал вовсе; имя Набокова приводило его в ярость. Поэтому очень часто разговор был мелкий, вертелся вокруг общих знакомых, бытовых интересов. Только очень редко, особенно после бутылки вина, Бунин „распускался“, его прекрасное лицо одушевлялось лирической мыслью, крупные сильные руки дополняли облик, и речь его лилась – о себе самом, конечно, но о себе самом не мелком, злом, ревнивом и чванном человеке, а о большом писателе, не нашедшем себе настоящего места в своем времени. Что-то теплое сквозило тогда в его лице, и это же теплое сквозило иногда в его письмах, и казалось – какая-то нить протягивается между нами, но на следующий день нити никакой не оказывалось, и он вдруг силою вещей отдалялся на бесконечное расстояние...»

Умер 8 ноября 1953 года в Париже.

За несколько месяцев до смерти записал в дневнике: «Это все-таки поразительно до столбняка. Через некоторое очень малое время меня не будет – и дела и судьбы всего, всего будут мне неизвестны!».

Валерий Яковлевич Брюсов

Есть тонкие властительные связи
Меж контуром и запахом цветка.
Так бриллиант невидим нам, пока
Под гранями не оживет в алмазе.
Так образы изменчивых фантазий,
Бегущие, как в небе облака,
Окаменев, живут потом века
В отточенной и завершенной фразе.
И я хочу, чтоб все мои мечты,
Дошедшие до слова и до света,
Нашли себе желанные мечты.
Пускай мой друг, разрезав том поэта,
Упьется в нем и стройностью сонета,
И буквами спокойной красоты.

Родился 1 (13) декабря 1873 года в Москве в купеческой семье.

Дед со стороны отца был из крепостных, но выкупил себя и жену у барина и переселился в Москву. Другой дед – со стороны матери (А. Я. Бакулин) – был поэтом-самоучкой. «Очень рано ко мне стали приглашать гувернанток и учителей, – писал позже Брюсов. – Но их дело ограничивалось обучению меня „предметам“: воспитываться я продолжал по книгам. После детских книжек настал черед биографий великих людей; я узнавал эти биографии как

из отдельных изданий, которые мне поступали во множестве, так и из известной книги Тисандье „Мученики науки“ и из журнала „Игрушечка“ (издание Пассек), который для меня выписали и который уделял много места жизнеописаниям. Эти биографии произвели на меня сильнейшее впечатление: я начал мечтать, что сам непременно сделаюсь „великим“. Преимущественно мне хотелось стать великим изобретателем или великим путешественником. Меня соблазняла слава Кеплеров, Фультонов, Ливингстонов. Во время игр я воображал себя то изобретателем воздушного корабля, то астрономом, открывшим новую планету, то мореплавателем, достигшим Северного полюса...»

Учился в частной гимназии Креймана, затем в гимназии Поливанова. В 1892 году поступил на историческое отделение историко-филологического факультета Московского университета. «Впрочем, – писал Брюсов, – интересы науки (уже тогда) для меня определенно отступали перед литературными. В 1894 году небольшая серия моих стихотворений была напечатана в сборнике, вышедшем под заглавием „Русские символисты“. (Раньше этого, еще совсем мальчиком, я напечатал две „спортивных“ статейки в специальных журналах – в „Русском спорте“ 1889 г. и в „Листке спорта“ в 1890 г.). Как известно, этот 1-й выпуск „Русских символистов“, так же как и последовавшие вскоре два других, осенью 1894 года и летом 1895 года, вызвали совершенно не соответствующий им шум в печати. Посыпались десятки, а может быть, и сотни рецензий, заметок, пародий, их высмеял Вл. Соловьев, тем самым сделавший маленьких начинающих поэтов, и прежде всех меня, известными широким кругам читателей. Имя „Валерий Брюсов“ вдруг сделалось популярным, – конечно, в писательской среде – и чуть ли не нарицательным. Иные даже хотели видеть в Валерии Брюсове лицо коллективное, какого-то нового Козьму Пруткова, под которым скрываются писатели, желающие не то вышутить, не то прославить пресловутый в те дни „символизм“. Если однажды утром я и не проснулся „знаменитым“, как некогда Байрон, то, во всяком случае, быстро сделался печальным героем мелких газет и бойких, неразборчивых на темы фельетонистов...» И дальше: «В двух выпусках „Русских символистов“, которые я редактировал, я постарался дать образцы всех форм „новой поэзии“, с какими сам успел познакомиться: верлибр, словесную инструментовку, парнасскую четкость, намеренное затемнение смысла в духе Малларме, мальчишескую развязность Рембо, щегольство редкими словами на манер Л. Тальяда и т. п., вплоть до „знаменитого“ своего „одностишия“, а рядом с этим – переводы-образцы всех виднейших французских символистов. Кто захочет пересмотреть две тоненькие брошюры „Русских символистов“, тот, конечно, увидит в них этот сознательный подбор образцов, делающий из них как бы маленькую хрестоматию... Вместе с третьим выпуском „Символистов“ я издал свой первый сборник стихов. Озаглавил я его... „Chefs d’Oeuvre“ („Шедевры“). В те дни все русские поэты, впервые появляясь перед публикой, считали нужным

просить снисхождения, скромно предупреждая, что они сознают недостатки своих стихов и т. п. Мне это казалось ребячеством: если ты печатаешь свои стихи, возражал я, значит, ты их находишь хорошими; иначе незачем их и печатать. Такой свой взгляд я и выразил в заглавии своей книжки. Сколько теперь могу сам судить о своих стихах, „шедевров“ в книжке не было, но были стихотворения хорошие, было несколько очень хороших, и большинство было вполне посредственно. Совсем плохих было два-три, не более. Критики, однако, прочли только одно заглавие книжки, т. е. запомнили только одно это заглавие, и шум около моего имени учетверился...»

Сам Брюсов, впрочем, хотел этого шума. И не только хотел, – жаждал! Еще в марте 1893 года он записал в дневнике: «Талант, даже гений, честно дадут только медленный успех, если дадут его. Это мало! Мне мало. Надо выбрать иное. Найти путеводную звезду в тумане. И я вижу ее: это декаденство... Да! Что ни говори, ложно ли оно, смешно ли, но оно идет вперед, развивается и будущее будет принадлежать ему, особенно когда оно найдет достойного вождя... А этим вождем буду Я. Да, я!».

В 1897 году вышел сборник стихов Брюсова «*Me eum esse*» («Это – я»), в 1900 – «*Tertia Vigilia*» («Третья стража»), в 1903 – «*Urbi et Orbi*» («Граду и миру»). Брюсов действительно возглавил новое литературное течение – символизм. Успеху символизма немало способствовало создание специального издательства «Скорпион» и журнала «Весы». «Полки, книги, картины, статуэтки, – описывал редакцию „Весов“ поэт Андрей Белый. – И вот первое, что вам бросилось в глаза: в наглухо застегнутом сюртуке высокий, стройный брюнет, словно упругий лук, изогнутый стрелкой, или Мефистофель, переодетый в наши одежды, склонился над телефонной трубкой. Здоровое насмешливо-холодное лицо, с черной заостренной бородкой – лицо, могущее быть бледным, как смерть – то подвижное, то изваянное из металла. Холодное лицо, таящее порывы мятежа и нежности. Красные губы, стиснутые, точно углем подведенные ресницы и брови. Благородный высокий лоб, то ясный, то покрытый морщинками, отчего лицо начинает казаться не то угрюмым, не то капризным. И вдруг детская улыбка обнажает зубы ослепительной белизны. То хищная черная пантера, то робкая домашняя кошка...»

Сборник стихов «Стефанос» («Венок»), вышедший в 1906 году, подвел некоторые итоги поэтических достижений Брюсова. «Нам стало тесно, душно, невыразимо, – писал он о символистах. – Нас томят условные формы общежития, томят условные нормы нравственности, самые условия познания, все, что наложено извне. Нашей душе потребно иное, иначе она умрет. Все ясней сознается, что если в мире есть только то, что видимо есть, – жить незачем, не стоит. Мы принимаем все религии, все мистические учения, только бы не быть в действительности...»

В публичной лекции под названием «Ключи тайн», прочитанной впервые в 1903 году, Брюсов высказался еще яснее: «Искусство есть постижение мира

иными не рассудочными путями. Искусство – то, что в других областях мы называем откровением. Создания искусства – это приотворенные двери в Вечность. Изучение, основанное на показаниях наших внешних чувств дает нам лишь приблизительное знание. Наше сознание обманывает нас. Наука лишь вносит порядок в хаос ложных представлений и размещает их по рангам. Но мы не замкнуты в этой „голубой тюрьме“, пользуясь образом Фета. Из нее есть выходы на волю, есть просветы. Эти просветы те мгновения экстаза, которые дают иные постижения мировых явлений, глубже проникающие за их внешнюю кору, в их сердцевину. Истинная задача искусства и состоит в том, чтобы запечатлеть эти мгновения прозрения вдохновения. Искусство начинается в тот миг, когда художник пытается уяснить самому себе свои темные тайные чувствования. Где нет этого уяснения, нет художественного творчества. Искусство только там, где дерзновение за грань, где порывание за пределы познаваемого в жажде зачерпнуть хоть каплю „стихии чуждой, запредельной“. История нового искусства есть прежде всего история его освобождения. Романтизм, реализм и символизм – это три стадии борьбы художников за свободу. Ныне искусство, наконец, свободно. Теперь оно сознательно предается своему высшему и единственному назначению: быть познанием мира вне рассудочных форм, вне мышления по причинности...»

В 1908 году вышел в свет роман «Огненный ангел», во многом отразивший личные чувства Брюсова. «Его роман с Ниной Петровской, – достаточно жестко писал Ходасевич, – был мучителен для обоих, но стороною, в особенности страдающей, была Нина. Закончив „Огненного Ангела“, он (Брюсов) посвятил книгу Нине и в посвящении назвал ее „много любившей и от любви погибшей“. Сам он, однако же, погибать не хотел. Исчерпав сюжет и в житейском, и в литературном смысле, он хотел отстраниться, вернувшись к домашнему уюту, к пухлым, румяным, заботливой рукою приготовленным пирогам с морковью, до которых был великий охотник...»

«В чем я считаю себя специалистом, – писал о себе Брюсов. – В наши дни нельзя быть энциклопедистом, но я готов жалеть, когда думаю о том, чего не знаю. По образованию я историк. В университете работал специально над Ливием, над Великой французской революцией, над Салической правдой, над русскими начальными летописями, частью над эпохой царя Алексея Михайловича. Еще занимался я в университете историей философии, специально изучал Спинозу, Лейбница и Канта... Сейчас я чувствую себя сведущим, как никто, в вопросах русской метрики и метрики вообще. Прекрасно знаю историю русской поэзии, особенно XVIII век, эпоху Пушкина и современность. Я специалист по биографии Пушкина и Тютчева и никому не уступлю в этой области. Я хорошо знаю также историю французской поэзии, особенно эпоху романтизма и движение символическое. Работая над „Огненным ангелом“, я изучил XVI век, а также то, что именуется „тайными науками“, знаю магию, знаю оккультизм, знаю спиритизм, осведомлен в алхимии, астрологии, теософии. Последнее время

исключительно занимаюсь Древним Римом и римской литературой, специально изучил Вергилия и его время и всю эпоху IV века – от Константина Великого до Феодосия Великого. Во всех этих областях я, в настоящем смысле слова, специалист; по каждой из них я прочел целую библиотеку... В разные периоды жизни я занимался еще, более или менее усердно, Шекспиром, Байроном, Баратынским, VI веком в Италии, Данте (которого мечтал перевести); новыми итальянскими поэтами. Блуждая по Западной Европе, посещал музеи, кое-что узнал из истории живописи, разбираюсь в школах... Но Боже мой! Боже мой! Как жалок этот горделивый перечень сравнительно с тем, чего я не знаю... Весь мир политических наук, все очарование наук естественных, физика и химия с их новыми поразительными горизонтами, все изучение жизни на земле, зоология, ботаника, соблазны прикладной механики, тайны сравнительного языкознания, к которому я едва прикоснулся, истинное знание истории искусств, целые миры, о которых я едва слышал, – древний Египет, Индия, государство майев, мифическая Атлантида, современный Восток с его удивительной жизнью, затем медицина, познание самого себя и умозрения новых философов, о которых я узнаю из вторых, из третьих рук... Боже мой! Боже мой! Если бы мне иметь сто жизней, они не насытили бы всей жажды познания, которая сжигает меня...»

«С прекращением „Весов“ в 1909 году, – подводил первые итоги Брюсов, – я стал помещать свои произведения преимущественно в „Русской мысли“ и через год, с осени 1910 года, был приглашен редакцией журнала – заведовать литературно-критическим отделом. Эта моя деятельность в редакции „Русской мысли“ длилась более двух лет, до конца 1912 года, причем мною было исполнено для журнала немало чисто редакционных работ. За те же годы мною было издано отдельно (кроме переиздания прежних книг): сборник стихов „Зеркало Теней“, сборник рассказов „Ночи и дни“, роман из римской жизни IV века (в 2 томах) „Алтарь Победы“, сборник статей о русских поэтах „Далекие и близкие“, сборник переводов П. Верлена, перевод драмы О. Уайльда „Герцогиня Падуанская“, несколько маленьких брошюр: „Великий Ритор“ (жизнь и сочинения Авсония), „За моим окном“ (воспоминания) и др. В то же время довольно много статей, переводов было мною помещено в различных журналах, газетах, альманахах, сборниках (в том числе в приложениях к „Ниве“ перевод „Баллады Реддингской тюрьмы“ О. Уайльда), в разных коллективных трудах (в „Библиотеке великих писателей“ под ред. С. А. Венгерова, в „Истории русской литературы“ и „Истории западной литературы“ т-ва „Мир“, в „Новом энциклопедическом словаре“ и т. д.) и в виде предисловий к различным книгам».

Необыкновенному трудолюбию Брюсова мешали, кажется, только вредные привычки. «Еще с 1908-го года он был морфинистом, – писал Ходасевич. – Старался от этого отделаться, но не мог. Летом 1911 года д-ру Г. А. Койранскому удалось на время отвлечь его от морфия, но в конце концов из этого ничего не вышло. Морфий сделался ему необходим. Помню, в 1917

году во время одного разговора я заметил, что Брюсов постепенно впадает в какое-то оцепенение, почти засыпает. Потом он встал, ненадолго вышел в соседнюю комнату – и вернулся помолодевшим...»

«Он (Брюсов) не любил людей, – вспоминал Ходасевич, – потому что прежде всего не уважал их. Это, во всяком случае, было так в его зрелые годы. В юности, кажется, он любил Коневского. Неплохо относился к З. Н. Гиппиус. Больше назвать некого. Его неоднократно подчеркнутая любовь к Бальмонту вряд ли может быть названа любовью. В лучшем случае это было удивление Сальери перед Моцартом. Он любил называть Бальмонта братом. М. Волошин однажды сказал, что традиция этих братских чувств восходит к глубокой древности: к самому Каину...» И дальше: «В стихии расчета он (Брюсов) умел быть вдохновенным. Процесс вычисления доставлял ему удовольствие. В шестнадцатом году он мне признался, что „ради развлечения“ решает алгебраические и тригонометрические задачи по старому гимназическому учебнику. Он любил таблицу логарифмов. Он произнес целое «похвальное слово» той главе в учебнике алгебры, где говорится о перестановках и сочетаниях. В поэзии он любил те же «перестановки и сочетания». С замечательным упорством и трудолюбием он работал годами над книгой, которая не была – да и вряд ли могла быть закончена: он хотел дать ряд стихотворных поделок, стилизаций, содержащих образчики «поэзии всех времен и народов»! В книге должно было быть несколько тысяч стихотворений. Он хотел несколько тысяч раз задушить себя на алтаре возлюбленной Литературы – во имя «исчерпания всех возможностей», из благоговения перед перестановками и сочетаниями. Написав для книги «Все напевы» (построенной по тому же плану) цикл стихотворений о разных способах самоубийства, он старательно расспрашивал знакомых, не известны ли им еще какие-нибудь способы, «упущенные» в его каталоге...» И еще: «Он (Брюсов) страстно, неестественно любовью любил заседать, в особенности – председательствовать. Заседаю – священнодействовал. Резолюция, поправка, голосование, устав, пункт, параграф – эти слова не жили его слух. Открывать заседание, закрывать заседание, предоставлять слово „дискреционной властью председателя“, звонить в колокольчик, интимно склоняться к секретарю, прося „занести в протокол“ – все это было для него наслаждение, „театр для себя“, предвкушение грядущих двух строк в истории литературы...»

Конечно, суждение это достаточно субъективно, однако Ходасевич хорошо знал Брюсова и мнение его подтверждали многие.

«В первые годы революции дом Брюсовых опустел, – вспоминала свояченица поэта Б. Погорелова. – Изредка забегал кое-кто из старых знакомых – с недобрыми, мрачными вестями. Брюсов почти не выходил из дома. Да куда было идти? Литературно-художественный кружок был занят красноармейцами, редакции закрылись, типографии и бумага были

реквизированы большевиками. А дамы, жаждавшие когда-то бурных встреч, исчезли кто на юг, кто за границу.

Как-то, в мрачное осеннее утро, в квартире Брюсовых раздался резкий звонок и в переднюю ввалилась группа: немолодая решительная баба и несколько рабочих. Сразу тычут ордер из местного Совета рабочих депутатов – на реквизицию. «Тут у вас кабинет имеется. Покажите». Ввалившуюся компанию провели в кабинет. Баба безостановочно тараторила: «Подумайте – столько книг! И это – у одного старика! А у нас – школы без книг. Как тут детей учить?» Компания переходила от полки к полке. Время от времени кто-нибудь из «товарищей» вытаскивал наугад какой-нибудь том. То выпуск энциклопедического словаря, то что-нибудь из древних классиков. Одного из незваных посетителей заинтересовало редкое издание «Дон-Кихота» на испанском языке. Все принялись рассматривать художественно исполненные иллюстрации. Потом баба захлопнула книгу и с укоризненным пафосом произнесла: «Одна контрреволюция и отсталость! Кому теперь нужны такие мельницы? Советская власть даст народу паровые, а то и электрические. Но все равно: эту книгу тоже заберем. Пушай детишки хоть картинками потешатся. Вот что, гражданка (это сестре). Завтра пришем грузовик за всеми книгами. А пока... чтоб ни одного листочка здесь не пропало. Иначе придется вам отвечать перед революционным трибуналом!»

Потрясенный происшедшим, очень бледный, стоял Брюсов у своих книг и машинально раскладывал все по прежним местам. Он так любил свои книги! Годами собиралась его библиотека. Были в ней редкостные дорогие издания; их не сразу удавалось приобрести, и ими он так дорожил...

После обеда он позвонил Луначарскому. На следующий день – ни жуткой бабы, ни страшного грузовика. А вечером В. Я. посетил сам нарком. На той же неделе В. Я. получил приглашение к Троцкому. Вероятно, оба коммуниста звали его работать с ними. Причем у Троцкого, по-видимому, было «чисто дипломатическое» соображение: привлечением в их стан крупного писателя доказать Европе, что коммунисты не такие варвары, как их изображают. А Луначарский пустил в ход более хитрый маневр. Он прямо явился с предложением – основать кафедру поэзии и стихосложения при пролетарском университете. А ведь это было заветной мечтой Брюсова, и он, без долгих колебаний, ухватился за предложение.

Вскоре после этого захожу к Брюсовым и застаю всю семью на кухне. Сестра и Аннушка раскладывают на столе только что полученный «паек». Огромная бутылка подсолнечного масла, мешок муки, всевозможная крупа. Сахар, чай, кофе, большой кусок мяса. Аннушка сияет и любитесь по тому голодному времени невероятным богатством. «Ну, поживем за этим царем», – одобрительно говорит она. Брюсов нахмурился. «Нечего вздор молоть. Лучше разберите все это. А то всякий народ тут к вам ходит». И ушел к себе...»

В 1919 году Брюсов вступил в ряды ВКП(б). Работал с Луначарским в Наркомпросе. Читал лекции в университете. Организовал в 1921 году

Высший литературно-художественный институт (впоследствии ВЛХИ им. В. Я. Брюсова). Выступал с работами теоретическими, издал книги стихов «Последние мечты» (1920), «В такие дни» (1921), «Миг» (1922), «Дали» (1922), «Меа!» («Спеши!»), 1924). Глубоко изучил историю и литературу Армении, перевел многих ее поэтов. За эту поистине гигантскую работу Совнарком Армении присвоил Брюсову звание народного поэта Армении. Вообще роль Брюсова в русской поэзии по-настоящему еще не оценена. «Несмотря на все усердие, большевики не ценили его, – писал Ходасевич. – При случае – попрекали былой принадлежностью к „буржуазной“ литературе. Его стихи, написанные в полном соответствии с видами начальства, все-таки были не нужны, потому что не годились для прямой агитации. Дело в том, что, пишучи на заказные темы и очередные лозунги, в области формы Брюсов оставался свободным. Я думаю, что тщательное формальное исследование коммунистических стихов Брюсова показало бы в них напряженную внутреннюю работу, клонящуюся к попытке сломать старую гармонию, „обрести звуки новые“. К этой цели Брюсов шел через сознательную какофонию. Был ли он прав, удалось ли ему чего-нибудь достигнуть – вопрос другой. Но именно наличие этой работы сделало его стихи переутонченными до одеревенения, трудно усвояемыми, недоступными для примитивного понимания. Как агитационный материал они не годятся – и потому Брюсов-служака оказался по существу ненужным. Оставался Брюсов-служака, которого и гоняли с „поста“ на „пост“, порой доходя до вольного или невольного издевательства. Так, например, в 1921 году Брюсов совмещал какое-то высокое назначение по Наркомпросу с не менее важной должностью в Гуконе, т. е...в Главном управлении по коннозаводству!»

В декабре 1923 года юбилей поэта был отмечен официально, но без пышности.хлопоты об ордене Красного Знамени окончились ничем, поэт получил лишь грамоту ВЦИК да Литературному институту присвоили его имя.

Умер 9 октября 1924 года в Москве.

Очень жестко на смерть Брюсова отозвался в «Русской газете» (Париж) поэт Саша Черный: «О грехопадении Брюсова писали за последнее время немало. В самом деле странно: индивидуалист, изысканный эстет, парнасский сноб, так умело имитировавший поэта, парящего над чернью, и вдруг такая бесславная карьера, достойная расторопного Ивана Василевского или какого-нибудь Оль Д'Ора. Красный цензор, вырывающий у своих собратьев последний кусок хлеба, вбивающий осиновый кол в книги, не заслужившие в его глазах штемпеля советской благонадежности. Это была, увы, не тютчевская цензура, не „почетный“ караул у дверей литературы, а караул подлинно арестантский, тяжкое и низкое ремесло угнетателя духа. Свой бил своих. Приблизительно такое же дикое и незабываемое зрелище, как еврей, организующий еврейские погромы».

Федор Кузьмич Сологуб

По тем дорогам, где ходят люди,
В часы раздумья не ходи, —
Весь воздух выпьют чужие груди,
Проснется страх в твоей груди.
Оставь селенья, иди далеко,
Или создай пустынный рай,
И там безмолвно и одиноко
Живи, мечтай и умирай.

Федор Кузьмич Тетерников (Сологуб – литературный псевдоним) родился 17 (1. III) февраля 1863 года в Петербурге.

После смерти отца – портного – мать попыталась самостоятельно держать прачечную, но дело оказалось ей не по силам, пришлось пойти в прислугу. «Розги в доме Северцова, – с ужасом вспоминал Сологуб. – Розги в доме Духовского... Неудачное ношение письма, меня высекли... Драка на улице, не давай сдачи, высекли...» От того рос замкнутым, скрытным, чуждался сверстников.

В 1882 году окончил Учительский институт. Сразу, забрав мать и сестру, уехал в Крестцы Новгородской губернии. Через три года учительства перебрался в Великие Луки, а в 1889 году – в Вытегру. Это была бесцветная, неинтересная жизнь, полная лишений, бедности, напрочь лишенная радости. Однажды надо было пойти к ученику, а Сологуб накануне поранил ногу, не мог натянуть сапог и не хотел идти босиком по грязи. Позже вспоминал: «Маменька очень рассердилась и пребольно высекла меня розгами, после чего я уже не смел упрямиться и пошел босой. Пришел я к Сабурову в плохом настроении, припомнил все его неисправности и наказал розгами очень крепко, а тетке, у которой он живет, дал две пощечины за потворство и строго приказал сечь почаще...»

Только в 1892 году Сологуб, наконец, переехал в Петербург. Здесь он получил место учителя математики в Рождественском городском училище, а в 1899 году – место инспектора в Андреевском. «Жил Сологуб на Васильевском острове в казенной квартире, – вспоминала писательница Тэффи. – Жил с сестрой, плоскогрудой, чахоточной старой девой. Тихая она была и робкая, брата обожала и побаивалась, говорила о нем шепотом. Он рассказывал в своих стихах: «Мы были праздничные дети, сестра и я...» Они были очень бедные, эти праздничные дети, мечтавшие, чтобы дали им «хоть пестрых раковин из ручья». Печально и тускло протянули они дни своей молодости. Чахоточная сестра, не получившая своей доли пестрых раковин, уже догорала. Он сам изнывал от скучной учительской работы, писал урывками по ночам, всегда усталый от мальчишечьего шума своих учеников...» Тем не менее, именно в Петербурге Сологуб вошел в круг поэтов-символистов Д. Мережковского, З. Гиппиус, Н. Минского. В редакции «Северного вестника» Минский даже придумал для него псевдоним;

«потому что неудобно будет музе венчать лаврами голову господина Тетерникова».

«В комнате Минского, – вспоминала Гиппиус, – на кресле у овального, с обычной бархатной скатертью стола, сидел весь светлый, бледно-рыжеватый человек. Прямая, не вьющаяся борода, такие же бледные падающие усы, со лба лысина, пенсне на черном шнурочке. В лице, в глазах с тяжелыми веками, во всей мешковатой фигуре – спокойствие до неподвижности. Человек, который никогда, ни при каких условиях не мог бы „суетиться“». Молчание к нему удивительно шло. Когда он говорил – это было несколько внятных слов, сказанных голосом очень ровным, почти монотонным, без тени торопливости. Его речь – такая же спокойная непроницаемость, как и молчание». Не каждый мог заметить в его скупых словах скрытую иронию, которой полны были его стихи. «Тогда насмешливый мой гений подсказывал немало мне непоэтических сравнений. Я в поле вышел при луне, – на мякоть зрелого арбуза похожа красная луна, а иногда и жабы пузо напоминала мне она».

В 1895 году вышел в свет роман Сологуба «Тяжелые сны», в следующем году – первый поэтический сборник «Стихи», а в 1905-ом – «Мелкий бес», – роман, принесший Сологубу известность. Жизнь провинциального захолустья, обывательщина, тупая жестокость были изображены в романе столь сильно, что имя главного героя, учителя Передонова, мгновенно стало нарицательным. Даже Ленин, случалось, употреблял в своих статьях термин «передоновщина». А сам поэт писал: «В печатных отзывах и в устных, которые мне пришлось выслушать, я заметил два противоположных мнения. Одни думают, что автор, будучи очень плохим человеком, пожелал дать свой портрет и изобразил себя в образе учителя Передонова. Вследствие своей искренности автор не пожелал ничем себя оправдать и прикрасить и потому размазал свой лик самыми черными красками. Совершил он это удивительное предприятие для того, чтобы взойти на некую голгофу и там для чего-то пострадать. Получился роман интересный и безопасный. Интересный потому, что из него видно, какие на свете бывают нехорошие люди, безопасный потому, что читатель может сказать: „Это не про меня писано“. Другие, не столь жестокие к автору, думают, что изображенная в романе передоновщина – явление довольно распространенное. Некоторые думают даже, что каждый из нас, внимательно в себя всмотревшись, найдет в себе несомненные черты Передонова. Из этих двух мнений я отдаю предпочтение тому, которое для меня более приятно, а именно второму. Я не был поставлен в необходимость сочинять и выдумывать из себя; все анекдотическое, бытовое и психологическое в моем романе основано на очень точных наблюдениях, и я имел для моего романа достаточно „натуры“ вокруг себя. И если работа над романом была столь продолжительна, то лишь для того, чтобы случайное возвести к необходимому; чтобы там, где царствовала рассыпающая анекдоты Айса, воцарилась строгая Ананке. Правда, люди любят, чтобы их любили. Им нравится, чтоб изображались

возвышенные и благородные стороны души. Даже и в злодеях им хочется видеть проблески блага, „искру божью“, как выражались в старину. Потому им не верится, когда перед ними стоит изображение верное, точное, мрачное, злое. Хочется сказать: „Это он о себе“. Нет, мои милые современники, это я о вас писал мой роман о Мелком бесе и жуткой его Недотыкомке, об Ардальоне и Варваре Передоновых, Павле Володине, Дарье, Людмиле и Валерии Рутиловых, Александре Пыльникове и других. Этот роман – зеркало, сделанное искусно. Я шлифовал его долго, работая над ним усердно. Ровна поверхность моего зеркала и чист его состав. Многократно измеренное и тщательно проверенное, оно не имеет никакой кривизны. Уродливое и прекрасное отражаются в нем одинаково точно».

«Я ухо приложил к земле, чтобы услышать конский топот, – но только ропот, только шепот ко мне доходят по земле... Нет громких стуков, нет покоя, но кто же шепчет, и о чем? Кто под моим лежит плечом и уху не дает покоя?... Ползет червяк? Растет трава? Вода ли капает до глины? Молчат окрестные долины. Земля суха, тиха трава... Пророчит что-то тихий шепот? Иль, может быть, зовет меня, к покою вечному клоня печальный ропот, темный шепот?».

Странно думать, что эти стихи написаны более ста лет назад...

«Рожденный не в первый раз, – писал Сологуб в предисловии к сборнику стихов „Пламенный круг“, – и уже не первый завершая круг внешних преобразений, я спокойно и просто открываю мою душу. Открываю, – хочу, чтобы интимное стало всемирным. Темная земная душа человека пламенеет сладкими и горькими восторгами, истончается и восходит по нескончаемой лестнице совершенств в обители навеки недостижимые и вовеки вожделенные. Жаждет чуда, – и чудо дается ей...»

«У Федора Сологуба, – вспоминал поэт В. Пяст, – чтение произведений всеми присутствующими было почти обязательно. Квартира была гораздо скромнее (чем у Розанова), какая-то более ветхая, давно не отремонтированная, соединявшаяся со школой, в которой он был инспектором, т. е. начальником. За самоваром подавали бутерброды. Тут велись разговоры исключительно литературные. На вторую половину вечера обязательно переходили в хозяйский кабинет – от столовой направо. Письменный стол был здесь на первом плане и стоял близ окна. А глубину комнаты занимали мягкие мебели с простой обивкой. Сологуб усаживался под лампу к самой стене; прочие – т. е. гости – садились в промежутке. Несколько стульев оставались обыкновенно свободными. Несколько раз Сологуб приглашал гостей занимать стулья близ него; многим приходилось «толпиться» в дверях. Однако гости следовали его приглашению с неохотой. Сологуб хлопал по столу ладонью раз и два, и наконец кто-нибудь подымался и проходил комнату, точно повинувшись гипнотической силе... Приведу здесь рассказывавшийся самим Вячеславом Ивановым анекдот об этой особой силе Федора Сологуба... Только что с ним познакомившийся и в первый раз к нему придя, Вячеслав Иванов никак не мог от него выйти: на

улице моросило, и ему казалось, что это, т. е. дурную погоду, сделал нарочно Федор Сологуб. Чтобы выйти под дождь, необходимо было надеть калоши. В передней было много калош, в том числе и его, В. И., в которых он пришел. Однако на всех калошных парах Вячеслав Иванов видел одни и те же буквы: Ф. Т., – настоящая фамилия Сологуба была Тетерников...»

«Я впервые увидел его в начале 1908 года, в Москве, у одного литератора, – вспоминал Ходасевич. – Это был тот самый Сологуб, которого на известном портрете так схоже изобразил Кустодиев. Сидит мешковато на кресле, нога на ногу, слегка потирает маленькие, очень белые руки. Лысая голова, темя слегка заостренное, крышей, вокруг лысины – седина. Лицо чуть мучнистое, чуть одутловатое. На левой щеке, возле носа с легкой горбинкой, – большая белая бородавка. Рыжевато-седая борода клином, небольшая, и рыжевато-седые, висящие вниз усы. Пенсне на тонком шнурке, над переносицей складка, глаза полузакрываются. Когда Сологуб их открывает, их выражение можно бы передать вопросом: „А вы все еще существуете?“ Таким выражением глаз встретил и меня Сологуб, когда был я ему представлен. Шел мне двадцать второй год, и я Сологуба испугался...»

«Но вот умерла тихая сестра Сологуба, – вспоминала Тэффи. – Он сообщил мне об этом очень милым и нежным письмом. „Пишу Вам об этом, потому что она очень Вас любила и велела Вам жить подольше. А мое начальство заботится, чтоб я не слишком горевал: гонит меня с квартиры“.

И тут начался перелом. Он бросил службу, женился на переводчице Анастасии Чеботаревской, которая перекроила его быт по-новому, по ненужному. Была взята большая квартира, повешены розовые шторы, куплены золоченые стулики. На стенах большого холодного кабинета красовались почему-то Леды разных художников. «Не кабинет, а ледник», – сострил кто-то. Тихие беседы сменились сборищами с танцами и масками. Сологуб сбрил усы и бороду, и все стали говорить, что он похож на римлянина времен упадка. Он ходил как гость по новым комнатам, надменно сжимал бритые губы, щурил глаза, искал гаснущие сны. Жена его, Анастасия Чеботаревская, создала вокруг него атмосферу беспокойную и напряженную. Ей все казалось, что к Сологубу относятся недостаточно почтительно, всюду чудились ей обиды, намеки, невнимание. Она пачками писала письма в редакции, совершенно для Сологуба ненужные и даже вредные, защищая его от воображаемых нападок, ссорилась и ссорилась. Сологуб поддавался ее влиянию, так как по природе был очень мнителен и обидчив. Обиду чувствовал и за других, поэтому очень бережно обходился с молодыми начинающими поэтами, слушал их порою прескверные стихи внимательно и серьезно и строгими глазами обводил присутствующих, чтобы никто не смел улыбаться. Но авторов слишком самонадеянных любил ставить на место. Приехал как-то из Москвы плотный, выхолненный господин, печатавшийся там в каких-то сборниках, на которые давал деньги. Был он, между прочим, присяжным поверенным. И весь вечер Сологуб называл его именно присяжным поверенным. «Ну, а теперь московский присяжный

поверенный прочтет нам свои стихи». Или: «Вот какие стихи пишут московские присяжные поверенные». Выходило как-то очень обидно, и всем было неловко, что хозяин дома так измывается над гостем...»

«Не трогай в темноте того, что незнакомо, быть может, это – те, кому привольно дома... Кто с ними был хоть раз, тот их не станет трогать. Сверкнет зеленый глаз, царапнет быстрый ноготь... Прикинется котом испуганная нежить. А что она потом затеет? Мучить? Нежить?... Куда ты ни пойдешь, возникнут пусторосли. Измаешься, заснешь. Но что же будет после?... Прозрачную щекой прильнет к тебе сожитель. Он серую тоской твою затмит обитель... И будет жуткий страх, – так близко, так знакомо, – стоять во всех углах тоскующего дома...»

«В начале революции, – вспоминала Тэффи, – по инициативе Сологуба создано общество охранения художественных зданий и предметов искусств. Заседали мы в Академии художеств, требовали охраны Эрмитажа и картинных галерей, чтобы там не устраивали ни засад, ни побоищ. Хлопотали, ходили к Луначарскому. Кто лучше него мог бы понять нашу святую тревогу? Ведь этот эстет, когда умер его ребенок, читал над гробиком „Литургию красоты“ Бальмонта. Но из хлопот наших ничего не вышло... А работал Сологуб по-прежнему много, но больше все переводил. Новые повести писал в сотрудничестве с Чеботаревской. Они были не совсем удачны, а иногда настолько неудачны и так не чувствовалось в них даже дыхания Сологуба, что многие, в том числе и я, решили, что пишет их одна Чеботаревская, даже без присмотра Сологуба. Впоследствии эта догадка оказалась верной...»

При советской власти, как всем писателям, жилось Сологубу тяжело. На общие условия наложилась тяжелая личная трагедия. «У одного из домов на набережной, – вспоминал позже поэт М. Зенкевич, – около водосточной трубы я заметил небольшое рукописное объявление: „Миллион рублей тому, кто укажет...“ Заинтересовавшись, я стал читать: „...где находится женщина... ушедшая вечером... в платке...“ В конце адрес и подпись: Федор Сологуб... Что за ерунда!.. Потом вспомнил, что рассказывали в Москве. Анастасия Чеботаревская, жена Сологуба, ушла из дому и бросилась в Неву в припадке психического расстройства (21 декабря 1921 года). Сологуб как сумасшедший бегал по всему городу и расклеивал свои объявления, не верил в смерть и каждый день, садясь за стол, накрывал для нее прибор...» – «Анастасия Николаевна, – писал потрясенный Сологуб критику А. Г. Горнфельду, – дала мне все то счастье, которое может дать самоотверженно верная жена и беззаветно преданный друг. Мы были с нею более близки, чем бывают люди в браке. Вся моя литературная и общественная работа была объята ее сотрудничеством и влиянием. В ней для меня было всегда живое воплощение моей собственной художественной и житейской совести, и я принимал ее советы как неизменно верное указание того пути, который я сам себе раз навсегда начертал. Ее нервы были истощены...»

Свою версию произошедшего высказала позже А. А. Ахматова. «Я знаю, почему погибла Настя, – записала ее слова Л. К. Чуковская. – Этому никто толком не знает, а я знаю, как все это было и почему. Она психически заболела из-за несчастной любви. Ей тогда было года сорок два, она влюбилась в человека холодного, равнодушного. Он сначала удивлялся, получая частые приглашения к Сологубам. Потом, когда он узнал о чувствах к нему Анастасии Николаевны, перестал там бывать. Она уводила меня к себе в комнату и говорила, говорила о нем без конца. Иногда она надевала белое платье и шла к нему объясняться. Вообще делала ужасные вещи, которые никогда не должна делать женщина. В последний раз я ее видела за несколько дней до смерти: она провожала меня, я шла в Мраморный дворец к Володе (Шилейко). Всю дорогу она говорила о своей любви – ни о чем другом она уже говорить не могла. Когда она бросилась в Неву, она шла к своей сестре. Это было точно установлено, что вышла она из дому, чтобы пойти к сестре, но, не дойдя два дома, бросилась в Неву. Федор Кузьмич потом переехал жить к Настинной сестре и жил там, не зная, что Настя утонула у него под окном...»

«Снова саваны надели рощи, нивы и луга. Надоели, надоели эти белые снега. Эта мертвая пустыня, эта дремлющая тишь! Отчего ж, душа-рабыня, ты на волю не летишь, к буйным волнам океана, к шумным стогнам городов, на размах аэроплана, в громыханье поездов, или, жажду жизни здешней горьким ядом утоля, в край невинный, вечно-вещий, в Элизийские поля?».

Одна за другой выходили книги Сологуба: в 1921 году – «Одна любовь», «Соборный благовест» и «Фимиамы», в 1922-ом – «Костер дорожный», «Свирель», «Чародейная чаша», в 1923-ем – «Великий благовест», но что-то в жизни поэта изменилось... Стало некуда пойти, нигде его не ждали... «Потом он, конечно, опять жил, потому что он был поэт, и стихи к нему шли, – вспоминала писательница О. Д. Форш, – но стихи свои читал он несколько иначе, чем при ней (Чеботаревской), когда объезжали вместе север, юг и Волгу, и „пленяли сердца“. Он больше пленять не хотел, он с покорностью своему музыкальному, особому дару, давал в нем публичный стихотворный отчет, уже ничего для себя не желая. Входил он к людям сразу суровый, отвыкший. От внутренней боли был ядовит и взыскателен. П. Н. Медведеву он говорил: „Если бы я начинал бы жизнь снова, я стал бы математиком. Математика и теоретическая физика были бы моей специальностью“. А Константин Федин вспоминал, как Сологуб как-то сказал ему: „Я знаю точно, от чего я умру. Я умру от декабрита“. – „Что это такое?“ – „Декабрит – это болезнь, от которой умирают в декабре“.

Так оно и случилось.

Умер Сологуб 5 декабря 1927 года.

Зинаида Николаевна Гиппиус

Родилась 8 (20) ноября 1869 года в городе Белеве.

«Семья Гиппиус, – писала она позже, – ведет свое начало от Адольфуса фон Гингста, переименовавшего фамилию Гингст на фон Гиппиус и переселившегося в Россию (в Москву) в XVI, кажется, веке из Мекленбурга (герб фон Гиппиус – 1515 г.). Несмотря на такое долгое пребывание в России, фамилия эта до сих пор в большинстве своем – немецкая; браки с русскими не давали прочных ветвей». В конце 1877 года отца перевели в Петербург товарищем обер-прокурора сената, но открывшийся у него туберкулез потребовал переезда на юг. «Меня отдали было в киевский институт, – вспоминала Гиппиус, – но через полгода взяли назад, так как я была очень мала, страшно скучала и все время проводила в лазарете, где не знали, как меня лечить: я ничем не страдала, кроме повышенной температуры». Только после смерти отца (в марте 1881 года) Гиппиусы переехали в Москву. «Средства оказались небольшие, а семья порядочная: с нами (кроме трех маленьких сестер) жили еще бабушка и незамужняя тетка, сестра моей матери». Впрочем, в Москве Гиппиусы тоже не задержались: из-за слабого здоровья детей вновь пришлось отправиться на юг – сперва в Ялту, потом в Тифлис.

«В гимназию поступать оказалось поздно (мне было 16 лет), – вспоминала Гиппиус, – я бы не выдержала экзамена в последний класс – слишком бессистемны были мои знания. Умела заниматься тем, что нравилось, а к другому до странности была тупа. Книги – и бесконечные собственные, почти всегда тайные, писания – только это одно меня главным образом занимало. Пристрастилась одно время к музыке (мать моя была недурная музыкантша), но потом бросила, чувствуя, что „настоящего“ тут не достигну. Характер у меня был живой, немного резкий, но общительный, и отнюдь не чуждалась я „веселья“ провинциальной барышни. Но больше всего любила лошадей, верховую езду, ездила далеко в горы...»

Лето 1888 года в Боржоми Гиппиус познакомилась с молодым поэтом Д. С. Мережковским. «Устремляя наши очи на бледнеющий восток, дети скорби, дети ночи, ждем, придет ли наш пророк...» – эти стихи не были еще написаны, но идея символизма, скоро завоевавшего литературную Россию, уже витала в литературной атмосфере. «Дерзновенны наши речи, но на смерть обречены слишком ранние предтечи слишком медленной весны...» «Они (стихи Мережковского) мне не нравились, как ему не нравились мои, ненапечатанные, но заученные наизусть некоторыми из моих друзей. Как я ни увлекалась Надсоном, писать „под Надсона“ не умела и сама стихи свои не очень любила. Да они действительно были довольно слабы и дики. На почве литературы мы много спорили и даже ссорились с Мережковским. Он уехал в Петербург в сентябре. В ноябре, когда мне исполнилось 19 лет, вернулся в Тифлис; через два месяца, 8 января 1889 года, мы обвенчались и уехали в Петербург...»

«Странное впечатление производила эта пара, – вспоминала Б. Погорелова, – внешне они поразительно не подходили друг к другу. Он – маленького роста, с узкой впалой грудью, в допотопном сюртуке. Черные глубоко посаженные глаза горели тревожным огнем библейского пророка. Это

сходство подчеркивалось полуседой, вольно растущей бородой и тем легким взвизгиваньем, с которым переливались слова, когда Д. С. раздражался. Держался он с неоспоримым чувством превосходства и сыпал цитатами то из Библии, то из языческих философов. А рядом с ним – Зинаида Николаевна Гиппиус, соблазнительная, нарядная, особенная. Она казалась высокой из-за чрезмерной худобы, но загадочно-красивое лицо не носило никаких следов болезни. Пышные темно-золотистые волосы спускались на нежно-белый лоб и оттеняли глубину удлинённых глаз, в которых светился внимательный ум. Умело яркий грим. Головокружительный аромат сильных, очень приятных духов. При всей целомудренности фигуры, напоминавшей скорее юношу, переодетого дамой, лицо З. Н. дышало каким-то грешным всепониманием. Держалась она как признанная красавица, к тому же – поэтесса. От людей, близко стоявших к Мережковским, не раз приходилось слышать, что заботами о семейном благоденствии (т. е. об авансах и гонорарах) ведала почти исключительно З. Н. и что в этой области ею достигались невероятные успехи...» Кстати, последнее оказалось очень даже не лишним, поскольку ни Мережковский, ни Гиппиус не получали от родителей никакой поддержки, и жить им приходилось исключительно гонорарами.

«Первый мой рассказ „Простая жизнь“ (заглавие изменено на „Злосчастная“), – вспоминала Гиппиус, – был напечатан в 1890-м, кажется, году в „Вестнике Европы“. Я писала романы, заглавий которых даже не помню, и печаталась во всех приблизительно журналах, тогда существовавших, больших и маленьких. Замечу, что европейское движение „декаданса“ не оказало на меня влияния. Французскими поэтами я никогда не увлекалась и в 90-х годах мало их читала. Меня занимало, собственно, не декаденство, а проблема индивидуализма и все к ней относящиеся вопросы. Литературу я любила нежно и ревниво, но никогда не „обожествляла“ ее: ведь не человек для нее, а она для человека...»

С Мережковским (с ним она прожила более чем полвека, не разлучаясь ни на день, – сама так утверждала) Гиппиус устраивала регулярные религиозно-философские собрания. С ним же и с близким другом семьи Д. В. Философовым издавала собственный литературный журнал «Новый путь»; под псевдонимом Антон Крайний выступала как литературный критик. «По совести, должна сказать, что никогда не отрицала я влияния Мережковского на меня уж потому, что сознательно шла этому влиянию навстречу, – но совершенно так же, как он шел навстречу моему. Из этой встречности нередко рождалось новое, – мысль или понимание, которые уже не принадлежали ни ему, ни мне, может быть, „нам“. Так же, впрочем, шла я, шли мы, насколько умели, навстречу „влиянию“ нашего друга Д. В. Философова...»

«Окно мое высоко над землею, высоко над землею. Я вижу только небо с вечернею зарею, с вечернею зарею... И небо кажется пустым и бледным, таким пустым и бледным. Оно не сжалится над сердцем бедным, над моим сердцем бедным... Увы, в печали безумной я умираю, я умираю, стремлюсь к

тому, чего я не знаю, не знаю... И это желание не знаю откуда пришло откуда, но сердце просит и хочет чуда, чуда!.. И пусть будет то, чего не бывает, никогда не бывает. Мне бледное небо чудес обещает, оно обещает... Но плачу без слез о неверном обете, о неверном обете. Мне нужно то, чего нет на свете, чего нет на свете...»

«Есть люди, которые как будто выделаны машиной, на заводе, выпущены на свет Божий целыми однородными сериями, – писал поэт Г. Адамович, – и есть другие, как бы „ручной работы“, – и такой была Гиппиус. Но помимо ее исключительного своеобразия я, не колеблясь, скажу, что это была самая замечательная женщина, которую пришлось мне на моем веку знать. Не писательница, не поэт, а именно женщина, человек, среди, может быть, и более одаренных поэтесс, которых я встречал. И в самом деле, она была необыкновенно умна. Но гораздо умнее в разговоре, с глазу на глаз, когда она становилась такой, какой должна была быть в действительности, без раз навсегда принятой позы, без высокомерия и заносчивости, без стремления всех учить чему-то такому, что будто бы только ей и Мережковскому известно, – в разговоре с глазу на глаз, когда она становилась человеком ко всему открытым, ни в чем, в сущности, не уверенным и с какой-то неутолимой жадой, с непогрешимым слухом ко всему, что за неимением другого, более точного термина приходится называть расплывчатым термином „музыка“. В ней самой этой музыки не было, и при своей пронизательности она не могла этого не сознавать. Иллюзиями она себя не тешила. Музыка была в нем, в Мережковском, какая-то странная, грустная, приглушенная, будто выхолощенная, скопческая, но несомненная. Зато она, как никто, чувствовала и улавливала музыку в других людях, в чужих писаниях и всем своим существом к ней тянулась. От всего только бытового, бытом ограниченного, от всякого литературного передвижничества она пренебрежительно отталкивалась, будто ей нечего было со всем этим делать, и даже бывала в отталкиваниях не всегда справедлива, принимая за передвижничество и то, что было им только в оболочке. Ей, да и ему, Мережковскому, нужен был дух в чистом виде, без плоти, без всего, что в жизни может отяжелить дух при попытке взлета, они оба были в этом смысле людьми „достоевского“, антитолстовского склада – склада, определившего то литературное движение, к которому они оба принадлежали и которое одно время даже возглавляли...» И дальше: «Она хотела казаться человеком с логически неумолимым, неизменно трезвым, сверхкартезианским умом. Повторяю, она была в самом деле очень умна. Но ум у нее был путаный, извилистый, очень женский, гораздо более замечательный в смутных догадках, чем в отчетливых, отвлеченных построениях, в тех рассудочных теоремах, по образцу которых написаны многие ее статьи. Она хотела казаться пронизательнее всех на свете, и постоянной формой ее речи был вопрос: „А что, если?“ А что, если дважды два не четыре, а сорок семь, а что, если Волга впадает не в Каспийское море, а в Индийский океан? Это была игра, но с этой игрой она свыклась и на ней

построила свою репутацию человека, который видит и догадывается о том, что для обыкновенных смертных недоступно. Она знала, что ее считают злой, нетерпимой, придирчивой, мстительной, и слухи эти она усердно поддерживала, они ей нравились, как нравилось ей раздражать людей, наживать себе врагов. Но это тоже была игра. По глубокому моему убеждению, злым, черствым человеком она не была, а в особенности не было в ней никакой злопамятности...»

Революцию Гиппиус категорически не приняла.

«Простят ли чистые герои? Мы их завет не сберегли. Мы потеряли все святое: и стыд души, и честь земли... Мы были с ними, были вместе, когда надвинулась гроза. Пришла Невеста. И Невесте солдатский штык проткнул глаза... Мы утопили, с визгом споря, ее в чану Дворца, на дне, в незабываемом позоре и в наворованном вине... Ночная стая свищет, рыщет, лед по Неве кровав и пьян. О, петля Николая чище, чем пальцы серых обезьян!.. Рылеев, Трубецкой, Голицын! Вы далеко, в стране иной. Как вспыхнули бы ваши лица перед оплеванной Невой!.. И вот из рва, из терпкой муки, где по дну вьется рабий дым, дрожа протягиваем руки мы к вашим саванам святым... К одежде смертной прикоснуться, уста сухие приложить, чтоб умереть – или проснуться, но так не жить! Но так не жить!».

«Мы думали, что дошли до пределов страдания, – писала Гиппиус в воспоминаниях о Блоке, которому не подавала руки после выхода его поэмы „Двенадцать“, – а наши дни были еще как праздник. Мы надеялись на скорый конец проклятого пути, а он, самый-то проклятый, еще почти не начался. Большевики, не знавшие ни русской интеллигенции, ни русского народа, неуверенные в себе и в том, что им позволят, еще робко протягивали лапы к разным вещам. Попробуют, видят – ничего, осмелеют, хапнут. Так, весной 18-го года они лишь целились запретить всю печать, но еще не решались (потом, через год, хохотали: и дураки же мы были церемониться!). Антибольшевистская интеллигенция – а другой тогда не было, исключения считались единицами – оказывалась еще глупее, чуть не собиралась бороться с большевиками „словом“, угнетенным, правда, но все-таки своим. Что его (слово) просто-напросто уничтожат – она вообразить не могла... За месяц до этого уничтожения мне предложили издать маленький сборник стихов, все написанное за годы войны и революции. Небольшая книжка эта, „Последние стихи“, необыкновенно скоро была напечатана в военной, кажется, типографии (очень недурно), и затем все издание, целиком, кому-то продано, – впрочем, книгу свободно можно было достать везде, пока существовали книжные магазины. Очень скоро ее стали рекомендовать, как запрещенную...» (В одной из антирелигиозных брошюр Троцкого тех лет есть, кстати, такие слова: «Пора, товарищи, понять, что никакого Бога нет, ангелов нет, чертей и ведьм нет». Но, будто спохватившись, Троцкий тут же приписал в скобках: «Нет, впрочем, одна ведьма есть – Зинаида Гиппиус».) В январе 1920 года Гиппиус и Мережковский нелегально перешли польскую границу. «Я знаю, – писала

Гиппиус, оказавшись в Варшаве, – и теперь, за эти месяцы, в могиле Петербурга ничто не изменилось. Только процесс разложения идет дальше, своим определенным, естественным, известным всем путем. Первая перемена произойдет лишь вслед за единственным событием, которого ждет вся Россия, – свержением большевиков. Когда?... Не знаю времени и сроков. Боюсь слов. Боюсь предсказаний. Но душа моя все-таки на этот страшный вопрос „когда“? – отвечает: скоро...»

«Зинаида Гиппиус была когда-то хороша собой, – вспоминала Тэффи, тоже оказавшаяся во Франции. – Я этого времени уже не застала. Она была очень худа, почти бестелесна. Огромные, когда-то рыжие волосы были странно закручены и притянуты сеткой. Щеки покрашены в ярко-розовый цвет промокательной бумаги. Косые, зеленоватые, плохо видящие глаза. Одевалась она очень странно. В молодости оригинальничала: носила мужской костюм, вечернее платье с белыми крыльями, голову обвязывала лентой с брошкой на лбу. С годами это перешло в какую-то ерунду. На шею натягивала розовую ленточку, за ухо перекидывала шнурок, на котором болтался у самой щеки монокль. Зимой носила какие-то душегрейки, пелеринки, несколько штук сразу, одна на другой. Когда ей предлагали папироску, из этой груды мохнатых обверток быстро, как язычок муравьеда, вытягивалась сухонькая ручка, цепко хватала ее и снова втягивалась. Когда-то было ей дано прозвище Белая Дьяволица. Ей это очень нравилось. Ей хотелось быть непременно злой. Поставить кого-нибудь в неловкое положение, унижить, поссорить. Спрашиваю: „Зачем вы это делаете?“ – „Так. Я люблю посмотреть, что из этого получится“.

«Сама я придаю значение очень немногим из моих слов, писаний, дел и мыслей, – писала Гиппиус. – Есть три-четыре строчки стихов: «Хочу того, чего нет на свете...»; «В туманные дни – слабого брата утешь, пожалей, обмани...»; «Надо всякую чашу пить до дна...»; «Кем не владеет Бог – владеет Рок...»; «Это он не дал мне – быть...» (о женщине). Если есть другие – не помню. Эти помню».

«Последние месяцы своей жизни З. Н. много работала, и все по ночам, – вспоминала Тэффи. – Она писала о Мережковском. Своим чудесным бисерным почерком исписывала целые тетради, готовила большую книгу. К этой работе она относилась как к долгу перед памятью „Великого Человека“, бывшего спутником ее жизни. Человека этого она ценила необычайно высоко, что было даже странно в писательнице такого острого, холодного ума и такого иронического отношения к людям. Должно быть, она действительно очень любила его. Конечно, эта ночная работа утомляла ее. Когда она чувствовала себя плохо, она никого к себе не допускала, никого не хотела. Я очень жалела ее, но часто приходиться не могла. Она почти совсем оглохла, и надо было очень кричать, что для меня было очень трудно. Одно время она почувствовала себя лучше и даже сделала попытку снова собирать у себя кружок поэтов. Но это оказалось слишком утомительным, да и глухота мешала общению с гостями... Как-то, после долгого отсутствия, зашла я к ней

и узнала, что она решилась пойти к парикмахеру сделать „индефризабль“, что очень плохо отразилось на ее здоровье. У нее отнялась правая рука. „Это оттого, что Дмитрий Сергеевич, гуляя, всегда опирался на мою руку“, – говорила она. И мне казалось, что эта мысль ей приятна потому, что она давала желанный смысл и как бы освящала ее страдания...»

Умерла 9 сентября 1945 года в Париже.

Иннокентий Федорович Анненский

Родился 20 (1. IX) августа 1856 года в Омске.

Отец – советник, затем начальник отделения Главного управления Западной Сибири. Мать – отдаленная родственница Ганнибала, а значит, Пушкина. В 1860 году отца перевели в Петербург чиновником по особым поручениям в Министерстве внутренних дел. Отличаясь предприимчивым характером, ввязался в торговые спекуляции, наделал долгов, в итоге потерял службу, тяжело заболел. Из-за всего этого Анненский не любил вспоминать детство.

В 1875 году поступил в Петербургский университет – на историко-филологическое отделение. Французским и немецким Анненский владел с детских лет, в университете добавил к этим языкам – латинский, греческий, английский, итальянский, польский, санскрит, древнееврейский. «Так как в те годы еще не знали слова символист, – вспоминал он позже, – то был я мистиком в поэзии и бредил религиозным жанром Мурильо. Черт знает что! В университете – как отрезало со стихами. Я влюбился в филологию и ничего не писал, кроме диссертаций...»

В 1879 году окончил университет со званием кандидата историко-филологического факультета. Преподавал латынь и греческий язык в частной гимназии Ф. Ф. Бычкова. Еще студентом третьего курса страстно влюбился в Надежду Валентиновну Хмара-Барщевскую. Несмотря на ответное чувство, осторожная тридцатилетняя вдова, мать двоих сыновей, не спешила становиться женой студента, который был на четырнадцать лет моложе ее. Они поженились лишь после того как Анненский закончил университет. Чтобы содержать увеличивающуюся семью (скоро родился сын), Анненский, кроме уроков в гимназии, начал преподавать в Павловском институте, читал лекции на Высших женских (Бестужевских) курсах.

В 1891 году Анненского перевели в Киев на пост директора «Коллегии Павла Галагана» – частного закрытого учебного заведения, учрежденного супругами Галаганами в память об их рано умершем сыне. В Киеве Анненский решил перевести на русский язык все трагедии любимого им Еврипида, дав к ним подробный комментарий. Этот план он, кстати, выполнил – перевел все семнадцать дошедших до нас трагедий. Правда, занимался этим он уже в Петербурге: после конфликта с почетной попечительницей «Коллегии», Анненский вернулся в столицу.

В Петербурге Анненского назначили директором 8-й мужской гимназии, находившейся на 9-й линии Васильевского острова, но вскоре перевели в

Царское Село – директором Николаевской мужской гимназии. «Время от времени, – вспоминал позже искусствовед Н. Н. Пунин, – мы видели директора в гимназических коридорах; он появлялся там редко и всегда необыкновенно торжественно. Открывалась большая белая дверь в конце коридора первого этажа, где помещались старшие классы, и оттуда сперва выходил лакей Арефа, распахивая дверь, а за ним Анненский; он шел очень прямой и как бы скованный какой-то странной неподвижностью своего тела, в вицмундире, с черным пластроном вместо галстука; его подбородок уходил в высокий, крепко-накрепко накрахмаленный, с отогнутыми углами воротничок; по обеим сторонам лба спадали слегка седеющие пряди волос, и они качались на ходу; широкие брюки болтались вокруг мягких, почти бесшумно ступавших штиблет; его холодные и вместе с тем добрые глаза словно не замечали расступавшихся перед ним гимназистов, и, слегка кивая головой на их поклоны, он торжественно проходил по коридору, как бы стягивая за собой пространство...»

В 1901 году вышла в свет трагедия Анненского «Меланиппа-философ», в 1902 году – «Царь Иксион», а в 1906 году – «Лаодамия». А за два года до выхода «Лаодамии» Анненский издал (под псевдонимом «Ник. Т-о») сборник стихов – «Тихие песни». Правда, кроме В. Брюсова и А. Блока никто «Тихих песен» не заметил, но в письме к А. В. Бородиной Анненский скромно заметил: «Нисколько не смущаюсь тем, что работаю исключительно для будущего».

В 1906 году Анненского назначили инспектором Петербургского учебного округа. Близкая дружба связывала его в эти годы с женой старшего пасынка – Ольгой Петровной Хмара-Барщевской. «Меж теней погасли солнца пятна на песке в загрезившем саду. Все в тебе так сладко-непонятно, но твое запомнил я: „Приду“... Черный дым, но ты воздушней дыма, ты нежней пушинок у листа, я не знаю, кем, но ты любима, я не знаю, чья ты, но мечта... За тобой в пустынные покои не сойдут алмазные огни, для тебя душистые левкои здесь ковром раскинулись одни... Эту ночь я помню в давней грезе, но не я томился и желал: сквозь фонарь, забытый на березе, теплый воск и плакал и пылал...» Через восемь лет после смерти поэта Ольга Петровна написала близкому ей человеку: «Вы спрашиваете, любила ли я Иннокентия Федоровича? Господи! Конечно, любила, люблю. И любовь моя „plus fort la mort“. Была ли я его „женой“? Увы, нет! Видите, я искренне говорю „увы“, потому что не горжусь этим ни мгновения: той связи, которой покровительствует „Змея-Ангел“, между нами не было. И не потому, что я греха боялась, или не решалась, или не хотела, или баюкала себя лживыми уверениями, что „можно любить двумя половинами сердца“, – нет, тысячу раз нет! Поймите, родной, он того не хотел, хотя, может быть, настоящей любил только одну меня... Но он не мог переступить... Его убивала мысль: „Что же я? Прежде отнял мать (у пасынка), а потом возьму жену? Куда же я от своей совести спрячусь?“.

В 1906 году в товариществе «Просвещение» вышел первый том трагедий Еврипида, переведенных Анненским. Отдельным томом вышли статьи о русских писателях XIX века и о некоторых современниках – «Книга отражений». Разделяя взгляды символистов, Анненский утверждал: «В поэзии есть только относительности, только приближения, потому никакой, кроме символической, она не была, да и быть не может...»

Тогда же Анненский закончил «вакхическую драму» «Фамира-кифарэд». «Лет шесть назад, – писал он Бородиной, – я задумал трагедию. Не помню, говорил ли я Вам ее заглавие. Мысль забывалась мною, затиралась другими планами, поэмами, статьями, событиями, потом опять вспыхивала. В марте я бесповоротно решил или написать своего „Фамиру“ к августу, или уже отказаться навсегда от этой задачи, которая казалась мне то непосильной, то просто несостоящей. Меня что-то давно влекло к этой теме. Между тем в этом году, весной, мой старый ученик написал на этот миф прелестную сказку под названием „Фамирид“. Он мне ее посвятил. Еще года полтора тому назад Кондратьев говорил мне об этом намерении, причем я сказал ему, что и у меня в голове набросан план „Фамиры“, – но совсем в ином роде – трагическом. И вот теперь уже состоялось чтение».

Второй сборник стихов Анненского – «Кипарисовый ларец» – вышел уже после смерти поэта. Книга эта произвела чрезвычайно сильное впечатление.

«То было на Валлен-Коски. Шел дождик из дымных туч, и желтые мокрые доски сбегали с печальных круч... Мы с ночи холодной зевали, и слезы просились из глаз; в утеху нам куклу бросали в то утро в четвертый раз... Разбухшая кукла ныряла послушно в седой водопад, и долго кружилась сначала, все будто рвалась назад... Но даром лизала пена суставы прижатых рук, – спасенье ее неизменно для новых и новых мук... Гляди, уж поток бурливый желтеет, покорен и вял; чухонец-то был справедливый, за дело полтину взял... И вот уж кукла на камне, и дальше идет река. Комедия эта была мне в то серое утро тяжка... Бывает такое небо, такая игра лучей, что сердцу обида куклы обиды своей жалчей... Как листья тогда мы чутки: нам камень седой, ожив, стал другом, а голос друга, как детская скрипка, фальшив... И в сердце сознание глубоко, что с ним родился только страх, что в мире оно одиноко, как старая кукла в волнах...»

В 1909 году вышла «Вторая книга отражений».

В марте того же года в Царское Село к Анненскому приехали художественный критик С. К. Маковский и поэт М. Волошин. Они пригласили поэта к сотрудничеству в новом ежемесячном литературно-художественном журнале «Аполлон», и поэт принял предложение. «Высокий, сухой, – вспоминал его Маковский, – он держался необыкновенно прямо (точно „аршин проглотил“). Прямызна зависела отчасти от недостатка шейных позвонков, не позволявшего ему свободно вращать головой. Будто привязанная к шее, голова не сгибалась, и это сказывалось в движениях и в манере ходить прямо и твердо, садиться навтыжку, поджав ноги, и оборачиваться к собеседнику всем корпусом, что на людей, мало его

знавших, производило впечатление какой-то начальнической позы. Черты лица и весь бытовой облик подчеркивали этот недостаток гибкости. Он постоянно носил сюртук, черный шелковый галстук был завязан по старомодному широким, двойным, „дипломатическим“ бантом. Очень высокие воротнички подпирали подбородок с намеком на колючую бороду, и усы были подстриженные, жесткие, прямо торчавшие над припухлым, капризным ртом. С некоторой надменностью заострялся прямой, хотя и по-русски неправильный нос, глубоко сидевшие глаза стального цвета смотрели пристально, не меняя направления, на прекрасно очерченный прямой лоб свисала густая прядь темных волос с проседью. Вид бодрый, подтянутый. Но неестественный румянец и одутловатость щек (признак сердечной болезни) придавали лицу оттенок старческой усталости – минутами, несмотря на молодость и даже молодцеватость фигуры, он казался гораздо дряхлее своих пятидесяти пяти лет...»

Летом 1909 года Анненский написал большую статью «О современном лиризме» – критический обзор русской поэзии последних лет. В первом номере «Аполлона» вместе с этим обзором появились и его оригинальные стихи. Но во второй номер журнала ни стихи, ни вторая статья поэта, как это планировалось, не попали – С. Маковский (по разным причинам) снял предложенные поэтом материалы. Анненскому пришлось объясниться. «Моя статья „О современном лиризме“, – написал он Маковскому, – порождает среди читателей „Аполлона“, а также и его сотрудников немало недоумений: так, одни и те же фразы, по мнению иных, содержат глумление, а для других являются неумеренным дифирамбом. Если бы дело касалось только меня, то я воздержался бы от объяснений, но так как еще больше, чем меня, упрекают редакцию „Аполлона“, то я и считаю необходимым просить Вас о напечатании в „Аполлоне“ следующих строк... Я поставил себе задачей рассмотреть нашу современную лирику лишь эстетически, как один из планов в перспективе, не считаясь с тем живым, требовательным настоящим, которого она является частью. Самое близкое, самое дразнящее я намеренно изображал прошлым или, точнее, безразлично преходящим; традиции, credo, иерархия, самолюбия, завоеванная и оберегаемая позиция, – все это настоящее или не входило в мою задачу, или входило лишь отчасти. И я не скрывал от себя неудобств положения, которое собирался занять, трактуя литературных деятелей столь независимо от условий переживаемого нами времени. Но все равно, мне кажется, что современный лиризм достоин, чтобы его рассматривали не только исторически, т. е. в целях оправдания, но и эстетически, т. е. по отношению к будущему, в связи с той перспективой, которая за ним открывается. Это я делал – и только это...»

Совершенно по-своему, может, глубже, чем другие, увидел поэта Максимилиан Волошин: «Его (Анненского) торжественность скрывала детское легкомыслие; за гибкой подвижностью его идей таилась окоченелость души, которая не решалась переступить известные грани познания и страшилась известных понятий; за его литературной скромностью

пряталось громадное самолюбие; его скептицизмом прикрывалась открытая доверчивость и тайная склонность к мистике, свойственная умам, мыслящим образами и ассоциациями; то, что он называл своим „цинизмом“, было одной из форм нежности его души; его убежденный модернизм застыл и остановился на определенной точке начала девяностых годов... Он был филолог, потому что любил произрастания человеческого слова: нового настолько же, как старого. Он наслаждался построением фразы современного поэта, как старым вином классиков; он взвешивал ее, пробовал на вкус, прислушивался к перезвону звуков и к интонациям ударений, точно это был тысячелетний текст, тайгу которого надо было разгадать. Он любил идею, потому что она говорит о человеке, но в механизме фазы таились для него еще более внятные откровения об ее авторе. Ничто не могло укрыться в этой области от его изощренного уха, от его явно видящей наблюдательности. И в то же время он совсем не умел видеть людей и никогда не понял ни одного автора как человека. В каждом произведении, в каждом созвучии он понимал только себя...»

«Последний день его сложился очень утомительно, – вспоминал сын поэта. – Утром и днем – лекции на Высших женских курсах Раева, Учебный округ, заседание Учебного комитета; вечером – заседание в Обществе классической филологии, где был назначен его доклад о „Таврической жрице у Еврипида, Ручелаи и Гёте“, и, наконец, отец обещал своим слушательницам-курсисткам побывать перед отъездом в б. Царское, на их вечеринке. В промежутке он должен был обедать у одной дамы, близкого друга нашей семьи, жившей неподалеку от вокзала. Уже там, у О. А. Васильевой, он почувствовал себя нехорошо, и настолько нехорошо, что даже просил разрешения прилечь. От доктора, однако ж, отец категорически отказался, принял каких-то домашних безразличных капель и, полежав немного, уехал, сказав, что чувствует себя благополучно. А через несколько минут упал мертвым на подъезде вокзала в запахнутой шубе и с зажатым в руке красным портфельчиком с рукописью доклада о Таврической жрице...»

Это случилось 30 (13. XII) ноября 1909 года.

Александр Александрович Блок

Девушка пела в церковном хоре
О всех усталых в чужом краю,
О всех кораблях, ушедших в море,
О всех, забывших радость свою.
Так пел ее голос, летящий в купол,
И луч сиял на белом плече,
И каждый из мрака смотрел и слушал,
Как белое платье пело в луче.
И всем казалось, что радость будет,
Что в тихой заводи все корабли,
Что на чужбине усталые люди

Светлую жизнь себе обрели.
И голос был сладок, и луч был тонок,
И только высоко, у Царских Врат,
Причастный Тайнам, – плакал ребенок
О том, что никто не придет назад.

Родился 16 (28) ноября 1880 года в Петербурге.

Отец – профессор права, мать – писательница и переводчица. Детские годы провел в семье деда – А. Н. Бекетова, известного ботаника, ректора Петербургского университета – в Петербурге и в подмосковном имении Шахматово. «Жизненных опытов не было долго. Смутно помню большие петербургские квартиры с массой людей, с няней, с игрушками и елками и благоуханную глушь нашей маленькой усадьбы. Лишь около 15 лет родились первые определенные мечтания о любви, и рядом приступы отчаянья и иронии, которые нашли себе исход через много лет в первом моем драматическом опыте...»

В 1898 году поступил на юридический факультет Петербургского университета. В 1901 году перевелся на историко-филологический. «Семейные традиции и моя замкнутая жизнь, – вспоминал позже поэт, – способствовали тому, что ни строки так называемой „новой поэзии“ я не знал до первых курсов университета. Здесь, в связи с острыми мистическими и романтическими переживаниями, всем существом моим овладела поэзия Владимира Соловьева. До сих пор мистика, которой был насыщен воздух последних лет старого и первых лет нового века, была мне непонятна; меня тревожили знаки, которые я видел в природе, но все это я считал „субъективным“ и бережно оберегал от всех. Внешним образом готовился я тогда в актеры, с упоением декламировал Майкова, Фета, Полонского, Апухтина, играл на любительских спектаклях в доме моей будущей невесты Гамлета, Чацкого, Скупого рыцаря и... водевили. Трезвые и здоровые люди, которые меня тогда окружали, кажется, уберегли меня тогда от заразы мистического шарлатанства, которое через несколько лет после того стало модным в некоторых литературных кругах...»

Первые стихи были напечатаны в 1903 году в журнале «Новый путь».

«Никакие мои разговоры с Блоком невозможно передать, – писала Гиппиус в очерке, посвященном Блоку. – Он, во-первых, всегда, будучи с вами, еще был где-то, – я думаю, что лишь очень невнимательные люди могли этого не замечать. А во-вторых, каждое из его медленных скупых слов казалось таким тяжелым, так оно было чем-то перегружено, что слово легкое или даже много легких слов не годились в ответ...» И дальше: «Невозможно сказать, чтобы он не имел отношения к реальности, еще менее, что он „не умен“. А между тем все, называемое нами философией, логикой, метафизикой, даже религией, – отскакивало от него, не прилагалось к нему. Ученик и поклонник Владимира Соловьева – Блок весь был обращен к туманно-зыбкому провидению своего учителя: к его стихам, где появляется „Она“, „Дева

радужных ворот“. Христианство Вл. Соловьева не коснулось Блока. В то время как Вл. Соловьев, для которого христианство и служило истоком его „провидений“, мог безбоязненно перепрыгивать из одного порядка в другой, мог в „Трех встречах“ – самой „несказанной“ из поэм – вдруг написать, захохотав, строчку: „Володенька, да как же ты глупа!“ – Блок не умел этого. „Она“ или сияла ему ровным невечерним светом, или проваливалась, вместе с ним, в бездну, где уже не до невинных улыбок над собой...» И, наконец, очень важные слова, собственно, ключ к поэту: «Блок – в нем чувствовали это и друзья и недруги – был необыкновенно, исключительно правдив. Может быть, фактически он и лгал кому-нибудь когда-нибудь, не знаю: знаю только, что вся его материя была правдивая, от него, так сказать, несло правдой. Может быть, и косноязычие его, тяжелословие, происходило отчасти благодаря этой природной правдивости. Ведь Блока, я думаю, никогда не покидало сознание, или ощущение, очень прозрачное для собеседника, – что он ничего не понимает. Смотрит, видит, и во всем для него, и в нем для всего – недосказанность, неоконченность, темность. Очень трудно передать это мучительное чувство. Смотрит и не видит, потому что вот того не понимает, чего, кажется, не понимать и значит ничего не понимать...»

В 1903 году женился на Л. Д. Менделеевой – старшей дочери (от второго брака) знаменитого русского химика. Он встречался с нею еще в детстве, они даже играли в одних любительских спектаклях, которые ставились то в Шахматово, то в соседнем имении Менделеевых – Боблово. О напряжении этой любви можно судить по дневнику Блока, по письмам тех лет. «Пишу Вам, как человек, желавший что-то забыть, что-то бросить – и вдруг вспомнивший, во что это ему встанет, – (черновик письма к Л. Д. Менделеевой от 29 августа 1902 года). – Помните вы-то эти дни – эти сумерки? Я ждал час, два, три. Иногда Вас совсем не было. Но, Боже мой, если Вы были!.. Тогда вдруг звенела и стучала, захлопываясь, эта дрянная, мещанская, скарредная, дорогая мне дверь подъезда. Сбегал свет от тусклой желтой лампы. Показывалась Ваша фигура – Ваши линии, так давно знакомые во всех мелочах, изученные, с любовью наблюденные. На Вас бывала должно быть полумодная шубка с черным мехом, не очень новая; маленькая шапочка, под ней громадный тяжелый золотой узел волос – ложился на воротник, тонул в меху. Розовые разгоревшиеся щеки оттенялись этим самым черным мехом. Вы держали платье маленькой длинной согнутой кистью руки в черной перчатке – шерстяной или лайковой. В другой руке держали муфту, и она качалась на ходу. Шли быстро, немного покачиваясь, немного нагибаясь вправо и влево, смотря вперед, иногда улыбаясь... Такая высокая, статная, „морозная“... Изредка в сильный мороз, волосы были спрятаны в белый шерстяной платок... Когда я догонял Вас, Вы оборачивались с необыкновенно знакомым движением в плечах и шее. Смотрели всегда сначала недружелюбно, скрытно, умеренно. Рука еле дотрагивалась (и вообще-то Ваша рука всегда старается вырваться). Когда я

шел навстречу, Вы подходили неподвижно. Иногда эта неподвижность была до конца. Я путался, говорил ужасные глупости, падал духом; вдруг душа заливалась какой-то душной волной („В эти сны, наяву непробудные“). И вдруг, страшно редко, – но ведь было же и это! – тонкое слово, легкий шепот, крошечное движение, может быть мимолетная дрожь, – или все это было, лучше думать, одно воображение мое. После этого, опять еще глуше, еще неподвижнее... Прощались Вы всегда очень холодно, как здоровались (за исключением 7 февраля). До глупости цитировались мной стихи. И первое Ваше слово – всегда легкое, капризное: „Кто сказал?“, „чьи?“. Как будто в этом все дело. Вот, что хотел я забыть; о чем хотел перестать думать... А теперь-то что? Преподнее, или еще хуже?».

Венчание состоялось 17 августа в церкви Михаила Архангела в селе Высокое, поблизости от Шахматово; свадебный обед – в Боблово. «Даже не знаю, с чего начать, так много произошло, – записала позже в дневнике тетка поэта М. А. Бекетова. – Прежде всего, Сашура женился на Любе Менделеевой. Об их любви и не упомянуто в прошлую зиму, не собралась. Да и теперь не хочется об этом писать. Скажу одно: были сомнения и страхи, потом удивительная свадьба, полная религиозной, мистической поэзии, приезд Сережи Соловьева (друга поэта), подъем духа, успокоение, здесь первые впечатления этому соответствовали, но потом – опять пошли сомнения и страхи. Она несомненно его любит, но ее „вечная женственность“, по-видимому, чисто внешняя. Нет ни кротости, ни терпения, ни тишины, ни способности жертвовать. Лень, своеобразие, упрямство, неласковость, – Аля (мать поэта) прибавляет – скудость и заурядность; я боюсь даже ей сказать: уж не пошлость ли все эти „хочу“, „вот еще“ и сладкие пирожки. При всем том она очень умна, хотя совсем не развита, очень способна, хотя ничем не интересуется, очаровательна, хотя совсем некрасива, правдива, прямодушна и сознает свои недостатки, его любит, и порою у нее бывают порывы раскаяния и нежности к Але. Он – уже утомленный и страстью, и ухаживаньем за ней, и ее причудами, и непривычными условиями жизни, и, наконец, темнотой. Она свежа, как нежнейший цветок, он бледен и худ. Опять стал писать стихи, одно время заброшенные, а науками не занимается. Трудно судить, насколько можно на нее влиять. Я еще на это надеюсь...»

Разрабатывавшееся Вл. Соловьевым учение о потустороннем, «незримом очами» мире «подлинной реальности», очень усложненное идеями «Софии-Премудрости», «Мировой Души» и «Вечной Женственности», послужило толчком для поэтической деятельности раннего Блока. По крайней мере, в первом вышедшем в октябре 1904 года в московском символистском издательстве «Гриф» сборнике Блока («Стихи о Прекрасной Даме») «Вечно Женственное» и «Мировая Душа» слиты вместе и накрепко. «Помнится как-то, что был и он (Блок), – писала Гиппиус в очерке „Мой лунный друг“. – Да, был, в первый раз после своей женитьбы. Он мне показался абсолютно таким же, ни на йоту не переменившимся. Немного мягче, но, может быть,

просто мы обрадовались друг другу. Он мне принес стихи, – и стихи были те же, блоковские, полные той же прелестью, говорящие о той же Прекрасной Даме. И разговор наш был такой же: только один у меня вырвался прямой вопрос, совсем ненужный, в сущности: „Не правда ли, говоря о Ней, вы никогда не думаете, не можете думать ни о какой реальной женщине?“ Он даже глаза опустил, точно стыдясь, что я могу предлагать такие вопросы: „Ну, конечно, нет, никогда“. И мне стало стыдно. Такой опасности для Блока, и женившегося, не могло существовать. В чем я его подозреваю! Надо же было видеть, что женитьба изменила его... пожалуй, даже слишком мало. При прощании: „Вы не хотите меня познакомить с вашей женой?“ – „Нет. Не хочу. Совсем не надо“.

В мистике Блок скоро разочаровался. Андрей Белый и Сергей Соловьев – близкие друзья – слишком прямолинейно и слишком по-своему толковали отношения поэта с женой. В их представлении Любовь Дмитриевна (женщина, как отмечали многие, вполне реальная и земная) была не только «Гиерофантдой душевных мистерий», но и живым воплощением «Души Человечества», прямым олицетворением «Софии – Премудрости божьей». Они учредили культ Прекрасной Дамы, имея в виду именно Любовь Дмитриевну, что, в итоге, привело к трагическому роману между Белым и Любовью Дмитриевной. «Помните, – писала Менделеева Белому, – я рассказывала Вам, как развивалась моя любовь к Саше, как произвольны были мои поступки, как я считала нас „марионетками“? Разве есть возможность сомневаться, что любовь эта не в моей воле, а волею Пославшего меня...»

«Милостивый Государь Александр Александрович, – написал Андрей Белый бывшему другу, – спешу Вас известить об одной приятной для нас обоих вести. Отношения наши обрываются навсегда. Мне было трудно поставить крест на Вашем внутреннем облике, ибо я имею обыкновение серьезно относиться к внутренней связи с той или иной личностью, раз эта личность называет себя моим другом. Потому-то я и очень мучался, хотел Вас привлекать к ответу за многие Ваши поступки (что было неприятно и для меня и для Вас). Я издали продолжал за Вами следить. Наконец, когда Ваше «Прощение», pardon, статья о реалистах, появилась в «Руне», где Вы беззастенчиво писали о том, чего не думали, мне все стало ясно. Объяснение с Вами оказалось излишним. Теперь мне легко и спокойно. Спешу Вас уведомить, что если бы нам суждено когда-нибудь встретиться (чего не дай Бог) и Вы первый подадите мне руку, я с Вами поздороваюсь. Если же вы постараетесь сделать вид, что мы незнакомы, или уклониться от встречи со мной, это будет мне тем приятнее...» – «Милостивый Государь Борис Николаевич, – ответил Блок. – Ваше поведение относительно меня, Ваши сплетнические намеки в печати на мою личную жизнь, Ваше последнее письмо, в котором Вы, уморительно клевета на меня, заявляете, что все время „следили за мной издали“, – и, наконец, Ваши хвастливые печатные и письменные заявления о том, что Вы только один на всем свете „страдаете“,

и никто, кроме Вас, не умеет страдать, – все это в достаточной мере надоело мне. Оскорбляться на все это мне не приходило в голову, ибо я не считаю возможным оскорбляться ни на шпиона, выслеживающего меня, ни на лакея, подозревающего меня в нечестности. Не желая, Милостивый Государь, обвинять Вас в лакействе и шпионстве, я склонен приписывать Ваше поведение – или какому-то грандиозному недоразумению и полному незнанию меня Вами (о чем я писал Вам подробно в письме, отправленном до получения Вашего), или особого рода душевной болезни. Каковы бы ни были причины, вызвавшие Ваши нападки на меня, я предоставляю Вам десятидневный срок со дня, которым помечено это письмо, для того, чтобы Вы или отказались от Ваших слов, в которые Вы не верите, или прислали мне Вашего секунданта. Если до 18 августа Вы не исполните ни того, ни другого, я принужден буду сам принять соответствующие меры...»

К счастью, переписка принесла результаты. 20 августа 1907 года, продумав случившееся, Андрей Белый так ответил Блоку: «Я вовсе не хочу слов, формул, как цели, но хочется формулой успокоить ум, чтобы тем вернее верить людям, а не идеям; когда же начинаешь терять людей, остаются только формулы идеи и тут-то становишься на строго моральную точку зрения. Когда изменяют ценности, как слепой, руководишься только долгом. Вероятно Вы не подозревали о том, как перемучился я с сомнениями о Вас за истекшие полтора года, подкрепляемые Вашим (в моем представлении намеренным) молчанием, т. е. (опять таки, по-моему, намеренным) нежеланием сказать вслух о том, что каждый из нас (про себя) мог думать друг о друге...» После специальной встречи в Москве, после долгого двенадцатичасового разговора, Блок и Белый выяснили, наконец, свои отношения, но дружба их с той поры уже никогда по-настоящему не возобновлялась.

А 1906 году режиссер В. Э. Мейерхольд поставил пьесу Блока «Балаганчик», наиболее полно отразившую разочарования поэта. Мистические образы, прежде столь привлекательные для поэта, были резко переосмыслены. «Дева из дальней страны» оказалась всего лишь Коломбиной, «коса смерти» – обыкновенной женской косой, кровь – клюквенным соком. Бывшие друзья – Андрей Белый и Сергей Соловьев – восприняли «Балаганчик» как личную обиду, но для самого Блока это был шаг вперед, и шаг обдуманый. В диалоге «О любви, поэзии и государственной службе», во многом, несомненно, автобиографичном, Блок писал: «Долгое служение Музам порождает тоску, под ногами развертываются бездны. Двойственные видения посещают меня. Я хочу твердой воли, цельных желаний, но не годен для жизни. Я жду человека, который бросит живые семена в мою растерзанную, готовую для посева душу...»

Второй сборник лирики – «Нечаянная Радость» – вышел в 1906 году. Закончив университетский курс, Блок становится профессиональным писателем, отныне он живет исключительно на литературные заработки.

Известность его такова, что Брюсов без всяких колебаний включает его в семерку самых значительных современных поэтов – Федор Сологуб, Зинаида Гиппиус, Константин Бальмонт, сам Брюсов, Вячеслав Иванов, Андрей Белый.

В эти годы Блок увлечен театром. Одновременно он ведет критическое обозрение в журнале «Золотое руно». Один за другим выходят его сборники – «Снежная Маска» (1907), «Лирические драмы» и «Земля в снегу» (1908), «Ночные часы» (1911). Популярность Блока растет, но личная жизнь полна неблагополучия. «Я раньше страшно пил, – признавался он позже поэтессе Н. Павлович. – Бывало так, что падал без чувств и валялся где-нибудь». Строки: «Я пригвожден к трактирной стойке, я пьян давно, мне все – равно. Вон счастье мое на тройке в серебристый дым унесено...» ничуть не являлись поэтическим преувеличением. В письмах к другу – поэту Пясту – Блок не раз писал о внезапно озаряющих его «отвлечениях». «Вчера взял билет в Парголово – (письмо от 3 июля 1911 года) – и ехал на семичасовом поезде. Вдруг увидел афишу в Озерках: цыганский концерт. Почувствовав, что здесь – судьба, и что ехать за Вами и тащить Вас на концерт уже поздно, – я остался в Озерках. И действительно: они пели Бог знает что, совершенно разодрали сердце; а ночью в Петербурге под проливным дождем на платформе та цыганка, в которой собственно и было все дело, дала мне поцеловать руку – смуглую с длинными пальцами – всю в броне из колючих колец. Потом я шатался по улице. Припелся мокрый в Аквариум, куда она поехала петь, посмотрел в глаза цыганке и поплелся домой...» В воспоминаниях о поэте Пяст добавлял: «Блок сообщил мне как-то, что врач ему сказал: „Ваш организм очень крепкий, но вы сделали все, чтобы его расшатать“. Блок признавал чай, крепкий как кофе; вино, бессонные ночи, острое, пряное, все оттого, что это было вредно...»

В конце 1909 года Блок уехал в Варшаву к больному отцу, но уже не застал его в живых. Полученное значительное наследство позволило поэту вести более свободную жизнь. Большую часть денег он потратил на перестройку любимой шахматовской усадьбы. Поездка в Италию и на юг Франции навеяла «Итальянские стихи» и драму «Роза и Крест» (1913). Но внутренний неуют никогда уже не оставлял поэта.

«Ночь, улица, фонарь, аптека, бессмысленный и тусклый свет. Живи еще хоть четверть века – все будет так. Исхода нет... Умрешь – начнешь опять сначала, и повторится все, как встарь: ночь, ледяная рябь канала, аптека, улица, фонарь...»

Исключительную роль в жизни Блока играла его мать (по второму мужу – Кублицкая-Пиоттух). «Для Александры Андреевны, – вспоминала Н. Павлович, – ее „деточка“ и „душечка“, как она звала сына, был всем. День начинался и кончался мыслью о нем, всю жизнь она старалась разделить его интересы, и умственные и душевные, но слово „старалась“ не подходит в данном случае, потому что связь между сыном и матерью была настолько глубока и органична, что они всегда ощущали друг друга и жили как бы одним строем чувств. „Сашенька сегодня мрачен“, – скажет она, бывало,

шепотом, а и говорить не надо было. Достаточно было поглядеть на него, чтобы знать настроение Александра Александровича. Но большая заслуга Александры Андреевны была в том, что она умела стоять на высоте умственных и общественных интересов сына. Эта связь, временами чудесная и радостная, иногда бывала мучительна, так как Александра Андреевна страдала припадками эпилептического характера, связанными с душевной депрессией. Во время этих приступов она как бы окаменевала в мертвой тоске, и это состояние даже на расстоянии передавалось сыну... Она знала сына до конца. Во всех его слабостях и страстях, но и во всей его душевной высоте. Улыбаясь, говорила: „Он только одного беспокойства мне не доставил – на аэропланах не летал. А так – я вечно за него боялась; или утонет, как Сапунов (художник), или пойдет по рельсам и заглядится на что-нибудь, хоть на девушку какую-нибудь (помните, „стройная, с тугой косою!“), а поезд налетит на него и раздавит, или еще что-нибудь...“

В июле 1916 года Блок был призван в действующую армию. Благодаря стараниям друзей, служил табельщиком инженерно-строительной дружины в районе Пинских болот, и на передовые не хотел идти совершенно сознательно. В первые же дни февральской революции исхлопотал отпуск. В мае 1917 года редактировал стенографический отчет Чрезвычайной следственной комиссии, учрежденной Временным правительством для расследования действий бывших царских министров. В Петропавловской крепости присутствовал при допросах Маклакова, Протопопова, Горемыкина, Штюмера, Сухомлинова и других. Эта работа Блока отражена в его книге «Последние дни старого режима».

В январе 1918 года (практически в течение месяца) Блок написал поэму «Двенадцать», стихотворение «Скифы» и статью «Интеллигенция и революция». Именно в этой статье он призывал всем сердцем, всем сознанием – слушать музыку Революции, хотя до него самого доносились, видимо, не самые веселые ее напевы. Даже очень не самые. Квартира его была уплотнена, исчезло электрическое освещение, мать вынуждена была жить с сыном, хотя совершенно не могла ужиться с невесткой. А после выхода в свет «Двенадцати» многие друзья и соратники объявили Блоку бойкот – не подавали руку при встречах, отказывались выступать на одних с ним вечерах. «Его поэма „12“, неожиданно кончающаяся Христом, ведущим 12 красногвардейцев-хулиганов, очень нашумела, – писала Гиппиус, не скрывая откровенной злобы. – Нравилось, что красногвардейцев 12, что они как новые апостолы. Целая литература создавалась об этих „апостолах“ еще при жизни Блока. Наверное, и его спрашивали, как он понимает сам этого неожиданного Христа впереди 12-ти. И, наверно, он не сказал, – „потому что это несказанно“. Большевики несказанностью не смущаясь, с удовольствием пользовались „Двенадцатью“; где только не болтались тряпки с надписью: «Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем». Даже красноармейцам надоело, тем более что мировой пожар, хоть и дулся, – не раздувался...»

Однако Блок понимал происходящее все же яснее, чем казалось многим его вольным или невольным критикам. «Художнику надлежит знать, – писал он в мае 1918 года (анкета Союза деятелей художественной литературы), – что той России, которая была, нет и никогда уже не будет, Европы, которая была, нет и не будет. То и другое явится, может быть, в удесятенном ужасе, так что жить станет нестерпимо. Но такого рода ужаса, который был, уже не будет. Мир вступил в новую эру. Та цивилизация, та государственность, та религия – умерли. Они еще могут вернуться и существовать, но они утратили бытие, и мы, присутствовавшие при их смертных и уродливых корчах, может быть, осуждены теперь присутствовать при их гниении и тлении; присутствовать, доколе хватит сил у каждого из нас... Не забудьте, что Римская империя существовала еще около 500 лет после рождения Христа. Но она только существовала, она раздувалась, гнила, тлела – уже мертвая...»

В феврале 1919 года (ликвидация эсеровских организаций) Блок по ордеру Петроградской ЧК был арестован и несколько дней провел во всем известном тогда зловещем заведении на Гороховой. «По порядку, заведенному на Гороховой, – вспоминал эсер А. З. Штейнберг, – каждое утро сообщался список арестованных, препровождавшихся отсюда в места более постоянного заключения, главным образом, на Шпалерную, в так называемую „предварилку“. И в это утро, воскресенье 17-го февраля, список был сообщен, и камеры значительно разгрузились. Многие койки освободились совершенно, и арестованные, разделявшие их с другими или не нашедшие еще себе никакого определенного пристанища, в том числе и я, начали устраиваться на новых местах. Только что я разостлал шубу на сеннике и поставил свой саквояж у изголовья, как мне бросилась в глаза высокая, статная фигура входившего Блока. Это было до чрезвычайности странно. Весь облик Блока как-то резко выделялся на фоне этой жуткой картины человеческих бед. Одна ночь в этой совершенно особой и ни с чем не сравнимой атмосфере, в которой причудливо сплетались предсмертная тоска и робкая надежда, удалая беспечность и тяжелые сны, ужас перед неизвестностью и светлые воспоминания – одной такой ночи достаточно было, чтобы на все лица легла мрачная тень, чтобы во всех взорах загорелось одно и то же страстное желание: поскорее бы вон отсюда! Подальше, подальше отсюда!.. Блок вошел, как он входил обыкновенно куда-нибудь, где много случайных и незнакомых людей. Таким я видел его входящим в переполненный вагон трамвая: чуть-чуть откинута назад голова, плотно сжатые губы, взгляд, спокойно ищущий на чем бы остановиться. Он вошел, как будто собираясь пройти насквозь или чтобы, сказав кому-нибудь два слова, повернуться и уйти обратно тем же легким упругим шагом, каким он вошел. И было странно видеть, как вот этот свободный в заключении человек сейчас натолкнется на глухую стену и должен будет остановиться или даже отпрянуть. Мне было как-то неловко пойти к нему навстречу, хотя после тяжелой ночи это был первый блеснувший луч... Между тем, весть о том, что

здесь известный писатель Блок, уже успела облететь обе камеры и вокруг нашего стола собралась целая куча народу. Многие спрашивали, где он, и на цыпочках подходили к койке, где он дремал, чтобы взглянуть на него, и снова отходили в раздумье, односложно делаясь своими впечатлениями. Не все они знали о нем раньше, хотя бы понаслышке, многие только слышали о нем и уже совсем немногие читали его. Эти последние были почти исключительно политические. Но всем было как-то отрадно знать, что вот здесь, на этой „Гороховой, два“, вместе со всеми „известный писатель“ и, взглянув на него, все уже потом с участием, которое сохранилось к нему весь этот день до самого его освобождения, подходили к нему, чтобы как-нибудь выразить свое доброе чувство...»

«Я слышал Блока первый раз в конце 1919 года, – вспоминал писатель К. Федин. – Вымороженная, мрачная комната на Литейном была заполнена окоченевшими людьми в шубах и солдатских шинелях. Они сидели тесно, словно обогревая друг друга своими неподвижными телами. Единственный человек, по принятому когда-то обычаю снявший шубу, находился на кафедре и – без перчаток – спокойными пальцами перевертывал листы рукописи... Это был Блок... Белый свитер с отвернутым наружу воротником придавал ему вид немного чужестранный и, пожалуй, морской. Он читал монотонно, но в однообразии его интонации таились оттенки, околдовывавшие, как причитания или стихи... Он показался мне очень прямым и то, что он говорил, – прямолинейным. Он говорил о крушении гуманизма, о судьбах цивилизации и культуры. Слова его были набатом во время пожара, но слушателей, казалось, сковывал не ужас его слов, а красота его веры в них. Его лицо было малоподвижно, иногда почти мертвенно. Шевелились только губы, взгляд не отрывался от бумаги. Странная убедительность жизни заключалась в этой маске...»

Последние годы жизни Блок работал в советских учреждениях, хотя и тяготился этим: входил в Комиссию по изданию классиков, являлся членом Петроградского театрального отдела Наркомпроса, председателем репертуарной секции, членом созданного М. Горьким издательства «Всемирная литература», даже некоторое время возглавлял Союз поэтов (был первым его председателем), наконец, председательствовал в режиссерском управлении Большого Драматического театра. «Бытовые условия в блоковской семье, – вспоминала Павлович, – были тяжелые, как, впрочем, у большинства интеллигенции. Александр Александрович в прямом смысле этого слова не голодал, и слухи о том, что он умер от истощения, неверны, но, конечно, основной пищей были пшено, селедка. Сахару, жиров и мяса, без которых особенно страдал Блок, не хватало. В конце 1920-го и в начале 1921 года домработницы не было. Хозяйничала, довольно неумело, Любовь Дмитриевна. Александра Андреевна ей помогала. Но большая нагрузка была и у Александра Александровича. Он сам носил дрова из подвала, всего на второй этаж, но сердце у него уже сдавало. Часто приходилось ему убирать квартиру – и тогда в комнатах воцарялся

фантастический порядок. Каждая вещь словно застывала на от века предназначенном ей месте. Было нечто судорожное в этой четкости и аккуратности. Мария Михайловна Шкапская рассказывала мне, как она пришла к Блоку, когда он укладывал возле печки лучинки для самовара. Они были тонко наструганы. Все кругом блестело. Блок сказал: „Этот порядок необходим, как сопротивление хаосу. Вы тоже это понимаете“.

«Все чаще Блок повторял о душевной глухоте и слепоте, надвигающихся на него, – с горечью вспоминала Павлович, – и говорил о смерти. У них в доме было нехорошо. Он перестал говорить: „У нас“. Все чаще слышалось: „В этом доме“. – „В этом доме всегда темно и холодно“, – говорил он. Александр Александрович страдал от воспаления аорты и ряда других болезней, но страшно прогрессировало его психическое заболевание. Он не хотел жить. Даже лекарства, которые ему давала Любовь Дмитриевна, он умудрялся забрасывать на печку, вместо того, чтобы его принимать. Временами на него находили приступы ярости. Он кочергой разбил бюст Аполлона, начинал оскорблять Любовь Дмитриевну. Физические страдания в последние дни были так ужасны, что его стоны и вскрикивания были слышны на улице со второго этажа. Он задыхался. Врачи считали, что психически он болен безнадежно, а физическое выздоровление не исключено... Я считаю, что основным фактором последнего заболевания было его тяжелое психическое состояние, вызванное трагическим разладом в их семейной жизни: обостренными отношениями между матерью и женой, творческим кризисом, ощущением своей конченности как поэта, отсутствием того „покоя и воли“, о котором тосковал Пушкин, утратой сопротивляемости к болезни...»

Рассказ о болезни и смерти Блока я передаю со слов его матери. Она жила тогда в Луге, у Марии Андреевны Бекетовой, и страшно беспокоилась, но Любовь Дмитриевна запрещала ей приехать, утверждая, что этот приезд разволнует больного и вызовет ухудшение. Мать подчинилась. Наконец стало ясно, что болезнь опасна смертельно. Шли хлопоты об отправке его в Финляндию, в санаторий. С ним должна была ехать жена, но разрешение на выезд было выдано Наркоминотделом только для одного, а отправить его одного было невозможно. Друзья написали Александре Андреевне о настоящем положении дел, и та решила приехать. Любовь Дмитриевна не хотела ее впустить, но ей пришлось уступить, и Александра Андреевна вечером вошла на несколько минут к больному. Он не удивился, только спросил ее: «Мама, я умираю?» Она замялась. У них был уговор, что в случае приближения смерти этого они друг от друга не будут скрывать. Но у нее не хватило мужества выговорить эти слова, хотя она видела, что он умирает. Тогда Александр Александрович холодно усмехнулся и отвернулся от нее к стене. Она вышла и всю ночь просидела на табурете около закрытой двери...»

Утром 7 августа 1921 года Блок умер.

«Помню вечер, посвященный пятилетию смерти Блока, – вспоминал литератор И. Синельников. – Председательствовал Федор Сологуб, человек с

желтоватым лицом и в чесучовом пиджаке. Желающих попасть на этот вечер было значительно больше, чем мог вместить зал. Часть публики стояла или сидела на полу. Сологуб очень разволновался, когда поэт и критик Иннокентий Оксенов объявил, что от Блока ничего не останется, кроме поэмы „Двенадцать“. У Сологуба задрожали руки. Он сразу побледнел. „Как! Только „Двенадцать“! А я-то прихожу на могилу Блока и читаю вслух его „Клеопатру“. Разве это стихотворение ничего не говорит вам, молодой человек?“

Андрей Белый

Борис Николаевич Бугаев (Андрей Белый – литературный псевдоним) родился 14 (26) октября 1880 года в Москве.

Отец, известный математик, подталкивал сына к науке, мать – к искусству. Ссоры родителей часто происходили на глазах мальчика, мучительное раздвоение преследовало поэта всю жизнь. Еще Ходасевич отметил, что завязка всех знаменитых романов Белого – «Петербург», «Котик Летаев», «Преступление Николая Летаева», «Москва под ударом» – начинается с семейных конфликтов.

Первые литературные опыты Андрея Белого были дружески приняты в семье Соловьевых, с сыном которых – Сергеем – он близко сдружился. «В 1901 году я еще колебался, – писал позже Белый, – кто я? Композитор, философ, поэт, литератор или критик? Я в „критика“, даже в „философа“ больше верил, чем в „литератора“; вылазки – показ отцу слабоватых стихов и „Симфонии“ другу – посеяли сомнения в собственном „таланте“; отец стихи – осмеял; друг откровенно отметил, что я-де не писатель вовсе. Не будь Соловьевых, „писатель“ к 1903 году совсем бы исчез с горизонта; но Соловьевы меня тут поддержали всемерно...»

В 1903 году вышла в свет «Северная симфония» Белого. Это был очень смелый по тем временам эксперимент – ритмическая проза, построенная на музыкальных вариациях, на музыкальных образах. Всего таких симфоний Белый написал четыре: «Северную» (1901), «Драматическую» (1902), «Возврат» (1905) и «Кубок метелей» (1908). Символистские настроения особенно ярко проявились в «Кубке метелей». Кстати, именно из «Кубка» была выдернута критиками строка, над которой они нещадно поиздевались: «Кто-то кого-то куда-то звал».

В 1904 году вышел первый сборник стихов – «Золото в лазури».

«Горы в брачных венцах, я в восторге, я молод. У меня на горах очистительный холод. Вот ко мне на утес притащился горбун седовласый. Мне в подарок принес из подземных теплиц ананасы. Он в малиново-ярком плясал, прославляя лазурь. Бородою взметал вихрь метельно-серебряных бурь. Голосил низким басом, в небеса запустил ананасом, и, дугу описав, озаряя окрестность, ананас ниспадал, просияв, в неизвестность...»

«Золото в лазури» объединило вокруг Белого так называемых «младших» символистов – Александра Блока, Вячеслава Иванова, Сергея Соловьева,

Эллиса. Это был весьма специфический круг. «Я описываю кружок действительных чудаков, сгруппированных вокруг меня („аргонавты“), – вспоминал позже сам Белый. – Много в стиле обращения друг к другу, в стиле даже восприятия друг друга может показаться не натуральным, ходульным. Многие из каламбурных метафор того времени теперь выглядели бы мистикой; например, мифологический жаргон наших шуток теперь непонятен; ну кто станет затевать в полях „галоп кентавров“, как мы, два химика и этнограф (я, С. Л. Иванов, В. В. Владимиров)? Но „кентавр“, „фавн“ для нас были в те годы не какими-нибудь „стихийными духами“, а способами восприятия, как Коробочка, Яичница, образы полотен Штука, Клингера, Беклина; музыка Грига, Ребикова; стихи Брюсова, мои полны персонажей этого рода; поэтому мы, посетители выставок и концертов, в наших шутках эксплуатировали и Беклина, и Штука, и Грига, и говорили: этот приват-доцент – фавн...»

Двойственность характера, свойственная Белому, сильно ему мешала. «В людях, которых он любил, – вспоминал Ходасевич, – он искал и, разумеется, находил основания их не любить. В тех, кого не любил или презирал, он не боялся почуять доброе и порою бывал обезоружен до нежности. Собираясь действовать примирительно – вдруг вскипал и раздражался бешеными филиппиками; собираясь громить и обличать – внезапно оказывался согласен с противником. Случалось ему спохватываться, когда уже было поздно, когда дорогой ему человек становился врагом, а презираемый лез с объятиями. Порой он лгал близким и открывал душу первому встречному...» Не удивительно, что многие считали Белого просто юродивым. Тем больше поразил друзей и противников поэта сборник стихов «Пепел», вышедший в 1909 году. Стихи были написаны предельно просто, и вся книга была пропитана размышлениями о России.

«Да, – писал Белый в предисловии, сразу вступая в спор со своими литературными противниками, – и жемчужные зори, и кабаки, и буржуазная келья, и надзвездная высота, и страдания пролетария – все это объекты художественного творчества. Жемчужная заря не выше кабака, потому что и то и другое в художественном изображении – символы некоей реальности; фантастика, быт, тенденция, философическое размышление predeterminedены в искусстве живым отношением художника и потому-то действительность всегда выше искусства, и потому-то художник – прежде всего человек. Но чтобы жизнь была действительностью, а не хаосом синематографических ассоциаций, чтобы жизнь была жизнью, а не прозябанием, необходимо служение вечным ценностям; такими ценностями могут быть и идеальные стремления нашего духа, и неизменность в переживании факторов реального бытия – и заря, и келья – символы ценностей, если художник вкладывает в них свою душу; то, что создает из случайного переживания, мысли или конкретного факта ценность, есть долг...»

Конечно, себя Белый видел, прежде всего, в обличье трагическом. После пережитого им чувства к Л. Д. Блок, он, наверное, и не мог чувствовать иначе. «Я шел один своим путем, – жаловался он, – в метель застыл я ледяным комом. И вот в сугробе ледяном они нашли меня под домом... Им отдал все, что я принес: души расколотой сомненья, кристаллы дум, алмазы слез, и жар любви и песнопенья, и утро жизненного дня. Но стал помехой их досугу. Они так ласково меня из дома выгнали на вьюгу...»

«Женщины волновали Андрея Белого гораздо сильнее, чем принято о нем думать, – писал Ходасевич. – Однако в этой области с особенной наглядностью проявлялась его двойственность. Тактика у него всегда была одна и та же: он чаровал женщин своим обаянием, почти волшебным, являясь им в мистическом ореоле, заранее как бы исключаящую всякую мысль о каких-либо чувствительных домогательствах с его стороны. Затем он внезапно давал волю этим домогательствам, и, если женщина, пораженная неожиданностью, а иногда и оскорбленная, не отвечала ему взаимностью, он приходил в бешенство. Обратное: всякий раз, как ему удавалось добиться желаемого результата, он чувствовал себя оскверненным и запятанным и тоже приходил в бешенство. Случалось и так, что в последнюю минуту перед „падением“ ему удавалось бежать, как прекрасному Иосифу, – но тут он негодовал уже вдвое: и за то, что его соблазнили, и за то, что все-таки недособлазнили...»

В конце 1910 года, получив от издательства «Мусагет» аванс под продолжение трилогии, начатой романом «Серебряный голубь», Белый уехал за границу. Уезжал он с Асей Тургеневой, художницей. Это ей посвящены стихи:

«Едва яснеют огоньки. Мутнеют склоны, доли, дали. Висят далекие дымки, как безглагольные печали... Из синей тьмы летит порыв. Полыни плещут при дороге. На тучах – глыбах грозových – летуче блещут огнероги... Невыразимое – нежней. Неотразимое – упорней. Невыразимы беги дней, неотразимы смерти корни... В горючей радости ночей ключи ее упорней бьются: в кипучей сладости очей мерцаньем маревым мнутся... Благословенны: – жизни ток, и стылость смерти непреложной, и – зеленеющий листок, и – ветхий корень придорожный...»

Не доехав до Италии, куда они намеревались попасть, Белый и Тургенева изменили маршрут: отправились в Тунис, затем в Египет. Стихи этого периода составили позже книгу стихов «Королевна и рыцари», в которой Белый вернулся к ритмам своих симфоний. В то же время поэт чрезвычайно увлекся учением антропософской школы. Глава ее доктор Рудольф Штейнер своеобразно «христианизировал» оккультизм, разработав собственное учение о циклической эволюции Мирового Космического Духа, а соответственно – места в ней человека. При помощи специальных медитаций, считал доктор Штейнер, человек может вызывать в себе совершенно особенное состояние, которое превратит его в цельную самосознающую часть космоса. Белый превратился в одного из самых

ревностных учеников доктора Штейнера. В 1914 году он даже поселился с Тургеневой в Дорнахе, где ученики и последователи доктора Штейнера начали строить храм. Ася чертила антропософские символы – голубей, спирали, крылья, чаши, змею; Белый все это воспевал. «В течение двух лет мы следовали за Штейнером по Европе из города в город, слушая его лекции, – вспоминала позже Тургенева. – В 1912–1913 годах вся наша жизнь стояла под знаком лекций Рудольфа Штейнера. Сложное построение публичных выступлений требовало большой сосредоточенности, в них не было ничего облегчающего восприятие антропософии, но чувствовалась напряженная борьба с абстрактностью нашего мышления. На членских собраниях, иной раз в невзрачных стенах комнаты, прилегающей к провинциальному кафе, слова Штейнера переживались как событие, и казалось, что нет ничего важнее, как хотя бы одним присутствием принимать в нем участие...»

В 1913 году вышел в свет роман Белого «Петербург», оказавший своими новыми необычными ритмами огромное влияние на русскую прозу.

В конце 1916 года Белый вернулся в Россию.

«Он был без жены (Тургеневой), которую оставил в Дорнахе, – вспоминал Ходасевич. – С первого взгляда я понял, что ни о каком его успокоении нечего говорить. Физически огрубелый, с мозолистыми руками (в Дорнахе он работал резчиком по дереву), он был в состоянии крайнего возбуждения. Говорил мало, но глаза, ставшие из синих бледно-голубыми, то бегали, то останавливались в каком-то ужасе. Облысевшее темя с пучками полуседых волос казалось мне медным шаром, который зажжен миллионами вольт электричества. Потом он приходил ко мне – рассказывать о каких-то шпионах, провокаторах, темных личностях, преследовавших его и в Дорнахе, и во время переезда в Россию. За ним подглядывали, его выслеживали, его хотели сгубить в прямом смысле и еще в каких-то смыслах иных. Эта тема, в сущности граничащая с манией преследования, была ему всегда близка... Военный коммунизм пережил он, как и все мы, в лишениях и болезнях. Ютился в квартире знакомых, топя печурку своими рукописями, голодая и стоя в очередях. Чтобы прокормить себя с матерью, уже больною и старую, мерил Москву из конца в конец, читал лекции в Пролеткульте и в разных еще местах, целыми днями просиживал в Румянцевском музее, где замерзали чернила, исполняя бессмысленный заказ Театрального отдела (что-то о театрах в эпоху французской революции), исписывая вороха бумаги, которые, наконец, где-то и потерял. В то же время он вел занятия в Антропософском обществе, писал „Записки чудака“, книгу по философии культуры, книгу о Льве Толстом и многое другое...» Атмосферу этих дней отразил позже в своих записках известный художник Юрий Анненков (иллюстрировавший, кстати, первое издание поэмы Блока «Двенадцать»): «...В предутренний снегопад мы возвращались втроем: Блок, Белый и я. Блок в добротном тулупе, Белый – в чем-то, в тряпочках вокруг шеи, в тряпочках вокруг пояса. Невский проспект. Ложился снег на мостовую, на крылья

Казанского собора, на зингеровский глобус ГИЗа. Блок уходил налево по Казанской, Белый продолжал путь к Адмиралтейству, к синему сумраку Александровского сада. На мосту, над каналом – пронзительный снежный ветер, снежный свист раннего утра, едва успевшего поголубеть. Широко расставив ноги, скучающий милиционер, с винтовкой через плечо, пробивал желтой мочой на голубом снегу автограф – „Вася“. – „Чернил! – вскрикнул Белый. – Хоть одну баночку чернил и какой-нибудь обрывок бумаги! Я не умею писать на снегу!“ Седые локоны на ветру, сумасшедшие глаза на детском лице... Тряпочки: худенький, продрогший памятник у чугунных ворот над каналом... „Проходи, проходи, граждане, – пробурчал милиционер, застегивая ширинку... Записки мечтателей...“

Писательница Форш, дружившая с Белым, так описала его лицо в романе «Ворон»: «Лицо это было очень замечательно. Особенность его состояла в непрерывных изменениях. Мысль и чувство в таком совершенстве овладевали материалом этого лица, что для каждого мига как бы заново разрушали и создали этому лицу новую маску. И весь он был зыблительный, переливчатый, перламутровый, словно состоял из легкого, телесного цвета пламени. И если б закрепить, остановить выражаемые его лицом миги, то в полчаса времени получилась бы целая лестница восхождений. То заяц с прижатыми ушами, настороженный на притаившихся псов, готовый стрелнуть дугой прямо в дверь и по улице в лес, то, на другом полюсе, минуя все разнообразие градаций, это же лицо виделось осевшим гранитным подбородком, с прямым мраморным носом, с глазами, синевшими мудростью древнего бога. Засмеялся, крупнея зубами, и стал мальчишкой...»

В 1918 году Белый получил письмо из Дорнаха: Ася Тургенева сообщила о разрыве с ним. Белый пытался выехать за границу, он был уверен, что их любовь еще можно спасти, но времена шли суровые, – получить выездную визу поэт не смог. В ужасном состоянии, гостя в Царском Селе у критика Иванова-Разумника (это о нем позже говорили, что оставить его в Союзе советских писателей можно только при условии, что он откажется от литературной деятельности) Белый начал поэму «Первое свидание». Это в ней прозвучали фантастические для тех лет слова: «Мир – рвался в опытах Кюри атомной, лопнувшей бомбой...» Отчаявшийся, усталый, Белый бесконечно экспериментирует и в стихах и в прозе. В последней книге стихов («После разлуки») он даже пытался обосновать некое новое направление в русской поэзии – мелодизм, вместо символизма, полностью изжившего себя. «Эта маленькая тетрадь, – писал он в предисловии, – поиски формы; и я не придаю ей никакого значения, как не придаю я значения многообразным поэтическим школам; и вместе с тем здесь – тенденция к новой школе. Я считаю, что после символизма не было сколько-нибудь действительно новых сдвигов к грядущему стилю поэзии; акмеизм был благоразумной реакцией, временно, быть может, необходимой; в дальнейших новаторских попытках сказывалось лишь естественное разделение труда в гранении деталей стиха:

появились ритмисты, появились футуристы, подчеркнувшие звук слова; появились имажинисты, подчеркнувшие образ и т. д. Ныне стих перегружен ухищрениями образа, ритма, инструментовки, но всеми школами недавнего времени пропущена одна существенная сторона стиха: мелодия целого... А мелодия в стихе есть господство интонационной мимики, стих есть всегда отвлечение от песни; мелодизм – вот нужная ныне и пока отсутствующая школа среди градации школ. Только в мелодии, поставленной в центре лирического произведения, превращающей стихотворение в подлинную распеваемую песню, поставлены на свое место: образ, звукоряд, метр, ритм...» И дальше: «Провозглашая мелодизм как необходимо нужную школу (хотя бы для уравновешения целого, распавшегося в неравновесие пресыщенных образов и аллитераций стиха), я намеренно в предлагаемых мелодических опытах подчеркиваю право простых совсем слов быть словами поэзии, лишь бы они выражали точно мелодию; и наоборот: все старание мое направлено на выявление возможной сложности этой мелодии; мелодию я вычерчиваю, порою высвобождая ее из круга строф и строк; и потому-то все мое внимание в «песенках» сосредоточенно на архитектонике интонаций; расположение строк и строф – пусть оно будет угадано, в мелодии...»

В эти годы Белый начал возвращаться к старым своим стихам, тщательно переписывая их, иногда настолько, что от прежних текстов ничего не оставалось. Он переписывал так целые циклы, он создавал по несколько вариантов одного и того же стихотворения, будучи совершенно уверенным в том, что стихи его от этого сильно выигрывают. Однако это было не так. «Перерабатывая, развивая, как говорится, свои стихи, – писал Пяст, – Андрей Белый настолько их портил, что надо было удивляться, куда в таких случаях девался его врожденный „большой вкус“! И мы собирались учредить Общество Защиты Творений Андрея Белого от жестокого его с ними обращения...» – «Особенно подвергались переделкам ранние стихи Белого 1900–1903 годов, – писала исследовательница творчества поэта Т. Ю. Хмельницкая, – то есть те, которые он условно называл „золотолазурными“. Это объясняется сложным, противоречивым отношением Белого к своему раннему творчеству. Эпоха „зорь“, воспетая в „Золоте в лазури“, на всю жизнь осталась для Белого лучшей, самой многообещающей. Он помнил о ней, как о времени радостных предчувствий великого преображения мира. В последующие периоды жизни он благодарно вспоминал о „зорях“ своей юности и творчески воскрешал их в поэме „Первые свидания“ и в ряде стихотворений, предназначенных для итогового сборника „Зовы времен“. Вместе с тем Белый с резкой нетерпимостью относился к своей первой книге, считая ее формально несовершенной, художественно беспомощной, требующей коренного изменения. Он считал, что к „золотолазурным“ стихам необходимо вернуться во всеоружии мастерства. Он искал слов достойных и точных, для того чтобы утвердить то духовное состояние, в каком задумана была его первая книга. В 1933 году, переделывая и дописывая

„золотозаурные“ стихи, он прибавляет к ним новые в том же плане – для так и не вышедшего сборника „Зовы времен“. В предисловии к „Зовам времен“ он заклинает будущих издателей не печатать ранние стихи в их первых вариантах и подробно аргументирует и оправдывает свою потребность непрерывно переделывать старое...»

«Он давно мечтал выехать за границу, – вспоминал Ходасевич. – Говорил, что хочет отдохнуть, но были у него и другие причины, о которых он тогда мне не сообщал и о которых я только догадывался. Большевики не выпускали его. Он нервничал до того, что пришлось обратиться к врачу. Он подумывал о побеге – из этого тоже ничего не вышло, да и не могло выйти: он сам всему Петербургу разболтал „по секрету“, что собрался бежать. Его стали спрашивать: скоро ли вы бежите? Из этого он, разумеется, заключил, что чрезвычайка за ним следит, и, разумеется, – доходил до приступов дикого страха. Наконец, после смерти Блока и расстрела Гумилева, большевики смутились и дали ему заграничный паспорт».

К сожалению, доктор Штейнер не захотел встретиться с Белым, а вернуть Асю Тургеневу Белый тоже уже не мог. Все это потрясло поэта. «Моя двоюродная сестра, – писала Берберова, – одно время жила в Берлине, потом в Париже. Однажды в Берлине, в 1922 г., я говорила с ней по телефону в присутствии Андрея Белого и заметила, что он прислушивается к моему разговору: он настолько был подавлен разрывом с А. Тургеневой, своей первой женой, что, когда я сказала: „Прощай, Асинька“ и повесила трубку, он подошел ко мне с напряженным, улыбающимся лицом и спросил: „Асинька? Какая Асинька? Разве есть еще Асинька?“ Я успокоила его, сказав, что это моя родственница...»

«С осени он (Белый) переехал в город, – вспоминал Ходасевич, – и весь русский Берлин стал любопытным и злым свидетелем его истерики. Ее видели, ей радовались, над ней насмехались слишком многие. Скажу о ней покороче. Выражалась она главным образом в пьяных танцах, которым он предавался в разных берлинских Dielen (танцевальных залах). Не в том дело, что танцевал он плохо, а в том, что он танцевал страшно. В однообразную толчею фокстротов вносил свои „вариации“ – искаженный отсвет неизменного своеобразия, которое он проявлял во всем, за что бы ни брался. Танец в его исполнении превращался в чудовищную мимодраму, порой даже в непристойную. Он приглашал незнакомых дам. Те, которые были посмелее, шли, чтобы позабавиться и позабавить своих спутников. Другие отказывались – в Берлине почти оскорбление. Третьим запрещали мужья, отцы. То был не просто танец пьяного человека: то было, конечно, символическое попрание лучшего в самом себе, кощунство над собой, дьявольская гримаса самому себе – чтобы через себя показать ее Дорнаху. Дорнах (точнее, доктор Штейнер) не выходил у него из головы. Он словно старался падать все ниже. Как знать, может быть, и надеялся: услышат, окликнут. Но Дорнах не снисходил со своих высот, а Белый жил как на углях. Свои страдания он „выкрикивал в форточку“ то в виде плохих стихов,

с редкими проблесками гениальности, то в виде бесчисленных исповедей. Он исповедывался, выворачивая душу, кому попало, порой полужнакомым и вовсе незнакомым людям: соседям по табльдоту, ночным гулякам, смазливый пансионным горничным, иностранным журналистам. Полулюбился в некую Mariechen, болезненную, запуганную девушку, дочь содержателя маленькой пивной; она смущалась чуть не до слез, когда Herr Professor, ломая ей пальцы своими лапищами, отплясывал с нею неистовые танцы, а между танцами, осушая кружку за кружкой, рассказывал ей, то рыча, то шипя, то визжа все ту же запутанную историю, в которой она ничего не понимала. Замечательно, что все эти люди, тоже ничего не понимавшие, заслушивались его, чужая, что пьяненький Herr Professor – не простой человек. Возвращаясь домой, раздевался он догола и опять плясал, выплясывая свое несчастье. Это длилось месяцами. Хотелось иногда пожалеть, что у него такое неиссякаемое физическое здоровье: уж лучше бы заболел, свалился...»

Прослышав о бедственном состоянии Белого, давняя его приятельница по Московскому антропософскому обществу Клавдия Николаевна Васильева приехала в Берлин – спасти его. Вместе с нею Белый и вернулся в Москву. «Она – первая меня поняла в моей антропософии, – писал Белый о Васильевой Иванову-Разумнику. – Она одна из всех москвичей с невероятной чуткостью поняла, в какой мрак я ушел; и она нашла слова. И я – вернулся в Москву с решением: мне быть в России».

Васильева действительно осталась верной спутницей Белого до конца его жизни. Правда, жизнь не сильно их радовала. «Жилищные неурядицы, – записывал Белый в дневнике. – Ни читать, ни правильно работать нельзя». Только весной 1925 года им повезло: сняли две комнаты в подмосковном дачном поселке Кучино, где и прожили до апреля 1931 года. Здесь Белый завершил первый том романа «Москва», вышедший в свет в 1932 году.

В 1932 году на пленуме Оргкомитета Союза советских писателей Белый так говорил о служении новой России: «Программа политики партии в области художественной литературы представляется мне и гибкой и гуманной; в рамках ее (при условии проведения программы в жизнь) возможны и нормальный рост, и безболезненное развитие нашей художественной литературы, программа прекрасно предусматривает и разрешает ряд ненормальностей, возможных в наше переходное время. Мне, принимавшему социальную революцию (и тем самым принявшему Октябрьскую революцию в момент революции), место не „при“ революции, а в самой ней, поэтому-то и к группе „по“-путчиков я не могу себя причислить». Так что в некрологе, через два года напечатанном в «Правде», совсем не случайно утверждалось, что «последний из крупнейших представителей русского символизма умер советским писателем».

Это случилось 8 января 1934 года в Москве.

Вячеслав Иванович Иванов

Родился 16 (28) февраля 1866 года в Москве.

Отец – землемер, мать из духовного рода.

Окончив в 1886 году два курса историко-филологического факультета Московского университета, Иванов уехал в Берлин. Там он продолжил образование под руководством знаменитого историка Моммзена, специалиста по древнему Риму. Там же, в Берлине, защитил диссертацию – об откупах в Древнем Риме. Но истинной страстью Иванова до конца жизни оставалась древняя Греция. Он любил ее язык, много путешествовал, собирая материалы об эллинском культе Диониса, давшем когда-то начало театру трагедии. В 1904 году в журнале «Новый путь» появилось известное исследование Иванова «Эллинская религия страдающего бога», а в 1905 году в «Вопросах жизни» – «Религия Диониса».

Как поэт выступил в 1903 году, когда ему уже исполнилось тридцать шесть лет. Книга лирики «Кормчие звезды», прошла, в общем, незамеченной, но следующая – «Прозрачность» (1904) – сразу ввела Иванова в круг поэтов-символистов. В своих стихах намеренно употреблял архаичный словарь, писал, по словам одного критика, «заржавленным» языком. Но делал это Иванов с величайшим искусством. Он строил свой поэтический мир, стараясь как можно точнее и гармоничнее выявить божественную сущность вещей, раскрыть тайны символов. Он был глубоко убежден, что в любом талантливом произведении искусства живет, прежде всего, скрытая музыка. «И это не потому только, – писал он, – что ему (произведению искусства) необходимо присущи ритм и внутреннее движение; но сама душа искусства музыкальна. Истинное содержание художественного изображения всегда шире его предмета. В этом смысле оно всегда символично; но то, что оно объемлет своим символом, остается для ума необъятным и несказанным для человеческого слова. Чтобы произведение искусства оказывало полное эстетическое действие, должна чувствоваться эта непостижимость и неизмеримость его конечного смысла. Отсюда – устремление к неизреченному, составляющее душу и жизнь эстетического наслаждения, и эта воля, этот порыв – музыка...» Лучшее всего выявлению скрытой музыки, считал Иванов, соответствует театр мистерий, где все зрители сами становятся участниками действия, непосредственно приобщаясь к мифотворчеству. В созидании будущего надчеловеческого искусства, считал Иванов, будут участвовать все люди планеты.

«Читатель, приступающий к этому поэту, – писал Пяст, – чувствует себя как-то удивительно странно. Где то, что он привык видеть и слышать в литературе, как и в жизни? Где все окружающие его изо дня в день предметы? Он их привык встречать на каждом шагу, и, право, без присутствия их, хотя бы молчаливого, скрытого в заднем плане стихотворения, – в начале обойтись не может. Скажет Пушкин: «Я помню чудное мгновенье» – и во всем стихотворении не упомянет ни одной вещи из наличной, окружающей это мгновенье обстановки, но никому и в голову не придет спросить себя, где это происходило. Отнюдь не потому, чтобы это было для нас не важно, но потому что где-то между строчек эта обстановка

вошла в это стихотворение. Ничего подобного не найдет он у Вячеслава Иванова. Стихи его «видны насквозь». В них самих нет заграждающего зрение заднего фона...»

С внутренней «темностью» стихов Иванова связано множество анекдотов; вот один. Однажды Великий князь Константин (писавший стихи под прозрачным псевдонимом К. Р.), обходя строй Петербургского кадетского корпуса, увидел среди кадетов приемного сына В. Иванова – Костю Шварлсалона. – «Поэт Вячеслав Иванов твой отчим?» – «Так точно, Ваше императорское высочество». – «Ты читал его стихи?» – «Так точно, Ваше императорское высочество». – «Ты понял их?» – «Так точно, Ваше императорское высочество». – «Значит, ты умнее меня, – покачал головой Великий князь. – Я ничего не понял».

«Вячеслава Иванова, – писал Маковский, – я знал с 1903 года, когда из Италии он приехал в Петербург и выпустил „Кормчие звезды“. Первая его жена Лидия Дмитриевна Зиновьева-Аннибал принимала вместе с ним весь „передовой“ Петербург в верхнем этаже дома на Таврической улице, в так называемой „башне“. Почти вся наша молодая тогда поэзия если не „вышла“ из Ивановской „башни“, то прошла через нее – все поэты нового толка, „модернисты“, или, как говорила большая публика, декаденты, начиная с Бальмонта: Гиппиус, Сологуб, Кузмин, Блок, Городецкий, Волошин, Гумилев, Ахматова, не считая наезжавших из Москвы Брюсова, Андрея Белого, Цветаевой. Я перечислил наиболее громкие имена, можно было бы назвать еще очень многих... В. Иванов был необыкновенно широк в оценке чужого творчества, любил поэзию с полным беспристрастием – не свою роль в ней, роль „ментора“ (как мы говорили), вождя, наставника, идеолога, а талантливость каждого подающего надежды неофита. Умел восторгаться самым скромным проблеском дарования, принимал всерьез всякое начинание. Он был пламенно отзывчив и в то же время вовсе не покладист. Коль заспорит – только держись, звонкий его тенор (немного в нос) покрывал все голоса, и речист он был неистощимо. Мы все его любили за это темпераментное бескорыстие, за расточительную щедрость. Удивительно уживались в нем как бы противоположные черты: эгоцентризм, наполненность собой, своим поэтическим бредом и страстями ума, и самоотверженное внимание к каждому. На всех собраниях он председательствовал, руководил прениями, говорил вступительное и заключительное слово. Когда дело касалось поэзии, он чувствовал себя непременно предводителем хора. И наружность его вполне соответствовала взятой им на себя роли. Золотистым ореолом окружали высокий, рано залысевший лоб пушистые, длинные до плеч волосы. В очень правильных чертах лица было что-то рассеянно-пронзительное. В манерах изысканная предупредительность граничила с кокетством. Он привык говорить сквозь улыбку, с настойчивой вкрадчивостью. Высок, худ, немного сутул... Ходил мелкими шагами... Любил показывать свои красивые руки с длинными пальцами...»

«Тогда (в 1906 году) ему было чуть больше сорока, – вспоминала Маргарита Сабашникова, в то время жена Максимилиана Волошина. – Стройная высокорослость, волосы, легкие и светло-рыжие, обрамляют красивый лоб – „словно орифламма“, – подумалось мне. Остроконечная бородка, теплые тона почти прозрачного лица, небольшие серые глаза хищной птицы. Его улыбка показалась мне слишком тонкой, а высокий – чуть в нос – голос – слишком женственным. Всякий выговариваемый слог сопровождался вздохом, и от этого речь звучало странно торжественно... Зиновьеву-Аннибал, жену Иванова, мне описали как „мощную женщину с громовым голосом, такая любого Диониса швырнет себе под ноги“. Лицом она походила на Сивиллу Микельанджело – львиная посадка головы, стройная сильная шея, решимость взгляда; маленькие аккуратные уши парадоксально увеличивали это впечатление львиного облика. Но оригинальнее всего гляделась ее, что называется, „цветовая гамма“: странно розовый отлив белокурых волос, яркие белки серых глаз на фоне смуглой кожи. Она была одним из потомков знаменитого абиссинца Ганнибала, пушкинского „арапа Петра Великого“. Одеждой Лидии служила античная туника, красивые руки задрапированы покрывалом. Смелость сочетания красок в тот вечер – белое и оранжевое...

Уже год, как Ивановы обосновались в Петербурге. Квартира помещалась в башне, стены во всех комнатах были округлые или скошенные. Комната Лидии оклеена ярко-оранжевыми обоями. Два низких дивана, странный пестро окрашенный деревянный сосуд – здесь она хранила свои рукописи, свернутые свитками. Комната Вячеслава – узка, огненно-красна, в нее вступаешь как в жерло раскаленной печи. Устройство их быта вполне необычайно. Все женщины нашего круга держат хотя бы кухарку, Лидия делает все сама, а ведь она занимается литературным трудом и ежедневно принимает множество гостей. Она не может потерпеть в своем жилище человека стороннего, не разделяющего полностью их жизни. Я чувствую себя зайчиком в львином логове. Оригинальность и сила переживаний Лидии удивительны, она ни в чем не уступает мужу. Необычаен ее интерес ко мне. Впрочем, они оба интересовались новыми лицами. «Вячеслав и я – мы любим видеть сны в лицах людей». Может быть, и в моем лице они видят какой-то привлекательный для них сон?... А вдруг, проснувшись, они разочаруются?... «Башня» была центром духовной жизни Петербурга. Иванов, казалось, заражал других своим вдохновением. Одному подскажет тему, другого похвалит, третьего порицает, порой чрезмерно; в каждом пробуждает дремлющие силы, ведет за собой, как Дионис – своих жрецов. Вдохновляет он людей не только в творчестве, но и в жизни. В его огненную пещеру идут с исповедью и за советом. Необычен распорядок его дня: встает он в два часа пополудни, а гостей принимает вечером и по ночам. И работает он ночью...

Но в ту зиму работалось ему немного. Томление, отчаяние – это было характерно для нашего времени. Люди мечтали о несбыточном, Люцифер

завлекал их в сети Эроса. Жизнь была пронизана драматизмом. Особенно жизнь художников. Дружные супружеские пары встречались редко, их даже несколько презирали. Вячеслав старался образовать меня. Мы прочли «Цветочки» Франциска Ассизского по-итальянски. Глубокое впечатление произвел на меня рассказ о встрече Франциска и Клары в церкви святого Ангела за трапезой, где «ели меньше, чем беседовали о святых предметах». От этой беседы разлился такой свет, что крестьяне Перуджии приняли его за зарево лесного пожара и прибежали тушить. Вот он – мой идеал истинной любви, когда даже обращенные друг к другу слова любящих порождают высокую духовность, коренящуюся, однако, в объективной реальности... Иванов заинтересовался моими стихотворными опытами, одобрил их, это внушило мне желание писать новые стихи, прежние я не особенно ценила. Сонет об осени он заставлял меня часто читать на поэтических вечерах, причем я с трудом преодолевала привычную застенчивость. Я целиком оказалась во власти этого человека, подчиняясь малейшему его взгляду. Для Макса (Волошина), Лидии и меня он разработал целый курс поэтики. Позднее возник его поэтический семинар. Иванов объединял в себе поэта и ученого. Познания его в сфере греческих мистерий и культов были чрезвычайно обширны и служили ему опорой для истолкования стихотворных размеров и ритмов. В совершенстве владея древними и новыми языками, он приводил примеры на языке оригинала. Эти занятия принесли пользу не только мне, но и Макс, обогатив его стихотворную палитру...

Однажды вечером Вячеслав обратился ко мне: «Сегодня я спросил Макса, как он относится к растущей между мной и тобой близости, и он ответил, что это глубоко радует его». Я поняла, что Макс сказал правду, он любил и чтит Вячеслава. Но постепенно я заметила, что сам Вячеслав дурно относится к моей близости с Максом. Он все резче критиковал Макса. Зачастую я была вынуждена соглашаться: действительно, Макс чрезмерно увлекался парадоксальной игрой мысли... Но душа ныла... Когда я пыталась защищать Макса, Вячеслав утверждал, что Макс и я – существа разной духовной природы, что брак между нами, «иноверцами», недействителен. В глубине души у меня самой назревало такое чувство, Вячеслав лишь облакал его в слова... Доклад Макса об Эросе имел шумный скандальный успех, эпатировал буржуазные вкусы, но я поняла, что больше не могу о себе и Максе говорить «мы». Мне было нелегко сознавать это, но счастливое чувство дружбы и единения с Лидией и Вячеславом уравновешивало нарастающую отчужденность от Макса. Скоро я поняла, что Вячеслав любит меня. Я рассказала Лидии об этом и о своем решении уехать, но для нее все уже давно стало ясным. Ответ Лидии: «Ты вошла в нашу жизнь, ты принадлежишь нам. Если ты уйдешь, останется – мертвое. Мы оба не можем без тебя». После мы говорили втроем. Они высказали странную идею: двое, слитые воедино, как они, в состоянии любить третьего. Подобная любовь есть начало новой человеческой общины, даже начало новой церкви, где

Эрос воплощается в плоть и кровь. Естественный мой вопрос был о Максе. «Нет, только не он». – «Но я не могу оставить его». – «Ты должна выбрать, – сказала Лидия. – Ты любишь Вячеслава». Да, люблю, но эта любовь не такова, чтобы исключить из нее Макса!.. Рядом с этими двумя исполинами я беспомощна, как дитя... Я так боюсь вызвать их неудовольствие... Я уже не могу испытывать прежнее безмятежное счастье... Не может и Макс... Вячеслав требовал от меня послушания, пресекал малейшие сомнения в правильности его идей. А Лидия?... Возможно, она вовсе не верила в союз трех, просто видела в этом единственный способ удержать мужа... Конечно, и она страдала. Помню ее слова: «Когда тебя нет, во мне поднимается какой-то внутренний протест против тебя. Но когда мы вместе, мне хорошо, я покойна».

Для посещавших Вячеслава Иванова было загадкой, когда он мог творить; вставая очень поздно, он почти сейчас же садился обедать, а тут наступал вечер. И даже если не было «среды», обязательно приходил кто-нибудь с ним говорить, и разговор затягивался до поздней ночи. Тут уж человек переутомлялся; на более или менее механическую работу, даже умственную, он оставался еще способен, – так мне кажется. Но чтобы творить!.. А между тем, «Эрос», книга, вся сотканная из творческих открытий – вся целиком написана в течение короткого срока именно среди напряженности вот такой нерегулярной жизни, – истинная дочь прилива вдохновения, которое, когда придет, переплескивается через плотины, ставящиеся ему «режимом», жизнью, усталостью, переутомлением, заботами и страданиями!..

Весь этот год «среды» были в полном разгаре. На них уже хозяйничала седевшая М. М. Замятина; уже дети Лидии Дмитриевны были тут; квартира росла не по дням, а по часам; люди могли проводить в ее дальних комнатах недели, лежать на мягких диванах, писать, играть на музыкальных инструментах, рисовать, пить вино, никому не мешать и не видеть никого – как из посторонних, так и из обитателей самой «башни». Мне рассказывали, что Вячеслав Иванов и не подозревал о существовании в его квартире некоторых гостивших там не одну неделю людей...»

В 1909 году Лидия Дмитриевна умерла от дифтерита. Иванов посвятил ей один из лучших своих сонетов: «Мы – два грозой зажженные ствола, два пламени полуночного бора; мы – два в ночи летящих метеора, одной судьбы двужалая стрела!.. Мы – два коня, чьи держит удила одна рука, – одна язвит их шпора; два ока мы единственного взора, мечты одной два трепетных крыла... Мы – двух теней скорбящая чета над мрамором божественного гроба, где древняя почитает Красота. Единых тайн двугласные уста. Себе самим мы – сфинкс единый оба. Мы – две руки единого креста...» Со смертью Зиновьевой-Аннибал встречи на «Башне» кончилась. Дальнейшую свою жизнь Вячеслав Иванов связал с падчерицей – Верой Шварлсалон, и переехал в Москву. В 1911 году вышел сборник стихов «Cor ardens», посвященный памяти Зиновьевой-Аннибал; в 1912-ом – «Борозды и межи»; в 1918-ом – трагедия в стихах «Прометей», а в 1920 году Иванов закончил

«Зимние сонеты» – может быть, высшее свое поэтическое достижение на родине.

«Зима души. Косым издалека ее лучом живое солнце греет, она ж в немых сугробах цепенеет, и ей поет метелицей тоска... Охапку дров свалив у камелька, вари пшено, и час тебе довлеет; потом усни, как все дремой коснеет. Ах, вечности могила глубока!.. Оледенел ключ влаги животворной, застыл родник текучего огня. О, не ищи под саваном меня! Свой гроб влачит двойник мой, раб покорный, я ж истинный, плотскому изменяя, творю вдали свой храм нерукотворный...»

«Совершенно исключительный виртуоз беседы, он (Иванов) – вспоминал Л. Сабанеев, – с неописуемой легкостью приспособлял огромный инвентарь своих знаний к пониманию собеседников. Его речь шла сплошным потоком, без запинок, всегда пышно украшенная научным декорумом, блистая обилием цитат, которые у него возникали как-то самопроизвольно, совершенно естественно. Его познания во всех областях были колоссальны, а подача этих познаний – артистична. Из русских людей я не знал никого, кто мог бы сравниться с ним в этом искусстве серьезной и содержательной элоквенции. Вообще, на меня он производил впечатление наиболее глубокого, проникновенного и одаренного из всех символистов. В его стихи перешла лишь незначительная часть его общечеловеческого обаяния. Он был как некая крепчайшая настойка из всей человеческой культуры – и русской, и европейской, и средневековой, и светской, и религиозной...

Он не был красив: бледно-рыжий, «слегка согбен, ни стар, ни молод», как его описал Блок. Красноватое лицо, «медвежьи» глазки, которые умели смотреть вбок, голос его был теноровый, вкрадчивый и со сладостью. Нечто «католическое» было в его повадке и тогда, хотя в те времена он еще прочно сидел на платформе «неохристианства» и «дионисийских» упований. Его упокоение в лоне католической церкви меня несколько не удивило – это было совершенно в его стиле. Свою, в сущности, мало примечательную наружность он, однако, умел «подать» так, что она была глубокомысленна, и значительна, и от него действительно исходило некое «излученье тайных сил», как говорил Блок...

Иванов, как и все символисты, считал, что живет в «катастрофическое время», – в ожидании некоего «События» с большой буквы, которое имело не столь контур войны или революции, сколь некоего эсхатологического акта, в стиле второго пришествия. Но война и революция приветствовались (как и Скрябиным) как предтеча, предзнаменование. Но все же в большевистское время Вяч. Иванов – со всем своим эсхатологизмом – имел вид человека совершенно растерявшегося, сошедшего с рельс. Течение реальных событий он не умел примирить и сочетать со своей теорией. Иногда он брал очень «левый» камертон, «принимал» революцию и даже утверждал, что он значительно «левее» большевиков, потому что он – за «революцию Духа». Впрочем, для коммунистов это даже и тогда не звучало убедительно: они не интересовались революциями Духа. В те

приснопамятные дни «военного коммунизма» я вместе с ним профессорствовал в государственном институте слова (ГИС), основанном неким Сержниковым, изобретателем «коллективной декламации». Вместе с нами был и князь С. М. Волконский, который читал курс «искусства произнесения». Я читал о «музыке речи». Потом мы втроем возвращались с лекций по Воздвиженке, где три месяца зимой посредине улицы и напротив института слова лежаладохлая лошадь, которую сначала ели собаки, потом вороны и мелкие пташки. Вяч. Иванов, очень зябкий, был облачен в две чрезвычайно старые шубы и какие-то глубокие ботфорты. Князь Волконский – во что-то вроде костюма альпиниста, в теплых чулках и коротких штанах. Я был в какой-то телячьей куртке, которую мне выдал Дом ученых, и оттого имел «коммунистический» вид. Конечно, во время лекций все эти костюмы не снимались, ибо отопления не было. В эти годы у Вячеслава Ивановича начала созревать мечта о «бегстве». Тогда многие просто «бежали», но это было рискованно и при его «интеллигентском составе» неосуществимо. И он стал хлопотать о законном «выезде» через Каменеву, тогда всесильную и покровительствовавшую «наукам и искусствам». Его очень долго не пускали, тянули, отказывали. Он даже написал Каменевой «Сонет», в котором говорилось, что у нее «профиль Лукреции Борджиа». Не знаю, было ли ей недостаточно лестно быть похожей на Лукрецию, или она вовсе не представляла себе, что это за зверь (по образованию она была дантисткой), и потому не оценила этой литературной лесты, но и «Сонет» не подействовал – ему опять отказали. Помню, в те дни Юргис Балтрушайтис, уже ставший из поэтов полномочным посланником Литвы в Москве, говорил мне: «Ты знаешь, что по существу Вячеслав вообще придворный поэт. И не его вина, что ему при таком поганом дворе приходится служить». – «Но ведь ты тоже, – отвечал ему я, – при том же дворе состоишь посланником».

«После смерти Веры (жены), – вспоминала дочь Иванова, – на Вячеслава напал ужас от мысли оставаться еще другую зиму в Москве. Он попросил на службе командировку... Куда угодно на юг... Чтобы дать ему отдохнуть, его послали вместе с семьей (Дима и я) на шесть недель в санаторий в Кисловодск и даже устроили удобное путешествие в 1-м классе какого-то привилегированного поезда... Мы выехали очень скоро после смерти Веры, еще в августе, после одной из панихид по ней (Вера умерла 8 августа 1920 года). Путешествие в Кисловодск было не лишено осложнений (Кисловодск был захвачен зелеными, санаторий закрыт)... Вячеслав неустрашимо выбрал Баку – юг, да и граница близка. Кто знает, не удастся ли оттуда перебраться через нее, а потом окольным путем в Италию?... В назначенный день приехал санитарный поезд № 14, на котором нам было отведено три плацкарты. Вагоны все были 3-го класса. Посредине каждого стояла железная печка, на которой пассажиры себе варили в общем котле пшеничную кашу и кипятили воду для чая. Когда нужно было топливо для печки, поезд любезно останавливали и пассажиры носили дрова, заготовленные вдоль полотна. Путешествие до Баку длилось девять дней...» Некоторое время

Иванов преподавал в Бакинском университете, даже защитил там диссертацию на степень доктора классической филологии – «Дионис и прадионисийство», но, разумеется, этот южный провинциальный город был слишком для него тесен. В 1924 году он получил, наконец, заграничную командировку и уехал в Италию. Кстати, никогда эмигрантом он себя не считал, так и жил с советским паспортом до конца тридцатых годов, когда началась мировая война. «Дальнейший творческий рост Вячеслава Иванова. – писал Маковский, – от волшебствующей одержимости привел его в последнюю пору жизни к христианству без всяких „космических“ оговорок. К христианству ортодоксальному, католическому, которое если продолжают овеать античные мифы, то в качестве поэтических метафор только. Наконец и метафоры исчезают, и даже стихи Вячеслав Иванов перестает писать, занятый раздумьями совсем другого порядка...»

Преподавал русский язык и литературу в университете города Павия. Перевел на русский язык многие произведения Данте, сонеты Петрарки, а незадолго до смерти завершил работу над сборником «Свет вечерний», в котором собрал все свои стихи 1914–1944 годов.

Умер 16 июля 1949 года.

Эстонский поэт Алексис Раннит, посетивший Иванова в Риме, спросил, что думает он о будущем европейской мысли? Улыбнувшись (это было незадолго до его смерти), Иванов ответил, что ничего об этом не знает, зато наверняка знает другое: если на том свете ему не дадут возможности читать, говорить и писать по-гречески, то он будет глубоко несчастен.

Максимилиан Александрович Волошин

Максимилиан Александрович Волошин (Кириенко-Волошин) родился 16 (28) мая 1877 года в Киеве.

Отец, юрист, умер рано, все заботы о ребенке легли на мать. Прожив более десяти лет в Киеве, потом в Москве, она переселилась в восточный Крым – Киммерию греческих мифов, в поселок Коктебель, расположенный неподалеку от Феодосии. «Конец отрочества и юность, – вспоминал позже Волошин, – отравлены гимназией, которой я не обязан ни одним знанием, ни одной светлой минутой, и лишь глубоким убеждением в том, что воспитание есть самое возмутительное из всех насилий, совершаемых над человеческой душой. Самые интересные и близкие области знания становились мне отвратительны, как только их касался школьный курс. Я был последовательно в гимназиях Поливановской, Московской I казенной и окончил Феодосийскую. Учился скверно, с репетиторами, сидел в классе по два года, и как я все-таки умудрился получить аттестат зрелости – непонятно, тем более, что я был, по-видимому, ребенком очень любознательным, одаренным памятью и талантами...»

В 1897 году поступил в Московский университет – на юридический факультет, но через полтора года, за участие во Всероссийской студенческой забастовке, был исключен. Попытавшись восстановиться, понял, что взят в

полиции на особый учет и осенью 1900 года уехал на работы по изысканию трассы Оренбург-Ташкентской железной дороги, а весной следующего года – в Париж, чтобы там всерьез заняться самообразованием.

«В первый раз попавши за границу двадцати одного года от роду, – вспоминал Волошин, – я ходил по картинным галереям совершенным дикарем и наивно удивлялся: какую ерунду писали эти старые мастера, то ли дело наша Третьяковка! Как странно, что Россия, в общем страна малокультурная (об этом я тогда уже начинал догадываться), так далеко обогнала Европу в области живописи». В 1904 году начал печататься в журнале символистов «Весы», много рисовал, много ездил по Европе. Ходили легенды, что Волошин побывал в Египте, даже прошел пешком путь, проделанный в свое время апостолом Павлом и Дон-Кихотом, но, возможно, к возникновению этих легенд имел причастность, прежде всего, он сам.

«Вы хотите всегда, чтобы стихи были красивы, – предостерегал Волошина Вячеслав Иванов, – чтобы они нравились. Даже в мистических стихотворениях вы похожи на даму-католичку, которая становится на колени, чтобы помолиться, и в то же время заботится, чтобы ее поза была красива». Но сам Волошин смотрел на творчество скорее как на процесс, которым можно управлять. «Обычно работа над стихотворным произведением – как это видно по черновым рукописям многих поэтов, – писал биограф Волошина А. В. Лавров, – начинается с предварительных разрозненных стихотворных набросков, с фиксации отдельных строк, рифмованных созвучий, словесных образов; вся эта поэтическая субстанция пребывает в хаотическом состоянии, а оформленный вид, который она приобретает в ходе авторской работы, нередко имеет мало общего с изначальными импульсами, отраженными в первичном слое текста. Механизм работы над стихом у Волошина очень часто – совершенно иной: первичной оказывается программа стихотворения – ритмически неурегулированный словесный ряд, дающий достаточно подробное и развернутое развитие темы будущего произведения с привлечением основного арсенала средств образной выразительности, предназначенных для темы; следующий этап – претворение этого исходного материала в стиховую ткань. Чем более масштабным и многоаспектным вырисовывается поэтический замысел, тем более развернутой и проработанной была предварительная экспликация».

Даже чувство, испытанное к Марии Львовне Ауэр не разбудило в поэте дремлющего личностного пласта. Ему в голову не приходило пересоздавать мир, как это пытались сделать другие русские символисты. На вопрос Вячеслава Иванова: «Хотите ли вы воздействовать на природу?» – Волошин твердо ответил: «Нет, безусловно. Я только впитываю ее в себя». – «Ну вот, – ответил Иванов. – А мы хотим претворить, пересоздать природу. Мы – это Брюсов, Белый, я».

В 1903 году Волошин познакомился с Маргаритой Васильевной Сабашниковой, племянницей жены Бальмонта. Когда Сабашникова приехала в Париж, именно Волошин показывал ей достопримечательности города. А в

апреле 1906 года они обвенчались. «После брака они поселились в Петербурге, – вспоминала приятельница Волошиных Е. Герцык, – в том самом доме, где вверху была „башня“ Вяч. Иванова. Оба сразу поддались его обаянию, оба вовлечены в заверть духа, оба – ранены этой встречей. Поздней ночью (по обычаю „башни“) я сидела у Вяч. Иванова; перед нами гранки его новых стихов „Эрос“ и я смятенно вслушиваюсь в эти новые в его творчестве ритмы. Бесшумными движениями скользнула в комнату фигура в пестром азиатском халате, – увидев постороннюю Волошин смутился, излился в извинениях, – сам по-восточному весь мягкий, вкрадчивый, казавшийся толще, чем был, от пышной бороды и привычки в разговоре вытягивать вперед подбородок, приближая к собеседнику эту рыжеватокаштановую гущину. В руках – листок. И он читает посвящение к этим же стихам Вяч. Иванова, весь чрезмерно пышный рядом с бледным, как бы обескровленным Вяч. Ивановым. Но вот в разговоре он упомянул Коктебель... „Вы знаете Коктебель?“ – и перед глазами у меня пустынный амфитеатр гор и море, синее которого не увидишь в Крыму... Нам – это первый этап по пути в Судак, и все, что еще в вагоне не развеется из зимнего и ненужного, здесь наверняка снесет соленым порывом... Но разве живут в Коктебеле? Там на безлюдном берегу ни дома, ни деревца... А он сказал: „Коктебель – моя родина, мой дом – Коктебель и Париж, – везде в других местах я только прохожий“. И вот уж он мне больше не чужой...»

В 1910 году вышла первая книга Волошина – «Стихотворения». «Теперь я мертв, – писал он. – Я стал строками книги...» Отношение к своим стихам, по крайней мере, к стихам дореволюционного периода, Волошин выразил в предисловии, оставшемся, впрочем, неопубликованным. «Каждый писатель, – обращался он к будущему читателю, – хоронит в себе поэта, умершего молодым. Но и тот, кто остается поэтом, успевает похоронить в себе несколько различных поэтов. Я знаю, что можно любить только умерших: они не меняются. Не бойся же полюбить поэтому тех четырех поэтов, которых я похоронил в этой книге. Один был юн, наивен, жизнерадостен. Он много ходил по земле, от Аральского моря до Гибралтара, но видел только внешние формы и слышал только внешние слова. Он писал урывками и только делал опыты со стихом. Он написал „Годы странствий“. Поэт, сменивший его, жил в Париже в замкнутом кругу музеев и искусства. Они преображались для него первыми зарницами первой любви. Он написал книгу „Amori Amara Sacrum“. В ней несложные чувства и много лиризма. Верно, она понравится тебе. Ее будут знать наизусть молодые девушки, с братьями читать сестры. Книгу „Звезда Полюнь“ написал уже взрослый поэт. Его дух прошел через „горькую любовь“ и обратился к горькой Земле. Он старался осознать себя в истории астрологических планет, порядок которых записан в названии дней недели, он искал себя в католическом символизме и христианской мистике, он припадал к трагической земле древней Киммерии, ставшей его приемной родиной, он из всего прожитого сплел венок сонетов – Астральную корону...»

Волошин никогда не искал ни славы, ни лидерства. Литературные связи тоже не казались ему чем-то значительным, ему просто нравилось находиться в кругу людей понимающих искусство. Это привело его в журнал «Аполлон», весьма далекий от академизма. Здесь в 1909 году разыгралась история с таинственной красавицей Черубиной де Габриак, придуманной Волошиным и его другом – поэтессой Е. И. Дмитриевой. История эта привела к дуэли между Волошиным и Николаем Гумилевым. Скандал оказался столь громким, что Волошину пришлось отойти от дел журнала. Не меньшим оказался и скандал, связанный с его выступлением на публичном диспуте 12 февраля 1913 года – в Москве в Политехническом музее. В январе того года душевнобольной А. Балашов изрезал ножом знаменитую картину Репина «Иван Грозный и его сын Иван», выставленную в Третьяковке. Выступая в Политехническом, Волошин пытался доказать, что главной причиной случившегося стала сама картина – некая разрушительная сила, таящаяся в ее сюжете. Это оскорбило не понявшую Волошина публику, – яростная брань обрушилась на поэта, его объявили чуть ли не Геростратом; редакции многих газет закрылись для его стихов и статей, а книжные магазины бойкотировали его книги.

Постепенно местом постоянного жительства становится для Волошина Коктебель. Сюда к нему приезжают друзья, их знакомые, наконец, совсем незнакомые люди. В Доме Волошина в разное время побывали О. Мандельштам, М. Цветаева, А. Толстой, Н. Гумилев, Е. Замятин, В. Брюсов, Андрей Белый, К. Чуковский, М. Шкапская, М. Булгаков, С. Соловьев, В. Ходасевич и многие другие. Сам Волошин стал считаться такой же достопримечательностью этого края, как музей Айвазовского и Генуэзская башня. «На прогулки мы ходили сообща, обычно под предводительством Макса, – вспоминал Николай Чуковский. – Несмотря на свою тучность, он ходил легко, быстро и неутомимо. В подпоясанной по животу рубашке, похожей на хитон, в штанах до колен, с толстыми голыми икрами коротких ног, бородатый, со шнурком в крупно-кудрявых волосах, он был похож на Посейдона. Он любил Коктебель нежной любовью и старался заразить ею каждого. Мы изнемогали, поднимаясь вслед за ним на кручи, мы не осмеливались следовать за ним по каменным карнизам над бездной, где он шагал так же уверенно, как по ровному полю. Жар солнца не смущал его, – он всегда ходил с непокрытой головой. Природа Коктебеля поразительно разнообразна – за час ходьбы можно попасть и в степи, похожие на пустыни, и в скалистые горы, и в горные дубовые леса. И всюду – море. У Макса тут каждая отдельная местность вызвала особые ассоциации – преимущественно историко-культурные. Он часто говорил, что Коктебель напоминает ему греческие острова в Эгейском море, где он бывал в молодости. В мастерской его – так он называл свой рабочий кабинет, ибо он был не только поэт, но и художник, – хранился кусок днища деревянного корабля, настолько древнего, что доски сбиты гвоздями, сделанными из бронзы, и Макс уверял, что это обломок того самого корабля, на котором

аргонавт Ясон плыл за золотым руном. Он знал названия каждой горки, а если не знал, то сам выдумывал. Например, существовала долина, которая называлась Ассирия, – он уверял, что в древней Ассирии были точь-в-точь такие пейзажи. Мыс, постоянно менявший цвет, когда над ним проходили облака, он назвал Хамелеоном, – название это сохранилось до сих пор...»

Первая мировая война застала Волошина в нейтральной Швейцарии. Он попал туда буквально перед самым закрытием границ («И я, как запоздалый зверь, вошел последним внутрь ковчега...») и до января 1915 года прожил в Дорнахе, участвуя в строительстве антропософского центра – Гётенаума. Затем перебрался в Париж, и, наконец, за год до революции вернулся в Россию. Призванный в действующую армию, он написал военному министру: «Я отказываюсь быть солдатом, как Европеец, как художник, как поэт. Как Европеец, несущий в себе сознание единства и неразделимости христианской культуры, я не могу принять участия в братоубийственной и междоусобной войне. Как художник, работа которого есть созидание форм, я не могу принять участия в деле разрушения форм, и в том числе самой совершенной – храма человеческого тела. Как поэт, я не имею права поднимать меч, раз мне дано Слово, и принимать участие в раздоре, раз мой долг – понимание. Тот, кто убежден, что лучше быть убитым, чем убивать, и что лучше быть побежденным, чем победителем, т. к. поражение на физическом плане есть победа на духовном – не может быть солдатом...»

Впрочем, и в Крыму, объятom гражданской войной, Волошин не остался вне событий. В апреле 1918 года он писал А. Оболенской: «Все Черное море теперь полно транспортами, на которых скитаются и бегут самые неожиданные племена, народы, расы. Всех судьба гонит преимущественно в Феодосию. Армяне – беженцы из Трапезунда, русские солдаты из Анатолии, армянские ударники с Кавказа, румынские большевики из Констанцы, остатки Сербского легиона из Одессы. Не Феодосия, а Карфаген времен мятежа наемников...» Действительно, с января 1918 года по ноябрь 1920 года в Крыму сменилось несколько правительств: краевое правительство караима Соломона Крыма, кадета, приверженца Антанты, было изгнано Красной армией, Красную армию, в свою очередь, вытеснили Добровольческие части, затем красные вернулись.

«С Россией кончено, на последях ее мы прогалдели, проболтали, пролузгали, пропили, проплевали, замызгали на грязных площадях, распродали на улицах: не надо ль кому земли, республик, да свобод, гражданских прав? И родину народ сам выволок на гноище, как падаль... О, Господи, разверзни, расточи, пошли на нас огонь, язвы и бичи, Германцев с запада, Монгол с востока, отдай нас в рабство раз и навсегда, чтоб искупить смиренно и глубоко Иудин грех до страшного суда!».

«Я не нейтрален, – писал Волошин 12 января 1924 года журналисту Б. Талю, – я гораздо хуже: я рассматриваю буржуазию и пролетариат, белых и красных, как антиномические выявления одной сущности, гражданскую войну – как дружное сотрудничество в едином деле. Между противниками

всегда провожу знак равенства...» До этого, в июне 1919 года, Волошин сообщал одному из своих друзей: «Сейчас Крым, слава Богу, занимается Добровольческой армией. Эти три страшных месяца большевистской оккупации были отчасти смягчены тем, что на этот раз вся крымская интеллигенция, оставшаяся на местах, пошла в просветительные советские учреждения, послужила буфером между большевиками и спасла Крым от окончательного разгрома...» Впрочем, Волошин в каждом противнике пытался отыскать нечто человеческое. «Мне было очень любопытно беседовать и иметь дело эти дни с красногвардейцами, – писал он Сабашниковой 13 января 1918 года, – местными большевиками и погромщиками. И, в общем, у меня осталось от них благоприятное впечатление. Первоисток всего нашего хаоса это беспредельная, совершенно детская доверчивость и такая же детская вера в возможность немедленного осуществления социалистического рая, а рядом с этим, как основной порок, очень примитивная жадность. Весело смотреть, как им приятно играть в революцию: скакать, распоряжаться, спасать, карать, произносить обращения к народу, стрелять из ружей...» Он не без сожаления сообщает Оболенской: «На днях узнал, что пятеро из моих „приятелей“ красногвардейцев, что приезжали водворять большевистский строй в Коктебеле, расстреляны под Старым Крымом матросами за грабеж и убийства. А они мне обещали приехать позировать. Очень между ними хорош был „старшой“ – залихватским юно-петушиным видом, с головой немного набок и набекрень, очень он хорошо в „народном собрании“, прежде чем начать говорить, щелкал – точно бич развертывал – многосложным площадным ругательством...»

«В те дни мой дом, слепой и запустелый, хранил права убежища, как храм, и растворялся только беглецам, скрывавшимся от петли и расстрела... И красный вождь, и белый офицер, фанатики непримиримых вер, искали здесь, под кровлею поэта, убежища, защиты и совета. Я ж делал все, чтоб братьям помешать себя губить, друг друга истреблять...»

В 1922 году Волошину представилась возможность покинуть Россию, но он без раздумий отклонил эту возможность. «Там – в эмиграции меня, оказывается, ценят, – писал он К. В. Кандаурову, – всюду перепечатают, цитируют, читают, обо мне читают лекции, называют единственным национальным поэтом, оставшимся после смерти Блока, и т. д., но мне (знаю это) надо пребыть в России до конца...»

В 1919 году вышла в Харькове последняя прижизненная книга поэта – «Демоны глухонемые». «Они проходят по земле, слепые и глухонемые, и чертят знаки огневые в распаивающейся мгле... Собою бездны озаряя, они не видят ничего, они творят, не постигая предназначенья своего... Сквозь дымный сумрак преисподней они кидают вещий луч. Их судьбы – это лик Господний, во мраке явленный из туч...»

Л. Сабанеев оставил воспоминания об одной из попыток Волошина издать в то время свои стихи в Москве. «Я, Петр Семенович Коган и бородатый,

огромный Максимилиан Волошин – уже известный поэт – шествуем втроем в Кремль на свидание с Каменевым, – писал Сабанеев. – Волошин хочет прочесть Каменеву свои „контрреволюционные“ стихи и получить от него разрешение на их опубликование „на правах рукописи“. Я и Коган изображали в этом шествии Государственную Академию художественных наук, поддерживающую ходатайство. Проходили все этапы, необходимые для посетителей Кремля. Мрачные стражи деловито накалывают на штыки наши пропуска. Каменевы обитают в дворцовом флигеле направо от Троицких ворот, как и большая часть правителей. Дом старый, со сводчатыми потолками – нечто вроде гостиницы: коридор и „номера“, в него выходящие. Все, в сущности, чрезвычайно скромно. Я и раньше бывал у Ольги Давыдовны по делам ЦЕКУБУ и Дома ученых, и обстановка мне, как и П. С. Когану, хорошо знакома, но Волошин явно нервничает. Хозяева, которые были предупреждены, встречают нас очень радушно. Каменева подходит ко мне с номером парижских „Последних новостей“ и говорит: «Послушайте, что они о нас пишут!» И действительно, выясняется из статьи, что Россией управляет Каменев, а Каменевым... его жена. Они страшно довольны и потому в отличном расположении духа. Волошин мешковато представляется Каменеву и сразу приступает к чтению «контрреволюционных» стихов. Это было в высшей степени забавно созерцать со стороны. «Рекомый» глава государства внимательно слушал стихотворные поношения своего режима, которые громовым, пророческим голосом, со всеми проклятиями, в них заключенными, читает Волошин, напоминая пророка Илию, обличающего жрецов. Ольга Давыдовна нервно играет лорнеткой, сидя на маленьком диванчике, Коган и я с нетерпением ждем, чем кончится эта контрреволюция в самых недрах Кремля.

Волошин кончил. Впечатление оказалось превосходное. Лев Борисыч – большой любитель поэзии и знаток литературы. Он хвалит, с аллюром заправского литературного критика, разные детали стиха и выражений. О контрреволюционном содержании – ни слова, как будто его и нет вовсе. И потом идет к письменному столу и пишет в Госиздат записку о том же, всецело поддерживает просьбу Волошина об издании стихов «на правах рукописи». Волошин счастлив и, распрощавшись, уходит. Я и Коган остаемся: ему необходимо кое-что выяснить с Каменевым относительно своей академии. Тем временем либеральный Лев Борисыч подходит к телефону, вызывает Госиздат и, совершенно не стесняясь нашим присутствием, говорит: «К вам придет Волошин с моей запиской. Не придавайте этой записке никакого значения». Даже у искушенного в дипломатии П. С. Когана физиономия передернулась. Он мне потом говорил: «Я все время думал, что он это сделает. Но не думал, что так скоро и при нас». А счастливый Волошин уезжал к себе в Коктебель с радужными надеждами на напечатание «на правах рукописи» своих стихов...»

С 1923 года все хлопоты по Коктебелю разделяла с Волошиным его жена – Мария Степановна. «Макс сидел у окна, спиной к морю, за маленьким

столиком, раскрыв перед собой большой альбом, разложив акварельные краски и кисточки, – вспоминал Н. Чуковский. – Слушая, он писал свои пейзажи, прелестные и талантливые, хотя и дилетантские. Способ его работы был удивителен, – писал он их, не глядя на натуру, сидя спиной к окну. Писал две акварели, совершенно разные, одновременно. Он макал кисточку в коричневую краску и накладывал разом все коричневые пятна сначала на левый лист альбома, где создавалась одна акварель, потом на правый лист, где создавалась вторая. Затем брал другую кисточку, макал ее в синюю краску и на оба листа накладывал синие пятна. И на обоих листах мало-помалу возникали горы, море, степь, облака – все очень похожее на Коктебель и в то же время вовсе не изображающее какую-нибудь реальную существующую часть Коктебеля...»

Новая власть, впрочем, все жестче закручивала гайки. «На душе нерадостно, – сообщал Волошин К. Добраницкому. – То, что нам лично хорошо, – не радует, потому что столько горя и несправедливости кругом, что это не только не радует, но скорее обессиливает в творческой работе...» Реже стали приезжать друзья. Местные власти пытались реквизируют дом. А 9 декабря 1929 года поэт перенес тяжелый инсульт, от последствий которого уже не оправился.

«Приехав в Коктебель (в 1932 году), – вспоминал Н. Чуковский, – я сразу узнал, что он (Волошин) очень болен. Я поспешил к нему. Макс, необычайно толстый, расплывшийся, сидел в соломенном кресле. Дышал он громко. Он заговорил со мной, но слов его я не понял, – после удара он стал говорить невнятно. Одна только Марья Степановна понимала его и в течение всей нашей беседы служила нам как бы переводчиком. При всем том он был в полном сознании. Когда я сказал ему, что стихи его пойдут в „Новом мире“ (они там не появились), лицо его порозовело от радости. Снова и снова почти нечленораздельными звуками просил он меня повторить привезенную мною новость.

Через несколько дней (11 августа 1932 года) у него был второй удар, и он умер.

Он лежал в саду перед своим домом в раскрытом гробу. Гроб казался почти квадратным – так широк и толст был Макс. Лицо у него было спокойное и доброе, – седая борода покрывала грудь. Мы узнали, что он завещал похоронить себя на высоком холме над морем, откуда открывался вид на всю коктебельскую долину. Гроб поставили на телегу, возница стегнул лошадь и маленькая процессия потянулась через накаленную солнцем степь. До подножия холма было километра три, но мы сделали гораздо больший путь, так как обогнули холм кругом, – с той стороны подъем на холм был легче. И все же лошадь на холм подняться не могла, и метров двести вверх нам пришлось нести гроб на руках. Это оказалось очень трудным делом. Макс в гробу был удивительно тяжел, а мужчин среди провожающих оказалось только пятеро – Габричевский, чтец Артболевский, писатель Георгий Петрович Шторм и я. Кто был пятый – я забыл. Солнце жгло

нестерпимо, и, добравшись до вершины, мы были еле живы от усталости. Зато отсюда мы увидели голубовато-лиловые горы и мысы, окаймленные белой пеной прибоя, и всю просторную, налитую воздухом впадину коктебельской долины, и далекий дом Волошиных с деревянной башенкой, и даже дельфинов, движущихся цепочкой через бухту. Знойный воздух звенел от треска цикад в сухой траве. Могильщики уже вырыли яму, гроб закрыли крышкой и опустили в светло-рыжую сухую глину. Чтец Артболевский, высокий, худой, в черном городском пиджачном костюме, прочел над могилой стихотворение Баратынского «На смерть Гёте». И мы поплелись вниз с холма...»

Михаил Алексеевич Кузмин

Родился 6 (18) октября 1872 года в Ярославле.

Долгое время сознательно преуменьшал свой возраст, называя годом рождения то 75-й, то 76-й, то даже 77-й. «Моему отцу при моем рожденье было 60 лет, – вспоминал он, – матери – 40. Отца я помню совсем стариком, в городе все его принимали за моего деда, но не отца. В молодости он был очень красив красотою южного и западного человека, был моряком, потом служил по выборам, вел, говорят, бурную жизнь и в старости был человеком с капризным, избалованным, тяжелым и деспотическим характером. Мать, по природе, может быть, несколько легкомысленная, любящая танцы, перед свадьбой только что влюбившаяся в прошлого жениха, отказавшегося затем от нее, потом вся в детях, робкая, молчаливая, чуждающаяся знакомых и, в конце концов, упрямая и в любви и в непонимании чего-нибудь. В Ярославле я прожил года полтора, после чего мы все переехали в Саратов...»

В Саратове Кузмин пошел в гимназию.

«Я был один, братья в Казани, в юнкерском училище, сестры в Петербурге на курсах, потом замужем. У меня все были подруги, не товарищи, и я любил играть в куклы, в театр, читать или разыгрывать легкие попури старых итальянских опер, так как отец был их поклонником, особенно Россини...»

Рос Кузмин крайне неуравновешенным. Он то бросался в истовую религиозность, то находили на него приступы безверия. В Петербурге, куда в 1884 году переехали Кузмины, самым значительным знакомством оказалось для него знакомство с Г. В. Чичериным, будущим наркомом иностранных дел при Советской власти. «Я радовался, – вспоминал поэт, – отдыхая в большой, „как следует“, барской семье и внешних видах обеспеченного житья. Мы сошлись в обожании музыки, вместе бегали на „Беляевские концерты“, изучали Моцарта, ходили на галерею в театр. Я начал писать музыку и мы разыгрывали перед семейными наши композиции. Написав несколько ценных по мелодии, но невообразимых по остальному романсов, я приступил к операм и все писал прологи к „Дон Жуану“ и „Клеопатре“ и, наконец, сам текст и музыку к „Королю Милло“ по Гоцци. Это первое, что я рискнул в литературе...» Дружбе с Чичериным Кузмин был обязан и хорошим знанием иностранных языков.

Почти всю свою сознательную жизнь Кузмин вел дневник. «Я должен быть искренен и правдив, хотя бы перед самим собою, относительно того сумбура, что царит в моей душе, – отмечал он в дневнике, – но если у меня есть три лица, то больше еще человек во мне сидит, и все вопиют, и временами один перекрикнет другого, и как я их согласую, сам не знаю. Мои же три лица до того непохожи, до того враждебны друг другу, что только тончайший глаз не прельстится этою разницей, возмущающей всех, любивших какое-нибудь одно из них, суть: с длинною бородою, напоминающее чем-то Винчи, очень изнеженное и будто доброе и какой-то подозрительной святости, будто простое, но сложное; второе, с острой бородкой – несколько фатовское, французского корреспондента, более грубо-тонкое, равнодушное и скучающее, лицо Евлогия; третье, самое страшное – без бороды и усов, не старое и не молодое, 50-летнего старика и юноши, – Казанова, полушарлатан, полуаббат, с коварным и по-детски свежим ртом, сухое и подозрительное...»

В 1891 году поступил в Петербургскую консерваторию. Учился у Лядова, Римского-Корсакова, Соловьева, музыку любил и понимал, однако консерваторию не закончил, неожиданно бросил ее, решив брать частные уроки у В. В. Кюнера. На поступках Кузмина сказывались некоторые личные его особенности. «В 1893 году я встретился с человеком, – откровенно писал он в дневнике, – которого очень полюбил и связь с которым обещала быть прочной. Он был старше меня года на 4 и офицер конного полка. Было очень трудно выискивать достаточное время, чтобы ездить к нему, скрывать, где бываю с ним и т. д., но это было из счастливейших времен моей жизни, и тут я очень много писал музыки... Моя жизнь не особенно одобрялась моею матерью; как это ни странно, к этому времени относится моя попытка отравиться. Я не понимаю, чем я руководствовался в этом поступке: может быть, я надеялся, что меня спасут. Я думаю, что незнание жизни, считание моего положения каким-то особенным, недовольство консерваторией, невозможность достаточно широко жить, романтизм и легкомыслие меня побудили к этому... Но весной я поехал с князем Жоржем в Египет. Мы были в Константинополе, Афинах, Смирне, Александрии, Каире, Мемфисе. Это было сказочное путешествие по очаровательности... и небывалости виденного. На обратном пути он должен был поехать в Вену, где была его тетка, я тут же вернулся один. В Вене мой друг умер от болезни сердца, я же старался в усиленных занятиях забыть. Я стал заниматься с Кюнером, и каждый шаг был наблюдаем с восторгом Чичериным, дружбе с которым это был медовый год...»

Смерть друга, с которым он совершил путешествие, действительно потрясла Кузмина. Он твердо решил полностью изменить жизнь, навести в ней порядок. Он жестко регламентировал занятия, пищу, чтение, но хватило его терпения не надолго. Скоро он вновь уехал в Италию. «Рим меня опьянил; тут я увлекся lift-boy'ем Луиджино, которого увез из Рима с согласия его родителей во Флоренцию, чтобы потом он ехал в Россию в качестве

слуги. Я очень стеснялся в деньгах, тратя их без счета. Я был очень весел, и все неоплатоники влияли только тем, что я себя считал чем-то демоническим. Мама в отчаянии обратилась к Чичерину (находившемуся в то время в Германии). Тот неожиданно приехал во Флоренцию, Луиджино мне уже поднадоел, и я охотно дал себя спасти. Юша (Чичерин) свел меня с каноником Mori, иезуитом, сначала взявшим меня в свои руки, а потом и переселившим совсем к себе, занявшись моим обращением. Луиджино мы отправили в Рим, все письма диктовал мне Mori. Я не обманывал его, отдавшись сам убаюкивающему католицизму, но форменно я говорил, как бы я хотел „быть“ католиком, но не „стать“. Я бродил по церквам, по его знакомым, к его любовнице, маркизе Espinosi Morodi в имение, читал жития святых великомучеников, и был готов сделаться духовным и монахом. Но письма мамы, поворот души, солнце, вдруг утром особенно замеченное мною однажды, возобновившиеся припадки истерии, заставили меня попросить маму вытребовать меня телеграммой. Мы простились с каноником со слезами, обещая друг другу скорое свидание...»

В Петербурге, «войдя глубоко в русское, я увлекся расколом и навсегда охладел к официальному православию. Войти в раскол я не хотел, а не входя не мог пользоваться службами и всем аппаратом так, как бы я хотел. В это время я познакомился с продавцом древностей Казаковым, старообрядцем моих лет, плутоватым, вечно строящим планы, бестолковым и непостоянным. Я стал изучать крюки, познакомился со Смоленским, старался держаться как начетчик и гордился, когда меня принимали за старовера...» Каждое лето Кузмин проводил теперь в провинциальных городках или в деревнях на Волге. «Удивила его тогдашняя внешность, – вспоминал художник М. Добужинский. – Он носил синюю поддевку и, своей смуглостью, черной бородой и слишком большими глазами, подстриженный „в скобку“, походил на цыгана. Потом он эту внешность изменил (и не к лучшему – побрился и стал носить франтовские жилеты и галстуки). Его прошлое окружала странная таинственность – говорили, что он не то жил одно время в каком-то скиту, не то был сидельцем в раскольничьей лавке, но что по происхождению был полуфранцуз и много странствовал по Италии...»

В 1908 году вышел первый сборник стихов Кузмина – «Сети», в 1912 году – «Глиняные голубки». Изысканная стилистика, необыкновенная музыкальность стихов (многие Кузмин исполнял под собственную музыку) очень быстро принесли популярность поэту. В 1918 году вышли его сборники – «Вожатый» и «Двум», в 1920-ом – «Занавешенные картинки», в 1921-ом – «Нездешние вечера» и «Эхо», в 1922-ом – «Параболы», в 1924-ом – «Новый Гуль».

«Когда видишь Кузмина в первый раз, – писал Волошин, – то хочется спросить его: „Скажите откровенно, сколько вам лет?“ – но не решаешься, боясь получить в ответ: „Две тысячи“. – Без сомнения, он молод, и, рассуждая здраво, ему не может быть больше 30 лет, но в его наружности есть нечто столь древнее, что является мысль, не есть ли он одна из

египетских мумий, которой каким-то колдовством возвращена жизнь и память. Только он не из мумий древнего Египта. Такие лица встречаются часто на эль-файумских портретах, которые, будучи открыты очень недавно, возбудили такой интерес европейских ученых, дав впервые представление о характере физиономий Александрийской эпохи. У Кузмина такие же огромные черные глаза, такая же гладкая черная борода, резко обрамляющая бледное восковое лицо, такие же тонкие усы, струящиеся по верхней губе, не закрывая ее. Он мал ростом, узкоплеч и гибок телом, как женщина. У него прекрасный греческий профиль, тонко моделированный и смело вылепленный череп, лоб на одной линии с носом и глубокая, смелая выемка, отделяющая нос от верхней губы и переходящая в тонкую дугу уст. Такой профиль можно видеть на изображениях Перикла и на бюсте Диомеда. Но характер бесспорной античной подлинности лицу Кузмина дает особое нарушение пропорций, которое встречается только на греческих вазах; его глаз посажен очень глубоко и низко по отношению к переносице, как бы несколько сдвинут на щеку, если глядеть на него в профиль. Его рот почти всегда несколько обнажает нижний ряд его зубов, и это дает лицу его тот характер ветхости, который так поражает в нем. Несомненно, что он умер в Александрии молодым и красивым юношей и был весьма искусно набальзамирован. Но пребывание во гробе сказалось на нем, как на воскресшем Лазаре...»

«Душа, я горем не терзаем, не плачу, ветренная странница. Все продаем мы, всем должны, скоро у нас ничего не останется... Конечно, есть и Бог, и небо, и воображение, которое не ленится, но когда сидишь почти без хлеба, становишься, как смешная пленница...»

«Денег ни гроша, – записал Кузмин в дневнике в июле 1923 года. – Когда я засветло, но уже в одиннадцатом часу шел домой, очень тоскливо думал о своем положении и своей судьбе, на Надеждинской стоял автомобиль с необыкновенно ярким фонарем. Иногда силуэт на нем шофера. Этот при дневном свете желтый огонь будто на том свете, – безнадежно и необыкновенно сладостно...» Ощущение такой нереальности, такой прозрачности мира было в те годы знакомо многим, но Кузмина оно, видимо, охватывало с какой-то совершенно необычайной силой. «Ведь все это призраки – и Луначарский, и красноармейцы, этому нет места в природе...» – записывал он. И дальше: – «Погода такая, что не хочется уходить с улицы. В такие дни большевики ужасно некстати...» – И дальше: – «Мне все кажется, что это – не жизнь, не люди, не репетиции, не улицы, а какая-то скучная, сатанинская игра теней, теней и теней...»

«Ах, не плыть по голубому морю,
Не видать нам Золотого Рога,
Голубей и площади Сан-Марка.
Хорошо отплыть туда, где жарко,
Да двоицца милая дорога,
И не знаю, к радости иль к горю.

Не видать открытых, светлых палуб
И судов с косыми парусами,
Золотыми в зареве заката.
Что случается, должно быть свято,
Управляем мы судьбой не сами,
Никому не надо наших жалоб.

Выходом, спасительным для Кузмина, явилась продажа его «Дневника» Государственному литературному музею». Уже 17 декабря 1933 года поэт писал профессору Ю. А. Бахрушину: «Я послал расписку в получении денег Владимиру Дмитриевичу (Бонч-Бруевичу, через которого „Дневник“ поступил в музей). Дошло все благополучно, хотя почтовое отделение и было потрясено, и мы ходили дважды с чемоданами получать мои тысячи, как в старом кино „Ограбление Виргинской почты“. Да, значит: архив ушел, деньги уйдут, но, надеюсь, приобретенные при этом хорошие отношения останутся...»

Умер Кузмин 3 марта 1936 года в Ленинграде.

История его «Дневников» трагична. Уже в 1934 году они были истребованы из Гослитмузея органами НКВД. «Кузмина уже не было в живых той порой, – писал исследователь его творчества А. Г. Тимофеев, – когда по его „Дневнику“ (либо: в том числе – и по его „Дневнику“) начали брать людей. До недавнего времени эта версия слыла зловещей и леденящей кровь легендой, но факты литературной жизни Ленинграда поздних тридцатых заставляют признать ее более чем достоверной (не исключено, что „Дневник“ начали использовать и при жизни автора). Нельзя не скорбеть о том, что стихотворения (Кузмина) 30-х годов (сборники „Тристан“, „Простой мир“, поэма „Убийством усыновленный“) и переводы сонетов Шекспира были реквизированы ГПУ при аресте друга Кузмина писателя Юрия Юркуна в 1938 году и, очевидно, бесследно исчезли в одну из блокадных ленинградских зим, когда ГПУ жгло и истребляло свои архивы. Не стал ли Кузмин убийцей (в метафизическом, разумеется, смысле) своего любимого друга и многих других подававших надежды прозаиков и поэтов?... И, вероятно, уже никто не узнает, сколько таких косвенных убийств лежит на совести этого изящного человека, в котором совсем не хочется видеть – в унисон с ахматовской концепцией „Поэмы без героя“ (где он выведен в маске сеющего зло Калиостро) – посланника Ада, толкующего о „страсти нежной“ и увлекательной дружбе-любви... Нам возразят, что нешахматный ум Кузмина не мог предвидеть темную историю проданного в музей „Дневника“. На это ответ: если речь идет о художнике, в сознании которого замысел пьесы о Нероне возник в момент сооружения мавзолея, а не в год „великого перелома“, когда пьеса „Смерть Нерона“ была написана, – такой аргумент едва ли приемлем».

Николай Степанович Гумилев

Родился 3 (15) апреля 1886 года в Кронштадте.

По выходу отца (морского врача) в отставку, семья переехала в Царское село, оттуда в Тифлис. В газете «Тифлисский листок» в сентябре 1902 года было напечатано первое стихотворение Гумилева. Учился он плохо, гимназию закончил только в двадцать лет, уже в Царском Селе. Там же, в последнем классе гимназии выпустил в свет сборник стихов «Путь конквистадоров». Сборник попал на глаза Брюсову и мэтр доброжелательно отметил ряд, на его взгляд, удачных образов.

В 1907 году Гумилев уехал в Париж. Правда, в Сорбонне он учился ничуть не лучше, чем в гимназии, зато затеял издание литературного журнала «Сириус». Среди авторов (весьма немногочисленных) оказалась Анна Горенко, будущая жена Гумилева. Сама она к затее Гумилева отнеслась скептически. «Зачем Гумилев взялся за „Сириус“? – писала она другу 13 марта 1907 года. – Это меня удивляет и приводит в необычайно веселое настроение... Вы заметили, что сотрудники почти все так же известны и почтенны, как я?».

Не менее скептически отнеслись к молодому поэту Мережковский и Гиппиус, жившие тогда в Париже. «Я имел к Зинаиде Николаевне рекомендательное письмо от ее знакомой писательницы Микулич и однажды днем я отправился к ней, – сообщал Гумилев Брюсову. – Войдя, я отдал письмо и был введен в гостиную. Там, кроме Зинаиды Николаевны, были еще Философов, Андрей Белый и Мережковский. Последний почти тотчас скрылся, остальные присутствующие отнеслись ко мне очень мило, и Философов начал меня расспрашивать о моих философско-политических убеждениях. Я смутился, потому, чтобы рассказать мое мировоззрение стройно и связно, потребовалась бы целая речь, а это было невозможно. Я отвечал, как мог, отрывая от своей системы клочки мыслей, неясные и недосказанные. Но, очевидно, желание общества было подвести меня под какую-нибудь рамку. Сначала меня сочли мистическим анархистом – оказалось неправильно. Учеником Вячеслава Иванова – тоже. Последователем Сологуба – тоже. Наконец сравнили с каким-то французским поэтом Бетнуаром или что-то в этом роде. На мою беду в эту минуту вошел хозяин дома Мережковский, и Зинаида Николаевна сказала ему: „Ты знаешь, Николай Степанович напоминает Бетнуара“. Это было моей гибелью. Мережковский положил руки в карманы, встал у стены и начал отрывисто и в нос: „Вы, голубчик, не туда попали! Вам не здесь место! Знакомство с вами ничего не даст ни вам, ни нам. Говорить о пустяках совестно, а в серьезных вопросах мы все равно не сойдемся. Единственное, что мы могли бы сделать, это спасти вас, так как вы стоите над пропастью. Но это ведь...“ Тут он остановился, я добавил тоном вопроса: „Дело не интересное?“ И он откровенно ответил: „Да“, – и повернулся ко мне спиной. Чтобы сгладить эту неловкость, я посидел еще минуты три, потом стал прощаться. Никто меня не удерживал, никто не приглашал...»

В Париже вышел сборник стихов Гумилева «Романтические цветы». Давно увлеченный мечтой об Африке, поэт просил у отца денег, но отец посчитал такое путешествие совершенно пустым занятием. Гумилев, экономя деньги, присылаемые ему на жизнь, все же совершил поездку в Африку, навсегда после этого заболев черным материком. Чтобы не дать отцу возможности вмешаться в свои планы, Гумилев заблаговременно написал несколько писем, оставил их друзьям, – они и посылали письма в Россию через определенные промежутки.

Вернувшись в 1908 году в Петербург, Гумилев активно вошел в литературную жизнь столицы. Настолько активно, что в 1909 году в мастерской художника А. Я. Головина произошло его резкое столкновение с Максимилианом Волошиным, вызванное сложными отношениями обоих с поэтессой Е. Дмитриевой. Присутствовавшие при ссоре Анненский, Головин, В. Иванов пытались вмешаться, но Гумилев вызвал Волошина на дуэль.

«Весь следующий день между секундантами шли отчаянные переговоры, – вспоминал позже Алексей Толстой. – Гумилев предъявил требование стреляться в пяти шагах до смерти одного из противников. Он не шутил. С большим трудом, под утро, секундантам Волошина – князю Шервашидзе и мне – удалось уговорить секундантов Гумилева – Зноско-Боровского и М. Кузмина – стреляться на пятнадцати шагах. Но надо было уломать Гумилева.

На это был потрачен еще день.

Наконец, на рассвете третьего дня, наш автомобиль выехал за город по направлению к Новой Деревне. Дул мокрый морской ветер, и вдоль дороги свистели и мотались голые вербы. За городом мы нагнали автомобиль противников, застрявший в снегу. Мы позвали дворников с лопатами, и все, общими усилиями, выставили машину из сугроба. Гумилев, спокойный и серьезный, заложив руки в карманы, следил за нашей работой, стоя в стороне. Выехав за город, мы оставили на дороге автомобили и пошли на голое поле, где были свалки, занесенные снегом. Противники стояли поодаль, мы совещались, меня выбрали распорядителем дуэли. Когда я стал отсчитывать шаги, Гумилев, внимательно следивший за мной, просил меня передать, что я шагаю слишком широко. Я снова отмерил пятнадцать шагов, просил противников встать на места и начал заряжать пистолеты. Пыжей не оказалось, я разорвал платок и забил его вместо пыжей. Гумилеву я понес пистолет первому. Он стоял на кочке, длинным, черным силуэтом различимый в мгле рассвета. На нем был цилиндр и сюртук, шубу он сбросил на снег. Подбегая к нему, я провалился по пояс в яму с талой водой. Он спокойно выжидал, когда я выберусь, взял пистолет, и тогда только я заметил, что он не отрываясь с ледяной ненавистью глядит на Волошина, стоявшего, расставив ноги, без шапки. Передав второй пистолет Волошину, я, по правилам, в последний раз предложил мириться, но Гумилев перебил меня, сказав глухо и недовольно: «Я приехал драться, а не мириться». Тогда я просил приготовиться и начал громко считать: раз, два... (Кузмин, не в силах стоять, сел в снег и заслонился цинковым хирургическим ящиком, чтобы не

видеть ужасов)...три! – крикнул я. У Гумилева блеснул красноватый свет, и раздался выстрел. Прошло несколько секунд. Второго выстрела не последовало. Тогда Гумилев крикнул с бешенством: «Я требую, чтобы этот господин стрелял». Волошин проговорил в волнении: «У меня была осечка». – «Пускай он стреляет во второй раз, – крикнул опять Гумилев, – я требую этого!» Волошин поднял пистолет и я слышал, как щелкнул курок, но выстрела не было. Я подбежал к нему, выдернул у него из дрожащей руки пистолет и, целя в снег, выстрелил. Гашеткой мне ободрало палец. Гумилев продолжал неподвижно стоять. «Я требую третьего выстрела». Мы начали совещаться и отказали...»

25 апреля 1910 года Гумилев женился на Анне Андреевне Горенко (Ахматовой). Свадебное путешествие они совершили в Париж. А уже осенью, оставив молодую жену дома (поселились они в имении Гумилевых Слепневе), выпустив в свет книгу стихов «Жемчуга» (посвященную В. Брюсову), Гумилев вновь уехал в Африку.

В 1911 году у Гумилевых родился сын Лев, будущий известный ученый. В том же году Гумилев организовал «Цех поэтов», в недрах которого возникло новое направление в русской поэзии – акмеизм. «Для внимательного читателя, – писал Гумилев в статье „Наследие символизма и акмеизм“, – ясно, что символизм закончил свой круг развития и теперь падает. На смену символизму идет новое направление, как бы оно ни называлось, акмеизм ли (от слова акмэ – высшая степень чего-либо, цвет, цветущая пора) или адамизм (мужественно твердый и ясный взгляд на жизнь), во всяком случае, требующее большего равновесия сил и более точного знания отношений между субъектом и объектом, чем то было в символизме. Однако, чтобы это течение утвердило себя во всей полноте и явилось достойным преемником предшествующего, надо, чтобы оно приняло его наследство и ответило на все поставленные им вопросы. Слава предков обязывает, а символизм был достойным отцом...»

Глубоко веря в силу ремесла, Гумилев и поэтической работе придавал строго цеховую форму. Во главе «Цеха поэтов» стояли синдики – уже сложившиеся мастера – Гумилев и Городецкий. Им помогал стряпчий Д. В. Кузьмин-Караваев. Синдикам, поочередно проводившим заседания, всецело подчинялись подмастерья. Они обязаны были работать над своими произведениями, не проявляя никакого своеволия и слушаясь синдигов. Кроме акмеистических журналов «Гиперборей» и «Аполлон», подмастерья нигде не могли печатать свои вещи без специального разрешения.

В 1913 году Гумилев вновь едет в Африку. На этот раз с командировкой от Академии наук. «Многоуважаемый Лев Яковлевич, – сообщал он академику Штембергу, – как Вы увидите по штемпелю, мы уже в Абиссинии. Нельзя сказать, чтобы путешествие началось совсем без приключений. Дождями размыло железную дорогу, и мы ехали 80 километров на дрезине, а потом на платформе для перевозки камней. Прибыв в Дире-Дауа, мы тотчас же отправились в Харар покупать мулов, так как здесь они дороги. Купили пока

четырёх, очень недурных, в среднем по 45 р. за штуку. Потом вернулись в Дире-Дауа за вещами и здесь взяли четырёх слуг, двоих абиссинцев и двух галласов, и пятого переводчика, бывшего ученика католической миссии, галласа... Мой маршрут более или менее устанавливается. Я думаю пройти к Баре, оттуда по реке Уэби Сидамо к озеру и, пройдя по земле Пруссии, по горному хребту Ахмор, вернуться в Дире-Дауа. Таким образом я все время буду в наименее изученной части Галла...»

В августе 1914 года, в самом начале войны, Гумилев вступил вольноопределяющимся, «охотником», как тогда принято было говорить, в лейб-гвардии Её величества уланский полк, входивший в состав 2-й гвардейской кавалерийской дивизии конницы хана Нахичеванского. В «Записках кавалериста», регулярно появлявшихся с февраля 1915 по январь 1916 года в газете «Биржевые ведомости», Гумилев подробно рассказывал о виденном на фронте.

«Вдруг ползущий передо мной остановился, и я с размаху ткнулся лицом в широкие и грязные подошвы его сапог. По его лихорадочным движениям я понял, что он высвобождает из ветвей свою винтовку. А за его плечом на небольшой, тесной поляне, шагах в пятнадцать, не дальше, я увидел немцев. Их было двое, очевидно, случайно отошедших от своих: один – в мягкой шапочке, другой – в каске, покрытой суконным чехлом. Они рассматривали какую-то вещицу, монету или часы, держа её в руках. Тот, что в каске, стоял ко мне лицом, и я запомнил его рыжую бороду и морщинистое лицо прусского крестьянина. Другой стоял ко мне спиной, показывая сутуловатые плечи. Оба держали у плеча винтовки с примкнутыми штыками. Только на охоте за крупными зверьми, леопардами, буйволами, я испытал то же чувство, когда тревога за себя вдруг сменялась боязнью упустить великолепную добычу. Лежа, я подтянул свою винтовку, отвел предохранитель, прицелился в самую середину туловища того, кто был в каске, и нажал спуск. Выстрел оглушительно пронёсся по лесу. Немец опрокинулся на спину, как от сильного толчка в грудь, не крикнув, не взмахнув руками, а его товарищ как будто согнулся и как кошка бросился в лес. Над моим ухом раздались ещё два выстрела, и он упал в кусты, так что видны были только его ноги. „А теперь айда!“ – шепнул взводный с веселым и взволнованным лицом, и мы побежали. Лес вокруг нас ожил. Гремели выстрелы, скакали кони, слышалась команда на немецком языке. Мы добежали до опушки, но не в том месте, откуда пришли, а много ближе к врагу. Надо было перебежать к перелеску, где, по всей вероятности, стояли неприятельские посты. После короткого совещания было решено, что я пойду первым, и, если буду ранен, то мои товарищи, которые бежали гораздо лучше меня, подхватят меня и унесут. Я наметил себе на полпути стог сена и добрался до него без помехи. Дальше приходилось идти прямо на предполагаемого врага. Я пошел, согнувшись и ожидая каждую минуту получить пулю вроде той, которую сам только что послал неудачливому немцу. И прямо перед собой в перелеске я увидел лисицу. Пушистый

красновато-бурый зверь грациозно и неторопливо скользил между стволов. Не часто в жизни мне приходилось испытывать такую чистую, простую и сильную радость. Где есть лисица, там наверное нет людей. Пусть к нашему отступлению свободен...»

В декабре 1914 года Гумилев получил звание ефрейтора и Георгиевский крест IV степени. В январе 1915 года – произведен в унтер-офицеры, а в декабре удостоен второго Георгиевского креста – III степени. Наконец, в мае 1917 года – назначен в русский экспедиционный корпус, находившийся в расположении союзников. Через Финляндию, Швецию, Норвегию, Англию Гумилев прибыл в Париж.

«О его службе там (в Париже) мало что известно, но и малая осведомленность дает мне основание высказать предположение, что Гумилев служил в русской разведке, – писал в 1988 году писатель В. Карпов, сам в прошлом военный разведчик. – Основанием для такой гипотезы служит то, что на фронте он был разведчиком, и то, что в Париже, и позднее в Лондоне, Гумилев был связан с военным атташе. Это предположение я не могу подкрепить неопровержимыми документами, но есть бумаги, косвенно его подтверждающие, хотя бы служебная „Записка об Абиссинии“, написанная рукой Гумилева. Это информационный документ, характеризующий мобилизационные возможности Абиссинии для пополнения войск союзников, она Гумилевым так и названа: „Записка относительно могущей представиться возможности набора отряда добровольцев“. Подробно и со знанием дела Гумилев излагает мобилизационные возможности абиссинских племен. Записка эта написана Гумилевым на французском языке и, очевидно, использовалась как русским, так и французским командованием...»

В апреле 1918 года Гумилев вернулся в Россию. Здесь вышли сборники «Колчан», «Костер», «Фарфоровый павильон», африканская поэма «Мик», а в 1919 – перевод вавилонского эпоса «Гильгамеш». Тогда же, в 1918 году Гумилев развелся с Ахматовой и женился на Анне Энгельгард. Он поселился в одной из комнат Дома искусств, приспособленного под общежитие писателей, но из-за трудных условий скоро отправил жену в Слепнево. Входил в редколлегию издательства «Всемирная литература». Выступал с многочисленными лекциями в Тенишевском училище, в Пролеткульте, в Балтфлоте. Руководил поэтической студией «Звучащая раковина», создал второй «Цех поэтов».

«О семинаре Гумилева в среде любителей поэзии сложилось немало легенд, и от меня хотели узнать, что в этих легендах правда, а что – вымысел, – вспоминал позже Николай Чуковский, активный участник „Звучащей раковины“. – Особенно упорным является предположение, будто Гумилев заставлял своих учеников чертить таблицы и учил их писать стихи, бросая на эти таблицы шарик из хлебного мякиша. Так вот, что было и чего не было: таблицы были, шарика не было. Гумилев представлял себе поэзию как сумму неких механических приемов, абстрактно-заданных, годных для всех времен

и для всех поэтов, не зависящих ни от судьбы того или иного творца, ни от каких-либо общественных процессов. В этом он перекликался с так называемыми формалистами, группировавшимися вокруг общества ОПОЯз (Виктор Шкловский, Роман Jakobson, Б. Эйхенбаум и др.). Но в отличие от теорий опоязовцев, опиравшихся на университетскую науку своего времени, теории Николая Степановича были вполне доморощенными. Для того, чтобы показать уровень лингвистических познаний Гумилева, приведу только один пример: он утверждал на семинаре, что слово „семья“ произошло от слияния двух слов „семь я“, и объяснял это тем, что нормальная семья состоит обычно из семи человек – отца, матери и пятерых детей. Все это мы, студенты, добросовестно записывали в свои тетради. Стихи, по его мнению, мог писать каждый, для этого следовало только овладеть приемами. Кто хорошо овладеет всеми приемами, тот будет великолепным поэтом. Чтобы легче было овладевать приемами, он их систематизировал. Эта систематизация и была, по его мнению, теорией поэзии.

Теория поэзии, утверждал он, может быть разделена на четыре отдела: фонетику, стилистику, композицию и эйдологию. Фонетика исследует звуковую сторону стиха – ритмы, инструментовку, рифмы. Стилистика рассматривает впечатления, производимые словом, в зависимости от его происхождения. Все слова русской речи Николай Степанович по происхождению делил на четыре разряда: славянский, атлантический, византийский и монгольский. В славянский разряд входили все исконно славянские слова, в атлантический – все слова, пришедшие к нам с запада, в византийский – греческие, в монгольский – слова, пришедшие с востока. Композиция тоже делилась на много разрядов, из которых главным было учение о строфике. Эйдологией он называл учение об образе (эйдол – идол – образ). Так как каждый отдел и каждый раздел делились на ряд подразделов и подразделов, то всю теорию поэзии можно было вычертить на большом листе бумаги в виде наглядной таблицы, что мы, участники семинара, и обязаны были делать с помощью цветных карандашей. Подотделы и подразделы располагались на этой таблице таким образом, что составляли вертикальные и горизонтальные столбцы. Любое стихотворение любого поэта можно было вчертить в эту таблицу в виде ломаной линии, отдельные отрезки которой располагались то горизонтально, то вертикально, то по диагонали. Чем лучше стихотворение, тем больше различных элементов будет приведено в нем в столкновении и, следовательно, тем больше углов образует на таблице выражающая его линия. Линии плохих стихов пойдут напрямик – сверху вниз или справа налево. Таким образом, эта таблица, по мнению ее создателя, давала возможность не только безошибочно и объективно критиковать стихи, но и писать их, не рискуя написать плохо. Мы, студисты, – не без юмора замечал Чуковский, – усердно сидели над своими таблицами и, тем не менее, писали на удивление скверные вирши. На семинаре мы читали их поочередно, по кругу, и Николай Степанович судил нас. Когда по кругу приходила его очередь, читал и он – новые стихи,

написанные в промежутке между двумя семинарами. Он много писал в те годы, то были годы расцвета его дарования, он писал все лучше. Не знаю, пользовался ли он сам своими таблицами. Одно для меня несомненно – к таблицам он относился совершенно серьезно...»

Чуковский был прав, говоря о расцвете дарования Гумилева. В последних своих книгах («Костер», «Шатер», «Огненный столп») он предстал перед читателями поэтом, действительно создавшим свой собственный, ни на какой другой непохожий мир.

«Прекрасно в нас влюбленное вино, и добрый хлеб, что в печь для нас садится, и женщина, которою дано, сперва измучившись, нам насладиться... Но что нам делать с розовой зарей над холодеющими небесами, где тишина и неземной покой, что делать нам с бессмертными стихами?... Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать, мгновение бежит неудержимо, и мы ломаем руки, но опять осуждены идти все мимо, мимо... Как мальчик, игры позабыв свои, следит порой за девичьим купаньем, и, ничего не зная о любви, все ж мучится таинственным желаньем... Как некогда в разросшихся хвощах, ревела от сознания бессилья тварь скользкая, почуяв на плечах еще не появившиеся крылья... Так век за веком – скоро ли, Господь? – под скальпелем природы и искусства, кричит наш дух, изнемогает плоть, рождая орган для шестого чувства...»

Жил Гумилев в бывшей редакции журнала «Аполлон». Николай Чуковский, побывавший там со своим приятелем, вспоминал: «Никаких следов редакции уже не осталось, – это была теперь жилая квартира, холодная, запущенная, почти без мебели. Статуя Аполлона Бельведерского исчезла, но зато в просторной редакционной приемной на стене висел громадный, во весь рост, портрет Анны Ахматовой, не знаю, чьей работы, поразительно похожий. К тому времени Николай Степанович был уже с Ахматовой давно в разводе и в плохих отношениях, и поэтому увидеть портрет ее в этой комнате мы не ожидали.

Шумно пылал огонь в большом камине. Перед камином на стопочке книг сидел Николай Степанович, поджав колени к подбородку. На нем была темная домашняя курточка, самая затрапезная, но и в ней он казался таким же торжественным и важным, как всегда. Нас, попритихших и испуганных, он принял серьезно, как равных. Он усадил нас перед камином на книги и объяснил, что все редакционные столы и стулья он уже сжег. И я с удивлением увидел, что в камине пылают не дрова, а книги, – большие толстые тома. Николай Степанович сообщил нам, что он топит камин роскошным тридцатитомным изданием сочинений Шиллера на немецком языке. Действительно, издание было роскошнейшее, – в тисненых золотом переплетах, с гравюрами на меди работы Каульбаха, проложенными папиросной бумагой. Брошенный в пламя том наливался огнем, как золотой влагой, а Николай Степанович постепенно перелистывал его с помощью кочерги, чтобы ни одна страница не осталась несгоревшей. Мне стало жаль книг, и я имел неосторожность признаться в этом. Николай Степанович

отнесся к моим словам с величайшим презрением. Он объяснил, что терпеть не может Шиллера и что люди, любящие Шиллера, ничего не понимают в стихах. Существуют, сказал он, две культуры, романская и германская. Германскую культуру он ненавидит и признает только романскую. Все, что в русской культуре идет от германской, отвратительно. Он счастлив, что может истребить хоть один экземпляр Шиллера. Мы почтительно помолчали, хотя я от всей души любил Шиллера, известного мне, правда, только по переводам Жуковского. У Николая Степановича его германофобия была пережитком шовинистических настроений 1914 года, но он вообще был галломан и ставил французскую поэзию несравненно выше русской. Кроме того, теория о двух культурах, романской и германской, помогала ему в борьбе с влиянием Блока, которого он объявлял проводником германской культуры...»

В ночь с 3 на 4 августа 1921 года Гумилев был арестован по обвинению в участии в контрреволюционной Петроградской боевой организации (ПБО), возглавляемой профессором В. Н. Таганцевым.

«Не берусь судить о степени виновности Гумилева, – писал Карпов, – но и невинности его суд не установил. О заговоре Таганцева было подробное сообщение в газете. Про Гумилева, в частности, там сказано следующее: „Гумилев Николай Степанович, 33 л., б. дворянин, филолог, поэт, член коллегии изд-ва „Всемирной литературы“, беспартийный, б. офицер. Участник ПБО, активно содействовал составлению прокламаций к.-р. содержания, обещал связать с организацией в момент восстания группу интеллигентов, которая активно примет участие в восстании, получал от организации деньги на технические надобности“. Решение суда – расстрел.

Хочу высказать просто логические суждения по поводу обстоятельств, в которых оказался Гумилев. Он был офицером. Звание накладывает своеобразный отпечаток на поведение, образ жизни и общение людей военных. Советские офицеры отказались от многих традиций, которые не свойственны Советской Армии. Но мне, советскому офицеру в прошлом, понятно, например, почему до революции офицеры за оскорбление словом, не говоря уж об оскорблении действием, вызывали на дуэль: лишались жизни, сберегая свою честь. Понимая это, я представляю себе Гумилева, к которому, очевидно, пришли его друзья или бывшие сослуживцы-офицеры и, зная его как человека своего круга, предложили, видимо, участвовать в заговоре и для начала написать прокламацию. Но, насколько мне известно, он эту прокламацию не написал. Дальше в обвинении сказано: «обещал связать». Но обещал, опять-таки исходя из чисто офицерских отношений; он просто не мог отказать сотоварищам, даже и не будучи их единомышленником. По старой дружбе обещал. Но в газете ведь не сказано, что он это обещание выполнил. Еще известно, что при аресте у Гумилева были изъяты из письменного стола деньги. Именно те деньги, которые были ему отпущены на «технические надобности». А если деньги были изъяты, следовательно, Гумилев просто не успел осуществить или оплатить какое-то

дело, на которое предназначались эти деньги. Но самое убедительное, на мой взгляд, доказательство лояльности Гумилева в том, что у него нет антисоветских стихотворений. Ни одного! И это говорит об очень многом».

24 августа 1921 года Гумилев был расстрелян.

В 1987 году в журнале «Новый мир» выступил Г. А. Терехов, заслуженный юрист РСФСР, государственный советник юстиции второго класса. «Мне довелось по долгу службы, – писал он, – изучать в свое время все материалы дела, находящегося в архиве. Я ознакомился с делом Гумилева, будучи прокурором в должности помощника Генерального прокурора СССР и являясь членом коллегии Прокуратуры СССР. По делу установлено, что Н. С. Гумилев действительно совершил преступление, но вовсе не контрреволюционное, которое и в настоящее время относится к роду особо опасных государственных преступлений, а так называемое „иное государственное преступление“, а именно – не донес органам советской власти, что ему предлагали вступить в заговорщическую организацию, от чего он категорически отказывался. Никаких других обвинительных материалов, которые изобличали бы Гумилева в участии в антисоветском заговоре, в том уголовном деле, по материалам которого осужден Гумилев, нет. Там содержатся лишь доказательства, подтверждающие недонесение им о существовании контрреволюционной организации, в которую он не вступил. Мотивы поведения Гумилева зафиксированы в протоколе его допроса: пытался его вовлечь в антисоветскую организацию его друг, с которым он учился и был на фронте. Предрассудки дворянской офицерской чести, как он заявил, не позволили ему пойти с доносом. Преступление считается серьезным, но совершено оно не по политическим мотивам. Совершенное Гумилевым преступление по советскому уголовному праву называется – „прикосновенность к преступлению“, и по Уголовному кодексу РСФСР ныне наказывается по ст. 88 УК РСФСР лишением свободы на срок от одного до трех лет или исправительными работами до двух лет. Соучастием недонесение по закону не является. Нельзя смешивать в одну кучу и тех, кто согласился участвовать в заговоре, и тех, кто от этого категорически отказался.

В настоящее время по закону и исходя из требований презумпции невиновности Гумилев не может признаваться виновным в преступлении, по которому он был осужден. Любые иные (в том числе следственные и судебные) материалы, даже если они имеются в других уголовных делах, но не приобщены были в то время к делу Гумилева, не могут быть приняты в настоящее время во внимание юридической (а также и политической) оценки поведения Н. С. Гумилева. Полагаю, что такие материалы (если они существуют) не могут быть сейчас, шестьдесят шесть лет спустя, направлены в обвинение Гумилева, а также использованы литературоведами. Между прочим, в материалах уголовного дела по обвинению Н. С. Гумилева имеется обращение Максима Горького с просьбой в пользу Гумилева».

Саша Черный

Александр Михайлович Гликберг (Саша Черный – литературный псевдоним) родился 1 (13) октября 1880 года в Одессе. Чтобы попасть в гимназию, был крещен, но доучился только до шестого класса. Из-за плохих отношений в семье бежал из дома, попрошайничал, потом вернулся, но родители его не приняли. Попал к житомирскому чиновнику К. К. Роше – человеку доброму, любившему и понимавшему поэзию. К двадцати годам сменил несколько мест, работал даже в Службе сборов, не раз позже с острой насмешкой описанной в его стихах. Впервые напечатался в 1904 году в Житомире, а в следующем году уехал в Петербург. Работал письмоводителем, писал острые стихи, во многом вызванные революционными событиями 1905 года. Тираж первой книги – «Разные мотивы» – был арестован цензурой, однако сам Саша Черный успел уехать и под суд не попал. В течение двух лет жил в Германии, слушал лекции в Гейдельбергском университете.

В 1908 году вернулся в Россию, где сразу попал в знаменитый журнал «Сатирикон». «Сотрудники „Сатирикона“, – вспоминал Корней Чуковский, – одно время были неразлучны друг с другом и всюду ходили гурьбой. Завидев одного, можно было заранее сказать, что сейчас увидишь остальных. Впереди выступал круглолицый Аркадий Аверченко, крупный, дородный мужчина, очень плодовитый писатель, неистощимый остряк, заполнявший своей юмористикой чуть ли не половину журнала. Рядом шагал Радаков, художник, хохотун и богема, живописно лохматый, с широкими пушистыми баками, похожими на петушиные перья. Тут же бросалась в глаза длинная фигура поэта Потемкина. И над всеми возвышался Ре-Ми (или попросту Ремизов), замечательный карикатурист, с милым, нелепым, курносым лицом. Вместе с ними, в их дружной компании, но как бы в стороне, на отлете, шел еще один сатириконец – Саша Черный. Совершенно непохожий на всех остальных, худощавый, узкоплечий, невысокого роста, он, казалось, очутился среди этих людей поневоле и был бы рад уйти от них подальше. Он не участвовал в их шумных разговорах и, когда они шутили, не смеялся. Грудь у него была впалая, шея тонкая, лицо без улыбки. Даже своей одеждой он был не похож на товарищей. Аверченко, в преувеличенно модном костюме, с брильянтом в сногшибательном галстуке, производил впечатление моветонного щеголя, Ре-Ми не отставал от него, а на Саше Черном был вечно один и тот же интеллигентский кургузый пиджак и обвислые, измятые брюки...»

В 1910 году вышел первый том «Сатир» Саши Черного, посвященный «всем нищим духом». В 1911 году – второй. К этому времени Саша Черный был известен уже всей России. «Но меньше всего походил он на баловня судьбы, – вспоминал Корней Чуковский, – очень чуждался публичности, жил (вместе с седоватой женой) в полутемной петербургской квартирке, как живут в номере дешевой гостиницы, откуда собираются завтра же съехать. Кроме книг (а он всегда очень много читал), там не было ни одной такой вещи, в

которую он вложил бы хоть частицу души: шаткий стол, разнокалиберные гнутые стулья. С писателями он почти ни с кем не водился, лишь изредка бывал у Куприна и Леонида Андреева, которые душевно любили его. Да и там при посторонних все больше молчал, и было в его молчании что-то колючее, желчно-насмешливое и в то же время глубоко печальное. Казалось, ему в тягость не только посторонние люди, но и он сам для себя. Это было в порядке вещей, ведь для той маски обанкротившегося интеллигента, от имени которой Саша Черный написал свой сатирический цикл, чрезвычайно характерно представление о мире как об отвратительной и грязной дыре, где копошатся какие-то „гады“ и „жабы“. Но с другой стороны, он и сам в ту пору не раз поддавался соблазнам такого же мрачного восприятия жизни. Это стало мне особенно ясно после одного памятного свидания с ним. Как-то зимою, в морозный и ветреный день, он, возвращаясь в Питер после поездки в Финляндию, иззябший, усталый и как будто больной, заехал ко мне в Куоккалу и, греясь у печки, признался, что водопад Иматра нагнал на него смертельную скуку и что бывали минуты, когда ему страшно хотелось броситься туда вниз головой...»

Однако, вспоминал Чуковский, «в душевном облике молодого Саши Черного бросалось в глаза одно великолепное качество, резко выделявшее его из среды изображаемых им нравственно шатких людей: требовательная, суровая честность, не знающая никаких компромиссов. Я не помню другого писателя, который по принципиальным причинам так часто порывал бы с редакциями, в которых ему приходилось сотрудничать. Уйдя из „Сатирикона“, он перешел в „Сердце России“, но вскоре покинул и этот журнал и перешел в „Современник“, откуда тоже счел необходимым уйти из-за несогласия с редакцией. Потом переключался в „Современный мир“, с редакцией которого порвал очень скоро. Так же поступил он и с „Русской молвой“ и т. д., и т. д., и т. д. И это не потому, что у него был неуживчивый, сварливый характер, а потому что превыше всего он ставил свои строгие литературные принципы. Помню, и из „Шиповника“, где его очень любили, он то и дело порывался уйти. И Вере Евгеньевне Беклемишевой (которая была душою издательства) потребовалось много усилий, чтобы удержать его там...»

В 1914 году Саша Черный добровольцем ушел на фронт. Три года, проведенных на войне, дали ему многое, но революцию он не принял. Перебравшись из Петрограда в Вильно, в 1920 году навсегда покинул Россию. Жил в Берлине, в Риме, с 1924 года – в Париже.

Писатель Г. В. Алексеев так рассказывал о берлинских днях Саши Черного: «Я очень любил приехать к нему на Wallstrasse, засесть в едва сдерживающее тяжесть человеческого тела коварное кресло и слушать, как он говорит и „затрудняется“. У него красивое спокойное лицо, серебро, осыпавшее виски, ласковые глаза, тонкие девичьи руки – во время разговора он любит смахивать со стола пушинки и никогда не смотрит на собеседника: словно говорит для самого себя. Над диваном – полочка с книгами, на стенах

– портреты писателей, в ящиках столов – яичница из своих и чужих рукописей. Еще в окошко стучатся желтые кисти лип, напротив, по дорожкам, прохаживаются парами девицы в белых передничках. Он, впрочем, объясняет, что это – венерическая больница и из ста девиц шестьдесят – безносы. Говорит он всегда об одном и том же, будто тема эта – судьбы русской литературы – прожгла его, как раскаленная игла, и не оставила в нем ни одной капли души не кипящей. В своих суждениях он старается быть резок и прям – все разговоры он давно вынес и закрепил, но по уголкам глаз, слегка дрожащим, да по его руке, старательно выковыривающей восковое пятно на столе, я вижу, что уверить он старается скорее себя, чем меня. Для него ясно, что Россия, какой она была, погибла. Быт его сатир отошел и никогда не вернется. В новом поднимающемся быте – что в нем хорошего, и почему старый был хуже? Он даже не хочет видеть этого нового быта. И задача, поставленная жизнью перед ним – разве не ясна? „Всякий честный человек должен покончить с эмиграцией. Осталось два выхода: пуля в лоб или принять жизнь Запада, раствориться в ней, отыскать свое место и перестать быть эмигрантом. Какой еще выход вы можете предложить?“

Отвечая, я говорю об общем фронте, о том, что странны и неистовы судьбы русской литературы, как неистовы судьбы нашей страны. Встает в России фаланга молодых писателей, поднялись новые писатели за границей – слово молодежи резко, печально, закруглено. Оно идет в ногу с возрождением России – крепкой, мужицкой работой, сворачивает прочно, на года. Язык ее – чист, поле ее – быт, взор ее – прост и достижения – понятны. Кубизм, футуризм, имажинизм, доведенный до математической формулы 100 % образа, отчеканивший русскую форму до виртуозности, – сегодня русской литературы, но все это склоняется к вечеру. Молодая поросль, что зацветет завтра, через головы своих отцов тянет руку к дедам, учится у Гоголя, Толстого и Достоевского, воспитывается на Бунине, Ремизове, Белом. Я говорю ему о долге каждого старого писателя – он отец не только своих книг, но и идущих литературных поколений. Путь молодежи темен и тяжек, как плуг, взрывающий целину, – нельзя оставить их брести на ощупь. Путь старого, выбившегося из стаи мастера – путь вожака; какой вожак оставит стаю ночью в глухом, клокочущем от ветра поле? Кто виноват в том, что писателей судьба развела на два стана? Тем легче – они на родной земле, и корни их творчества купаются в родных реках. Прикушенный язык заживет и еще скажет свое слово. Нам, выкинутым за границу, тяжелее – наш язык онемел, и все дальше и дальше с каждым днем мы уходим от родины, все туманнее образы, унесенные с собой, – жизнь и время стирают их и скоро совсем сотрут. Духовная смерть – страшней физической. Молодые русские писатели, вставшие за границей, – одной ногой у гроба, ибо высохло воспоминание, забыт горбатый косогор родного поля и шум родного леса рассеян шумом чужих. Что ж делать им, если чужого поля полюбить нет сил? Я рассказываю ему, что вот, может быть потому и образовалось в Берлине

содружество молодых писателей «Веретено», как в университетах были землячества иногородних студентов.

Внимательно прослушав, он поднимал глаза и «затруднялся». В содружество русских писателей он не верил, оно его пугало – как жупел коллективного творчества – какая в нем радость? Надо идти в одиночку. Если в Россию, то с открытым лицом, а не через задние двери; если здесь – то национальности надо забыть: помимо русского в каждом еще живет человек. Путь писателя – глухая, одинокая тропа, и как можно помочь и кого можно по ней вести?

Сняв пушинку с пиджака, он бережно кладет ее в пепельницу. Вечер. Сипит проклятый газ – мертвенно-синий и жуткий. По углам возятся испуганные мохнатые тени. О стекла плещется ветер желтым цветением лип. Я сбоку гляжу на его лицо, наклонившееся к столу, и думаю, что он не прав и не меня, а себя убеждает. Боже мой, как тяжела доля писателя, не испившего чаши там и в неистовые годы России не средь костров ее пылающих, а по чужому лесу идущего одинокой, глухой – и нужной ли? – тропой...»

Жить в эмиграции трудно: зарубежная литература – профессия полуничиц. «В 1932 году, – вспоминал Корней Чуковский, – в Берлине вышел третий том его (Саши Черного) стихотворений, знаменательно озаглавленный „Жажда“. Перечитывая теперь эту грустную книгу, я не могу отвязаться от мысли, что вряд ли в русской зарубежной литературе тех давних времен был хоть один поэт, который с такой лирической силой выразил бы мучительное чувство эмигрантского сиротства на чужбине. Чуть только он оторвался от России, с ним произошел переворот, нередко наблюдавшийся в среде эмигрантов: он какой-то новой любовью, неожиданной для него самого, полюбил все русское. Решительно все – даже то, что еще так недавно коробило и раздражало его. Нам, знавшим его сатиры 1908–1912 годов, даже как-то странно читать, в каком поэтическом ореоле встали перед ним те люди, пейзажи и вещи, к которым, судя по его старым стихам, он относился с отвращением и ненавистью. Теперь под „чужим солнцем“, на далекой чужбине, он с самой нежной любовью вспоминает и русские баранки, и русские валенки, и самовары, и гармошку, и куклу Матрешку, и клодтовских коней у Аничкова моста, и золоченного орла на Крестовской аптеке (возле которой он жил до войны), и бумажного змея, и Гатчину, и Невский, и Псков, и русские деревья, и русские травы – и тем еще больнее растравляет незаживающую душевную рану...»

Последней книгой Саши Черного оказались вышедшие в Париже «Несерьезные рассказы». «В 1932 году, – приводит Чуковский свидетельство Л. А. Евстигнеева, – он переселился из Парижа на юг Франции – в Прованс. Здесь неожиданно оборвалась его жизнь. Накануне он еще был полон сил, послал в парижскую газету рассказ „Илья Муромец“ и стихотворение „С холма“. 5 августа, возвратившись домой от соседа, поэт услышал крик „Пожар!“ и сразу же устремился к месту несчастья. С его помощью пожар быстро потушили, но дома он почувствовал себя плохо и через несколько

часов, после сильного сердечного припадка, скончался. Похоронили его на небольшом сельском кладбище Лаванду, в департаменте Вар».

Велимир Хлебников

Бобэоби пелись губы
Вээоми пелись взоры
Пиээо пелись брови
Лиэээй – пелся облик
Гзп-гзи-гзэо пелись цепи,
Так на холсте каких-то соответствий
Вне протяжения жило Лицо.

Виктор Владимирович Хлебников родился 28 (9. XI) октября 1885 года в селе Тундутово (или Малые Дербеты) Астраханской губернии. Сам об этом писал так: «Родился в стане монгольских исповедующих Будду кочевников – имя „Ханская ставка“, в степи – высохшем дне исчезающего Каспийского моря (море 40 имен). При поездке Петра Великого по Волге мой предок угощал его кубком с червонцами разбойничьего происхождения. В моих жилах есть армянская кровь (Алабовы) и кровь запорожцев (Вербицкие), особая порода которых сказалась в том, что Пржевальский, Миклуха-Маклай и другие искатели земель были потомками птенцов Сечи...»

Ссылка на путешественников не случайна: Хлебников по натуре был истинным бродягой, унаследовав это от отца-лесоведа, орнитолога. Мать преподавала историю, несомненно, и это не в малой степени сказалось на интересах поэта. В 1903 году он поступил на физико-математический факультет Казанского университета, но скоро перешел на естественное отделение. Увлекался философией Платона и Лейбница, углубленно изучал математику. Две вещи волновали Хлебникова всю жизнь: природа языка и природа времени.

В 1908 году, вопреки уговорам отца, Хлебников перевелся в Петербургский университет. Жизнь в столице была трудна, зато он быстро вошел в поэтическую среду. Особенно привлекали его «башня» Вячеслава Иванова и «Академия стиха», собиравшаяся при редакции журнала «Аполлон». В Петербурге Хлебников сменил собственное имя на Велимир, услышал немало похвал от самого Вячеслава Иванова, но символистам он был чужд – ни одна его строка не попала в их сборники. Да и не могла попасть, поскольку, в отличие от символистов, Хлебников отталкивался от всех традиций. Стихи были для него некоей живой субстанцией, в которой он жил и которую постоянно пытался как-то по особому организовать. В некотором смысле Хлебников был, несомненно, ближе к Ломоносову, чем к тому же Пушкину, по крайней мере он пытался вернуть русский язык к тому времени, когда он еще не был окончательно оформленной системой, когда каждый его звук еще имел какое-то особенное значение. «Найти, не разрывая круга корней, волшебный камень превращения всех славянских слов одно в

другое, свободно плавить славянские слова – вот мое первое отношение к слову, – писал Хлебников. – Найти единство вообще мировых языков, построенное из единиц азбуки».

Впервые стихи Хлебникова («Искушение грешника») напечатал в журнале «Весна» поэт Василий Каменский. «Я был поражен, – вспоминал он позже. – Хлебников жил около университета, и не в комнате, а в конце коридора квартиры, за занавеской. Там стояла железная кровать без матраца, столик с лампой, с книгами, а на столе, на полу и под кроватью белелись листочки со стихами и цифрами. Но Хлебников был „не от мира сего“ и ничего этого не замечал. Как бы в качестве „аванса“ я предложил ему двадцать рублей, но на другой день у него не было ни копейки. Он рассказал, что зашел в кавказский кабачок съесть шашлык „под восточную музыку“, но музыканты его окружили, стали играть, петь, плясать лезгинку, и Хлебников отдал им весь свой первый аванс. „Ну хоть шашлык-то вы съели?“ – поинтересовался я, сидя на досках его кровати. Хлебников рассеянно улыбался: „Нет... Не пришлось... Но пели они замечательно. У них голоса горных птиц“.

«Годы, люди и народы убегают навсегда, как текучая вода. В гибком зеркале природы звезды – невод, рыбы – мы, боги – призраки у тьмы».

«Когда говорят о человеке в его присутствии так, как если бы его здесь не было, – писал искусствовед А. Лурье, хорошо знавший поэта, – и человек этот не реагирует на разговор о нем, то это означает, что он достиг какой-то подлинной, высокой степени человечности; у таких людей нет эгоцентрической реакции, обращенной на самого себя. Это очень русская черта, являющаяся проявлением чистоты и духовной свободы. Хлебникова в глаза называли идиотом, и я видел, что он обидного, говорившегося о нем, не слышит и не воспринимает. Совсем как Мышкин в «Идиоте». Хлебников при этом не был «размазней», он умел становиться очень решительным, властным, саркастичным, но проявлял эти черты всегда только в плане идеи, в аспекте творчества, а не в плане бытовом. Хлебников был единственным встреченным мною в жизни человеком, который был абсолютно лишен бытовых реакций и бытовых проявлений...»

В одном из писем Вячеславу Иванову (летом 1909 года) Хлебников признавался: «Я знаю, что я умру лет через 100, но если верно, что мы умираем, начиная с рождения, то я никогда так сильно не умирал, как в эти дни. Точно вихрь отмывает корни меня от рождающей и нужной почвы. Вот почему ощущение смерти не как конечного действия, а как явления, сопутствующего жизни в течение всей жизни, всегда было слабее и менее ощутимо, чем теперь.

Что я делал эти несколько дней?

Я был в зоологическом саду, и мне странно бросилась в глаза какая-то связь верблюда с буддизмом, а тигра с исламом. После короткого размышления я пришел к формуле, что виды – дети вер и что веры – младенческие виды. Один и тот же камень разбил на две струи человечество, дав буддизм и

ислам, и непрерывный стержень животного бытия, родив тигра и ладью пустыни...»

Из этого письма вышел в том же году знаменитый «Зверинец» Хлебникова: «О, сад, сад! Где железо подобно напоминающему братьям, что они братья, и останавливающему кровопролитную схватку.

Где немцы ходят пить пиво. А красотки продавать тело.

Где орлы сидят подобны вечности означенной сегодняшним еще лишенным вечера днем.

Где верблюд, чей высокий горб лишен всадника, знает разгадку буддизма и затаил ужимку Китая.

Где олень лишь испуг, цветущий широким камнем... Где черный взор лебедея, который весь подобен зиме, а черно-желтый клюв – осенней рощице, немного осторожен и недоверчив для него самого.

Где синий красивейшина роняет долу хвост, подобный видимой с павдинского камня Сибири, когда по золоту пала и зелени леса брошена синяя сеть от облаков, и все это разнообразие оттенено от неровностей почвы...

Где нетопыри висят опрокинуто, подобно сердцу современного русского. Где грудь орла напоминает перистые тучи перед грозой.

Где в лице тигра, обрамленном белой бородой и с глазами пожилого мусульманина, мы чтим первого последователя пророка и читаем сущность Ислама.

Где мы начинаем думать, что веры – затихающие струи волн, разбег которых – виды. И что на свете потому так много зверей, что они умеют по-разному видеть бога...» И так далее, как часто говорил сам Хлебников, внезапно обрывая чтение. Кстати, стихи он называл столбцами, чем впоследствии активно пользовался Николай Заболоцкий. Считал, что если вещь написана, она уже непреложно существует.

Летом 1909 года сообщал Каменскому из Святошина: «Написал „Внучку Малуши“, которой, однако, не могу похвастаться. Мое настроение в начале лета можно было бы назвать „велей злобой“ на тот мир и тот век, в который я заброшен по милости благого провиденья. Теперь же я утихомирился и гляжу на божий свет тихими очами. Задумал сложное произведение „Поперек времен“, где права логики времени и пространства нарушались бы столько раз, сколько пьяница в час прикладывается к рюмке. Каждая глава должна не походить на другую. При этом с щедростью нищего хочу бросить на палитру все свои краски и открытия, а они каждое властвуют только над одной главой. При этом право пользования вновь созданными словами – писание словами одного корня, эпитетами мировых явлений, живописание звуком. Будучи напечатанной, эта вещь казалась бы столько же неудачной, сколько замечательной. Заключительная глава – мой проспект на будущее человечества. А вообще – мы – ребята добродушные: вероисповеданье для нас не больше, чем воротнички (отложные, прямые, остро загнутые, косые). Или с рогами или без рог родился звереныш: с рогами козленок, без рог

теленка. И все годится – пушай себе живет (не замай!). Сословия мы признаем только два – сословие „мы“ и наши проклятые враги, чтоб им пусто было, чтоб на том свете черт лил им в горло горячий свинец! Мы знаем только одну столицу – Россию и две только провинции – Петербург и Москву. Мы – новый род людей-лучей. Пришли озарить Вселенную. Мы непобедимы. Как волну, нас не уловить никаким неводом постановлений. Там, где мы, там всегда вокруг нас лучисто распространяется столица...»

В 1912 году в диалоге «Учитель и ученик», посвященном словам, городам и народам, Хлебников, анализируя исторические события, пришел к неожиданному выводу: «Покорению Новгорода и Вятки, 1479 и 1489 гг., отвечают походы в Дакию, 96 – 106. Завоеванию Египта в 1250 году соответствует падение Пергамского царства в 133 году. Половцы завоевали русскую степь в 1093 году, через 1382 года после падения Самниума в 290 году. Но в 534 году было покорено царство вандалов: не следует ли ждать в 1917 году падения государства?»

Впрочем, жизнь текла своим чередом: в апреле 1916 года на военную службу призвали и Хлебникова. «Из угла угловато-нелепо отделяется, ботая тяжелыми ботинками, долговязый, сутулый, небритый солдат в гимнастерке без пояса, с обстриженной под нолевой номер головой, – вспоминал поэт М. Зенкевич. – Таким я видел Хлебникова летом семнадцатого года, рядовым запасного полка из Царицына, – начальство, придя в отчаяние от его полной неспособности к военной службе, не знало, что с ним делать, и записало его „чесоточным“. – „Будетлянами (футуристами) сделано новое великое открытие. Изобретен способ писать стихи из одних знаков препинания, – лепечет отрывисто, как телеграфный аппарат, отсчитывая слова, Велимир Хлебников. – Я сейчас прочту одно такое стихотворение... Точка... Тире... Запятая... Двоеточие... Восклицательный знак... Многоточие...“ Прочитав стихотворение, Хлебников опять забивается в угол, рассеянно попыхивая солдатской махоркой...»

«Но что дальше? – писал Хлебников своему другу футуристу доктору Николаю Кульбину. – Опять ад перевоплощения поэта в лишенное разума животное, с которым говорят языком конюхов, а в виде ласки так затягивают пояс на животе, упираясь в него коленом, что спирает дыхание, где ударом в подбородок заставляли меня и моих товарищей держать голову выше и смотреть веселее, где я становлюсь точкой встречи лучей ненависти, потому что я не толпа и не стадо, где на все доводы один ответ, что я еще жив, а на войне истреблены целые поколения... Шаги, приказания, убийство моего ритма делают меня безумным к концу вечерних занятий... Таким образом, побежденный войной, я должен буду сломать свой ритм (участь Шевченки и др.) и замолчать как поэт...»

К счастью, доктор Кульбин, пользуясь своими столичными связями, добился освобождения поэта от службы. Октябрь Хлебников встретил уже в Петрограде, в ноябре был свидетелем уличных боев в Москве, в начале 1918 года – он на Волге. Там, в Нижнем Новгороде вышел сборник «Без муз», в

котором впервые появился документ, определивший Хлебникова одним из председателей Земного шара.

«Мы, председатели Земного шара, приятели Рока, друзья Песни и пр., и пр., – говорилось в манифесте, открывавшем сборник, – 1-го июня 1918 года признали за благо воплотить ныне мысль, которую до сего времени болели сердца многих: основать Скит работников Песни, Кисти и Резца.

Схороненный под широкими лапами сосен, на берегу пустынных озер, он соберет в своих бревенчатых стенах босых пророков, ветром и пылью разносимых сейчас по сырому лицу Московии. Это будет – монастырь – или заштатный, или выстроенный нами – смотря по тому, найдет ли сочувствие Пьерро, надевающий теперь на измученную голову покаянную скуфью и кожаный ремень на усталые чресла. Руководимые в своих делах седым Начальником Молитвы, мы, может быть, из песни вьюги и звона ручьев построим древнее отношение Скифской страны к Скифскому богу. Мы зовем всех верноподданных нашей мысли явиться с помощью к празднику ее осуществления. Дано на распутье всех дорог в 10 ч. 33 м. 27 с. по часам Предтеченского (одного из друзей поэта, тоже подписавшего манифест)».

В послереволюционные годы Хлебников работал в газетах, в Бакинском и Пятигорском отделениях РОСТА, в Политпросвете Волжско-Каспийского флота; в апреле 1921 года побывал в Иране, а летом вернулся в Москву с написанными поэмами «Ладомир», «Ночь в окопе», «Ночь перед Советами». Уже в Москве закончил поэму «Зангези».

«Велимир Хлебников, мой близкий товарищ, – писал Анненков, – был, по сравнению с другими поэтами, странен, неотразим и патологически молчалив. Иногда, у меня – в Петербурге или в Куоккале, мы проводили длинные бессонные ночи, не произнося ни одного слова. Забившись в кресло, похожий на цаплю, Хлебников пристально смотрел на меня, я отвечал ему тем же. Было нечто гипнотизирующее в этом напряженном молчании и в удивительно выразительных глазах моего собеседника. Я не помню, курил он или не курил. По всей вероятности – курил. Не нарушая молчания, мы не останавливали нашего разговора, главным образом – об искусстве, но иногда и на более широкие темы, до политики включительно. Однажды, заметив, что Хлебников закрыл глаза, я неслышно встал со стула, чтобы покинуть комнату, не разбудив его. „Не прерывайте меня, – произнес вслух Хлебников, не открывая глаз, – поболтаем еще немного“.

В каждодневной жизни умозаключения Хлебникова бывали очень неожиданными. Однажды утром, в Куоккале, войдя в комнату, где заночевал у меня Хлебников, я застал его еще в постели. Окинув взглядом комнату, я не увидел ни его пиджака, ни брюк, и, вообще, никаких элементов его одежды и выразил свое удивление. «Я запихнул их под кровать, чтобы они не запылились», – пояснил мой гость. Я должен сознаться, что все комнаты моей дачи содержались в очень большой чистоте, и если нужно было искать пыль, то, пожалуй, только под кроватью. Это происшествие очень взволновало мою молоденькую горничную Настю, ревнивую

блюстителю чистоты, питавшую нескрываемое презрение к «интеллигентам», этим «лодырям», приходившим ко мне спорить, греметь (за исключением Хлебникова) до зари и засыпать пол окурками и пеплом, несмотря на многочисленные пепельницы. Настинно суждение особенно укрепилось в ней поведением Маяковского, который высокомерно почти не замечал ее, а иногда заинтересовывался ею слишком демонстративно...»

Люди моей задачи, говорил Хлебников, часто умирают тридцати семи лет от роду. Весной 1922 года, простуженный, больной, он отправился с художником Петром Митуричем в Новгородскую губернию. В деревне Санталово 28 июня 1922 года он и умер, как раз на тридцать седьмом году жизни. На вопрос, трудно ли ему умирать, Хлебников ответил: «Да». Что виделось ему в эти часы, никто, конечно, не знает, но, может, и впрямь он различал те миры, тот странный зверинец, где «в зверях погибают какие-то прекрасные возможности, как вписанное в часослов «Слово о полку Игореве» во время пожара Москвы...»

Игорь Северянин

Игорь Васильевич Лотарев (Игорь Северянин – литературный псевдоним) родился 4 (16) мая 1887 года в Петербурге.

Детские годы провел в усадьбе «Сойволе» близ Череповца. Жил с отцом (профессиональным военным) на Дальнем Востоке – в Порте Дальней, затем в Гатчине, под Петербург, где прошла его юность. «За эти годы, – писал позже Северянин, – мне посчастливилось напечататься только в немногих изданиях. Одна „добрая знакомая“ моей „доброй знакомой“, бывшая „доброй знакомой“ редактора солдатского журнала „Досуг и дело“, передала ему (генералу Зыкову) мое стихотворение „Гибель Рюрика“, которое и было помещено 1-го февраля 1905 г. во втором номере (февральском) этого журнала под моей фамилией: Игорь Лотарев. В то же время я стал издавать свои стихи отдельными брошюрками, рассылая их по редакциям – „для отзыва“. В 1908 г. промелькнули первые заметки о брошюрках. Было их немного, и критика в них стала меня слегка поругивать. Но когда в 1909 г. Ив. Наживин свез мою брошюру „Интуитивные краски“ в Ясную Поляну и прочитал ее Льву Толстому, разразившемуся потоком возмущения по поводу явно иронической „Хабанеры II“, об этом мгновенно всех оповестили московские газетчики, после чего всероссийская пресса подняла вой и дикое улюлюканье, чем и сделала меня сразу известным на всю страну! С тех пор каждая моя новая брошюра тщательно комментировалась критикой на все лады, и с легкой руки Толстого, хвалившего жалкого Ратгауза в эпоху Фофанова, меня стали бранить все, кому не было лень. Журналы стали печатать охотно мои стихи, организаторы благотворительных вечеров усиленно приглашали принять в них, – в вечерах, а может быть, и в благотворителях, – участие...»

«Я сидел на балконе, против заспанного парка, и смотрел на ограду из подстриженных ветвей. Мимо шел поселянин в рыжей шляпе из поярка,

вдалеке заливался невидимка-соловей... Ночь баюкала вечер, уложив его в деревья, в парке девушки пели, – без лица и без фигур. Точно маки сплетали новобрачной королеве, точно встретился с ними коробейник-балагур... Может быть, это хоры забывшихся монахинь? Может быть, это нимфы обездоленных прудов? Сколько мук нестерпимых, целомудренных и ранних, и щемящего смеха опозоренных родов...»

В 1911 году Северянин вошел в группу эгофутуристов. Некоторое время поддерживал он и кубофутуристов, но ему не нравился их стиль. «Они прежде всего требовали уничтоженья всего старого искусства и сбрасыванья с „парохода современности“ (их выражение) Пушкина и др. Затем в своем словотворчестве они достигали зачастую полнейшей нелепицы и безвкусицы, в борьбе с канонами эстетики употребляли отвратные и просто неприличные выражения. Кроме того, они и внешним видом отличались от „эгистов“: ходили в желтых кофтах, красных муаровых фраках и разрисовывали свои физиономии кубическими изображениями балерин, птиц и пр. А Крученых даже выступал с морковкой в петлице. Я люблю протест, но эта форма протеста мне всегда была чуждой, и на этой почве у нас возникали разногласия. Из эгофутуристов только один – И. И. Игнатьев – ходил иногда в золотой парчовой блузе с черным бархатным воротником и такими же нарукавниками, но так как это было даже красиво и так как лица своего он не раскрашивал, я мог с этим кое-как мириться. Кубисты же в своих эксцессах дошли однажды до того, что, давая в Одессе вечер, позолотили кассирше нос, хорошо уплатив ей за это. Надо ли пояснять, что сбор был полный!?»

Лозунгами моего эгофутуризма, – указывал Северянин, – были: 1. Душа – единственная истина. 2. Самоутверждение личности. 3. Поиски нового без отвергания старого. 4. Осмысленные неологизмы. 5. Смелые образы, эпитеты (ассонансы, диссонансы). 6. Борьба со стереотипами и заставками. 7. Разнообразие метров...»

Первый сборник стихов Северянина «Громокипящий кубок», вышедший в 1913 году с предисловием Федора Сологуба, за два года выдержал девять изданий. В кратком вступлении Северянин предувещивал читателей: «Мое дело – петь, дело критики и публики судить мое пение. Но мне хочется раз навсегда сказать, что я очень строго, по-своему, отношусь к своим стихам и печатаю только те поэмы, которые мною не уничтожены, т. е. жизненны. Работаю над стихом много, руководствуясь только интуицией; исправлять же старые стихи, сообразно с совершенствующимся все время вкусом, нахожу убийственным для них: ясно, в свое время они меня вполне удовлетворяли, если я тогда же их не сжег. Заменять же какое-либо неудачное, того периода, выражение «изыском сего дня» – неправильно: этим умерщвляется то, сокровенное, в чем зачастую нерв всей поэмы. Мертворожденное сжигается мною, а если живое иногда и не совсем прекрасно, – допускаю, даже уродливо, – я не могу его уничтожить: оно вызвано мною к жизни, оно мне мило. Наконец, оно – мое!».

Поэтическая популярность Северянина в начале века была совершенно необыкновенной, каждая его книга вызывала как восторги, так и неистовую брань критиков. Одна за другой вышли – «Златолира» (1914), «Ананасы в шампанском», «Victoria Regia», «Поэзоантракт» (все – 1915), «Тост безответный» (1916). Даже повторяясь, даже впадая в манерность, поэт, благодаря необычным стихотворным размерам, неожиданным комбинациям, благодаря ряду им самим изобретенных форм, таких как гирлянда триолетов, квадрат квадратов, миньонет, дизель, необыкновенно привлекал читателей. Уже в 1916 году в Москве вышел солидный том – «Критика о творчестве Игоря Северянина» – в котором приводились многие взаимоисключающие мнения о нем самом и о его работах. «Я поместил свои стихи более, чем в сорока журналах и газетах, – писал сам Северянин, – и приблизительно столько же раз выступал в университете, в женском Медицинском институте, на высших женских курсах у бестужевок, в Психоневрологическом институте, в Лесной гимназии, в театре „Комедия“, в залах Городской думы, Тенишевском, Екатерининском, фон-Дервиза, Петровского училища, Благородного собрания, Заславского общества „Труд и Культура“, в „Кружке друзей театра“, в зале лечебницы доктора Камераза, в Соляном городке, в „Бродячей собаке“, в конференц-зале Академии художеств, в „Алатаре“ (Москва)». – «Большими аршинными шагами, – вспоминал поэт А. Арго, – в длинном черном сюртуке выходил на эстраду молодой человек с лошадино-продолговатым лицом; заложив руки за спину, ножницами расставив ноги и крепко-крепко упирая их в землю, он смотрел перед собою, никого не видя и не желая видеть, и приступал к скандированию своих распевно-цезурованных строф. Публики он не замечал, не уделял ей никакого внимания, и именно этот стиль исполнения приводил публику в восторг...»

«В желтой гостиной, из серого клена, с обивкою шелковой, Ваше сиятельство любит по вторникам томный журфикс, в дамской венгерке комичного цвета, коричнево-белковой, вы предлагаете тонкому обществу ирисный кэкс, нежно вдыхая сигары эрцгерцога абрис фиалковый... Ваше сиятельство к тридцатилетнему – модному – возрасту тело имеете универсальное, как барельеф. Душу душистую, тщательно скрытую в шелковом шелесте, очень удобную для проституток и для королев...»

Много лет Северянин снимал дом в небольшом эстонском дачном поселке Тойлу. После революции, опасаясь за жизнь матери, он перевез ее в этот тихий поселок, а в конце февраля 1918 года, после знаменитого вечера в Политехническом музее, на котором его избрали королем поэтов, уехал туда сам. Он не думал навсегда покидать Россию, но в феврале 1920 года Эстония объявила себя самостоятельным государством и Северянину пришлось выбирать между Россией и Эстонией. Он выбрал Эстонию, понимая, что гражданская война в России будет длиться долго. Некоторое время в Эстонии еще выходили его книги, но русских читателей там практически не осталось, и скоро Северянина перестали печатать. Для зарабатывания денег

на жизнь пришлось выезжать с лекциями и поэтическими выступлениями в Европу.

«...В Берлине я, уговариваемый друзьями, – вспоминал Северянин об одном из таких турне, – хотел, не заезжая в Эстонию, вернуться в СССР, но Ф. М. (Фелисса Михайловна Круут, с которой он обвенчался в Эстонии в 1922 году) ни за что не соглашалась, хотя вся ее семья была крайне левых взглядов. Брат ее, Георгий, ушел в январе 1919 года вместе с отступившей из Эстонии Красной Армией и ныне заведует колхозом в Саратовском районе. Сестры (Линда и Ольга) были посажены в том же январе белой сворой в тюрьму, где и просидели два месяца. Ф. М. мотивировала свое нежелание ехать причинами личного свойства: „В Москве вас окружат русские экспансивные женщины и отнимут вас у меня. Кроме того, меня могут заставить работать, а я желаю быть праздной“. Я, сошедшийся с нею всего год назад, каюсь, не хотел ее тогда терять. Шли большие споры.

Накануне отъезда в Эстонию, когда билеты на поезд и на пароход до Таллина были уже куплены и лежали у нее в сумочке, мы сидели вечером в ресторане: друзья устроили отвальную, поезд на Штеттин уходил около 6 часов утра. Спутница моя боялась, что мы засидимся и билеты потеряют свою силу. Об этом она заявила вслух. Друзья ей заметили, что это, может быть, будет и к лучшему, так как билеты до Москвы они всегда нам предоставят. Тогда она, совершенно перепуганная, вскочила и бросилась в гардеробную, схватив на ходу пальто, и выскочила на улицу. Очень взволнованный ее поступком, я кинулся вслед за ней, крикнув оставшимся, что поймаю ее и тотчас же вернусь. Однако, когда я выбежал на улицу, я увидел спутницу, буквально несшуюся по пустому городу и надевающую на ходу пальто. Было около трех часов ночи. Мы бежали таким образом через весь громадный город до нашего отдаленного района. Было жутко позорно и возмутительно. Я все боялся ее оставить: мне казалось, или она покончит с собою, или возвратится одна на родину...»

В 1925 году в Юрьеве вышел автобиографический роман в стихах – «Колокола собора чувств», в 1931 году в Белграде – сборник «Классические розы», там же в 1934-ом – «Медальоны». Эти стихи не походили на прошлые. Они стали строже, проще, исчезла манерность, прежде и раздражавшая и привлекавшая читателей. Но жизнь в эти годы не радовала поэта. «Что касается помощи от Союза Эстонских писателей, – сообщал он поэту Георгию Шенгели, – могу сказать одно: до сих пор никто ничего не дал и даже не написал мне. Вряд ли и дадут, так как, в массе, терпеть меня не могут: я не усвоил языка и т. д. Вообще, за все 23 года я был в стороне от них, а они от меня...»

В 1940 году в советских журналах «Красная новь» и «Огонек» появились стихи Северянина, в которых он приветствовал вступление прибалтийских республик в «шестнадцатиреспубличный Союз». Тогда же он писал Георгию Шенгели: «Я очень рад, что мы с Вами теперь граждане одной страны. Я знал давно, что так будет, я верил в это твердо. И я рад, что это произошло при

моей жизни: я мог и не дожидаться: ранней весной я перенес воспаление левого легкого в трудной форме. И до сих пор я не совсем здоров: постоянные хрипы в груди, ослабленная сердечная деятельность, усталость после небольшой работы. Капиталистический строй чуть совсем не убил во мне поэта: в последние годы я почти ничего не создал, ибо стихов никто не читал. На поэтов здесь (и вообще в Европе) смотрели как на шутов и бездельников, обрекая их на унижения и голод. Давным-давно нужно было вернуться домой, тем более что я никогда врагом народа не был, да и не мог им быть, так как я сам бедный поэт, пролетарий, и в моих стихах Вы найдете много строк протеста, возмущения и ненависти к законам и обычаям старой и выжившей из ума Европы...» А в другом письме (от 9 ноября) Северянин сделал знаменательную приписку: «В скором времени я напишу Сталину, ибо знаю, что он воистину гениальный человек».

«Я хотел бы следующего, – делился поэт своими мечтами, – пять-шесть месяцев в году жить у себя на Устье, заготавливая стихи и статьи для советской прессы, дыша дивным воздухом и в свободное от работы время пользуясь лодкой, без которой чувствую себя как рыба без воды, а остальные полгода жить в Москве, общаться с передовыми людьми, выступать с чтением своих произведений и совершать, если надо, поездки по Союзу. Вот чего я страстно хотел бы Георгий Аркадьевич! То есть быть полезным гражданином своей обновленной, социалистической страны, а не прозябать в Пайде...»

Мечты Северянина не осуществились. Расставшись с Фелисой Круут, он женился на Вере Коренди, и, убежденный противник городов, вынужден был жить теперь не на любимом побережье, в маленьких тихих городках, а в шумном (для него) Таллине. Поддерживала поэта лишь мысль о готовившейся в Москве книге стихов и о возможном переезде в Россию, но планы его разрушила разразившаяся война. Когда фашистские войска вступили на территорию Эстонии, Северянин послал телеграмму «всесоюзному старосте» М. И. Калинину с просьбой помочь ему выбраться из Эстонии, однако, ответа не получил.

Умер 20 декабря 1941 года в Таллине.

«В те времена, когда роились грезы в сердцах людей, прозрачны и ясны, как хороши, как свежи были розы моей любви, и славы, и весны!.. Пришли лета, и всюду льются слезы, нет ни страны, ни тех, кто жил в стране. Как хороши, как свежи ныне розы воспоминаний о минувшем дне!.. Но дни идут – уже стихают грозы, вернуться в дом Россия ищет троп. Как хороши, как свежи будут розы, моей страной мне брошенные в гроб!».

Две последних строки выбиты на могильной плите поэта.

Владимир Владимирович Маяковский

Родился 7 (19) июля 1893 года в грузинском селе Багдади.

В 1906 году, после смерти отца, семья перебралась в Москву. «Денег нет, – писал Маяковский позже. – Пришлось выжигать и рисовать. Особенно запомнились пасхальные яйца. Круглые, вертятся и скрипят, как двери. Яйца

продавал в кустарный магазин на Неглинной. Штука – 10–15 копеек. С тех пор бесконечно ненавижу Бемов, русский стиль и кустарщину... Беллетристики не признавал совершенно. Философия. Гегель. Естествознание. Но главным образом марксизм. Нет произведения искусства, которым бы я увлекся больше, чем „Предисловием“ Маркса. Помню отчетливо синенькую ленинскую „Две тактики“. Нравилось, что книга срезана до букв. Для нелегального просовывания. Эстетика максимальной экономии... 1908 год. Вступил в партию РСДРП (большевиков). Держал экзамен в торгово-промышленном подрайоне. Выдержал. Пропагандист. Пошел к булочникам, потом к сапожникам и наконец к типографщикам. На общегородской конференции выбрали в МК...» Трижды арестовывался.

В 1911 году поступил в московское Училище живописи, ваяния и зодчества, где познакомился с Давидом Бурлюком, организатором группы русских футуристов. «Днем у меня вышло стихотворение. Вернее – куски. Плохие. Нигде не напечатаны. Ночь. Сретенский бульвар. Читаю строки Бурлюку. Прибавляю – это один мой знакомый. Давид остановился. Осмотрел меня. Рывкнул: „Да это ж вы сами написали! Да вы ж гениальный поэт!“ Применение ко мне такого грандиозного и незаслуженного эпитета обрадовало...»

Первые стихи – «Ночь» и «Утро» – появились в декабре 1912 года в альманахе «Пощечина общественному вкусу». Альманах открывался манифестом, подписанным первыми российскими футуристами – Д. Бурлюком, В. Маяковским, В. Хлебниковым и А. Крученых:

«Читающим наше Новое Первое Неожиданное. Только мы – лицо нашего Времени. Рог времени трубит нами в словесном искусстве. Прошлое тесно. Академия и Пушкин непонятнее гиероглифов. Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. и проч. с Парохода Современности. Кто не забудет своей первой любви, не узнает последней. Кто же, доверчивый, обратит последнюю Любовь к парфюмерному блюду Бальмонта? В ней ли отражение мужественной души сегодняшнего дня? Кто же, трусливый, устрашится стащить бумажные латы с черного фрака воина Брюсова? Или на них зори неведомых красот? Вымойте ваши руки, прикасавшиеся к грязной слизи книг, написанных этими бесчисленными Леонидами Андреевыми. Всем этим Куприным, Блокам, Сологубам, Ремизовым, Аверченкам, Черным, Кузминым, Буниным и проч. и проч. нужна лишь дача на реке. Такую награду дает судьба портным. С высоты небоскребов мы взираем на их ничтожество!

Мы приказываем чтить права поэтов:

На увеличение словаря в его объеме произвольными и производными словами (словоновшество). На непреодолимую ненависть к существующему до них языку. С ужасом отстранять от гордого чела своего из банных веников сделанный вами венок грошовой славы. Стоять на глыбе слова «мы» среди свиста и негодования. И если пока еще и в наших строках остались грязные клейма ваших «здорового смысла» и «хорошего вкуса», то все же на них уже

трепещут впервые Зарницы Новой Грядущей Красоты Самоценного (самовитого) Слова».

В 1914 году за участие в публичных выступлениях Маяковского исключили из училища. Впрочем, к тому времени главным его делом стала поэзия, он крепко вошел в мир бесконечных шумных дискуссий. Об одном таком турне, совершенном по югу России, оставил записи Игорь Северянин.

«До Симферополя мы ехали с Володей вдвоем. Сидели большей частью в вагоне-ресторане и бесконечно беседовали за стаканом красного вина. Остановились вначале у Сидорова, потом перекочевали в отель, счета в котором оплачивал купчик (он же – поэт Вадим Баян). Жили в одном номере – я и В. В. Он любил, помню, спать нагим под одеялом. По утрам я требовал в номер самовар, булочки, масло. В. В. меня сразу же пристыдил: „Чего ты стесняешься? Требуй заморозить бутылку, требуй коньяк, икру и проч. Помни, что не мы разоряем Сидорова, а он нас: мы ему даем своими именами значительно больше, чем он нам своими купецкими деньгами“.

Я слушал В. В., с ним согласный.

Однажды все же купчик не выдержал взятой на себя роли мецената и, стесняясь и краснея, робко указал нам на крупный счет. И тогда Володю прорвало: чего только он не наговорил Сидорову. «Всякий труд должен быть, милейший, оплачен, а разве не труд – тянуть за уши в литературу людей бездарных? Вы же, голубчик, скажем открыто, талантом не сияете. И кроме того – мы разрешали вам выступать совместно с нами, а это чего-нибудь да стоит. У нас с вами не дружба, а сделка. Вы наняли нас вас выдвинуть, мы выполняем заказ. Предельной платы вы нам не назначили, ограничившись расплывчатым: „Дорожные расходы, содержание в отеле, развлечения и проч“. Так вот и потрудитесь оплачивать счета в отеле и вечера в шантане, какие мы найдем нужным сделать. Мы принимаем в себя только потребное нам, „в прок“ запасов не делаем. Вообще выдвиг бездарности уже некий компромисс с совестью. Но мы вас, заметьте, не рекламируем, не рекомендуем – мы даем вам лишь место около себя на эстраде. И это место мы ценим чрезвычайно дорого. И поэтому: одно из двух: или вы, осознав, бросьте вашу мелкобуржуазную жадность, или убирайтесь ко всем чертям!»

«Через час отсюда в чистый переулочек потечет по человеку ваш обрюзгший жир, а я вам открыл столько стихов шкатулок, я – бесценных слов мот и транжир... Вот вы, мужчина, у вас в усах капуста где-то недокушанных, недоеденных щей; вот вы, женщина, на вас белила густо, вы смотрите устрицей из раковин вещей... Все вы на бабочку поэтинного сердца взгромоздитесь, грязные, в калошах и без калош, толпа озверевает, будет тереться, оцетинит ножки стоголовая вошь... А если сегодня, грубому гунну, кривляться не захочется – и вот я захохочу и радостно плюну, плюну в лицо вам я – бесценных слов транжир и мот...»

Об одном из выступлений (Маяковского, Бурлюка и Каменского), местная харьковская газета писала так: «...верзила Маяковский, в желтой кофте, размахивая кулаками, зычным голосом „гения“ убеждал малолетнюю

аудиторию, что он подстрижет под гребенку весь мир, и в доказательство читал свою поэзию: „парикмахер, причешите мне уши“. Очевидно, длинные уши ему мешают. Другой „поэт-авиатор“ Василий Каменский с аэропланом на лбу, кончив свое „пророчество о будущем“, заявил, что готов „танцевать танго с коровами“, лишь бы вызвать „бычачью ревность“. Для чего это нужно – курчавый „гений“ не объяснил, хотя и обозвал доверчивых слушателей „комолыми мещанами, утюгами и вообще скотопромышленниками“. Однако его „Сарынь на кичку!“ – стихи самые убедительные: того и гляди хватит кистенем по голове. Но „рекорд достижений футуризма“ поставил третий размалеванный „гений“ Бурлюк, когда, показав воистину „туманные“ картины футуристов, дошел до точки, воспев в стихах писсуары! Надо же было додуматься до подобного „вдохновенья“. О, конечно, успех у футуристов был громадный, невиданный, похожий на „великое событие“ в наши скучные дни, но этот успех делает молодежь, которой очень нравится, что футуристы смело плюют на признанных всем миром настоящих жрецов алтаря искусства...»

В 1915 году писатель и теоретик литературы Осип Брик издал поэму Маяковского «Облако в штанах». Знакомство с Бриками – Лилей и Осипом – вообще стало для поэта определяющим. «...И в пролет не брошусь, – писал он в стихотворении «Лилечке», – и не выпью яда, и курок не смогу над виском нажать. Надо мною, кроме твоего взгляда, не властно лезвие ни одного ножа... Завтра забудешь, что тебя короновал, что душу цветущую любовью выжег, и суетных дней взметенный карнавал растреплет страницы моих книжек... Слов моих сухие листья ли заставят остановиться жадно дыша? Дай хоть последней нежностью выстелить твой уходящий шаг...»

«Поэму „Облако в штанах“, – вспоминал Николай Чуковский, – Маяковский писал, живя у нас (в Куоккале). То есть не писал, а сочинял, шагая. Я видел это много раз. Записывал же значительно позже. Наш участок граничил с морским пляжем. Если выйти из нашей калитки на пляж и пойти по берегу моря направо, то окажешься возле довольно крутого откоса, сложенного из крупных, грубо отесанных камней, скрепленных железными брусками. Это массивное сооружение носило в то время название Бартнеровской стены, потому что принадлежало домовладельцу Бартнеру, не желавшему, чтобы море во время осенних бурь размыло его землю. Вот там, на Бартнеровской стене, и была создана поэма. Маяковский уходил на Бартнеровскую стену каждое утро после завтрака. Там было пусто. Мы с моей сестрой Лидой, бегая на пляж и обратно, много раз видели, как он, длинноногий, шагал взад и вперед по наклонным, скользким, мокрым от брызг камням над волнами, размахивая руками и крича. Кричать он там мог во весь голос, потому что ветер и волны все заглушали. Он приходил к обеду и за обедом всякий раз читал новый, только что созданный кусок поэмы. Читал он стоя. Отец мой шумно выражал свое восхищение и заставлял его читать снова и снова...»

В том же 1915 году вышла и другая поэма – «Флейта-позвоночник».

«Однажды Маяковский, сообщая с Каменским и Бурлюком, притащили в „Кафе поэтов“ две тяжелые связки каких-то книг. Это и были только что отпечатанные тогда поэмы, – вспоминал футурист Гришечко-Климов. – С довольным выражением на разгоряченном лице поэт не спеша освобождал от веревок, как от свивальника, своего первенца. Но вид у литературы был, однако, настолько жалкий, что вызвал у нас молчаливую обиду за поэта. Линялые цвета обложек – зеленоватый и желтый – казались наивными, а грубая на ощупь, тяжелая бумага – наждачной. Печать, однако, была ясной и грамотной – единственное, что примиряло с таким изданием в то исключительно тяжелое для страны время. Для нас, дружески обступивших поэта, это было семейным событием, и Маяковский тут же предложил нам сделать почин на его книжки по цене в три рубля. Прочно усевшись за стол, он охотно писал карандашом – к сожалению, на лицевой стороне книжки – свои, может быть, первые автографы...»

В следующем году вышел в свет сборник стихов Маяковского «Простое как мычание». Растущая популярность, несомненно, подогревала поэта. «Я – нахал, для которого высшее удовольствие ввалиться, напялив желтую кофту, в сборище людей, благородно берегущих под чинными сюртуками, фраками и пиджаками скромность и приличие, – писал он. – Я – циник, от одного взгляда которого на платье у оглядываемых надолго остаются сальные пятна величиною приблизительно с десертную тарелку. Я – извозчик, которого стоит впустить в гостиную, – и воздух, как тяжелыми топорами, занавесят словища этой мало приспособленной к салонной диалектике профессии. Я – рекламист, ежедневно лихорадочно проглядывающий каждую газету, весь надежда найти свое имя...» Наверное, этот стиль поведения и запомнился Бунину, когда в Париже писал он свои «Автобиографические заметки»:

«Я был в Петербурге в последний раз – в последний раз в жизни! – в начале апреля 17-го года, в дни приезда Ленина. Я был тогда, между прочим, на открытии выставки финских картин. Там собрался „весь Петербург“ во главе с нашими тогдашними министрами Временного Правительства, знаменитыми думскими депутатами и говорились финнам истерически-подобострастные речи. А затем я присутствовал на банкете в честь финнов. И, Бог мой, до чего ладно и многозначительно связалось все то, что я видел тогда в Петербурге, с тем гомерическим безобразием, в которое вылился банкет. Собрались на него все те же, весь „цвет русской интеллигенции“, то есть знаменитые художники, артисты, писатели, общественные деятели, министры, депутаты и один высокий иностранный представитель, именно посол Франции. Но над всеми возобладал Маяковский. Я сидел за ужином с Горьким и финским художником Галленом. И начал Маяковский с того, что вдруг подошел к нам, вдвинул стул между нами и стал есть с наших тарелок и пить из наших бокалов; Галлен смотрел на него во все глаза – так, как глядел бы он, вероятно, на лошадь, если бы ее, например, ввели в эту банкетную залу. Горький хохотал. Я отодвинулся. „Вы меня очень ненавидите?“ – весело спросил меня Маяковский. Я ответил, что нет: „Слишком много чести было

бы вам!“ Он раскрыл свой корытообразный рот, чтобы сказать что-то еще, но тут поднялся для официального тоста Милюков, наш тогдашний министр иностранных дел, и Маяковский двинулся к нему, к середине стола, а там вскочил на стул и так похабно заорал что-то, что Милюков опешил. Через секунду, оправившись, он снова провозгласил: „Господа!“ Но Маяковский заорал пуще прежнего. И Милюков развел руками и сел. Но тут поднялся французский посол. Очевидно, он был вполне уверен, что уж перед ним-то русский хулиган спасует. Как бы не так! Маяковский мгновенно заглушил его еще более зычным ревом. Но мало того, тотчас началось дикое и бессмысленное неистовство и в зале: сподвижники Маяковского тоже заорали и стали бить сапогами в пол, кулаками по столу, стали хохотать, выть, визжать, хрюкать. И вдруг все покрыл истинно трагический вопль какого-то финского художника, похожего на бритого моржа. Уже хмельной и смертельно бледный, он, очевидно, потрясенный до глубины души этим излишеством свинства, стал что есть силы и буквально со слезами кричать одно из русских слов, ему известных: „Много!.. Много!.. Много!“ – Одноглазый пещерный Полифем, к которому попал Одиссей в своих странствиях, намеревался сожрать Одиссея. Маяковского еще в гимназии пророчески прозвали Идиотом Полифемовичем. Маяковский и прочие тоже были довольно прожорливы и весьма сильны своим одноглазием. Маяковские казались некоторое время только площадными шутами, но недаром Маяковский назвал себя футуристом, то есть человеком будущего: он уже тогда чуял, что полифемское будущее принадлежит несомненно им, Маяковским, и что они, Маяковские, вскоре уж навсегда заткнут рот всем прочим трибунам еще великолепно, чем сделал он один на пиру в честь Финляндии...»

«Принимать или не принимать? Такого вопроса для меня (и для других москвичей-футуристов) не было, – писал Маяковский. – Моя революция. Пошел в Смольный. Работал. Все, что приходилось». В это «все» входили агитационные выступления, рисунки и стихи к «Окнам РОСТА», любая, нужная на текущий момент поэтическая работа, вплоть до рекламы папирос. В 1919 переехал в Москву.

«В самый разгар террора, – вспоминала Погорелова, – один старый друг моей семьи, накануне отъезда в Германию со специальным эшеленом, пошел проститься с друзьями. У них на квартире он попал в облаву и был увезен в тюрьму. Все дело было в ведении МЧК, одним из главных воротил которого был тот самый следователь (О. Брик, который действительно сотрудничал с властями), у которого проживал Маяковский. Нелегко и неприятно это было, но никто не брался помочь ни в чем неповинному человеку, и я решила отправиться к Маяковскому – просить его о протекции. Стоял конец зимы. Кругом слякоть, понурые, убого одетые люди. Мерзли мы в ту пору и на улице, а еще больше – в нетопленных квартирах. Голодали, жались в страхе, и мало кто спал по ночам. Создавалась всюду невыносимая, удручающая атмосфера. Когда же передо мной открылась

дверь в квартиру следователя (Брика), я очутилась в совершенно ином мире. Передо мной стояла молодая дама, сверкающая той особой, острой красотой, которую наблюдаем у блондинок-евреек. Огромные, ласковые карие глаза. Стройный, гибкий стан. Очень просто, но изысканно дорого одета. По огромной, солидно обставленной передней носился аромат тонких духов. „Володя, это к тебе“, – благозвучно позвала блондинка, узнав о цели моего прихода.

Вышел Маяковский в уютной, мягкой толстовке, в ночных туфлях. Поздоровался довольно величественно, но попросил в гостиную. Там, указав мне на кресло и закурив, благосклонно выслушал меня. Причем смотрел не на меня, а на дорогой перстень, украшавший его мизинец. Вновь появилась очаровательная блондинка. «Дорогая, – обратился к ней Маяковский, – тут такое дело... Только Ося может помочь...» – «Сейчас позову его». – Во всем ее существовании была сплошная радостная готовность услужить, легкая, веселая благожелательность. Очень скоро она вернулась в сопровождении мужа. Небольшого роста, щедушный, болезненного вида человек с красноватыми веками. Лицо утомленное, но освещенное умом пронизательных и давящих глаз. Пришлось снова рассказать свою печальную историю и повторить просьбу. С большим достоинством, без малейшего унижения или заискивания Маяковский добавил от себя: «Очень прошу, Ося, сделай, что возможно». А дама, ласково обратившись ко мне, ободряюще сказала: «Не беспокойтесь. Муж даст распоряжение, чтоб вашего знакомого освободили».

Брик, не поднимаясь с кресла, снял телефонную трубку...

С этого острова счастья, тепла и благополучия я унесла впечатление гармонически налаженного *menage en trois* (брак втроем). Каждый член этого оригинального союза казался вполне счастливым и удовлетворенным. Особенно выиграл, казалось, в этом союзе Маяковский. Среди неслыханной бури, грозно разметавшей все российское благополучие и все семейные устои, он неожиданно обрел уютный очаг, отогревший его измученную, ущемленную душу бродяги. И поэтому позже весть о самоубийстве Маяковского поразила меня...»

Сразу и полностью приняв революцию, Маяковский (не без влияния Бриков) стал ее «ассенизатором и водовозом». Даже Ленин в марте 1922 года в речи «О международном и внутреннем положении Советской республики», произнесенной на заседании коммунистической фракции Всероссийского съезда металлистов, сказал: «Вчера я случайно прочитал в „Известиях“ стихотворение Маяковского на политическую тему („Прозаседавшиеся“). Я не принадлежу к поклонникам его поэтического таланта, хотя вполне признаю свою некомпетентность в этой области, но давно я не испытывал такого удовольствия, с точки зрения политической и административной. В своем стихотворении он вдрызг высмеивает заседания и издевается над коммунистами, что они все заседают и перезаседают. Не знаю, как насчет поэзии, а насчет политики ручаюсь, что это совершенно правильно». Впрочем, тот же Ленин категорически возражал против издания

большим тиражом поэмы «150 000 000», видя в ней всего лишь образчик футуризма, не столь уж необходимого народу. «Вздор, глупо, махровая глупость и претенциозность», – определил он поэму в записке, посланной Луначарскому.

Об атмосфере, царившей на редакционных совещаниях журнала «Лэф», основанном Маяковским и Бриком, рассказал писатель Юрий Тынянов:

«Мне снился сон, что я сотрудник Лефа и что Владимир Владимирович Маяковский спросил меня басом: „Это вы – Тынянов, который, кажется, пишет исторические романы?“ – „Я“, – ответил я трусовато. – „Что же вы – маленький или, может, вы позабыли, что мы в 1924 году с Чужаком обнародовали, что этого не должно быть?“ – спросил несколько сурово Владимир Владимирович. – „Я позабыл“, – ответил я как можно простодушнее, все еще желая, чтобы меня похвалили. Я действительно как-то забыл о Чужаке. – „Загоскин, Мордовцев и Толстой тоже писали исторические романы, – сказал Владимир Владимирович, жуя папиросу. – Ничего нового. Садитесь, пейте чай“.

Я сел на стул, но Владимир Владимирович легонько меня одернул: «Не сюда. Это Брик». Клянусь, на стуле никого не было. «Ах, так вот он, Брик, вот как он выглядит», – подумал я, ошарашенный. Вот тебе и стул. – «Товарищи, – сказал Владимир Владимирович. – я долго вас слушал. Теперь мое слово. Никакой литературы. Согласны?» – «Согласны», – сказала стриженная, как мальчик, барышня. – «Идите в газету». – Я почувствовал беспокойство. В какую? Я написал десять листов. «В какую, – пискнул я, – идти?» – «Да не в какую, а вообще – газета», – сказала мне терпеливо барышня, похожая на мальчика. – «Тынянов, вы печатались в газете?» – спросил меня Виталий Жемчужный. – «Иногда. Статьи. Объявления». – сказал я беззвучно. – «Объявления – это же Моссельпром, – сказал мне Виталий Жемчужный. – Вы совсем начинающий. Молодняк». Он слегка потрепал меня по плечу, но вдруг один еще совсем молодой мальчик, к удивлению моему, возразил: «Мы уже были. Не пускают. Говорят: не нужно». – «Как это не нужно? – сказал Виталий Жемчужный. – Это же социальный заказ». – «Они говорят, что мы не умеем». Все засмеялись. Я тоже хохотнул не без сарказма (может, простят роман?). «Тогда пишите путешествия, как Витя», – сказал Владимир Владимирович. – «Но ведь, кажется, Карамзин уже... – вдруг пискнул я. Это у меня сорвалось. Барышня на меня посмотрела так, что я заерзал на стуле. Но мальчик опять смело возразил: „А если мне билета не на что купить?“ Это был молодняк. Я посмотрел на него во все глаза и приободрился. „Да, как с билетом?“ – „Кирсанов, – сказал ему Владимир Владимирович, – сиди у себя на Варварке и описывай ее. У тебя получится Париж. Родченко же описал“. – „Товарищи, – сказала барышня, – получен социальный заказ из типографии: править корректуры прозой“. – „Я вам слова не предоставил, – сказал Владимир Владимирович. – Пейте чай, если вы сотрудник. Когда в 1926 году мы вели борьбу с Полонским, мы решили: дисциплина на заседаниях. Пейте чай. Я сейчас буду читать новые стихи“. – „Но ведь, кажется, Пушкин уже

писал стихи?“ – пролепетал я, думая о том, что все-таки мое дело пропало. „Если бы жил Пушкин, мы бы его пригласили сотрудником в Леф“, – сурово ответил мне мой друг, Виктор Шкловский. Я сразу почувствовал, что Пушкина приплел не к месту. – „То-ва-ри-щи, – покрыл нас басом Владимир Владимирович. – Я читаю стихи. Сначала идут условия, потом официальный отдел. О найме квартир прочтет Николай Николаевич. Это сначала, а потом...“

Я сидел, слушая новые стихи Владимира Владимировича, и думал: что было бы с Пушкиным, если б старик вдруг отказался от сотрудничества в Лефе? Николай Асеев написал бы тогда «Путеводитель по Пушкину». Пушкин бы запил. Брошу я к чертовой матери романы! И я сильно захлопал. Потому что Владимир Владимирович кончил официальный отдел. Потом Владимир Владимирович прочитал о Пушкине, потом о Лермонтове. Это были стихи. Тут я испугался и задом – в переднюю. По дороге задел этажерку и извинился. Может быть, Брик?».

В октябре 1924 года закончил поэму «Владимир Ильич Ленин». В 1927 году – поэму «Хорошо», которую считал для себя программной, как когда-то «Облако в штанах». Объясняя некоторые особенности поэзии Маяковского, профессор В. С. Баевский позже писал: «Отношение Маяковского к культурной жизни Советского Союза предельно совпало с отношением руководителей партии большевиков и государства. Впервые после классицизма середины XVIII века было открыто провозглашено подчинение поэзии государству. Подобно тому, как Ломоносов, Сумароков, Державин служение государству смешивали со служением императрице (в абсолютистском государстве иначе не могло быть), Маяковский смешивал служение государству, партии, народу с хвалами партийному руководству. В его стихах многократно, часто с пиететом, упоминаются Ленин, Дзержинский, Рыков, Сталин...»

Много ездил.

Побывал во Франции, Германии, Америке, Мексике.

Вдруг объявлял: «Еду вокруг земли. Начало поездки – последняя поэма (из отдельных стихов) на тему „Париж“. Хочу и перейду со стиха на прозу. В этот год (1925) должен закончить первый роман...» – И с огорчением: – «Вокруг не вышло. Во-первых, обокрали в Париже, во-вторых, после полугода езды пулей бросился в СССР. Даже в Сан-Франциско (звали с лекцией) не поехал. Изъездил Мексику, С.-А.С.Ш. и куски Франции и Испании. Результат – книги: публицистика-проза – „Мое открытие Америки“ и стихи – „Испания“, „Атлантический океан“, „Гавана“, „Мексика“, „Америка“. Роман дописал в уме, а на бумагу не перевел, потому что: пока дописывалось, проникся ненавистью к выдуманному и стал от себя требовать, чтоб на фамилии, чтоб на факте...»

«Власть Лили (Брик) над Маяковским, – писала в воспоминаниях Г. Катанян, – всегда поражала меня. Она говорила мне, что из пятнадцати лет, прожитых вместе, пять последних лет они не были близки. В архиве Маяковского, что я

перепечатывала, была записка Лили, в которой Лиля писала Володе, что, когда они сходились, они обещали сказать друг другу, когда разлюбят. Лиля пишет, что она больше не любит его. И прибавляет, что едва ли это признание заставит его страдать, так как и он сам остыл к ней. Вероятно, это так и было, потому что на моих глазах он был дважды влюблен, и влюблен сильно. Тем не менее, я сама слышала, как он говорил: „Если Лилечка скажет, что нужно ночью, на цыпочках, босиком по снегу идти через весь город в Большой театр, значит, так и надо“. Летом 1927 года Владимир Владимирович был в Крыму и на Кавказе с Наташей Брюханенко. Это были отношения обнародованные, и все были убеждены, что они поженятся. Но они не поженились. Объяснение этому я нашла в 1930 году, когда разбирала архив Маяковского. С дачи в Пушкино, в разгар своего романа с одним известным кинорежиссером, Лиля писала: „Володя, до меня отовсюду доходят слухи, что ты собираешься жениться. Не делай этого“. Фраза так поразила меня, что я запомнила ее почти дословно...»

Один из биографов Лили Брик (А. Ваксберг) писал: «Всегда доводившая до конца любое начатое дело, Лиля твердо решила овладеть автомобильным рулем и вскоре освоила тогда еще вовсе не женское, экзотическое по тем временам ремесло. Уехавшему в Париж осенью 1928 года Маяковскому Лиля послала вдогонку письмо, строго-настрого наказав: „ПРО МАШИНУ не забудь: 1) предохранители спереди и сзади, 2) добавочный прожектор сбоку, 3) электрическую прочищалку для переднего стекла, 4) фонарик с надписью „stop“, 5) обязательно стрелки электрические, показывающие, куда поворачивает машина, 6) теплую попонку, чтобы не замерзала вода, 7) не забудь про чемодан и два добавочные колеса сзади. Про часы с недельным заводом. Цвет и форму (закрытую... открытую...) на твой и Эличкин (Эльзы Триоле, сестры Лили) вкус. Только чтоб не была похожа на такси. Лучше всего Buick или Renault. Только НЕ Amilcar“.

Разрешение на ввоз машины Маяковский – при его связях, – разумеется, получил, хотя и после бюрократических проволочек. С деньгами было куда как хуже. Немецкие режиссеры и издатели, на которых была надежда, по разным причинам заключить контракты не смогли или не захотели. В Париже, куда он приехал в октябре, Маяковский начал переговоры с Рене Клером, предложив ему снять фильм по своему сценарию, замысел которого уже был в его голове. Переговоры поначалу шли, казалось, успешно, но и из этой затеи ничего не вышло. Лиля отреагировала незамедлительно: «Щеник! У-УУ-УУУ-УУУУ!.. Неужели не будет автомобильчика! А я так замечательно научилась ездить!.. Пожалуйста, привези автомобильчик!.. Прежде чем покупать машину, посоветуйся со мной телеграфно, если это будет не Renault и не Buick. У-уууу... Мы все тебя целуем и ужасно любим. А я больше всех».

В феврале 1930 года, не посоветовавшись с друзьями, неожиданно для них, Маяковский вступил в Российскую ассоциацию пролетарских писателей (РАПП), увидев в ней ту единственную массовую литературную организацию, которая обязана – и может! – проводить линию партии в искусстве. С

некоторым запозданием он призвал друзей последовать своему примеру, но друзья отнеслись к такому переходу весьма прохладно. В то же время катастрофически провалилась постановка пьесы «Баня», а из Парижа пришло известие о скорой свадьбе Татьяны Яковлевой, которой поэт был увлечен серьезно. В визе на поездку в Париж Маяковскому отказали, отношения с Бриками зашли в тупик, из-за хронического бронхита поэт почти потерял голос.

«Весь январь 1930 года ушел на подготовку выставки в писательском клубе („20 лет работы Маяковского“) – писал Ваксберг. – Лиля вместе с Маяковским составляла список гостей, приглашенных на ее открытие, рассылала извещения и билеты. В списке, среди прочих, было не только много чекистов и цекистов, но и сам товарищ Сталин. Тот же самый товарищ слушал 21 января Маяковского в Большом театре, где по случаю шестой годовщины со дня смерти Ленина поэт читал вступление к своей новой поэме „Во весь голос“. Сталин слушал – и даже аплодировал. Тем основательней казались надежды: почему бы на открытие выставки не прийти и ему, и другим вождям? Никто, разумеется, не пришел. Но зал, отданный выставке, был все равно переполнен. Позже, поддавшись мрачному настроению Маяковского, это мероприятие, к которому он так готовился, назовут почему-то провалом... Сам он, правда, выглядел усталым, его запавшие глаза, бледность лица, отчужденность и молчаливость запомнились всем, кто пришел. По бумажке, упавшим голосом, он через силу прочел вступление к поэме „Во весь голос“ и позволил себя сфотографировать набежавшим на открытие репортерам. Успех был вполне очевидным. Лилия потом силилась понять (сама она в дни работы выставки находилась с О. Бриком в Лондоне), чем же в таком случае было вызвано его отчаяние. Так и не догадалась. Вопреки своим прежним позициям, вопреки тому, что он обличал в своих пьесах, Маяковский вдруг возжаждал признания не у „массы“, а у властей, у тех, кто как раз и породил жестоко осмеянный им бюрократизм! Испугался, возможно, оказаться в немилости, тонко почувствовав приближение грядущих событий и место, которое в них будет ему уготовано... Имел основания ждать к юбилею ордена, вместо этого глава Госиздата, горьковский любимец Артемий Халатов, приказал вырезать портрет Маяковского из уже отпечатанного тиража журнала „Печать и революция“, самовольно решившего отметить юбилейную дату. Ни одно официальное лицо не удостоило выставку своим вниманием, а он только официальных и ждал. „Ну что ж, бороды не пришли, обойдемся без них“, – горько пошутил Маяковский, приступая наконец к своей вступительной речи. Без „бород“ переполненный зал казался ему пустым. Все остальные были „своими“, и, стало быть, в расчет не брались...»

«Он казался чрезвычайно крепким, здоровым, жизнерадостным, – вспоминал Маяковского Илья Эренбург. – А был он порою несносно мрачным; отличался болезненной мнительностью: носил в кармане мыльницу и, когда приходилось пожать руку человеку, который был ему

почему-то физически неприятным, тотчас уходил и тщательно мыл руки. В парижских кафе он пил горячий кофе через соломинку, которую подавали для ледяных напитков, чтобы не касаться губами стакана. Он высмеивал суеверия, но все время что-то загадывал, обожал азартные игры – орел и решку, чет или нечет. В парижских кафе были автоматы-рулетки; можно было поставить пять су на красный, зеленый или желтый цвет; при выигрыше выпадал жетон для оплаты чашки кофе или кружки пива. Маяковский часами простаивал у этих автоматов; уезжая, он оставлял Эльзе Юрьевне (Триоле) сотни жетонов; жетоны ему были не нужны. Ему нужно было угадать, какой цвет выйдет. Он и в барабане револьвера оставил одну пулю – чет или нечет...»

Застрелился 14 апреля 1930 года.

Л. Ю. Брик писала: «Почему же застрелился Володя?... В нем была иступленная любовь к жизни, любовь ко всем ее проявлениям – к революции, к искусству, к работе, ко мне, к женщинам, к азарту, к воздуху, которым он дышал. Его удивительная энергия преодолевала все препятствия. Но он знал, что не сможет победить старость и с болезненным ужасом ждал ее с самых молодых лет. Всегдашние разговоры Маяковского о самоубийстве! Это был террор. В 16-м году рано утром меня разбудил телефонный звонок. Глухой, тихий голос Маяковского: „Я стреляюсь. Прощай, Лилик“. Я крикнула: „Подожди меня!“ – что-то накинула поверх халата. Скатилась с лестницы, умоляла, гнала. Била извозчика кулаками в спину. Маяковский открыл мне дверь. В комнате на столе лежал пистолет. Он сказал: „Стрелялся, осечка, второй раз не решился, ждал тебя“. Я была в неопишемом ужасе, не могла прийти в себя... Когда в 1956 году в Москву приезжал Роман Якобсон, он напомнил мне мой разговор с ним в 1920 году. Мы шли вдоль Охотного ряда, он сказал: „Не представляю себе Володю старого, в морщинах“. А я ответила ему: „Он ни за что не будет старым, он обязательно застрелится. Он уже стрелялся – была осечка. Но ведь осечка бывает не каждый раз!“ Перед тем, как покончить с собой, Маяковский вынул обойму из пистолета и оставил только один патрон в стволе. Зная его, я убеждена, что он доверился судьбе, думал – если не судьба, опять будет осечка, и он проживет еще...

Как часто я слышала от Маяковского слово «самоубийство». Чуть что – покончу с собой. 35 лет – старость! До тридцати лет доживу, дольше не стану. Сколько раз я мучительно пыталась его убедить в том, что ему старость не страшна, что он не балерина. Лев Толстой, Гёте были не «молодой» и не «старый», а Лев Толстой, Гёте. Так же и он, Володя, в любом возрасте – Владимир Маяковский. Разве я могла бы разлюбить его из-за морщин? Когда у него будут мешки под глазами и морщины по всей щеке, я буду обожать их. Но он упрямо твердил, что не хочет дожить ни до своей, ни до моей старости. Не действовали и мои уверения. что «благоразумие», которого он так боится, конечно, отвратительное, но не обязательное же свойство старости. Толстой не поддался ему. Ушел. Глупо ушел, по-молодому... Мысль

о самоубийстве была хронической болезнью Маяковского, и, как каждая хроническая болезнь, она обострялась при неблагоприятных условиях. Конечно, разговоры и мысли о самоубийстве не всегда одинаково пугали меня, а то и жить было бы невозможно. Кто-то опаздывал на партию в карты – он никому не нужен. Девушка не позвонила по телефону, когда он ждал, – никто его не любит. А если так, значит – жить бессмысленно...»

После смерти началось замалчивание поэта, прерванное в 1935 году резолюцией Сталина, наложенной на адресованном ему письме: «Тов. Ежов, очень прошу вас обратить внимание на письмо Брик. Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи. Безразличие к его памяти и к его произведениям – преступление. Жалобы Брик, по-моему, правильны. Свяжитесь с ней или вызовите ее в Москву. Привлеките к делу Таль и Мехлиса и сделайте, пожалуйста, все, что упущено нами. Если моя помощь понадобится – я готов». В результате Совнарком СССР признал труды Маяковского государственным достоянием.
Осип Эмильевич Мандельштам

Нельзя дышать, и твердь кишит червями,
И ни одна звезда не говорит,
Но видит бог, есть музыка над нами, —
Дрожит вокзал от пенья аонид,
И снова, паровозными свистками
Разорванный, скрипичный воздух слит...

Родился 2 (14) января 1891 года в Варшаве в купеческой семье.

Окончил Тенишевское училище в Петербурге. С октября 1907 по лето 1908 года жил в Париже. Побывал в Швейцарии и в Италии. Еще раз (и в последний) Мандельштам побывал в Европе в 1909–1910 годах, даже два семестра проучился в Гейдельберге. «Тоненький, щуплый, – вспоминал о нем К. Мочульский, – с узкой головой на длинной шее, с волосами, похожими на пух, с острым носиком и сияющими глазами, он ходил на цыпочках и напоминал задорного петуха. Появлялся неожиданно. С хохотом рассказывал о новой свалившейся на него беде, потом замолкал, вскакивал и таинственно шептал: „Я написал новые стихи“. Закидывал голову, выставляя вперед острый подбородок, закрывал глаза – у него веки были прозрачные, как у птиц, и редкие длинные ресницы веером, – и раздавался его удивительный голос, высокий и взволнованный, его протяжное пение, похожее на заклинание или молитву. Читая стихи, он погружался в „апокалиптический сон“, опьянялся звуками и ритмом. И, когда кончал, – смущенно открывал глаза, просыпался... В 1912 году Осип Эмильевич поступил на филологический факультет Петербургского университета. Ему нужно было сдать экзамен по греческому языку, и я предложил ему свою помощь. Он приходил на уроки с чудовищным опозданием, совершенно потрясенный открывшимися ему тайнами греческой грамматики. Он

размахивал руками, бегал по комнате и декламировал нараспев склонения и спряжения. Чтение Гомера превращалось в сказочное событие; наречия, энклитики, местоимения преследовали его во сне, и он вступал с ними в загадочные личные отношения. Когда я ему сообщил, что причастие прошедшего времени у глагола „пайдево“ (воспитывать) звучит „пепайдекос“, он задохнулся от восторга и в этот день не мог больше заниматься. На следующий урок пришел с виноватой улыбкой и сказал, что он ничего не приготовил, зато написал стихи...»

В литературную жизнь Мандельштама ввел В. Гиппиус, – его друг, писавший стихи под псевдонимами В. Бестужев и В. Нелединский. В 1909 году Мандельштам начал активно посещать «башню» Вячеслава Иванова, в 1910 году в «Аполлоне» появились первые его стихи, а в 1912 году Мандельштам состоял уже в объединении акмеистов.

«Мандельштам был одним из самых блестящих собеседников, – вспоминала Ахматова. – Он слушал не самого себя и отвечал не самому себе, как сейчас делают почти все. В беседе был учтив, находчив и бесконечно разнообразен. Я никогда не слышала, чтобы он повторялся или пускал заигранные пластинки. С необычайной легкостью О. Э. выучивал языки. „Божественную комедию“ читал наизусть страницами по-итальянски. Незадолго до смерти просил Надю (жену) выучить его английскому языку, которого совсем не знал. О стихах говорил ослепительно, пристрастно и иногда бывал чудовищно несправедлив, например, к Блоку. О Пастернаке говорил: „Я так много думал о нем, что даже устал“ и „Я уверен, что он не прочел ни одной моей строчки“. О Марине (Цветаевой): „Я – антицветаевец“. В музыке О. Э. был дома, и это крайне редкое свойство. Больше всего на свете боялся собственной немоты, называя ее удушьем. Когда она настигала его, он метался в ужасе и придумывал какие-то нелепые причины для объяснения этого бедствия. Вторым и частым его огорчением были читатели. Ему постоянно казалось, что его любят не те, кто надо...»

В 1913 году вышла книга стихов – «Камень». В литературных кругах Мандельштама уже знали. «Вбегал Мандельштам, – вспоминал позже Георгий Иванов, – и, не здороваясь, искал „мецената“, который бы заплатил за его извозчика. Потом бросался в кресло, требовал коньяку в свой чай, чтобы согреться, и тут же опрокидывал чашку на ковер или письменный стол. Мандельштам вечно мерз, шубы не имел, кутался поверх осеннего пальто в башлыки и шарфы, что плохо помогало. Однажды он ехал с Гумилевым в „Гиперборей“ на извозчике и вел какой-то литературный спор. В пылу спора Гумилев не заметил, что ядовитые реплики из-под башлыка становились все реже и короче. И вдруг уже недалеко от гиперборейского подъезда на колени Гумилеву падает совсем бесчувственный Мандельштам. Споря, он замерз. И его долго растирали, тормошили и отпаивали, прежде чем привели в чувство. Поэт Владимир Нарбут требовал себе медали за спасение погибающего. Он уверял, что, пока все без толку хлопотали над замерзшим, он догадался поднести к его носу трехрублевку. Близость столь крупной

суммы будто бы и подействовала оживляюще на всегда безденежного поэта...»

В 1919 году Мандельштам находился в Крыму. Там его арестовала врангелевская контрразведка. Волошин отправился в Феодосию, но вернулся оттуда мрачный. Эренбургу, который в то время гостил в Коктебеле, он рассказал, что белые считают Мандельштама опасным преступником, уверяют, будто он симулирует сумасшествие: когда его заперли в одиночку, он начал стучать в дверь, а на вопрос надзирателя, что ему нужно, ответил: «Вы должны меня выпустить – я не создан для тюрьмы».

Сохранилось заявление, с которым Волошин обратился к начальнику врангелевского Политического розыска полковнику Апостолу:

«Политическим розыском на этих днях арестован поэт Мандельштам. Так как Вы по своему служебному положению вовсе не обязаны знать современную русскую поэзию, то считаю своим долгом осведомить вас, что О. Мандельштам является одним из самых крупных имен в последнем поколении русских поэтов и занимает вполне определенное и почтенное место в истории русской лирики. Сообщаю вам это, дабы предотвратить возможные всегда ошибки, которые для Вас же могут оказаться неприятными. Мандельштам, как большинство поэтов, человек крайне нервный, поддающийся панике, а за его духовное здоровье перед культурной публикой в конце концов будете ответственны Вы. Не мне, конечно, заступаться за Мандельштама политически, тем более, что я даже не знаю, в чем его обвиняют, но могу только сказать, что для всех, знающих Мандельштама, обвинение его в большевизме, в партийной работе – есть абсурд. Он человек легкомысленный, общительный и ни к какой работе не способный и никакими политическими убеждениями не страдающий».

Еще раз Мандельштама арестовали в Батуми – на этот раз береговая охрана грузинского меньшевистского правительства. Здесь спасли поэта Николо Мицишвили и Тициан Табидзе. Зато, пройдя через все эти опасности, там, на юге России, Мандельштам встретил верную спутницу всей своей жизни – Надежду Яковлевну Хазину. «Осип любил Надю невероятно, неправдоподобно, – вспоминала позже Ахматова. – Когда ей резали аппендикс в Киеве, он не выходил из больницы и все время жил в каморке у больничного швейцара. Он не отпускал Надю от себя ни на шаг, не позволяя ей работать, бешено ревновал, просил ее советов о каждом слове в стихах... Одну зиму Мандельштамы (из-за Надиного здоровья) жили в Царском Селе, в Лицее. Я была у них несколько раз – приезжала кататься на лыжах... Была я у Мандельштамов и летом в Китайской деревне, где они жили с Лившицами. В комнатах абсолютно не было никакой мебели и зияли дыры прогнивших полов. Для О. Э. нисколько не было интересно, что там когда-то жили и Жуковский, и Карамзин...»

«В Петрограде, – подтверждал Николай Чуковский, – он (Мандельштам) прожил до весны 1922 года, и я встречал его в Доме искусств и у Наппельбаумов. Из Дома искусств он переехал в Дом ученых, где Горький

дал ему комнату, и я как-то зимой был там у него. Окно выходило на замерзшую Неву, мебель была роскошная, с позолотой, круглые зеркала в золоченных рамах, потолок был высочайший, со сгустившейся под ним полутьмой, в углу стояли старинные часы – величиной с шкаф, которые отмечали не только секунды, минуты и часы, но и месяц, и число месяца. Мандельштам лежал на кровати, лицом к окну, к Неве, и курил, и в комнате не было ничего, принадлежащего ему, кроме папирос, – ни одной личной вещи. И тогда я понял самую разительную его черту – безбытность. Это был человек, не создававший вокруг себя никакого быта и живущий вне всякого уклада...»

Как свидетельствуют многие знавшие Мандельштама люди, он действительно не походил на других поэтов и все явления, связанные с поэзией, оценивал по-своему. Например, выгнал из дома некоего молодого человека, пожаловавшегося на то, что его не печатают. Молодой человек убежал по лестнице, а Мандельштам сверху кричал оскорбленно: «А Андре Шенье печатали? А Сафо печатали? А Иисуса печатали?» Это было продуманное отношение к искусству, оно относилось и к друзьям, и к врагам, и к людям случайным. «Я читал последние свои стихи, – вспоминал позже Николай Чуковский, к которому Мандельштам относился очень дружески, – читал старательно и именно так, как читал он сам и все акмеисты, то есть подчеркивая голосом звуковую и ритмическую сторону стиха, а не смысловую. Мандельштам слушал меня внимательно, и на лице его не отражалось ни одобрения, ни порицания. Когда я кончал одно стихотворение, он кивал головой и говорил: „Еще“. И я читал еще. А когда я прочитал все, что мог, он мне сказал: „Каким гуттаперчивым голосом эти стихи ни читай, они все равно плохие“. Это суждение его было окончательным. Никогда уже больше он не просил меня читать мои стихи...»

«Существовали причины, – писал литературовед С. С. Аверинцев, – по которым положение Мандельштама и Ахматовой (после революции) стало неуютным несколько ранее, чем положение других больших поэтов. Какую-то роль играл биографический, можно сказать, хронологический фактор, по своей сути вполне случайный. Если поэт по-настоящему составил себе имя только после революции, это само по себе побуждало воспринимать его как поэта советского, не „старорежимного“. Так было с Пастернаком: хотя он родился как раз между годами рождений Ахматовой и Мандельштама, хотя „Близнец в тучах“ вышел всего на год позже „Камня“ и на два года позже „Вечера“, заметили его только после выхода „Сестры моей – жизни“, в 1922 году (принадлежность к футуристическим кругам тоже была для 20-х годов лучшей рекомендацией, чем принадлежность к акмеистической группе). С другой стороны, если поэт составил себе имя достаточно задолго до революции в качестве деятеля символизма, его репутация воспринималась как „старорежимная“, но в самой своей „старорежимности“ солидная: он был бесспорным реликтом старой культуры до поры до времени состоящим под охраной. С Ахматовой и Мандельштамом было хуже: оба были на виду в

10-е годы, тогда выработали свои навыки поведения в литературе и в жизни, вообще прочно ассоциировались с этой порой, а потому не могли избежать обвинения в старомодности, в котором неразлично переплетались мотивы политические („старорежимность“) и эстетические (устаревшая поэтика). Они воспринимались как старики, пришедшие из старого мира. Но на самом деле они были еще совсем молоды, и репутация их, будучи установившейся, не была освящена временем и пиетета не вызывала...»

В середине двадцатых Мандельштам работал в основном над автобиографической прозой – «Шум времени» (1925) и «Египетская марка» (1928). Отвечая на анкету «Советский писатель и Октябрь», писал: «Октябрьская революция не могла не повлиять на мою работу, так как отняла у меня „биографию“, ощущение личной значимости. Я благодарен ей за то, что она раз навсегда положила конец духовной обеспеченности и существованию на культурную ренту. Подобно многим другим, чувствую себя должником революции, но приношу ей дары, в которых она пока не нуждается. Вопрос о том, каким должен быть писатель, – для меня совершенно непонятен: ответить на него – то же самое, что выдумать писателя, а это равносильно тому, чтобы написать за него его произведения. Кроме того, я глубоко убежден, что, при всей зависимости и обусловленности писателя соотношением общественных сил, современная наука не обладает никакими средствами, чтобы вызвать появление тех или иных желательных писателей. При зачаточном состоянии евгеники, всякого рода культурные скрещивания и прививки могут дать самые неожиданные результаты. Скорее возможна заготовка читателей; для этого есть прямое средство: школа».

«Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма, за смолу кругового терпенья, за совестный деготь труда, как вода в новгородских колодцах должна быть черна и сладима, чтобы в ней к рождеству отразилась семья плавниками звезда... И за это, отец мой, мой друг и помощник мой грубый, я – непризнанный брат, отщепенец в народной семье – обещаю построить такие дремучие срубы, чтобы в них татарва опускала князей на бадье...»

Из Ленинграда Мандельштам перебрался в Москву. Почему-то ему казалось, что в Москве его больше ценят. Действительно, благодаря содействию Н. И. Бухарина, в 1928 году вышел сборник Мандельштама – «Стихотворения», а позже Мандельштам побывал в Армении, но как раз эта последняя опубликованная при жизни работа поэта – «Путешествие в Армению» (1933) – вызвала разгромную рецензию на страницах «Правды». И совсем безнадежным стало положение поэта после того, как стали известны его антисталинские стихи.

«Мы живем, под собою не чуя страны, наши речи на десять шагов не слышны, а где хватит на полразговорца, там припомнят кремлевского горца. Его толстые пальцы, как черви, жирны, и слова, как пудовые гири, верны, тараканьи смеются глазища и сияют его голенища. А вокруг него сброд

тонкошеих вождей, он играет услугами полулюдей. Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет, он один лишь бабачит и тычет. Как подкову, дарит за указом указ – кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз. Что ни казнь у него – то малина и широкая грудь осетина».

13 мая 1934 года Мандельштама арестовали.

«В этот самый день, – вспоминала Ахматова, – я после града телеграмм и телефонных звонков приехала к Мандельштамам из Ленинграда. Мы все были тогда такими бедными, что для того, чтобы купить билет обратно, я взяла с собой мой орденский знак Обезьяньей палаты, последний, данный Ремизовым в России, и статуэтку работы Данько (мой портрет, 1924 г.) для продажи. (Их купила С. Толстая для музея Союза писателей)... Ордер на обыск был подписан самим Ягодой. Обыск продолжался всю ночь. Искали стихи, ходили по выброшенным из сундучка рукописям. Мы все сидели в одной комнате. Было очень тихо. За стеной у Кирсанова играла гавайская гитара. Следователь при мне нашел „Волка“ («За гремучую доблесть грядущих веков...») и показал О. Э. Он молча кивнул. Прощаясь, поцеловал меня. Его увели в 7 утра. Было совсем светло. Надя пошла к брату, я – к Чулковым на Смоленский бульвар, 8, и мы условились где-то встретиться. Вернувшись домой вместе, убрали квартиру, сели завтракать. Опять стук, опять они, опять обыск. Евг. Як. Хазин сказал: «Если они придут еще раз, то уведут вас с собой». Пастернак, у которого я была в тот же день, пошел просить за Мандельштама в «Известия» к Бухарину, я – в Кремль к Енукидзе. Енукидзе был довольно вежлив, но сразу спросил: «А может быть, какие-нибудь стихи?» Этим мы ускорили и, вероятно, смягчили развязку. Приговор – три года Чердыни, где Осип выбросился из окна больницы, потому что ему казалось, что за ним пришли... и сломал себе руку. Надя послала телеграмму в ЦК. Сталин велел пересмотреть дело и позволил выбрать другое место. Потом звонил Пастернаку.

Остальное слишком известно.

Вместе с Пастернаком я была и у Усиевич, где мы застали и союзное начальство, и много тогдашней марксистской молодежи. Была у Пильняка, где видала Балтрушайтиса, Шпета и С. Прокофьева. Навестить Надю из мужчин пришел один Перец Маркиш... Бухарин в конце своего письма Сталину написал: «И Пастернак тоже волнуется». Сталин сообщил, что отдано распоряжение, что с Мандельштамом будет все в порядке. Он спросил Пастернака, почему он не хлопотал. «Если б мой друг попал в беду, я бы лез на стену, чтобы его спасти». Пастернак ответил, что если бы он не хлопотал, то Сталин не узнал бы об этом деле. «Почему вы не обратились ко мне или в писательские организации?» – «Писательские организации не занимаются этим с 1927 года». – «Но ведь он ваш друг?» Пастернак замялся, и Сталин после недолгой паузы продолжил вопрос: «Но ведь он же мастер, мастер?» Пастернак ответил: «Это не имеет значения». Б. Л. думал, что Сталин его проверяет, знает ли он про стихи, и этим он объяснил свои шаткие ответы. «Почему мы все говорим о Мандельштаме и Мандельштаме, я так давно

хотел с вами поговорить». – «О чем?» – «О жизни и смерти». Сталин повесил трубку... Надя никогда не ходила к Борису Леонидовичу и ни о чем его не молила, как пишет Роберт Пейн. Эти сведения идут от Зины (жены Пастернака), которая знаменита бессмертной фразой: мои мальчики (сыновья) больше всего любят Сталина – потом маму... Женщин в тот день приходило много. Мне запомнилось, что они были красивые и очень нарядные, в свежих весенних платьях: еще не тронутая бедствиями Сима Нарбут; красавица «пленная турчанка» (как мы ее прозвали) – жена Зенкевича; ясноокая, стройная и необыкновенно спокойная Нина Ольшевская. А мы с Надей сидели в мятых вязанках, желтые и одеревеневшие...»

В Чердыни Мандельштаму было разрешено сотрудничать на местном радио, а затем ему даже позволили выбрать Воронеж в качестве места жительства. Пытаясь выжить, он написал «Оду Сталину». Но это уже ничего не могло изменить. «В феврале 1936 года, – вспоминала Ахматова, – я была у Мандельштамов в Воронеже и узнала подробности его „дела“. Он рассказал мне, как в припадке умоисступления бегал по Чердыни и разыскивал мой расстрелянный труп, о чем громко говорил кому попало, а арки в честь приезда челюскинцев считал поставленными в честь моего приезда... Поразительно, – заметила Ахматова, – что простор, широта, глубокое дыхание появились в стихах Мандельштама именно в Воронеже, когда он был совсем не свободен...»

«Улыбнись, ягненок гневный, с Рафаэлева холста, – на холсте уста вселенной, но она уже не та: в легком воздухе свирели раствори жемчужин боль, в синий, синий цвет синели океана въелась соль. Цвет воздушного разбоя и пещерной густоты, складки бурного покоя на коленях разлиты. На скале черствее хлеба – молодых тростинки рощ, и плывет углами неба восхитительная мощь».

В 1960 году Ахматова сделала приписку к заметкам о Мандельштаме:

«Перелом руки очень давал себя чувствовать: когда я приехала в Воронеж, он не мог сам надеть пальто, не мог и писать. Свои стихи он диктовал жене, и поэтому огромное количество его стихов написано не его почерком. Рядом с ним или, вернее, около него появился новый человек – Сергей Борисович Рудаков, молодой ленинградский литературовед и поклонник стихов Мандельштама. Всего один месяц Осип Эмильевич диктовал ему свои стихи (цикл „Чернозем“). Под конец этот юноша начал раздражать Осипа Эмильевича. Получив освобождение в июле 1938 г. (он был выслан в Воронеж), Рудаков вернулся в Ленинград, где продолжал заниматься Пушкиным. Я была в Пушдоме на его докладе о „Медном всаднике“. В конце войны он (Рудаков) был убит на фронте... И вот вчера мне пришлось увидеть письмо С. Б. Рудакова воронежского периода к его жене Л. С., в котором он утверждает, что 160 стихов (строк) Мандельштама написаны им, Рудаковым (или, вернее, сотворены из какой-то мертвой массы), что они втроем (он – Рудаков, Вагинов и Мандельштам) – составляют всю русскую поэзию

(Пастернак, Цветаева и Ходасевич не в счет), что (о, ужас!) потомки будут восхищаться им, Рудаковым, что он объяснил Мандельштаму, как писать стихи и т. п. Все это, конечно, больше всего похоже на бред мании величия, но, если эти письма попадут в руки недоброжелателей, я могу себе представить, какие узоры будут расшиты на этой канве. Вся „работа“ Рудакова в настоящее время находится неизвестно где. Собственные стихотворные попытки Рудакова манерны, вычурны, действительно похожи на стихи Вагинова и других представителей тогдашней „левой“ поэзии, но ни на что большее претендовать не могут... В этом страшно одно. Какие бездны у каждого под ногой, какой змеиный шелест зависти и злобы неизбежно сопровождает людей, одаренных талантом. Придумать, что у нищего, сосланного, бездомного Мандельштама можно что-то украсть – какая светлая благородная мысль, как осторожно и даже грациозно она осуществлена, с какой заботой о потомках и о собственной, очевидно, посмертной славе. Подумать только, что эти письма (к жене) писались рядом с еще живым, полным мыслей и ритмов гениальным поэтом... в то время, как Надя делила всю еду на три равные части... Хочется закрыть лицо руками и бежать, но куда...».

В мае 1937 года срок ссылки истек. Мандельштамы вернулись в Москву, но жить в столице было опасно: одна из двух комнат, ранее принадлежавших Мандельштамам, была занята человеком, который регулярно писал на них доносы; приходилось кочевать по друзьям – Пастернак, Шкловские; несколько раз ездили в Ленинград. «Так они прожили год, – вспоминала Ахматова. – Осип был уже тяжело болен, но с непонятным упорством требовал, чтобы в Союзе писателей устроили его вечер. Вечер был даже назначен, но, по-видимому, „забыли“ послать повестки, и никто не пришел. О. Э. по телефону приглашал Асеева, тот ответил: „Я иду на «Снегурочку“. А Сельвинский, когда Мандельштам попросил у него, встретившись на бульваре, денег, дал ему рубль...»

В последний раз я видела Мандельштама осенью 1937 года. Они – он и Надя – приехали в Ленинград дня на два. Время было апокалиптическое. Беда ходила по пятам за всеми нами. Жить им было уже совершенно негде. Осип плохо дышал, ловил воздух губами. Я пришла, чтобы повидаться с ними, не помню, куда. Все было, как в страшном сне. Кто-то, пришедший после меня, сказал, что у отца Осипа Эмильевича (у «деда») нет теплой одежды. Осип снял бывший у него под пиджаком свитер и отдал его для передачи отцу...»

В апреле Мандельштаму неожиданно выделили бесплатные литфондовские путевки в дом отдыха в Саматиху. Именно там 2 мая 1938 года поэт был арестован в последний раз. Но теперь его сразу отправили далеко, на самый край страны. В единственном известном письме жене из Владивостока он писал: «Здоровье очень слабое. Истощен до крайности, исхудал, неузнаваем почти, но посылать вещи, продукты и деньги – не знаю,

есть ли смысл. Попробуйте все-таки. Очень мерзну без вещей. Родная Наденька, не знаю, жива ли ты, голубка моя?»

27 декабря 1938 года умер в лагере под Владивостоком.

Николай Алексеевич Клюев

Родился в 1887 году в деревне Коштуге близ Вытегры (Олонецкая губерния).

Отец семнадцать лет прослужил в солдатах, доживал жизнь сидельцем в казенной винной лавке, мать из старообрядческой семьи – вопленица, былинница. Сам Клюев окончил церковно-приходскую школу, затем народное училище в Вытегре. Год проучился в фельдшерах. Шестнадцати лет ушел в Соловецкий монастырь – «спасаться», некоторое время жил в скитах. В 1906 году за распространение прокламаций Крестьянского союза был арестован. От службы в армии отказался – по религиозным убеждениям. Позже писал: «Впервые я сидел в остроге 18 годов отроду, безусый, тоненький, голосок с серебряной трещинкой. Начальство почитало меня опасным и „тайным“. Когда перевозили из острога в губернскую тюрьму, то заковали меня в ножные кандалы. Плакал я, на цепи свои глядя. Через годы память о них сердце мое гложет... Когда пришел черед в солдаты идти, везли меня в Питер, почитай 400 верст, от партии рекрутской особо, под строжайшим конвоем. В Сен-Михеле, городок такой есть в Финляндии, сдали меня в пехотную роту. Сам же про себя я порешил не быть солдатом, не учиться убийству, как Христос велел и как мама мне завещала. Стал я отказываться от пищи, не одевался и не раздевался сам, силой меня взводные одевали; не брал я и винтовки в руки. На брань же и побои под микитку, взглезь, по мордасам, по поджилкам прикладом молчал. Только ночью плакал на голых досках нар, так как постель у меня была в наказание отобрана. Сидел я в Сен-Михеле в военной тюрьме, в бывших шведских магазинах петровских времен. Люто вспоминать про эту мерзлую каменную дыру, где вошь неусыпающая и дух гробный... Бедный я человек! Никто меня и не пожалеет... Сидел я и в Выборгской крепости. Крепость построена из дикого камня, столетиями ее век мерить. Одиннадцать месяцев в этом гранитном колодце я лязгал кандалами на руках и ногах... Сидел я и в Харьковской каторжной тюрьме, и в Даньковском остроге. Кусок хлеба и писательская слава даром мне не достались!.. Бедный я человек!».

Начав сочинять стихи, Клюев несколько лет переписывался с Александром Блоком, поддержавшим его поэтические начинания. Первый сборник стихов – «Сосен перезвон» – вышел осенью 1911 года с предисловием В. Брюсова. В том же году вышла вторая – «Братские песни». «Осенний гусак полновзвучнее Глинки, стерляжьих молоки Верлена нежней, а бабкина пряжа, печные тропинки лучистее славы и неба светлей...»

«Коренастый, – вспоминала Клюева жена писателя Н. Г. Гарина. – Ниже среднего роста. Бесцветный. С лицом ничего не выражающим, я бы сказала, даже тупым. С длинной, назад зачесанной прилизанной шевелюрой, речью

медленной и бесконечно переплетаемой буквой „о“, с явным и сильным ударением на букве этой, и резко отчеканиваемой буквой „г“, что и придавало всей его речи специфический и оригинальный и отпечаток, и оттенок. Зимой – в стареньком полушубке, меховой потертой шапке, несмазанных сапогах, летом – в несменяемом, также сильно потертом армячке и таких же несмазанных сапогах. Но все четыре времени года, так же неизменно, сам он – весь обросший и заросший, как дремучий его Олонецкий лес...»

Несколько иначе запомнил Клюева поэт Г. Иванов: «Приехав в Петроград, Клюев попал тотчас же под влияние Городецкого и твердо усвоил приемы мужичка-травести. „Ну, Николай Алексеевич, как устроились вы в Петербурге?“ – „Слава тебе Господи, не оставляет Заступница нас, грешных. Сыскал клетушку, – много ли нам надо? Заходи, сынок, осчастливь. На Морской за углом живу“. – Клетушка была номером Отель де Франс с цельным ковром и широкой турецкой тахтой. Клюев сидел на тахте, при воротничке и галстукке, и читал Гейне в подлиннике. „Маракую малость по басурманскому, – заметил он мой удивленный взгляд. – Маракую малость. Только не лежит душа. Наши соловьи голосистей, ох, голосистей. Да что ж это я, – взволновался он, – дорогого гостя как принимаю. Садись, сынок, садись, голубь. Чем угощать прикажешь? Чаю не пью, не курю, пряника медового не припас. А то, – он подмигнул, – если не торопишься, пополудничаем вместе? Есть тут один трактирчик. Хозяин хороший человек, хоть и француз. Тут, за углом. Альбертом зовут“. – Я не торопился. – „Ну, вот и ладно, ну, вот и чудесно, – сейчас обряжусь“. – „Зачем же вам переодеваться?“ – „Что ты, что ты – разве можно? Ребята засмеют. Обожди минутку – я духом“. – Из-за ширмы он вышел в поддевке, смазных сапогах и малиновой рубашке: „Ну вот, так-то лучше“. – „Да ведь в ресторан в таком виде как раз не пустят“. – „В общую и не просимся. Куда нам, мужичкам, промеж господ? Знай, сверчок, свой шесток. А мы не в общем, мы в клетушку-комнатушку, отдельный то есть. Туда и нам можно“.

Осенью 1917 года Клюев вернулся в Вытегру.

Обладая крепким природным умом, внимательно присматривался к людям, к событиям, даже вступил в члены РКП(б). В 1919 году в журнале «Знамя труда» появилось стихотворение Клюева о Ленине – первое, кажется, в советской поэзии художественное изображение вождя. Впрочем, коммунизм, Коммуну, как он сам говорил, Клюев воспринимал вовсе не так, как другие члены партии. «Не хочу Коммуны без лежанки...». – писал он. Древнерусская книжность, пышная богослужебная обрядность, народный фольклор удивительным образом мешались в его стихах с сиюминутными событиями. В первые послереволюционные годы он много пишет, часто издается. В 1919 году вышел в свет большой двухтомный «Песнослов», за ним сборник стихов – «Медный кит». В 1920 году – «Песнь Солнценосца», «Избяные песни». В 1922 году – «Львиный хлеб». В 1923 году – поэмы «Четвертый Рим» и «Мать-суббота». – «Маяковскому грезится гудок над

Зимним, – писал Клюев, – а мне – журавлиный перелет и кот на лежанке. Песнетворцу ль радеть о кранах подъемных?».

«В 1919 году Клюев становится одним из основных сотрудников местной газеты „Звезда Вытегры“, – писал исследователь его творчества К. Азадовский. – Он постоянно печатает в ней свои стихи и прозаические произведения. Но уже в 1920 году его участие в делах газеты сокращается. Дело в том, что в марте 1920 года Третья уездная конференция РКП(б) в Вытегре обсуждала вопрос о возможности дальнейшего пребывания Клюева в рядах партии: религиозные убеждения поэта, посещение им церкви и почитание икон вызывали, естественно, недовольство у вытегорских коммунистов. Выступая перед собравшимися, Клюев произнес речь „Лицо коммуниста“. – „С присущей ему образностью и силой, – сообщала через несколько дней „Звезда Вытегры“, – оратор выявил цельный благородный тип идеального коммунара, в котором воплощаются все лучшие заветы гуманности и общечеловечности“. В то же время Клюев пытался доказать собранию, что „нельзя надсмехаться над религиозными чувствованиями, ибо слишком много точек соприкосновения в учении коммуны с народной верою в торжество лучших начал человеческой души“. – Доклад Клюева был выслушан „в жуткой тишине“ и произвел глубокое впечатление. Большинство голосов конференция, „пораженная доводами Клюева, ослепительным красным светом, брызжущим из каждого слова поэта, братски высказалась за ценность поэта для партии“. Однако Петрозаводский губком не поддержал решение уездной конференции: Клюев был исключен из партии большевиков...» Больше того, в середине 1923 года поэт был арестован и препровожден в Петроград. Арест, правда, не оказался долгим, но, освободившись, Клюев возвращаться в Вытегру не стал. Являясь членом Всероссийского союза поэтов, возобновил старые знакомства, целиком отдался литературной работе. Писал много, но и многое изменилось в стране: теперь стихи Клюева откровенно раздражали. Преувеличенное тяготение к жизни патриархальной вызывало отпор, непонимание, поэта обвиняли в пропаганде кулацкой жизни. Это при том, что как раз в те годы Клюев создал, может быть, лучшие свои вещи – «Плач о Есенине», и поэмы «Погорельщина» и «Деревня».

«Я люблю цыганские кочевья, свет костра и ржанье жеребят. Под луной как призраки деревья и ночной железный листопад... Я люблю кладбищенской сторожки нежилой, пугающий уют, дальний звон и с крестиками ложки, в чьей резьбе заклатья живут... Зорькой тишь, гармонику в потемки, дым овина, в росах коноплю. Подивятся дальние потомки моему безбрежному „люблю“... Что до них? Улыбчивые очи ловят сказки теми и лучей. Я люблю остожья, грай сорочий, близь и дали, рощу и ручей...»

Для жизни в суровой стране, с ног на голову перевернутой революцией, этой любви было уже мало.

«На запрос о самокритике моих последних произведений и о моем общественном поведении довожу до сведения Союза следующее, – писал

Клюев в январе 1932 года в Правление Всероссийского Союза советских писателей. – Последним моим стихотворением является поэма „Деревня“. Напечатана она в одном из виднейших журналов республики („Звезда“) и, прошедшая сквозь чрезвычайно строгий разбор нескольких редакций, подала повод обвинить меня в реакционной проповеди и кулацких настроениях. Говорить об этом можно без конца, но я, признаваясь, что в данном произведении есть хорошо рассчитанная мною как художником туманность и преотдаленность образов, необходимых для порождения в читателе множества сопоставлений и предположений, чистосердечно заверяю, что поэма „Деревня“, не гремя победоносною медью, до последней глубины пронизана болью свирелей, рыдающих в русском красном ветре, в извечном вопле к солнцу наших нив и чернолесий. Свирели и жалкованья „Деревни“ сгущены мною сознательно и родились из причин, о которых я буду говорить ниже, и из уверенности, что не только сплошное „ура“ может убеждать врагов трудового народа в его правде и праве, но и признание им своих величайших жертв и язв неисчислимых, претерпеваемых за спасение мирового тела трудящегося человечества от власти желтого дьявола – капитала. Так доблестный воин не стыдится своих ран и пробоин на щите – его орлиные очи сквозь кровь и желчь видят „на Дону вишневые хаты, по Сибири лодки из кедра“...

Неуместная повышенность тона стихов «Деревни» станет понятной, если Правление Союза примет во внимание следующее: с опухшими ногами, буквально обливаясь слезами, я, в день создания злополучной поэмы, впервые в жизни вышел на улицу с протянутой рукой за милостыней. Стараясь не попадаться на глаза своим бесчисленным знакомым писателям, знаменитым артистам, художникам и ученым, на задворках Ситного рынка, смягчая свою боль образами потерянного избяного рая, сложил я свою «Деревню». Мое тогдашнее бытие голодной собаки определило и соответствующее сознание. В настоящее время я тяжело болен, целыми месяцами не выхожу из своего угла, и мое общественное поведение, если под ним подразумевать неучастие в собраниях, публичные выступления и т. п., объясняется моим тяжелым болезненным состоянием, внезапными обмороками и часто жестокой зависимостью от чужой тарелки супа и куска хлеба. Я дошел до последней степени отчаяния и знаю, что погружаюсь на дно Ситных рынков и страшного мира ночлежек, но то не мое общественное поведение, а только болезнь и нищета. Прилагаемый документ от Бюро медицинской экспертизы при сем прилагаю и усердно прошу Союз (не стараясь кого-либо разжалобить) не лишать меня последней радости умереть в единении со своими товарищами по искусству членом Всероссийского Союза Советских писателей...»

Не самую лучшую роль сыграл в судьбе Клюева поэт Павел Васильев, свояк главного редактора «Известий» – известного коммуниста И. М. Гронского. Слова его о некоторых подробностях личной жизни Клюева настолько возмутили Гронского, что он в тот же день позвонил наркому внутренних дел

Генриху Ягоде с категорическим требованием в двадцать четыре часа убрать «юродивого» из Москвы. «Он (Ягода) меня спросил: „Арестовать?“ – „Нет, просто выслать“. После этого я информировал И. В. Сталина о своем распоряжении, и он его санкционировал...» 2 февраля 1934 года Ключев был арестован. Суд приговорил его к пятилетней высылке в Сибирь.

«Я в поселке Колпашево в Нарыме, – писал Ключев давнему своему другу певице Н. Ф. Христофоровой. – Это бугор глины, усеянный почерневшими от непогод и бедствий избами. Косое подслеповатое солнце, дырявые вечные тучи, вечный ветер и внезапно налетающие с тысячеверстных окружающих болот дожди. Мутная торфяная река Обь с низкими ржавыми берегами, тысячелетия затопленными. Население – 80 % ссыльных – китайцев, сартов, экзотических кавказцев, украинцев, городская шпана, бывшие офицеры, студенты и безличные люди из разных концов нашей страны – все чужие друг другу и даже, и чаще всего, враждебные, все в поисках жранья, которого нет, ибо Колпашев – давным-давно стал обглоданной костью. Вот он – знаменитый Нарым! – думаю я. И здесь мне суждено провести пять звериных темных лет без любимой и освежающей душу природы, без привета и дорогих людей, дыша парами преступлений и ненависти! И если бы не глубины святых созвездий и потоки слез, то жалким скрюченным трупом прибавилось бы в черных бездонных ямах ближнего болота. Сегодня под уродливой дуплистой сосной я нашел первые нарымские цветы – какие-то сизоватые и густо-желтые, – бросился к ним с рыданьем, прижал их к своим глазам, к сердцу, как единственных близких и не жестоких. Но безмерно сиротство и бесприютность, голод и свирепая нищета, которую я уже чувствую за плечами. Рубище, ужасающие видения страдания и смерти человеческой здесь никого не трогают. Все это – дело бытовое и слишком обычное. Я желал бы быть самым презренным существом среди тварей, чем ссыльным в Колпашеве. Недаром остяки говорят, что болотный черт родил Нарым грыжей. Но больше всего пугают меня люди, какие-то полупсы, люто голодные, безблагодатные и сумасшедшие от несчастий. Каким боком прилепиться к этим человекообразным, чтобы не погибнуть?».

Но даже в таких условиях Ключев пытался работать: записывал отдельные строфы, запоминал их, потом записи уничтожал. К сожалению, большая поэма «Нарым», над которой он тогда, по некоторым свидетельствам, работал, до нас не дошла.

«Небо в лохмотьях, косые дожди, немолчный ветер – это зовется здесь летом, затем свирепая 50-градусная зима, а я голый. У меня нет никакой верхней одежды, я без шапки, без перчаток и пальто. На мне синяя бумазейная рубаха без пояса, тонкие бумажные брюки, уже ветхие. Остальное все украли шалманы в камере, где помещалось до ста человек народу, днем и ночью прибывающего и уходящего. Когда я ехал из Томска в Нарым, кто-то, видимо узнавший меня, послал мне через конвоира ватную короткую курточку и желтые штиблеты, которые больно жмут ноги, но и за это я горячо благодарен...»

Какое-то время Клюев еще боролся за себя: писал в Москву – в Политический Красный Крест, к Горькому, в Оргкомитет Союза советских писателей, старым, еще остававшимся на свободе друзьям, поэту Сергею Клычкову. Какое-то из обращений, видимо, сработало: в конце 1934 года Клюеву разрешили отбывать оставшийся ему срок в Томске. При этом отправили в Томск не этапом, а спецконвоем; в казенной телеграмме, полученной из Новосибирска, так и указывалось – доставить в Томск поэта Клюева.

«На самый праздник Покрова меня перевели из Колпашева в Томск, – писал Клюев, – это на тысячу верст ближе к Москве. Такой переход нужно принять как милость и снисхождение, но, выйдя с парохода в ненастное и студеное утро, я очутился второй раз в ссылке без угла и куска хлеба. Уныло со своим узлом побрел я по неизмеримо пыльным улицам Томска. Кой-где присаживался на случайную скамейку у ворот, то на какой-либо приступок; промокший до костей, голодный и холодный, я постучался в первую дверь кособокого старинного дома на глухой окраине города – в надежде попросить ночлег ради Христа. К моему удивлению, меня встретил средних лет, бледный, с кудрявыми волосами и такой же бородкой, человек – приветствием: „Провиденье посылает нам гостя! Проходите, раздевайтесь, вероятно устали“. При этих словах человек стал раздевать меня, придвинул стул, встал на колени и стащил с моих ног густо облепленные грязью сапоги. Потом принес теплые валенки, постель с подушкой, быстро наладил мне в углу комнаты ночлег...»

Однако, жизнь в Томске оказалась немногим легче колпашевской. «В Томске глубокая зима, – писал поэт, – мороз под 40 градусов. Я без валенок, и в базарные дни мне реже удается выходить за милостыней. Подают картошку, очень редко хлеб. Деньгами – от двух до трех рублей – в продолжение почти целого дня – от 6 утра до 4-х дня, когда базар разъезжается. Но это не каждое воскресенье, когда бывает мой выход за пропитанием. Из поданного варю иногда похлебку, куда полагаю все: хлебные крошки, дикий чеснок, картошку, брюкву, даже немножко клеверного сена, если оно попадет в крестьянских возах. Пью кипяток с брусникой, но хлеба мало, сахар великая редкость. Впереди морозы до 60 градусов, мне страшно умереть на улице. Ах, если бы в тепле у печки!.. Где мое сердце, где мои песни?».

В 1936 году, уже в Томске, Клюева вновь арестовали – по спровоцированному органами НКВД делу контрреволюционного, церковного (как сказано в документах) «Союза спасения России». На какое-то время его освободили из-под стражи только из-за болезни – «паралича левой половины тела и старческого слабоумия». Но и это была лишь временная отсрочка.

«Хочется поговорить с милыми друзьями, – в отчаянии писал поэт Христофоровой, – послушать подлинной музыки! За досчатой заборкой от моей каморки – день и ночь идет современная симфония – пьянка... Драка,

проклятия, – рев бабий и ребячий, и все это перекрывает доблестное радио... Я, бедный, все терплю. Второго февраля стукнет три года моей непригодности в члены нового общества! Горе мне, волку ненасытному!».

Дурные предчувствия скоро сбылись. На совещании руководящих работников Западно-Сибирского края тогдашний начальник Управления НКВД С. Н. Миронов, говоря об уже спланированных и разрабатываемых чекистами процессах, совершенно определенно потребовал: «Клюева надо тащить по линии монархически-фашистского типа, а не правых троцкистов, выйти через эту контрреволюционную организацию на организацию союзного типа». Сказано было – с масштабом, с указанием на важность проводимой работы.

Совещание руководящих работников, писал профессор Л. Ф. Пичурин («Последние дни Николая Клюева», Томск, 1995), проходило 25 марта 1937 года. А уже в мае Клюева вновь взяли под стражу. Разумеется допросы «подельников» очень скоро дали полное подтверждение всем домыслам следователей. Например, арестованный Голов показал: «Идейными вдохновителями и руководителями организации являются поэт Клюев и бывшая княгиня Волконская... Клюев – человек набожный, за царя. Сейчас пишет стихи и большую поэму о зверствах и тирании большевиков. Имеет обширнейшие связи и много единомышленников...» Через несколько дней тот же Голов добавил к сказанному: «Клюев и Волконская являются большими авторитетами среди монархических элементов в России и даже за границей... В лице Клюева мы приобрели большого идейного и авторитетного руководителя, который в нужный момент поднимет знамя активной борьбы против тирании большевиков в России. Клюев очень интересуется, кто из научных работников томских вузов имеет связь с заграницей...» – И даже такое: – «Клюев отбывает ссылку в Томске за продажу своих сочинений, направленных против советской власти, одному из капиталистических государств. Сочинения Клюева были напечатаны за границей и ему прислали за них 10 тысяч рублей...» В итоге, скорое следствие действительно пришло к выводу, что «Клюев Николай Алексеевич является руководителем и идейным вдохновителем существующей в г. Томске контрреволюционной, монархической организации „Союз спасения России“, в которой принимал деятельное участие, группируя вокруг себя контрреволюционно настроенный элемент, репрессированный Соввластью».

Поразительно, отмечал Пичурин, что протокол допроса Клюева, кроме установочных данных, практически ничего не содержит, кроме следующих вопроса и ответа: «Горбенко (следователь): «Скажите, за что вы были арестованы в Москве и осуждены в ссылку в Западную Сибирь?» – Клюев: «Проживая в г. Полтаве, я написал поэму „Погорельщина“, которая впоследствии была признана кулацкой. Я ее распространял в литературных кругах в Ленинграде и в Москве. По существу эта поэма была с реакционным антисоветским направлением, отражала кулацкую идеологию».

В октябре заседание тройки Управления НКВД Новосибирской области постановило: «Ключева Николая Алексеевича расстрелять. Лично принадлежащее ему имущество конфисковать». 23–25 октября 1937 года (так указано в выписке из дела) постановление тройки было приведено в исполнение.

Демьян Бедный

«Придворов, Ефим Алексеевич, крестьянин села Губовки Херсонской губернии Александровского уезда – таково мое подлинное имя и звание, – писал Демьян Бедный в одной из немногих своих биографий. – Родился 1 (13) апреля 1883 года в названном селе. Помню себя, однако, сначала городским мальчиком – лет до семи. Отец тогда служил сторожем при церкви Елисаветградского духовного училища. Жили мы вдвоем в подвальной каморке на десятирублевое отцовское жалованье. Мать с нами жила редкими временами, и чем эти времена случались реже, тем это для меня было приятнее, потому что обращение со мной со стороны матери было на редкость зверское. С семи лет и до тринадцати мне пришлось вытерпеть каторжную совместную жизнь с матерью в деревне у деда Софрона, удивительно душевного старика, любившего и жалевшего меня очень. Что касается матери, то... если я остался жильцом на этом свете, она менее всего в этом повинна. Держала она меня в черном теле и была смертным боем. Под конец я стал помышлять о бегстве из дому и упивался церковно-монашеской книгой „Путь ко спасению“. Спасение, впрочем, пришло с другой стороны. В 1896 году „волею неисповедимых судеб“ попал я не в елисаветградскую обойную мастерскую, куда меня было уже сговорили, а в киевскую военно-фельдшерскую школу. Жизнь в военно-учебном заведении – после домашнего ада – показалась мне раем. Учился я старательно и успешно. Казенную премудрость усвоил настолько основательно, что это сказывалось даже, когда я был уже студентом университета и не мог отделаться от военной выправки и патриотической закваски. Влезши в военный мундир, когда мне было тринадцать лет, вылез я из него, когда мне пошел двадцать второй год... В 1904 году, выдержав экзамен в качестве экстерна за полный курс мужской классической гимназии, поступил я в Петербургский университет на историко-филологический факультет. Причина выбора историко-филологического факультета, а не медицинского, как следовало бы от меня ожидать, как от фельдшера, кроется в том, что в Киевскую военно-фельдшерскую школу я был помещен родными, когда мне было всего 13 лет. Родные, по бедности своей, рады были случаю пристроить меня на казенное иждивение, а я, хотя за 4-летнее пребывание в школе по успешности в занятиях шел неизменно первым учеником, успел, однако, вполне убедиться, что истинное призвание мое – науки не медицинские, а гуманитарные...»

Первые стихи Демьяна Бедного (еще под настоящим его именем) появились в газете «Киевское слово» в 1899 году, затем в «Сборнике русских

поэтов и поэтесс» в 1901 году. Впрочем, печатался он и «Русском паломнике» («Предание. Из Киево-Печерского патерика»), о чем потом не любил вспоминать.

«После четырех лет новой жизни, новых встреч и новых впечатлений, после ошеломительной для меня революции 1905–1906 годов и еще более ошеломительной реакции последующих лет, я растерял все, на чем зиждилось мое обывательски благонамеренное настроение. В 1909 году я стал печататься в короленковском „Русском богатстве“ и очень близко сошелся с известным поэтом-народовольцем П. Я. (Якубовичем-Мельшиным). Влияние П. Я. на меня было громадно. Смерть его – через два года – перенес я как ни с чем не сравнимый в моей жизни удар. Однако только после его смерти я мог с большей независимостью продолжать свою эволюцию. Дав уже раньше значительный крен в сторону марксизма, в 1911 году я стал печататься в большевистской – славной памяти – „Звезде“. Мои перепутья сходились в одной дороге. Идейная сумятица кончилась. В начале 1912 года я был уже Демьяном Бедным. С этого момента жизнь моя – как струнка...»

К этому времени поэт был женат, зарабатывал, в основном, уроками. Всеми силами старался не вылететь из университета, но к учебе относился с прохладцей. Активно сотрудничал в большевистской газете «Правда» – с первого номера. Ленин не раз отмечал активность Демьяна Бедного, простоту и необходимость его стихов. Прослышав об этом, 15 ноября 1912 года Бедный отправил Ленину письмо: «Хочу непосредственно списаться с Вами. Жду ответа с указанием этого или иного надежного адреса. Адресуйте: Санкт-Петербург, Надеждинская, 33, кв. 5. Редакция журнала „Современный мир“, Демьяну Бедному. – Но вместе с тем прошу подтверждения через редакцию „Правды“, что действительно Вы получили сие письмо и Вы ответили на него. – Пишу Вам первый раз и потому осторожен. Буду рад, если Вы на это письмо ответите более непринужденно, чем поневоле – пишу Вам я». Ленин ответил незамедлительно, скоро отношения между вождем и поэтом установились самые дружеские. «Голова что-то плохо варит, – жаловался Бедный в одном из писем. – Напишите мне два теплых слова о себе. Пришлите мне свой „патрет“. Если Вы тоже лысый, то снимитесь, как я: в шапке. У меня, впрочем, спереди еще ничего, а сзади плешь. „Изыдет плешь на голову твою за беззакония твои!“ Не знаете ли Вы хорошего средства? Господи, ну хоть что-нибудь выдумайте для меня хорошее! Хоть мазь для волос! А впрочем, „лыс конь – не увечье, плешивый молодец – не бесчестье“. Глупые волосы, вот и все...» Об истинном отношении Ленина к поэту можно судить по его письмам в «Правду», в которых Ленин не раз говорил о Демьяне Бедном как о талантливом юмористе, совершенно необходимом газете. «Насчет Демьяна Бедного, – писал он после каких-то внутри редакционных недоразумений, – продолжаю быть за. Не придирайтесь, друзья, к человеческим слабостям! Талант – редкость. Надо его систематически и осторожно поддерживать. Грех будет на вашей душе,

большой грех (во сто раз больше «грехов» личных разных, буде есть таковые) перед рабочей демократией, если вы талантливого сотрудника не притяните, не поможете ему. Конфликты были мелкие, а дело серьезное. Подумайте об этом!»

«Чтоб я не бил по дичи мелкой, а бил по зубрам бы, бродившим по лесам, и по свирепым царским псам, моею басенной пристрелкой руководил нередко Ленин сам...»

Во время первой мировой войны (с 1914 по 1915 год) Демьян Бедный служил в армии. Вполне возможно, что это спасло его от крупных неприятностей: как раз в это время редакция «Правды» была разгромлена, многие ее сотрудники арестованы. В промежутках между дежурствами в лазарете поэт переводил басни Эзопа, – книгу он носил всегда при себе, в голенище сапога, для надежности. Литературные дела Бедного вела в Петрограде жена, и, похоже, не всегда удачно. «Я досадовал на тебя, – писал Бедный жене, – получив письмо твое, где ты сообщаешь, что пойдешь к Алексею Максимовичу сказать о том, что „Баталисты“ и „Волк и Лев“ уже напечатаны в „Утре“. Да разве ж я давал эти вещи Алексею Максимовичу? И не думал! И тебе не велел передавать их. Что же начнет думать обо мне Алексей Максимович? Что я рассылаю свои вещи одновременно во все места? Это же черт знает что такое! Зачем ты завариваешь такую гадкую кашу? Я просил тебя не надоедать Алексею Максимовичу своими визитами: без нас у него дел куча. А ты еще будешь соваться к нему с вещами, которых я ему не давал, а ты будешь извиняться: „они уже напечатаны“. Алексей Максимович после этого плюнет и вернет тебе все рукописи. Разберитесь, мол, вперед, что у вас куда послано, и не морочьте мне головы... Ах, Вера, Вера! Сегодня только ты мне снилась. Люблю тебя очень, а ты плохо работаешь потолком. Если еще раз напутаешь с рукописями, я ни одной вещи не стану высылать тебе, а уж буду как-нибудь сам...»

И в другом письме: «Голубчик, Вера, не надрывай своей души желанием объять необъятное. И не делай вида, что ты понимаешь все, чего ты часто не понимаешь. Легко стать смешной. Конечно, пройдет год, два, три, мы с тобой будем работать вместе, и ты научишься разбираться хорошо в том, в чем я сам теперь с большим трудом разбираюсь. Меня спасет сметка, нюх и упорное, непоколебимое стремление к честному решению вопросов, которые – увы! – многими толковыми людьми решаются нечестно...»

За двадцать дней до восстания, 5 октября 1917 года, газета «Правда» напечатала стихотворную повесть Демьяна Бедного – «Про землю, про волю, про рабочую долю». Сам поэт жил в это время на даче в Мустамьяках, но уже 11 ноября он получил от Дзержинского постоянный пропуск в Смольный.

«Пою. Но разве я „пою“? Мой голос огрубел в бою, и стих мой... блеску нет в его простом наряде. Не на сверкающей эстраде пред „чистой публикой“, восторженно-немой, и не под скрипок стон чарующе напевный я возвышаю голос мой – глухой, надтреснутый, насмешливый и гневный... Наследья тяжкого неся проклятый груз, я не слугитель муз. Мой твердый, четкий стих

– мой подвиг ежедневный. Родной народ, страдалец трудовой, мне важен суд лишь твой, ты мне один судья прямой, нелицемерный, ты, чьих надежд и дум я – выразитель верный, ты, темных чьих углов я – „пес сторожевой“.

В 1918 году Демьян Бедный вместе с правительством переехал в Москву. В Кремле, в так называемом Кавалерском корпусе разместились Ленин, Бонч-Бруевич, Сталин, Ольминский. На первом этаже жил Свердлов, на третьем – Курский, Ворошилов, Демьян Бедный. Над Кремлем постоянно метались бесчисленные полчища ворон. Их было так много, что латышские стрелки, составлявшие охрану Кремля, время от времени начинали беспорядочную стрельбу, весьма нервируя этим первого коменданта Кремля Малькова. В квартире Демьяна Бедного практически отсутствовал быт – лежали пачками книги, висела большая карта, на столе стоял ленинский портрет. После отделения Финляндии от России, семья поэта оказалась отрезанной от России. Скоро жене, правда, удалось бежать, но детей пришлось выменивать позже на пленных финских офицеров. Только тогда в квартире наконец появились – детская, кабинет, столовая с огромным буфетом. «Оказывается, – писала биограф Бедного Ирина Бразуль, – Свердлов снял строжайший запрет использовать дворцовое имущество: в подсобных помещениях оказались ничем не примечательные вещи, вроде этого буфета». С едой, правда, было неважно, – время от времени Мальков и Демьян Бедный ездили тайком на реку глушить рыбу гранатами.

Но время действительно стояло чрезвычайное: вспыхнул мятеж в Ярославле, затем в Рыбинске, затем в Муроме. Выступили белочехи, немцы вошли в Донбасс, пал Архангельск. Никогда до этого, и никогда потом Демьян Бедный не жил столь насыщенной энергичной жизнью. «Гудит-ревет аэроплан, летят листки с аэроплана. Читай, белогвардейский стан, посланье Бедного Демьяна!» Стихотворные листовки Демьяна Бедного производили иногда действие, равноценное, пожалуй, усилиям нескольких войсковых частей. Об этом не раз свидетельствовали противники.

После фронтовых дел Бедный сосредоточил усилия в «Окнах РОСТА» – Российского телеграфного агентства. «Мы с Маяковским так работали, – вспоминал он позже, – что временами казалось – нас только двое». На вопросы о себе поэт отвечал просто: «Детина в шесть пудов весом. Крепкая, черная кость». Жил в основном в Тарасовке, в «Удельном лесу» на даче – на первом этаже; второй этаж занимал Дзержинский.

7 ноября 1922 года в юбилейном номере «Правды» появилась поэма Демьяна Бедного «Главная улица», может, лучшая его вещь в этом жанре. «Вышла на Главную рожа суконная! Всыпала им жандармерия конная! Славно работали тоже донцы! Видели лозунги? Да, ядовитые! Чернь отступала, заметьте, грозя. Правда ль, что есть среди рабочих убитые? Жертвы... Без жертв, моя прелесть, нельзя!».

В 1923 году Демьян Бедный был награжден орденом Красного Знамени. В сопроводительной грамоте Президиума ВЦИК подчеркивалось, что произведения поэта «простые и понятные каждому, а потому и

необыкновенно сильные, – зажигали революционным огнем сердца трудящихся и укрепляли бодрость духа в труднейшие минуты борьбы». В 1925 году начало выходить Полное собрание сочинений. Список тем, над которыми поэт работал многие годы, он сам теперь дополнил таким перечнем:

«...О хлебозаготовках, о подпольных антипартийных листовках, о борьбе за культуру, о пьяницах, пьющих все, даже политуру, о поповском дурмане, о нэпманском кармане, о торговом секторе, о фининспекторе, о госплане, об индустриализации, о московской канализации, о косности мужика, о твердом знаке, о коверканье русского языка, о языколомном „кромекаке“, об автомобилях и о волах, о китайских делах, о Чемберлене и ему подобных, о русских белогвардейцах злобных».

В те годы популярность Демьяна Бедного была невероятной. Почту ему носили пудами. Поэту слали стихи, рассказы о новой жизни, бесконечные просьбы о помощи. Писали солдаты, инвалиды, колхозники, студенты, учителя. Борис Пастернак, поэт абсолютно другого плана, заметил однажды: «Наверное, я удивлю вас, если скажу, что предпочитаю Демьяна Бедного большинству советских поэтов. Он не только историческая фигура революции в ее драматические периоды, эпоху фронтов и военного коммунизма, он для меня Ганс Сакс нашего народного движения. Он без остатка растворяется в естественности своего призвания, чего нельзя сказать, например, о Маяковском, для которого это было только точкой приложения части его сил. На такие явления, как Демьян Бедный, нужно смотреть не под углом зрения эстетической техники, а под углом истории. Мне совершенно безразличны отдельные слагаемые цельной формы, если только эта последняя первична и истинна. Если между автором и выражением ее не затесываются промежуточные звенья подражательства, ложной необычности, дурного вкуса, то есть вкуса посредственности, так, как я ее понимаю, мне глубоко безразлично, чем движется страсть, являющаяся источником крупного участия в жизни, лишь бы это участие было налицо...»

Времена, впрочем, менялись. В 1930 году Демьян Бедный довольно неожиданно подвергся весьма резкой критике за напечатанные им фельетоны «Перерва», «Слезай с печки» и «Без пощады». Сталин, прежде одобрительно относившийся к работе поэта, назвал эти фельетоны «клеветой на СССР, клеветой на наш народ»... Попытки Луначарского и Серафимовича смягчить брань критики, обрушившуюся на Бедного, ни к чему не привели. Чутко уловив угрозу надвигающейся опалы, Демьян Бедный сам старался напомнить о своих прошлых заслугах. «Если бы вы меня спросили, какое из своих произведений я считаю наиболее удачным, я назвал бы маленькое – в четыре строки – стихотворение „И там, и тут“, – говорил он в одном из выступлений. – Оно было написано мною в 1914 году в те дни, когда в Петербурге на некоторых заводах произошли случаи массового отравления рабочих, особенно на свинцово-белильных фабриках. Это вызвало бурные рабочие демонстрации на улицах. Царское

правительство ответило на демонстрации свинцовыми пулями. По этому поводу я написал исключительно дерзкое четверостишие, а старая „Правда“ не побоялась его напечатать, хотя в нем шла речь фактически о вооруженном отпоре царским усмирителям. Призыв к боевому отпору должен был, однако, – в целях уклонения от цензурно-административных громов – лишь чувствоваться в словесной структуре стихотворения, а сами слова не должны были заключать в себе никакого криминала. Для этого я закончил стихотворение выражением, с которым всегда ассоциируется жест, жест отчаянной удали, когда надо биться, потому что все равно пропадать, «один конец!» Стало быть, внешне простое словесное оформление приобретало неуловимую для цензурной придирки, однако совершенно ясную боевую динамику, удалой жест. «На фабрике – отравы, на улице – расправа. И там свинец, и тут свинец... Один конец!» – «Один конец!» Не сдавай, ребята! И рабочие не сдавали. Как вам, вероятно, известно, летом 1914 года на питерских улицах стали вырастать рабочие баррикады...»

«Лично я не щажу – и никогда не пощажу – политического врага, – не раз повторял Демьян Бедный, – безразлично, пишет ли он прозой или стихами». И писал, имея в виду И. А. Крылова: «Я шел иной, чем он, тропой, отличный от него по родовому корню, – скотов, которых он гонял на водопой, я отправлял на живодерню». В дискуссии о методе нарождающегося советского искусства Демьян Бедный поддержал социалистический реализм. Варианты были: Маяковский, например, призывал назвать новый реализм – тенденциозным, Федор Гладков и Юрий Либединский – пролетарским, Алексей Толстой – монументальным. Но победило большинство: в 1932 году социалистический реализм начал шествие по странам и весям.

Страстный книголюб, Демьян Бедный не жалел времени для розыска редких книг. Такие книги он не гнушался брать даже из квартир репрессированных советских писателей. Но жизнь все время ужесточалась. Окончательно испортились отношения со Сталиным. Был распущен РАПП, в которой Демьян Бедный играл видную роль. Прекратилось печатание Полного собрания сочинений. Нелады с женой закончились разрывом, а из Кремля поэта выселили на Рождественский бульвар. Все же, на Учредительном съезде советских писателей, состоявшемся летом 1934 года, Демьян Бедный еще бодрился: «Я принадлежу к породе крепкозубых. У меня бивни. И этими бивнями я служил революции двадцать пять лет. Верно: не молодые бивни. Старые. С надломами и почетными зазубринами, полученными в боях. Но бивни эти, смею вас уверить, еще крепкие. Искусство владеть ими приобретено не малое, и я не перестаяю их подтачивать. Они всегда должны быть в готовности. Придет грозовой момент – и враг еще не раз почувствует силу этих бивней...»

В 1936 году беспощадной критике подверглось либретто оперы Демьяна Бедного «Богатыри»: спектакль незамедлительно был снят с показа и запрещен. В квартире замолчал телефон, редакции не просили больше ни стихов, ни статей, имя поэта исчезло из учебных программ. Свою огромную

личную библиотеку (помня, наверное, о судьбе репрессированных коллег) Бедный передал Литературному музею, на жизнь зарабатывал писанием текстов для цирковых программ; наконец, летом 1938 года его исключили из партии.

Только в годы Отечественной войны в «Правде» и в «Окнах ТАСС» вновь начали появляться патриотические стихи Бедного. Однако, в эти годы он работал, несомненно, шире и глубже, чем думали его читатели. По крайней мере, известны воспоминания жены литературного критика Войтоловского, в которых она писала: «Однажды Демьян встал из-за стола и сказал: „Теперь я вам прочту то, что никому не читаю и никогда не дам читать. Пусть после мой смерти печатают“. И он вынул из глубины стола толстую тетрадь. Это были чисто лирические стихи необычайной красоты и звучности, написанные с таким наплывом глубокого чувства, что муж и я сидели как зачарованные. Он долго читал, и предо мной предстал совсем другой человек, повернувшийся новой стороной своего глубокого внутреннего мира. Это было непохоже на все то, что писал Демьян Бедный...»

Указанные тетради, к сожалению, были позже сожжены самим автором. «Напрасно, – вспоминал сын поэта, – я просил не сжигать тетради. Отец рычал и багровел от гнева, уничтожая то, что хранил всю жизнь. „Надо быть таким болваном, как ты, чтобы не понимать, что это никому не нужно!“

Умер 25 мая 1945 года в Москве.

«Не плачьте обо мне, простершемся в гробу, – я долг исполнил свой, и смерть я встретил бодро. Я за родной народ с врагами вел борьбу, я с ним делил его геройскую судьбу, трудясь вместе с ним и в непогодь и в вёдро».
Владимир Иванович Нарбут

– Жизнь моя, как летопись загублена,
Киноварь не вьется по письму.
Ну, скажи, не знаешь, почему
Мне рука вторая не отрублена?
– Эх, Володя, что твоя рука!
До руки ли, до соленой влаги ли,
Если жизнь прошел ты от Цека
По этапам топким до концлагеря!

М. Зенкевич

Родился 2 (14) мая 1888 года на хуторе Нарбутовка Черниговской области.

Мандельштам и Ахматова приходили в ярость, писала Надежда Мандельштам, когда литературоведы приписывали в акмеисты кого им вздумается. Настоящих акмеистов всегда было шесть: Николай Гумилев, сама Анна Ахматова, Осип Мандельштам, Михаил Зенкевич, Сергей Городецкий и Владимир Нарбут.

В 1906 году, окончив Глуховскую классическую гимназию, Нарбут был зачислен на факультет восточных языков Петербургского университета. В 1910 году в издательстве «Дракон» вышел его первый сборник – «Стихи», а в

1912 году Нарбут принял самое активное участие в создании «Цеха поэтов». Когда «Блудный сын» Гумилева («Первая акмеистическая вещь Коли», – говорила Ахматова) был прочитан в «Академии стиха», вспоминала позже Н. Мандельштам, Вячеслав Иванов подверг «Блудного сына» настоящему разгрому. Выступление Иванова было настолько резким и грубым, что друзья Гумилева покинули «Академию» и организовали «Цех поэтов». Осенью 1912 года несколько поэтов из «Цеха» пошли еще дальше, решив обосновать свое отличие от символистов. Не все участники «Цеха» поддержали их начинание, но на работе объединения это никак не сказалось. Просто акмеисты создали как еще одно объединение, но уже внутри «Цеха». Нарбут в этом содружестве личностей был фигурой заметной. Как раз в то время его книга «Аллилуйя» была приговорена Святейшим Синодом к сожжению, однако многие стихи Нарбута ходили по столице в списках. Гумилев в письме к Анне Ахматовой писал: «Я совершенно убежден, что из всей после символической поэзии ты да, пожалуй (по-своему), Нарбут окажетесь самыми значительными...»

«Как быстро высыхают крыши. Где буря? Солнце припекло! Градиной вихрь на церкви вышиб – под самым куполом – стекло... Как будто выхватил проворно остроконечную звезду – метавший ледяные зерна, гудевший в небе на лету... Овсы – лохматы и корявы, а рожью крытые поля: здесь пересечены суставы, коленцы каждого стебля... Христос! Я знаю, ты из храма сурово смотришь на Илью: как смел пустить он градом в раму и тронуть скинию твою!.. Но мне – прости меня, я болен, я богохульствую, я лгу – твоя раздробленная голень на каждом чудится шагу...»

Революцию Нарбут встретил в Глухове. Первое время он сочувствовал эсерам, затем убежденно перешел к большевикам. Известно, что Нарбут был единственным, кто после 25 октября потребовал в Глухове полной поддержки декретов Советской власти. Это привело к покушению на поэта. В январе 1918 года «Глуховский вестник» сообщил: «В дер. Хохловка, в усадьбе Лесенко совершено вооруженное нападение неизвестных злоумышленников на братьев Владимира Ивановича и Сергея Ивановича Нарбутов и управляющего имением Миллера. Владимир Иванович Нарбут ранен выстрелом из револьвера. Ему ампутирована рука. Сергей Иванович Нарбут и Миллер убиты, жена Миллера ранена». Двухлетний сын Нарбута тоже находился в доме, подвергнувшись нападению, но мать успела при нападении спрятать его под кровать.

В 1918 году Нарбут переехал в Воронеж. Благодаря его замечательным организационным способностям, в городе регулярно выходили газета «Известия» и журнал «Сирена». В этих изданиях появились многие новые стихи А. Ахматовой, А. Блока, Б. Пастернака, С. Есенина, П. Орешина, проза Е. Замятина, Б. Пильняка, В. Шишкова. Нарбут выкупал рукописи, присланные наложенным платежом, добывал продуктовые пайки и разрешения отправлять их посылками в качестве гонораров, привлекал к оформлению изданий лучших графиков. В 1919 году, пробираясь к красным из Киева в

Ростов-на-Дону, он был схвачен белой контрразведкой и приговорен к расстрелу. Спас от неминуемой смерти подписанный им отказ от деятельности в пользу большевиков (позже – его сгубивший), а затем поэт попал к красным конникам Думенко. В Одессе Нарбут заведовал ЮгРОСТА, в Харькове – Радио-телеграфным агентством Украины. Во многих журналах в те годы печатались его стихи. С 1919 по 1922 год вышло девять его книг. Стиль Нарбута окончательно определился – резкий, некомфортный, полный предвидений, как личных, так и общественных.

«...И кабану, уж вялому от сала, забронированному тяжело им, ужель весна, хоть смутно, подсказала, что ждет его прохладный нож и дым?... Молчите, твари! И меня прикончит, по рукоять вогнав клинок, тоска, и будет выть и рыскать сукой гончей душа моя ребенка-старика... Но перед вечностью свершая танец, стопой едва касаясь колеса, Фортуна скажет: „Вот – пасхальный агнец, и кровь его – убойная роса“... В раздутых жилах пой о мудрых жертвах и сердце рыхлое, как мох, изрой, чтоб, смертью смерть поправ, восстать из мертвых, утробой отравленная кровь!».

В 1922 году переехал в Москву.

В столице он возглавил крупное издательство «Земля и фабрика», редактировал популярные журналы «Вокруг света», «30 дней», «Всемирный следопыт», «Всемирный турист». Организационные способности Нарбута получили достаточное приложение, может поэтому писал он в эти годы меньше, хотя в 1925 году предложил издательству «Круг» сборник стихов «Казненный Серафим» (не вышедший). Энергично работая, Нарбут постоянно находился на виду, это привлекло к нему внимание партийных органов, которые вели тогда активную чистку своих рядов. В итоге, в 1928 году Нарбута исключили из партии, он потерял работу. Бездействие тяготило поэта. «Правда, были и друзья, – писали позже биографы поэта Н. Бялосинская и Н. Панченко. – Багрицкий, почти ученик и родственник (три сестры Суок замужем за Багрицким, Олешей и Нарбутом) и, главное, друзья старые: неизменный Михаил Зенкевич, работавший с ним в ЗиФе; Мандельштам, впервые в жизни получивший квартиру, в Нащокинском переулке, совсем рядом с Нарбутом, жившим на Пречистенке, в Курсовом. В те дни он почти каждый вечер бывал у Мандельштама. Сюда приезжала из Ленинграда и Анна Андреевна Ахматова. Жила на раскладушке в будущей еще необорудованной кухне. „Что вы валяетесь как чудовище в своем капище?“ – дразнил ее Нарбут...»

Но друзья уходили. В 1934 году был арестован Мандельштам, умер Багрицкий. А в ночь с 26 на 27 октября 1936 года арестовали и Нарбута. О событиях той ночи оставила воспоминания его жена – Серафима Густавовна. «Стук в дверь. Проснулся Володя, разбудил меня. Кто там? Проверка паспортов?... Что-то натянули на себя, открыли дверь: человек в форме НКВД, штатский, Костя... Даю свой паспорт, не смотрят. – Обращается (в форме НКВД) к Володе: „Ваш!“ У меня закрываются глаза от желания спать, опять разговор с Володей перед сном – неприятный, что мы должны разойтись. –

Вижу Володя дает свой паспорт, и ему протягивают бумажку. Все прошло – сон, нехорошие мысли, лень – покажите мне!.. „Он видел“. Ордер на обыск и арест... С этого дня – 26 октября (27) кончилась одна жизнь – и началась другая. Всему был конец. Тогда я этого не понимала. Я, как во сне, честное слово, как во сне, шла к Лиде в 5 ч. утра после обыска, без мыслей, тупо бежала по улице рассказать о чудовищном сне – Володю арестовали... Уходя он вернулся – поцеловать меня. Заплакал – я видела последний раз его, покачался смешной его походкой на левый бок, спину в длинном синем пальто... И все...»

«Вчера, – писал Нарбут с Колымы, – осмотрел меня довольно поверхностно (но и так, впрочем, видна моя инвалидность) врач и дал определение: вторая категория – отдельные работы. Это означает, как объяснили мне, что от тяжелых физических работ я освобожден по инвалидности, а буду использован на тех или иных отдельных работах (сторож, культработник, например). Поживем – увидим, как сложатся дальнейшие мои житейские обстоятельства. Здесь уже настоящая зима. Великолепен ландшафт: оснеженные горы („сопки“), на них фиолетовые голые, редкие леса. Величественно, – если к этому добавить засиненное зимнее небо, горизонт, ледяной каменистый морской берег, ледяную, совершенно искаженную холодом, как бы скрежещущую, зеленую с пробелью, бурную океанскую воду. Это надо видеть, чтобы почувствовать! Я обязательно где-либо использую эту подлинную „северность“, северный озноб природы для своих стихов...»

В другом письме без даты (видимо, ноябрь 1937 года), из бухты Нагаево: «В одиночестве здесь погиб бы, конечно, даже и крепкий инвалид. Скоро нас, надо полагать, распределят, развезут на грузовиках по отдельным командировкам, – более или менее постоянным нашим пристанищам, где уже мы и приступим к своей работе. Какая-то достанется мне? Буду ли я использован так, чтобы я смог отдать себя целиком, всего – нужной лагерю и стране стройке? Или же, презрев мои специальности и признав лишь инвалидность, посадят меня сторожем при складе или раздатчиком белья в бане? Как мне хочется, если бы ты только знала, голубчик, показать себя на работе, быть стахановцем, всегда первым, не боящимся никаких трудностей! А ведь я могу, могу воскликнуть, как в древности: „Дай мне рычаг, и я переверну земной шар!“ Посмотрим, скоро узнаем свою судьбу...»

В справке, выданной магаданским загсом в 1956 году, после реабилитации поэта, сказано: «Гр. Нарбут Владимир Иванович умер 15 ноября 1945 г. Причина смерти – упадок сердечной деятельности, о чем в книге записей актов гражданского состояния произведена соответствующая запись». Справка эта, как и масса других подобных документы, никогда доверия не вызывала. Ходили слухи, что Нарбута утопили в барже, набитой заключенными. Кто-то утверждал, что сам видел, как Нарбута сбросил конвоир с борта парохода в бухте Находка. Только в конце девяностых годов магаданский писатель Александр Бирюков, много сил и времени отдавший

работе по восстановлению трагических судеб погибших на Колыме людей, в книге «За нами придут корабли», тщательно воссоздал последние дни Нарбута.

«В 1928 году, – писал Бирюков, – в период широкомасштабных чисток, В. И. Нарбут был исключен из партии, как указано в „Литературной энциклопедии“ издания 1934 года, „за сокрытие ряда обстоятельств, связанных с его пребыванием на юге во время белогвардейской оккупации“. Через десять лет, в 1938 году, в Магадане под пером оперуполномоченного 4-го отделения УГБ УНКВД сержанта ГБ Мохова формулировка исключения Нарбута из партии существенно трансформируется: „Исключен за сокрытие данных о службе в деникинской разведке в 1919 году“. Сохранилось несколько подтверждений того, что в 1928 году В. И. Нарбут стал жертвой острой внутривнутрилитературной борьбы. Будто бы сначала он подал заявление в ЦК с обвинением А. К. Воронского, известного в ту пору литературного критика и прозаика, руководителя литературного объединения „Перевал“, в недопустимых формах полемики, в ответ Воронский раздобыл какие-то документы, уличающие Нарбута в подписании того самого заявления. Дочь Александра Константиновича, бывшая колымская заключенная Г. А. Воронская, рассказывала мне (А. Бирюкову) осенью 1991 года о том, что ее отец никогда не верил в „революционность“ Нарбута, печатавшего, по словам А. К., еще в суворинском „Новом времени“ монархические стихи, и представил документы, свидетельствовавшие о его неискренности. Вопрос якобы рассматривался на Политбюро. Сталин, кстати весьма неплохо знавший Воронского, выступил в защиту Нарбута. Потом против него появились и другие компрометирующие документы.

Жизнь однако безжалостно обошлась с обоими участниками той далекой от нас полемики. А. К. Воронский был арестован 1 февраля 1937 года. Обвиненный в создании подрывной террористической группы, готовившей покушения на руководителей партии и правительства, он был приговорен Военной коллегией Верховного суда СССР 13 августа 1937 года к высшей мере наказания. В лагерях оказались его жена и дочь. В. И. Нарбут был арестован еще в октябре 1936 года. Он обвинялся в том, что входил в группу «украинских националистов – литературных работников», которая занималась антисоветской агитацией. Руководителем группы следствием был объявлен И. С. Поступальский. Помимо Нарбута в контрреволюционную группу якобы входили переводчики П. С. Шлейман (Карабан) и П. Б. Зенкевич и литературовед Б. А. Навроцкий. Все пятеро были осуждены постановлением Особого совещания НКВД СССР 23 июня 1937 года за КРД на пять лет лишения свободы. Все пятеро осенью того же года оказались на Колыме.

По разному сложились в дальнейшем их судьбы. Счастливее других оказались Поступальский и Шлейман – им удалось дожидаться освобождения. Умерли, находясь в колымских лагерях, Зенкевич и Навроцкий. Самая трагическая судьба выпала на долю Нарбута. Растянувшееся более чем на

год мучительное следствие, ожидание того, как решится его судьба, а затем и долгий этап еще более усугубили состояние его здоровья. Но и на владивостокской транзитке, где Нарбут оказался 20 сентября 1937 года, и уже в Магадане, куда он попал через месяц, он еще надеется переспорить свою судьбу.

В середине декабря В. И. Нарбут был отправлен из Магадана на «Стан Оротукан» – это около четырехсот километров от побережья. Затем, после недолгого здесь пребывания, – пешком через перевал на «Ключ Пасмурный». – «После перехода пешком через горный перевал (когда я шел из Оротукана на Пасмурный) я получил растяжение жил в левой, больной ноге. Лежал, не мог ходить почти полмесяца. Затем на меня напала цинга. Левая и частично правая нога покрылась гнойными язвами, их было 12. Сейчас дело идет на поправку. Язв осталось уже 4. Я лечился (и лечусь), мамочка, очень усердно, помня данное тебе обещание. Я очень стойко переносил и переношу болезни...» – из последнего письма жене.

На «Пасмурном» Нарбут пробыл около двух с половиной месяцев. Работал счетоводом, ночным сторожем, ассенизатором. В конце февраля – начале марта 1938 года он вместе с такими же, как он, инвалидами был активирован медицинской комиссией и этапирован в Магадан, в тот самый карперпункт № 2. Здесь против него 2 апреля было возбуждено новое уголовное преследование. Ордер (№ 241) на арест и обыск подписал начальник УНКВД Сперанский. Вместе с Нарбутом контрреволюционную группу саботажников, занимавшихся на карперпункте № 2 антисоветской агитацией и разложением лагерной дисциплины, составили еще восемь инвалидов (планировали сначала группу из десяти человек, но один умер, не дождавшись ареста), доставленных в Магадан с разных приисков – едва ли они знали друг друга хотя бы в лицо. Люди, разные по социальному положению (до первого ареста, а здесь, в Магадане, оперуполномоченный Мохов их всех «подравняет» – каждому в графу «социальное положение» впишет «заклученный»): крестьяне, служащий, судебный работник, рабочий, писатель и партийный работник (так в анкете Нарбута), русские, украинец, белорус, молдаванин, еврей, черкес – все они ранее были осуждены по «политической статье» (двое – за пьяный дебош в вагонах поездов в разных концах страны, в каждом случае дебош сопровождался антисоветскими высказываниями). И второй «квалифицирующий» признак: все девять были инвалидами (некоторые, как Нарбут, еще до прибытия на Колыму), то есть все они были продукцией Дальстроя № 2.

Четвертым апреля помечен первый и единственный в этом деле протокол допроса Нарбута. Вот целиком его текст, написанный рукой Мохова: «Вопрос: Следствию известно, что вы являетесь участником контрреволюционной группы, существовавшей на карпункте СВТЛ. Подтверждаете ли это? – Ответ: Отрицаю. – Вопрос: Вы говорите неправду. Материалами следствия вы полностью изобличены. Признаете ли свое участие в к-р группе? – Ответ: Не признаю. Записано с моих слов и мне

прочитано». Пятеро из девяти обвиняемых по этому делу свою вину не признали, четверо подписали составленные Моховым признания – такие же коротенькие, на одну страничку. Признание или непризнание на судьбу обвиняемых повлиять уже не могло, все было predetermined. 7 апреля все тот же ст. лейтенант ГБ Боген утвердил всем девятерым обвинительное заключение. В тот же день эти дела были поставлены на рассмотрение Тройки. Еще через неделю, 14 апреля, расстрельные постановления тройки были приведены в исполнение. В тот день в Магадане, – пишет Бирюков, – было расстреляно 176 человек».

И еще деталь: «В 1960 году в подмосковном Шереметьеве горела дача, – писали Н. Бялосинская и Н. Панченко в статье, посвященной Нарбуту. – Хозяева, Шкловские, были в отъезде. Из соседнего дома на помощь пожарным выбежал другой писатель, В. Ф. Огнев. Дача сгорела дотла. Остались три предмета: оплавленная фарфоровая вазочка, металлическая пишущая машинка, тоже оплавленная, и рыжий, старинный, толстой кожи портфель, совершенно целый, только слегка прихваченный огнем по углам. Это имущество полагалось описать и взять на охрану до возвращения хозяев. Милиционер попросил Огнева вскрыть портфель, – в нем находились рукописи Владимира Нарбута».

Вадим Габриэлевич Шершеневич

Жизнь! Милая! Старушка! Владетельница покосов,
где коса смерти мелькает ночи и дни.

Жизнь! Ты всюду расставила знаки вопросов,
на которых вешаются друзья мои.

Родился 25 (6. II) января 1893 года в Казани.

Сын профессора-юриста Казанского, позже Московского университетов, видного члена Кадетской партии и автора ее программы, депутата I Государственной думы; мать – оперная певица. В девять лет, вместо положенных десяти, пошел в гимназию. «Такой ранний прием, – писал позже поэт, – был сопряжен со всякими трудностями, вплоть до прошения на Высочайшее имя, но Николай II вел себя по отношению ко мне милостиво и прилично и препятствий не чинил».

Учился в Мюнхенском, затем в Московском университетах – на факультетах филологическом, затем на юридическом и математическом. В 1911 году вышел первый поэтический сборник Шершеневича – «Весенние проталинки», в 1913 году второй – «Carmina». «В литературу вошел через Брюсовский Московский литературно-художественный кружок, – указывал М. Гаспаров. – Брюсов явно рассчитывал на него как на самого способного в своей литературной смене, а он, в свою очередь, старался быть „Брюсовым от футуризма“ – не только практиком, но и мэтром, теоретиком с оглядкой на западный авангард от Лафорга до Маринетти, которых переводил». Однако, ни символизм, ни футуризм Шершеневича по-настоящему не увлекали, в

поэзии он искал собственных путей. В предисловии к сборнику стихов «Автомобилья поступь» (1916) он писал, определяя эти свои поиски: «Наша эпоха слишком изменила чувствование человека, чтобы мои стихи были похожи на произведения прошлых лет. В этом я вижу главное достоинство моей лирики: она насквозь современна. Поэзия покинула Парнас; неуклюжий, старомодный, одинокий Парнас „сдается по случаю отъезда в наем“. Поэтическое, то есть лунные безделушки, „вперед-народ“, слоновые башни, рифмованная риторика, стилизация, – распродается по дешевым ценам...»

В годы гражданской войны Шершеневич, как и все, вынужден был перепробовать множество занятий. Он читал лекции по стихосложению в Пролеткульте. Одновременно готовил многотомный словарь художников – для отдела ИЗО Наркомпроса, работал в Литературной секции при агитационном поезде имени Луначарского. Вместе с Маяковским писал и рисовал тексты плакатов для «Окон РОСТА». С Каменским и Ивневым участвовал в организации Всероссийского союза поэтов, с мая 1919 года был его председателем.

В январе 1919 года в воронежском журнале «Сирена» (а несколько позже в газете «Советская страна») появилась декларация представителей нового поэтического направления – имажинизма. Подписали ее Шершеневич и его друзья – С. Есенин, Р. Ивнев и А. Мариенгоф. «Вы – поэты, живописцы, режиссеры, музыканты, прозаики, – говорилось в декларации. – Вы – ювелиры жеста, разносчики краски и линии, гранильщики слова. Вы – наемники красоты, торгаши подлинными строками, актами, картинами. Нам стыдно, стыдно и радостно от сознания, что мы должны сегодня прокричать вам старую истину. Но что делать, если вы сами не закричали ее? Эта истина кратка, как любовь женщины, точна, как аптекарские весы, и ярка, как стосильная электрическая лампочка. Скончался младенец, горластый парень десяти лет от роду (родился 1909 – умер 1919), издох футуризм. Давайте грянем дружнее: футуризму и футурью – смерть! Академизм футуристических догматов, как вата, затыкает уши всему молодому. От футуризма тускнеет жизнь..»

О, не радуйтесь, лысые символисты, и вы, трогательно наивные пассаисты. Не назад от футуризма, в через его труп вперед и вперед, левой и левой кличем мы. Нам противно и тошно от того, что вся молодежь, которая должна искать, приткнулась своей юностью к мясистым и увесистым соскам футуризма, этой горожанке, которая, забыв о своих буйных годах, стала «хорошим тоном», привилегией дилетантов. Эй, вы, входящие после нас в не протоптанные пути и перепутья искусства, в асфальтированные проспекты слова, жеста, краски, знаете ли вы, что такое футуризм: это босоножка от искусства, это ницшеанство формы, это замаскированная современностью надсоновщина. Нам смешно, когда говорят о содержании искусства. Надо долго учиться быть безграмотным для того, чтобы требовать: «Пиши о городе». Тема, содержание – это слепая кишка искусства – не должны

выпирать, как грыжа, из произведений. А футуризм только и делал, что за всеми своими заботами о форме, не желая отстать от Парнаса и символистов, говорил о форме, а думал только о содержании. Все его внимание было устремлено, чтобы быть «погородское». И вот настает час расплаты. Искусство, построенное на содержании, искусство, опирающееся на интуицию (аннулировать бы эту ренту глупцов), искусство, обрамленное привычкой, должно погибнуть от истерики. Образ, и только образ. Образ – ступнями от аналогий, параллелизмов – сравнения, противоположения, эпитеты сжатые и раскрытые, приложения политематического, многоэтажного построения – вот оружие производства мастера искусства. Всякое иное искусство – приложение к «Ниве». Только образ, как нафталин пересыпающий произведение, спасает это последнее от моли времени. Образ – это броня строки. Это панцирь картины. Это крепостная артиллерия театрального действия. Всякое содержание в художественном произведении так же глупо и бессмысленно, как наклейки из газет на картине. Мы проповедуем самое точное и ясное отделение одного искусства от другого, мы защищаем дифференциацию искусств...»

«Мы последние в нашей касте, и жить нам недолгий срок. Мы – корабейники счастья, кустари задушевных строк!.. Скоро вытекут на смену оравы не знающих сгустков в крови – машинисты железной славы и ремесленники любви... И в жизни оставят место свободным от машин и основ: семь минут для ласки невесты, три секунды в день для стихов... Со стальными, как рельсы нервами (не в хулу говорю, а в лесть!) от двенадцати до полчаса первого будут молиться и есть!.. Торопитесь же, девушки, женщины, влюбляйтесь в певцов чудес. Мы пока последние трещины, что не залил в мире прогресс... Мы последние в нашей династии, любите же в оставшийся срок нас, корабейников счастья, кустарей задушевных строк!..»

Для холодных и голодных лет гражданской войны имажинисты действительно выглядели вызывающе: на головах черные цилиндры, раскованность в поведении, дерзость во взглядах. Правда, в известном «Романе без вранья» Анатолий Мариенгоф появление черных цилиндров объяснил просто: «В Петербурге пошел дождь. Мой пробор блестел, как крышка рояля. Есенинская золотая голова побурела, а кудри свисали жалкими аптекарскими запятыми. Он был огорчен до последней степени. Бегали из магазина в магазин, умоляя продать без ордера шляпу. В магазине, по счету десятом, краснощекий немец за кассой сказал: „Без ордера могу отпустить вам только цилиндры“. Мы, невероятно обрадованные, благодарно жали немцу пухлую руку. А через пять минут на Невском призрачные петербуржане вылупляли на нас глаза, ирисники гоготали вслед, а пораженный милиционер потребовал документы...»

«Имажинисты находились в непрерывной полемике с Маяковским, – писал позже Мариенгоф. – Острие словесной рапиры тогда не было притуплено гуманным деревянным шариком, как это принято у спортсменов сегодняшних дискуссий, поэтому чуть ли не ежевечерне горячая, но

невидимая кровь лилась ручьями. Вадим Шершеневич владел словесной рапирой, как никто в Москве. Он запросто – сегодня в Колонном зале, завтра в Политехническом, послезавтра в „Стойле Пегаса“, – нагромождал вокруг себя полутрупы врагов нашей святой и неистовой веры в божественную метафору, которую мы называли образом. Но у нашего гения словесной рапиры была своя ахиллесова пята. Я бы даже сказал – пяточка. «Я сошью себе черные штаны из бархата голоса моего», – написал Маяковский. Понятия не имея об этой великолепной образной строчке, Вадим Шершеневич, обладающий еще более бархатным голосом, месяцем позже напечатал: «Я сошью себе полосатые штаны из бархата голоса моего». Такое катастрофическое совпадение в литературе не редкость. Но попробуй уговори кого-нибудь, что это всего-навсего проклятая игра случая. Стоило только Маяковскому увидеть на трибуне нашего златоуста, как он вставал посреди зала во весь свой немалый рост и зычно объявлял: «А Шершеневич у меня штаны украл!».

Независимость, непохожесть, вызывающие эскапады, необычный взгляд на искусство, даже умение устраивать собственные дела (имажинистам принадлежали созданные ими издательства – «Чихи-Пихи», «Имажинисты», «Див», «Орднас», журнал «Гостиница для путешествующих в прекрасном») вызывали бурю нападок. «Государству нужно для своих целей искусство совершенно определенного порядка, – отвечал на все эти нападки Шершеневич. – Оно поддерживает только то искусство, которое служит ему хорошей ширмой. Государству нужно не искусство исканий, а искусство пропаганды. Мы – имажинисты – с самого начала не становились на задние лапки перед государством. Государство нас не признает – и слава Богу! Мы открыто бросаем свой лозунг: Долой государство! Да здравствует отделение государства от искусства!»

В марте 1921 года, в первом номере журнала «Печать и революция» нарком Луначарский напечатал статью «Свобода книги и революция». Всю мощь своего влияния он обрушил на имажинистов, возмущавших его своими выступлениями. Он даже пригрозил снять с себя звание почетного председателя Всероссийского союза поэтов. Три командора (Шершеневич, Есенин и Мариенгоф) – как вспоминал поэт Матвей Ройзман – собрались в Богословском переулке, чтобы ответить наркому. В письме их были и такие слова: «...если его (Луначарского) фраза не только фраза – выслать нас за пределы Советской России!»

Вообще давление на имажинистов в те годы оказалось настолько мощным, что поэт Иннокентий Аксенов, рецензируя сборник стихов «Лошадь как лошадь», не постеснялся определить Шершеневича как «тип, подлежащий ликвидации и интересный исключительно с последней точки зрения». В 1926 году появилась последняя книга поэта – «Итак итог». Группа имажинистов распалась. «Это произошло в силу объективных причин, лежащих вне поэзии, – писал Шершеневич. – Сущность поэзии переключена: из искусства она превращена в полемику. От поэзии отнята лиричность. А поэзия без

лиризма это то же, что беговая лошадь без ноги. Отсюда и вполне понятный крах имажинизма, который все время настаивал на поэтизации поэзии».

Оглядываясь на прошлое, известный писатель Михаил Осоргин (эмигрировав в Париж) писал: «Когда большинство поэтов и поэтиков в СССР пошли прислуживаться писаньем транспортных стихов, декретовых басен и лозунгов для завертыванья мыла, – имажинисты остались в стороне. Нельзя не поставить этим мальчишкам на плюс, что они делали то, на что другие не решались: не желали сдаваться и отстаивали свое право писателя говорить, что ему хочется».

В 1922 году в личной жизни Шершеневича разразилась катастрофа. «Вадим полюбил артистку необычайной красоты, обаяния, ума – Юлию Дижур, – вспоминал Ройзман. – Она ответила ему взаимностью. Когда он познакомил меня с Дижур, я от души поздравил их, понимая, что они станут мужем и женой. Но вот Дижур повздорила с Вадимом, и он ушел от нее, заявив, что никогда не вернется: он хотел проучить ее. Она несколько раз звонила ему по телефону, но он не поддавался ее уговорам, и она выстрелила из револьвера себе в сердце. Почти все стихи, как и последние книги Вадима, посвящены памяти Юлии».

Навсегда оставив поэзию, Шершеневич ушел в театр. В Камерном театре он заведовал литературной частью. В 1923 году с актером и режиссером Б. А. Фернандовым возглавлял Опытно-героический театр, сам не раз выходил на сцену. В Опытно-героическом театре были поставлены пьесы Шершеневича «Дама в черной перчатке» и «Одна сплошная нелепость». Пьесы и скетчи, написанные им, ставились и в других театрах Москвы. Одновременно много переводил – Софокла, Шекспира, Мольера, Дюма-отца, Клоделя, Брехта. О настроениях поэта той поры многое говорит записка, сохранившаяся в архиве поэта Алексея Крученых: «Закончил Бодлера. Никому от этого не легче».

В начале войны Шершеневич вместе с камерным театром был эвакуирован в Барнаул. С дороги писал: «Гляжу в окно: три дня оптимистический сибирский мороз (30–40). Он здесь переносится легко (если нет ветра). Важны валенки, а они есть. Красивые горы, мрачные люди – и впереди весна. Устал я смертельно». В автобиографии, написанной 15 февраля 1942 года, указывал: «В настоящее время родственников не имею, как в СССР, так и за границей, если не считать моей дочери (рожденной в 1913 году) от первого брака, которая уехала со своим дедом и моей бывшей женой легально за границу в 1923 году и в настоящее время проживает, кажется, в Палестине. Пишу „кажется“, потому что с 1935 года не имею от нее никаких известий».

В феврале 1942 года Шершеневич писал другу в Москву: «В пятьдесят лет человек мечтает о тишине и о комфорте. Кажется, что стыдно мечтать об этом, когда десятки тысяч не имеют даже жизни в буквальном значении. Но что делать? Жизнь одних течет вне зависимости от страданий и смерти других. К сожалению, так же будут рассуждать другие над нашей могилой».

Радуюсь, что мало знакомых. Это было бы утомительно. Так тише. Я тишину люблю, как мать, а мать люблю всего сильнее...»

Умер в Барнауле 18 мая 1942 года.

Анатолий Мариенгоф, встретив в Москве артиста В. Качалова, дружившего с Шершеневичем, сказал ему: «Алиса (Коонен) сказала мне: бедный Дима ужасно не хотел умирать. Он очень любил жизнь. Да и умер-то Вадим непонятно от какого-то „миллиардного туберкулеза“. Туберкулез и Шершеневич – не вяжется одно с другим. А лечили Диму от тифа».

Сергей Александрович Есенин

Родился 21 (3. X) сентября 1895 года в селе Константинове (Рязанская губерния). «С двух лет, – писал в автобиографии, – был отдан на воспитание довольно зажиточному деду по матери, у которого было трое взрослых неженатых сыновей, с которыми протекло почти все мое детство. Дядья были ребята озорные и отчаянные. Трех с половиной лет они посадили меня на лошадь без седла и сразу пустили в галоп. Я помню, что очумел и очень крепко держался за холку. Потом меня учили плавать. Один дядя брал меня в лодку, отъезжал от берега, снимал с меня белье и, как щенка, бросал в воду. Я неумело и испуганно плескал руками, и, пока не захлебывался, он все кричал: „Эх! Стерва! Ну, куда ты годишься?“ „Стерва“ у него было слово ласкательное. После, лет восьми, другому дяде я часто заменял охотничью собаку, плавал по озерам за подстреленными утками. Очень хорошо лазил по деревьям. Среди мальчишек всегда был коноводом и большим драчуном и ходил всегда в царапинах. За озорство меня ругала только одна бабка, а дедушка иногда сам подзадоривал на кулачную и часто говорил бабке: „Ты у меня, дура, его не трожь, он так будет крепче!“ Бабушка любила меня изо всей мочи, и нежности ее не было границ. По субботам меня мыли, стригли ногти и гарным маслом гофрили голову, потому что ни один гребень не брал кудрявых волос. Но и масло мало помогало. Всегда я орал благим матом, и даже теперь какое-то неприятное чувство имею к субботе...»

В 1912 году, окончив земское училище и учительскую школу в Спас-Клепиках, уехал в Москву. Работал в конторе, в типографии, участвовал в Суриковском литературно-музыкальном кружке, учился в Народном университете А. Л. Шанявского. «Восемнадцать лет был удивлен, разослав свои стихи по журналам, тем, что их не печатают и поехал в Петербург (в 1915 году). Там меня приняли весьма радушно. Первый, кого я увидел, был Блок, второй – Городецкий. Когда я смотрел на Блока, с меня капал пот, потому что я в первый раз видел живого поэта. Городецкий меня свел с Клюевым, о котором я раньше не слышал ни слова. С Клюевым у нас завязалась при всей нашей внутренней распре большая дружба...»

Анатолий Мариенгоф вспоминал слова Есенина: «Трудно тебе будет, Толя, в лаковых ботиночках и с проборчиком волосок к волоску. Как можно без поэтической рассеянности? Разве витают под облаками в брючках из-под утюга! Кто этому поверит? Вот смотри – Белый. И волос уже седой, и лысина

величиной с вольфовского однотоного Пушкина, а перед кухаркой своей, что исподники ему стирает, и то вдохновенным ходит... А еще очень невредно прикинуться дурачком. Шибко у нас дурачка любят. Каждому надо доставить свое удовольствие. Знаешь, как я на Парнас восходил? – И Есенин весело, по-мальчишески захохотал: – Тут, брат, дело надо было вести хитро. Пусть, думаю, каждый считает: я его в русскую литературу ввел. Им приятно, а мне наплевать. Городецкий ввел? Ввел. Клюев ввел? Ввел. Сологуб с Чеботаревской ввели? Ввели. Одним словом, и Мережковский с Гиппиусихой, и Блок, и Рюрик Ивнев. К нему я, правда, первому из поэтов подошел – скопил он на меня, помню, лорнет, и не успел я еще стишка в двенадцать строчек прочесть, а он уже тоненьким таким голосочком: „Ах, как замечательно! Ах, как гениально! Ах...“ и, ухватив меня под ручку, поволок от знаменитости к знаменитости, „ахи“ свои расточая. Сам же я – скромного, можно сказать, скромнее. От каждой похвалы краснею. Как девушка и в глаза никому от робости не гляжу. Потеха! – Есенин улыбнулся, посмотрел на свой шнурованный американский ботинок (к тому времени успел он навсегда расстаться с поддевкой, с рубашкой, вышитой, как полотенце, с голенищами в гармошку) и по-хорошему чистосердечно (а не с деланной чистосердечностью, на которую тоже был великий мастер) сказал: – Знаешь, и сапог-то я никогда в жизни таких рыжих не носил, и поддевки такой задрипанной, в какой перед ними предстал. Говорил им, что еду бочки в Ригу катать, жрать, мол, нечего, а в Петербурге на денек, пока партия моя грузчиков подберется. А какие там бочки – за мировой славой в Санкт-Петербург приехал, за бронзовым монументом. Вот и Клюев тоже так. Он маляром прикинулся. К Городецкому с черного хода пришел на кухню: „Не надо ли чего покрасить?“ И давай кухарке стихи читать. А уж известно: кухарка у поэта. Сейчас к барину: „Так-де и так“. Явился барин. Зовет в комнаты – Клюев не идет: „Где уж нам в горницу: и креслиц-то барину перепачкаю, и пол вощенной наслежу“ Барин предлагает садиться. Клюев мнетя: „Уж мы постоим“. Так, стоя перед барином в кухне, стихи и читал. – Есенин помолчал. Глаза из синих обернулись в серые, злые, покраснели веки, будто кто пристегнул по их краям красную ниточку: – Ну а потом таскали меня недели три по салонам – похабные частушки распевать под тальянку. Для виду спервоначалу стишки попросят. Прочту два-три – в кулак прячут позевотину, а вот похабщину хоть всю ночь жаривай. Ух, уж и ненавижу я всех этих Сологубов с Гиппиусихами! – Опять в синие обернулись его глаза. Хрупнул в зубах огурец. Зеленая капелька рассола упала на рукопись. Смахнув с листа рукавом огуречную слезу, потеплевшим голосом он добавил: – Из всех петербуржцев только люблю Разумника Васильевича да Сережу Городецкого – даром что Нимфа его (так прозывали в Петербурге жену Городецкого) самовар заставляла меня ставить и в мелочную лавку за нитками посылала...»

В 1916 году в Петербурге вышел в свет первый сборник стихов Есенина – «Радуница». На поэта обратили внимание, имя его становится известным.

Зарабатывал он к этому времени не мало, но «к отцу, к матери, к сестрам (обретавшимся тогда в селе Константинове Рязанской губернии) относился с одышкой от самого живота, как от тяжелой клади, – вспоминал Мариенгоф. – Денег в деревню посылал мало, скупно, и всегда при этом злясь и ворча. Никогда по своему почину, а только – после настойчивых писем, жалоб и уговоров. Иногда из деревни приезжал отец. Робко говорил про нужду, про недороды, про плохую картошку, сгнившее сено. Крутил реденькую конопляную бороденку и вытирал грязной тряпицей слезящиеся красные глаза. Есенин слушал речи отца недоверчиво, напоминал про дождливое лето и жаркие солнечные дни во время сенокоса; о картошке, которая почему-то у всех уродилась, кроме его отца; об урожае Рязанской губернии не ахти плохом. Чем больше вспоминал, тем больше сердился: „Знать вы там ничего не желаете, а я вам что мошна: сдохну – поплачете о мошне, а не по мне“. Вытаскивал из-под подушки книгу и в сердцах вслух читал о барышнике, которому локомотивом отрезало ногу. Несут того в приемный покой, кровь льет – страшное дело, а он все просит, чтобы ногу его отыскали, и все беспокоится, как бы в сапоге, на отрезанной ноге, не пропали спрятанные двадцать рублей. „Все вы там такие“. Отец вытирал грязной тряпицей слезящиеся красные глаза, щипал на подбородке реденькую размохрявленную рогожку и молчал. Под конец Есенин давал денег и поскорей выпроваживал старика из Москвы...»

«Весной 1918 года я познакомился в Москве с Есениным, – вспоминал Ходасевич. – Он как-то физически был приятен. Нравилась его стройность, мягкие, но уверенные движения, лицо не красивое, но миловидное. А лучше всего была его веселость, легкая, бойкая, но не шумная и не резкая. Он был очень ритмичен. Смотрел прямо в глаза и сразу производил впечатление человека с правдивым сердцем, наверное – отличнейшего товарища... Но вращался он тогда в дурном обществе. Преимущественно это были молодые люди, примкнувшие к левым эсерам и большевикам, довольно невежественные, но чувствовавшие решительную готовность к переустройству мира. Философствовали непрестанно, и непременно в экстремистском духе. Люди были широкие. Мало ели, но много пили. Не то пламенно веровали, не то пламенно кощунствовали. Ходили к проституткам проповедовать революцию – и били их. Основным образом делились на два типа. Первый – мрачный брюнет с большой бородой. Второй – белокурый юноша с длинными волосами и серафическим взором, слегка „нестеровского“ облика. И те и другие готовы были ради ближнего отдать последнюю рубашку и загубить свою душу. Самого же ближнего – тут же расстрелять, если того „потребует революция“. Все писали стихи, и все имели непосредственное касательство к че-ка. Кое-кто из серафических блондинов позднее прославился именно на почве расстреливания. Думаю, что Есенин знал с ними из небрежливости любопытства и из любви к крайностям, каковы бы они ни были... Помню такую историю. Тогда же, весной 1918 года, Алексей Толстой вздумал справлять именины. Созвал всю Москву

литературную: „Сами приходите и вообще публику приводите“. Собралось человек сорок, если не больше. Пришел и Есенин. Привел бородатого брюнета в кожаной куртке. Брюнет прислушивался к беседам. Порою вставлял словцо – и неглупое. Это был Блюмкин, месяца через три убивший графа Мирбаха, германского посла. Есенин с ним, видимо, дружил. Была в числе гостей поэтесса К. Приглянулась она Есенину. Стал ухаживать. Захотел щегольнуть и простодушно предложил поэтессе: „А хотите поглядеть, как расстреливают? Я это вам через Блюмкина в одну минуту устрою“.

Еще ранее, чем «Инонию», написал он стихотворение «Товарищ», вещь очень слабую, но любопытную. В ней он впервые расширил свою «социальную базу», выведя рабочих. Рабочие вышли довольно неправдоподобные, но важно то, что в число строителей новой истины включался теперь тот самый пролетариат, который вообще трактовался крестьянскими поэтами как «хулиган» и «шпана». Перемена произошла с разительной быстротой и неожиданностью, что опять-таки объясняется теми влияниями, под которые подпал Есенин...»

В том же году, осенью, Есенин подружился с поэтами Мариенгофом и Шершеневичем. Вместе решили основать «Орден имажинистов». «Было условлено о встрече для сговора, – вспоминал Мариенгоф, – и, если не разбредемся в чувствовании и понимании словесного искусства, для выработки манифеста. Последним, опоздав на час с лишним, явился Есенин. Вошел он запыхавшись, платком с голубой каемочкой вытирая со лба пот. Стал рассказывать, как бегал он вместо Петровки по Дмитровке, разыскивая дом с нашим номером. А на Дмитровке вместо дома с таким номером был пустырь; он бегал вокруг пустыря, злился и думал, что все это подстроено нарочно, чтобы его обойти, без него выработать манифест и над ним же потом посмеяться. У Есенина всегда была болезненная мнительность. Он высасывал из пальца своих врагов; каверзы, которые против него будто бы замышляли; и сплетни, будто бы про него распространяемые. Мужика в себе он любил и нес гордо, но при мнительности всегда ему чудилась барская снисходительная улыбочка и какие-то в тоне слов неуловимые ударения...» В январе 1919 года «Декларация» была напечатана, а накануне в Союзе поэтов состоялся первый поэтический вечер имажинистов. К трем «командорам» присоединились поэты И. Грузинов, А. Кусиков, М. Ройзман и совсем юный Николай Эрдман. Уже к сентябрю Есенин и Мариенгоф разработали устав «Ассоциации вольнодумцев», который подписали все члены группы и официально утвердил нарком просвещения Луначарский, на первых порах относившийся к имажинистам вполне доброжелательно. Такое официальное утверждение позволило открыть при «Ассоциации» несколько коммерческих заведений: уже к концу года в Москве работало литературное кафе имажинистов «Стойло Пегаса», оформленное художником Якуловым, и два книжных магазина, где за прилавками стояли сами поэты. Им же принадлежал небольшой кинотеатр «Лилипут». Выручаемые средства шли на жизнь и на издание книг. «Уж очень трудно стало у нас с книжным делом

в Москве, – жаловался Есенин поэту А. Ширяевцу в июне 1920 года. – Почти ни одной типографии не дают для нас, несоветских, а если и дают, то опять не обходится без скандала. Заедают нас, брат, заедают». В результате имажинисты организовали несколько собственных кооперативных издательств. «Расточительно тратят бумагу, не считаясь с оскудением ее, поэты-имажинисты, – злобились советские газеты. – В истекшем году типографский станок выбросил большую имажинистскую литературу, поглотившую бумажную выработку, по крайней мере, одной бумагоделательной фабрики за год. Прибавьте к тому, что свои ерундивые стихи Мариенгоф печатает размашисто по 6 строк на странице». В 1921 году в имажинистских издательствах действительно вышло сразу несколько поэтических сборников, среди них есенинские – «Трерядница», «Радуница» и «Преображение», и (в 1922 году) – «Пугачев», образец истинного имажинизма.

«Сумасшедшая, бешеная кровавая муть! Что ты? Смерть? Иль исцеленье калекам? Проведите, проведите меня к нему, я хочу видеть этого человека... Я три дня и три ночи искал ваш умет, тучи с севера сыпались каменной грудой. Слава ему! Пусть он даже не Петр! Чернь его любит за буйство и удаль... Я три дня и три ночи блуждал по тропам, в солонце рыл глазами удачу, ветер волосы мои, как солому, трепал и цепами дождя обмолачивал... Но озлобленное сердце никогда не заблудится, эту голову с шеи сшибить нелегко, оренбургская заря красно-шерстной верблюдицей рассветное роняла мне в рот молоко... И холодное корявое вымя сквозь тьму прижимал я, как хлеб, к истощенным векам. Проведите, проведите меня к нему, я хочу видеть этого человека...»

Это были годы, вспоминал Шершеневич, когда легче было сосчитать часы, которые он, Есенин, Мариенгоф и Кусиков проводили не вместе, – чем часы дружбы и свиданий. С Мариенгофом Есенин снимал одну квартиру, они вместе выступали, вместе ездили в Петроград, в Харьков, на Кавказ. «Ехали мы от Тихорецкой на Пятигорск, – писал Есенин в августе 1920 года Е. Лившиц, – вдруг слышим крики, выглядываем в окно, и что же? Видим, за паровозом что есть силы скачет маленький жеребенок. Так скачет, что нам сразу стало ясно, что он почему-то вздумал обогнать его. Бежал он очень долго, но под конец стал уставать, и на какой-то станции его поймали. Эпизод для кого-нибудь незначительный, а для меня он говорит очень много. Конь стальной победил коня живого. И этот маленький жеребенок был для меня наглядным дорогим вымирающим образом деревни и ликом Махно. Она и он в революции нашей страшно походят на этого жеребенка, тягательством живой силы с железной. Мне очень грустно сейчас, что история переживает тяжелую эпоху умерщвления личности как живого, ведь идет совершенно не тот социализм, о котором я думал, а определенный и нарочитый, как какой-нибудь остров Елены, без славы и без мечтаний...»

«Ни одно из произведений Есенина не вызывало такого шума, как „Сорокоуст“, – вспоминал И. Розанов упомянутое выше стихотворение. – Уже

четвертый или пятый стих вызывает кое-где свист и отдельные возгласы негодования, – (речь идет о вечере поэзии, состоявшемся в Политехническом музее 17 октября 1920 года). – В стихах этих речь идет о блохах у мерина. Но когда поэт произносит девятый стих и десятый, где встречается слово, не принятое в литературной речи, начинается свист, шипенье, крики: „Довольно!“ и т. д. Есенин пытается продолжать, но его не слышно. Шум растет, Есенин ретируется. С невероятным трудом при помощи звучного и зычного голоса Шершеневича председателю (Брюсову) удается наконец водворить относительный порядок. Брюсов встает и говорит: „Вы услышали только начало и не даете поэту говорить. Надеюсь, что присутствующие поверят мне, что в деле поэзии я кое-что понимаю. И вот я утверждаю, что данное стихотворение Есенина самое лучшее из всего, что появилось в русской поэзии в последние два или три года“. Есенин начинает, по обыкновению размахивая руками, декламировать сначала, но как только он опять доходит до мужицких слов, не принятых в салонах, поднимается рев еще больше, чем раньше, топот ног. „А все-таки он прочтет до конца!“ – кричит Шершеневич. Есенина берут несколько человек и ставят его на стол. И вот он в третий раз начинает читать свои стихи, но даже в передних рядах ничего не слышно: такой стоит невообразимый шум...» Сам Есенин тогда так объяснял: «Меня спрашивают, зачем я в стихах своих употребляю иногда неприятные в обществе слова – так скучно иногда бывает, так скучно, что вдруг и захочется что-нибудь такое выкинуть. А впрочем, что такое „неприличные слова“? Их употребляет вся Россия, почему не дать им права гражданства и в литературе?»

«Помногу сидели мы за стихами, – писал Мариенгоф, – принялись оба за теорию имажинизма. Работа над теорией завела нас в фантастические дебри филологии. Доморощенную развели науку – обнажая и обнаруживая диковинные, подчас основные, образные корни и стволы в слове. Бывало, только продерешь со сна глаза, а Есенин кричит: «Анатолий, крыса! «Отвечаешь заспаным голосом: «Грызть». – «А ну, производи от зерна». – «Озеро, зрак». – «А вот хорош тоже образ в корню: рука – ручей, река – речь...» – «Крыло – крыльцо...» – «Око – окно...» Однажды, хитро прихромнув бровью: «Валяй, производи от сора». И, не дав пораскинуть мозгами, проторжествовал: – «Сортир!»

«В конце 1921 года, – вспоминал Ройзман, – Якулов сказал, что Айседора Дункан (известная танцовщица, приглашенная Луначарским в Советскую Россию) влюбилась с первого взгляда в Есенина, да и Сергей не остался к ней равнодушен. Есенин созвал нас, имажинистов, в „Стойле“ поздно вечером. Он привез Дункан после ее выступления: она была одета в длинный красный хитон, а поверх него – в меховое манто. Это была величественная женщина со светло-бронзовыми волосами. Она напоминала только что сошедшую со сцены королеву. Сергей каждого из имажинистов представил Айседоре и сказал о нем несколько слов. Чтобы ей было понятно, Шершеневич переводил это на французский язык. (Она не говорила по-русски). Потом

Вадим рассказал ей об основах имажинизма. Есенин пригласил всех нас заходить к нему в особняк на Пречистенке...»

Об особняке этом, принадлежавшем когда-то балерине Балашовой, позже написал искусствовед М. В. Бабенчиков.

«Поднявшись по широкой мраморной лестнице и отворив массивную дверь, я очутился в просторном холодном вестибюле. Есенин вышел ко мне, кутаясь в какой-то пестрый халат. Меня поразило его болезненно-испитое лицо, припухшие веки, хриплый голос, которым он спросил: „Чудно? – И тут же прибавил: – Пойдем, я тебя еще не так удивлю“. Сказав это, Есенин ввел меня в комнату, огромную, как зал. Посредине ее стоял письменный стол, а на нем среди книг, рукописей и портретов Дункан высилась деревянная голова самого Есенина, работы Коненкова. Рядом со столом помещалась покрытая ковром тахта. Все это было в полном беспорядке, точно после какого-то разгрома. Есенин, видя мое невольное замешательство, еще больше возликовал: „Садись, видишь, как живу – по-царски! А там, – он указал на дверь, – Дункан. Прихорашивается. Скоро выйдет“. Проговорил он все это скороговоркой, будто сыпал горох, а потом начал обстоятельно рассказывать, как выступал в модном кабаре, как его восторженно принимала публика...

Вошла Дункан. Я ее видел раньше очень давно и только издали на эстраде, во время ее гастролей в Петербурге. Сейчас передо мной стояла довольно уже пожилая женщина, пытавшаяся, увы, без особенного успеха, все еще выглядеть молодой. Одета она была во что-то прозрачное, переливающееся, как и халат Есенина, всеми цветами радуги и при малейшем движении обнажавшее ее вялое и от возраста дряблое тело, почему-то напомнившее мне мясистость склизкой медузы. Глаза Айседоры, круглые, как у куклы, были сильно подведены, а лицо ярко раскрашено, и вся она выглядела такой же искусственной и нелепой, как нелепа была и крикливо обставленная комната, скорее походившая на номер гостиницы, чем на жилище поэта. Порусски Дункан знала всего несколько слов: «красный карандаш», «синий карандаш», «яблоко» и «Луначарский», которые произносила, как ребенок, забавно коверкая и заменяя одну букву другой. Поэтому и разговор наш, начатый таким образом, велся ощупью, пока мы не догадались, наконец, перейти на французский язык. Дункан говорила вяло, лениво цедя слова, о совершенно различных вещах. О том, что какой это ужас, что она пятнадцать минут не целовала Есенина, что ей нравится Москва, но она не любит снег, что один русский критик обещал ей подарить настоящее *petit trainean* (маленькие сани) и еще что-то все в том же кокетливо наивном тоне стареющей актрисы. Говоря, она полулежала на широкой тахте, усталая, разморенная заботами прошедшего дня и, как мне показалось, чем-то расстроенная. Есенин тоже был не в духе. Он сидел в кресле, медленно тянул вино из высокого бокала и упорно молчал, не то с усмешкой, не то с раздражением слушая болтовню Айседоры...

Когда Дункан, попрощавшись, вышла в свою комнату, мы остались с Есениным наедине. Так как от окна сильно дуло, нам пришлось перейти ближе к кирпичной времянке, устроившись прямо на ковре. Есенин, сидя на корточках, рассеянно шевелил с трудом догоравшие головни, а затем, угрюмо упершись невидящими глазами в одну точку, тихо начал: «Был в деревне. Все рушится. Надо самому быть оттуда, чтобы понять. Конец всему...» Говорил Есенин и о Клюеве, причем, слушая его, я убедился, что несмотря на прошедшие годы отношения их несколько не изменились. Клюева Есенин выделял из числа близких лиц, а раз, помнится, даже сказал, что это единственный человек, которого он по-настоящему прочно и долго любил и любит...»

Европа и Америка, куда увезла поэта Дункан, произвели на Есенина ужасное впечатление. «Сижу в Остенде, – писал он в Москву Мариенгофу. – Паршивейшее Бель-Голландское море и свиные тупые морды европейцев. От изобилия вин в сих краях я бросил пить и тяну только сельтер (несомненное преувеличение). Там, из Москвы, нам казалось, что Европа – это самый обширнейший район распространения наших идей в поэзии, а отсюда я вижу: боже мой, до чего прекрасна и богата Россия в этом смысле. Кажется, нет такой страны и быть не может. В Берлине я наделал, конечно, много скандала и переполоха. Мой цилиндр и сшитое берлинским портным манто привели всех в бешенство. Все думают, что я приехал на деньги большевиков как чекист – или как агитатор. Мне это весело и забавно. Том свой продал Гржебину. От твоих книг шарахаются. „Хорошую книгу стихов“ удалось продать только как сборник новых стихов твоих и моих. Ну, да черт с ними, ибо все они здесь прогнили за 5 лет эмиграции. Живущий в склепе пахнет мертвечиной. Если ты хочешь сюда пробраться, то потормоши Илью Ильича, я ему пишу об этом особо. Только после всего, что я здесь видел, мне не очень хочется, чтобы ты покинул Россию. Наше литературное поле другим сторожам доверять нельзя. Во всяком случае, конечно, езжай, если хочется, но скажу откровенно: если я не удеру отсюда через месяц, то это будет большое чудо. Тогда, значит, во мне есть дьявольская выдержка характера, которую отрицает во мне Коган...»

«Я покинул родимый дом, голубую оставил Русь. В три звезды березняк над прудом теплит матери старой грусть... Золотую лягушкой луна распласталась на тихой воде. Словно яблонный цвет, седина у отца пролилась в бороде... Я не скоро, не скоро вернусь! Долго петь и звенеть пурге. Стережет голубую Русь старый клен на одной ноге... И я знаю, есть радость в нем тем, кто листья целует дождь, оттого, что тот старый клен головой на меня похож...»

«Я увидел Есенина в Берлине, в квартире А. Н. Толстого, – писал М. Горький. – От кудрявого, игрушечного мальчика остались только очень ясные глаза, да и они как будто выгорели на каком-то слишком ярком солнце. Беспokoйный взгляд их скользил по лицам людей изменчиво, то вызывающе и пренебрежительно, то, вдруг, неуверенно, смущенно и недоверчиво. Мне показалось, что в общем он настроен недружелюбно к людям. И было видно,

что он – человек пьющий. Веки опухли, белки глаз воспалены, кожа на лице и шее – серая, поблекшая, как у человека, который мало бывает на воздухе и плохо спит... Есенина попросили читать. Он охотно согласился, встал и начал монолог Хлопуши. Вначале трагические выкрики каторжника показались театральными, но вскоре я почувствовал, что Есенин читает потрясающе, и слушать его стало тяжело до слез. Я не могу назвать его чтение артистическим, искусным и так далее, все эти эпитеты ничего не говорят о характере чтения. Голос поэта звучал несколько хрипло, крикливо, надрывно, и это как нельзя более резко подчеркивало каменные слова Хлопуши. Изумительно, искренно, с невероятной силою прозвучало неоднократно и в разных тонах повторенное требование каторжника: „Я хочу видеть этого человека!“ Даже не верилось, что этот маленький человек обладает такой огромной силой чувства, такой совершенной выразительностью. Он размахивал руками не в ритм стихов, но это так и следовало, ритм их был неуловим, тяжесть каменных слов капризно разновесна. Казалось, что он мечет их, одно – под ноги себе, другое – далеко, третье – в чье-то ненавистное ему лицо. И вообще все: хриплый, надорванный голос, неверные жесты, качающийся корпус, тоской горящие глаза – все было таким, как и следовало быть всему в обстановке, окружавшей поэта в тот час...»

Позже Айседора Дункан, уже оставленная Есениным, жаловалась Мариенгофу: «О, это было такое несчастье! Вы понимаете, у нас в Америке актриса должна бывать в обществе – приемы, балы. Конечно, я приезжала с Сережей. Вокруг нас много людей, много шума. Везде разговор. Тут, там называют его имя, говорят хорошо. В Америке нравились его волосы, его походка, его глаза, но Сережа не понимает ни одного слова, кроме „Есенин“. А ведь вы знаете, какой он мнительный. Это была настоящая трагедия! Ему всегда казалось, что над ним смеются, издеваются, что его оскорбляют. При его болезненном самолюбии он делался злой, как демон. Его даже стали называть „Белый Демон“. Банкет, нас чествуют. Речи, звон бокалов. Сережа берет мою руку, его пальцы как железные клещи. „Изадора, домой!“ Я никогда не противоречила. Одни думали, что у него заболел живот, другие, что он русский дикарь, третьи, что он сумасшедший. А как только мы входили в свой номер... я еще в шляпе, в мантио... он хватал меня за горло и, как мавр, начинал душить... „Правду, сука! Правду! Что говорила обо мне твоя американская сволочь?“ А я уже только могу хрипеть: „Хорошо говорили, очень хорошо!“ Но он никогда не верил. Ах, это был такой ужас, такое несчастье!».

После поездки за границу (он пробыл там с 10 мая 1922 года по 3 августа 1923 года), имажинизм стал Есенину тесен. «Сейчас я отрицаю всякие школы. Считаю, что поэт и не может держаться определенной какой-нибудь школы. Это связывает его по рукам и ногам. Только свободный художник может принести свободное слово». Впрочем, в разрыве с имажинистами не малую роль сыграла личная ссора Есенина с Мариенгофом. Галина Бениславская

(одна из подруг поэта) виновницей ссоры (роковой, по ее мнению) называла сестру поэта. «Катя в жизни С. А. совершенно невольно была злым гением, постоянно нарушая и без того неустойчивое душевное равновесие его. Трудно представить, но я хорошо знаю, что в разрыве С. А. с Мариенгофом (которого С. А. очень любил) она сыграла главную роль, хотя С. А. почти не говорил об этом. А корни были вот в чем. Когда С. А. был за границей, денежные дела у Мариенгофа были очень плохи. „Стойло Пегаса“ закрылось, магазин ничего не давал, и Мариенгоф с Мартышкой (домашнее прозвище жены Мариенгофа), ждавшей тогда ребенка, форменным образом голодали. Я это знаю от лиц, живших в одной квартире с ними. Катя, по ее словам не знавшая нужды при С. А., неоднократно обращалась к Мариенгофу, зная, что часть денег из магазина принадлежит С. А., но денег не получала. Не зная, а может быть, по легкомыслию не желая вникнуть в положение Мариенгофа, она возмущалась и, кажется даже писала С. А. о том, что Мариенгоф не дает денег. Во всяком случае, по возвращении Есенина из-за границы она говорила об этом С. А., который, как и следовало ожидать, страшно обозлился на Мариенгофа...»

«Вернувшись в Москву, – вспоминал Ходасевич, – глубоко погрузясь в нэповское болото (за границу он уехал в самом начале нэпа), ощутив всю позорную разницу между большевистскими лозунгами и советской действительностью даже в городе, – Есенин впал в злобу. Он снова запил, и его пьяные скандалы сперва приняли форму антисемитских выходок. Тут отчасти заговорила в нем старая закваска, и злоба Есенина вылилась в самой грубой и примитивной форме. Они (Есенин и поэт Клычков, принимавший участие в скандалах) были привлечены к общественному суду, который состоялся в так называемом „Доме Печати“. О бестактности и унижительности, которыми сопровождался суд, сейчас рассказывать преждевременно. Есенина и Клычкова „простили“. Тогда начались кабацкие выступления характера антисоветского. Один из судей, Андрей Соболев, впоследствии тоже покончивший с собой, рассказывал мне в начале 1925 года в Италии, что так „крыть“ большевиков, как это публично делал Есенин, не могло и в голову прийти никому в советской России; всякий сказавший десятую долю того, что говорил Есенин, давно был бы расстрелян. Относительно же Есенина был только отдан в 1924 году приказ по милиции – доставлять в участок для вытрезвления и отпускать, не давая делу дальнейшего хода. Вскоре все милиционеры центральных участков знали Есенина в лицо. Конечно, приказ был отдан не из любви к Есенину и не в заботах о судьбе русских писателей, а из соображений престижа: не хотели подчеркивать и официально признавать „расхождения“ между „рабоче-крестьянской“ властью и поэтом, имевшим репутацию крестьянского...»

«Может, поздно, может, слишком рано, и о чем не думал много лет, походить я стал на Дон Жуана, как заправский ветреный поэт... Что случилось? Что со мною случилось? Каждый день я у других колен. Каждый день к себе теряю жалость, не смиряясь с горечью измен... Я всегда хотел,

чтоб сердце меньше билось в чувствах нежных и простых, что ж ищу в очах я этих женщин – легкодумных, лживых и пустых?... Удержи меня, мое презренье, я всегда отмечен был тобой. На душе холодное кипенье и сирени шелест голубой...»

Отношения Есенина с женщинами никогда не были простыми. До брака с Зинаидой Райх у него уже был сын от Анны Изрядновой (Есенин познакомился с нею 18-летним, работая в Сытинской типографии). Райх тоже ушла от Есенина – к Всеволоду Мейерхольду. Не оказался (да, видимо, и не мог оказаться) прочным брак с Айседорой Дункан: Есенину было 27 лет, ей – 45. «Накануне (перед загсом), – вспоминал позже И. Шнейдер, – Айседора смущенно подошла ко мне, держа в руках свой французский паспорт. „Не можете ли вы тут немножко исправить?“ – еще более смущаясь, попросила она. Я не понял. Тогда она коснулась пальцем цифры с годом своего рождения. Я рассмеялся – передо мной стояла Айседора, такая красивая, стройная, похудевшая и помолодевшая, намного лучше той Айседоры Дункан, которую впервые, около года назад, увидел в квартире Гельцер. Но она стояла передо мной, смущенно улыбаясь и закрывая пальцем цифру с годом своего рождения, выписанную черной тушью. „Ну, тушь у меня есть, – сказал я, делая вид, что не замечаю ее смущения. – Но, по-моему, это вам и не нужно“. – „Это для Есенина, – ответила она. – Мы с ним не чувствуем разницы, но она тут написана... И мы завтра дадим паспорта в чужие руки... Ему, может быть, будет неприятно... Паспорт же мне скоро будет не нужен, я получу другой“. – Я исправил цифру...» Не удалась и жизнь поэта с Августой Миклашевской (ей посвящен цикл «Любовь хулигана»).

В марте 1925 года Есенин познакомился с внучкой Л. Н. Толстого – Софьей Андреевной. «Я понимал, – писал Ройзман, – что Есенин снова пытается обрести семью, знаменитого сына (о котором мечтал). Он выбрал женщину и моложе себя на пять лет, и в жилах которой текла кровь величайшего писателя мира. Но, очевидно, решение Сергея созрело быстро, он не успел как следует узнать характер своей будущей жены. Она заведовала библиотекой Союза писателей, и мы знали ее. Она была сверх меры горда, требовала соблюдения этикета и беспрекословного согласия с ее мнением. Она умела все это непринужденно скрывать за своим радушием, вежливостью. Эти качества были прямо противоположны простоте, великодушию, благородству, веселости, озорству Сергея. Все эти свойства Софьи Андреевны я узнал не только сталкиваясь с ней в библиотеке, но и принимая участие в выставке Союза писателей, во главе которой стояла она. Осенью 1925 года я сел в трамвай возле Арбатской площади, опустил на скамью и увидел, что напротив меня сидит С. А. Толстая. Я спросил, как ее здоровье и, получив ответ, поинтересовался жизнью и работой Есенина, которого не видел с лета. Толстая ответила, что ничего общего с ним не имеет...» А сам Есенин говорил: «С новой семьей вряд ли что получится, слишком все здесь заполнено „великим старцем“, его так много везде, и на столах, и в столах, и на стенах, кажется, даже на потолках, что для живых

людей места не остается. И это душит меня...» Впрочем, образ жизни Есенина и не мог подойти к толстовскому дому. «Я ведь с лета ушла из квартиры, – писала мать Софьи Андреевны своим друзьям, – а они жили там, и с ними его сестры, двоюродный брат и всякие типы – приезжавшие, уезжавшие. Образовался какой-то постоялый двор. С сентября месяца, со времени начала издания его стихов в Государственном издательстве и по мере получения громадных сумм, он стал пить все больше и больше и одновременно отношение его к Соне становилось все хуже и хуже. Он жил только для себя, тратил безумные деньги на кутежи, а квартира осталась неоплаченной за 3 месяца вперед и у Сони не было ни башмаков, ни калош – ничего. Он даже не собрался купить обручальные кольца. И она находит его добрым! Уехал в Питер, не оставив дома ни копейки и оставшись должным и домовому комитету, и нескольким лицам, так что когда Соне пришлось уехать в Ленинград, то она заняла... Может быть, – подчеркивала Толстая, – никто кроме меня так не беспокоился о нем: ведь я обращалась к нескольким значительным лицам в литературном мире, могущим оказать на него влияние, прося их обратить внимание на его поведение, взять его от лица Союза писателей под опеку, поместить его куда-нибудь на лечение, спасти его от самого себя. Но, увы, все это было напрасно! Большинство его «друзей» предпочитало с ним кутить и пить на его деньги...»

«Вслед за литературными путями разбежались у нас с Есениным дороги дружбы и сердца, – с такой же горечью писал и Мариенгоф. – Я только что приехал из Парижа. Сидел в кафе, слушал унылое нытье толстой контрабасной струны. Никого народу. У барышни в белом фартучке – флюс. А вторая барышня в белом фартучке даже не потрудилась намазать губы. Черт знает что такое! На улице непогодь, мокрядь, желтый, жидкий блеск фонарей. Я подумал, что хорошо бы эту осеннюю тоску расхлестать веселыми монпарнасскими песенками. Неожиданно вошел Есенин. Барышня с флюсом и барышня с ненакрашенными губами испуганно трепыхнулись и повели плечиками. Глаз у Есенина мутный, рыхлый, как кусочек сахара, полежавший в чашке горячего кофе. Одет неряшливо. Шляпа пятнистая, помятая; несвежий воротничок и съехавший набок галстук. Золотистая пена волос размылилась и посерела, стала походить на грязноватую, как после стирки, воду в корыте... К концу года, – писал дальше Мариенгоф, – решение „уйти“ стало у Есенина маниакальным. Он ложился под колеса дачного поезда, он пытался выброситься из окна пятиэтажного дома, пытался перерезать вену обломком стекла, заколоть себя кухонным ножом... А накануне он был у Николая Клюева, среди теплющихся лампадок читал стихи своему «старшему брату» в поэзии. Клюев сидел на некрашеной дубовой лавке под иконой Миколы Чудотворца старого новгородского письма. «Ну, как? – тихо спросил Есенин. – Стихи-то мои?» – Старшой брат троекратно облобызал его: «Чувствительные, Сереженька. Чувствительные стишки. Их бы тебе на веленовой бумаге напечатать. С виньеточками. Амурчики, голубки, лиры... И в сафьян переплести... Или в парчу... И чтоб с золотым

обрезом... Для замоскворецких барышень... Они небось и сейчас по Ордынке да на Пятницкой проживают... Помнишь, как Надсона-то переплетали? И Апухтина. А потом Северянина Игоря... Короли поэтов... Вот бы, Сереженька, и твои стихи переплесть так же...» – После этих слов Есенин заплакал...

Есенин на моих глазах трагически переходил из категории в категорию. Вот он – выпивала. Складный, франтоватый, задористый, с лукавой сметкой, с поцелуями, с песней. С частушкой, горячими разговорами о любви, о дружбе, об искусстве и, разумеется, – со стихами. Вот – пьяница. Неряшливый, ощеренный, драчливый, распутный, с трехэтажным бесстыдным матом и... со стихами! Впрочем, в притче сказано лучше: «У кого вой? У кого стон? У кого раны без причины? У кого багровые глаза? У тех, которые долго сидят за вином». В те, дункановские, годы Есенин тоже сидел за вином долго. И у него тоже были багровые глаза, и вой, и стон. Вот он – алкоголик. Обреченный, беспросветный, с дневным бредом, с пеной на губах, с галлюцинациями, с затемненным сознанием и... со стихами! Да, он мог потерять и терял все. И деньги из кармана, и стыд из души, и последнего друга, и любимую женщину, и шапку с головы, и голову в кабаке – только не стихи!..

Где-то когда-то, – писал дальше Мариенгоф, – мне довелось прочесть биографию шотландской принцессы XV века. Если память не изменяет, ее звали Маргаритой. Умирая, принцесса сказала: «Плевать на жизнь!» Никто не слышал последних слов Есенина. Да и вряд ли в унылом номере петербургской гостиницы «Англетер» в последнюю минуту он разговаривал сам с собой. Этой дурной театральной привычки я никогда не замечал за ним. Но с 1923 года, то есть после возвращения из свадебного заграничного путешествия весь смысл его существования был тот же, что у шотландской принцессы: плевать на жизнь!»

Покончил с собой в ночь с 27 на 28 декабря 1925 года в Ленинграде.
Владислав Фелицианович Ходасевич

Пробочка над крепким йодом!
Как ты скоро перетлела!
Так вот и душа незримо
Жжет и разрушает тело.

Родился 16 (28) мая 1886 года в Москве.

«В. Ф. очень рано научился читать, – писала в воспоминаниях Анна Ивановна Чулкова, его вторая жена, – и в детстве его любимым занятием было чтение. Однажды летом, по каким-то семейным обстоятельствам, он был отправлен к дяде на дачу под Петербургом. В этой же дачной местности жил поэт Майков. Узнав об этом, В. Ф., будучи 6–7 лет, отправился самостоятельно к даче Майкова и, увидев на скамейке седовласого старца, сказал: „Вы поэт Майков?“ – и, получив утвердительный ответ, сообщил: „А я Владя Ходасевич. Я очень люблю ваши стихи и даже могу прочесть наизусть

„Мой сад с каждым днем увядает“. Майков выслушал со вниманием юного поклонника и даже поблагодарил. С тех пор Владя считал себя его знакомым и очень этим гордился“.

В 1904 году окончил 3-ю московскую классическую гимназию и поступил на юридический факультет Московского университета. Осенью 1905 года перешел на историко-филологический факультет, в 1910 году совсем оставил учебу. Главной причиной этого, как он сам указывал, стало отсутствие средств, невозможность оплачивать учебу. К тому же, «в восемнадцать лет Владя женился на Марине Рындиной. Марина была блондинка, высокого роста, красивая и большая причудница. Одна из ее причуд была манера одеваться только в платья белого или черного цвета. Она обожала животных и была хорошей наездницей. Владя рассказывал, что однажды, когда они ехали на рождественские каникулы в имение Марины, расположенное близ станции Бологое, она взяла с собой в купе следующих животных: собаку, кошку, обезьяну, ужа и попугая. Уж вообще был ручной, и Марина часто надевала его на шею вместо ожерелья. Однажды она взяла его в театр и, сидя в ложе, не заметила, как он переполз в соседнюю ложу и, конечно, наделал переполоха, тем более, что его приняли за змею. Владе из-за этого пришлось пережить неприятный момент. Еще он рассказывал о таком случае: они летом жили в имении Марины. Она любила рано вставать и в одной рубашке (но с жемчужным ожерельем на шее) садилась на лошадь и носилась по полям и лесам. И вот однажды, когда Владя сидел с книгой в комнате, выходящей на открытую террасу, раздался чудовищный топот и в комнату Марина ввела свою любимую лошадь. Владислав был потрясен видом лошади в комнате, а бедная лошадь пострадала, зашибив бабки, всходя на несколько ступеней лестницы террасы...» Брак этот оказался недолговечным: Рындина ушла от Ходасевича к критику и поэту С. Маковскому, будущему редактору журнала «Аполлон».

В 1908 году вышел первый сборник стихов Ходасевича – «Молодость», в 1914 году второй – «Счастливый домик».

Николай Чуковский, хорошо знавший Ходасевича, называл его Отрицателем. «Он не принимал не какие-нибудь отдельные стороны действительности, – писал Чуковский, – скажем, мещанство, как многие, или капитализм, как Блок и Маяковский, или революцию, как поэты-эмигранты, но любую действительность, какой бы она ни была. Даже искусство, лучшее из всего, созданного человечеством, не считал он достойным особого уважения». При этом, признавался Чуковский, именно «от него я узнал, что моя юношеская любовь, скажем, к Фету, не является позором, чем-то вроде дурной болезни, которую надо скрывать от окружающих...»

В 1920 году вышел сборник стихов Ходасевича «Путем зерна».

«Проходит сеятель по ровным бороздам. Отец его и дед по тем же шли путям... Сверкает золотом в его руке зерно, но в землю черную оно упасть должно... И там, где червь слепой прокладывает ход, оно в заветный срок умрет и прорастет... Так и душа моя идет путем зерна: сойдя во мрак, умрет –

и оживет она... И ты, моя страна, и ты, ее народ, умрешь и оживешь, пройдя сквозь этот год, – затем, что мудрость нам единая дана: всему живущему идти путем зерна...»

«Он (Ходасевич) был маленький хилый человечек невзрачного вида, – писал Николай Чуковский. – На лбу у него была не проходящая экзема, которую он скрывал под челкой черных волос. Он был близорук и носил пенсне. Маленькое желтоватое личико его все время брезгливо морщилось. Глядя на него, я всегда вспоминал фразу, которую сказал Бунин об одном из своих героев: „Он был самолюбив, как все люди маленького роста“. Не знаю, все ли люди маленького роста самолюбивы, но Ходасевич был болезненно и раздражительно самолюбив...»

В 1921 году (по приглашению М. Горького), Ходасевич перебрался в Петроград. «Известие о нашем приезде дошло до писателей, живших в Доме искусств, – вспоминала А. И. Чулкова, – и тогда Виктор Шкловский, Надежда Павлович, Всеволод Рождественский, Владимир Пяст быстро организовали наш переезд в Дом искусств. Сперва нас поместили во дворе, в небольшой комнате, но вскоре после визита врача, который нашел у Влади отек легких, нам предоставили две комнаты в главном корпусе. У нас в то время совсем плохо было с питанием, но товарищи по перу и это нам организовали. Помню, как сейчас, как Надя Павлович принесла мешочек пшена... Но жизнь осложнялась тем, что добрые соседи, люди богемы, часто стучали в нашу дверь с вопросами: который час, какое сегодня число, нет ли иголки, когда выдают паек, дайте, пожалуйста, спички и т. д. Эти частые заглядывания мешали Владе в его работе, и однажды, рассердившись, он повесил на двери записку: „Здесь не справочное бюро и не комбинат бытового обслуживания...“

Тогда же Чуковский познакомил Ходасевича с молодой поэтессой Ниной Берберовой. «Я был так далек от мысли, – писал он, – что между Ходасевичем и Ниной может быть роман, что заметил его, вероятно, до смешного поздно. То, что Ходасевич влюбился в Нину, мне казалось еще более или менее естественным, но как Нина могла влюбиться в Ходасевича, я понять не мог. Прежде всего она почти на целую голову была выше его ростом. И старше ее он был по крайней мере вдвое. Не к тем принадлежал он мужчинам, в которых влюбляются женщины. Характер у него был капризный, чванливый и вздорный. Кроме того, я хорошо знал, что он отчаянный трус. Когда мы вместе с ним жили в Псковской губернии, он даже на станцию ездить не решался, так как боялся, что его по дороге зарежут бандиты. Как-то раз в Петрограде мы шли с ним днем по Невскому, и вдруг у проезжающего мимо грузовика громко лопнула крышка. Ходасевич мгновенно влетел в ближайшую парадную. Когда я, удивленный, зашел туда вслед за ним, он стоял, белый от страха, на пятой ступеньке и прошептал мне: „Стреляют!“ Когда он читал свои стихи и произносил последнюю строчку, обычно самую важную в стихотворении, он на несколько мгновений застывал с открытым ртом, чтобы подчеркнуть всю многозначительность

концовки, и это казалось мне смешным. При всем своем уме он был на редкость недалек и зауряден в своих суждениях обо всем, что происходило в те годы вокруг, и с важным видом повторял самый затхлый обывательский вздор. Я иногда пытался обращать внимание Нины на эти его черты, но безуспешно. Ей он казался совершенством. Тайный их роман развивался так пылко и бурно, что, разумеется, скоро о нем догадались многие. Нина вся как-то одурела от счастья, а Ходасевич посветлел, подобрел, и очки его поблескивали куда бойчей и веселей, чем раньше. Он на несколько месяцев спрятал свой трагизм и даже временно стал относиться к мирозданию значительно лучше.

Впрочем, счастье его было не безоблачным. Он самым жалким образом боялся своей Анны Ивановны. Она, как водится, долго ничего не подозревала, и он смертельно страшился, как бы она не догадалась. В начале лета 1922 года он вместе с ней и пасынком уехал куда-то на дачу, и тут ему и Нине понадобился я. Через меня шла вся их тайная переписка. Ходасевич подписывал конверт на мое имя, и я, получив письмо, нес его, не вскрывая, к Нине, на улицу Рылеева. Нинины ответы посылались в конвертах, надписанных моей рукой. В середине лета Ходасевич сбежал с дачи, явился к Нине и увез ее в какую-то глухую деревню на берегу Ладожского озера. В страхе перед Анной Ивановной он обставил этот побег так, что, кроме меня, ни один человек на свете не знал, где он находится. В течение полутора месяцев я служил им единственной связью с внешним миром. Свои обязанности поверенного и друга я исполнял честно и с увлечением. Они оба платили мне пылкими выражениями дружбы и благодарности. Нина написала стихотворение, в котором было четверостишие:

«Вот церковь – здесь с тобой встречались, вот друг – он нам помог не раз, мы в этом кресле целовались, ну что ж, и креслу – добрый час». Друг – это я...

Страх Ходасевича перед Анной Ивановной все возрастал. Это был уже не страх, а ужас. Он подозревал ее в каких-то чудовищных кознях против себя и говорил об этом страстно, но настолько невнятно, что я не мог понять сути его опасений. Вернувшись в город, он немедленно связался с Горьким и, с помощью Горького, стал поспешно хлопотать об отъезде за границу. В конце 1922 года он уехал в Берлин вместе с Ниной... Он уехал за границу, – добавляет Чуковский, – из страха перед женой, а не перед Советской властью. С Советской властью он за пять лет отлично сжился и об эмиграции никогда не помышлял».

Несколько иначе, конечно, рассказывала об отъезде сама Берберова. «Что значило тогда „уцелеть“? Физически? Духовно? Могли ли мы в то время предвидеть гибель Мандельштама, смерть Клюева, самоубийство Есенина и Маяковского, политику партии в литературе с целью уничтожения двух, если не трех поколений? Двадцать лет молчания Ахматовой? Разрушение Пастернака? Конец Горького? Конечно, нет. „Анатолий Васильевич не допустит“ – это мнение о Луначарском носилось в воздухе. Ну, а если Анатолия Васильевича самого отравят? Или он умрет естественной смертью?

Или его отстранят? Или он решит, что довольно быть коммунистическим эстетом и пора пришла быть молотом, кующим русскую интеллигенцию на наковальне революции? Нет, такие возможности никому тогда в голову не приходили, но сомнения в том, что можно будет уцелеть, впервые в те месяцы зароились в мыслях Ходасевича. То, что ни за что схватят, и посадят, и выведут в расход, казалось тогда невыносимым, но что задавят, замучат, заткнут рот и либо заставят умереть (как позже случилось с Сологубом и Гершензоном), либо уйти из литературы (как заставили Замятина, Кузмина и – на двадцать пять лет – Шкловского), смутно стало принимать в мыслях все более отчетливые формы. Следовать Брюсову могли только единицы, другие могли временно уцепиться за триумфальную колесницу футуристов. Но остальные?...

Прекратилась топка для тепла, перешли на топку для готовки. Зато вдруг в солнечном свете заметнее стало нищенство одежд: зимой как-то сходило, не выпирали подвязанные веревками подошвы Пяста, перелицованная куртка Замятина, заплатки на штанах Юрия Верховского, до блеска заношенный френч Зоценки. С каждой неделей жить становилось немножко страшней. Да, стало тепло, и можно расположиться в двух комнатах, снять валенки и не считать каждое полено, и открыть окна, и надеяться, что через месяц в распределителях появится хоть что-нибудь, но вместе с тем, у разных людей по-разному, начало появляться чувство возможного конца. Худой и слабый физически, Ходасевич внезапно начал выказывать несоответственную своему физическому состоянию энергию для нашего отъезда за границу. С мая 1922 года началась выдача в Москве заграничных паспортов – одно из последствий общей политики нэпа. И у нас в руках появились паспорта на выезд: номера 16 и 17. Любопытно бы знать, кто получил паспорт номер 1? Может быть, Эренбург? Может быть, Алянский?...

Ходасевич принял решение выехать из России, но, конечно, не предвидел тогда, что уезжает навсегда. Он сделал свой выбор, но только через несколько лет сделал второй: не возвращаться. Я следовала за ним. Если бы мы не встретились и не решили тогда «быть вместе» и «уцелеть», он, несомненно, остался бы в России – нет никакой, даже самой малой вероятности, чтобы он легально выехал за границу один. Он, вероятно, был бы выслан в конце лета 1922 года в Берлин, вместе с группой Бердяева, Кусковой, Евреинова, профессоров; его имя, как мы узнали позже, было в списке высылаемых. Я, само собою разумеется, осталась бы в Петербурге. Сделав свой выбор за себя и меня, он сделал так, что мы оказались вместе и уцелели, то есть уцелели от террора тридцатых годов, в котором почти наверное погибли бы оба. Мой выбор был он, и мое решение было идти за ним. Можно сказать теперь, что мы спасли друг друга.

Паспорт был мне выдан в Москве. Я приезжала туда в середине мая по вызову Ходасевича, который туда уехал хлопотать о разрешении на выезд ему и мне. Москву я не узнала: теперь это была столица нового государства, улицы были черны от народа, все кругом росло и создавалось, вытягивалось,

оживало, рождалось заново, пульсировало. С утра мы шли заполнять анкеты, подавать бумаги, сидеть в приемных. Для разрешения на выезд нужны были две подписи, одну дал Юргис Балтрушайтис, посол Литвы в Москве, старый друг Ходасевича, другую – все тот же Анатолий Васильевич. В паспорте была графа: причина поездки. Там было вписано: для поправления здоровья (в паспорте Ходасевича), для пополнения образования (в моем паспорте)...»

Оказавшись за границей, Ходасевич и Берберова кочевали по разным городам – жили в Берлине, Саарове, Фрейбурге, Праге, Белфасте, Мариенбаде, Венеции, Риме, только в 1925 году окончательно остановив свой выбор на Париже. Из Берлина Ходасевич писал одному из своих друзей (Б. А. Диатроптову): «Живем в пансионе, набитом зоологическими эмигрантами: не Эс-серами какими-нибудь, а покрепче: настоящими толстобрюхими хамами. О, Борис, милый, клянусь: вы бы здесь целыми днями пели интернационал. Чувствую, что не нынче завтра разыграет во мне коммунизм. Вы представить себе не можете эту сволочь: бездельники убежденные, принципиальные, обросшие восьмидесятипудовыми супругами и невероятным количеством стопудовых дочек, изнывающих от безделья, тряпок и тщетной ловли женихов. Тщетной – ибо „подходящая“ молодежь застряла в Турции и Болгарии у Врангеля, а немногие здешние не женятся, ибо „без средств“, – у барышень психология недоразвившихся блядей, мамыши – „мамаши“, папаши – прохвосты, необычайно солидные, мечтают об одном: вешать большевиков. На меньшее не согласны. Грешный человек, – уж если оставить сантименты, – я бы их самих – к стенке. Одно утешение: все это сгниет и вымрет здесь, навоняв своим разложением на всю Европу. Впрочем, здесь уж не так-то мирно, и может случиться, что поторопят их либо со смертью, либо с отъездом – уж не знаю куда. Я бы не прочь. Здесь я видел коммунистическую манифестацию, гораздо более внушительную, чем того хотелось моим соседям по пансиону...»

Уже после отъезда в Москве в 1922 году вышел сборник стихов Ходасевича «Тяжелая лира». В Париже, в 1927 году – «Собрание стихов». К лучшим работам этих лет относятся воспоминания, объединенные в цикле «Некрополь, статьи о Пушкине, книга о Державине. „Утверждали, что у него был тяжелый характер, – писал о поэте хорошо знавший его Владимир Вейдле. – Больше того, называли его злым, нетерпимым, мстительным. Свидетельствую: был он добр, хоть и не добродушен, и жалостлив едва ли не свыше меры. Тяжелого ничего в нем не было; характер его был не тяжел, а труден, труден для него самого еще больше, чем для других. Трудность эта проистекала, с одной стороны, из того, что он был редкостно правдив и честен, да еще наделен, сверх своего дара, пронизательным, трезвым, не склонным ни к каким иллюзиям умом, а с другой стороны, из того, что литературу принимал он нисколько не менее всерьез, чем жизнь, по крайней мере свою собственную. От многих других литераторов отличался он тем, что литература входила для него в сферу совести так же, если не больше, чем любые жизненные отношения и поступки. Шулерства он, конечно, и в картах

(любимых им) не жаловал; в литературе он от него буквально заболел, даже если его лично оно вовсе не касалось. Не выносил он кумовства, прислужничества, устройства своих частных дел под прикрытием якобы литературных согласий или разногласий, а всего этого в эмигрантской литературе (особенно в парижской между двух войн) вследствие узости ее круга было еще больше, чем в прежней. Его возмущало покровительство, оказываемое иногда старшими писателями младшим, не по убежденности их таланта и даже не всегда „по дружбе“, а просто так, „по доброте душевной“, да еще из безразличия ко всему в литературе, за исключением их места в ней. Такого безразличия он не понимал и простить его не мог. Оскорбляла его и сама по себе глупость или бездарность, беспрепятственно проникавшая в печать, а уж поощрение ее, при несправедливости – чего доброго, еще и сознательной – к подлинному таланту, угнетало его до крайности, мучило, язвило. Когда же он был уязвлен, тогда и в самом деле хотелось ему „мстить“, хотелось, чтобы покаран был обидчик литературной совести, а значит, и его обидчик, хотя бы ему самому при этом никакой обиды и не было нанесено...“

«В 1932 году, – вспоминала Берберова, – когда я навсегда ушла из нашей биянкурской квартиры, один не слишком злой остряк так рассказывал об этом: „Она ему сварила борщ на три дня и перештопала все носки, а потом уехала“. Это была почти правда».

Через год Ходасевич женился на О. Б. Марголиной.

«Ей было тогда около сорока лет, но она выглядела гораздо моложе. У нее были большие серо-голубые глаза и чудесные ровные белые зубы, которые делали ее улыбку необычайно привлекательной». С Ходасевичем она прожила до его конца. «Но как он был несчастен, – писал о Ходасевиче Вейдле. – Особенно в последние десять лет жизни, когда почти не писал больше стихов. Писать их была боль и радость; не писать – боль, боль и еще боль. Мрак находил на него. Помню, как я раз больше часу просидел с ним на скамейке у церкви Мадлен, проводил его домой, потом привез к себе, боялся, как бы в ту ночь не наложил он на себя руки. И не только стихов, своего „Пушкина“ не мог он писать: всего две первые главы остались от этой книги. Он годами ее обдумывал; ее ждали от него; нет и сейчас никого, кто эту биографию мог написать бы лучше. Десять лет его лечили от всевозможных желудочных болезней, когда у него были камни в печени. Операция была произведена слишком поздно».

Умер 14 июня 1939 года в Париже.

Марина Ивановна Цветаева

Родилась 26 (8. X) сентября 1892 года в Москве в семье профессора, основателя Московского музея изобразительных искусств. «Герой труда», – писала Цветаева об отце. «Польской княжеской крови, ученица Рубинштейна, – писала она о матери. – Стихи от нее». И позднее тоже не раз повторяла: «Страсть к стихам – от матери».

Первая школа – музыкальная (Зограф-Плаксиной), затем – IV женская гимназия. Весной 1902 года (в связи с лечением матери за границей) – французский интернат (полтора года) в Лозанне, за ним – католический пансион во Фрейбурге. Вспоминала: «Книги мне дали больше, чем люди. Я мысленно все пережила, все взяла». Летом 1906 года на пути в Москву скончалась мать – на даче Песочная, близ Тарусы. По своей воле Цветаева пошла в интернат при московской частной гимназии. Отношение ее к чтению не изменилось. Книгами, «с которыми сожгут» называла «Нибелунгов», «Илиаду», «Слово о полку Игореве». Чрезвычайно увлекалась «Орленком» Э. Ростана. В мир московских поэтов, преимущественно символистов, Цветаеву ввел поэт Эллис, но споры символистов были ей непонятны. В 1910 году вышел сборник стихов Цветаевой – «Вечерний альбом». «Издала сама, еще будучи в гимназии. Первый отклик – большая приветственная статья Макса Волошина. Литературных влияний не знаю, знаю человеческие».

С Волошиным Цветаева подружилась, бывала у него в Коктебеле. Кстати, именно там, весной 1911 года, она встретила своего будущего мужа – Сергея Эфрона. «Писала я на аспидной доске, и на листочках вееров поблеклых, и на речном, и на морском песке, коньками по льду и кольцом на стеклах, – и на стволах, которым сотни зим... И, наконец, – чтоб было всем известно! – что ты любим! любим! любим! любим! – расписывалась – радугой небесной...»

В 1912 году Цветаева и Эфрон поженились. В том же году родилась дочь Ариадна и вышел второй сборник стихов – «Волшебный фонарь». В «Предисловии», предпосланном изданному через год еще одному сборнику «Из двух книг», Цветаева писала: «Все это было. Мои стихи – дневник, моя поэзия – поэзия собственных имен. Все мы пройдем. Через пятьдесят лет мы будем в земле. Будут новые лица под вечным небом. И мне хочется крикнуть всем еще живущим: Пишите. Пишите больше! Закрепляйте каждое мгновение, каждый жест, каждый вздох! Но не только жест – и форму руки, его кинувшей; не только вздох – и вырез губ, с которых он, легкий, слетел. Не презирайте „внешнего“! Цвет ваших глаз столь же важен, как их выражение; обивка дивана – не менее слов, на нем сказанных. Записывайте точнее! Нет ничего не важного! Говорите о своей комнате: высока она, или низка, и сколько в ней окон, и какие на них занавески, и есть ли ковер, и какие на нем цветы? Цвет ваших глаз и вашего абажура, разрезательный нож и узор на обоях, драгоценный камень на любимом кольце, – все это будет телом вашей оставленной в огромном мире бедной, бедной души...»

«Я знаю правду! Все прежние правды – прочь! Не надо людям с людьми на земле бороться! Смотрите: вечер, смотрите: уж скоро ночь. О чем – поэты, любовники, полководцы?... Уж ветер стелется, уже земля в росе, уж скоро звездная в небе застынет вьюга, и под землею скоро уснем мы все, кто на земле не давали уснуть друг другу...»

Осенью 1914 года Цветаева познакомилась с поэтессой Софьей Парнок. Эту дружбу-любовь, длившуюся до 1916 года, Цветаева позже назвала своей «первой катастрофой». – «Марина, наконец, выходит из своего замкнутого

детского круга, – сообщала Волошину летом 1915 года поэтесса А. Герцук. – Большое страдание постигло ее и выковыивает из ее души новую форму. В ее новых стихах это еще почти не отражается – как все переходное, бездомное – они стали неловки, утратили свою наивную отчетливость...»

«В дореволюционной России самовольная, а отчасти невольная выключенность из литературных кругов – из-за раннего замужества с нелитератором, раннего и страстного материнства, а главное – из-за врожденного отвращения ко всякой кружковщине, – так о своей юности писала позже сама Цветаева. – Встречи с поэтами (Эллисом, Максом Волошиным, О. Мандельштамом, Тихоном Чурилиным) не поэта, а – человека, а еще больше женщины: женщины, безумно любящей стихи. Читатель меня не знал, потому что после двух первых – самонапечатанных, без издательства – детских книг – из-за той же литературной оторванности и собственной особенности: ненавидела, например, стихи в журналах – нигде не печаталась. Первые стихи в журнале – в «Северных записках», потому что очень просили и очень понравились издатели, – в порядке дружбы. Сразу слава среди поэтов. До широкого круга не дошло. Потому что журнал был новый – и скоро кончился. Все скоро кончилось...»

Революцию не приняла. Муж – белый офицер, голод, холод, невозможность нормально устроить жизнь, в 1920 году умерла в приюте дочь Ирина, трех лет от роду; как позже писала старшая дочь Цветаевой: «...куда уж понятнее и неприемлемее». О тех годах писала позже артистка Н. Щеглова (первая жена поэта П. Антокольского): «Павлик меня познакомил с Цветаевой. Он всегда с таким восторгом о ней говорил. А я с ее сестрой Асей училась в гимназии, премилая девочка была. А Марина тогда жила в переулочке – там, где была Собачья площадка, в таком странном доме. Возле него стояло, да, наверное, и сейчас стоит, скособоченное дерево. А странным мне этот дом показался потому, что никак нельзя было понять расположение комнат. А когда я в первый раз вошла в комнату Марины, меня, помню, поразил интерьер этой комнаты: посередине стоял шкаф, у которого не было ни дверок, ни задней стенки. Он походил на арку. В этом шкафу стояло чучело лисицы, ободранное, все без шерсти. И на этом чучеле верхом сидела Аля, семилетняя дочка Марины. Сама Марина показалась мне какой-то очень уж будничной. Мятая юбка, вытянутая вязаная кофта. Я не знала, о чем с ней разговаривать. Стеснялась. Мне в то время и стихи-то ее не особенно нравились. Я пошла к Але, и мы стали с ней играть во что-то. Эта Аля была необычный ребенок. Она так своей матери говорила: „Марина! Вы – морская!“ Эта фитюлька в семь лет сидела за своим столиком и без конца писала, писала, писала...»

Связь с мужем, находившемся в Крыму с белой армией, была оборвана. Думая о нем, Цветаева записала в тетрадь: «Если Вы живы, если мне суждено еще раз с Вами увидеться – слушайте: вчера, подъезжая к Харькову, прочла „Южный край“. 9000 убитых. Я не могу Вам рассказать этой ночи, потому что она не кончилась. Сейчас серое утро. Я в коридоре. Поймите! Я

еду и пишу Вам и не знаю сейчас – но тут следуют слова, которых я не могу написать...»

Только в июле 1921 года Цветаева получила первое письмо от мужа – из Праги, где он учился в университете. Очень скоро после этого, в 1922 году, Цветаева с дочерью уехала из России. «В Праге, – вспоминала Берберова, – она производила впечатление человека, отодвинувшего свои заботы, полного творческих выдумок, но человека, не видящего себя, не знающего своих жизненных (и женских) возможностей, не созревшего для осознания своих настоящих и будущих реакций. Ее отщепенство, о котором она гениально написала в стихотворении „Роландов рог“, через много лет выдало ее незрелость: отщепенство не есть, как думали когда-то, черта особенности человека, стоящего над другими, отщепенство есть несчастье человека – и психологическое, и онтологическое, – человека, недозревшего до умения соединиться с миром, слиться с ним и со своим временем, то есть с историей и людьми. Ее увлечение Белой армией было нелепым, оно в какой-то степени вытекало из ее привязанности к мужу, С. Эфрону, которому она «обещала сына» – она так и сказала мне: у меня будет сын, я поклялась Сереже, что я дам ему сына. Несомненно, в Марине Ивановне это отщепенство тем более было трагично, что с годами ей все более начало хотеться слияния, что ее особенность постепенно стала тяготить ее, она изживала ее, а на ее месте ничто не возникало взамен. Она созревала медленно, как большинство русских поэтов нашего века (противоположность веку прошлому), но так и не созрела, быть может, в последние годы своей жизни поняв, что человек не может годами оставаться отверженным – и что если это так, то вина в этом в нем, а не в его окружении. Но ее драма усугублялась тем, что в эмиграции у нее, как у поэта, не было читателей, не было отклика на то, что она делала, и возможно, что не было друзей по ее росту. Поэт со своим даром – как горбун с горбом, поэт – на необитаемом острове или ушедший в катакомбы, поэт – в своей башне (из слоновой кости, из кирпича, из чего хотите), поэт – на льдине в океане, все это соблазнительные образы, которые таят бесплодную и опасную своей мертвенностью романтическую сущность. Можно вписывать эти образы в бессмертные или просто хорошие стихи, и кто-то несомненно на них внутренне отзовется, но они будут нести в себе один из самых коварных элементов поэзии – эскапизм, который если и украсит поэму, то разрушит поэта. Пражское одиночество Марины Ивановны, ее парижское отщепенство могли только привести ее к московской немоте и трагедии в Елабуге. В ней самой, в характере ее отношения к людям и миру, уже таился этот конец: он предсказан во всех этих строчках, где она кричит нам, что она – не такая, как все, что она гордится, что она не такая, как мы, что она никогда не хотела быть такой, как мы...

Мы сидим долгие часы, – продолжала Берберова рассказ о пражской жизни в отеле «Беранек», – пьем чай, который я кипячу на маленькой спиртовке, едим ветчину, сыр и булки, разложенные на бумажках. Все, что

говорит Цветаева, мне интересно, в ней для меня сквозит смесь мудрости и каприза, я пью ее речь, но в ней, в этой речи, почти всегда есть чуждый мне, режущий меня больной надлом, восхитительный, любопытный, умный, но какой-то нервный, неуравновешенный, чем-то опасный для наших дальнейших отношений, будто сейчас нам еще весело летать по волнам и порогам, но в следующую минуту мы обе можем столкнуться и ушибиться, и я это чувствую, а она, видимо, нет, она, вероятно, думает, что со мной можно в будущем либо дружить, либо поссориться. Внезапно в комнате гаснет свет – это она выдернула вилку из штепселя, в темноте на диване она нападает на меня, щекочет, обнимает. Я вскакиваю, не сдержав крика. Свет зажигается. Эти игры мне совсем, совсем не по душе...»

В Праге родился сын Цветаевой – Георгий; в ноябре 1925 года Цветаева и Эфрон перебралась в Париж. Там, в 1928 году, вышла последняя поэтическая книга – «После России». «Для других я еще – Кастальский ток, для себя – иссякла, – записала Цветаева в черновой тетради. – Эмиграция делает меня прозаиком». Дочь рассказывала позже о том, как она работала: «Отметя все дела, все неотложности, с раннего утра, на свежую голову, на пустой и поджарый живот. Налив себе кружечку кипящего черного кофе, ставила ее на письменный стол, к которому каждый день своей жизни шла, как рабочий к станку – с тем же чувством ответственности, неизбежности, невозможности иначе. Все, что в данный час на этом столе оказывалось лишним, отодвигала в стороны, освобождая, уже машинальным движением, место для тетради и для локтей. Лбом упиралась в ладонь, пальцы запускала в волосы, сосредотачивалась мгновенно, глохла и слепла ко всему, что не рукопись, в которую буквально впивалась острием мысли и пера...»

Друзей у Цветаевой оставалось все меньше. Встретив в июне 1935 года Бориса Пастернака, приехавшего в Париж в составе советской делегации на антифашистский конгресс, Цветаева была ужасно разочарована – до слез. «А плакала я потому, – объясняла она в письме Н. Тихонову, – что Борис, лучший лирический поэт нашего времени, на моих глазах предавал Лирику, называя всего себя и всё в себе – болезнью. (Пусть – „высокой“. Но он и этого не сказал. Не сказал также, что эта болезнь ему дороже здоровья и, вообще – дороже – реже и дороже радия. Это ведь мое единственное убеждение: убежденность)». Разочарование усилилось, когда Пастернак в феврале 1936 года выступил на Пленуме советских писателей в Белоруссии. В этом выступлении он обещал в скором будущем коснуться неких новых тем и положений, общих для всех, хотя оговаривался, что будет пока писать «плохо с прежней своей точки зрения»... Пока не свыкнется с новизной... «Ты был бы собой, – писала Цветаева Пастернаку, – если бы на своем пленуме провозгласил юношеское вещание, сорокалетнее безумие и бессрочное бессмертие Гёльдерлина... Но ты – слаб... Ты, к сожалению – лиана (которая не помнит своей Африки)... То, что у вас считается бесстрашием (очевидно так надо понимать твою речь) – не у „нас“ (у нас – нет), не у нас, в Париже, а у

нас – в Лирике... Ничего ты не понимаешь, Борис... Ты, Орфей, пожираемый зверями: пожрут они тебя...»

К этому времени муж Цветаевой принял решение вернуться на родину, к чему его, несомненно, подтолкнули некоторые обстоятельства его тайного сотрудничества с органами ЧК. Для самой Цветаевой вопрос о возвращении был не прост. «Здесь я не нужна, там я невозможна». В 1936 году она завершила последнюю поэму – историческую хронику «Поэма о Царской Семье». Она считала эту работу своим личным долгом перед памятью всех побежденных и уничтоженных российской катастрофой. К сожалению, от этой поэмы сохранились лишь отрывки. В анкете Цветаева писала: «Любимые вещи в мире: музыка, природа, стихи, одиночество. Полное равнодушие к общественности, театру, пластическим искусствам, зрительности. Чувство собственности ограничивается детьми и тетрадами. Был бы щит, начертала бы: „Не снисхожу“. Жизнь – вокзал, скоро уеду, куда – не скажу».

Впрочем, куда – об этом скоро узнали все.

Первой в Россию (в марте 1937 года) уехала Ариадна – дочь – за нею Эфрон. «Я страшно одинока. Из Парижа – только два дома, где я бываю, остальное все – отпало». Только 18 июня 1939 года уехала в Москву и сама Цветаева с сыном Георгием. Поселили их на даче НКВД в поселке Болшево, что лишний раз подтверждало никем не афишируемую связь Эфрона с этой организацией. Все последующее описала Цветаева в письме от 27 августа 1940 года, отправленном П. А. Павленко, одному из секретарей Союза писателей СССР.

«Многоуважаемый товарищ Павленко, Вам пишет человек в отчаянном положении. Нынче 27-го августа, а с 1-го мы с сыном, со всеми нашими вещами и целой библиотекой – на улице, потому что в комнату, которую нам сдали временно, въезжают обратно ее владельцы.

Начну с начала.

18 июня 1939 г., год с лишним назад, я вернулась в Советский Союз, с 14-летним сыном, и поселилась в Болшеве, в поселке Новый Быт, на даче, в той ее половине, где жила моя семья, приехавшая на 2 года раньше. 27 августа (нынче годовщина) была на этой даче арестована моя дочь, а 10-го октября – и муж. Мы с сыном остались совершенно одни, доживали, топили хворостом, который собирали в саду. Я обратилась к Фадееву за помощью. Он сказал, что у него нет ни метра. На даче стало всячески нестерпимо. Мы просто замерзали, и 10-го ноября, заперев дачу на ключ (NB! у нас нашей жилплощади никто не отнимал, и я была там прописана вместе с сыном на площади мужа) – итак, заперев дверь на ключ, мы с сыном уехали в Москву к родственнице, где месяц ночевали в передней без окна на сундуках, а днем бродили, потому что наша родственница давала уроки дикции и мы ей мешали. Потом Литфонд устроил нас в Голицынский Дом Отдыха. Вернее мы жили возле Дома Отдыха, столовались – там. За комнату, кроме 2-х месяцев, мы платили сами – 250 р. в месяц, – маленькую, с фанерной перегородкой,

не доходившей до верха. Мой сын, непривычный к такому климату, непрерывно болел, болела и я, к весне дойдя до кровохарканья. Жизнь была очень тяжелая и мрачная, с керосиновыми не горящими лампами, тасканием воды с колодца и пробиванием в нем льда, бесконечными черными ночами, вечными болезнями сына и вечными ночными страхами. Я всю зиму не спала, каждые полчаса вскакивая, думая (надеясь!), что уже утро. Слишком много было стекла (все эти стеклянные террасы), черноты и тоски. В город я не ездила никогда, а когда ездила – скорей кидалась обратно от страха не попасть на поезд. Эта зима осталась у меня в памяти как полярная ночь. Все писатели из Дома Отдыха меня жалели и обнадеживали. Всю зиму я переводила. Перевела две английские баллады о Робин Гуде, три поэмы Важа Пшавела (более 2000 строк), с русского на французский ряд стихотворений Лермонтова, и уже позже, стихи – летом, с немецкого на французский большую поэму Бехера и ряд болгарских стихотворений. Работала не покладая рук – ни дня роздыха. В феврале месяце мы из Голицына дали объявление в Веч. Москве о желании снять в Москве комнату. Отозвалась одна гражданка, взяла у нас за 6 месяцев вперед 750 руб. – и вот уже 6 месяцев как предлагает нам комнату за комнатой, не показывая ни одной и давая нам ложные адреса и имена. (Она за этот срок «предложила» нам 4 комнаты, а показала только одну, в которую так и не впустила, потому что там живут ее родные.) Она все отговаривалась «броней», которую достает, но ясно, что это – мошенница.

Дальше.

Если не ошибаюсь, к концу марта, воспользовавшись первым теплом, я поехала к себе в Болшево (где у меня оставалось полное хозяйство, книги и мебель) – посмотреть – как там, и обнаружила, что дача взломана и в моих комнатах (двух, одной – 19 метров, другой – 7-ми метров) поселился начальник местного поселкового совета. Тогда я обратилась в НКВД и совместно с сотрудниками вторично проехала на дачу, но когда мы приехали, оказалось, что один из взломщиков – а именно начальник милиции – удавился, и мы застали его гроб и его – в гробу. Вся моя утварь исчезла, уцелели только книги, а мебелью взломщики до сих пор пользуются, потому что мне некуда ее взять. На возмещение отнятой у меня взломщиками жилплощади мне рассчитывать нечего: дача отошла к Экспортлесу, вообще она и в мою бытность была какая-то спорная, неизвестно чья, теперь ее по суду получил Экспортлес. Так кончилась моя болшевская жилплощадь.

Дальше.

В июне мой сын, несмотря на непрерывные болезни (воспаление легких, гриппы и всякие заразные) очень хорошо окончил седьмой класс Голицынской школы. Мы переехали в Москву, в квартиру профессора Северцова (университет) на 3 месяца, до 1-го сентября. 25-го июля я наконец получила по распоряжению НКВД весь свой багаж, очень большой, около года пролежавший на таможне под арестом, так как был адресован на имя

моей дочери (когда я уезжала из Парижа, я не знала, где буду жить, и дала ее адрес и имя). Все носильное и хозяйственное и постельное, весь мой литературный архив и вся моя огромная библиотека, все это сейчас у меня на руках, в одной комнате, из которой я 1-го сентября должна уйти со всеми вещами. Я очень много раздарила, разбросала, пыталась продавать книги, но одну берут, двадцать не берут, – хоть на улицу выноси! – книг 5 ящичков. И вообще – груз огромный, ибо мне в Советском консульстве в Париже разрешили везти все мое имущество, а жила я за границей – 17 лет. – Итак, я буквально на улице, со всеми вещами и книгами. Здесь, где я живу, меня больше не прописывают (университет), и я уже 2 недели живу без прописки. 1-го сентября мой сын пойдет в 167 школу – откуда? Частная помощь друзей и все их усилия не привели ни к чему. Положение безвыходное. За город я не поеду, потому что там умру – от страха и черноты и полного одиночества. (Да с таким багажом – и зарежут). Я не истеричка, я совершенно здоровый, простой человек, спросите Бориса Леонидовича. Но – меня жизнь за этот год – добила. Исхода не вижу. Взываю к помощи».

Все эти дни Цветаева ездила с передачами для дочери и мужа. О состоянии ее можно судить по письму к Е. Эфрон: «Милая Лиля, спешу Вас известить: Сережа на прежнем месте. Я сегодня сидела в приемной полумертвая, потому что 30-го мне в окне сказали, что он на передаче не числится (в прошлые разы говорили, что много денег, на этот раз – определенно: не числится). Я тогда же пошла в вопросы и ответы и запросила на обороте анкеты: состояние здоровья, местопребывание. Назначили на сегодня. Сотрудник меня узнал и сразу назвал, хотя не виделись мы месяца четыре, – и посылно успокоил: у нас хорошие врачи и в случае нужды будет оказана срочная помощь. У меня так стучали зубы, что я никак не могла попасть на «спасибо». («Вы напрасно так волнуетесь» – вообще, у меня впечатление, что Сережу – знают, а по нему – и меня. В приемной дивятся долготы его московского пребывания.)...» И дальше: «Мур (Георгий) перешел в местную школу, по соседству. Может выходить за четверть часа, а то давился едой, боясь опоздать. А – кошмарный трамвай: хожу пешком или езжу на метро (Кировские ворота в 10 минутах). Немножко привыкла. Хорошие места, но – не мои. На лифте больше не езжу, в последний раз меня дико перепугал женский голос (лифтерша сидит где-то в подземелье и говорит в микрофон): – Как идет лифт? – Я дрожащим (как лифт) голосом: – Да ничего. Кажется – неважно. – Может и не доедете: тяга совсем слабая, в пятом – остановился. – Я: – Да не пугайте, не пугайте, ради Бога, я и так умираю от страха...»

Жила Цветаева переводами. «Перевожу по слуху – и по духу (вещи). Это больше, чем смысл». В одной из тетрадей запись: «Я отродясь, как вся наша семья – была избавлена от этих двух (желаний): слава и деньги. Хорошая слава, с просто славой – незнакома. Слава: чтобы обо мне говорили. Хорошая слава: чтобы обо мне не говорили – плохого. Хорошая слава: один из видов нашей скромности – и вся наша честность. Деньги? Да плевать мне на них. Я их чувствую только, когда их – нет. Ведь я могла бы зарабатывать вдвое

больше. Ну – и? Ну, вдвое больше бумажек в конверте. Но у меня-то что останется?... Ведь нужно быть мертвым, чтобы предпочесть деньги...»

Тем не менее, жизнь требовала денег.

Осенью 1940 года Гослитиздат начал было готовить книгу стихов Цветаевой, но книга эта так и не вышла. Критик Корнелий Зелинский, в глаза расхваливавший стихи, в закрытой внутренней рецензии отозвался о них уничтожающе. Членом Союза советских писателей Цветаева не была, только в апреле 1941 года ее приняли в профком литераторов – при том же Гослитиздате, для которого она переводила стихи Федерико Гарсиа Лорки. В дневнике запись: «Я год примеряю смерть. Все уродливо и страшно. Проглотить – мерзость, прыгнуть – враждебность, исконная отвратительность воды...»

В августе 1941 года Цветаеву с сыном эвакуировали из Москвы в небольшой городок Елабугу – на Каме. Пытаясь перебраться в Чистополь, где можно было найти хоть какую-то работу, Цветаева подала заявление в Совет Литфонда: «Прошу принять меня на работу в качестве судомойки в открывающуюся столовую...» Ее вроде бы обнадежили, но 31 августа, в воскресенье, когда все ушли из дому, Цветаева повесилась, оставив короткую записку поэту Николаю Асееву, чтобы взял к себе ее сына («Я для него больше ничего не могу и только его гублю... У меня в сумке 150 р. и если постараться распродать все мои вещи... А меня простите – не вынесла...»)

Сын Цветаевой Эфрон погиб на войне.

Анна Андреевна Ахматова

Это было в начале сорок девятого.

Горбоносой студентки прелестная челка.

Я сказал: «Ты похожа на Анну Ахматову!»

А она: «Как не стыдно! Ведь я ж комсомолка!»

Валентин Берестов

Анна Андреевна Горенко (Ахматова – литературный псевдоним) родилась 11 (23) июня 1889 года под Одессой.

Детство провела в Царском Селе. «Мои первые воспоминания – царскосельские: зеленое, сырое великолепие парков, выгон, куда меня водила няня, ипподром, где скакали маленькие пестрые лошадки, старый вокзал и нечто другое, что вошло впоследствии в „Царскосельскую оду“. Каждое лето я проводила под Севастополем, на берегу Стрелецкой бухты, и там подружилась с морем. Самое сильное впечатление этих лет – древний Херсонес, около которого мы жили. Читать я училась по азбуке Льва Толстого. В пять лет, слушая, как учительница занималась со старшими детьми, я тоже начала говорить по-французски...»

В 1905 году родители развелись, мать увезла детей в Евпаторию. В 1907 году (уже в Киеве) Ахматова закончила Фундуклеевскую гимназию и поступила на юридический факультет киевских Высших женских курсов. Учеба, впрочем, ее не увлекала. В 1910 году вышла замуж за Н. Гумилева и

на месяц уехала с мужем в Париж. «Прокладка новых бульваров по живому телу Парижа (которую описал Золя), – вспоминала позже Ахматова, – была еще не совсем закончена (бульвар Raspail). Вернер, друг Эдисона, показал мне в „Taverne de Panteon“ два стола и сказал: „А это ваши социал-демократы, тут – большевики, а там – меньшевики“. Женщины с переменным успехом пытались носить то штаны (jupes-cullottes), то почти пеленали ноги (jupes-entravees). Стихи были в полном запустении, и их покупали только из-за виньеток более или менее известных художников...»

Вернувшись в Россию, много времени проводила в Слепнево, в имении Гумилевых. «Я живу, как кукушка в часах, не завидую птицам в лесах. Заведут – и кукую. Знаешь, долю такую лишь врагу пожелать я могу». «Анна Андреевна не слишком приехала ко двору в провинциальном уюте слепневской усадьбы, – вспоминал Маковский. – Вся уже отдаваясь поэзии, русской и иностранной, и во власти своей только пробудившейся музыки, она любила уединяться в березовые рощи и васильковые поля, не принимала участия в „играх“, что затевал ее муж. После Черного моря и Днепра и Царского с несравненным дворцовым парком Ахматовой не слишком нравилось великорусское захолустье с ржаными нивами, кузницей рядом, рекой в низких берегах и грибной сыростью черноземья...»

В 1912 году вышел первый сборник Ахматовой – «Вечер». О стихах ее заговорили: о них писали В. Брюсов, С. Городецкий, В. Чудовский, Г. Чулков. Сама Ахматова, впрочем, отзывалась об этой книге достаточно сдержанно: «Эти бедные стихи пустейшей девочки почему-то перепечатываются тринадцатый раз. (Если я видела все контрафакционные издания). Появились они и на нескольких иностранных языках. Сама девочка (насколько я помню) не предрекала им такой судьбы и прятала под диванные подушки номера журналов, где они впервые были напечатаны, – чтобы не расстраиваться...»

В 1914 году вышел сборник «Четки».

В 1916 году, прочтя поэму «У самого моря», Блок написал Ахматовой: «Многоуважаемая Анна Андреевна, хотя мне и очень плохо, ибо я окружен болезнями и заботами, все-таки мне приятно Вам ответить на посылку Вашей поэмы. Во-первых, поэму ужасно хвалили разные люди и по разным причинам, хвалили так, что я вовсе перестал в нее верить. Во-вторых, много я видел сборников стихов авторов известных и неизвестных: всегда почти – посмотришь, видишь, что должно быть очень хорошо пишут, а мне все не нужно, и скучно, так что начинаешь думать, что стихов вообще больше писать не надо; следующая стадия, – что стихов я не люблю; следующая, – что стихи, вообще, занятие праздное; дальше – начинаешь уже всем об этом говорить громко. Не знаю, испытали ли Вы такие чувства; если да – то знаете, сколько во всем этом больного, лишнего груза... Прочтя Вашу поэму, я опять почувствовал, что стихи я все равно люблю, что они – не пустяк, и много такого отрадного, светлого, как сама поэма. Все это – несмотря на то, что я никогда не перейду через Ваши вовсе не знала, у самого моря, самый нежный, самый кроткий (в Четках), постоянные совсем (это вообще не Ваше,

обще женское, всем женщинам этого не прощу). То же сюжет; не надо мертвого жениха, не надо кукол, не надо экзотики, не надо уравнений с десятью неизвестными; надо еще жестче, неприглядней, больней, – но все это пустяки, поэма настоящая и Вы – настоящая...»

«Анна Ахматова, – вспоминал Пяст, – осталась такой же скромной, как „вошла“. С течением месяцев и лет голос и движения ее становились только тверже, уверенней – но не теряли изначального своего характера. Так же и темные платья, которые она надевала совсем юной; так же и манера чтения, которая производила и оригинальное и хорошее впечатление с самого начала. Но мне стороной известно, что чтение Ахматовой с самого начала не было случайным, импровизированным бормотанием стихов, как у большинства выступающих – и безнадежно проваливающих свои вещи и себя самих на эстраде – поэтов. Она подолгу готовилась, даже перед большим зеркалом, к каждому своему „выступлению“ перед публикой. Всякая интонация была продумана, проверена, учтена. Под кажущимся однообразием у нее, как и у Блока, скрывалась большая эмоциональная выразительность голоса и тона (не поймите моих слов метафорически: я говорю о произнесении стихов, а не как Мандельштам, не приписываю стихам как таковым, стихам на бумаге, тона или голоса!). Но только чрезвычайно сдержанная, вся в оттенках – отнюдь не в „цветах“ (а это я говорю уже метафорически). Я считал и теперь считаю Анну Ахматову образцовым исполнителем стихов. Но это оттого, что у нее прекрасная, выработанная, техника...»

В 1917 году вышел сборник «Белая стая».

В 1921 году – «Подорожник», в следующем году – «Anno Domini MCMXXI».

«Все расхищено, предано, продано, черной смерти металось крыло, все голодной тоскою изглодано, отчего же нам стало светло?». – писала Ахматова. Разумеется, такая интонация шла вразрез с приветствуемой властями. В печати стихи Ахматовой появлялись все реже и реже. «Примерно с середины 20-х годов, – вспоминала она, – я начала очень усердно и с большим интересом заниматься архитектурой старого Петербурга и изучением жизни и творчества Пушкина». Только в 1940 году, после огромного перерыва, вышел сборник «Из шести книг».

«Книгу эту давно ждали, – писал искусствовед В. Я. Виленкин. – О ней заговорили еще до выхода из печати, так как некоторые новые стихи Ахматовой были известны по журнальным публикациям или ходили в списках. С другой стороны, и совсем уже неожиданно, еще не вышедшая книга, вернее, ее верстка, стала предметом горячего обсуждения на заседаниях литературной секции недавно созданного Комитета по Сталинским премиям в области литературы и искусства. В. И. Немирович-Данченко, первоначально возглавлявший комитет, привлек меня к работе этой секции в качестве референта. Я бывал на всех ее заседаниях 1940–1941 годов и могу засвидетельствовать, что довольно долгое время книга Ахматовой (то есть, собственно, первая ее часть, „Ива“) значилась в списке

кандидатур на премию. За нее горячо ратовали, причем с явным удовольствием, А. Н. Толстой и Н. Н. Асеев, которых поддерживал А. А. Фадеев, да и остальные члены секции были твердо „за“... Потом вдруг что-то произошло... Кто-то кому-то что-то по этому поводу сказал, после чего Фадеев не без смущения предложил секции снять кандидатуру Ахматовой, потому что она „все равно не пройдет при голосовании на пленуме“. Так и решили, – будто бы для того, чтобы не создавать неловкого положения для большого поэта...»

Годы войны Ахматова провела в Ташкенте – в эвакуации. Выступала в госпиталях, читала стихи раненым бойцам. «В Ташкенте я впервые узнала, что такое в палящий жар древесная тень и звук воды. А еще я узнала, что такое человеческая доброта: в Ташкенте я много и тяжело болела». В мае 1944 года, возвращаясь в родной Ленинград, Ахматова была полна всяческих надежд. Но скоро последовал разрыв с близким ей человеком, а в августе 1946 года вышло Постановление ЦК ВКП(б) «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“».

«Журнал „Звезда“, – говорилось в Постановлении, – всячески популяризирует произведения писательницы Ахматовой, литературная и общественно-политическая физиономия которой давным-давно известна советской общественности. Ахматова является типичной представительницей чуждой нашему народу пустой безыдейной поэзии. Ее стихотворения, пропитанные духом пессимизма и упадничества, выражающие вкусы старой салонной поэзии, застывшей на позициях буржуазно-аристократического эстетизма и декадентства – „искусства для искусства“, не желающей идти в ногу со своим народом, наносят вред делу воспитания нашей молодежи и не могут быть терпимы в советской литературе».

В специальном докладе прилетевший в Ленинград тогдашний главный идеолог страны А. А. Жданов сказал еще резче: «Ее (Ахматовой) произведения за последнее время появляются в ленинградских журналах в порядке „расширенного воспроизводства“. Это так же удивительно и противоестественно, как если бы кто-либо сейчас стал переиздавать произведения Мережковского, Вячеслава Иванова, Михаила Кузмина, Андрея Белого, Зинаиды Гиппиус, Федора Сологуба, Зиновьевой-Аннибал и т. д. и т. п., то есть всех тех, кого наша передовая общественность всегда считала представителями реакционного мракобесия и ренегатства в политике и искусстве... Ахматова является одним из представителей этого безыдейного реакционного литературного болота. Она принадлежит к так называемой литературной группе акмеистов, вышедших в свое время из рядов символистов, и является одним из знаменосцев пустой, безыдейной, аристократически салонной поэзии, абсолютно чуждой советской литературе. Акмеисты представляли из себя крайне индивидуалистическое направление в искусстве. Они проповедовали теорию искусства для искусства, красоты ради красоты, знать ничего не хотели о народе, и о его

нуждах и интересах, об общественной жизни... Тематика Ахматовой насквозь индивидуалистическая. До убожества ограничен диапазон ее поэзии, – поэзии взбесившейся барыньки, мечущейся между будуаром и моленной. Основное у нее – это любовно-эротические мотивы, переплетенные с мотивами грусти, тоски, смерти, мистики, обреченности. Чувство обреченности – чувство, понятное для общественного сознания вымирающей группы, – мрачные тона предсмертной безнадежности, мистические переживания пополам с эротикой – таков духовный мир Ахматовой, одного из осколков безвозвратно канувшего в вечность мира старой дворянской культуры, добрых старых екатерининских времен. Не то монахиня, не то блудница, а вернее блудница и монахиня, у которой блуд связан с молитвой. «Но клянусь тебе ангельским садом, чудотворной иконой клянусь и ночей наших пламенным чадом...»

Почему вдруг понадобилось популяризировать поэзию Ахматовой? Какое она имеет отношение к нам, советским людям? Почему нужно предоставлять литературную трибуну всем этим упадочным и глубоко чуждым нам литературным направлениям? – гневно спрашивал Жданов. – Вдруг на 29-м году социалистической революции появляются вновь на сцену некоторые музейные редкости из мира теней и начинают поучать нашу молодежь, как нужно жить. Перед Ахматовой широко раскрывают ворота ленинградского журнала, и ей свободно предоставляется отравлять сознание молодежи тлетворным духом своей поэзии. В журнале «Ленинград», в одном из номеров, опубликовано нечто вроде сводки произведений Ахматовой, написанных в период с 1909 по 1944 год. Там наряду с прочим хламом есть одно стихотворение, написанное в эвакуации во время Великой Отечественной войны. В этом стихотворении она пишет о своем одиночестве, которое она вынуждена делить с черным котом. Смотрит на нее черный кот, как глаз столетия. Тема не новая. О черном коте Ахматова писала и в 1909 году. Настроения одиночества и безысходности, чуждые советской литературе, связывают весь исторический путь творчества Ахматовой. Что общего между этой поэзией, интересами нашего народа и государства? Ровным счетом ничего. Творчество Ахматовой – дело далекого прошлого; оно чуждо современной советской действительности и не может быть терпимо на страницах наших журналов...»

Ахматову окончательно перестали печатать, исключили из Союза советских писателей, но даже молчание ее раздражало теперь официальных чиновников. В сентябре 1946 года Всеволод Вишневский спрашивал со страниц «Литературной газеты»: «Почему Ахматова молчит? Почему она не отвечает на мнение народа, на мнение партии?» Все в те годы вокруг Ахматовой казалось каким-то вывернутым, нереальным, ни на что непохожим. Даже о квартире Ахматовой Виленкин вспоминал с удивлением: «В Фонтанном доме я у нее бывал несколько раз, начиная с зимы 1946–1947 годов, – каждый раз, как приезжал в Ленинград. Особенно мне запомнился первый мой приход к ней после катастрофы 1946 года. Во внутренний двор

Шереметевского дворца нужно было проходить через две двери (тамбур) центрального подъезда. В основном здании находился Институт Севера. Чтобы пройти к Анне Андреевне, нужно было не только сказать вахтеру или дежурному, к кому ты идешь, но требовалось оставить ему паспорт. Его возвращали только при выходе обратно, на улицу...»

«И всюду клевета сопутствовала мне. Ее ползучий шаг я слышала во сне и в мертвом городе под беспощадным небом, скитаясь наугад за кровом и за хлебом. И отблески ее горят во всех глазах, то как предательство, то как невинный страх...»

Вслед за Постановлением о журналах «Звезда» и «Ленинград» последовали другие соответствующие постановления – О репертуаре драматических театров (26 августа 1946 г.), О кинофильме «Большая жизнь» (4 сентября 1946 г.), а еще через год Об опере «Великая дружба», написанной композитором В. Мурадели (10 февраля 1948 года). Все эти Постановления, несомненно, вызваны были особой послевоенной атмосферой, когда вдруг многим начало казаться, что в стране, победившей страшного внешнего врага, внутри уже в принципе не может быть никаких прежних массовых репрессий, никаких правонарушений. Миллионы офицеров и солдат прошли жестокую школу войны, ничто, казалось, утратить их уже не может.

Но этого не случилось. Да и не могло случиться. Выступая в Ленинграде, Жданов прямо сказал: «Этот вопрос на обсуждение Центрального Комитета поставлен по инициативе товарища Сталина, который лично в курсе работы... и (Сталин) предложил обсудить вопрос о недостатках в руководстве этих журналов, причем сам лично участвовал в заседании ЦК и дал руководящие указания, которые легли в основу решения».

На заседании ЦК, на которое ссылался Жданов, присутствовал ленинградский журналист Д. А. Левоневский. «Всю блокаду я воевал на Ленинградском фронте, – написал он позже, – работал в дивизионной газете „Сталинское знамя“ и даже для работы заместителем Бориса Лихарева – редактора журнала „Ленинград“ – был не демобилизован, а прикомандирован. Армейскую форму снял только весной 46-го года. А в начале августа был памятный вызов в Москву. Ехали мы вчетвером: В. Саянов, много лет редактировавший „Звезду“, А. Прокофьев, Б. Лихарев, П. Капица, Н. Никитин и я. Зачем – никто толком не знал. В обкоме, когда выдавали командировочные, сказали лишь, что будут обсуждаться ленинградские журналы. В Центральном комитете нас тотчас проводили в приемную к Жданову. У Жданова находился товарищ по фамилии Александров, как я понял, – заведующий отделом агитации и пропаганды. Но и тут мы не узнали ничего конкретного о предстоящем обсуждении, только ответили на несколько вопросов об авторах наших журналов. Насторожили слова Александрова: „Просьба из гостиницы никуда не уходить. По телефону не разговаривать. Никого из московских писателей не приглашать. Ни с кем в

контакты не вступать“. Протомились в неведении два бесконечно долгих дня. Девятого августа раздался звонок: „В 19.30 явиться в бюро пропусков“.

И вот мы в холле зала заседаний Оргбюро ЦК. Появляется запыхавшийся, веселый Алеша Сурков, здоровается с ленинградцами и каждому дарит книжечку библиотечки «Огонька» с грустным портретом Михаила Зощенко на обложке. «Читайте, ребята. Фронтовики смех уважают». Потом прозвенел звонок, и нас пригласили в зал с расставленными в шахматном порядке столиками. Впереди, за столом президиума, – Сталин, Жданов, Александров. Остальные руководители – на своих местах в зале. Открыл заседание Жданов.

Жданов: – За последнее время ленинградские журналы «Ленинград» и «Звезда» стали печатать слабые произведения, например, роман Леонида Борисова «Волшебник из Гель-Гью». Это весьма отвлеченная фантазия, характеризующая уход писателя от современности. Другой писатель, Кнехт, описывает какого-то коллекционера икон. Писатель Ягдфельд в пьесе, напечатанной в «Звезде», идеологически стоит на уровне обывателя-гимназиста. В поэтических произведениях журнала рассеяно упадничество и пессимизм. Вот Ахматова пишет – сплошная тоска о прошлом. Совершенно исключительно вредное произведение М. Зощенко об обезьяне, прыгающей по плечам и головам стоящих в очереди. Ей скучно среди людей и их глупых порядков. Это о распределении продуктов в продовольственном магазине, о милиционерах. Общество изображено нелепо. «Я воспитал ее, как человека». Следовательно, обезьяна пример для человека.

Сталин: – А каков автор? К какому разряду зверей принадлежит?

Жданов (продолжает): – Журнал «Ленинград» печатает слабый материал. Вот поэт Сельвинский в сожженном Севастополе не видит ничего, кроме одной женщины...

Сталин: – Материалу не хватает...

Жданов: – В чем причина ошибок? Ошибок таких писателей, как Зощенко и Ахматова? Группа писателей наших попала под влияние мелкобуржуазной идеологии, враждебной нам литературы. Кроме того, редактора утратили бдительность. Какой вывод можно сделать? Улучшить работу редакции журнала «Звезда». Ввиду отсутствия должных литературных сил для издания двух журналов – издание «Ленинграда» прекратить. Прошу высказываться.

Первым взял слово В. Саянов. Он говорил о трудностях первого послевоенного года. Затем покаялся: «Главная, я думаю, моя личная ошибка – в публикации рассказа Зощенко». На что последовала реплика Сталина: «Это пустейшая штука, не дающая ничего ни уму, ни сердцу. Это рассказ с похмелья. Балаганная штука». Редактор журнала «Ленинград» Б. Лихарев тоже сослался на неизбежные трудности, хотя и согласился, что «правильно критикуют нас, даже слишком мягко». Выступивший за ним председатель правления Ленинградской писательской организации А. Прокофьев сумел несколько разрядить напряженную атмосферу заседания, процитировав к месту смешные частушки. Сталин задал ему несколько вопросов о работе

редакции «Звезды», о целесообразности иметь в городе два журнала. Прокофьев заверил, что у ленинградцев есть силы, чтобы «поднять два журнала». Сталин резко перебил его.

Сталин: – А как Ахматова? Кроме старого, что еще у нее есть?

Прокофьев: – Она уже старая, ее не переделаешь... А вот «Знамя» печатает даже то, что мы отвергли из стихов Ахматовой...

Сталин: – Доберемся и до них.

Во время выступления зав. Отделом ЛГК ВКП(б) И. М. Широкова Жданов бросил ему упрек, что ленинградцы «сами избили Зощенко во время войны, а сейчас вдруг ввели в редколлегию „Звезды“». Под словом „избили“ имелась в виду статья четырех ленинградских авторов в журнале „Большевик“ № 2 за 1944 год, посвященная повести Зощенко „Перед восходом солнца“. На заседании Оргбюро этот мотив прозвучал и в выступлении Вс. Вишневского.

Вишневский: – Мы, ленинградцы, первыми ударили по Зощенко, который всегда выволакивал старое, грязное белье. Писал об инвалидах, пивных, милиционерах и т. д.

Сталин: – Он проповедник безыдейности...

Александров: – Злопыхатель...

Сталин: – Писатели думают, что они политикой не занимаются, написал человек красиво, и все. А там есть плохие, вредные места, мысли, которые отравляют сознание молодежи. Почему я недолюбливаю людей вроде Зощенко? Потому, что они пишут что-то похожее на рвотный порошок. Можем ли мы терпеть на посту руководителей людей, которые это пропускают в печать? У нас журнал не частное предприятие. Он не имеет права приспособливаться к вкусам людей, которые не хотят признавать наш строй. Кто не хочет перестраиваться, например, Зощенко, пускай убирается ко всем чертям. Не нам же переделывать свои вкусы, не нам приспособливать свои мысли и чувства к Зощенко и Ахматовой. Разве Анна Ахматова может воспитывать? Разве этот дурак, балаганный рассказчик, писака Зощенко может воспитывать?».

Перестал звонить телефон, начали исчезать друзья. В ноябре 1949 года арестовали сына – Льва Гумилева, историка-востоковеда, уже в третий раз. Впервые он был арестован в октябре 1936 года (вместе с мужем Ахматовой Н. Н. Пуниным), правда, тогда (после письма Ахматовой Сталину) сын и муж были освобождены. Во второй раз Гумилева взяли в марте 1938 года (полтора года на «Шпалерке» и в «Крестах», затем три года в лагерях). И вот – третий арест. Заодно был произведен обыск в комнате «гражданки Ахматовой». Сразу после обыска Ахматова сожгла почти весь свой архив, не желая, чтобы впредь к нему прикасались чужие руки.

Но надо было жить. И надо было думать о сыне. На полях рукописей Ахматовой, писал литературовед М. Кралин, появляются наброски новых, ни на что прежнее не похожих стихов. Достаточно сказать, что в одном из них фигурирует имя Ленина, никогда прежде не привлекавшее внимание Ахматовой. Впрочем, стихотворение о Ленине так и осталось в виде наброска

– Ахматовой требовались другие, более действенные меры. Она поставила цель – во что бы то ни стало выручить сына, а повод напрашивался: приближалось 70-летие Сталина, нашлись и подсказчики, советчики. Впервые в жизни Ахматова пыталась действовать по многими испытанному методу – «цель оправдывает средства». К тому же личное отношение Ахматовой к Сталину было далеко не однозначным. Да, конечно, «палач», «падишах», «самозванец» – всеми этими словами, за каждое из которых она могла поплатиться жизнью, она его уже наградила. Но она не могла не помнить и своеобразной заботы вождя о ее персоне в 1939 году, личной его воле приписывала она и «чудесное» спасение ее из осажденного Ленинграда, где непременно бы погибла. Так или иначе, но в 1950 году в «Огоньке» появились два восславляющих Сталина стихотворения. Однако создание казенного цикла, писал М. Кралин, главной цели не достигло: Лев Гумилев не был освобожден. Он вышел на свободу только в 1956 году.

На вопрос английского журналиста весной 1960 года: «Думаете ли вы, что после революции люди стали счастливее?» – Ахматова честно ответила: «Я не очень компетентна в том, что касается счастья, об этом надо еще кого-нибудь спросить. Но одно знаю: у нас люди научились гораздо больше помогать друг другу, чем прежде». Ее вообще сильно задевало отношение к ней на Западе. «Там пишут, – передавал Виленкин слова Ахматовой, – что меня надо отнести к десятым годам, после чего: „ее вдохновение иссякло, и она замолчала“. Но я никогда столько и так не писала, как в сороковом году. И я вовсе не в прошлом. Это Сологуб не смог перейти за революцию, а я перешла. В том, что там пишут обо мне, есть потайные ходы, я-то их знаю: было несколько молодых поэтов при Гумилеве, которые меня терпеть не могли. После революции они сразу уехали, и вот теперь рассказывают... Им верят там... Как же, ведь они русские, знают...» И дальше: «Среди этих приемов, не слишком добросовестных, обращает на себя внимание один: желание из всего написанного выделить первую книгу („Четки“) и затоптать все остальное, то есть сделать из меня нечто среднее между Сергеем Городецким („Ярь“), то есть поэтом без творческого пути, и Франсуазой Саган – „мило откровенной“ девочкой. Дело в том, что „Четки“ вышли в марте 1914 года и жизни им было дано два с половиной месяца. В то время литературный сезон кончался в конце мая. Когда мы вернулись из деревни, нас встретила – Война. Второе издание потребовалось примерно через год, при тираже одна тысяча экземпляров. С „Белой стаей“ дело обстояло примерно так же. Она вышла в сентябре 1917 года и из-за отсутствия транспорта не была послана даже в Москву. Однако второе издание понадобилось через год, т. е. ровно так же, как „Четки“. Третье напечатал Алянский в 1922 году. Тогда же появилось берлинское (четвертое), оно же последнее, потому что после моей поездки в Москву и в Харьков в 1924 году по постановлению ЦК, не опубликованному в печати, меня перестали печатать. И это продолжалось до 1939 года, когда Сталин что-то лестное сказал обо мне... Ни одна моя строчка не была напечатана. Уже готовый

двухтомник издательства Гессена („Петроград“) был уничтожен, брань эпизодическая стала планомерной и продуманной (Лелевич в журнале „На посту“, Перцов в „Жизни искусства“ и т. д.), достигая местами 12 баллов, т. е. смертоносного шторма. Переводы (кроме писем Рубенса, 30-й г.) мне не давали. Однако моя первая пушкинистская работа („Последняя сказка Пушкина“) была напечатана в „Звезде“. Запрещение относилось только к стихам.

Такова правда без прикрас. И вот что я узнаю теперь о себе из зарубежной печати. Оказывается, после революции я перестала писать стихи совсем и не писала их до сорокового года. Но отчего же не переиздавались мои книги и мое имя упоминалось только в окружении площадной брани? Очевидно, желание безвозвратно замуровать меня в 10-е годы имеет неотразимую силу и какой-то непонятный для меня соблазн...»

Примерно то же, и с той же горечью, писала Ахматова в 1960 году молодому поэту А. Найману: «Последнее время я замечаю решительный отход читателей от моих стихов. То, что я могу печатать, не удовлетворяет читателя. Мое имя не будет среди имен, которые сейчас молодежь (стихами всегда ведает молодежь) подымет на щит. Хотя сотня хороших стихотворений существует, они ничего не спасут. Их забудут. Останется книга посредственных, однообразных и уж конечно старомодных стихов. Люди будут удивляться, что когда-то в юности увлекались этими стихами, не замечая, что они увлекались совсем не этими стихами, а теми, которые в книгу не вошли. Эта книга („Стихотворения“, 1961) будет концом моего пути. В тот подъем и интерес к поэзии, который так бурно намечается сейчас, – я не войду, совершенно так же, как Сологуб не переступил порог 1917 года и навсегда остался замурованным в 1916 году. Я не знаю, в какой год замуруют меня, – но это не так уж важно. Я слишком долго была на авансцене, мне пора за кулисы. Вчера я сама в первый раз прочла эту роковую книгу. Это хороший добротный третий сорт. Все сливается – много садов и парков, под конец чуточку лучше, но до конца никто не дочитает... Между прочим (хотя это уже другая тема) я уверена, что сейчас вообще нет читателей стихов. Есть переписчики, есть запоминатели наизусть. Бумажки со стихами прячут за пазуху, стихи шепчут на ухо, беря честное слово тут же все навсегда забыть и т. д. Напечатанные стихи одним своим видом возбуждают зевоту и тошноту – людей перекормили дурными стихами. Стихи превратились в свою противоположность. Вместо: глаголом жги сердца людей – рифмованные строки вызывают скуку. Но со мной дело обстоит несколько сложнее. Кроме всех трудностей и бед по официальной линии (два постановления ЦК), и по творческой линии со мной всегда было сплошное неблагополучие, и даже может быть официальное неблагополучие отчасти скрывало или скрашивало это главное. Я оказалась довольно скоро на крайней правой (не политически). Левее, следственно новее, моднее были все: Маяковский, Пастернак, Цветаева. Я уже не говорю о Хлебникове, который до сих пор – новатор par excellencye. Оттого идущие за нами «молодые» были всегда так

остро и непримиримо враждебны ко мне, например, Заболоцкий и, конечно, другие обэриуты. Салон Бриков планомерно боролся со мной, выдвинув слегка припахивающее доносом обвинение во внутренней эмиграции. Книга обо мне Эйхенбаума полна испуга и тревоги, как бы из-за меня не очутиться в литературном обозе. Через несколько десятилетий все это переехало за границу. Там, для удобства и чтобы иметь развязанные руки, начали с того, что объявили меня ничтожным поэтом (Харкинс), после чего стало очень легко со мной расправиться, что не без грации делает, например, в своей антологии Ripolino. Не зная, что я пишу, не понимая, в каком положении я очутилась, он просто кричит, что я исписалась, всем надоела, сама это поняла в 1922 году и так далее...»

Тем не менее, времена менялись.

«Последние годы своей жизни, – вспоминала писательница Н. Ильина, – Ахматова допускала к себе всех, кто хотел ее видеть, круг ее знакомых расширялся безудержно. В 1956 году имя Ахматовой, набранное типографским шрифтом, появилось на титульном листе переводов корейской классической поэзии. В конце 1958 года Государственное издательство художественной литературы выпустило еще одну книжку, куда входили не только переводы, но и стихи Ахматовой. Вскоре это же издательство стало готовить новую книгу стихов, без переводов. Эта толстенькая, малого формата, изящная книжка появилась весной 1961 года. И началось! Письма читателей. Звонки из редакций. Все журналы хотят печатать Ахматову, и все газеты хотят того же. И рвутся корреспонденты брать интервью о творческих планах. Вновь пришла к Ахматовой громкая слава, о которой она когда-то могла отозваться так презрительно: «А наутро притащится слава погремушкой над ухом трещать» – и так равнодушно надменно: «Отдай другим игрушку мира славу, иди домой и ничего не жди». А теперь эти игрушки и погремушки стали тешить Ахматову. К материальным благам по-прежнему «без внимания» (ее выражение), в новой ленинградской квартире почти не жила, в Москве скиталась по друзьям, лето – в комаровской «будке» (дача), и шуба старая, и с обувью неблагополучно. Но поклонение и лесть, и оробелые поклонники обоего пола, и цветы, и телефонные звонки, и весь день расписан, и зовут выступить или хотя бы только присутствовать – это стало нужным. Придешь к ней, сядешь, закуришь, а Анна Андреевна с лицом таинственным и значительным вынимает из сумки (черной, порыжелой, всегда туго набитой) листок. Протягивает. Листок оказывается либо письмом читателя, недавно открывшего для себя Ахматову и свежо этому удивившегося, либо бумагой с грифом какого-нибудь института, где некто занялся изучением творчества Ахматовой и просит добавочных сведений. Иногда из сумки извлекалась газетная вырезка или страница журнала. Прочитав, следовало что-то говорить, а лучше – восклицать, хвалить читателя за чуткость. Об институте, занявшемся изучением ахматовского творчества, говорить: «Давно пора!» Газетную заметку следовало либо одобрять, либо ею возмущаться...»

Но люди к Ахматовой действительно тянулись. «Я вспоминаю один такой эпизод, – рассказывал Иосиф Бродский, – вполне типичный. Дело было зимой, я сижу у Анны Андреевны в Комарове. Выпиваем, разговариваем. Появляется одна поэтесса, с этим замечательным дамским речением: „Ой, я не при волосах!“ И моментально Анна Андреевна уводит ее в такой закуток, который там существовал. И слышны какие-то всхлипывания. То есть ясно эта поэтесса не стихи читать пришла. Проходит полчаса, Анна Андреевна и дама появляются из-за шторы. Когда дама эта удалилась, я спрашиваю: „Анна Андреевна, в чем дело?“ Ахматова говорит: „Нормальная ситуация, Иосиф. Я оказываю первую помощь“. То есть множество людей к Ахматовой приходило со своими горестями. Особенно дамы. И Анна Андреевна их утешала, успокаивала. Давала им практические советы. Я уж не знаю, каковы эти советы были, но одно то, что эти люди были в состоянии изложить ей все свои проблемы, служило им достаточной терапией...»

В 1962 году Ахматова закончила «Поэму без героя», которую писала двадцать два года. «Я начала ее в Ленинграде (в мой самый урожайный 1940 год), – отмечала она, – продолжала в „Константинополе для бедных“, который был для нее (поэмы) волшебною колыбелью, – Ташкенте, потом в последний день войны опять в Фонтанном Доме, среди развалин моего города, в Москве и между сосенок Комарова. Рядом с ней, такой пестрой (несмотря на отсутствие красочных эпитетов) и тонущей в музыке, шел траурный Requiem, единственным аккомпанементом которого может быть только Тишина и редкие отдаленные удары похоронного звона...» В том же году Ахматова передала в редакцию «Нового мира» и рукопись поэмы «Реквием». Однако в печати «Реквием» появился только в 1987 году, и совсем в другом журнале – в «Октябре». «В страшные годы ежовщины, – объясняла появление поэмы Ахматова, – я провела семнадцать месяцев в тюремных очередях в Ленинграде. Как-то раз кто-то „опознал“ меня. Тогда стоящая за мной женщина с голубыми губами, которая, конечно, никогда в жизни не слыхала моего имени, очнулась от свойственного нам всем оцепенения и спросила меня на ухо (там все говорили шепотом): „А это вы можете описать?“ И я сказала: „Могу“. И тогда что-то вроде улыбки скользнуло по тому, что некогда было ее лицом».

Летом 1964 года Ахматовой была присуждена одна из крупнейших поэтических премий Европы – «Этна-Таормина», которую она сама, наконец, получила в Италии. А в июне 1965 года, после выхода в свет сборника «Бег времени», Ахматова ездила в Англию, где ей было присуждено почетное звание доктора Оксфордского университета. Разумеется, побывала она в Париже.

Из письма Иосифу Бродскому: «Оказывается, мы выехали из Англии на другой день после ставшей настоящим бедствием бури, о которой писали в газетах. Узнав об этом, я поняла, почему я увидела такой страшной северную Францию из окон вагона. И я подумала: „Такое небо должно быть над генеральным сражением“ (день, конечно, оказался годовщиной Ватерлоо, о

чем мне сказали в Париже). Черные дикие тучи кидались друг на друга, вся земля была залита бурой мутной водой: речки, ручьи, озера вышли из берегов. Из воды торчали каменные кресты – там множество кладбищ и могил от последней войны... Потом был Париж, раскаленный и неузнаваемый... Потом обратный путь, когда хотелось только одного – скорей в Комарово; потом – Москва и на платформе все с цветами, все как в самом лучшем сне...»

Сэр Исайя Берлин, дружба с которым прошла через всю жизнь Ахматовой, писал в своей книге «Встречи с русскими писателями»: «...Анна Андреевна рассказывала о своей жизни как бы остраненно, даже безлично. Но это только частично скрывало страстные убеждения и нравственные суждения, против которых нельзя было возразить. Ее оценки людей и поступков других совмещали в себе острое проникновение в нравственный центр характеров и ситуаций, и тут она не щадила даже друзей, с догматическим упрямством в объяснении мотивов и намерений, особенно когда они имели отношение к ней самой, – что казалось даже мне, часто не знавшему обстоятельств (И. Берлин жил в Лондоне), неправдоподобным и иногда, в самом деле, вымышленным. Может быть, однако, я не понимал в достаточной мере иррациональный и иногда бешено капризный характер сталинского деспотизма, который делает затруднительным верное применение нормальных критериев того, чему можно верить и чему нельзя. Мне казалось, что Ахматова строила на догматических предпосылках теории и гипотезы, которые она развивала с исключительной последовательностью и ясностью. Ее непоколебимое убеждение, что наша встреча имела серьезные исторические последствия, было примером таких *idees fixes*. Она также думала, что Сталин дал приказ, чтобы ее медленно отравили, но потом отменил его; что уверенность Мандельштама перед смертью, будто пища, которой его кормили в лагере, отравлена, была обоснованной; что поэт Георгий Иванов (которого она обвиняла в писании лживых мемуаров в эмиграции) был какое-то время полицейским шпионом на жаловании царского правительства; что поэт Некрасов в XIX веке тоже был правительственным агентом; что Иннокентий Анненский был затравлен врагами до смерти. Эти убеждения не имели действительного очевидного основания – они были интуитивны, но они не были лишены смысла, не были прямыми фантазиями, они были элементами в связной концепции ее собственной и ее народа жизни и судьбы, тех центральных вещей, которые Пастернак хотел обсуждать со Сталиным, – эффект зрения, которое поддерживало и формировало ее воображение и искусство».

Умерла 5 марта 1966 года.

Постановление ЦК ВКП(б), превратившее жизнь Ахматовой в сплошную череду страданий, было отменено только 20 декабря 1988 года.

Мария Михайловна Шкапская

Родилась 3 (15) октября 1891 года в Петербурге.

С одиннадцати лет начала зарабатывать на большую (семь человек) семью – мыла полы и окна у чужих людей, стирала, надписывала адреса на почте, дежурила в психиатрической больнице, при этом продолжала учиться в городской гимназии, и училась так хорошо, что даже была переведена в гимназию на казенный счет.

Окончив гимназию, поступила в Петербургский психоневрологический институт, но закончить его ей не удалось. За участие в марксистских кружках дважды (вместе с мужем) попадала под арест, а в 1913 году была приговорена к высылке в Архангельскую губернию. В последний момент, правда, приговор смягчили – выслали Шкапскую из России.

«Было грустно наше прощанье и оставило жгучие ранки. Вечно помнится – утро в тумане и грязный коридор в охранке... Звяканье шпор за дверью, портреты царского дома и тоска все злей и безмерней, а за дверью голос знакомый... Неразумье разлучной боли, желанье кинуться следом и – железом ставшая воля, и над болью воли победа... А потом... Потом одиночка и эта нелепая заграница, чужие французские лица... И нельзя ни рыдать, ни молиться, чтобы час приблизить урочный...»

Училась на философском факультете Тулузского университета (Франция) и в школе восточных языков – первое время на так называемую «витмеровскую» стипендию, учрежденную известным русским купцом-филантропом Шаховым. Писала очерки для петербургской газеты «День», подрабатывала на виноградниках, даже на рыбных промыслах – на разделке рыбы. Поддержал в те годы Шкапскую Илья Эренбург; первые стихи появились в журнале В. Г. Короленко «Русское богатство».

В 1916 году вернулась в Россию.

На обороте заявления Шкапской о приеме в Союз поэтов, поданном ею в июне 1920 года, сохранились три резолюции, которыми, несомненно, можно было гордиться. «Стихи живые и своеобразные. Нахожу, что автора можно принять в действительные члены Союза поэтов. Ал. Блок». – «Автор, по моему, может быть принят в члены, хотя стихи, при однообразии своей чисто физиологической темы, часто неприятно натуралистически грубы и от неточности выражений местами непристойны, но поэтическое чувство и движение в них безусловно есть. М. Кузмин». И, наконец, краткое: «Полагаю, что автора следует принять в члены союза. М. Лозинский». Принимали Шкапскую в Союз поэтов по рукописи. Только через год в издательстве «Купина неопалимая» (за счет автора) вышел в свет ее первый сборник – «Mater Dolorosa» («Мать Скорбящая»).

«О, тяготы блаженной искушенья, соблазн неодолимый зваться „мать“ и новой жизни новое биенье ежевечерне в теле ощущать... По улице идти как королева, гордясь своей двойной судьбой. И знать, что взыскано твое слепое чрево и быть ему владыкой и рабой, и твердо знать, что меч Господня гнева в ночи не встанет над тобой... И быть как зверь, как дикая волчица, не утоляемой в своей тоске лесной, когда придет пора отвоплотиться и стать опять отдельной и одной...»

В 1922 году вышли сборники стихов Шкапской «Час вечерний» и «Барабан строгого господина», в 1923 году – «Кровь-руда». Чрезвычайно резкая критика, которой подверглась поэтесса («эпигон упадничества» – самое легкое), заставили ее замолчать. В 1925 году, поняв, что тем стихам, которые она умеет и хочет писать, места в нарождающейся литературе социалистического реализма нет, Шкапская полностью ушла в очеркистику: в ленинградской «Красной газете» вела отдел «По Советскому Союзу», сотрудничала в «Правде». Одна за другой выходили книги ее документальной прозы – «Сама по себе», «Земные ремесла», «Пятнадцать и один», «Вода и ветер».

«Ах, ступеней было много, длинной была дорога. Шла, ступеней не считая, падая и вставая, шла бы без стога и вдоха, но так устала, но такая была голгофа, что силы не стало. Упала. Распялась крестом у порога моего сурового Бога. И спросила так больно: „Господи, разве еще не довольно?“ И ответил печальный: „Этой дороге дальней нет ни конца, ни края. Я твои силы знаю. Я твои силы мерил. Я в твои силы поверил“. Сжег мне сердце очами. И был поцелуй палящий. И лежала в бессилии. И у лежащей за плечами зареяли крылья».

«Мария Михайловна. – писал друживший со Шкапской поэт и писатель-фантаст А. Р. Палей, – была замужем за инженером Г. О. Шкапским, она (урожденная Андреевская) приняла его фамилию. Я стал бывать у них на поэтических собраниях. Это происходило раз в неделю – по средам, если не ошибаюсь. Там бывали поэты и литераторы других жанров. Наряду с начинающими случалось встречать уже завоевавших известность писателей: И. Эренбурга, Н. Тихонова, Д. Заславского и других. Петроград был тогда полупуст, в жилой площади недостатка не чувствовалось. Шкапские занимали просторную квартиру. В самой большой комнате стоял длинный стол. На него выставлялось весьма нехитрое угощение: время было довольно суровое, а материальные средства Шкапских ограничены. На столе обычно располагались бутылки с минеральной водой, сухарики, бублики и... вот, пожалуй, и все. Но было очень хорошо, атмосфера царилла совершенно непринужденная, однако без лишней развязности. Здесь собирались только люди, увлеченные поэзией, по большей части сами поэты, а также их друзья. Знакомые хозяйки могли приводить своих знакомых и никого никому не представляли, в том числе и самой Марии Михайловне. Случалось услышать такой диалог: „Кто эта молодая женщина?“ – „Это хозяйка квартиры, Шкапская“. – „А вот тот мужчина, что задумчиво сидит в углу?“ – „А это ее муж“.

А порой, – вспоминал Палей, – хозяйка демонстрировала свой альбом. О, то была замечательная вещь! Нечто напоминающее знаменитую «Чукоккалу» К. Чуковского, но совсем в другом роде. Толстейшая тетрадь, в которую вносилось все. Как это «все»? Ну, все, что так или иначе привлекало внимание владелицы альбома: чье-либо удачное стихотворение, вырезанное из газеты; статья, интересная по форме или содержанию;

услышанный от кого-нибудь анекдот или необычный жизненный факт; какая-либо любопытная песня; сюда же клеивался заинтересовавший чем-нибудь календарный листок, засушенный лист дерева или цветок, даже насекомое. Все, словом. Альбом рос с каждым днем и теоретически мог достигнуть безграничных размеров...»

Разъездным корреспондентом «Красной газеты» Шкапская побывала в самых разных уголках страны – в Белоруссии, в Средней Азии, в Сибири, в Узбекистане, на Дальнем Востоке. Не один год отдала работе над историей завода им. Маркса, предложенной М. Горьким. В 1927 году переехала в Москву.

«В Москве, – вспоминал Палей, – Шкапская с семьей получила квартиру в новых домах у шоссе Энтузиастов. Любовь Марии Михайловны к детям перекликалась с ее любовью к животным. В кухне своей московской квартиры она устроила маленький зоопарк. Там жили белка, два бурундучка, молодой сокол. Комната Марии Михайловны и Светланы (дочери) была заставлена аквариумами с рыбками. Очень любила Шкапская собак, особенно пуделей. Скрещивая черных и белых пуделей, она вывела породу коричневых с различными оттенками, даже бежевых. Она посещала и помогала устраивать выставки собак, лечила их...»

В годы войны издала книгу о зверствах фашистов на оккупированной территории – «Это было на самом деле», после войны работала в изданиях Антифашистского центра.

«Мы были, мы прошли, нас было очень много, колосья сникшие под режущим серпом, камень серые по полевым дорогам, мы были, мы прошли, земля наш темный дом... Молчали мы и нас никто не слышал и не услышим будет голос твой, но каждое дитя, что в нас под сердцем дышит – стать может Голосом и Судною Трубой...»

«А личная жизнь шла своим чередом, – вспоминал Палей, – со своими радостями и огорчениями, удачами и неудачами. Неудач было немало. Тяжело заболел и стал инвалидом муж. Мария Михайловна дважды была жертвой несчастных случаев. Какой-то мальчик ранил ее в голову камнем, пущенным из рогатки. В другой раз она попала в железнодорожную катастрофу, после чего долго болела. Может быть, из-за этих травм стала быстрее стареть. Много лет я знал ее, и вот на моих глазах она превратилась из изящной девушки сначала в молодую, все еще привлекательную женщину, потом в пожилую, а затем... да, в старую, грузную. Ну что ж, в конце концов это общая участь, и чем позже приходит старость, тем, конечно, лучше. Но живость ума и характера, но настойчивая работоспособность остались при ней, и она энергично трудилась, пока хватало сил, и, смело можно сказать, шла в первых рядах советских очеркистов. Умерла она (7 сентября 1952 года) скоропостижно, от инфаркта. Это произошло в Сокольниках, на выставке собак, которую она осматривала с большим интересом».

«Что такое история литературы? – писал в 1979 году американский издатель стихов Шкапской Борис Филиппов. – Особенно литературы нашего века, – так, как подается она в СССР? За немногими исключениями, это очерки о тех писателях, которых никто не читает. Панферовы и Фурмановы, Серафимовичи и Гладковы, – стоит ли перечислять всю ту графоманскую макулатуру, которой набиты советские истории советской литературы. Но найдите там очерк о Мандельштаме, главы о Клюеве или Заболоцком. До недавнего времени не было очерка и об Ахматовой. Окончательно замолчана и Мария Михайловна Шкапская. Дважды мелькает ее имя на страницах новой четырехтомной истории советской русской литературы – и то второй раз – как об очеркистке, газетном работнике. В 1968 вспомнили ее, издали в Москве книгу Шкапской, но, конечно, не стихов, а... газетных путевых репортажей, глав из истории завода им. Маркса, очерков советского строительства. И в предисловии к этой книге, приводя хвалебный отзыв М. Горького о первом сборнике стихов Шкапской, прямо говорится, что «не является ли столь высокая оценка никому не известной теперь книги преувеличением?» А вместе с тем, Марию Шкапскую – поэта – приветствовали столь противоположные писатели, как Максим Горький и о. Павел Флоренский, не знавший, кому из трех крупнейших женщин-поэтов нашего века отдать предпочтение: Марине Цветаевой, Анне Ахматовой или Марии Шкапской. По силе и эмоциональной насыщенности – при предельной краткости – Флоренский ставил, пожалуй, на первое место Шкапскую... А Горький писал Шкапской в январе 1923 года, прочитав первую книжку ее стихов: «Вы, повторяю, на новом и очень широком пути. До вас женщина еще не говорила так громко и верно о своей значительности».

Николай Семенович Тихонов

Родился 22 (4. XII) ноября 1896 года в Петербурге.

«Семи лет сам выучился читать и писать. Сначала ходил в городскую школу на Почтамтской улице, потом поступил в Торговую школу на Фонтанке. Главными моими друзьями были книги. Они рассказывали мне о чудесах мира, о всех странах, обо всем, что есть на земле хорошего. Я смеялся и плакал над книгами от радости и от сочувствия людям, страдающим от несправедливости, от неравенства, от угнетения. Я любил географию и историю. Эта страсть осталась у меня на всю жизнь. Я сам начал писать книги, где действие переносилось из страны в страну. В этих сочинениях я освобождал малайцев из-под ига голландцев, индусов от англичан, китайцев – от чужеземцев. И когда, много лет спустя, я стоял на берегу Индийского океана и смотрел на полуголых, темнокожих, веселых ребят бедного рыбацкого поселка на Цейлоне, смотрел, как они играют в свой родной океан, волоча по песку спрутов, огромных скатов, медуз и маленьких акул, мне казалось, что я вижу сбывшийся сон моего детства, когда мое разгоряченное книгами приключений воображение рисовало мне далекие пейзажи полуденных стран и я мечтал увидеть воочию эти страны...»

Окончив Торговую школу, служил конторщиком в Военно-Морском хозяйственном управлении. «Потом грянула первая мировая война. Восемнадцати лет начал службу гусаром. Мне пришлось сражаться с немцами под Ригой. В боях я изъездил всю Прибалтику, был контужен под Хинцебергом, участвовал в большой кавалерийской атаке под Роденпойсом. Я возил в переметных сумках стихи, которые позже объединил под общим названием – „Жизнь под звездами“. Это были листы походной тетради, разрозненные страницы лирического дневника. Жизнь в окопах, в казармах, на дорогах под звездами мало походила на литературный университет. Мрачные пейзажи войны, смерть боевых друзей рождали большую внутреннюю тревогу. Тревога переходила в протест, нарастающий по мере того, как вокруг расширялась пустыня, отчаяние было написано на всех лицах, и зарево пожаров стало обычным маяком, освещавшим только пути поражений. На аренах мировой бойни люди моего поколения провели свою молодость...»

«Огонь, веревка, пуля и топор как слуги кланялись и шли за нами, и в каждой капле спал потоп, сквозь малый камень прорастали горы, и в прутике, раздавленном ногою, шумели чернорукие леса... Неправда с нами ела и пила, колокола гудели по привычке, монеты вес утратили и звон, и дети не пугались мертвецов. Тогда впервые выучились мы словам прекрасным, горьким и жестоким...»

Весной 1918 года Тихонов демобилизовался, но осенью вновь ушел – добровольцем – в Красную Армию, сражавшуюся против Юденича. Книгу стихов «Перекресток утопий» издал на деньги, вырученные от продажи кавалерийского седла, единственного, что у него тогда было.

«Помню, как появился Николай Тихонов, – писал Шкловский. – Сперва пошел в Ленинграде по студиям слух, что появился красноармеец-кавалерист вроде унтер-офицера и пишет стихи, очень плохие, но с замечательными строчками. Потом появился и сам Тихонов. Худой, солдатски аккуратно одетый, тренированный. Поселился он внизу в Доме искусств, в длинном, темном и холодном коридоре, вместе со Всеволодом Рождественским. Посередине комнаты стояла железная печка, а дрова лежали под кроватями. У окна был стол; за этим столом и Тихонов, и Рождественский писали одновременно. Когда в Доме искусств был вечер, на котором Кусиков танцевал лезгинку на столе, к великому негодованию всей посуды, то на этом вечере Тихонов читал своего „Махно“. А потом в комнате его на полу ночевало человек пятнадцать молодежи, и утром он всех напоил чаем из одного чайника. Суровый мороз коридора Дома искусств, военная служба и колка льда не повредили Тихонову. То, что в России не выходило два-три года журналов, тоже пошло молодым писателям на здоровье. Они писали для себя...»

Тихонов растет, изменяется, – писал дальше Шкловский, – он читает историю морских войн и учится английскому языку. Он умеет отличать число месяца от престольного праздника. Он знает, что Георгиев день – день

выгона коров – не по заслуге Георгия. Имея хорошую биографию и настоящую мужскую выправку, он не пишет просто о себе, а проламывается через русскую культуру: учился у Гумилева, учился у Киплинга, учился у Пастернака, учится у Хлебникова. И эта работа сохраняет Тихонову его романтизм. Он остался все тот же: и шарф вокруг его шеи, и узкие, как ножом обрезанные, щеки его все те же...»

Большую роль в жизни поэта сыграла его жена (талантливая художница) – в девичестве Неслуховская. В доме полковника К. Ф. Неслуховского еще до революции не раз бывал Ленин, – грянувшие события не стали для полковника неожиданными, он сразу поддержал советскую власть. Культура Марии Константиновны, ее такт, ее умение относиться к людям сильно повлияли на характер поэта-гусара. «Она сама хорошо знала, что такое солдатская жизнь, когда общая цель и ежеминутная смертельная опасность объединяют людей глубочайшим доверием друг к другу, – писал о Неслуховской поэт Микола Бажан. – Будучи дочерью профессионального военного, Мария Константиновна воспитывалась в условиях солдатской, рыцарской морали. Молодой девушкой она ушла на фронт первой мировой войны. Сотни и сотни людей, искалеченных во время империалистической бойни, спасла сестра милосердия Мария Неслуховская. Георгиевским крестом женщины награждались чрезвычайно редко, – Мария Константиновна имела его...»

В 1922 году вышли книги Тихонова – «Орда» и «Брага» – сразу сделавшие его известным.

«Катятся звезды, к алмазу алмаз, в кипарисовых рощах ветер затих, винтовка, подсумок, противогаз и хлеба – фунт на троих... Тонким кружевом голубым туман обвил виноградный сад. Четвертый год мы ночей не спим, нас голод глодал, и огонь, и дым, но приказу верен солдат...»

Успех Тихонова был тем значительней, что дебютировал он на фоне активно работавших Маяковского, Есенина, Бедного, Хлебникова, Мандельштама, Клюева, Цветаевой. Книги его не затерялись в общем потоке, а сам он стал членом литературной группы, называвшей себя «Серапионовыми братьями». Это не было какое-то особое литературное направление, скорее – творческая мастерская, где разные писатели учились мастерству. «В ту субботу, – вспоминал „серапион“ Каверин, – к нам пришел рыжевато-белокурой солдат-кавалерист в длинной, сильно потертой шинели, с красно кирпичным лицом, выше среднего роста, костлявый, решительный и одновременно застенчивый. Он был так худ, что казался вогнутым, острые плечи готовы были разорвать гимнастерку. Но это была худоба молодого, крепкого, очень здорового человека. Его встретили радушно. Он улыбнулся, и оказалось, что один из передних зубов у него выщерблен или полусломан. Кажется, уже и тогда он курил трубку. Щеки у него были ввалившиеся, но тоже молодо, твердо. Его усадили за стол, он положил перед собой рукопись и стал читать – глуховатым голосом, быстро. Его попросили читать медленнее. Как будто очнувшись, он поднял

взволнованные глаза и повиновался – впрочем, на три-четыре минуты... Впервые нам предстояло общее решение... Объединившиеся, не раз собиравшиеся, связанные быстро укреплявшимися отношениями, мы должны были оценить рассказ и сказать автору – принимаем мы его в орден „Серапионовы братья“ или не принимаем. Не было ни устава, ни рекомендаций, ни предварительных условий, которые показались бы нам смешными. Решение надо было принять, следуя нигде не записанному закону. Этот закон состоял из двух естественно скрестившихся начал – литературного вкуса и чувства ответственности. Первое непосредственно относилось к рассказу. Второе – и к автору и к рассказу...

Солдат (перешептываясь, мы выяснили, что он не просто кавалерист, но еще и гусар) читал долго, и мы слушали его терпеливо: если Горький упрекал себя в длиннотах, они простительны и гусару. Однако, когда он перевалил за середину, его перестали слушать... Вежливо, в слегка поучительном тоне Груздев выразил общее впечатление: не удалось то и это. Могло бы удалиться, но тоже не удалось это и то. Мы единодушно присоединились. Кавалерист слушал внимательно, но с несколько странным выражением, судя по которому можно было, пожалуй, предположить, что у него добрая сотня таких рассказов. Потом сказал чуть дрогнувшим голосом: «Я еще пишу стихи». Слушать еще и стихи после длинного, скучного рассказа? Но делать было нечего: мы что-то вежливо промычали. Из заднего кармана брюк он вытащил нечто вроде самодельно переплетенной узкой тетрадки. Раскрыл ее – и стал читать наизусть. Не только я, все вздрогнули. В комнату, где одни жалели о потерянном вечере, другие занимались флиртом, внезапно ворвалась поэзия, заряженная током высокого напряжения. Слова, которые только что плелись, лениво отталкиваясь друг от друга, двинулись вперед упруго и строго. Все преобразилось, оживилось, заиграло. Неузнаваемо преобразился и сам кавалерист, выпрямившийся и подавшийся вперед так, что под ним даже затрещало стасценное из елисейской столовой старинное полукресло. Это было так, как будто, взмахнув шашкой и пришпорив коня, он стремительно атаковал свою неудачу. Каждой строкой он загонял ее в угол, в темноту, в табачный дым, медленно выползавший через полуоткрытую дверь. Лицо его стало упрямым, почти злым. Мне показалось даже, что раза два он лязгнул зубами. Но иногда оно смягчалось, светлело. «Мы разучились нищим подавать, дышать над морем высотой соленой, встречать зарю и в лавках покупать за медный мусор золото лимонов...» – Еще! – требовали мы. – Еще! – И Тихонов – это был он – читал и читал...»

Впрочем, приятие Тихонова не было еще единодушным. Рассказывая о поэте Мак-Кее, приехавшем в Петроград с экзотического острова Ямайка, Николай Чуковский так описал встречу с Тихоновым – в Эрмитаже перед знаменитой «Данаей»: «Тихонов уже ждал нас там. Пришел он не один, а с очень милой и немного мне знакомой молодой женщиной Агудей Миклашевской. Толпа расступилась, образовав перед „Данаей“ внимательный полукруг, и я, смущенный множеством устремленных на нас

взоров, представил Мак-Кея Тихонову и Агуге. Я объяснил Мак-Кею, что перед ним – известный поэт, и Мак-Кей стал просить Тихонова почитать стихи. Насупив густые брови, Тихонов глухим, суровым голосом прочитал свою знаменитую „Балладу о гвоздях“. Все собравшиеся в зале слушали его затаив дыхание, боясь проронить слово. Баллада это, как известно, кончается такими двумя строчками: «Гвозди б делать из этих людей: крепче не было б в мире гвоздей». Эти строки всегда приводили меня в недоумение. Я не мог понять, как можно сказать людям в похвалу, что из них вышли бы хорошие гвозди. Но всю свою жизнь я со своим недоумением оставался почти в одиночестве, и тогда, в Эрмитаже, «Баллада о гвоздях» имела у слушателей необычайный успех. Тихонова выслушали с восторженным вниманием, и это произвело на Мак-Кея большое впечатление. Он попросил меня перевести ему прочитанное стихотворение. Я принялся переводить. Тихонов медленно произносил строку, и я повторял ее по-английски. Так я довольно лихо преодолевал строку за строкой, пока не дошел до роковых гвоздей. Я забыл, как «гвоздь» по-английски. Разумеется, я с детства знал, что «гвоздь» по-английски «nail», но в эту минуту – забыл. Бывает же такое! Безусловно, тут сработал выпитый утром коньяк; впрочем, мне и без коньяка случалось забывать хорошо известное нужное слово именно потому, что оно – нужное. Если бы не сотни глаз, следившие за мной, я, может быть, подумал бы и вспомнил, но тут, дойдя до строчки «Гвозди б делать из этих людей» и чувствуя, что все смотрят на меня и ждут, я запнулся, обливаясь потом. Что делают из людей?... Мак-Кей начал уже подсказывать мне свои догадки – совершенно невероятные. Да и как он мог догадаться, что из людей следует делать гвозди?... Я нервно оглядывал стены, надеясь, что где-нибудь торчит гвоздь и я покажу его Мак-Кею. Но в стенах эрмитажных зал гвозди не торчат. И вдруг мне пришло в голову – ведь картины висят на гвоздях! Там, позади «Данаи», из стены, вероятно, торчит гвоздь, на котором она закреплена. И я постарался объяснить это Мак-Кею, тыча в «Даная» указательным пальцем. Я тыкал в сторону картины пальцем и все попадал в разные места нагой «Данаи», и, в зависимости от моих попаданий, Мак-Кей строил вслух все новые и новые предположения о том, что именно надлежит делать из этих людей...»

«Начиная с 1923 года, – вспоминал Тихонов, – я много времени отдал изучению наших кавказских и закавказских республик. Почти ежегодно я проникал в самые отдаленные районы гор, пробирался по тропам пешком, иногда верхом в высокогорные селения и аулы и с годами накопил огромный материал. Я проходил ледники и снежные перевалы, пересекал первобытные леса, всходил на вершины, спал на горных лугах и в лесных делянках, жил с горцами их простой и суровой жизнью. Надо сказать, что еще в дни Первого съезда писателей в Москве впервые был устроен вечер грузинской поэзии, и стихи наших грузинских друзей-поэтов читали Борис Пастернак и я. Наши переводы многих поэтов Советской Грузии вышли в одном сборнике в Тбилиси. Я переводил и армянских поэтов. А на Первом

съезде писателей говорил в своем докладе о необходимости переводов со всех языков братских республик, о том, что нам нужно в первую голову убрать эту стенку молчания между поэтами разных национальностей Союза...»

В 1924 году вышла в свет поэма Тихонова – «Сами». В 1927 году появились сборники стихов – «Красные на Араксе» и «Поиски героя».

«У Тихонова, на Зверинской, 2, – вспоминал Евгений Шварц, – в обширной его квартире увидел я впервые гавайские куклы с двигающимися кистями длинных рук. Там всего было много, как взберешься черным ходом высоко-высоко в их многокомнатную квартиру, так насмотришься редкостей. Начиная с хозяина, Коли. И все эти редкости никак не скрывались, а выставлялись, как и подобает редкостям. Деревянный Коля показывал себя сам, все рассказывал и хохотал от удивления деревянным хохотом, хохотал и рассказывал. Показывала себя и жена его. Много позже, уже в военные времена, Габбе (писательница) сказала, побывав у них, что они, муж и жена Тихоновы, похожи на две широкоэвещательные станции в эфире, забивающие друг друга...»

В 1935 году вышли «Стихи о Кахетии», в 1936 году – «Тень друга».

В те же годы появились прозаические вещи Тихонова – «Вамбери», «Друг народа», «Военные кони». В финскую войну поэт прошел с армией от местечка Липпола до Выборга. «Суровая зима с небывалыми морозами, штурм мощных укреплений, дотов-миллионеров, штурм Выборга, смерть друзей в упорных боях, – писал Тихонов, – все это нашло отражение в цикле стихов как воспоминание тех жестоких дней... Незадолго до этого мною была написана книга „Война“, где рассказывалось о том, как возникли в первую мировую войну такие новые истребительные средства, как газ и огнемет. Это была задуманная мною часть дилогии, но вторую часть, которая должна была изображать картины новой войны между фашизмом и Советским Союзом, я не успел написать, так как скоро вторая мировая война обрушила орды Гитлера и на Советский Союз...»

В блокаду Тихонов руководил группой писателей при Политуправлении Ленинградского фронта. В группу входили А. Прокофьев, В. Саянов, Е. Федоров и Л. Соболев – для связи с Балтийским флотом. «Мне пригодилась в моей работе мои теоретические знания и мой военный опыт трех войн, участником которых я был. Очень пригодились и разные литературные жанры. Стихи и проза, очерк и рассказ, листовки, статьи, обращения – все было взято на вооружение. Мои переживания тогда были трудно передаваемы. Люди, населявшие и защищавшие Ленинград превратились в одну семью, в один небывалый коллектив. Их воля была непреклонна... Все стали воинами города-фронта... По предложению „Правды“ в несколько дней я написал поэму „Киров с нами“, которая была напечатана 1 декабря в Москве (в 1942 году эта поэма была отмечена Сталинской премией)... За время осады, за девятьсот дней ленинградской битвы, я написал, кроме поэмы „Киров с нами“, – „Ленинградские рассказы“, книгу стихов „Огненный

год“ и свыше тысячи очерков, обращений, заметок, статей и дневниковых записей...»

В 1949 году Сталинской премии была отмечена книга стихов Тихонова «Грузинская весна». Вообще-то Тихонов мог получить премию и за «Югославскую тетрадь», вышедшую годом раньше и тоже представленную в Комитет по Сталинским премиям, но начались сложности в отношениях СССР и Югославии. В известных размышлениях о Сталине («Глазами человека моего поколения») Константин Симонов вспоминал: «Обсуждение всех премий было уже закончено, но Сталин, к концу обсуждения присевший за стол, не вставал из-за стола. Похоже было, что он собирался сказать нам нечто, припасенное к концу встречи. Да мы в общем-то и ждали этого, потому что существовал еще один вопрос, оставленный без ответа. Список премий по поэзии открывался книгой Николая Семеновича Тихонова „Югославская тетрадь“, книгой, в которой было много хороших стихов. О „Югославской тетради“ немало писали и вполне единодушно выдвигали ее на премию. Так вот эту премию как корова языком слизала, обсуждение велось так, как будто никто этой книги не выдвигал, как будто она не существовала в природе. Это значило, что произошло что-то чрезвычайное... Но что?... Я и другие мои товарищи не задавали вопросов на этот счет, думая, что если в такой ситуации спрашивать, то это должен сделать Фадеев, как старший среди нас, как член ЦК. Но Фадеев тоже до самого конца так и не задал вопроса про „Югославскую тетрадь“ Тихонова – или не считал возможным задавать, или знал что-то, чего не знали мы, чем не счел нужным или не счел вправе с нами делиться...

Просидев несколько секунд в молчании, Сталин, обращаясь на этот раз не к нам, как он это делал обычно, а к сидевшим за столом членам Политбюро, сказал: «Я думаю, нам все-таки следует объяснить товарищам, почему мы сняли с обсуждения вопрос о книге товарища Тихонова „Югославская тетрадь“. Я думаю, им надо это знать, и у них, и у товарища Тихонова не должно быть недоумений». В ответ на этот полувопрос, полуутверждение кто-то сказал, что да, конечно, надо объяснить. В общем, согласились со Сталиным... Должен в связи с этим заметить, что, как мне показалось, в тех случаях, когда какой-то вопрос заранее, без нашего присутствия, обговаривался Сталиным с кем-то из членов Политбюро или со всеми нами, Сталин не пренебрегал возможностью подчеркнуть нам, что он высказывает общее мнение, а не только свое. Другой вопрос, насколько это было намеренно и насколько естественно, что шло тут от привычки и давнего навыка, что от сиюминутного желания произвести определенное впечатление на тех представителей интеллигенции, которыми мы являлись для Сталина на этих заседаниях... «Дело в том, – сказал Сталин, – что товарищ Тихонов тут ни при чем. У нас нет претензий к нему за его стихи, но мы не можем дать ему за них премию, потому что в последнее время Тито плохо себя ведет. – Сталин встал и прошелся. Прошелся и повторил: – Плохо себя ведет. Очень плохо. – Потом Сталин походил еще, не то подыскивая

формулировку специально для нас, не то еще раз взвешивая, употребить ли ту, что у него была наготове. – Я бы сказал, враждебно себя ведет, – заключил Сталин и снова подошел к столу. – Товарища Тихонова мы не обидим и не забудем, мы дадим ему премию в следующем году за его новое произведение. Ну, а почему мы не могли сделать это сейчас, надо ему разъяснить, чтоб у него не возникло недоумения. Кто из вас это сделает?» – Сделать это вызвался я. Примерно на этом и закончилось заседание. Никаких более подробных объяснений, связанных с Тито, Сталин давать не считал нужным...»

В августе 1949 года Тихонова избрали председателем только что образованного в Москве Советского Комитета защиты мира. Это дало поэту возможность увидеть все те страны, о которых он раньше только мечтал. Индия, Пакистан, Китай, Таиланд, Индонезия, Ливан, Сирия, Бирма, Цейлон, не говоря уж о странах Европы... Одна за другой появились многочисленные книги Тихонова. За сборник стихов «Два потока» он был удостоен Сталинской премии в 1952 году, за книгу рассказов «Шесть колонн» – Ленинской премии в 1970 году. Гостеприимный и щедрый, поэт по-прежнему с удовольствием принимал гостей в известном «доме на Зверинской», а позже в Москве – в Переделкино. Из знаменитого кованого сундука, стоявшего у стены кабинета, он извлекал листки рукописей, и начинал читать.

«Я прошел над Алазанью, над причудливой водой, над седою, как сказанье, и, как песня, молодой... Предо мною, у пучины виноградарственных рек, мастера людей учили, чтоб был весел человек... И струился ток задорный, все печали погребал: красный, синий, желтый, черный по знакомым погребам... Но сквозь буйные дороги, сквозь ночную тишину, я на дне стаканов многих видел женщину одну...»

«Тихонов умел превратить в преданного друга самую свирепую тварь собачьей породы, – вспоминала поэтесса Е. Книпович. – Порой в доме появлялись „меньшие братья“ уж совсем нестандартного порядка – осиротевшие бельчата, которых выкормила кошка, гусак Демьян и гусыни Любочка и Катенька. Сторож (дачи в Переделкино) дядя Сережа купил их для хозяев с кулинарными намерениями, но Мария Константиновна заявила, что „знакомых не едят“, и благодарные гуси, как им и полагается, гуськом ходили по саду за своей спасительницей... Нестандартно вели себя в этом доме даже куры: неслись они, правда, где положено, но ночевали, взлетев высоко на деревья...»

Судьба хранила Тихонова. Он прошел четыре жестоких войны, не погиб в бесчисленных путешествиях (а ему приходилось бродить по местам весьма диким), не попал под молот репрессий. Напротив, он видел мир, был отмечен званием Героя Социалистического Труда, званием лауреата Международной Ленинской премии мира, многих других очень почетных премий, а главное, оставил после себя стихи, без которых русская поэзия, несомненно, была бы беднее.

Умер 8 февраля 1979 года в Москве.

Эдуард Багрицкий

Эдуард Георгиевич Дзюбин (Багрицкий – литературный псевдоним) родился 22 (3. XI) октября 1895 года в Одессе.

Учился в реальном училище, затем на землемерных курсах. К сожалению, астма, тяжелой формой которой он заболел еще в ранней юности, не позволила поэту заняться тем, к чему он тянулся: не до путешествий, если задыхаешься, поднимаясь на второй этаж.

Первые стихи появились в 1915 году в одесских футуристических альманахах – «Серебряные трубы», «Авто в облаках», «Седьмое покрывало». В «Синем журнале», не очень расположенном к новой поэзии, один из этих альманахов был оценен так: «Футуристы решительно устремляются в облака. После „Облаков в штанах“ – „Авто в облаках“. По-видимому, на земле им плохо живется. Как известно, от хорошей жизни не полетишь. Впрочем, книжка, лежащая перед нами, явно свидетельствует о неудачности этой заоблачной экскурсии. Уже от самой обложки несет земным. Обложка густо засыпана обрывками газет, с которых на читателей глядят весьма земные объявления: „Д-р Я. Фельдман. Венер. и сиф“, „Д-р Попова. Женские“. „Д-р Ласс. Специальность венер. и сифил“. Эти земные специальности вряд ли водятся в облаках. В тексте также облаками далеко не пахнет. «Посвисти, посвисти, посвисти соловей на серой стене, заиграй, поиграй, граммофон, из Травиаты арию. Мамаша, дай чаю со сливками мне...» Разговор идет о мамаше г. Багрицкого... Обязанность, принятую на себя – выдумывать позабористее слова – авторы «Авто в облаках» выполняют скучно и неумно. Футуристы, если о них судить по восьми авторам с облаков – не так глупы, как это кажется с первого знакомства, – они гораздо глупее...»

«События мало волновали меня, – признавался позже Багрицкий. – Я старался пройти мимо них. Даже в 1919 году, в Красной Армии (некоторое время Багрицкий пробыл в Особом партизанском отряде имени ВЦИК и в агитпоезде „Третий Интернационал“), я все еще писал поэму о граде Китеже. Вяч. Иванов, Хлебников, отчасти Кузмин были моими идеологами. Моя повседневная работа – писание стихов к плакатам, частушек для стен– и уст-газет – была только обязанностью, только способом добывания хлеба. Вечерами я писал стихи о чем угодно: о Фландрии, о ландскнехтах, о Летучем Голландце, тогда я искал сложных исторических аналогий, забывая о том, что было вокруг. Я боялся слов, созданных современностью, они казались мне чуждыми поэтическому лексикону – они звучали фальшиво и ненужно. Потом я почувствовал провал – очень уж мое творчество отъединилось от времени. Два или три года не писал я совсем...» Правда, люди, встречавшиеся с поэтом запомнили и другое: «Товарищ Багрицкий, находясь в отряде, пишет прекрасные стихи, воодушевляющие бойцов. Он – автор множества листовок, разъясняющих трудящимся сущность событий, призывающих к защите Советской власти и укреплению диктатуры пролетариата. Мы прекрасно помним, как небольшие желтые листочки

разбрасывались нашими разведчиками далеко впереди цепей и читались по деревьям крестьянами и рабочими».

Стихи Багрицкого регулярно появлялись в одесских газетах и журналах – «Моряк», «Одесские известия», «Яблочко», «Шквал». Как поэт и художник он сотрудничал в ЮгРОСТА, выступал на поэтических вечерах. В марте 1922 года «Одесские известия» сообщали: «Седьмой Литературный интимник состоялся 2 марта. Значительнейшею частью программы явилась новая поэма Э. Багрицкого „Сказание о море, моряках и Летучем Голландце“. Затронутый поэтом в его выступлении вопрос («Пусть, важной мудростью объятый, решит внимающий совет: нужна ли пролетариату моя поэма или нет?») был решен положительно».

В 1925 году Багрицкий переехал в Москву. Уже в следующем году вышла в свет его поэма «Дума про Опанаса». «В ней я описал то, что я видел на Украине во время гражданской войны. Над „Думой про Опанаса“ я работал долго, месяцев восемь. Мне хотелось написать ее стилем украинских народных песен, как писал Тарас Шевченко. Для этого я использовал ритм его „Гайдамаков“. Мне хотелось показать в ней историю крестьянина, оторвавшегося от своего класса и попавшего к махновцам. Рассказать о нем и о его гибели. Мне кажется, что мне это удалось».

Пытаясь найти свое место в кипящей литературной жизни Москвы, Багрицкий вошел в литературную группу «Перевал», однако очень скоро перебрался в Литературный центр конструктивистов. «Он был непохож на поэта, – вспоминал писатель Г. Мунблит. – Высокий, грузный, одетый в мешковатый костюм, в кожаном пальто и крагах, уже в те времена вышедших из моды, он больше всего напоминал какого-нибудь агронома или землеустроителя, но не тогда, когда они отправляются в гости или в театр, а когда трясутся в заляпанных грязью бричках по проселочным дорогам, разъезжая по своим агрономическим и землеустроительным делам».

В 1928 году вышел один из лучших сборников Багрицкого «Юго-Запад».

«От черного хлеба и верной жены мы бледною немочью заражены... Копытом и камнем испытаны годы, бессмертной полынью пропитаны воды, – и горечь полыни на наших губах. Нам нож – не по кисти, перо – не по нраву, кирка – не по чести, и слава – не в славу: мы – ржавые листья на ржавых дубах... Чуть ветер, чуть север – и мы облетаем. Чей путь мы собою тогда устилаем? Чьи ноги по ржавчине нашей пройдут? Потопчут ли нас трубачи молодые? Взойдут ли над нами созвездья чужие? Мы – ржавых дубов облетевший уют...»

Критики внимательно присматривались к Багрицкому. Их смущала его культура. В 1937 году Ю. Севрук писал (приводим длинную выписку специально для того, чтобы показать литературный стиль и атмосферу времени): «Владимир Ильич Ленин в политическом отчете XI съезду РКП(б) говорил: „Отступление – штука трудная, особенно для тех революционеров, которые привыкли наступать, особенно, когда они привыкли наступать,

особенно, когда они привыкли наступать несколько лет с гигантским успехом, особенно, если они окружены революционерами других стран, только и мечтающими о том, чтобы начать наступление. Если вся армия (тут я говорю в переносном смысле) отступает, тут такого настроения, когда все идут вперед, быть не может. Тут уже на каждом шагу вы встретите настроение, до известной степени подавленное. У нас даже поэты были, которые писали, что вот, мол, и голод, и холод – в Москве, тогда как раньше было чисто, красиво, теперь – торговля, спекуляция... К числу поэтов, – указывал Севрук, – пессимистически и ошибочно противопоставлявших обстановку нэпа романтике гражданской войны, принадлежал и Эдуард Багрицкий. Здесь, однако, следует ввести одно весьма существенное уточнение. Наиболее скорбные, внутренне дезориентированные стихи Багрицкого написаны им в 1926–1927 гг., то есть в период, когда партия давно уже завершила отступательный маневр и заканчивала восстановление народного хозяйства страны. Правда, в эти годы еще были трудности, давали еще себя знать отрицательные стороны нэпа, которые преодолевались в поступательном движении к социализму. Но ведь наличие трудностей этих не помешало Владимиру Маяковскому встретить десятилетие Октября замечательной поэмой «Хорошо», по достоинству вошедшей в основной фонд поэзии социализма. Конечно, Багрицкий уступал Маяковскому, крупнейшему поэту революции, но как же все-таки понять запоздалые колебания Багрицкого?...

Мы полагаем, – рассуждал Севрук, – что этот кризис в творчестве Багрицкого следует рассматривать одновременно, как одно из последствий троцкистского вредительства «воронщины» в области художественной литературы. С 1925 по 1926 год Багрицкий был членом литературной группы «Перевал», возглавлявшейся троцкистским агентом в литературе, заклятым врагом народа Воронским. Пропагандировавшие этим последним фрейдистские теории «непосредственных впечатлений», будто бы составляющих основу поэтического творчества, преклонение перед интуицией, словом, вся совокупность враждебных советской литературе перевальских лозунгов, рассчитанных, как известно, на буржуазную реставрацию в искусстве, несомненно, дезориентировала талантливого поэта, углубила те настроения, которые мешали Багрицкому правильно понять новый этап классовой борьбы за социализм. Расхождения Багрицкого с «Перевалом» обнаружилось сравнительно скоро. Поэт переходит в Литературный центр конструктивистов. Но и эта литературная организация принесла ему только вред, она не могла помочь Багрицкому твердо встать на почву правильного понимания задач советской литературы. Дело в том, что литературная теория конструктивизма была основана на реакционной богдановской философии и рабски копировала конструктивистские идеи, распространенные среди зарубежной буржуазной интеллигенции. Конструктивисты, по определению своих теоретиков, мыслили себя «грузчиками культуры», полпредами технического и культурного прогресса в

нищей, крестьянской, «скифской» России. «Через конструктивизм, то есть через техническое овладение природой, – только таким путем мы придем к социализму», – заявлял теоретик конструктивистов К. Зелинский, отводя ведущую роль в строительстве социализма специалистам по технике, «грузчикам культуры», технической и примыкающей к ней художественной интеллигенции. Не народ, не массы, овладевающие культурой и знаниями, а прошедшие специальную подготовку мастера создают новые культурные ценности. Если бы К. Зелинский логически развил эти враждебные марксизму «идеи», то он без труда пришел бы к троцкистскому отрицанию социалистической культуры. Нетрудно понять, что в выдвигаемой конструктивистами культурной программе было много буржуазного делачества, буржуазного техницизма и не было ни грана социализма. Именно в этих «теориях» и заключался тот вред, который тормозил идейно-творческую перестройку ряда писателей, входивших в это литературное объединение...»

«По рыбам, по звездам проносит шаланду: два грека в Одессу везут контрабанду... На правом борту, что над пропастью вырос: Янаки, Ставраки, папа Сатырос... А ветер как гикнет, как мимо просвищет, как двинет барашком под самое днище, чтоб гвозди звенели, чтоб мачта гудела: – Доброе дело! Хорошее дело!».

«Из встреч с Багрицким, – вспоминала позже Л. Гинзбург, – больше всего запомнились встречи в Кунцеве (тогда это было совсем загородное место), где я у него бывала впервые, вероятно, в 1927 году. Потолок небольшой рабочей комнаты был увешан клетками с птицами. На полу, на столах стояли аквариумы, в которых жили маленькие рыбы редкостной формы и невероятных расцветок (об ихтиологической страсти Багрицкого вспоминают все, знавшие его в ту пору). Под аквариумами горели керосиновые лампы; между аквариумами ходила большая охотничья собака. Для людей была оставлена тахта у стенки: на нее можно было садиться, ставить пепельницу и класть книги. Багрицкий – большой, уже располневший, со своим птичьим носом, с клоком волос, прямо свисающим на глаза, улыбался, нагнув голову набок, читал стихи, задыхаясь от дыма (он непрерывно курил), от тяжелого астматического кашля и как будто от ритмов, которым уже тесно в груди...

Осенью 1928 года кунцевская комната выглядела уже несколько иначе. Птиц не было. Багрицкий сказал, что птиц отдал, потому что они шумели и мешали ему работать, собаку, кажется, украли. Остались рыбы, рыбы работать не мешали. Но от аквариумов исходил легкий запах. Багрицкий объяснил: менять воду в аквариуме часто не следует, – это знают все подлинники специалисты. В тот день у Багрицкого собралось несколько человек, среди них Рина Зеленая, которая твердой рукой открыла окно. «Не можете ли вы приезжать хоть раза два в неделю? – сказала жена Багрицкого, Лидия Густавовна. – Он не позволяет нам открывать окна, кричит, вы хотите, чтобы мои рыбы простудились и умерли?»

В 1928 году Багрицкому материально приходилось туго. Он не жаловался, но попутно шутил на эту тему. Кто-то из присутствующих стал его убеждать написать между делом халтуру, для денег. Разговор весь шел в шуточном тоне. И вдруг, ломая его, Багрицкий сказал очень серьезно, как говорят о вещах, крепко продуманных: «Не в том дело. Я всегда боюсь, что в халтуру попадет строчка из настоящего стихотворения, из будущего, понимаете? И пропадет. Так нельзя».

Одно из проявлений блестящего профессионализма Багрицкого – его пятиминутные сонеты. Сонет писался в пять минут, по часам, тут же, на заданную кем-нибудь тему. У меня сохранился автограф одного из этих сонетов-импровизаций. Написан он в Кунцеве, в январе 1928 года, на заданную мною тему: «Одесса». Багрицкий написал его в шесть с половиной минут, то есть опоздал на полторы минуты. Он был огорчен этим, сердился и говорил, что мы, гости, мешали ему своими разговорами. В Одессе на двух концах знаменитого Приморского бульвара расположены были с одной стороны – «Белый дом», бывший дом Воронцова, с другой – большой бронзовый бюст Пушкина. Это расположение Багрицкий обыграл в своем сонете: «Еще стучатся волны о маяк, еще играют чайки над буруном, – а в городе мечтательном и юном над белым домом полыхает флаг... Над круглой площадью тяжелый шаг – то Воронцов встает в сиянье лунном, он новую теперь принес игру нам – глядеть на Пушкина и так, и сяк... Ну что ж из этого! Пора в дорогу. Глухая ругань, поднимаясь к богу, тревожит мрак отчаянной божбой. И кажется – с бульвара – там, с опушки, без ног и рук выходит мертвый Пушкин и Воронцова вызывает в бой...»

В 1930 году, вслед за Маяковским, Багрицкий вступил в РАПП.

В 1932 году вышли сборники стихов – «Победители» и «Последняя ночь».

Багрицкий много переводил. Благодаря этой его напряженной работе русский читатель узнал многие стихи Ивана Купалы, Миколы Бажана, Владимира Сосюры, Переца Маркиша, Роберта Бернса, Артюра Рембо, Назыма Хикмета. К сожалению, последние годы поэта прошли среди лекарств, в удушающих приступах астматического кашля. Этот кашель мешал ему говорить, мешал выходить из квартиры.

Умер 16 февраля 1934 года в Москве.

Умирая, сказал больничной сиделке: «Какое у вас лицо хорошее. У вас, видимо, было хорошее детство, а я вспоминаю свое детство и не могу вспомнить ни одного хорошего дня».

Павел Николаевич Васильев

Родился 12 (25) декабря 1910 года в уездном городке Зайсан в Казахстане.

Отец преподавал математику в Павлодаре, позже в Омске. Мать – казачка – увлекалась музыкой, хорошо знала литературу. Много в характере сына перешло от нее, в том числе крепкая любовь к Павлодарским степям, для многих – скучных и скудных. Очень рано начал писать стихи. Поначалу это были всего лишь стихотворные переложения понравившихся ему книг, в

основном романов Дюма, но скоро в стихах появилось и родное Прииртышье. Учебу начал в Петропавловском городском училище, заканчивал – в Павлодарском. «Наш дом, – вспоминал позже брат поэта, – особенно в зимнее время, посещали знакомые, среди которых были довольно примечательные личности. В такие вечера было шумно и весело. Мужчины усаживались играть в преферанс, а подвыпив, пели, и, надо сказать, хорошо, особенно народные песни и романсы. У отца был неплохой бас. Нас укладывали спать часам к десяти, но Павлу, как старшему и как самому неугомонному, удавалось иногда остаться до поздней ночи. Я помню хорошо известного художника Батурина, грузного, полного старика с седеющей окладистой бородой и белым холеным лицом. Он знал Репина и даже был с ним в хороших отношениях. Батурин увлеченно рассказывал о своей молодости, об искусстве художника и о замечательных людях, которых он знал еще в конце девятнадцатого века. Частым гостем был у нас и учитель Дейнека, знавший не менее шести языков. Небольшого роста, черноволосый и аккуратный во всем, что касалось его внешности, он был веселым и остроумным собеседником...»

Окончив училище, Васильев уехал во Владивосток, решив поступить в университет – на японское отделение. В приморском городе он быстро познакомился с поэтом Рюриком Ивневым, руководившим литературно-художественным обществом, основанным еще в 1919 году Д. Бурлюком и Н. Асеевым – известными футуристами, бывавшими во Владивостоке. Заинтересовавшись, Ивнев устроил первое публичное выступление молодого поэта в актовом зале университета. А 6 ноября 1926 года стихи Васильева появились в газете «Красный молодняк». Ободренный такой поддержкой, в декабре 1926 года с рекомендательными письмами Ивнева и журналиста Л. Повицкого, Васильев отправился в Москву. Однако до Москвы в тот раз он не добрался – застрял в Новосибирске. Плавал на баржах по Оби, подрабатывал в детдоме инструктором физкультуры, зато стихи его регулярно появлялись в газете «Советская Сибирь» и в журнале «Сибирские огни».

Только в июле 1927 года Васильев оказался в Москве.

К сожалению, Брюсовский институт, на учебу в котором Васильев рассчитывал, был к тому времени закрыт. Разочарованный поэт вернулся в Омск, куда перебрались родители. В Омске он написал первую поэму – «Прииртышье», от которой сохранилось только краткое сообщение в омской газете «Рабочий путь»: «Совершенно исключительный успех имела поэма „Прииртышье“ – о прииртышском казачестве, написанная в форме казачьих заповеков».

В Омске, в 1928 году, Васильев женился на Галине Анучиной. Там же была начата поэма «Песня о гибели казачьего войска», посвященная судьбе атамана Б. А. Анненкова. Зарабатывая деньги, в компании поэта Николая Титова, а затем присоединившегося к ним Евгения Забелина, поэт почти год странствовал по Сибири и Дальнему Востоку. Узнал жизнь старателей на

золотых приисках на Витиме, гонял собачьи упряжки в тундре, работал экспедитором на Зейских золотых приисках, культработником в Сучане. В 1930 году очерки Васильева составили первую его книгу – «В золотой разведке». Через год, там же в Москве, вышла вторая – «Люди в тайге».

Осенью 1929 года Васильев окончательно перебрался в Москву.

Теперь он чувствовал себя гораздо увереннее: в столице у него появились друзья, он поступил на Высшие литературные курсы, снял комнату в Кунцево, стихи печатались в самых известных толстых и тонких журналах. Правда, повинуюсь неукротимому нраву, поэт и теперь иногда срывался с места – то уезжал в родной Павлодар, то плавал по Аралу и Каспию. В таких поездках он закончил «Песню о гибели казачьего войска», собрал и обработал «Песни киргиз-казаков» – свободные казахские легенды, напевы, сказания. «В начале тридцатых годов, – писал Пастернак, – Павел Васильев производил на меня впечатление приблизительно того же порядка, как в свое время, раньше, при первом знакомстве с ними, Есенин и Маяковский. Он был сравним с ними, особенно с Есениным, творческой выразительностью и силой своего дара, и безмерно много обещал, потому что, в отличие от трагической взвинченности, внутренне укоротившей путь последних, с холодным спокойствием владел и распоряжался своими бурными задатками. У него было то яркое, стремительное и счастливое воображение, без которого не бывает большой поэзии и примеров которого в такой мере я уже больше не встречал ни у кого за все истекшие после его смерти годы». А Сергей Клычков, в прошлом друг Есенина, прямо заявлял: «Период так называемой крестьянской романтической поэзии закончен. С приходом Павла Васильева наступает новый период – героический. Поэт видит с высоты нашего времени далеко вперед. Это юноша с серебряной трубой, возвещающий приход будущего...» Сам Васильев посмеивался, ему в голову не приходило считать себя ниже кого-то, даже Есенина. «Я хочу, чтобы слова роскошествовали, чтобы их можно было брать горстями, – не раз говорил он. – Есенин образы по яголке собирал. А для меня важен не только вкус, но и сытость».

К сожалению, серебряная труба и открытая душа поэта часто привлекали к нему совсем не тех людей, в каких он нуждался – видимо, Васильеву было тесно в городе. Кочуя из кабака в кабак, устраивая попойки и драки, он попадал из одного скандала в другой. «Васильев пил и болтал», – писал о нем современник. В конце концов, в марте 1932 года Васильева арестовали по так называемому «делу сибирских поэтов». По этому же делу взяли Николая Анова, Евгения Забелина, Сергея Маркова, Леонида Мартынова, Льва Черноморцева. Благодаря заступничеству И. Гронского, влиятельного большевика, главного редактора правительственных «Известий» и «Нового мира», Васильев через два месяца был освобожден – остальных отправили в ссылку. По Москве немедленно поползли слухи о якобы двусмысленном поведении Васильева в тюрьме. И хотя впоследствии выяснилось, что нужные властям показания давал Лев Черноморцев, а не Васильев, ни

Сергей Марков, ни Леонид Мартынов до конца жизни не изменили своего отношения к поэту. Некоторое время Васильев мог печатать свои стихи только под псевдонимом – Мухан Башметов.

В 1933 году Васильев женился на Елене Вяловой, став свояком тому же благоволящему к нему Гронского (женаты на сестрах).

«Чтоб долго почтальоны не искали, им сообщу с предсумрачной тоской: Москва, в Москве 4-я Тверская, та самая, что названа Ямской... На ней найди дом номер 26, в нем, горестном, квартира 10 есть... О, почтальон, я, преклонив колени, молю тебя, найди сие жилье и, улыбнувшись Вяловой Елене, вручи письмо печальное мое...»

По указанному адресу, в большой квартире свояка, Васильев и поселился. Гронский охотно печатал стихи Васильева, несмотря на жесткую критику, обвинявшую поэта в воспевании кулачества. Из-за этих обвинений не вышла подготовленная к печати книга стихов «Путь на Семиге», а «Песня о гибели казачьего войска» была снята из уже подписанного номера «Нового мира».

«Ты страшен проказы мордою львиной, вчерашнего дня дремучий быт, не раз я тобою был опрокинут и тяжкою лапой твоею бит... Я слышу, как ты, теряющий силу, за дверью роняешь плещущий шаг. Не знаю, как у собутыльников было, а у меня это было так: стоишь среди ковровотяжелых и вялых, и тут же рядом, рассевшись в ряд, глазища людей больших и малых встречаются и разбежаться спешат... И вроде как стыдновато немного, и вроде тебе здесь любой совсем не нужен. Но Ксения Павловна заводит шипящий от похоти патефон... И юбки, пахнувшие заграницей, веют, комнату бороздя, и Ксения Павловна тонколица, и багроволицы ее друзья... Она прижимается к этим близким и вверх поднимает стерляжий рот, и ходит стриженный по-английски на деревянных ногах фокстрот...»

Из поэм Васильева при его жизни были опубликованы только «Синицын и К» (1934), «Кулаки» и «Принц Фома» (1936), да отдельной книгой вышел «Соляной бунт» (1933). В общем, не удивительно, если заглянуть в стенограмму обсуждения, состоявшегося 3 апреля 1933 года в редакции «Нового Мира»:

«К. Зелинский: У нас может явиться вопрос: откуда явился Васильев? Почему на 16-ом году пролетарской революции, после ликвидации кулачества как класса, появляется такой поэт? Значит, не вся еще молодежь наша?... Я думаю, что это не случайно. Значит, пережитки капитализма еще налицо, еще сильны...»

«Е. Усиевич: Для того, чтобы Васильев мог сам перестроиться, чтобы его творчество не давало права наиболее реакционным элементам в нашей литературе и уповать, что он поднимет их поникшее знамя, для этого, прежде всего, Васильев должен понять не только то, что наша критика, наша общественность считает его чужаком, он должен осознать, чью идеологию выражает он. До сих пор мы не имели у Васильева ни сознания этого, ни, тем более, попытки убрать мосты, которые его связывали с этими людьми...»

Даже Гронский, несомненно, любивший поэмы Васильева и не раз ему самому помогавший, заявил на обсуждении:

«Если народ не знает поэта, если народ не поет его песен, – грош цена такому поэту... Вот если с этой точки зрения мы подойдем к творчеству всей группы так называемых крестьянских поэтов, то мы должны сказать, что эта группа совершенно напрасно, без всяких на то оснований, приклеивает к себе крестьянскую вывеску... Это не крестьянская, а кулацкая поэзия... Возьмите творчество Клюева, Клычкова и Павла Васильева за последние годы. Что из себя представляет это творчество? Каким социальным силам оно служило? Оно служило силам контрреволюции. Это резко, это грубо, но это правда... Можно ли переделать этих крестьянских поэтов? Стариков, мне думается, трудно будет переделать. Если бы они хотели служить прогрессу, то есть пролетарской революции, они давно бы это сделали. Да и трудно агитировать этих людей. Им можно лишь сказать: если хочешь сидеть в прошлом, сиди, сиди и жди того дня, когда твой народ забудет о тебе как художнике... Я думаю, что дело заключается в том, что в воспитании Васильева мы проявили некоторое благодушие, мы над ним не работали, а кое-кто другой над ним работал. И, предоставленный этим людям, Васильев развился не в сторону революции, а в сторону контрреволюции. Васильеву надо прямо сказать, что он сейчас пришел на некую грань: или он совершит прыжок в сторону революции, или он погибнет как художник...»

Все эти выступления сопровождались столь резкими (несомненно, заранее продуманными Гронским) выпадами в сторону близкого Васильеву поэта Сергея Клычкова, тоже присутствовавшего на обсуждении, что Васильев не выдержал давления. «Здесь говорили, – обозлился он, – что Клычков особенно на меня влиял, что я был у Клычкова на поводу, что я овечка. Достаточно сказать, что окраска моего творчества очень отличается от клычковской, а тем более от клюевской. Я сам хорош гусь в этом отношении... Вообще, если говорить о крестьянских поэтах, – а таковые все-таки существовали и существуют, – то надо сказать, что хотя Клычков и Клюев на меня не влияли, у нас во многих отношениях родная кровь. И все мы ребята такого сорта, на которых повлиять очень трудно. Это блестяще доказал Клычков, особенно Клюев... Тут – советское строительство, а с Клычкова, как с гуся вода... Мне грустно признаться, но советское строительство и на меня мало влияло... Разве Маяковский не пришел к революции, и разве Клюев не остался до сих пор ярким врагом революции?... Теперь выступать против революции и не выступать активно с революцией – это значит активно работать с фашистами, кулаками...»

Впрочем, никакие обсуждения, никакие обвинения изменить характер Васильева не могли. «В стране, – вспоминал А. Алдан-Семенов, – сажали и расстреливали „врагов народа“, дети печатали в газетах объявления, что отрекаются от отцов своих, а Павел говорил: „Ну и детки от первой пятилетки! Только и слышишь: каюсь да отрекаюсь. А я вот нарочно распустил слух про себя, что, дескать, сын степного прасола-миллионера, а

не учителя из Павлодара“. – „Зачем выдумывать басни во вред себе?“ – „В пику продажным душам! Когда предательство родного отца объясняют героизмом – это уже растление души. Противно“.

В 1934 году сразу в трех печатных органах («Правде», «Известиях», «Литературной газете») появилась известная статья Максима Горького «О литературных забавах». «Жалуются, что поэт Павел Васильев, – писал Горький, – хулиганит хуже, чем хулиганил Сергей Есенин. Но в то время, как одни порицают хулигана, – другие восхищаются его „кондовой мужицкой силищей“ и т. д. Но порицающие ничего не делают для того, чтобы обеззаразить свою среду от присутствия в ней хулигана, хотя ясно, что, если он действительно является заразным началом, его следует как-то изолировать. А те, которые восхищаются талантом П. Васильева, не делают никаких попыток, чтобы перевоспитать его. Вывод отсюда ясен: и те и другие одинаково социально пассивны, и те и другие по существу своему равнодушно „взирают“ на порчу литературных нравов, на отравление молодежи хулиганством, хотя от хулиганства до фашизма расстояние короче воробьиного носа...»

В той же статье Горький привел письмо некоего партийца, хорошо «ознакомившегося с писательской ячейкой комсомола». «Состав нашей ячейки в основном неплохой, – писал партиец. – Около сорока человек комсомольцев. Я уверен, что большинство ребят были неплохими комсомольцами производственниками до тех пор, пока положительные их качества (литературный талант, – говорим о людях, имеющих право на пребывание в литературных рядах) не привели их в недра горкома писателей... Первое, что бросается в глаза, – это недисциплинированность. Это отражается не только на выполнении нагрузок, хотя и по ним судить можно, но и на качестве литературной работы. Исчезает самодисциплина. Люди мало или совсем не работают, перестают учиться, страстно влюбляются в себя и верят в непобедимую силу таланта. Некультурность возводится порой в добродетель, ибо на фоне некультурности талант становится будто бы удивительнее... Я думаю, что основным дезорганизующим началом является отсутствие твердого заработка. Заработки „от случая к случаю“ формируют быт. В самом деле: я не успел еще проверить, но сделаю это непременно, – был ли быт пролетарской части молодых литераторов столь отвратительным, каким он становится с момента выхода их первых произведений и связанных с ним обстоятельств?... Несомненны чуждые влияния на самую талантливую часть литературной молодежи. Конкретно: на характеристике молодого поэта Яр. Смелякова все более и более отражаются личные качества поэта Павла Васильева. Нет ничего грязнее этого осколка буржуазно-литературной богемы. Политически (это не ново знающим творчество Павла Васильева) это враг. Но известно, что со Смеляковым, Долматовским и некоторыми другими молодыми поэтами Васильев дружен. И мне понятно, почему от Смелякова редко не пахнет водкой и в тоне Смелякова начинают доминировать нотки анархо-

индивидуалистической самовлюбленности... Васильев Павел, он бьет жену, пьянствует. Многое мной в отношении к нему проверяется, хотя облик его и ясен. Я пробовал поговорить с ним по поводу его отношения к жене. „Она меня любит, а я ее разлюбил... Удивляются все – она хорошенькая, а вот я ее разлюбил...“ Развинченные жесты, поступки и мысли двадцатилетнего неврастеника, тон наигранный...»

«Как только ни называли поэта, – вспоминал поэт С. Поделков, – и сыном кулака, и сыном есаула, и певцом кондового казачества, и все, что он создавал, объявлялось идейно порочным, враждебным, проникнутым реакционным, иногда прямо контрреволюционным смыслом. А он был на самом деле сыном учителя математики, внуком пильщика и прачки, служивших у павлодарского купца Дерова, и с любовью рисовал мощным поэтическим словом жизнь родного народа... Выбросил с балкона С. Алымов пуделя Фельку – собаку артиста Дикого, – приписали П. Васильеву. Написал Е. Забелин пессимистические стихи «Тюрьма, тюрьма, о камень камнем бей...» – автором объявили П. Васильева. Он любил до самозабвения С. Есенина, называл его «князем песни русския», знал почти наизусть четырехтомник знаменитого рязанца, боготворил его, учителя, и все равно А. Коваленков измыслил отрицательное отношение П. Васильева к творчеству С. Есенина и бесстыдно опубликовал клевету. Правда, он не был ангелом, но, если клеветают и травят, разве можно быть им?». Но дальше всех, пожалуй, пошел поэт Михаил Голодный, прямо написавший: «Будешь лежать ты, покрытый пылью, рукой прикрывая свой хитрый глаз. Таков закон у нас, Павел Васильев, кто не с нами, тот против нас...»

В январе 1935 года Васильева исключили из Союза писателей.

В июле того же года он был арестован – за пьяную драку с комсомольским поэтом Джеком Алтаузенем. «Поэт Шведов, – писала позже Вялова, – рассказал, что якобы „сам он не видел, но ему говорили о том, как Павел Васильев ходил по Москве с дубинкой и хвастался всем, показывая на ней запекшуюся кровь Джека Алтаузена“. Суд приговорил Васильева к трем годам заключения в ИТЛ, однако, благодаря неустанным хлопотам все того же Гронского, поэт досрочно был освобожден. В Бутырках он уже написал „Прощание с друзьями“, но оно пока не оказалось последним.

«На далеком, милом Севере меня ждут, обходят дозором высокие ограды, зажигают огни, избы метут, собираются гостя дорогого встретить, как надо... А как его надо – надо его весело: без песен, без смеха, чтоб ти-ихо было, чтобы только полено в печи потрескивало, а потом бы его полымем надвое разбило... Чтобы затейные начались беседы. Батюшки! Ночи-то в России до чего ж темны. Попрощайтесь, попрощайтесь, дорогие, со мной – и я еду собирать тяжелые слезы страны...»

Освободившись, Васильев действительно уехал в Сибирь.

«Кулака уничтожают как класс, – сказал он, уезжая, Поделкову. – А кому-то нужно уничтожить меня и мою поэзию. Упечь подальше. Обо мне кричат, что стихи мои чистая контрреволюция. Чтобы поставить к стенке – надо это хоть

чем-нибудь оправдать, хотя бы клеветническими измышлениями. Знаю, что я невыдержанный, порой на язык злой до невыносимости, особенно когда слышу о себе рассказы и обывательские легенды».

Похоже, Васильев все же недооценил развернувшиеся в стране события. После возвращения в Москву, 6 февраля 1937 года, его арестовали прямо на улице, когда он вышел из парикмахерской на Арбате. Подошли два человека, что-то сказали и втолкнули в стоявшую тут же машину.

В справке, послужившей основанием для ареста, указывалось: «Васильев Павел Николаевич, сын крупного кулака из Павлодара (Казахстан), беспартийный, поэт, в 1932 году арестовывался по делу группы литераторов и был условно приговорен к трем годам высылки. Период времени с 1932 по 1935 год отмечен целым рядом публичных скандалов, драк и дебошей, организованных Павлом Васильевым. За непристойное поведение, компрометирующее звание советского писателя, П. Васильев был исключен в 1935 году из членов Союза советских писателей. А в июне 1935 года нарсудом Краснопресненского района был приговорен к трем годам заключения за хулиганство. Освобожден досрочно в марте 1936 года. Четвертым отделом КУГБ НКВД СССР ликвидируется террористическая группа из среды писателей, связанных с контрреволюционной группой „правых“. Участники группы ставят перед собой цель совершить террористический акт против вождя ВКП(б) товарища Сталина. По делу арестован писатель Карпов М. Я., полностью признавший себя виновным в террористических намерениях и враждебности к ВКП(б) и показавший, что в контрреволюционную организацию его завербовал писатель Макаров. В дальнейшем, по показаниям Карпова, Макаров его осведомил о том, что организация „правых“ готовит совершение террористического акта против товарища Сталина и что Макаров завербовал в качестве исполнителя поэта Васильева Павла Николаевича...»

В разработку (как тогда говорили) Васильев попал к опытному следователю И. И. Илюшенко, который уже снимал с него допросы в 1932 году. Следователь прекрасно знал слабые места поэта, ему не составило труда сломать его. Скоро Васильев начал давать нужные показания. «В конце 1933 года, – рассказал он следователю, – меня встретил писатель Георгий Никифоров и пригласил меня к себе на квартиру. Придя к Никифорову, я увидел писателей: Новикова-Прибоя, Низового, Сейфуллину, Артема Веселого, Смирнова, Перегудова и еще несколько человек, фамилии которых я забыл. Когда я пришел, кто-то спросил: „А почему нет Правдухина?“ – у Сейфуллиной. Сейфуллина ответила: „Если узнают о нашем собрании, то мы легко отделаемся, если здесь будет Правдухин, ему не сдобровать“. После этого встал Никифоров и говорил, приблизительно, следующее: „Русских писателей угнетают. Литература находится в руках разных Габриловичей, Файвиловичей и других еврейских писателей. Все в руках евреев. Нам нужно противопоставить себя этому и выдвигать своих русских писателей и поэтов. Нам нужно захватить в свои руки какой-нибудь литературный журнал и через

него влиять на литературу, мы должны встречаться и обсуждать следующие вопросы: вот, например, Павла Васильева мы должны выдвинуть в качестве русского поэта, выступать все вместе за него, писать статьи о нем и о каждом из нас. Под видом статьи показать лицо русской литературы и спасти ее от еврейского засилья. В таком же духе высказался Артем Веселый и Сейфуллина при одобрении всех присутствующих...” – Не удивительно, что в обвинительном заключении, зачитанном поэту 13 июня 1937 года, говорилось: „Следствием установлено, что обвиняемый Васильев на протяжении ряда лет до ареста высказывал контрреволюционные фашистские взгляды. Будучи допрошен в качестве обвиняемого, Васильев полностью признал себя виновным в том, что дал согласие обвиняемому Макарову принять личное участие в совершении террористического акта против товарища Сталина“.

Пытаясь спасти жизнь, сломленный поэт написал письмо наркому внутренних дел Ежову: «Начиная с 1929 года, я, встав на литературный путь, с самого начала оказался среди врагов советской власти. Меня взяли под опеку и воспитывали контрреволюционные Клюев и Клычков, а затем антисоветская группа „Сибиряки“, руководимая Н. Ановым, и прочая антисоветская компания. Этот период отражен в материалах следствия по делу группы „Сибиряки“ и в последних моих допросах. Семь лет я был окружен антисоветской средой. Клюевы и Ановы изуродовали мне жизнь, сделали меня политически черной фигурой, пользуясь моим бескультурьем, моральной и политической неустойчивостью и пьянством. В 1934 году ряд литературных критиков во главе с И. Гронским прививали мне взгляды, что я единственный замечательный национальный поэт, а окружающие в бытовой и литературной обстановке враги соввласти А. Веселый, Наседкин и другие подхватывали это, прибавляя: „Да, поэт единственный и замечательный, но вместе с тем не оцененный, несправедливо затираемый советской общественностью, советской властью“. На почве этих разговоров пышно расцветали мои шовинистические и к/р настроения и я являлся в это время рупором врагов партии и правительства... Кроме того, в бытовом отношении я стал просто нетерпим как хулиган и дебошир. За один из своих пьяных скандалов (с Дж. Алтаузенем) я был посажен в тюрьму... ЦК ВКП(б) оказал мне величайшую честь, поверив моим обещаниям перестроить в корне мою жизнь и стать полноценным гражданином и писателем советской страны, и вернул мне свободу, возможность честно работать в литературе. Как я оправдал это доверие? Человеком, у которого я мог получить поддержку, как у моего родственника и литературного деятеля, был в моих глазах И. Гронский. Сразу же после освобождения я пошел к нему, рассказал ему про свое обещание в ЦК и просил его помочь мне на первых порах. Я сказал ему, что решил бросить пить и начать серьезно работать. Гронский сказал, что бросать пить вовсе не обязательно, что нужно пить в меру и в своей компании. На квартире Гронского происходили регулярные выпивки и я, живя с ним вместе, мало-помалу снова втянулся в пьянство. В меру пить я не

смог и стал ходить по кабакам, а на вечеринках у Гронского среди других в своей компании стал появляться печатавшийся в „Нов. Мире“ террорист и контрреволюционер И. Макаров. Мое пьянство повлекло за собой политическое разложение и рецидивы прежних моих настроений... Не буду подробно останавливаться на моем постепенном и быстром падении, на малодушестве и старании оправдать какими-нибудь объективными причинами это падение. С мужеством и прямоотой нужно сказать, что вместо того, чтобы положить в основу свое обещание ЦК заслужить честь и право называться гражданином СССР, я дожил до такого последнего позора, что шайка террористов наметила меня как оружие для выполнения своей террористической преступной деятельности. Своим поведением, всем своим морально-бытовым и политическим обликом я дал им право возлагать на меня свои надежды. Я выслушивал их контрреволюционные высказывания, повторял их вслед за ними и этим самым солидаризировался с врагами и террористами, оказывался у них в плену и таким образом предавал партию, которая вчера только протянула мне руку помощи и дала свободу. Тактика их по отношению ко мне, как теперь я вижу, заключалась в том, чтобы сначала исподволь, полегоньку, как бы случайно при встречах со мной проводить скользкие политические намеки, потом заходить все дальше и дальше в антисоветских разговорах. Восхвалять меня и одновременно незаметно подставлять мне черные очки, сквозь которые советская действительность видна только с их контрреволюционной точки зрения, и в конце концов окончательно прибрать меня к рукам. Однажды летом 1936 года мы с Макаровым сидели за столиком в ресторане. Он прямо спросил меня: „Пашка, ты не струсил пойдти на совершение террористического акта против Сталина?“ Я подленько и с готовностью ответил: „Я вообще никогда ничего не трушу, у меня духа хватит“. Я тогда не понял, что за этим разговором Макарова, так же, как и за всеми его контрреволюционными произведениями (как, например, его предложение мне написать поэму „Иосиф Неистовый“ – про Сталина, который „губит Россию“), скрывались не просто контрреволюционные настроения, а лишь внешние проявления законченного террориста. Теперь я с ужасом вижу, что был на краю гибели и своим морально-бытовым и политическим разложением сделался хорошей приманкой для врагов, примеривавшихся толкнуть меня на подлое дело – убийство наших вождей. Мне хочется многое сказать, но вместе с тем со стыдом ощущаю, что вследствие неоднократного обмана я не заслужил доверия, а мне сейчас больно и тяжело за загубленное политическими подлецами прошлое и все хорошее, что во мне было...»

Покаянное письмо спасти поэта уже не могло.

«Снегири <взлетают> красногруды, скоро ль, скоро ль на беду мою я увижу волчьи изумруды в нелюдимом, северном краю... Будем мы печальны, одиноки и пахучи, словно дикий мед, незаметно все приблизит сроки, седина нам кудри обовьет... Я скажу тогда тебе, подруга: „Дни летят, как на

ветру листья, хорошо, что мы нашли друг друга, в прежней жизни потерявши все...”

Никаких северных волчьих изумрудов Васильеву увидеть уже не удалось, – 15 или 16 июля 1937 года он был расстрелян.

Илья Львович Сельвинский

Родился 12 (24) октября 1899 года в Симферополе в семье меховщика.

Себя называл крымчаком. Что это за национальность? – заинтересовался однажды Маяковский. «Не знаю, – ответил поэт, – евреи называют крымчаков еврейскими цыганами, а Максимилиан Волошин, в общем неплохой этнограф, утверждает, что это потомки остготов, пришедших с Балтики и основавших на линии Судак – Балаклава пиратское государство; впоследствии остготы смешались с местным населением и дали две ветви: одна получила язык от татар, а веру от византийцев и стала называться мариупольскими греками, а другая также получила язык от татар, но веру обрела иудейскую от хазар и стала называться „крымчаками“. Они сродни „татам“ – горским евреям на Кавказе и некоторые именуют их крымскими евреями...»

После погромов, прокатившихся в 1905 году по югу России, семья Сельвинских на некоторое время нашла прибежище в Турции. Обучение Сельвинский начал в колледже Фрэров при французской католической миссии, и продолжил в арабской школе в Еды-Куле. «Детвора сидела на полу (у каждого своя циновка) и хором нараспев повторяла за учителем: „Алиф“, „Лам“, „Мим“. За плохое поведение здесь так же, как и в католическом колледже, били по руке линейкой, но за хорошее давали длиннющие мучные карамели в нарядных обертках с золотом и бахромой. Могло ли быть сомнение в том, что мусульманство явно слаще католицизма?».

В Евпатории, куда вернулись родители, Сельвинскому рано пришлось зарабатывать на жизнь. Выбор был: он плавал юнгой на каботажных судах, работал в газете, боролся в цирке, разгружал пароходы в порту, подрабатывал на сезонных сельскохозяйственных работах, качал воду в отель «Дюльбер», принадлежавший артисту Дуван-Торцову, любившему собирать у себя интеллигенцию города. «С семи утра до трех дня, одетый в робу из паруса № 7, – вспоминал Сельвинский, – я возился в мокром и полутемном подвале, время от времени выбегая на пляж, чтобы окунуться в море. Но затем, надев свой единственный штатский костюм с галстуком «фантази», я немедленно являлся на пятичасовой чай во второй этаж и проводил время в обществе артистов, литераторов, музыкантов, художников, искусствоведов. В среде этой утонченной интеллигенции формировались мои эстетические воззрения. Школой моей стал импрессионизм, сущностью – беспредельная преданность богу искусства. Воспитатели мои, перед которыми я благоговел, не признавали никаких законов, управляющих индивидуальностью, за исключением законов природы. Социально я принадлежал людям совершенной другой природы.

Жизнь бок о бок с людьми черного труда, взгляды этих людей, их симпатии и оценки воспитывали во мне стихийный демократизм и заставляли не раз задумываться над смыслом искусства, оторванного от народа...»

Летом 1919 года Сельвинский впервые прочел первый том «Капитала». Эта работа Маркса произвела на него такое впечатление, что к полученному от родителей имени он стал добавлять новое – Карл. Марксистское восприятие действительности стало для поэта естественным. К концу жизни оно возобладало над всем – даже над поэтическим чувством. «Я чую зов эпохи молодой не потому, что желторотым малым полгода просидел над „Капиталом“ и „Карла“ приписал в матрикул свой в честь гения с библейской бородой...»

Осенью 1919 года Сельвинский поступил в Таврический университет – на медицинский факультет. Но лекции слушал больше на филологическом, чем на медицинском. При немцах и при Врангеле дважды попадал в тюрьму – за помощь большевикам, зато осенью 1920 года, с приходом в Крым Красной армии, был сразу назначен заведующим Теа Унаробраза, а затем перевелся в Московский университет – на факультет общественных наук. «День, когда я вошел в Коммунистическую аудиторию, битком набитую людьми в шинелях, и увидел за кафедрой Луначарского, которого до того знал только по портретам, – день этот останется в моей памяти навеки. Анатолий Васильевич читал введение в „Социологию искусства“. Но это была не лекция – это был призыв! Гимн! Я почувствовал веянье истории. Запах эпохи как запах моря. Ничего подобного не ощущал я в Таврическом. Там профессор был в сущности живой книгой – ходячим томом в брюках и пиджаке; здесь же он вырастал в трибуна, знаменосца, учителя жизни. Слезы перехватили мне горло – и, сжав зубы, я поклялся себе, что стану поэтом революции!».

Действительно летом 1921 года на эстраде кафе Союза поэтов часто стал появляться необычного вида крепкий и задиристый молодой человек. «Одет он был в рубаху с короткими рукавами, заправленную в брюки, но и то и другое сшито из того паруса, который идет на кливера рыбацких баркасов. На ногах у него были деревянные сандалии явно собственной работы. Парус торчал на юноше так, что его и без того атлетические плечи казались карикатурными по ширине и занимали добрую половину эстрады. Приводили все это в некоторый стиль золотой загар и римская челка. Для Москвы периода нэпа все это выглядело вопиющим анахронизмом, так как едва ли кто-нибудь из присутствующих понимал, что экстравагантность молодого человека объяснялась полным отсутствием мануфактуры и обуви в Крыму, откуда он прибыл...»

«Я знаю женщину: блестяща и остра, как лезвие имеретинской шашки, она уклончива, капризна и пестра, как легкий крапат карточной рубашки... В ней страсть изменчива, привязанность редка, и жесты обольстительны и лишни! Она испорчена, но все-таки сладка, как воробьем надклеванные вишни...»

По прочтенным на память стихам Сельвинский был принят в Союз поэтов. Маяковский, присутствовавший на чтении, загадочно промолчал, – его

молчание было засчитано как одобрительное. Сам же Сельвинский, закончив факультет общественных наук, отправился в Киргизию на заготовку суслика. Бывая по делам службы в разных краях страны, он внимательно всматриваясь в происходящее, искал форму, способную выразить переполнявшие его чувства. «Вглядываясь в эпоху, – писал он позже, – я понял, что только революционная волна вздымает такие характеры, которые требуют для своего воплощения жанра эпической и драматической поэзии. Если народ на подъеме – возникает в литературе эпос и трагедия; спад народного взлета разбивает эпические айсберги на лирические сосульки. Октябрьская революция властно потребовала эпоса и трагедии, но на этот призыв истории нельзя было ответить только простым возрождением большой формы. Требовалось открытие каких-то новых изобразительных средств. Прежде всего поэзия должна была открыть новую интонацию повествования, пригодную для изображения типов самых различных социальных групп. Нужен был такой тембр стиха, который, обладая убедительностью рассказа, в то же время создавал бы ощущение достоверности при возникновении диалога и массовых сцен...»

Эти размышления привели поэта к конструктивизму. Основные принципы нового литературного направления были сформулированы в Программе, подписанной в 1924 году самим Сельвинским, А. Чичериным и Ольгой Чичаговой. Программа объявляла все существующее современное искусство пассивным. Только конструктивист может, говорилось в ней, «разрушив изнутри старые мещанские устои, организовать новые формы бытия через воспитание нового конструктивного человека». Уже осенью 1924 года в объединении конструктивистов, получившем название ЛЦК (Литературный центр конструктивистов) собрались такие разные поэты и теоретики как Б. Агапов, Е. Габрилович, К. Зелинский, В. Инбер, Н. Панов, А. Аксенов, А. Квятковский, В. Луговской, Г. Гаузнер, Н. Адуев; позже ЛЦК пополнился Э. Багрицким, Н. Ушаковым, Н. Огневым.

«О конструктивистах написано много, – вспоминал позже Габрилович, – и многие уверяют, что их связывала общая теоретическая программа, „тактовая просодия“, „локальный прием“ и т. д. Я уверен, что это совсем не так. Не связывали нас и наши обильные декларации. Каждый писал по-своему, и уже потом наши главари разъясняли, в чем и как тут конструктивизм. Конечно, я был очень малым из конструктивистов, из незаметных, но все же берусь утверждать, что никто из них (даже нередко Сельвинский) не руководствовался в своей практике теориями. Мы их отстаивали вплоть до словесных или даже физических схваток в Политехничке, но над листом бумаги каждый вел себя по себе. И чувствовал слово, пейзаж, строку, человека, историю – по себе...»

Главной силой в конструктивизме был И. Л. Сельвинский. Этот молодой человек с черточкой усов над губой шел от словесной эквилибристики к реализму, к народу, не поступаясь ничем из того, что было его стихом, стихией и мастерством. Всю жизнь его бранили за сложность, но он не

поступился своей сложностью. Он сложно строил, сложно рассказывал, сложно раздумывал, и там, где другие говорили о революции легко, привычно и просто, он в рассказе о ней словно бы выворачивал собой дубы. Я не скажу, что он был скромн, но, по правде сказать, для меня сейчас ясно, что уже в те годы он был одним из самых наших больших поэтов-монументалистов. Монументалистом не иллюстраций, монументалистом в походе характеров и страстей... Самонадеян (и очень!) он был, как мне думается, только внешней, так сказать, освещенной своей стороной. Он часто читал свои вещи у себя на мансарде, на конструктивистских собраниях. Читал огромным, сверкающим голосом, тараня пространство грудью, взором и кулаками. Но вот окончено чтение и Илья-Карл глядит вокруг ожидающими, неверными глазами, и вопрошающа его грудь, и вопрошающи кулаки. И весь он, таранивший и сверкавший, становится смирным, и кротким, и медленным, и беззвучным, и ждущим оценки, и страшно ранимым – и это вторая, неосвещенная его сторона...»

Названия сборников, выпускаемых конструктивистами, всегда были «говорящими»: «Мена всех» (1924), «Госплан литературы» (1925), «Рекорды» (1926), «Декларация прав поэта» (1933). «К хорошо изданной книге („Госплан литературы“), – с присущим ему юмором отмечал Шкловский, – приложена газета „Известия ЛЦК“. Если позволят средства, то мы, вероятно, увидим и „Правду“ ЛЦК. Все зависит от урожая. Газета вся целиком повторяет все обычные приемы общих газет, имитируя отделы и тезисы. Начинается со статьи „Пора подумать о качестве“. Над статьей тезис из Калинина: „Всякая организационная работа есть, по существу говоря, и работа политическая“. Сказано не про конструктивистов...» И дальше: «Сельвинский изменил русский стих. Он нашел в нем новый закон принуждения – темп. Стих его основан на быстротах произнесения фразы. Сельвинский течет талантом, как распоротая сбоку пожарная труба, он всовывает в самые неподходящие места блестящие мысли, по три раза разламывая основную линию. Книга „Госплан литературы“ состоит из Сельвинского и его попутчиков...»

В статье «Кодекс конструктивизма» Сельвинский так сформулировал основные теоретические положения созданного им литературного направления:

«Организация сюжета у конструктивистов прошла все стадии.

а) Прежде всего нами найден сюжетный примитив, давший наиболее острую форму – анекдот. Примером может служить «Анекдот» о мальчике, рискованный сюжет которого, облагороженный поэзией, невозможен в прозаическом изложении. Сюда же относится «Рапорт», где излагается случай с расстрелянным и похороненным белогвардейским ротмистром, оказавшимся живым и подающим прошение с просьбой окончательного дострела.

б) Дальнейшим шагом в этом направлении послужила новелла, представляющая собой разрешение анекдота, что конечно не обязывает ее

носить юмористический характер. Сюжетная пружина занимает в новелле положение острого поэтического стержня, разветвленного дополнительными средствами, которые совершенно излишни для анекдота. Новеллы получили в практике конструктивистов широкое развитие. Так, новеллы «Мотъкэ-Малхамовес» и «Бульдог Буис» построены на принципе обратных концовок или концовок с блефом. В первой бандит Малхамовес грабит ювелирный магазин, угрожая бомбой, оказавшейся свекловицей, во второй новелле – преданный и умный пес неожиданно врывается в объятия любовников, уверенный, что защищает свою госпожу от грабителя...» И дальше: «Кто-то из московских критиков превосходно сказал о конструктивизме: в их поэзии располагаешься с беллетристическим комфортом. Действительно здесь прекрасно характеризуются те задачи, которые ставятся нами в плане использования методов прозы. Основная линия прозы, которую мы стараемся усвоить, это – психологизм, проведенный на натуралистических деталях. Дубль-реализм (новое название метода) стремится по возможности характеризовать людей путем их привычек, мировоззрения, интонации, даже наружности, накапливая детали, из черточек которых создается очертание персонажей...» На практике все это выглядело так («Записки поэта»):

...Это явление называлось поэт Арго.

Оно подошло и заявило: «В русской поэзии

Мною открыта парочка пушкинских классиков,

Скрывшая под поповскую витиеватость

Свои кошерно еврейские имена». —

«Кто ж это? Кто?» – «Беня Диктов и Веня Витинов».

Галинский однако уже примостился в углу,

Где вместе с поэтом, носившим имя А. Пушкин,

(Произносимое несколько тише – Апушкин),

Играли локальной системой конструктивистов:

«Если бы некий город звался Дурацком,

То там губернатором был бы пожалуй Дуркевич,

А земский начальник Дур-Дурищев» – «Допустим.

Тогда полицмейстер имел бы фамилию Дурындов».

«А доктор?» – «О, доктор, естественно, М. Я. Придуркер».

«Нет, лучше Дурацкер, тогда учитель словесности

Будет Модест Виссарьонович Придурковатый».

«А в это болото с бандой кубанских коней

Врывается знаменитый Евграф Дура».

Подошла Хабиас, которая папашу-коммерсанта

Называла: «Мой автор». За ней подошел Шишов,

Бессмертный индейским титулом «Сложная Рифма»;

Раскурив улыбки, ответственейший коммунист

Протискался с почти обнаженной супругой.

О нем говорили, что он, боясь ЦКК,

Набирал жене не более метра на платье.
Наконец, подошла и села черная кошка,
Которую из чести к великой мамаше бара
Именовали не иначе как «мадам Кац».
А за гущей рифмэтров, критиков и любопытных
В далеком углу кого-то сосредоточенно били.
Я побледнел: оказывается так надо —
Поэту Есенину делают биографию...

В 1924 году Сельвинский закончил поэму «Улялаевщина». Отдельной книгой она вышла в свет через три года, поразив критиков и читателей необыкновенными образами и ритмами. Успех был грандиозный: об «Улялаевщине» много и по-разному писали все газеты и журналы.

«Конница подцокивала прямо по дороге, разведка рассыпалась ще за две версты. Волы та верблюды, мажарины та дроги, пшеничные подухи, тюки холстин... Из клеток щипались раскормленные гуси, бугайская мычь, поросячье хрю. Лязгает бунчук – податаманиха Маруся в николаевской шинели с пузырями брюк...Гармоники наяривали „Яблочко“, „Маруху“, бубенчики, глухарики, язык на дуге. Ленты подплясывали от парного духа, пота, махорки, свиста – эгей... А в самой середке, оплясанный стаей заёрницких бандитщиков из лучшего дерьма, ездит сам батько Улялаев на черной машине дарма... Улялаев був такий: выверчено віко, дірка в подбородце тай в ухі серга. Зроду нэ бачено такого чоловіка, як той батька Улялаев Серга...»

Утверждая принципы конструктивизма, Сельвинский вел самую ожесточенную полемику с Маяковским, он полностью отрицал значение Демьяна Бедного, считая работу и того и другого поэта чисто утилитарной агиткой. Только после самоубийства Маяковского, в «Декларации прав поэта» Сельвинский несколько пересмотрел свои взгляды. «Некоторые критики оспаривали мою строку «Я принимаю твое наследство», – писал он, – заявляя, что наследником Маяковского является вся молодая поэзия в целом, а не тот или другой поэт персонально. Критики эти наивно отождествляли литературное наследье с наследьем имущественным. Но литературное наследство не пара брюк, в которые может влезть только один человек, да и самое выражение «принимаю» носит в поэзии не буквальный, а философический смысл. Вспомним хотя бы Блока: «Узнаю тебя, жизнь! Принимаю и приветствую звоном щита!» Критика и при Блоке была неважной, но она по крайней мере не заявляла ему, что жизнь принадлежит всему живущему человечеству, а не тому или другому человеку персонально. «Принятие» мной наследства Маяковского означает для меня признание ошибки, заключавшейся в недооценке роли агитки как жанра, призванного преимущественно формулировать идеи. Ошибка Маяковского выражалась в обратном: он недооценивал роли эпоса и драматической поэзии, т. е. жанров, призванных преимущественно изображать людей в их

взаимоотношениях. Расширяя плацдарм своих поэтических возможностей за счет агитационного жанра, я тем самым исправляю свою ошибку, отстаивая огромное, все возрастающее, первенствующее значение эпоса и поэтической прозы, поднимающих поэзию до авторитета прозы...»

Неустанно экспериментируя, Сельвинский создал стих, названный им тактовиком. Стих этот строился на особой системе ритмических пауз, нередко отмечавшихся в тексте знаками – «эста», «эс», а иногда целым словом «вдох»; их следовало принимать во внимание при чтении, но ни в коем случае не произносить вслух. «Тактовый стих богаче всех других просодий, потому что может включать их в себя, – писал Сельвинский. – Он гибче, разнообразнее и шире. Цыганские песни с пляской и перебором струн укладываются в берега тактовой просодии, также и разговорная речь, газетная передовица и деловая корреспонденция...»

В 1929 году вышла в свет поэма Сельвинского «Пушторг» – стопроцентно конструктивистская поэма: всевозможные цифровые данные, выкладки и расчеты пушного экспорта соседствовали в тексте поэмы с нарочито усложненным речевым и ритмическим орнаментом.

«У-у-у-уу... У-у? – у... Метелица... Дым...

Белая медведь. Серое море.

Как осьминоги, как медузы по клыкам скал,

Полярные луны переливают лунами.

Белая медведь под пургуу вылазит,

Белая медведь суо нъеми пурга,

У ней мех обледенел сосцами на брюхе

И такой голубой, как в сиянии небо.

Белая медведь кой ден голодует,

Только продух тюлений не чернеет во льдах,

Только нетуу белухи и песец упрятался,

А на отмелях пена да морская капуста.

Белая медведь на большой льдине,

Ничего не пахнет, хотя нос мокрый.

Паай паай льдина.

Кэди саари вурунга.

Белая медведь. Серое море».

«Реализм берет жизнь такую, какой она дана, – писал Сельвинский. – Дубль-реализм (метод, предлагаемый конструктивизмом), напротив, берет из жизни только характерное, только типичное по своей исключительности. Дубль-реализм по самому существу своему не имеет собственного языка, как не имеет его человек, владеющий всеми языками и практически пользующийся ими в соответствующих странах...»

Увязывая поэтическую теорию с практикой, Сельвинский всегда старался сам увидеть то, о чем ему хотелось написать. В начале тридцатых годов он работал сварщиком на Электрозаводе (выпустив позже «Электрозаводскую

газету»), работал уполномоченным от Союзпушнины на Камчатке, а в 1933 году принял участие в походе ледокольного парохода «Челюскин» – корреспондентом от газеты «Правда». «Илья Сельвинский великолепно описал тигра, – восхищался „Тихоокеанскими стихами“ Юрий Олеша. – Морда тигра у него и „золотая“, и „жаркая“, и „усатая, как Солнце“. Он говорит о тигре, что он за лето выгорел „в оранжевый“, что он „расписан чернью“, что он „по золоту сед“, что он спускался – „по горам... драконом, покинувшим храм“ и „хребтом повторяя горный хребет“. Описывая, как идет тигра, Сельвинский говорит, что он шел „рябься от ветра, ленивый, как знамя“; шел „военным шагом“ – „все плечо выдвигая вперед“ ... „Ленивый, как знамя“, это блистательно, в силу Данте...»

В 1933 году вышла стихотворная пьеса Сельвинского «Умка – Белый Медведь». К этой работе тематически примыкала «Челюскиниана», отрывки из которой были напечатаны в периодике. «Когда меня спрашивают, о чем я пишу, мне всегда хочется ответить: „О смысле жизни“, – объяснял поэт эти свои работы. – Чукчами я интересовался с детства. В то время как мои сверстники бредили индейцами и, воткнув в волосы куриные перья, швыряли друг в друга „томагавки“, я воображал себя звероловом Арктики и играл только в охоту. Моим партнером в игре был мой отец – меховщик, который охотно изображал американскую факторию. Он разрешал мне брать шкуры полярных зверей, с тем, однако, чтобы, придя к нему „понарошку“, я сдавал меха в сортированном виде, „по-взаправдашному“. Благодаря такой игре я в 10–12 лет безошибочно сортировал песцов на порники, синяки, крестоватики, недопески, знал, что белый медведь разделяется на желтую и голубую „расы“, и никогда бы не спутал морского зайца с тюленем, а тюленя с зеленцем. Но сами по себе звери интересовали меня в последнюю очередь. Основным в моей игре были чукчи – загадочный народ, живущий у побережья Ледовитого океана, на самой дальней оконечности географической карты, настолько дальней, что, казалось, будто этой земли и на свете нет...

В 1932 году я был командирован на Камчатку в качестве уполномоченного Союзпушнины. Здесь, в самом сердце камчатских гор и вулканов, мне довелось подружиться с ламутами. Я принимал участие в их национальных празднествах, ходил с ними на медвежью охоту, удостоился даже звания «Друг ламутского народа», но интересовали меня по-прежнему чукчи. Может быть потому, что они были моим детством. Во всяком случае, сознание, что тут же рядом, только шагнуть через Охотское море, – Чукотка, необычайно волновало меня. Я выпытывал у ламутов все, что им известно о чукчах, об их характере, обычаях и нравах, и по возвращении в Москву стал писать драматическую пьесу о чукчах. Закончена пьеса была на борту «Челюскина», где я выполнял обязанности специального корреспондента «Правды». Первое чтение состоялось в Чукотском море. Здесь в элегантной кают-компании, блиставшей лампионами и зеркалами, под переливами северного сияния, полыхавшего в окнах, меня слушали Шмидт, Кренкель,

Ширшов, Трояновский, Решетников, бывавшие уже на Чукотке во время экспедиции «Сибирякова», супруги Комовы, жившие на Чаунской губе и знавшие чукотский язык, и многие другие, среди которых были неплохие чукотоведы. Но сам я по-прежнему чукчей еще не видел...

Как известно, «Челюскину» не суждено было достигнуть пролива. Как раз за сутки он вмерз в льдину и застрял у необитаемого острова Колючин. Здесь-то после двух недель вынужденной стоянки к нам прибыли гости. Они пришли с далекого, невидимого берега на четырех собачьих упряжках – и сразу вся Арктика заполнилась музыкой собачьих голосов (полярные псы не воют, не лают, а... поют). Гости эти были чукчи. Они оказались точно такими, какими я себе их представлял. Я уже знал десяток-другой чукотских слов и спрашивал каждого и всякого, не зовут ли его Умкой. Но Умок среди них не было. Зато, когда я, указав на льдину, спросил: «Что это такое?» – и самый молодой, почти мальчик, очень звонко и мелодично ответил: «Тинь-тинь», у меня дрогнуло сердце: ничего не подозревая, чукча произнес имя одной из героинь моей пьесы...

На следующий день О. Ю. Шмидт отправил на Уэлен разведку из восьми человек. В ту разведку был включен и я. Восемь русских и четверо чукчей, мы двинулись в путь на собаках и, пройдя 100 километров по льдам океана и 300 по замерзшей тундре, через 11 дней поднялись на мыс Дежнева. В течение всего этого пути, от Колючинской губы до бухты Лаврентия, не было ни одной яранги, где бы я не побывал, ни одной чукотской семьи, с которой бы я не познакомился. По сути дела это была проверка жизнью образов моей поэмы...»

В канун Отечественной войны Сельвинский выпустил в свет исторические трагедии «Рыцарь Иоанн» – об Иване Болотникове, и «Бабек» («Орла на плече носящий») – о пастухе, возглавившем в IX веке народное восстание, вспыхнувшее на территории Азербайджана. Много сил отдавал Сельвинский своему семинару в Литературном институте. Учениками его были Михаил Кульчицкий, Павел Коган, Сергей Наровчатов, Борис Слуцкий, Давид Самойлов.

В 1941 году вступил в КПСС. Корреспондентом газет «Сын отечества» и «Вперед к победе!» объездил фронты – Крымский, Кавказский, 2-ом Прибалтийский. Был ранен и контужен. «Что же произошло со мною на фронте? – размышлял поэт на одной из встреч в редакции. – Произошло то, к чему я созрел раньше. В начале революции, когда Маяковский мог запросто разговаривать с пролетариатом, я был недостаточно к такому разговору подготовлен. Когда же я созрел, как поэтический организм, мне уже было неудобно разговаривать с пролетариатом, с народом так запросто, потому что все понимали, что я бывший конструктивист и за мной тянулось это прошлое. Я давно с конструктивизмом покончил, но долго после этого получал отголоски, что я конструктивист, что у меня прошлое сугубо интеллигентское. Я думал, что если начну разговаривать с пролетариатом запросто, в этом увидят приспособленчество. Поэтому я не мог этого сделать.

Фронт дал мне право разговаривать во всю ширь своего голоса с самым большим собеседником – с народом».

В годы войны Сельвинский начал, как он считал, главный труд своей жизни – трилогию «Россия», которую со временем составили трагедии – «Ливонская война», героем которой был русский пушкарь и литейщик Андрей Чохов; «От Полтавы до Гангута», утверждающей идею русской державности; наконец, «Большой Кирилл», в которой потомок Чохова, профессиональный революционер, действовал рядом с вождем революции. Над трилогией Сельвинский работал почти шестнадцать лет. Он хотел доказать, что истинным двигателем исторического процесса всегда были вовсе не знаменитые цари и полководцы, а народная масса, самые талантливые ее представители. Доказательство получилось, но, скажем так, несколько громоздкое...

В 50-е годы отдельными книгами вышли в свет философская трагедия «Читая Фауста» и пьеса «Человек выше своей судьбы» – о В. И. Ленине. «Мы очень изменились за последнее десятилетие (1940–1950), – писал Сельвинский. – Иногда, перечитывая собственные стихи, написанные четверть века назад, испытываешь такое чувство, точно читаешь кого-то другого, хорошо, впрочем, тебе известного автора, с которым далеко не во всем согласен». Это чувство, беспокоившее поэта, привело к тому, что Сельвинский активно (как некогда Андрей Белый) начал переписывать свои ранние вещи – в сторону максимального усиления их партийности. К сожалению, это не пошло на пользу его поэмам... Одновременно поэт активно отвергал попытки западных издателей представлять его, в основном, именно ранними вещами. «Было время, когда мне приходилось туго, – писал он в мае 1958 года в „Литературной газете“. – Причин для этого было много. Основная восходит к моей юности, когда я увлекался анархизмом и числился даже в анархическом отряде. Впоследствии вступил я в Красную гвардию, сражался в ее рядах, окончил красный университет, но неумение обуздывать свои чувства еще долго сказывалось в моем творчестве, а это неумение я считал высшим проявлением своей поэтической природы. В то же время малейшее критическое замечание воспринимал я с бурным негодованием. Поэтому в минуты отчаяния писал я отчаянные стихи, которые приносили мне новый повод для отчаянья. В партии это понимали и хотя подвергали мои „завихрения“ суровой критике, но падал я всегда на теплые, заботливые руки. Подлинные отношения между партией и литературой ничего общего не имеют с тем, что представляют себе зарубежные начальники нашего „горя“. Правда, в ответ на это указанные начальники возразят, что, мол, за эти заботы вы расплачиваетесь вмешательством в ваше творчество.

Кстати, о вмешательстве. Вот список основных моих поэм и трагедий за тридцать с лишним лет: «Рысь», «Улялаевщина», «Записки поэта», «Пушторг», «Командарм-2», «Пао-Пао», «Умка Белый медведь», «Рыцарь Иоанн», «Ливонская война», «Читая Фауста», «От Полтавы до Гангута»,

«Большой Кирилл», «Арктика». Если вы так хорошо знаете наше творчество, что столь категорически судите о подъеме и упадке советской поэзии, скажите: какое из этих произведений является жертвой «партийного вмешательства»? Я имею в виду не философию ленинизма, а то самое прямое вмешательство в ткань и в образы нашей поэзии со стороны руководителей литературной политики, о котором вы так много говорите. Я утверждаю, что каждая моя вещь до такой степени для меня органична, что малейшее вмешательство извне было бы сразу заметно, как нечто невыносимо чужеродное! Короче говоря – рассказы о вмешательстве партии в работу поэта столь же нелепы, как уверения в том, будто в стране социализма существует общность жен. Нет, партия не водит нашим пером, но она оставляет за собой право критики, а этого права вы, господа, не можете лишить даже вашу официозную прессу, хотя полагаете, будто литература отделена у нас от государства. Я не хочу создать впечатление, будто в нашей литературной общественности царит сплошная идиллия, – боже упаси! Но одно остается неизменным: стремление партии сделать наше искусство как можно выше, идейнее, народнее. Партия зорко следит за тем, чтобы искусство не скатывалось к мещанству, пустой развлекательности, вагонному чтиву, чтобы талант не разменивался на мелочи. В советском обществе ярко одаренный поэт становится великим, ибо нет величия без окрыленности, а крылья поэту дает великая идея...»

«Мы, когда монархии (помните?) бабахали, только-только подрастали среди всяких „но“, и нервы наши без жиров и без сахара лущились сухоткой, обнажаясь, как нож... Мы не знали отрочества, как у Чарской в книжках, – маленькие лобики морщили в чело, и шли мы по школам в заплатанных штанишках, хромя от рубцов перештопанных чулок... Так, по училищам, наливаясь желчью, с траурными тенями в каждом ребре, плотно перло племя наших полчищ с глухими голосами, будто волчий брех... И едва успев прослышать марксизм, лишенные классового костяка, мы рванулись в дым, по степям, по сизым, стихийной верой своей истекать... Мы путались в тонких системах партий, мы шли за Лениным, Керенским, Махно, отчаивались, возвращались за парты, чтоб снова кипеть, если знамя взмахнет...»

«Новаторство, будучи признанным, становится традицией», уверенно, но и не без горечи записал Сельвинский в дневнике.

Умер 22 марта 1968 года в Москве.

Николай Алексеевич Заболоцкий

Родился 24 (7. V) апреля 1903 года на ферме под Казанью.

В 1910 году отец получил место агронома в селе Сернур Уржумского уезда Вятской губернии. «Мои первые неизгладимые впечатления природы, – писал позже Заболоцкий, – связаны с этими местами. Вдоволь наслушался я там соловьев, вдоволь насмотрелся закатов и всей целомудренной прелести растительного мира. Свою сознательную жизнь я почти полностью прожил в

больших городах, но чудесная природа Сернура никогда не умирала в моей душе и отобразилась во многих моих стихотворениях...»

В 1913 году, окончив три класса сельской школы, поступил в Уржумское реальное училище, – не самое плохое по тем временам, с кабинетами физики и химии, даже с классом для рисования. «Первые годы революции встретил 14-15-летним мальчиком. В городе (Уржуме) появилось много новой интеллигенции. Были и столичные люди – музыканты, учителя, актеры. Некоторые из них поощряли мои литературные опыты, советовали больше работать, ехать в центр. Намерение сделаться писателем окрепло во мне. Весной 1920 года я окончил школу и осенью приехал в Москву, где был принят на 1-й курс историко-филологического факультета 1-го Московского университета. Однако устроиться в Москве мне не удалось, и в августе 1921 года я уехал в Ленинград и поступил в Педагогический институт им. Герцена на отделение языка и литературы. Жил в студенческом общежитии. Много писал, подражая то Маяковскому, то Блоку, то Есенину. Собственного голоса не находил. Считался способным студентом и одно время даже думал посвятить себя всецело науке, но привязанность к поэзии оказалась сильнее. В 1925 году окончил институт. За моей душой была объемистая тетрадь плохих стихов, все имущество легко укладывалось в маленькую корзинку. В 1926 году призван в армию. Воинскую службу отбывал в Ленинграде, на Выборгской стороне, в команде краткосрочников 59-го стрелкового полка 20-й пехотной дивизии. Наша большая стенгазета, в редакцию которой я входил, считалась лучшей стенгазетой в округе. В 1927 году я сдал экзамены на командира взвода и был уволен в запас...»

Теперь Заболоцкий отправился в Москву. Литературная жизнь там кипела. Заболоцкий исправно посещал поэтические кафе, бывал на многих литературных диспутах и вечерах в Политехническом музее, слышал Брюсова, Маяковского, Гастева. К этому времени он ушел от влияний, более того, – теперь он начисто отвергал нравившихся раньше Пастернака, Ахматову, Мандельштама. Все это бормотание, а не стихи, утверждал он, а в искусстве надо говорить совершенно определенные вещи. Поэзией прошлого считал он и поэзию Блока, поэзию символистов. Только Хлебников переживет поэтов двадцатого века, даже таких популярных, как Есенин. Что же касается общих интересов самого Заболоцкого, то (после очередного переезда в Ленинград) он так на это ответил: «Архитектура, правила для больших сооружений. Изображение мыслей в виде условного расположения предметов и частей их. Практика религий по перечисленным вещам. Стихи. Разные простые явления – драка, обед, танцы. Мясо и тесто. Водка и пиво. Народная астрономия. Народные числа. Сон. Положения и фигуры революции. Северные народности. Музыка, ее архитектура, фуги. Строение картин природы. Домашние животные. Звери и насекомые. Птицы. Доброта – Красота – Истина. Фигуры и положения при военных действиях. Смерть. Книга, как ее создать. Буквы, знаки, цифры. Кимвалы. Корабли». Тогда же, прочтя книгу астронома Джеймса Джинса «Вселенная вокруг нас», заметил с

присущей ему конкретностью и рассудительностью: «Книга Джинса мрачная, не дающая ни на что ответа. Поражает страшная пустота Вселенной, исключительность материи, еще большая исключительность планетных систем и почти полная невозможность жизни. Все – астрономическое – случайность, притом невероятная. Чрезмерно неуютная вселенность. Но посмотрите на интересный чертеж в книге – распределение шаровых скоплений звезд в плоскости Млечного Пути. Не правда ли, эти точки слагаются в человеческую фигуру? И солнце не в центре ее, а на половом органе, Земля точно семя вселенной Млечного Пути...»

Среди особенно поразивших его книг Заболоцкий называл «Диалектику природы» Энгельса. С огромным тщанием вчитывался в строки философских работ К. Э. Циолковского, даже вступил с ним в переписку. Все это, разумеется, сказалось и на поэтическом развитии Заболоцкого. В Ленинграде он сразу сошелся с обэриутами – молодыми писателями, создавшими «Объединение реального творчества». Входили в указанное объединение А. Введенский, Ю. Владимиров, Д. Хармс, Н. Олейников, примыкал к ним К. Вагинов. Декларация обэриутов предполагала не просто развитие поэтического языка, а неустанное интуитивное постижение мира, тщательное разложение его на составные элементы.

«Заболоцкий был румяный блондин среднего роста, склонный к полноте, – вспоминал Николай Чуковский, – с круглым лицом, в очках, с мягкими пухлыми губами. Крутой северорусский говорок оставался у него всю жизнь, но особенно заметен был в юности. Манеры у него смолоду были степенные, даже важные. Впоследствии я даже как-то сказал ему, что у него есть врожденный талант важности – талант, необходимый в жизни и избавляющий человека от многих напрасных унижений. Сам я этого таланта был начисто лишен, всегда завидовал людям, которые им обладали, и, быть может, поэтому так рано подметил его в Заболоцком. Странно было видеть такого степенного человека с важными медлительными интонациями басового голоса в беспардонном кругу обэриутов – Хармса, Введенского, Олейникова. Нужно было лучше знать его, чем знал его тогда я, чтобы понять, что важность эта картонная, бутафорская, прикрывающая целый вулкан озорного юмора, почти не отражающегося на его лице и лишь иногда зажигающего стекла очков особым блеском...»

В Ленинграде Заболоцкий выпустил несколько прозаических книжек для детей, сотрудничал в журналах «Еж» и «Чиж», под псевдонимом Я. Миллер издал книжку «Таинственный город» – переработку английских записок о Лхассе. И, разумеется, писал стихи.

Там же, в Ленинграде, он и женился.

«Это была, прямо говоря, одна из лучших женщин, которых встречал я в жизни, – писал об Екатерине Васильевне, жене Заболоцкого, Евгений Шварц. – Познакомился я с ней в конце двадцатых годов, когда Заболоцкий угрюмо и вместе с тем как бы и торжественно, а во всяком случае солидно сообщил нам, что женился. Жили они на Петроградской, улицу забыл, кажется, на

Большой Зелениной. Комнату снимали у хозяйки квартиры – тогда этот институт еще не вывелся. И мебель была хозяйкина. И особенно понравился мне висячий шкафчик красного дерева, со стеклянной дверцей. Второй, похожий, висел в коридоре. Немножко другого рисунка. Принимал нас Заболоцкий солидно, а вместе и весело, и Катерина Васильевна улыбалась нам, в разговоры не вмешивалась. Напомнила она мне бестужевскую курсистку. Темное платье. Худенькая. Глаза темные. И очень простая. И очень скромная. Впечатление произвела настолько благоприятное, что на всем длинном пути домой ни Хармс, ни Олейников (весьма острые на язык) ни слова о ней не сказали. Так мы и привыкли к тому, что Заболоцкий женат. Однажды, уже в тридцатых годах, сидели мы в так называемой „культурной пивной“ на углу канала Грибоедова, против Дома книги. И Николай Алексеевич спросил торжественно и солидно, как мы считаем, – зачем человек обзаводится детьми? Не помню, что я ответил ему. Николай Макарович (Олейников) промолчал загадочно. Выслушав мой ответ, Николай Алексеевич покачал головой многозначительно и ответил: „Не в том суть. А в том, что не нами это заведено, не нами и кончится“. А когда вышли мы из пивной и Заболоцкий сел в трамвай, Николай Макарович спросил меня: как я думаю, – почему задал Николай Алексеевич вопрос о детях? Я не мог догадаться. И Николай Макарович объяснил мне: у них будет ребенок, вот почему завел он этот разговор. И, как всегда, оказался Николай Макарович прав. Через положенное время родился у Заболоцкого сын. Николай Алексеевич заявил решительно, что назовет он его Фома, но потом смягчился и дал ребенку имя Никита...»

В 1929 году вышел сборник стихов Заболоцкого «Столбцы», поразивший всех не только неожиданностью своего подхода к действительности, но и невероятной образностью.

Сидит извозчик, как на троне,
из ваты сделана броня,
и борода, как на иконе,
летит, монетами звеня.
А бедный конь руками машет,
то вытянется, как налим,
то снова восемь ног сверкает
в его блестящем животе...

Впрочем, поразив всех, стихи Заболоцкого одновременно вызвали и настоящий взрыв негодования. Как раз развертывалась борьба против формализма, устанавливались принципы социалистического реализма, требовавшего особого взгляда на то, что Заболоцкого, в общем, не привлекало. «А так как „Столбцы“ не были банальны, – писал Н. Чуковский, – то Заболоцкий уже все годы вплоть до своего ареста работал в обстановке травли. Однако время от времени ему удавалось печататься, потому что у него появился сильный покровитель – Николай Семенович Тихонов. В

тридцатые годы Тихонов был одним из самых влиятельных людей в ленинградском литературном кругу, и постоянная помощь, которую он оказывал Заболоцкому, является его заслугой...» Кстати, только с помощью Тихонова в 1933 году Заболоцкий напечатал в журнале «Звезда» поэму «Торжество земледелия», вызвавшую еще более мощную и еще более злобную волну критики.

Впрочем, сам Заболоцкий внешне как бы не испытывал дискомфорта. «Искусство похоже на монастырь, где людей любят абстрактно, – писал он Е. В. Клыковой, сестре своей жены. – Ну, и люди относятся к монахам так же. И несмотря на это монахи остаются монахами, т. е. праведниками. Стоит Симеон Столпник на своем столпе, а люди ходят и видом его самих себя – бедных, жизнью истерзанных – утешают. Искусство – не жизнь. Мир особый. У него свои законы, и не надо его бранить за то, что они не помогают нам варить суп...»

Даже по заголовкам статей, посвященных поэмам Заболоцкого «Торжество земледелия» и «Деревья», можно судить о накале критических страстей: «Юродствующая поэзия и поэзия миллионов» (В. Ермилов)... «Под маской юродства» (Е. Усиевич)... «О поэзии Заболоцкого, о жизни и о скворешниках» (О. Бескина)... Да и не просто, конечно, было судить о стихах, за внешней вызывающей простотой которых угадывались столь же вызывающие бездны.

– А вы, укромные, как шишечки и нити,
кто вы, которые под кустиком сидите?

– Мы глазки жуковы.

– Я гусеницын нос.

– Я возникающий из семени овес.

– Я дудочка души, оформленной слегка.

– Мы не облекшиися телом потроха.

– Я то, что будет органом дыханья.

– Я сон грибка.

– Я свечки колыханье.

– Возникновенье глаза я на кончике земли.

– А мы нули.

– Все вместе мы – чудесное рожденье,

откуда ты свое ведешь происхожденье...

В 1937 году вышла «Вторая книга» Заболоцкого.

Одновременно он начал много переводить. Появилась в его переводе знаменитая поэма Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Планировал дать он на русском языке свод поэм Важа Пшавелы, а также перевести на современный русский язык «Слово о полку Игореве». Но тогда этим планам не суждено было сбыться: 19 марта 1938 года Заболоцкого арестовали. Много лет после этого провел он сперва на Дальнем Востоке, потом в Алтайском крае и в Караганде. «Мой душевный инструмент поэта грубеет без дела, восприятие вещей меркнет, – писал он жене. – Горько становится:

не имею возможности писать сам. И приходит в голову вопрос – неужели один я теряю от этого?». И позже, старому другу Н. Л. Степанову (уже занявшись в ссылке переводом «Слова о полку Игореве»): «Можно ли урывками и по ночам, после утомительного дневного труда, сделать это большое дело? Не грех ли только последние остатки своих сил тратить на этот перевод, которому можно было бы и целую жизнь посвятить, и все свои интересы подчинить? А я даже стола не имею, где я мог бы разложить свои бумаги, и даже лампочки у меня нет, которая могла бы гореть всю ночь...»

«Где-то в поле возле Магадана, посреди опасностей и бед, в испареньях мерзлого тумана шли они за розвальнями вслед... От солдат, от их луженых глоток, от бандитов шайки воровской здесь спасали только околодок да наряды в город за мукой... Вот они и шли в своих бушлатах – два несчастных русских старика, вспоминая о родимых хатах и томясь о них издалека... Жизнь над ними в образах природы чередую двигалась своей. Только звезды, символы свободы, не смотрели больше на людей... Дивная мистерия вселенной шла в театре северных светил, но огонь ее проникновенный до людей уже не доходил... Вкруг людей посвистывала вьюга, замечая мерзлые пеньки. И на них, не глядя друг на друга, замерзая, сели старики... Стали кони. Кончилась работа, смертные доделались дела. Обняла их сладкая дремота, в дальний край, рыдая, повела... Не нагонит больше их охрана, не настигнет лагерный конвой, лишь одни созвездья Магадана засверкают, став над головой...»

В мае 1946 года Заболоцкий все же вернулся в Москву.

В первое время его приютили (с риском для себя) старые друзья – Н. Степанов, И. Андроников. «Н. А. пришлось спать на обеденном столе, так как на полу было холодно, – вспоминал Степанов. – Да и сами мы спали на каких-то ящиках. Н. А. педантично складывал на ночь свою одежду, а рано утром был уже такой же чистый, вымытый и розовый, как всегда...» Потом поэта приютил на своей даче в Переделкино писатель Ильенков. Там Заболоцкий трудолюбиво возделывал огород. «Положиться можно только на картошку», – отвечал он тем, кто интересовался его литературными заработками. «...Вообще в нем в то время жило страстное желание уюта, покоя, мира, счастья, – вспоминал Николай Чуковский. – Он не знал, кончились ли уже его испытания, и не позволял себе в это верить. Он не смел надеяться, но надежда на счастье росла в нем бурно, неудержимо. Жил он на втором этаже, в самой маленькой комнатке дачи, почти чулане, где ничего не было, кроме стола, кровати и стула. Чистота и аккуратность царствовали в этой комнатке – кровать застелена по-девичьи, книги и бумаги разложены на столе с необыкновенной тщательностью. Окно выходило в молодую листву берез. Березовая роща неизъяснимой прелести, полная птиц, подступала к самой даче Ильенкова. Николай Алексеевич бесконечно любовался этой роще, улыбался, когда смотрел на нее...» И дальше: «Это действительно был твердый и ясный человек, но в то же время человек, изнемогавший под тяжестью невзгод и забот. Бесправный, не имеющий

постоянной московской прописки, с безнадежно испорченной анкетой, живущий из милости у чужих людей, он каждую минуту ждал, что его вышлют, – с женой и двумя детьми. Стихов его не печатали, зарабатывал он только случайными переводами, которых было мало и которые скудно оплачивались. Почти каждый день ездил он по делам в город, – два километра пешком до станции, потом дачный паровозик. Эти поездки были для него изнурительны – все-таки шел ему уже пятый десяток...» Тем не менее, именно в эти годы Заболоцкий заново перевел «Витязя в тигровой шкуре» и дал русскому читателю стихи и поэмы Давида Гурамишвили, Григола Орбелиани, Ильи Чавчавадзе, Важи Пшавелы, Акакия Церетели. Переводил он и многих венгерских, итальянских, сербских, таджикских, узбекских, украинских поэтов. Советская школа перевода дала в те годы блистательные образцы, поскольку переводами занимались крупные поэты, потерявшие возможности печатать свои собственные оригинальные произведения. Переводы оставляли возможность оставаться в русле мирового искусства, к тому же разнообразие национальных литератур действительно требовало воплощения в главном языке страны.

«Успех перевода, – писал Заболоцкий в „Записках переводчика“, – зависит от того, насколько точно переводчик сочетал меру точности с мерой естественности. Удачно сочетать эти условия может только тот, кто правильно отличает большое от малого и сознательно жертвует малым для достижения большого... Переводчиков справедливо упрекают в том, что многие из них не знают языка, с которого переводят. Однако первая и необходимая их обязанность: хорошо знать тот язык, на котором они пишут... Перевод – экзамен для твоей литературной речи, он показывает, каким количеством слов ты пользуешься и как часто обращаешься к Ушакову и Далю... Подстрочник поэмы подобен развалинам Колизея. Истинный облик постройки может воспроизвести только тот, кто знаком с историей Рима, его бытом, его обычаями, его искусством, развитием его архитектуры. Случайный зритель на это не способен... Переводчик, последователь лингвистического метода, подобно жуку ползает по тексту и рассматривает каждое слово в огромную лупу. В его переводе слова переведены „по науке“, но такую книгу читать трудно, так как перевод художественного произведения не есть перевод слов. Существуют образы, которые, будучи выражены автором, заставляют читателей плакать, а в буквальном переводе на другой язык вызывают смех... Неужели ты будешь смешить людей там, где им положено проливать слезы?».

Оригинальная книжка Заболоцкого, вышедшая в 1948 году под скромным названием «Стихотворения», никем не была замечена. Только в конце пятидесятых, в связи с некоторым потеплением в политической жизни страны, стихи Заболоцкого вновь стали объектом внимания. На это раз очень доброжелательного, хотя опять густо замешанного на удивлении: поэт, начинавший с поэзии, напрямую связанной с Хлебниковым, неожиданно пришел к классицизму.

«Не позволяй душе лениться! Чтоб в ступе воду не толочь, душа обязана трудиться и день и ночь, и день и ночь!.. Гони ее от дома к дому, тащи с этапа на этап, по пустырю, по бурелому, через сугроб, через ухаб!.. Не разрешай ей спать в постели при свете утренней звезды, держи лентяйку в черном теле и не снимай с нее узды!..»

«Жена его Катерина Васильевна, – рассказал о личной драме поэта Н. Чуковский, – была готова ради него на любые лишения, на любой подвиг. По крайней мере, такова была ее репутация в нашем кругу, и в течение многих-многих лет она подтверждала эту репутацию всеми своими поступками. В первые годы их совместной жизни он был не только беден, а просто нищ; и ей, с двумя крошечными детьми, пришлось хлебнуть немало лишений. К середине тридцатых годов Николай Алексеевич стал несколько лучше зарабатывать, у них появилось жилье в Ленинграде, наладился быт; но после двух-трех лет относительно благополучной жизни все рухнуло – его арестовали. Положение Катерины Васильевны стало отчаянным, катастрофическим. Жена арестованного „врага народа“, она была лишена всех прав, даже права на милосердие. Ее вскоре выслали из Ленинграда, предоставив возможность жить только в самой глухой провинции. И она выбрала город Уржум Кировской области – потому что городок этот был родиной ее мужа. Она жила там в страшной нищете, растя детей, пока наконец, в 1944 году, не пришла весть, что Николай Алексеевич освобожден из лагеря и получил разрешение жить в Караганде. Она сразу, взяв детей, переехала в Караганду к мужу. Вместе с ним мыкалась она в Караганде, потом, вслед за ним, переехала под Москву, в Переделкино, чтобы здесь мыкаться не меньше. Мучительная жизнь их стала входить в нормальную колею только в самом конце сороковых годов, когда они получили двухкомнатную квартиру в Москве на Хорошевском шоссе и он начал зарабатывать стихотворными переводами.

В эти годы я близко наблюдал их семейную жизнь.

Я сказал бы, что в преданности и покорности Катерины Васильевны было даже что-то чрезмерное. Николай Алексеевич всегда оставался абсолютным хозяином и господином у себя в доме. Все вопросы, связанные с жизнью семьи, кроме мельчайших, решались им единолично. У него была природная склонность к хозяйственным заботам, особенно развившаяся благодаря испытанной им крайней нужде. В лагере у него одно время не было даже брюк, и самый тяжелый час его жизни был тот, когда их, заключенных, перегоняли через какой-то город и он шел по городской улице в одних кальсонах. Вот почему он с таким вниманием следил за тем, чтобы в доме у него было все необходимое. Он единолично распоряжался деньгами и сам покупал одеяла, простыни, одежду, мебель. Катерина Васильевна никогда не протестовала и, вероятно, даже не давала советов. Когда ее спрашивали о чем-нибудь, заведенном в ее хозяйстве, она отвечала тихим голосом, опустив глаза: «Так желает Коленька» или «Так сказал Николай Алексеевич». Она никогда не спорила с ним, не упрекала его – даже когда он

выпивал лишнее, что с ним порой случалось. Спорить с ним было нелегко, – я постоянно с ним споривший, знал это по собственному опыту. Он до всего доходил своим умом и за все, до чего дошел, держался крепко. И она не спорила...

И вдруг она ушла от него к другому.

Нельзя передать его удивления, обиды и горя.

Эти три душевных состояния обрушились на него не сразу, а по очереди, именно в таком порядке. Сначала он был только удивлен – до остолбенения – и не верил даже очевидности. Он был ошарашен тем, что так мало знал ее, прожив с ней три десятилетия в такой близости. Он не верил, потому что она вдруг выскочила из своего собственного образа, в реальности которого он никогда не сомневался. Он знал все поступки, которые она могла совершить, и вдруг в сорок девять лет она совершила поступок, абсолютно им непредвиденный. Он удивился бы меньше, если бы она проглотила автобус или стала изрыгать пламя, как дракон. Но когда очевидность сделалась несомненной, удивление сменилось обидой. Впрочем, обида – слишком слабое слово. Он был предан, оскорблен и унижен. А человек он был самолюбивый и гордый. Бедствия, которые он претерпевал до тех пор, – нищета, заключение, не задевали его гордости, потому что были проявлением сил, совершенно ему посторонних. Но то, что жена, с которой он прожил тридцать лет, могла предпочесть ему другого, унизило его, а унижения он вынести не мог. Ему нужно было немедленно доказать всем и самому себе, что он не унижен, что он не может быть несчастен оттого, что его бросила жена, что есть много женщин, которые были бы рады его полюбить. Нужно жениться. Немедленно. И так, чтобы об этом узнали все. Он позвонил одной женщине, одинокой, которую знал мало и поверхностно, и по телефону предложил ей выйти за него замуж. Она сразу согласилась. Для начала супружеской жизни он решил поехать с ней в Малеевку в Дом творчества. В Малеевке жило много литераторов, и поэтому нельзя было выдумать лучшего средства, чтобы о новом его браке стало известно всем. Подавая в Литфонд заявление с просьбой выдать ему две путевки, он вдруг забыл фамилию своей новой жены и написал ее неправильно. Я не хочу утверждать, что с этим новым его браком не было связано никакого увлечения. Сохранилось от того времени одно его стихотворение, посвященное новой жене, полное восторга и страсти: «Зацелована, околдована, с ветром в поле когда-то обвенчана, вся ты словно в оковы закована, драгоценная моя женщина...» Но стихотворение это осталось единственным, больше ничего он новой своей жене не написал. Их совместная жизнь не задалась с самого начала. Через полтора месяца они вернулись из Малеевки в Москву и поселились на квартире у Николая Алексеевича. В этот период совместной их жизни я был у них всего один раз. Николай Алексеевич позвонил мне и очень просил прийти. Я понял, что он чувствует необходимость как-то связать новую жену с прежними знакомыми, и вечером пришел. В квартире все было как при Екатерине Васильевне, ни

одна вещь не сдвинулась с места, стало только неряшливее. Печать запустения лежала на этом доме. Новая хозяйка показалась мне удрученной и растерянной. Да она вовсе и не чувствовала себя хозяйкой, – когда пришло время накрывать на стол, выяснилось, что она не знает, где лежат вилки и ложки. Николай Алексеевич тоже был весь вечер напряженным, нервным, неестественным. По-видимому, вся эта демонстрация своей новой жизни была ему крайне тяжела. Я высидел у него необходимое время и поспешил уйти. Через несколько дней его новая подруга уехала от него в свою прежнюю комнату, и больше они не встречались.

И удивление, и обида – все прошло, осталось только горе. Он никого не любил, кроме Катерины Васильевны, и никого больше не мог полюбить. Оставшись один, в тоске и в несчастье, он никому не жаловался. Он продолжал так же упорно и систематично работать над переводами. Он тосковал по Катерине Васильевне и с самого начала мучительно беспокоился о ней. Он думал о ней постоянно. Шло время, он продолжал жить один – с взрослым сыном и почти взрослой дочерью, – очень много работал, казался спокойным. Он пережил уход Катерины Васильевны. Но пережить ее возвращения он не мог. Около первого сентября из Тарусы переехали в город Гидаш и Агнесса Кун. Агнесса зашла к нам и рассказала, что Заболоцкий решил остаться в Тарусе на весь сентябрь; он с увлечением переводит сербский эпос, здоров, весел и хочет вернуться в город как можно позже. После этого сообщения я не ожидал что-нибудь услышать о Заболоцком раньше октября, и вдруг, через неделю, я узнал, что Заболоцкий в городе, у себя на квартире, и к нему вернулась Катерина Васильевна. Трудно сказать, как он поступил бы дальше, если бы был в состоянии распорядиться собой. Мы этого не знаем и никогда не узнаем, потому что сердце его не выдержало и его свалил инфаркт.

После инфаркта он прожил еще полтора месяца. Состояние его было тяжелым, но не казалось безнадежным. По-видимому, только он один и понимал, что скоро умрет. Все свои усилия после инфаркта – а он не позволял душе лениться! – он направил на то, чтобы привести свои дела в окончательный порядок. Со свойственной ему аккуратностью он составил полный список своих стихотворений, которые считал достойными печати. Он написал завещание, в котором запретил печатать стихотворения, не попавшие в этот список. Завещание это подписано 8 октября 1958 года, за несколько дней до смерти. Ему нужно было лежать, а он пошел в ванную комнату, чтобы почистить зубы. Не дойдя до ванной, он упал и умер...»

Случилось это 14 октября 1958 года.

За несколько дней до этого Заболоцкий записал в дневнике: «Литература должна служить народу, это верно, но писатель должен прийти к этой мысли сам, и притом каждый своим собственным путем, преодолев на опыте собственные ошибки и заблуждения».

Михаил Васильевич Исаковский

Родился 7 (19) января 1900 года в деревне Глотовка Ельнинского уезда.

«В деревнях и селах этого района издавна жили люди, наделенные богатыми голосовыми данными, – писал Твардовский в статье, посвященной своему старшему другу. – Достаточно сказать, что известный Хор имени Пятницкого включает в себя до десяти человек выходцев из деревни Глотовка Восточного района. А участники Бабыковского колхозного хора, как говорят, – потомки крепостного хора крестьян. Песенное мастерство передавалось из поколения в поколение. Здесь, в одном из глухих и отдаленных углов нашей области, эти поколения сохранили и пронесли через десятилетия слова и мелодии старинных народных песен...»

Все образование Исаковского – неполный курс гимназии. Из шестого класса он вынужден был уйти по бедности родителей, не имевших возможности оплачивать его обучение. Но уже в 1914 году в газете «Русь» появилось первое его стихотворение. После Октябрьской революции Исаковский был избран секретарем Ельнинского волостного Совета. В 1918 году вступил в ВКП(б), с 1919 года – начал редактировать городскую газету. В 1921 году переехал в Смоленск – редактором отдела областной газеты «Рабочий путь». В том же году выпустил сразу три небольших книжки стихов – «По ступеням времени», «Взлеты», «Четыреста миллионов». Однако началом своей литературной деятельности Исаковский считал 1924 год, когда появились в печати его стихи «Подпаски» и «Родное».

В «Рабочем пути» Исаковский проработал десять лет. «Мягкий его юмор переставал быть мягким, – вспоминал журналист А. Македонов, – когда Михаил Васильевич сталкивался с тем, что он считал наиболее непростительным, – а именно с фальшью, с проявлениями бесчеловечности, казенщины. Вот характерный эпизод, который недавно вспомнила смоленская исследовательница Л. Шурыгина. Молодой поэт А. Плешков, игравший видную роль в литературной группе при „Юном товарище“, уже успевший напечатать книгу стихов под характерным названием „Солнечные будни“ в издании Ярцевского укома ВЛКСМ, опубликовал стихотворение „Любовь комсомольца“, в своем роде типичное для большого косяка стихов того времени – и не только в Смоленске. В стихотворении уже были приметы квази-конкретного изображения психологии комсомольца и его нового отношения к традиционным человеческим чувствам. «Помню, как-то шел я из укома, поручили доклад по материалам Роста. Встретилась совсем незнакомая, а улыбнулась тепло и просто». Дальше кратко «излагается» ход весьма быстрой «любви комсомольца», которая столь же быстро кончается («Тем и кончилась моя любовь»), ибо «...я из тех, у которых иная сноровка, больше женщин любит из нас любой книгу, труд и винтовку». И вот это стихотворение вызвало быстрый отклик – стихотворение Исаковского, опубликованное в том же «Юном товарище» 10 апреля 1926 г.; оно не включалось Исаковским в его сборники, но настолько характерно для его личности, что позволю процитировать несколько отрывков. «Вы, Плешков, читателей надули, поместив подобные стихи, не стихи, а шаткие ходули,

образец ненужной чепухи... Верю я, что встретились вы просто, взгляд ее метнулся огоньком, но при чем же, но при чем тут Роста, но при чем же здесь ячейка и УКОМ?... Дальше вы попали в переброску, вы подняли выше паруса. и, как выкуренную папироску, позабыли девичьи глаза... На прощание тряхнув кудрями, взяли вы надтреснутый мотив – „Я любить могу лишь по программе, мне грустить нельзя без директив. Разве можно уезжать влюбленным? Это же мещанские тиски“. От такого нудного шаблона ваш читатель сдохнет от тоски... Все у вас неискренне и голо, лишь водичка сладкая, не кровь. Зря вы, зря в программу комсомола уложить пытаетесь любовь...»

«Доберусь в Смоленск, – записывал в дневнике (октябрь, 1927) Твардовский. – Вот приеду... Редакция „Рабочего пути“... Низкие и темные комнаты ее мне как-то нравятся. Там висит особый „редакторский“ запах, запах чернил, бумаги, трескотня печатных машинок. И самое главное, добрые, улыбающиеся сквозь очки глаза Исаковского. Он наклоняется над столиком (так как он очень длинен, то мне кажется, он, сидя на одной стороне стола, может, перегнувшись, достать рукой пол на другой стороне), пишет, замарывает листки, печатанные на машинке...» Самому Исаковскому, впрочем, работа в редакции вовсе не казалась столь романтической. «Недоволен я новым редактором, – писал он своему другу С. Памфилову. – По отношению ко мне он уже успел дважды применить „экономическую репрессию“. Последнюю на днях. Я, как член правления РАППа (Российской ассоциации пролетарских писателей), был на пленуме почти неделю, и редактор отдал приказ, чтобы с меня за эту неделю удержали жалованье, так как я якобы ездил по своему желанию и вообще редакция к этому РАППу непричастна. Я человек мирный и скандалить не люблю, но я с большим удовольствием уйду из редакции, если Литфонд удовлетворит мое заявление... Такие же репрессии и по отношению к литстранице. Она изгнана, хотя формально редактор за литстраницу, но фактически бракует лучшие произведения наших авторов, в том числе и мои... В общем, атмосфера работы нездоровая и нехорошая...»

В 1927 году вышла в Москве книга стихов Исаковского «Провода в соломе». Книгу незамедлительно подверг разгрому известный критик А. Лежнев, однако за молодого поэта вступился М. Горький. «Михаил Исаковский, – написал он, – не деревенский, а тот новый человек, который знает, что город и деревня – две силы, которые отдельно одна от другой существовать не могут, и знает, что для них пришла пора слиться в одну необоримую творческую силу...»

В 1930 году был издан сборник стихов «Провинция», в 1931 году – «Мастера земли». Получившего известность поэта перевели в Москву – редактором журнала «Колхозник». Исаковский, несомненно, сильно гордился этой своей приобщенностью к литературной жизни, причастностью к общему «промфинплану» страны. Сборник «Вдоль да по дороге, вдоль да по Казанке», вышедший в Смоленске в 1934 году, поэт даже сопровождал

специальным пояснением: «Эта книга сложилась в результате повседневного участия в работе газеты политотдела Московско-Казанской железной дороги „Железнодорожный пролетарий“, на страницах которой и печатались собранные здесь стихи...»

Московская жизнь на первых порах была не легкой и мало чем радовала поэта. «Собрал я посылку (продуктовую), – писал он дочери, – и понес на почту. И вот не хватило мне трех копеек, чтобы отослать посылку. Пошел я назад на Извозную улицу, где жил в то время. Занял у соседки десять копеек. И что бы мне занять хотя бы рубль, чтобы хватило на трамвай. А то опять тащился пешком, а почта была далеко...» Настоящая известность, а с нею относительное материальное благополучие пришли к поэту, когда по всей стране запели его песни – «Дан приказ ему – на запад, ей – в другую сторону», «Провожание», «И кто его знает», наконец, знаменитую «Катюшу».

«К сожалению, – вспоминал друг поэта А. Рыжиков, – о причинах, побудивших написать стихотворение „Катюша“, Михаил Васильевич ничего не рассказал при жизни. Но он довольно подробно рассказал о том, как создавал его. Первые две строчки „Катюши“ были написаны в самом начале 1938 года. Но дальше работа застопорилась. Поэт не знал, что же дальше делать с Катюшей, которую он заставил выйти на „высокий берег на крутой“ и запеть песню. И он отложил стихи. Весною в редакции газета „Правда“ поэт впервые встретился с композитором Матвеем Исааковичем Блантером. Композитор сразу же стал выпрашивать у Исаковского, нет ли у него каких-либо стихов, на которые можно было бы написать музыку. Михаил Васильевич вспомнил про начатую „Катюшу“ и передал ее Блантеру. Скоро он забыл об этом, не веря, что из его незаконченных стихов может что-либо получиться. По-другому отнесся к незаконченным стихам композитор, и летом, встретившись с Михаилом Васильевичем, сказал, что музыку „Катюши“ он написал, что песня вроде бы получилась, но необходимо дописать слова. Вскоре текст „Катюши“ был закончен Исаковским, и песня начала свое шествие...»

Годы Отечественной войны Исаковский провел в эвакуации в Чистополе. В этом небольшом городке он написал знаменитые песни: «В прифронтовом лесу», «Ой, туманы мои, растуманы», «Огонек», «Где ж вы, где ж вы, очи карие», «Лучше нету того цветку», которые в 1943 году были удостоены Сталинской премии. «Вообще поэтом-песенником, как меня теперь называют, я сделался случайно, – рассказывал позже поэт студентам Литературного института. – Дело было так. Кажется, в 1935 году я пошел в кино в Москве. Киножурнал был посвящен художественной самодеятельности колхозов. Вышел хор, и я услышал, что поют на знакомые мне слова. Я узнал свое стихотворение „Вдоль деревни“. Оказалось, что Хор имени Пятницкого взял это стихотворение из школьной хрестоматии и положил на музыку. Затем песня пришла в деревню, где ее запели. Позже я встретился с руководителем хора. Он меня попросил дать ему еще что-нибудь. Я предложил ему стихотворение, которое стало потом песней, –

„Дайте в руки мне гармонь, золотые планки“. А вскоре появилась моя песня „И кто его знает“. Так началась, если можно так выразиться, моя песенная карьера...»

«С берез, неслышен, невесом, слетает желтый лист, старинный вальс „Осенний сон“ играет гармонист... Вздыхают, жалуясь, басы, и, словно в забытьи, сидят и слушают бойцы – товарищи мои...»

Песни Исаковского действительно пели все. «Знаешь, Лена, – писал он при этом дочери в марте 1947 года, – мне иногда бывает так трудно, что и выразить нельзя. Многие почему-то считают, что я все могу, что для меня все открыто. Поэтому и родственники и не родственники, и знакомые и незнакомые считают своим долгом обратиться ко мне. Все просят той или иной помощи. И я даже понимаю это – потому что время сейчас трудное, но все же никому не приходит в голову, что, может быть, мне и самому трудно. Это никого не интересует, и это бывает обидно. А у меня действительно много огорчений и забот. Я дошел до такого состояния, что работать уже не могу, работаю очень мало. Всю зиму тяжело больна Лидия Ивановна (жена). Пришел из армии мой старший брат Нил, которому некуда деваться (дом его разрушен немцами, жена убита). А мне его тоже девать некуда. В то же время и махнуть на него рукой нельзя. Надо что-то предпринимать. Таких и им подобных вещей очень много, чересчур уж много. Я пишу тебе об этом потому, что, как говорится, очень уж наболело и хочется высказаться. Но ты ни в коем случае не принимай это на свой счет. Ты – это совсем особое дело, ты моя дочка...»

«Исаковский писал очень немного – всего лишь несколько песенных стихотворений в год, – вспоминал Евгений Долматовский. – Он не изводил кипы бумаги, не сжигал черновики, не заламывал руки (так любят изображать творческий процесс на экране). Сложная болезнь глаз отягощала часы, проводимые им за письменным столом. Может быть, поэтому он обтачивал каждую строчку и все стихотворение устно, а точнее – в уме, решал сначала стихотворение, как сложную задачу. Известно, что решенную задачу записать совсем нетрудно, важно решить. Вынашивая стихи, Исаковский никогда не заставлял себя и не понукал, не ставил себе сроков и не любил, когда его ограничивали во времени. Известно, например, что специально для фильма он писал стихи лишь однажды – когда с И. Пырьевым и с И. Дунаевским работал над „Кубанскими казаками“. К нему пришла редкая удача – две песни из фильма стали всенародно известными и любимыми, да и третья прозвучала звонко. Последующая критика, осуждение и забвение картины не коснулось песен. Еще и ныне в связи с песнями „Ой, цветет калина...“ и „Каким ты был, таким остался...“ вспоминают картину „Кубанские казаки“ добрым словом и ради песен готовы все простить сценаристу и режиссеру...»

В послевоенные годы Исаковский много переводил – с белорусского, с украинского. «Жизнь его не была безоблачной, несмотря на большое общественное признание, Сталинские премии и все прочее, – писал его

давний друг А. Македонов. – Не говоря уже о растущей болезни, о пережитой тяжелой личной утрате, и в литературных делах все не так уж было хорошо. Ведь нашлась в 1948 году целая группа людей, которая выдвигала необоснованные обвинения по поводу стихотворения „Летят перелетные птицы“, и только решительное заступничество Фадеева прекратило эти обвинения. И еще больший „иск“ был предъявлен некоторыми критиками по поводу стихотворения „Враги сожгли родную хату“. Один из критиков писал: „Несбывшиеся надежды“ воина-победителя искажают облик советского человека, замыкают его в мирок личных утрат и переживаний». Исаковскому пришлось в специальной статье ему отвечать. Стихотворение, однако, долго не включалось в сборники стихов Исаковского...»

«Он только несколько минут говорил о своем здоровье, – писал далее Македонов. – Но все же сказал, с деловой простотой и краткостью, что писать ему стало очень трудно. Трудно в смысле самой техники процесса писания, ибо всю жизнь он привык писать от руки первоначальный текст стихотворения и затем его пересматривать, доделывать. Сейчас же болезнь глаз настолько усилилась, что он уже не видит написанного им самим, а как-нибудь иначе работать над стихотворением ему, в его возрасте, привыкать уже очень тяжело. Позже он сам (или его жена, уже не помню) рассказал мне (через несколько лет), что в конце концов он стал писать фломастером, крупными буквами, и так в какой-то мере приспособился...» Композитор Н. Новиков привез Исаковскому из ГДР специально изготовленные для него очки – большие, тяжелые, больше напоминавшие бинокль. Пользоваться ими было нелегко (во всех смыслах), но Исаковский только разводил руками: «А что еще придумаешь, если у меня такие глаза?»

«Свои стихи, – писал Исаковский, – особенно те, которые нравятся мне самому (а таких не столь уж много), я условно разделяю на три категории – по способу их написания. Первая категория – это стихи, которые написаны сразу. Ну, не буквально сразу, а в более или менее короткое время. Скажем, захотелось написать стихи на такую-то тему, выразить в них такую-то мысль. Я начинаю писать, и замысел, возникший в голове, как бы сам собой начинает обрастать нужными словами, образами, метафорами, сравнениями и всем, что включает в себя всякое хорошее стихотворение. И хотя в подобных случаях приходится неоднократно переделывать „звучавшие“ в голове строки, заменять одни слова другими и тому подобное, работа идет все же быстро, поскольку все элементы стихотворения уже есть, надо лишь умело разместить их, поставив каждый из них на свое место. А где это „свое место“ – поэт должен чувствовать присущим ему внутренним чутьем... Вторая категория – это когда в моем сознании возник лишь сюжет (или, может быть, вернее – костяк) будущего стихотворения; иногда этот сюжет (костяк) чем-то очень меня привлекает и тогда я почти ощущаю, какими словами следует заполнить „территорию“ будущего стихотворения, хотя прямо назвать эти слова еще не могу; я чувствую, какими они должны быть

по своему характеру, но конкретно их еще не знаю. Такие слова мне предстоит найти, выбрав самые лучшие из тех, что кажутся подходящими. В этом и заключается писание стихотворения, и писание это может занять относительно долгое время – во всяком случае, не день и не два, а значительно больше... Третья категория – это стихи, „выросшие“ из одной или нескольких строк, которые вдруг, как бы ни с того ни с сего, пришли в голову. Это тоже обычно бывают такие строчки, которые чем-то очень нравятся. Их непременно хочется видеть в стихотворении, хотя само стихотворение не только еще не написано, но и не начато, и еще неизвестно, где будут стоять эти внезапно „зазвеневшие“ строки – в начале стихотворения, в конце его или в середине. И ощущение бывает такое, что они – эти строки – будут играть в стихотворении значительную роль, а часто ими определяется и весь характер стихотворения: его поэтический смысл, его тон, его словарь, его композиция...»

Впрочем, не теории, конечно, вызывают к жизни истинные стихи. Мало в русской поэзии строк, столь пронзительных, как у Исаковского. Его стихи можно приводить только целиком, не разрывая их на цитаты.

«Враги сожгли родную хату, сгубили всю его семью. Куда ж теперь идти солдату, кому нести печаль свою?... Пошел солдат в глубоком горе на перекресток двух дорог, нашел солдат в широком поле травой заросший бугорок... Стоит солдат – и словно комья застряли в горле у него. Сказал солдат: „Встречай, Прасковья, героя – мужа своего, готовь для гостя угощенье, накрой в избе широкий стол, – свой день, свой праздник возвращенья к тебе я праздновать пришел...“ Никто солдату не ответил, никто его не повстречал, и только теплый летний ветер траву могильную качал... Вздохнул солдат, ремень поправил, раскрыл мешок походный свой, бутылку горькую поставил на серый камень гробовой... „Не осуждай меня, Прасковья, что я пришел к тебе такой: хотел я выпить за здоровье, а должен пить за упокой. Сойдутся вновь друзья, подружки, но не сойтись вовеки нам...“ И пил солдат из медной кружки вино с печалью пополам... Он пил – солдат, слуга народа, – и с болью в сердце говорил: „Я шел к тебе четыре года, я три державы покорил...“ Хмелел солдат, слеза катилась, слеза несбывшихся надежд, и на груди его светилась медаль за город Будапешт...»

«Михаил Васильевич был человеком высокоорганизованным и дисциплинированным, – вспоминала жена поэта. – Его рабочий день был расписан по часам. В девять часов утра он начинал с беглого просмотра газет и утренней почты, с тем, чтобы вечером заняться этим не спеша. Вечером я читала ему журналы, книги. Старая наша квартира была темной и шумной. Днем и вечером Михаил Васильевич работал с электрическим светом. Стол освещала настольная стосвечовая лампа под голубовато-зеленым абажуром, с потолка светила люстра в триста ватт. От напряженной работы его мучили головные боли, уставали глаза. Зрение у него было слабым с детства, но он никогда не щурился. Глаза – карие, чистые, ясные, взгляд всегда внимательный, веселый. С четырнадцати лет он носил очки. Первые его очки

были в двенадцать диоптрий. У него была прогрессирующая близорукость. Были неоднократные кровоизлияния в сетчатку глаз, но живыми островками сетчатки он видел, много читал, работал, вел огромную переписку с читателями, с начинающими поэтами, которые присылали ему свои объемистые сочинения. Вел также большую депутатскую переписку. Кому-то надо было выхлопотать пенсию, кого-то определить в дом для престарелых, просить Верховный Суд о пересмотре судимости, помочь в розыске отца, скрывающегося от алиментов. Да мало ли с какими просьбами обращались к нему как к депутату и просто как к известному писателю! Бывали письма и такие: прислали слезное письмо достать „спасительное“ лекарство. Я объехала все столичные аптеки, аптекоуправление, достала нужное лекарство. Михаил Васильевич сам его упаковал, сам отнес на почту и попросил как можно скорее доставить лекарство в Красноярск, а через некоторое время получил письмо – лекарство не нужно, пришлите песен, тех, что сейчас поют в Москве. Обязательность и отзывчивость иногда кончалась огорчениями... Михаил Васильевич был депутатом Верховного Совета РСФСР четырех созывов. Он часто выезжал по депутатским делам на родную Смоленщину. Родина высоко оценила писательский труд Исаковского. За литературную работу он был награжден четырьмя орденами Ленина и Золотой медалью „Серп и молот“ Героя Социалистического Труда, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом „Знак Почета“, а так же был лауреатом двух Государственных премий первой степени...»

Умер 20 июля 1972 года в Москве.

Павел Григорьевич Антокольский

Родился 19 (1. VII) июня 1896 года в Санкт-Петербурге.

В 1904 году отец, известный адвокат, переехал в Москву. Окончив (в 1914 году) частную гимназию Кирпичниковой, Антокольский слушал лекции в народном университете имени Шанявского, а несколько позже поступил на юридический факультет Московского университета. «Может быть, хотел идти по стопам отца, но вернее всего потому, что юридический факультет представлял собою в те времена вождеденное место для нерадивых молодых людей, собирающихся кое-как сдавать экзамены, поменьше ходить на лекции и совсем не работать сверх положенного...»

Адвокатская карьера, впрочем не удалась: в 1915 году Антокольский впервые попал в драматическую студию Е. Б. Вахтангова, и на всю жизнь влюбился в театр. Актера из него, правда, не вышло, зато поэт нашел свой, именно свой, ни на что непохожий мир. «В поэзии он был человеком театра, а в театре человеком поэзии, – писал позже Каверин. – Причудливо переплетаясь, эти две неукротимые страсти сделали его не похожим на других поэтов, подняв поэтический голос и заставив его звучать полновесно и гордо, как звучали со сцены голоса Остужева и Ермоловой, Качалова и Коонен...» Со студией Вахтангова Антокольский связан был долгие годы. Первая его жена Н. Щеглова (артистка, конечно) вспоминала: «Однажды в

декабре Павлик провожал меня. Он по обыкновению декламировал новые стихи и торопился, потому что до моего дома было уже совсем близко. Было очень холодно. На мне был прелестный тулуп на меху и синий шелковый с узором платок, а на Павлике жалкое пальтишко, перешитое из отцовского. Он, видимо, очень озяб и держал меня под руку, прижимался ко мне. Мне было жаль с ним расставаться, но позвать его к себе я не хотела. Там было холодно, неуютно, и даже чаю я не могла ему предложить – я знала, что нет керосина в керосинке, не успела купить. И вдруг, не дослушав стихов, я сказала: „Нам надо пожениться“. – „Да, да“, – без паузы сказал Павлик и умчался почти бегом к себе домой. Я как-то не удивилась его поведению. Мне казалось оно правильным...»

В 1921 году в сборнике «Художественное слово» были напечатаны первые стихи Антокольского, а в следующем году вышел сборник, в который поэт включил свои строки о Павле I. «Величаемый вседневно, прокливаемый всеношно, с гайдуком, со звоном, с гиком мчится в страшный Петербург, по мостам, по льду речному мчится, немощный и мощный, и трубит хмельной фельдъегерь в крутень пустозвонных пург... Самодержец всероссийский! Как же так, какой державе сей привиделся курносый и картавый самодур? Или скифские метели, как им приказал Державин, для него оберегали трон богоподобных дур?». Многие, знавшие Антокольского, отмечали невероятное физическое сходство поэта с императором Павлом. Марина Цветаева рассказывала сестре: «Ты понимаешь, он ни на кого не похож... Нет, похож – но в другом цвете – на Павла Первого. Такие же огромные глаза, тяжелые веки, и короткий нос. Ему бы шла напудренная коса – он мог бы играть роль Павла Первого...»

Вторую книгу Антокольского – «Запад» (1926) – составили стихи о Швеции и Германии. Она стала отзвуком его поездки за границу с театром Вахтангова в 1923 году. «Всем инстинктом художника, – писал Антокольский, – я ощутил прикосновение к темам и образам, которые определили мою работу на очень долгий срок...» Тогда же случились и важные изменения в жизни поэта. «Когда дочери исполнилось два года и стало чуть-чуть полегче, – писала Н. Щеглова, – я решила вернуться в театр. Мы с Рубеном Симоновым стали готовить пантомиму, чтобы показать Вахтангову. Эту пантомиму я сама придумала, мы выбрали музыку – там все строилось на танцах, и особенно хорошо у нас выходила чечетка. И все, все было прекрасно, театр собирался в гастрольную летнюю поездку за границу – в Берлин, в Швецию, и я мечтала, как я поеду со всеми. И вдруг оказалось, что я опять жду ребенка. Павлик уехал с театром без меня и в этой поездке влюбился в Зою (Бажанову). Ее тогда только что приняли в театр. Все его парижские стихи – Зое. Безумно в нее влюбился. И она в него. Зоя его действительно очень любила. Я и тогда понимала, что она его любит гораздо больше, чем я, и поэтому я его не то что не осуждаю, а понимаю его. Понимаю, что он встретил настоящую женскую любовь, какую я не могла ему дать. И у меня, хоть в это и трудно, может быть, поверить, но вот у меня никогда не было

обиды на него за то, что он от меня ушел, потому что я не была для него та жена, которая ему нужна. А с Зоей он был счастлив...»

«Я люблю тебя в дальнем вагоне, в желтом комнатном нимбе огня, словно танец и словно погоня, ты летишь по ночам сквозь меня... Я люблю тебя в жаркой постели, в тот преданьем захватанный миг, когда руки сплелись и истлели в обожаньи объятий немых...»

«Зое Константиновне, – вспоминал Каверин, – было нелегко не только потому, что она была женой поэта, а потому, что он был человеком бешеного темперамента, бесконечно вспыльчивый, непостоянный, трудолюбивый и одновременно беспечный. Человек, в котором крайности скрещивались, который легко поддавался под чужое влияние, внушавшее ему подчас ложные, никуда не идущие соображения. Я однажды слышал его речь, направленную против книг вообще, упрекающую всех в мире авторов за то, что они их написали. Он утверждал это не наедине с собой, но в кругу писателей, и, естественно, что некоторые из них не поняли, как этот страстный художник, всю жизнь собиравший книги и отдавший свою жизнь, чтобы написать новые книги, мог отречься и от тех, и от других. Причем он искренне удивлялся, когда я весьма сурово отнесся к его выступлению. Это не помешало ему вскоре признаться, что он был „просто глуп, безумно, непоправимо глуп“. В сущности, мир, в котором он жил, была поэзия, и только поэзия, а то, что происходило вне ее, казалось ему не стоящим серьезного внимания. Он жил поступками. Равномерное течение жизни, ее последовательность для него существовали только в прошлом, а в настоящем не имели особенного значения. По правде говоря, подчас он производил впечатление человека, выходящего за естественные нормы человеческого существования. „Сумасшедшее сердце“ – как называл его с любовью один из друзей. И в мемуарах его, охватывающих лишь очень короткую часть его жизни, видна эта беспорядочность, это бросание от своих книг к другим, эта бешеная борьба с давно покойными мыслителями, эти споры, которые он затевал ни много ни мало с целым столетием. Вот рядом с таким-то человеком жила стройная, белокурая, маленькая женщина с большим сердцем и с железной волей. Она была не просто нужна ему, без нее мгновенно рассыпалось бы все его бытовое и поэтическое существование...»

«Не все пристрастия Павла Григорьевича она разделяла, – дополнял Каверина поэт Лев Озеров. – Что же касается его, то он разделял все ее пристрастия, срочно и надолго делая их своими. Но бывали исключения. В силу пылкости характера и некоторой артистической инфантильности, он подчас хотел что-либо сделать без оглядки на Зою Константиновну. Делал и очень быстро раскаивался в содеянном. Не было согласованности единых начинаний, не было благословения Зои Константиновны, и – смятенный дух Павла Григорьевича подводил его, сбивал с толку. «Зачем ты, Павлик, опять полез на трибуну? Ведь по-мальчишески взмахнув кулаком – (Она показывала, как он взмахнул кулаком) и выкрикнув первую фразу – (она эту

первую фразу тоже выкрикивала), – ты еще не знал, как продолжишь ее и как закончишь. Опять эта несуразица!».

В «Третьей книге» (1927) впервые появился «Санкюлот», известный до этого только по спискам и по чтению самого Антокольского. «Мать моя – колдунья или шлюха, а отец – какой-то старый граф. До его сиятельного слуха не дошло, как, юбку разодрав на пеленки, две осенних ночи выла мать, родив меня во рву. Даже дождь был мало озабочен и плевал на то, что я живу...» С «Санкюлота» начался целый ряд крупных и мелких работ поэта, посвященных Франции, французской революции. Когда в 1928 году с театром Вахтангова Антокольский впервые побывал в Париже, его все время преследовало чувство, что он уже не раз бывал в этом городе.

Тридцатые годы стали для Антокольского кочевыми. Он побывал тогда на Сясьстрое, в Армении, в Грузии, в Азербайджане, на Украине. Одна за другой появлялись книги, в которых, отходя от прежнего романтизма, он пытался выразить новую реальность – «Действующие лица» (1932), «Большие расстояния» (1936), «Пушкинский год» (1938). Он много переводил – Ованеса Туманяна, Егише Чаренца, Шота Руставели, Симона Чиковани, Тициана Табидзе, Миколу Бажана, Леонида Первомайского, Низами Ганджеви, Самеда Вургуня. Разумеется, переводил он и любимых французов – Гюго, Рембо, Барбье, Беранже. Впоследствии из этих переводов составлены были книги – «Гражданская поэзия Франции» (1955), «От Беранже до Элюара» (1966), «Медная лира» (1970), наконец, большой том – «Два века поэзии Франции» (1976).

В годы войны квартира Антокольского на улице Щукина стала чем-то средним между литературным центром и гостиницей для фронтовиков. Гость всегда мог получить здесь кружку кофе, правда, не всегда с сахаром. Здесь бывали, наезжая с фронтов, поэты Долматовский, Симонов, Матусовский, прилетал из Ленинграда Николай Тихонов, не раз находил приют А. Фадеев. На этот же адрес в июле 1942 года пришло письмо от лейтенанта, служившего вместе с сыном поэта – Владимиром. «Действующая армия. Антокольскому Павлу Г. от товарища Вашего сына Антокольского Володи. Дорогие родители, я хочу сообщить Вам о весьма печальном событии. Хоть и жаль Вас, что сильно расстраиваться будете, но сообщаю, что Ваш сын Володя в ожесточенной схватке с немецкими разбойниками погиб смертью храбрых на поле битвы 6 июля 1942 года. Но мы за вашего сына Володю постараемся отомстить немецким сволочам. Пишет это Вам его боевой товарищ Вася Севрин. Похоронен он возле реки Рессета – приток Жиздры. До свидания, с пламенным приветом к Вам».

«Приехав с Северного фронта, – рассказывал Каверин, – я прежде всего позвонил Павлу Григорьевичу. Зоя подошла к телефону. „Как, вы ничего не знаете? Вова убит. Я не знаю, что делать с Павликом. Он никого не хочет видеть. Но вы приезжайте, именно вы“. Она встретила меня в квартире на улице Щукина бледная, с измученным лицом, как будто приказавшая себе не плакать. Павла я нашел неузнаваемо постаревшим, с почти равнодушным

окаменевшим лицом – и именно это меня напугало. Он был занят – рисовал сына – и уже не в первый, а, может быть, в двадцатый раз. Рисовал сына в офицерской форме. Рисунки лежали на окне, на столе, на бюро, виднелись за стеклами книжного шкафа. И мой приход не оторвал его от этого занятия. Мы обнялись, а потом он снова сел за стол и взял карандаш в руки. Что я мог сказать ему?... Молчание длилось долго, не менее получаса. Он рисовал, а я смотрел на него. Зоя приоткрыла и тотчас захлопнула дверь. Потом, после бессвязного разговора, который он начал почти бесстрастным голосом: откуда я приехал, как дела на фронте, как мне живется в новом, тогда еще непривычном кругу, – я вдруг сказал: „Павлик, ты не должен рисовать Володю. Ты должен написать его. Расскажи, каким он был в школе, что его интересовало, с кем он был дружен, как провел ночь после окончания школы, в кого был влюблен“. Он спросил: „Ты думаешь?“ Так он всегда спрашивал, советуясь со мной о новом замысле, и наша беседа, в которой бились, не находя выхода, обмороочные, невысказанные слова, вдруг ожила, очнулась. Это была минута, когда он отложил в сторону картон с незаконченным портретом сына. Кстати отмечу, что Павел Григорьевич был прекрасным рисовальщиком, и портреты Володи были не только похожи, но оттушеваны с тщательностью, в которой было что-то испугавшее меня, близкое к безумию...»

«Ты будешь долго рыться в черном пепле. Не день, не год, не годы, а века, пока глаза сухие не ослепли, пока окостеневшая рука не вывела строки своей последней – смотри в его любимые черты. Не сын тебе, а ты ему наследник. Вы поменялись местом, он и ты...»

По словам друзей, рукопись поэмы «Сын», пока Антокольский работал над нею, постоянно лежала на письменном столе. Разрешалось заглядывать в рукопись, это ему не мешало. Тут же лежал дневник, раскрытый, доступный для каждого, – чтобы лишний раз не говорить о своих чувствах. В 1943 году поэма появилась в журнале «Смена». – «Я очень хотел, чтобы в журнале был портрет Вовочки, – писал Антокольский дочери, – и редакция пошла на это, но ЦК комсомола резко возражает. В этом возражении есть элемент правоты: они стремятся, чтобы поэма прозвучала возможно шире и обобщеннее. С ними приходится соглашаться еще потому, что именно комсомольская печать – единственно подходящая для памяти, достойной Вовы...» И приписка: «Весь гонорар пойдет на танки».

В 1946 году поэма «Сын» была удостоена Сталинской премии.

Впрочем, это не уберегло Антокольского от жестоких проработок, которым в ближайшие годы подверглись он сам и многие его коллеги. «В трудное для него время – а ведь было так, что его имя упоминалось с маленькой буквы, – вспоминал поэт Марк Соболев, – в тот короткий, к счастью, период Павел Григорьевич держался достойно. Он продолжал работать, это видно хотя бы по датам написания стихотворений, и горше всего переживал отлучение от преподавательской кафедры (в Литературном институте)... Я должен рассказать об одном собрании поэтов и о том, как вел себя Антокольский. Не

пытаясь написать портрет, я все-таки хочу в какой-то мере показать характер. В тот день досталось не только Павлу Григорьевичу, но и его ученикам. Перечисляя их поименно, оратор счел нужным расшаркаться перед единственной дамой: „Пусть извинит меня Вероника Михайловна, однако и она...“ Вероника Тушнова вскочила с кресла и, смею сказать, величественно объявила на весь зал: „Я была бы оскорблена, если б я не числилась в этом списке!“ – Павел Григорьевич выступил в прениях последним. Он говорил с трибуны горестно и, как всегда, запальчиво. Вряд ли он мог проверить алгеброй всю дисгармонию грозных обвинений, но с удивительной беззащитностью принял их сердцем. Он яростно признавал себя – и только себя! – виновным по всем параграфам. Я и сейчас будто слышу трагическую речь прокурора против подсудимого: оба носят одну фамилию – Антокольский. Снисхождения Павел Григорьевич не просил, а суровый приговор привел в исполнение своей же речью. Для судей этого было достаточно; самый непреклонный из них с неприсущей ему душевностью заявил: „Я верю Антокольскому“. Еще секунда – и Павел Григорьевич сойдет с трибуны под аплодисменты публики и президиума. Но именно в эту минуту грянул вопрос из угла зала: „А какого вы мнения о поэте П.?“ Тот являлся фигурой настолько, сказали бы мы сегодня, одиозной, что его имя в общем-то даже не связывалось с именем учителя... И была пауза... Все, включая отговоривших свое ораторов и самого Павла Григорьевича, понимали, что вопрос этот – как мина-ловушка. Мы, задержав дыхание, ждали ответа Антокольского... „Я считаю П. очень талантливым человеком!“ – негромко отчеканил Павел Григорьевич...»

«Он был по-детски доверчив и открыт, – вспоминал критик А. Ревич. – Потому-то так мучительно переживал человеческую недоброту и предательство. Этим, а не робостью я сейчас объясняю крайнюю его растерянность в дни, когда его „прорабатывали“. Его обвиняли в пристрастии к Западу, а он был настоящим сыном России, российской культуры, „гражданином Москвы“, как он писал в стихах. Даже его интерес к европейской истории, к французской культуре и мысли был традиционным русским интересом к Западу, недаром он так любил цитировать блоковское: «Нам внятно все – и острый галльский смысл, и сумрачный германский гений». Интерес его к Франции не был просто галломанией, скорее был духовной тягой к французскому духу демократии, к французской революционности. Отсюда – поэмы о Коммуне, о Франсуа Вийоне, отсюда – «Робеспьер и Горгона» и «Санкюлот» Отсюда же стремление перевести на русский язык Бодлера и Рембо, Арагона и Элюара. В этом он следовал пушкинской традиции. Пушкин тоже тянулся к Парни, к Шенье...»

Книги продолжали выходить – «Поэты и время» (1957), «Мастерская» (1958), «Сила Вьетнама» (1960), «Высокое напряжение» (1962), «Четвертое измерение» (1964), «Повесть временных лет» (1969). К сожалению, Антокольский потерял жену. «Я не помню теперь, до какого времени я писала Павлику на его квартиру на улицу Щукина, – вспоминала Анастасия

Цветаева, – на квартиру, как я слышала, его счастья, зрелости его и, быть может, начала старости, в годы его брака со второй женой его, Зоей Бажановой. Я не знаю, когда она умерла, но я знаю, что случилось с Павликом после ее смерти – он рухнул. Это началась уже не жизнь – доживание. Тот мир, который они любили вдвоем, еще цвел и шумел кругом, но ему уже не было в нем прежнего места. Как-то сразу настал самый последний его возраст: годы наслаивались беззвучно – и только одно еще звучало ему: стих. Как только загорался звук ритма – годы сгорали как мотыльки над костром, старческий стан выпрямлялся, глаза под желтыми веками полыхали, как прежде, и голос поэта гремел с почти неестественной силой над притихшим кругом слушающих...»

«Нельзя сказать, чтобы он был покинут, – писал Лев Озеров. – Его по-прежнему навещало много друзей, особенно молодежи, особенно молодых женщин. Последние делились на две части: одна часть была к нему искренне и бескорыстно привязана, другая же часть была озабочена наследством Антокольского. Он играл в старого жениха, и казалось, вот-вот он свяжет себя брачными узами. Это злило Наталью Павловну (дочь поэта). Отец сорил деньгами, покупая барышням дорогие подарки и устраивая обеды в „Национале“ и ЦДЛ со сдвигаемыми столами и случайными охотниками выпить и закусить...»

«Летом 1976 года, – вспоминала Маргарита Алигер, – торжественно и душевно отмечалось его восьмидесятилетие. Он был окружен признанием, любовью, дружбой своих старших воспитанников и обожанием младших. Он был доволен юбилеем. Но этот юбилей стал словно неким рубежом в его существовании. Словно он огромным внутренним напряжением продержался до него, а пережив его, ослабил ремни, ослабил волю, держащую его в какой-то, но все-таки форме. Стал больше хворать, больше времени проводить в больнице. Без малого десять лет жил он без Зои, жил неуютно, неухожено, непривычно для себя, ни на день не прерывая работы. Но физические силы его иссякали. Первого июля 1978 года, в день его рождения, с утра позвонив к нему на дачу, чтобы поздравить его, я узнала, что он рано утром уехал с дачи в город и возвращаться не собирается. И справлять день рождения не собирается. Будет дома, на улице Щукина. Нет, не болен, но и не так, чтобы совсем здоров. Настроение плохое... В конце дня мы с Софьей Григорьевной Карагановой, тоже давним другом Антокольских, ни о чем не сговариваясь с ним, поехали в город. У Софьи Григорьевны была припасена бутылка какого-то заморского питья, а мне повезло – удалось купить в „Праге“ вкусный и большой свежий торт. Дверь нам открыл Владимир Михайлович, шофер Антокольского, уже многие годы бывший его неизменным спутником и приятелем. Павел Григорьевич сидел в своем кабинете, среди столь знакомых и дорогих нам портретов, фотографий, книг, вещей. Сидел отсутствующий, отрешенный. Словно бы находился далеко отсюда, совсем далеко, бог знает где. Вероятно, он все-

таки обрадовался нам, но сколь далеко это было от того, как умел радоваться людям Павлик. Больше в доме никого не было...»

Умер 9 октября 1978 года.

Борис Леонидович Пастернак

Родился 29 (10. II) января 1890 года в Москве.

Отец – академик живописи, мать – известная пианистка.

«Больше всего на свете я любил музыку, – вспоминал поэт, – больше всех в ней – Скрябина. Музыкально лепетать я стал незадолго до первого с ним знакомства. К его возвращенью (из-за границы) я был учеником одного ныне здравствующего композитора (Глиэра). Мне оставалось еще только пройти оркестровку. Говорили всякое, впрочем, важно лишь то, что, если бы говорили и противное, все равно, жизни вне музыки я себе не представлял...»

Однако от профессии музыканта Пастернак отказался: поступил в 1909 году на историко-философский факультет Московского университета. Тогда же начал писать стихи, по его словам, не придавая этому занятию особого значения и ничего хорошего от стихов не ожидая. Весной 1912 года летний семестр слушал в Марбургском университете у известного философа, главы неокантианской школы, профессора Германа Когена. Однако, как раньше занятия музыкой, вдруг оборвал учебу у Когена – уехал на встречу со своей двоюродной сестрой О. Фрейденберг. Позже Марбург отозвался в известных стихах: «В тот день всю тебя, от ребенок до ног, как трагик в провинции драму Шекспирову, носил я с собою и знал назубок, шатался по городу и репетировал...»

Впервые стихи Пастернака появились в печати летом 1913 года – в альманахе «Лирика». А в 1914 году вышел первый сборник – «Близнец в тучах». Написаны стихи были на даче родителей близ станции Столбовой. «Под парком вилась небольшая речка, вся в крутых водороинах, – вспоминал поэт. – Над одним из омутов полуоборвалась и продолжала расти в опрокинутом виде большая старая береза. Зеленая путаница ее ветвей представляла висевшую над водой воздушную беседку. В их крепком переплетении можно было расположиться сидя и полулежа. Здесь я обосновал своей рабочий угол. В гуще дерева я в течение двух или трех летних месяцев написал стихотворения своей первой книги. Книга называлась до глупости притязательно „Близнец в тучах“, из подражания космологическим мудреностям, какими отличались книжные заглавия символистов и названия их издательств. Писать эти стихи, перемарывать и восстанавливать зачеркнутое было глубокой потребностью и доставляло ни с чем не сравнимое, до слез доводящее удовольствие. Я старался избегать романтического наигрыша, посторонней интересности. Мне не требовалось громыхать их с эстрады, чтобы от них шарахались люди умственного труда, негодую: „Какое падение! Какое варварство!“ Мне не надо было, чтобы от их скромного изящества мерли мухи и дамы профессорши, после их чтения в

кругу шести или семи почитателей, говорили: „Позвольте пожать вашу честную руку“. Я не добивался отчетливой ритмики, плясовой или песенной, от действия которой почти без участия слов, сами собой начинают двигаться ноги и руки Я ничего не выражал, не отражал, не отображал, не изображал. Впоследствии, ради ненужных сближений меня с Маяковским, находили у меня задатки ораторские и интонационные. Это неправильно. Их у меня не больше, чем у всякого говорящего. Совсем напротив, моя постоянная забота обращена была на содержание, моя постоянная мечта, чтобы само стихотворение нечто содержало, чтобы оно содержало новую мысль или новую картину. Чтобы всеми своими особенностями оно было вгравировано внутрь книги и говорило с ее страниц всем своим молчанием и всеми красными строками своей черной, бескрасочной печати...»

В 1917 году вышел сборник стихов «Поверх барьеров».

К этому времени из литературной группы поэта Ю. Анисимова Пастернак перешел в «Центрифугу», близкую к футуристам. Некоторое время примыкал к литературному объединению ЛЕФ, но это скорее определялось его дружескими отношениями с В. Маяковским. Когда в 1922 году вышла книга «Сестра моя жизнь», Пастернак получил настоящую известность. Тогда же в альманахе «Наши дни» появилась повесть «Детство Люверс». Одна за другой выходили в эти годы сборники его стихов – «Темы и вариации», «Второе рождение», «На ранних поездах», «Когда разгуляется», роман в стихах «Спекторский», поэмы «Девятьсот пятый год» и «Лейтенант Шмидт», наконец, вышла еще одна книга прозы «Охранная грамота».

Т. В. Иванова (жена писателя Всеволода Иванова) в своих записках отметила характерную для Пастернака чрезвычайно преувеличенную манеру отвечать на все встречные душевные движения. «Дело происходило в 1933 году, – вспоминала она. – Мы встретились в гостях у Сергея Буданцева. Тогда мы со Всеволодом только что вернулись из первой нашей совместной заграничной поездки. Всех присутствующих очень интересовали наши рассказы. Но Борис Леонидович, всегда так живо на все откликнувшийся, был неузнаваем. Он ничего не видел и никого не слышал, кроме Зинаиды Николаевны (его новой женой). Он глаз с нее не спускал, буквально ловил на лету каждое ее движение, каждое слово. Она была очень хороша собой. Но покоряла даже не столько ее яркая внешность жгучей брюнетки, сколько неподдельная простота и естественность в обращении с людьми... Когда мы собрались уходить, я услышала, что Вера Васильевна (жена Буданцева) предлагает Зинаиде Николаевне и Борису Леонидовичу остаться у них ночевать. Меня удивило не то, что Вера Васильевна оставляет москвичей, а то, что в буданцевских двух комнатах ни дивана, ни кушетки, вообще нет никакого другого ложа, кроме супружеской двуспальной кровати. Видимо, прочитав удивление в моих глазах, Зинаида Николаевна очень просто сказала: „А нам с Боренькой ведь все равно, на чьем полу ночевать. У нас сейчас своего угла нет. Так вот и ночуем“. Бориса Леонидовича эти слова привели в неистовый восторг, он бросился целовать руки сперва Зинаиде

Николаевне, благодаря ее за то, что она такая чудесная, потом Вере Васильевне за то, что она их понимает и оставляет у себя, а под конец и мне, вовлекая и меня тоже в круг своего ликования, за что-то благодаря и меня...»

В 1934 году состоялся первый Всесоюзный съезд советских писателей. «Он (Пастернак) сидел в президиуме и все время восхищенно улыбался, – вспоминал Эренбург. – Когда пришла делегация метростроевцев, он вскочил – хотел взять у одной из девушек тяжелый инструмент; она рассмеялась, рассмеялся и зал. А Пастернак, выступая, начал объяснять: „И когда я в безотчетном побуждении хотел снять с плеча работницы Метростроя тяжелый забойный инструмент, названия которого я не знаю, мог ли знать товарищ из президиума, высмеявший мою интеллигентскую чувствительность, что в этот миг она в каком-то мгновенном смысле была сестрой мне и я хотел помочь ей как близкому и давно знакомому человеку...“

В конце тридцатых, когда ожесточенной идеологической проработке подвергся целый ряд советских поэтов и прозаиков, Пастернак почти целиком ушел в переводы. «Личное творчество кончилось». Много сил отдал Пастернак драмам Шекспира («Гамлет», «Ромео и Джульета», «Антоний и Клеопатра», «Отелло», «Король Лир», «Генрих XIV», «Макбет»), грузинским поэтам – Н. Бараташвили, А. Церетели, Г. Леонидзе, Т. Табидзе, С. Чиковани, П. Яшвили. Работая, основное время проводил вне Москвы – в дачном поселке Переделкино. «Борис Леонидович очень любил земляные работы, – вспоминала Иванова. – Он вообще уважал физический труд и для самого себя всегда считал его обязательным. На его дачном участке было знаменитое картофельное поле, которое он регулярно сам обрабатывал. Ритм его жизни был примерно таков: утром работа умственная, творческая. Перед обедом работа на картофельном поле. Потом душ (в саду под открытым небом в специально сделанной для этого фанерной загородке), обед, и опять работа кабинетная. Перед поздним ужином непременно прогулка...»

В военные годы продолжал переводить – Гёте, Шелли, Китса, Верлена, Петефи. В августе 1943 года выезжал на фронт – в составе бригады, готовившей книгу о битве за Орел. После войны какое-то время Пастернаку казалось, что обстановка в стране начинает меняться к лучшему, однако Постановление ЦК партии о журналах «Звезда» и «Ленинград» сразу и напрочь отмело все его иллюзии, и поэт вернулся к давно задуманному им и даже уже начатому роману. Он издавна считал, что «стихи должны уравновешиваться и идти рядом с большой прозой. Им должна сопутствовать новая, требующая точности и все еще не нашедшая ее мысль, собранное, не легко давшееся поведение, трудная жизнь». Другими словами, уже в те годы он смотрел на свою прозу не просто как на писательский долг, а как на некий совершенно необходимый поступок, как на некое исполнение высшего духовного замысла. «Поначалу устраивались обсуждения новой прозы и даже споры, – вспоминала Иванова. – Всеволод

(Иванов) упрекнул как-то Бориса Леонидовича, что, после своих безупречных стилистически произведений: „Детство Люверс“, „Охранная грамота“ и других, он позволяет себе теперь небрежение стилем. На это Борис Леонидович возразил, что он „нарочно пишет почти как Чарская“, его интересуют в данном случае не стилистические поиски, а „доходчивость“, он хочет, чтобы его проза читалась „взахлеб любым человеком“, „даже портнихой, даже судомойкой“. Тут, конечно, не без противоречия с действительностью, – замечала Иванова. – Стилистка – стилистикой, но как быть со сложным философским содержанием? Доступно ли оно „любому“ читателю?». Увлечение Пастернака прозой было таким сильным, добавляла Иванова, что он всерьез развивал странную теорию о необходимости издания всех его ранних стихов с построчным их прозаическим разъяснением. Скажем, слева – стихотворение, а справа – прозаическое его переложение.

Осенью 1946 года в редакции журнала «Новый мир» Пастернак познакомился с Ольгой Ивинской. «Она и есть Лара моего произведения, которое я именно в это время начал писать», – признавался Пастернак в письме к Р. Швейцер. Дружба с Ивинской помогла Пастернаку пережить нападки, которым он беспрестанно подвергался с конца сороковых годов. Время от времени нападки становились столь жесткими, что знакомые звонили на квартиру Пастернака специально, чтобы услышать его голос: значит, не арестован. Впрочем, двойственность личной жизни очень мучила поэта. В августе 1949 года он жаловался сестре: «У меня была одна новая большая привязанность, но так как моя жизнь с Зиной настоящая, мне рано или поздно надо было первую пожертвовать, и, странное дело, пока все было полно терзаний, раздвоения, укорами больной совести и даже ужасами, я легко сносил, и даже мне казалось счастьем все то, что теперь, когда я целиком всею своею совестью безвыходно со своими, наводит на меня безутешное уныние: мое одиночество и хождение по острию ножа в литературе, конечная бесцельность моих писательских усилий, странная двойственность моей судьбы „здесь“ и „там“ и пр. и пр. Тогда я писал первую книгу романа и переводил „Фауста“, среди помех и препятствий, с отсутствующей головой, в вечной смене трагедий с самым беззаботным ликованием, и все мне было трын-трава и казалось, что все мне удастся...»

К сожалению, личная проблема разрешилась вне воли Пастернака, самым обыкновенным для того времени образом: 6 октября 1949 года Ивинскую арестовали. «Ее посадили из-за меня, – был уверен поэт, – как самого близкого мне человека, чтобы на мучительных допросах добиться от нее достаточных показаний для моего судебного преследования. Ее героизму и выдержке я обязан своей жизнью и тому, что меня в те годы не трогали...» Правда, Л. К. Чуковская, например, отзывалась об Ивинской гораздо жестче, об этом можно прочесть в ее дневниках...

На свободу Ивинская вышла только после смерти Сталина – осенью 1953 года. Выразительную сцену, посвященную вечеру венгерских переводов,

состоявшемся в январе 1948 года, оставила в своих дневниках Чуковская. «В перерыве Пастернак снова подошел к нам. Не к нам – к Ольге Всеволодовне. Он говорил только с нею, смотрел только ей в лицо, но говорил так громко, будто обращался по-прежнему ко всему залу. (Люди в это время – кто стоял, кто сидел, кто уходил покурить. Но оборачивались.) Длился монолог Пастернака. Лицо у него было мученическое. Он произносил слова с такой глубиной искренности, что казался позирующим или нарочито изображающим искренне исповедующегося человека в каком-то спектакле. Я подумала: „Он сейчас заплачет“. Об этом он и заговорил. „Я – человек отвратительный, – сказал он. – Мне на пользу только дурное, а хорошее во вред. Моему организму вредно хорошее. Право, я словно рак, который хорошеет в кипятке. Случается вот что: я читаю и вдруг вижу у всех в глазах, что они понимают меня, что они видят своими глазами все, про что я говорю. И у меня сразу начинает першить в горле от слез... – Он пошевелил пальцами в воздухе, стараясь показать, как першит. – Читать надо с легкостью, как бы шутя, а я так не могу... Мне мешают слезы...“ Он вцепился в обе руки Ольги Всеволодовны. Их лица были почти на одном уровне, и страшно было видеть ее раскрашенность рядом с его обнаженностью...»

Осенью 1954 года по Москве распространились слухи о якобы присужденной Пастернаку Нобелевской премии. «Такие же слухи ходят и здесь, – нервно писал сам Пастернак О. М. Фрейденберг. – Я – последний, кого они достигают, я узнаю о них после всех, из третьих рук. „Бедный Боря, – подумаешь ты, – какое нереальное, жалкое существование, если ему некуда обратиться по тому поводу и негде выяснить истину!“ Но ты не представляешь себе, как натянуты у меня отношения с официальной действительностью и как страшно мне о себе напоминать. При первом движении мне вправе задать вопросы о самых основных моих взглядах, и на свете нет силы, которая заставила бы меня на эти вопросы ответить, как отвечают поголовно все. И это все обостряется и становится страшнее, чем сильнее, счастливее, плодотворнее и здоровее делается в последнее время моя жизнь... Я скорее опасался, – добавлял он, – как бы эта сплетня не стала правдой, чем этого желал, хотя ведь это присуждение влечет за собой обязательную поездку за получением награды, вылет в широкий мир, обмен мыслями, – но ведь опять-таки не в силах был бы я свершить это путешествие обычной заводной куклою, как это водится, а у меня жизнь своих, недописанный роман, и как бы все это обострилось!.. Вот ведь вавилонское пленение!.. По-видимому, Бог миловал, эта опасность миновала... Я горжусь одним: ни на минуту не изменило это течения часов моей простой, безымянной, никому не ведомой трудовой жизни. Чувство чего-то нависающего, какой-то predetermined неожиданности не покидает меня, без вреда для меня, то есть не волнуя и не производя во мне опустошительного смятения, но все время поторапливая меня и держа все время начеку...»

В мае 1956 года рукопись законченного, наконец, большого романа «Доктор Живаго» была передана поэтом миланскому издателю Дж. Фельтри нелли. 1 сентября К. И. Чуковский записал в дневнике: «Был вчера у Федина. Он сообщил мне под большим секретом, что Пастернак вручил свой роман какому-то итальянцу, который намерен издать его за границей. Конечно, это будет скандал: „Запрещенный большевиками роман Пастернака“. Белогвардейцам только этого и нужно. Они могут вырвать из контекста отдельные куски и состряпать „контрреволюционный роман Пастернака“. С этим романом большие пертурбации: Пастернак дал его в „Литературную Москву“. Казакевич, прочтя, сказал: „Оказывается, судя по роману, Октябрьская революция – недоразумение и лучше было ее не делать“. Рукопись возвратили. Он дал ее в „Новый мир“, а заодно и написанное им „Предисловие“ к сборнику его стихов. Кривицкой склонялся к тому, что „Предисловие“ можно напечатать с небольшими купюрами, но когда Симонов прочел роман, он отказался печатать и „Предисловие“: „Нельзя давать трибуну Пастернаку!“ Возник такой план: чтобы прекратить все кривотолки (за границей и здесь) тиснуть роман в 3 тысячах экземпляров и сделать его таким образом недоступным для масс, заявив в то же время: у нас не делают Пастернаку препон...» Однако отдельного издания (даже мизерным тиражом) не последовало, а «Новый мир» от публикации категорически отказался. Письмо об отказе подписали члены редколлегии – Б. Агапов, Б. Лавренев, К. Федин, К. Симонов и А. Кривицкий. Припомнили Пастернаку даже давние стихи его, будто бы характеризующие его отношение к действительности: «В кашне, ладонью затворясь, сквозь фортку крикну детворе: какое, милые, у нас тысячелетье во дворе?». Под все усиливающимся внешним давлением, в августе 1957 года Пастернак обратился с письмом к заведующему идеологическим отделом ЦК КПСС Д. А. Поликарпову: «Люди, нравственно разборчивые, никогда не бывают довольны собой, о многом сожалеют, во многом раскаиваются. Единственный повод, по которому мне не в чем раскаиваться в жизни, это роман. Я написал то, что думаю, и по сей день остаюсь при этих мыслях. Может быть, ошибка, что я не утаил его от других. Уверяю Вас, я бы его скрыл, если б он был написан слабее. Но он оказался сильнее моих мечтаний, сила же дается свыше, и, таким образом, дальнейшая его судьба не в моей воле. Вмешиваться в нее я не буду. Если правду, которую я знаю, надо искупить страданием, это не ново, и я готов принять любое».

15 ноября 1957 года роман «Доктор Живаго» вышел в Италии. Факт этот произвел чрезвычайное впечатление, как в СССР, так и за рубежом. В июле 1958 года Пастернак, говоря о романе, признался В. В. Иванову: «Я давно и долго, еще во время войны, томился благополучно продолжающимися положениями стихотворчества, литературной деятельности и имени, как непрерывным накоплением промахов и оплошностей, которым хотелось положить разительный и ощущаемый, целиком перекрывающий конец, которые требовали расплаты и удовлетворения, чего-то сразу сокрушающего

привычные для тебя мерил, как, например, самоубийства в жизни других или политические судебные приговоры, – тут не обязательно было, чтобы это была трагедия или катастрофа, но было обязательно, чтобы это круто и крепко отменяло все нажитые навыки и начинало собою новое, леденяще и бесповоротно, чтобы это было вторжение воли в судьбу, вмешательство души в то, что как будто обходилось без нее и ее не касалось... Я не говорю, что роман нечто яркое, что он талантлив, что он – удачен. Но это – переворот, это – принятие решения, это было желание начать договаривать все до конца и оценивать жизнь в духе былой безусловности, на ее широчайших основаниях. Если прежде меня привлекали разностопные ямбические размеры, то роман я стал, хотя бы в намерении, писать в размере мировом. И, – о, счастье, – путь назад был раз навсегда отрезан...»

В 1958 году Пастернаку была присуждена Нобелевская премия. Реакция на решение Нобелевского комитета последовала в СССР незамедлительно: уже в октябре поэта исключили из Союза писателей, а Президиум СП пошел еще дальше – потребовал лишить Пастернака советского гражданства. «Я не знаю, что меня ждет, – писал Пастернак поэтессе Е. А. Благиной, – вероятно, время от времени какие-то друг за другом следующие неожиданности будут в том или ином виде отзываться на мне, но сколько бы их ни было и как бы они ни были тяжелы или даже, может быть, ужасны, они никогда не перевесят радости, которой никакая вынужденная моя двойственность не скроет, что по слепой игре судьбы мне посчастливилось высказаться полностью, и то самое, чем мы так привыкли жертвовать и что есть самое лучшее в нас, художник оказался в моем случае незатертым и нерастоптанным...»

«Гордая и независимая позиция, – вспоминал сын поэта, Евгений Борисович, – помогала Пастернаку в течение первой недели выдерживать все оскорбления, угрозы и анафемствования печати. Он беспокоился, нет ли каких-нибудь неприятностей у меня на работе или у Лени (сына) в университете. Мы всячески успокаивали его. От Эренбурга я узнавал и рассказывал отцу о том, какая волна поддержки в его защиту всколыхнулась в эти дни в западной прессе. Но это перестало его интересовать 29 ноября, когда, приехав в Москву и поговорив по телефону с Ивинской, он пошел на телеграф и отправил телеграмму в Стокгольм: „В силу того значения, которое получила присужденная мне награда в обществе, к которому я принадлежу, я должен от нее отказаться, не примите за оскорбление мой добровольный отказ“. Другая телеграмма была послана в ЦК КПСС: „Верните Ивинской работу, я отказался от премии“. – „Конец его жизни был омрачен его триумфом“, – сумрачно заметил поэт К. Ваншенкин.

Умер 30 мая 1960 года в Переделкино.
Александр Трифонович Твардовский

Родился 8 (21) июня 1910 года на хуторе пустоши Столпово – на Смоленщине.

«Стихи писать начал до овладения первоначальной грамотой, – вспоминал поэт. – Хорошо помню, что первое мое стихотворение, обличающее моих сверстников, разорителей птичьих гнезд, я пытался записать, еще не зная всех букв алфавита и, конечно, не имея понятия о правилах стихосложения. Там не было ни лада, ни ряда – ничего от стиха, но я отчетливо помню, что было страстное, горячее до сердцебиения желание всего этого – и лада, и ряда, и музыки, – желание родить их на свет – и немедленно, – чувство, сопутствующее и доныне всякому новому замыслу. Что стихи можно сочинять самому, я понял в связи с тем, что гостивший у нас в голодное время летом дальний наш родственник по материнской линии, хромой гимназист, как-то прочел по просьбе отца стихи собственного сочинения „Осень“: «Листья давно облетели, и голые сучья торчат...» Строки эти, помню, потрясли меня тогда своей выразительностью – это было так просто, обыкновенные слова, которые говорятся всеми, но это были стихи, звучащие, как из книги. По-разному благосклонно и по-разному с тревогой относились мои родители к тому, что я стал сочинять стихи. Отцу, человеку очень честолобивому, это было лестно, но из книг он знал, что писательство не сулит больших выгод, что писатели бывают и не знаменитые, безденежные, живущие на чердаках и голодающие. Мать, видя мою приверженность к таким необычным занятиям, по-своему чуяла в них некую печальную предназначенность моей судьбы и жалела меня. Лет тринадцати я как-то показал свои стихи одному молодому учителю. Ничуть не шутя, он сказал, что так теперь писать не годится: все у меня до слова понятно, а нужно, чтобы ни с какого конца нельзя было понять, что и про что в стихах написано, – таковы современные литературные требования. Он показал мне журналы с некоторыми образцами тогдашней – начала двадцатых годов – поэзии. Какое-то время я упорно добивался в своих стихах непонятности. Это долго не удавалось мне, и я пережил тогда, пожалуй, первое по времени горькое сомнение в своих способностях. Помнится, я, наконец, написал что-то уж настолько непонятное ни с какого конца, что ни одной строчки вспомнить не могу оттуда и не знаю даже, о чем там шла речь. Помню лишь факт написания чего-то такого...»

В 1923 году Твардовский пошел в среднюю школу, расположенную в селе Белый холм. Здесь он вступил в комсомол, активно писал и отправлял небольшие заметки в редакции смоленских газет. Заметки эти касались дел самых обыкновенных, но они-то и казались тогда Твардовскому самыми важными. «Таких, как я, полуголодных, без копейки в кармане молодцов, – вспоминал он, – и без меня хватало. Притащишь пять строчек в хронику о том, что на Рачевке лопнул водопровод, не успел секретарь сдать в набор, глядишь, другой волокет, что его починили. Значит, опять, подвернув штаны, носись как оголтелый по грязи, выуживая городскую новость, происшествие... Повезло мне летом. Местные газетные зубры разъехались по отпускам, и мне доверили серьезное дело – послали в район освещать один шумный по тем временам процесс... Тут меня начали печатать из номера в

номер. Да еще стишок удалось тиснуть. И когда я под будущий гонорар, который мне представлялся несметным, а всего, кажется, набралось рублей двадцать, попросил у ответственного секретаря взаймы, он сказал: „Не дам. Не хочу заискивать перед твоим будущим“.

В 1926 году на совещании рабселькоров, проходившем в Смоленске, Твардовский познакомился с поэтом Михаилом Васильевичем Исаковским, а в 1927 году побывал на Первом губернском съезде пролетарских писателей. Он даже до Москвы доехал в том году, но закрепиться в столице не смог. Не смог он и оставаться и дома – из-за полного разлада с родителями. В итоге в феврале 1928 года окончательно перебрался в Смоленск.

В Смоленске работало много литературных объединений, творческих кружков, в конце 1927 года там открылся филиал РАПП – западная областная ассоциация пролетарских писателей. Много дала поэту дружба с Исаковским. Он, может быть, единственный из советских поэтов, признавался позже Твардовский, чье непосредственное влияние он всегда признавал и считал благотворным. «Когда в московском „толстом“ журнале „Октябрь“ М. А. Светлов напечатал мои стихи и кто-то где-то отметил их в критике, я заявился в Москву, – вспоминал позже Твардовский. – Но получилось примерно то же, что и в Смоленске. Меня изредка печатали, кто-то одобрял мои опыты, поддерживал ребяческие надежды, но зарабатывал я ненамного больше, чем в Смоленске, и жил по углам, койкам, слонялся по редакциям, и меня все заметнее относил куда-то в сторону от прямого и трудного пути настоящей учебы, настоящей жизни. Зимой тридцатого года я вернулся в Смоленск...»

К этому моменту родители Твардовского были раскулачены и высланы из родного села – за невыполнение индивидуального твердого задания, наложенного властями. Правда, у молодого поэта начали выходить книги. Например, поэму «Путь к социализму», вышедшую в 1930 году, оценил даже такой далекий от Твардовского поэт как Багрицкий. «Мне кажется, – писал он в отзыве для издательства „Молодая гвардия“, – что поэма Твардовского – единственное в настоящее время художественное произведение, в котором актуальная тема дана в настоящем поэтическом освещении. Абсолютная простота ее, разговорный язык, которым она написана, ритмическое разнообразие ее – все это делает поэму весьма понятной массовому читателю».

В 1932 году, после выхода в свет поэмы «Вступление» и книги прозы «Дневник председателя колхоза», Твардовский с помощью партийного работника А. Н. Локтева поступил в Смоленский педагогический институт – без приемных испытаний, но с обязательством сдать в первый год все необходимые предметы за среднюю школу. «Мне удалось в первый же год выровняться с моими однокурсниками, успешно закончить второй курс, с третьего я ушел по сложившимся обстоятельствам и доучивался уже в московском институте истории, философии и литературы, куда поступил осенью тридцать шестого года...»

В Смоленске Твардовский начал работу над поэмой «Страна Муравия». Толчком к работе послужила опубликованная в октябре 1934 года речь А. Фадеева. Твардовский записал в дневнике: «Возьмите 3-й том „Брусков“ – „Твердой поступью“, – (сказал в своей речи Фадеев). – Там есть одно место о Никите Гурьянове, середняке, который, когда организовали колхоз, не согласился идти в колхоз, запряг клячонку и поехал на телеге по всей стране искать, где нет индустриализации и коллективизации. Он ездил долго, побывал на Днепрострое, на Черноморском побережье, все искал места, где нет колхоза, нет индустрии, – не нашел. Лошаденка похудела, он сам осунулся и поседел. Оказалось, что у него нет другого пути, кроме колхозного, и он вернулся к себе в колхоз в тот самый момент, как председатель колхоза возвращался домой из какой-то командировки на аэроплане. Все это рассказано Панферовым на нескольких страничках среди другого незначительного материала. А между тем можно было бы всего остального не писать, а написать роман именно об этом мужике, последнем мелком собственнике, разъезжающем по стране в поисках угла, где нет коллективного социалистического труда, и вынужденного воротиться в свой колхоз – работать со всеми. Если ввести сюда элементы условности (как в приключениях Дон-Кихота), заставить мужика проехать на клячонке от Ледовитого океана и от Балтийского моря до Тихого океана, из главы в главу сводить его с различными народностями и национальностями, с инженерами и учеными, с аэронавигаторами и полярными исследователями, то, при хорошем выполнении, получился бы роман такой силы обобщения, который затмил бы „Дон-Кихота“, ибо превращение ста миллионов собственников в социалистов более серьезное дело, чем замена феодалов буржуазией...“

«Значение этого совета и призыва старшего писателя, – писал позже Твардовский, – было, конечно, не в том, чтобы я так-таки и вознамерился написать произведение, которое затмил бы „Дон-Кихота“. Кстати сказать, это выражение Фадеева – отголосок наивной „теории“ „догнать и перегнать классиков“, имевшей хождение в те годы в литературных кругах. Дело было просто в том, что я очень горячо воспринял возможность этого сюжета, взятого из книги одного писателя и изложенного в таком духе другим писателем, для выражения того личного жизненного материала, которым я располагал в избытке, для осуществления настоятельной потребности, одолевавшей меня тогда: рассказать, что я знаю о крестьянине и колхозе... Эта история замысла „Муравии“, на мой взгляд, имеет некоторый интерес, хотя бы как один из примеров многообразных связей и взаимовлияний в нашей советской литературе. Мною для „Страны Муравии“ был взят этот сюжетный мотив (мужик, отправляющийся на своем коне в поиски страны, где нет колхозов), хотя далеко не в том плане обширного романа-путешествия, как толковал его Фадеев. Кроме того, взято название „Страна Муравия“ – так у Панферова названа страна, которую искал Никита Гурьянов. Совпадает также имя моего героя с именем Гурьянова, фамилия же –

Моргунок – это прозвище одного крестьянина, жившего в соседней деревне, приятеля моего отца...»

Успех позволил Твардовскому переехать в Москву. В 1938 году он вступил в партию, в 1939 году – был награжден орденом Ленина, а в 1941 году поэма «Страна Муравия» была удостоена Сталинской премии.

Осенью 1939 года Твардовского призвали в армию. Он участвовал в освобождении Западной Белоруссии, затем ушел в запас, но в самом скором времени его вновь призвали и он, уже в офицерском звании, как военный корреспондент, участвовал в войне с Финляндией. «Люди, с которыми за эти месяцы довелось встретиться, – писал он Исаковскому в 1940 году с финского фронта, – и все, что привелось увидеть, сделали из меня почти совсем другого человека. Красную Армию я полюбил так, как до сих пор любил только деревню, колхозы. И, между прочим, много схожего. Мне кажется, что Армия будет второй моей темой на всю жизнь...» А поэтическим итогом военных лет стала для Твардовского знаменитая книга про бойца – «Василий Теркин» (Сталинская премия 1946 года).

Книга про бойца действительно стала всенародным чтением. Отовсюду автор получал сотни, тысячи писем. В далеком Париже обратил внимание на «Василия Теркина» И. А. Бунин, редко кого хваливший. «Дорогой Николай Дмитриевич, – написал он писателю Телешову, – я только что прочитал книгу А. Твардовского и не могу удержаться – прошу тебя, если ты с ним знаком и встречаешься с ним, передать ему при случае, что я (читатель, как ты знаешь, придирчивый, требовательный) совершенно восхищен его талантом, – это поистине редкая книга: какая свобода, какая чудесная удаля, какая меткость, точность во всем, и какой необыкновенный народный, солдатский язык – ни сучка, ни задоринки, ни единого фальшивого, готового, то есть литературно-пошлого слова. Возможно, что он (Твардовский) останется автором только одной такой книги, начнет повторяться, писать хуже, но даже и это можно будет простить ему». В то же время «Василия Теркина» с огромным интересом читали люди, абсолютно неискушенные в литературе: «Начнешь читать товарищам и боишься перелистывать страницу: а ну-ка вся! Я даже рад был бы, если бы на месте иллюстраций было бы написано несколько лишних строк...»

«Теркин – кто же он такой? Скажем откровенно: просто парень сам собой он обыкновенный... Впрочем, парень хоть куда. Парень в этом роде в каждой роте есть всегда, да и в каждом взводе... И чтоб знали, чем силен, скажем откровенно: красотой наделен не был он отменной... Не высок, не то чтоб мал, но герой – героем. На Карельском воевал – за рекой Сестрою...»

«Жанровое обозначение „Книги про бойца“, на котором я остановился, – объяснял Твардовский, – не было результатом стремления просто избежать обозначения „поэма“, „повесть“ и т. п. Это совпадало с решением писать не поэму, не повесть или роман в стихах, то есть не то, что имеет свои узаконенные и в известной мере обязательные сюжетные, композиционные и иные признаки. У меня не выходили эти признаки, а нечто все-таки

выходило, и это нечто я обозначил „Книгой про бойца“. Имело значение в этом выборе то особое, знакомое мне с детских лет звучание слова „книга“ в устах простого народа, которое как бы предполагает существование книги в единственном экземпляре. Если говорилось бывало, среди крестьян, что, мол, есть такая книга, а в ней то-то и то-то написано, то здесь никак не имелось в виду, что может быть другая такая же книга. Так или иначе, но слово „книга“ в этом народном смысле звучит по-особому значительно, как предмет серьезный, достоверный, безусловный. И если я думал о возможной успешной судьбе моей книги, работая над ней, то я часто представлял себе ее изданной в матерчатом мягком переплете, как издаются боевые уставы, и что она будет у солдата храниться за голенищем, за пазухой, в шапке. А в смысле ее построения я мечтал о том, чтобы ее можно было читать с любой раскрытой страницы...»

«Василий Теркин» вызвал массу подражаний. Твардовский получал рукописи, в которых были описаны: Теркин – курсант военного училища, Теркин – зенитчик ПВО, Теркин – демобилизованный, едущий на строительство Братской ГЭС, Теркин – кузнец, Теркин на целине, даже – милиционер. Некоторые из подражаний были напечатаны: в газете «На боевом посту» – «Василий Теркин в ПВО» старшего лейтенанта Е. Чумакова, в Алма-Ате – «Яша Теркин» М. Ивановой, в Харькове – «Теркин в пожарных войсках» безымянного автора. Появлялись публикации и возмущавшие Твардовского, как, скажем, вышедшая в Нью-Йорке книга С. Юрасова «Василий Теркин после войны». В книжке этой автор гадал: «Может, в лагерь посадили – нынче Теркиным нельзя... В сорок пятом, – говорили, – что на Запад подался...»

В 1947 году Твардовский был удостоен очередной Сталинской премии – за поэму «Дом у дороги». Положение поэта было теперь, как никогда, прочным, авторитетным. «Деревенский, хуторской по рождению, детству, – писал о поэте А. Кондратович, – он почти всю свою сознательную жизнь прожил в городах. С восемнадцати лет. А в Москве с двадцати шести. Но деревенское в нем чувствовалось – в поведении, в привычках, иногда чуть ли не детски наивных, странных. Он, например, очень остерегался переходить улицы. Минутами ждал, пока все до одной машины пройдут, даже там, где и движения-то особого не было, и это было странно для человека, десятилетиями жившего в Москве. По-видимому, от крестьянского детства была в нем и нелюбовь ко всему рубленному и фаршированному, любил заходить не в рестораны, а в простые кафе, столовки и всегда брал кусок мяса или вареное яйцо. Русская деревня никогда не знала рубленых бифштексов и фаршированных рыб. Любимой едой было деревенское сало. „Помню, – говорил он, – во время войны достал я большой, с килограмм, шмат сала и заявился к Алексею Толстому. Ах, до чего и хорошо мы с ним выпили под это сало“, – и весь сиял от одного воспоминания. А в застолье любил попеть, непременно попеть – и это тоже оттуда, из деревни, народная привычка; теперь что-то не слышно, чтобы интеллигенция пела за столом. А

он, пока был здоров, всегда любил петь и знал всякие песни – и русские, и украинские, и белорусские, некоторые пел на свой мотив, приговаривая: „Так мой отец пел“, или „Так мать пела“, или „Так у нас пели“, и несказанно был доволен и песней, и самой возможностью спеть, излить, как говорили встарь, душу...»

С начала 1950 года по 1954 год, а затем с 1958 года по 1970 год Твардовский возглавлял журнал «Новый мир». Немало советских писателей получили известность именно в журнале Твардовского. Звездным стал одиннадцатый номер журнала за 1962 год, – благодаря повести А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Начинали в «Новом мире» или многим оказались обязанными ему – Ф. Абрамов, Б. Можаяев, Ю. Трифонов, Г. Бакланов, В. Некрасов, Ч. Айтматов, В. Астафьев, В. Белов, В. Шукшин, В. Тендряков, Ю. Домбровский, Ю. Бондарев.

Казалось бы, поэту не о чем было беспокоиться, но прошлое нет-нет да напоминало о себе и в эти годы. «При уточнении биографических данных в связи с обменом партдокументов, – писал он в заявлении, поданном в ЦК КПСС, – я обратил внимание на то, что в графе „социальное происхождение“ указано, что родители мои в пооктябрьское время были кулаками. В беседе с секретарем Краснопресненского РК КПСС и в письме, адресованном бюро РК, я просил изменить обозначение „кулаки“, мотивируя эту просьбу, во-первых, несоответствием этого обозначения действительности, так как в хозяйстве моего отца, административно высланного в 1931 г. за невыполнение „твердого задания“, никогда не применялся наемный труд, и, во-вторых, тем, что это обозначение противоречит утверждению многочисленных биографических справок в печати, что я сын крестьянина-кузнеца». Одновременно с заявлением Твардовский отправил письмо на имя секретаря Смоленского обкома КПСС П. И. Доронина с просьбой выяснить этот вопрос по документам сельсовета и района, в котором проживала семья отца. Писатель В. Овечкин сообщал поэту из Смоленска: «Доронин при мне получил твое письмо. Читал его и я. Он дал указание в район, чтобы там разобрались с делом по-человечески, без формализма. И то, что ему сообщили уже из района, по-видимому, соответствует полностью изложенному тобою в письме. Ждет бумагу из района, будет звонить Фурцевой...»

«Сколько людей, – писал Кондратович, – удивлялись и даже слушали меня с недоверием, когда я говорил, с каким трудом поднимался Твардовский в любую зарубежную поездку. И какие переживания были – и все неприятные. Странно? Непонятно?... Мне тоже вначале, когда я увидел такие сборы за рубеж, это показалось странным и непонятным. Никак он не хотел ехать, и куда? – в Англию, – где никогда, кстати, до этого не был. Господи, да сколько людей хотело бы посмотреть эту Англию, а тут посылают – и упирается, все еще надеется, что командировка как-нибудь сорвется, отпадет, отменят... Сам он объяснял это так: „Быть в стране, не зная ее языка, все равно, что читать книгу с неразрезанными страницами“. Говорил и крепче: „Еще до

поездки за границу я начинаю испытывать такую муку глухоты и немоты, такое безъязычие, что пропадает всякое желание ехать“. Но думается, что причина все же глубже: он ведь и в нашей стране не везде стремился побывать, хотя где же у нас может встать проблема безъязычия? Средняя Азия для него как бы не существовала: и мысли не держал съездить туда. Бывал на Кавказе, и много раз, но только в Грузии. Понятно: отдыхал в тех местах. А вот на Дальнем Востоке, хотя был там дважды, надеялся еще раз побывать. И в Якутию хотел еще раз съездить. Как-то размечтался: „Мне бы надо было Колыму посмотреть. Даже не для стихов. „За далью – даль“ я уже написал. И Камчатку... Что-то я бы оттуда для себя привез, потому что много раз в мыслях своих уже бывал там...“ Вот в чем суть: его особенно интересовало то, что он уже знал и что хотел увидеть в новых, неизвестных ему условиях, новой, неизвестной ему обстановке – русская жизнь в ее неведомых ему проявлениях, о которых он мог слышать, но сам хотел их увидеть. Имел представление, но сам желал убедиться в нем. Даже знал, но хотел еще больше знать. Именно здесь – в жизни своего народа, говорящего на понятном ему русском языке, он чувствовал свою постоянную и неисчерпаемую золотую жилу. Ограниченность ли это? Не думаю... Скорее особенность таланта, всегда писавшего только о том, что он уже хорошо знает...»

В 1961 году Твардовский был удостоен Ленинской премии за поэму «За далью – даль». А в августе 1963 года в газете «Известия» появилась сатирическая поэма Твардовского «Теркин на том свете», сразу вызвавшая весьма острые споры. Твардовский даже вынужден был объясняться: «Поэма „Теркин на том свете“ не является продолжением „Василия Теркина“, а лишь обращается к образу героя „Книги про бойца“ для решения особых задач сатиры-публицистического жанра. Всякий, кто без предубеждения прочтет поэму, увидит, что в ней в сказочно-условной форме речь идет о том, как герой попадает „на тот свет“, представляющий собою в сатирических красках те черты нашей действительности – косность, бюрократизм, формализм, – которые мешают нашему продвижению вперед и борьба с которыми – одна из задач нашей литературы, указанных Программой КПСС. – И наконец: – По сюжету поэмы Теркин, в силу самой сути своего характера, отвергает „тот свет“ и, преодолевая всяческие препятствия и трудности, выбирается оттуда, с тем, чтобы „жить ему еще сто лет“, ибо: «Там, где жизнь, ему привольно, там, где радость, он и рад, там, где боль, ему и больно, там, где битва, он – солдат».

«Непохожее для людей из народа, – всегда был уверен Твардовский, – уже не искусство, поэтому всякое искажение природы и воспринимается ими прежде всего как не искусство. Помню, в детстве я нашел в кустах на болоте огромную роскошную книгу в красном сафьяновом переплете, с золотым обрезом. Много лет спустя я сообразил, что это была поэма Мильтона „Потерянный и возвращенный рай“ на французском языке. Книга была, конечно, брошена кем-то после разгрома ближайшей к нам Лиховской

усадыбы. Читать я ее не мог, а вот рисунки, прекрасные рисунки Доре произвели на меня сильное впечатление. Такое сильное, что я, рискуя сломать шею, много раз летал с балки пуни на сено вниз головой, развернув локти врозь, точно так, как это делали черти у Доре, когда их низвергали с небес в преисподнюю. Но был там один рисунок, который и тогда вызывал у меня чувство неловкости: на одной из картинок полуголый лысый старик (должно быть, Ной) что-то пилил обыкновенной одноручной пилой. И держал он эту пилу за верхний угол станка. Мне, ребенку, было ясно, что так он и одного раза не сможет двинуть пилой. Как же художник мог нарисовать?... Это меня просто угнетало, потому что было так непохоже на то, как держал пилу отец, другие взрослые... И помню, я даже жалел художника, что он не видел, как по-настоящему держат пилу, и оттого неверно нарисовал... Наверное, с той поры я и понял, что самое опасное в искусстве – это вранье...»

В 1967 году Твардовский был удостоен Государственной премии СССР – за книгу «Из лирики этих лет». Секретарь правления Союза писателей СССР с 1950 по 1954, затем с 1959 по 1971 годы. Участвовал в работе трех съездов КПСС, в 1961 году выдвигался кандидатом в члены ЦК. Творческие планы Твардовского были обширны, но, к сожалению, здоровье его было подорвано прожитыми годами, болезнью и злоупотреблением алкоголя – вечной беды русских писателей.

Умер 18 декабря 1971 года на дачном поселке близ Красной Пахры.

Похоронен в Москве.

Константин (Кирилл) Михайлович Симонов

Родился 15 (28) ноября 1915 года в Петрограде.

Детство провел в Саратове и в Рязани. «Мать работала то машинисткой, то делопроизводителем, а отчим, в прошлом участник японской и германской войн, был преподавателем тактики в военном училище. Наша семья жила в командирских общежитиях. Военный быт окружал меня, соседями были тоже военные да и сама жизнь училища проходила на моих глазах. За окнами, на плацу, производились утренние и вечерние поверки. Мать участвовала вместе с другими командирскими женами в разных комиссиях содействия; приходившие к родителям гости чаще всего вели разговоры о службе, об армии. Два раза в месяц я, вместе с другими ребятами, ходил на продсклад получать командирское довольствие...».

Окончил семилетку и фабрично-заводское училище в Саратове, работал токарем. Осенью 1931 года с родителями переехал в Москву. «В эти же годы стал понемногу писать стихи. Мне случайно попала книжка сонетов французского поэта Эредиа „Трофеи“ в переводах Глушкова-Олерона. Затрудняюсь объяснить теперь, почему эти холодновато-красивые стихи произвели на меня тогда настолько сильное впечатление, что я написал в подражание им целую тетрадку собственных сонетов. Но, видимо, именно они побудили меня к первым прозам пера. Вскоре, после того как я одним

духом одолел всего Маяковского, родилось мое новое детище – поэма в виде длиннейшего разговора с памятником Пушкину. Вслед за ней я довольно быстро сочинил другую поэму, из времен гражданской войны. И постепенно пристрастился к сочинению стихов, – иногда они получались звучные, но в большинстве подражательные. Стихи нравились моим родным и товарищам по работе, но я сам не придавал им серьезного значения...»

Весной 1934 года в сборнике молодых поэтов «Смотр сил» появились отрывки из поэмы Симонова «Беломорканал». «Летом, – вспоминал поэт, – получив отпуск, я решил поехать на Беломорканал, чтобы увидеть своими глазами то, о чем я писал стихи, пользуясь чужими газетными статьями. Когда я робко заговорил об этом в консультации Гослитиздата, меня неожиданно поддержали не только морально, но и материально. В секторе культмассовой работы нашлись деньги для этой поездки, и через несколько дней, получив триста рублей и добавив их к своим отпускным, я поехал в Медвежью Гору, где помещалось управление так называемого Белбалтлага, занимавшегося достройкой ряда сооружений канала. В кармане у меня лежала справка, в которой значилось, что Симонов Кирилл Михайлович (Константин – имя литературное) – молодой поэт с производства – направляется для сбора материала о Беломорканале и что культмассовый сектор Гослитиздата просит оказать означенному поэту всяческое содействие... На Беломорканале я пробыл месяц. Большую часть времени жил на одном из лагерных пунктов неподалеку от Медвежьей горы. Мне было девятнадцать лет, и в том бараке, где я пристроился в каморке лагерного воспитателя (тоже, как и все остальные, заключенного), никто, конечно, не принимал меня всерьез за писателя. Персона моя никого не интересовала и не стесняла, и потому люди оставались сами собой. Когда я рассказывал о себе и о том, что хочу написать поэму про Беломорканал (а я действительно хотел написать вместо прежней новую), к этому относились с юмором и сочувствием, хлопали по плечу, одобряли: давай пробивайся!».

«Возвращаясь к саратовским годам – к тридцатому, к тридцать первому, – писал Симонов в известных размышлениях „Глазами человека моего поколения“, – вспоминаю какие-то подробности, говорящие мне сейчас о том, что в воздухе витало разное. Запомнилась какая-то частушка того времени: «Ой, калина-калина, шесть условий Сталина, остальные – Рыкова и Петра Великого». Я ее петь – не пел, но слышать – слышал. Значит, кто-то ее пел, как-то она переносилась. Было в воздухе такое, было и другое. Помню кем-то, кажется, в ФЗУ, показанную мне бумажку, вроде листовочки, – трудно сейчас сообразить, просто ли это было рисовано от руки, или переведено в нескольких экземплярах под копирку, или сделано на гектографе, – но ощущение какой-то размноженности этого листочка осталась, во всяком случае. На листке этом было нарисовано что-то вроде речки с высокими берегами. На одном стоят Троцкий, Зиновьев и Каменев, на другом – Сталин, Енукидзе и не то Микоян, не то Орджоникидзе – в общем, кто-то из кавказцев. Под этим текст: «И заспорили славяне, кому

править на Руси». Впрочем, может быть, я и ошибаюсь, может, этот листок показывали мне не в ФЗУ, а еще раньше, в школе. Но было тогда и такое, тоже существовало в воздухе. Но запомнилось как смешное, а не как вошедшее в душу и заставившее задуматься... Не знаю, как другие, а от меня в те годы такое отскакивало. Я был забронирован от этого мыслями о Красной Армии, которая в грядущих боях будет «всех сильнее», страстной любовью к ней, вьевшейся с детских лет, и мыслями о пятилетке, открывавшей такое будущее, без которого жить дальше нельзя, надо сделать все, что написано в пятилетнем плане. Мысли о Красной Армии и о пятилетке связывались воедино капиталистическим окружением: если мы не построим всего, что решили, значит, будем беззащитны, погибнем, не сможем воевать, если на нас нападут, – это было совершенно несомненным. И, может быть, поэтому когда я слышал о борьбе с правым уклоном, кончившейся в тогдашнем моем представлении заменой Рыкова Молотовым, то казалось ясным, что с правым уклоном приходится бороться, потому что они против быстрой индустриализации, а если мы быстро не индустриализуемся, то нас сомнут и нечем будет защищаться, – это самое главное. Хотя в разговорах, которые я слышал, проскальзывали и ноты симпатии к Рыкову, к Бухарину, в особенности к последнему, как к людям, которые хотели, чтобы в стране полегче жилось, чтоб было побольше всего, как к радателям за сытость человека, но это были только ноты, только какие-то отзвуки чужих мнений. Правота Сталина, который стоял за быструю индустриализацию страны и добивался ее, во имя этого спорил с другими и доказывал их неправоту, – его правота была для меня вне сомнений и в четырнадцать, и в пятнадцать, и в шестнадцать лет...»

В сентябре 1934 года Симонов поступил в Литературный институт имени Горького. Учился, продолжая работать – сперва токарем в «Межрабпомфильме», затем на «Техфильме». В 1936 году в журналах «Молодая гвардия» и «Октябрь» появились первые напечатанные стихи Симонова, а в 1938 году отдельной книжкой – поэма о Беломорканале («Павел Черный»). «Вскоре после того как газеты напечатали известие о гибели под Уэской в Испании командира Интернациональной бригады генерала Лукача, я вдруг узнал, что легендарный Лукач – это писатель Мате Залка – человек, которого я не раз видел и которого еще год назад запросто встречал то в трамвае, то на улице... В тот же вечер я сел и написал стихотворение „Генерал“. В нем говорилось о судьбе Мате Залки – генерала Лукача, но внутренне с юношеской прямоотой и горячностью я отвечал сам себе на вопрос – какой должна быть судьба моего поколения в наше революционное время? С кого лепить жизнь?».

В 1938 году Симонова приняли в Союз писателей. Закончив Литературный институт, он поступил в аспирантуру ИФЛИ и летом 1939 года сдал первые три экзамена кандидатского минимума, но началась война с японцами и в августе (по предписанию Политуправления Красной Армии) он уехал на Халхин-Гол, в Монголию, военным корреспондентом. С этого началась

биография Симонова – военная. На следующую войну – финскую – поэт, правда, не попал, поскольку учился на курсах военных корреспондентов при Академии имени Фрунзе, но впереди была главная война – Отечественная. Дух того времени отражен в пьесах Симонова «История одной любви» (1940) и «Парень из нашего города» (1941). Последняя в 1942 году была удостоена Сталинской премии.

«Пьесу „Парень из нашего города“, – вспоминал Симонов, – хотя она была о Монголии и о разгроме японцев, я абсолютно сознательно закончил тем, что ее герои уходят в бой. Закончил не апофеозом, который на самом деле был на Халхин-Голе, а тем моментом, когда самые ожесточенные бои еще продолжались и многое было впереди. Об этом же я говорил на обсуждении моей пьесы за несколько недель до войны, говорил о том, что при всех своих недостатках пьеса написана так, а не иначе, потому что не нынче-завтра нас ждет война. И когда война началась, в то утро ощущение потрясенности тем, что она действительно началась, у меня было, разумеется, как у всех, но ощущение неожиданности происшедшего отсутствовало. Да, конечно, началось внезапно, – а как еще иначе могли начать ее немцы, которые именно так и действовали во всех других случаях раньше, именно так начали и в этот раз...»

В годы войны Симонов был разъездным корреспондентом газеты «Красная звезда». Это не мешало лирике. «Жди меня, и я вернусь. Только очень жди, жди, когда наводят грусть желтые дожди, жди, когда снега метут, жди, когда жара, жди, когда других не ждут, позабыв вчера...» Когда 14 января 1942 года в газете «Правда» появились эти стихи, Симонов поистине в один день стал знаменит. «Я считал, что эти стихи – мое личное дело, – писал он позже. – Но потом, несколько месяцев спустя, когда мне пришлось быть на далеком севере и когда метели и непогода иногда заставляли просиживать сутками где-нибудь в землянке или в занесенном снегом бревенчатом домике, в эти часы, чтобы скоротать время, мне пришлось самым разным людям читать стихи. И самые разные люди десятки раз при свете керосиновой коптилки или ручного фонарика переписывали на клочке бумаги стихотворение „Жди меня“, которое, как мне раньше казалось, я написал только для одного человека...»

Военный корреспондент Симонов побывал почти на всех фронтах. Вместе с наступающей армией прошел Румынию, Болгарию, Польшу, Германию, Югославию. О фронтовых дорогах писал в очерковых книгах – «Письма из Чехословакии», «Славянская дружба», «Югославская тетрадь», наконец, в записках военного корреспондента – «От Черного до Баренцова моря». Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины, как шли бесконечные, злые дожди, как кринки несли нам усталые женщины, прижав, как детей, от дождя их к груди...» Эти стихи тоже кочевали в солдатских письмах с фронтов в тылы, а с тылов обратно.

В 1946 году Сталинской премией была отмечена первая повесть Симонова «Дни и ночи». В том же году, после поездки в Японию и в Америку, Симонов

написал пьесу «Русский вопрос», так же отмеченную Сталинской премией. «Она (пьеса) была предназначена, – вспоминал Симонов, – к постановке в одном театре – Ленинского комсомола, а пошла в пяти московских театрах – в Художественном, в Малом, Вахтангова, Моссовета, Ленинского комсомола, и в трех ленинградских – в Александринке, в Большом драматическом и в Театре комедии. Как выяснилось, Сталин, особенно внимательно следивший за журналом „Звезда“ после постановления ЦК, прочел пьесу, она ему показалась то ли хорошей, то ли полезной, – последнее для него как для политика, в чем я потом не раз убеждался, играло, разумеется, первостепенную роль, а вкусовые впечатления только вторую, – и распорядился широко поставить „Русский вопрос“. Пьеса, наверное, и так пошла бы по стране широко, но, разумеется, в пяти московских театрах сразу ее бы никто не ставил...»

«Я дивился на Симонова, – писал Б. Агапов, сопровождавший поэта в поездке по Японии. – На этих проклятых „парти“ он бывал всегда залихватски весел и выглядел простаком, которому некуда девать молодую силу, хотя я знал отлично, что он, во-первых, дьявольски устал после четырех лет фронта, во-вторых, отнюдь не чемпион здоровья, и, в-третьих, все замечает, все понимает и сегодня же вечером или завтра утром будет диктовать очередные из тех полутора тысяч страниц, которые он привез с собой после ста дней пребывания в Японии. Только однажды я видел, как после нескольких часов вот такого идиотского провозждения времени он пришел в ярость. Он встал с кресла и предложил кому-то из американцев сыграть в пинг-понг. Несмотря на выпитое, он играл как зверь. Я знаю за ним это свойство – чернеть от гнева. Так вот – черный, с поджатыми губами, не замечая ничего кругом, он колотил по очереди одного за другим наших хозяев, – непонятно, откуда у него брались силы...»

Конечно, чрезвычайная общественная занятость поэта накладывала своеобразный отпечаток на всю его личную жизнь. Сын писателя, А. Симонов, вспоминал: «Летом сорок шестого года отец ездил в Америку, в результате чего я стал обладателем коричневого костюмчика с короткими штанами и кепочки из того же материала – а-ля хороший американский мальчик. Короткие эти штаны вызывали „классовую“ ненависть мальчишек дома № 14 по Сивцеву Вражку, где я жил тогда у бабушки. Эпоха джинсов была далеко впереди, а эстетика шорт и сейчас еще вызывает нездоровый смех в наших краях. Так что, невольно эстетически опередив свое время, стал я мишенью для насмешек своих сверстников. Эстетические разногласия выражались в том, что меня периодически поколачивали во дворе, и хотя я быстро усвоил, что штаны должны быть как у всех, штаны эти ненавидал и не носил, однако поколачивали меня по-прежнему, в память о штанах и, вероятно, других американских штучках типа ковбойского костюма, о которых я уже не помню сам, а из писем и из устных семейных преданий...»

Скорее всего, это весна сорок седьмого... У ажурного забора нашего дома останавливается черная машина («Эмка»? «БМВ»? – не помню), и знакомый

отцовский шофер объясняет, что приехал взять меня повидаться с отцом. Отмытый бабкой, с залитой йодом свежеразодранной в очередной драке коленкой, я вдет в ненавистный костюмчик («Папа должен видеть, как ты ценишь его подарок!» – увещевает меня бабушка), посажен в машину на глазах всего двора (завтра придется драться еще и из-за этого) и привезен в «Гранд-отель», помещавшийся позади гостиницы «Москва» и ныне снесенный... Меня вводят в ресторанный кабинет, где отец демонстрирует меня каким-то своим друзьям. Хорошо помню, что кабинет большой, а друзей двое или трое. Я докладываю, что по-прежнему в школе у меня одни пятерки и получаю наставление, что именно этим я и завоевал право на сюрприз. Гасят свет, и появляется повар в белом колпаке, который несет на серебряной продолговатой тарелке невиданное блюдо с коричневой запекшейся корочкой, над которой играют синие языки спиртового пламени. Это омлет-сюрприз. Там под взбитыми белками оказывается мороженное. Насладившись моим остолбенением и разъяснив мне, что и откуда надо извлекать для еды, отец снова зажигает свет. Он беседует с друзьями, я доедаю мороженное. Отец кажется мне далеким и всемогущим, немножко волшебником. Всемогущим и волшебником он в этот момент кажется и себе, очень веселится, глядя на меня, а в заключение спрашивает: доволен ли я своим костюмчиком. Я выражаю приличествующую случаю благодарность и на той же машине отбываю домой. До следующей встречи, может быть, месяц, а может, и полгода – в зависимости от того, как сложатся руководящие отцом государственные дела...»

Повесть «Дым отечества», появившаяся в печати в 1947 году, не понравилась Сталину, зато книга стихов «Друзья и враги» (1949) была удостоена очередной Сталинской премии, так же, как и пьеса «Чужая тень». «Написав эту пьесу весной сорок восьмого года, я сделал то, чего не делал никогда ни до, ни после этого, – счел нужным впоследствии написать Симонов. – Не отдавая ее ни в печать, ни в театры, послал экземпляр пьесы Жданову и написал короткую записку помощнику Сталина Поскребышеву, что я закончил пьесу, о возможности написания которой шла речь в мае прошлого года во время встречи писателей с товарищем Сталиным, и экземпляр ее направил Жданову. Поступил я именно так, вопреки своему обыкновению никуда ничего не посылать, потому что после своего разговора с Кузнецовым знал, что написание мною этой пьесы воспринимается как выполнение взятого на себя поручения или задания – не знаю уж, как лучше сказать, что будет ближе к тогдашней моей мысленной терминологии, – и, стало быть, то, что я сделал, следует представить на прочтение туда, где мне поручили это сделать. Такова была логика этого поступка, расходившаяся с моей обычной логикой: написал – неси в редакцию. Куда же еще?...

Пьеса была послана Жданову не то в апреле, не то в мае сорок восьмого года. Месяцев восемь о ней не было ни слуху, ни духу. Я не вспоминал о ней, не хотел, да и не считал возможным. Жданов заболел, потом умер. Я бросил думать о пьесе, обрубил все связанное с нею в памяти еще раньше, еще

летом. Все время, оставшееся у меня свободным от работы в Союзе писателей и в «Новом мире», занимался новой книгой стихов «Друзья и враги», которую писал с таким же или почти с таким же увлечением, как «Дым отечества». Чем дальше, тем сильнее было ощущение, что я как бы перешагнул через эту пьесу. Шагнул прямо из «Дыма отечества» в книгу стихов, и бог с ней, с этой «Чужой тенью». Но в один из январских дней сорок девятого года, когда я вечером сидел и работал в «Новом мире», неожиданно вошел помощник редактора «Известий» («Новый мир» тогда помещался во флигеле, примыкавшем к редакции «Известий»), и сказал, что к ним в редакцию звонил Поскребышев и передал, чтоб я сейчас же позвонил товарищу Сталину. Вот номер, по которому я должен позвонить. Я было взялся за телефон, но, сообразив, что это номер вертушки, которой у меня в «Новом мире» не было, пошел в «Известия». Редактора «Известий» то ли не было в кабинете, то ли из деликатности он вышел – я оказался один на один с вертушкой. Я снял трубку и набрал номер – не помню уже сейчас, что сказал Сталин: «Сталин слушает» или «Слушаю», что-то одно из двух. Я поздоровался и сказал, что это звонит Симонов...

Дальнейший разговор с одним пропуском, который я дополню, я записал, вернувшись в редакцию «Нового мира». Записал, думаю, абсолютно точно. Вернее, это был не разговор, а просто то, что считал нужным сообщить мне Сталин, прочитавший «Чужую тень». Вот она, эта запись: «Я прочел вашу пьесу „Чужая тень“. По моему мнению, пьеса хорошая, но есть один вопрос, который освещен неправильно и который надо решить и исправить. Трубников считает, что лаборатория – это его личная собственность. Это неверная точка зрения. Работники лаборатории считают, что по праву вложенного ими труда лаборатория является их собственностью. Это тоже неверная точка зрения. Лаборатория является собственностью народа и правительства. А у вас правительство не принимает в пьесе никакого участия, действуют только научные работники. А ведь вопрос идет о секрете большой государственной важности. Я думаю, что после того, как Макеев едет в Москву, после того, как карьерист Окунев кончает самоубийством, правительство не может не вмешаться в этот вопрос, а оно у вас не вмешивается. Это неправильно. По-моему, в конце надо сделать так, чтобы Макеев, приехав из Москвы в лабораторию и разговаривая в присутствии всех с Трубниковым, сказал, что был у министра здравоохранения, что министр докладывал вопрос правительству и правительство обязало его, несмотря на все ошибки Трубникова, сохранить Трубникова в лаборатории и обязало передать Трубникову, что правительство, несмотря на все совершенное им, не сомневается в его порядочности и не сомневается в способности его довести до конца начатое дело. Так, я думаю, вам нужно это исправить. Как это практически сделать, вы знаете сами. Когда исправите, пьесу надо будет пустить». После этого, помнится, было не записанное мною «До свидания», и разговор на этом кончился... Пропуск в начале этой записки сделан был мною из соображений такта. С записью разговора все могло

случиться, вдруг мне придется кому-то ее показать, хотя в принципе я этого не собирался делать, но все-таки могло случиться. А Сталин в начале разговора, сказав, что он прочел мою пьесу, довольно раздраженно добавил: «Только вчера получил и прочел, полгода не сообщали, что она там у них лежит, и вообще...» – тут он остановился, видимо, решив не продолжать эту тему, вернувшись к разговору о самой пьесе, записанному мною... Я подумал тогда и думаю так и сейчас, что Жданов или по каким-то причинам, ему ведомым, или по неведомым мне сложившимся обстоятельствам, – а обстоятельства в последние месяцы жизни у него, кажется, были сложные – не говорил или не имел случая сказать Сталину о том, что получил на прочтение мою пьесу, или не считал нужным это делать. Надо полагать, что пьеса попала к Сталину после того, как ему доложили об оставшемся после смерти Жданова архиве и представили опись этого архива. И в тех словах, которые я слышал по телефону, присутствовало раздражение, – не знаю, на покойного ли Жданова, может, и на Поскребышева, который знал о моей пьесе, но тоже не считал нужным сказать о том, что она была мною послана...

Надо сказать, что при той жесткости постановки вопроса о низкоклонстве и преклонении перед границей, которая тогда существовала, я сам бы не решился закончить пьесу тем, что предложил Сталин. Кончалась она у меня по-другому, гораздо хуже для героя пьесы профессора Трубникова, который, по своему честолюбию, соединенному с доверчивостью, чуть было не сделал достоянием тех, кому это вовсе не следовало знать, научный секрет государственной важности. Над ним, в конце пьесы, висел дамоклов меч, и оставалось неизвестным, чем все это для него кончится. Предложение Сталина, видимо, отражало какие-то складывающиеся у него в тот момент настроения, говоря «правительство», он в третьем лице разумел себя и таким образом выносил по отношению к Трубникову то мягкое и полное доверия решение, которого, казалось бы, трудно было ожидать от Сталина, тем более в связи с этой проблемой... Я сделал в финале пьесы исходившие от Сталина поправки, которые, повторяю, были мне по душе. Сделал их буквально за один день, пьесу успели напечатать в первом, январском номере журнала «Знамя», после чего она была вместе с другими пьесами выдвинута, уже не помню кем – комиссией по драматургии или журналом – на Сталинскую премию...»

С 1946 по 1950 год и с 1954 по 1958 год Симонов возглавлял журнал «Новый мир», а в 1938 году и с 1950 по 1954 год – «Литературную газету». «В свои писательские дни, – вспоминал В. Косолапов, – одержимый одновременно несколькими творческими замыслами, Симонов работал по двенадцати – четырнадцати часов в сутки. Телефона на даче не было – „чтоб не отвлекали, не выдергивали из-за рабочего стола“. Свой писательский труд он жестко планировал. „Иначе ничего не успеешь. Не могу сидеть и ждать, когда тебя посетит так называемое вдохновение. Для нашего брата писателя важно выработать внутреннюю потребность трудиться ежедневно“. Вот одна

любопытная деталь: если намеченные им сроки почему-либо оказывались сорванными, он наказывал сам себя тем, что запрещал себе курить. Заходишь к нему в редакционный кабинет и видишь: с грустным видом сосет пустую, не набитую табаком трубку. „Что, проштрафились, Константин Михайлович?“ – „И не говорите. Должен был написать очередную главу – в голове она вполне сложилась, – но расслабился и не дописал“. – „И надолго епитимья?“ – „На месяц, а там поглядим...“

«С 1958 по 1960 год я жил в Ташкенте, работал разъездным корреспондентом „Правды“ по республикам Средней Азии. На эти годы приходится многие поездки на Тянь-Шань, на Памир, в Голодную степь, в Каршинскую степь, в Кызылкумы, в Каракумы, по трассам строящихся газопроводов...» За этими строками стоят вполне определенные реалии: время менялось, обстановка в стране менялась. Начали возвращаться из мест заключения репрессированные, сумевшие выжить писатели, партия, естественно, пыталась оградить главных функционеров от возможных столкновений. Не выдержал Александр Фадеев – кандидат в члены ЦК (как и Симонов, кстати). 13 мая 1956 года он застрелился, оставив письмо, в котором говорил: «Не вижу возможности дальше жить, так как искусство, которому я отдал жизнь свою, загублено самоуверенно-невежественным руководством партии, и теперь уже не может быть поправлено. Лучшие кадры литературы – в числе, которое даже не снилось царским сатрапам, физически истреблены или погибли благодаря преступному попустительству власти имущих; лучшие люди литературы умерли в преждевременном возрасте; все остальное, мало-мальски способное создавать истинные ценности, умерло, не достигнув 40–50 лет. Литература – эта святая святых – отдана на растерзание бюрократам и самым отсталым элементам народа, из самых „высоких“ трибун – таких, как Московская конференция или XX партсъезд – раздался новый лозунг: „Ату ее!“ Тот путь, которым собираются „исправить“ положение, вызывает возмущение: собрана группа невежд, за исключением немногих честных людей, находящихся в состоянии такой же затравленности и потому не могущих сказать правду, – и выводы, глубоко антиленинские, ибо исходят из бюрократических привычек, сопровождаются угрозой, все той же „дубинкой“... С каким чувством свободы и открытости мира входило мое поколение в литературу при Ленине, какие силы необъятные были в душе и какие прекрасные произведения мы создавали и еще могли бы создать! Нас после смерти Ленина низвели до положения мальчишек, уничтожали, идеологически пугали и называли это – „партийностью“. И теперь, когда все можно было бы исправить, сказалась примитивность, невежественность – при возмутительной доле самоуверенности – тех, кто должен был бы все это исправить. Литература отдана во власть людей неталантливых, мелких, злопамятных. Единицы тех, кто сохранил в душе священный огонь, находятся в положении париев и – по возрасту своему – скоро умрут. И нет никакого уже стимула в душе, чтобы творить... Созданный для большого творчества во имя коммунизма, с

шестнадцати лет связанный с партией, с рабочими и крестьянами, наделенный богом талантом незаурядным, я был полон самых высоких мыслей и чувств, какие только может породить жизнь народа, соединенная с прекрасными идеалами коммунизма. Но меня превратили в лошадь ломового извоза, всю жизнь я плелся под кладью бездарных, неоправданных, могущих быть выполненными любым человеком, неисчислимых бюрократических дел. И даже сейчас, когда подводишь итог жизни своей, невыносимо вспоминать все то количество окриков, внушений, поучений и просто идеологических пороков, которые обрушились на меня, – кем наш народ вправе был бы гордиться в силу подлинности и скромности внутренней глубоко коммунистического таланта моего. Литература – этот высший плод нового строя – унижена, затравлена, загублена. Самодовольство нуворишей от великого ленинского учения даже тогда, когда они клянутся им, этим учением, привело к полному недоверию к ним с моей стороны, ибо от них можно ждать еще худшего, чем от сатрапа Сталина. Тот был хоть образован, а эти – невежды. Жизнь моя, как писателя, теряет всякий смысл, и я с превеликой радостью, как избавление от этого гнусного существования, где на тебя обрушивается подлость, ложь и клевета, уйду из этой жизни. Последняя надежда была хоть сказать это людям, которые правят государством, но в течение уже 3-х лет, несмотря на мои просьбы, меня даже не могут принять...»

Впрочем, «оттепель» быстро сменилась заморозками. По возвращении в Москву, Симонов вновь окунулся в привычные общественные и литературные дела. Избирался депутатом Верховного Совета СССР и Верховного Совета РСФСР, был делегатом XXIII, XXIV и XXV съездов КПСС. В 1974 году стал Героем Социалистического Труда. Много переводил. По его сценариям сняты фильмы: «Парень из нашего города» (1942), «Жди меня» (1943), «Дни и ночи» (1943–1944), «Бессмертный гарнизон» (1965), «Нормандия-Неман» (1960), «Живые и мертвые» (1964) и другие. Являлся кандидатом в члены ЦК КПСС в 1952–1956 годах, членом Ревизионной комиссии ЦК в 1956–1961 годах, членом Президиума Советского комитета защиты мира, заместителем генерального секретаря правления Союза писателей СССР (1946–1954), секретарем Правления СП СССР (1954–1959, затем с 1967). И, разумеется, издал еще множество книг. Как сказано в эпитафии, написанной Киплингем и переведенной Симоновым: «Заканчивая путь земной, всем сплетникам напомню я: так или иначе со мной еще вы встретитесь друзья!.. Я вам оставлю столько книг, что после смерти обо мне не лучше ль спрашивать у них, чем лезть с вопросами к родне!».

Умер 28 августа 1979 года.

По завещанию поэта, прах его развеян под Могилевым на Буйническом поле.

Леонид Николаевич Мартынов

Родился 9 (22) мая 1905 года в Омске.

Детство провел в переездах в служебном вагоне отца – техника железнодорожных путей. «Поэзия для меня, ребенка, сначала была некоей прекрасной отвлеченностью, сказкой, не имеющей почти ничего общего с действительностью. Суровые края, где я рос, не были воспеты теми поэтами, чьи произведения попадались мне на глаза. Из книг я знал о златоглавой Москве и величественном Петрополе, но вокруг себя видел неблагоустроенные человеческие поселения, тонущие то в снегах, то в грязи. Из книг я знал о том, „как хороши, как свежи были розы“, но вокруг меня в полынной степи, примыкавшей к полосе отчуждения щетинились чертополохи, пропахшие паровозным дымом. „По небу полуночи ангел летел“, – читал я у поэта, но воображение мое занимали не столько ангелы, сколько моноплан Блерио...»

В гимназии Мартынову легко давались древние и новые языки, история, география. Впрочем, писал он позже: «...годы революции не располагали к усидчивым школьным занятиям, и в 1921 году я, шестнадцатилетний подросток, вышел из пятого класса советской школы, решив жить литературным трудом. Дебютировал в печати стихами в журнале „Искусство“, выпущенном Художественно-промышленным институтом имени Врубеля в Омске. Эти стихи, в которых говорилось о том, что „пахнут землей и тулупами девушки наших дней“, не прошли незамеченными: почему-то в Польше, тогда панской, некий критик изругал меня за антипоэтичность, и за то, что я красный...»

Став разъездным корреспондентом сразу двух журналов («Сибирские огни» и «Сибирь») и двух газет («Омский водник» и «Сибирский гудок»), Мартынов исколесил всю Сибирь: работал в Балхашской экспедиции Уводстроя, собирал лекарственные растения на Алтае, разносил книги по селам, летал над Барабинской степью на агитсамолете, в той же степи искал бивни мамонтов, пешком исходил весь казахский участок трассы будущего Турксиба, выяснял, почему в Тарском урмане регулярно происходят лесные пожары... Многое из увиденного вошло в 1930 году в книгу очерков «Грубый корм». «В Новосибирск он всегда приезжал неожиданно, никого не предупреждая, – вспоминал поэт Сергей Марков, – и шел ко мне или Вивиану Итину. Повесив на гвоздь кепи и куртку, он вытаскивал из-за пояса отливавший синей сталью револьвер, а на ночь клал его под изголовье. Револьвер оказался нелишним в наших скитаниях, хотя бы по китайским харчевням где-нибудь у сада „Альгамбра“ и Федоровой бани. Оба мы, работая в газетах, участвовали в составлении дневника происшествий и поэтому прекрасно знали нравы ночного города...»

«У Леонида Мартынова, – вспоминал В. Утков, – было немало таких черт в характере и поведении, которые людям, мало его знавшим, казались, по меньшей мере, странными. Многие считали его человеком суеверным, пленником различного рода примет, как народных, так и выдуманных им самим; другие упрекали его в стремлении к оригинальности, в желании во что бы то ни стало не походить на других людей, третьи пожимали плечами и

считали его чудаком, у четвертых его поведение вызывало только раздражение. Еще в Омске при первом сближении с Леонидом Мартыновым я думал о некоторой власти суеверий и примет над ним, и это казалось мне странным – в моем понимании следование суевериям и вера в приметы несовместимы ни с культурой, ни со знаниями, а Мартынов несомненно обладал и тем и другим. Сначала я просто недоумевал, сталкиваясь с некоторыми его поступками. Так, например, встретив воз сена, он старался ухватить из него клочок и спрятать в карман. При встрече с возом дров Мартынов мрачнел, считая это дурной приметой. Молодой месяц он старался увидеть с правой стороны и показывал ему на раскрытой ладони серебряную мелочь, загадывал желание. Он не переносил запаха зажженных спичек, старался как можно меньше ими пользоваться, а когда появились электрические зажигалки, спички вообще были изъяты из домашнего обращения. Если у него дома кто-либо из гостей, не зная об этом, зажигал спичку, прикуривая папиросу, это неизменно вызывало в Мартынове бурную реакцию и надолго портило ему настроение. Не любил и новые вещи, предпочитая им старые...» Зато Мартынов предпочитал новый быт. «Селенье. Крик младенцев и овец, от смрада в избах прокисает пища, будь проклят тот сентиментальный лжец, что воспевал крестьянское жилище... Я думаю о нем как о враге, я изорвал бы в клочья эту книгу. Я человек, и никакой тайге вовек не сделать из меня шишигу!».

В 1932 году Мартынова арестовали по так называемому делу «сибирских поэтов». Вместе с П. Васильевым, Н. Ановым, Е. Забелиным, С. Марковым и Л. Черноморцевым он был обвинен в антисоветских настроениях. Павел Васильев, правда, вскоре вышел на свободу (благодаря хлопотам И. Гронского), но все остальные – высланы. Несколько лет Мартынов провел в северных городах России – Архангельске и Вологде. В редакции вологодской газеты «Красный Север» он встретил свою будущую жену – Нину Анатольевну, работавшую секретарем-машинисткой и в конце 1935 года вернулся в Омск уже с нею. Поселился в деревянном доме, в комнате, переоборудованной из бывшей передней. Эти первобытные условия не мешали ему, по крайней мере, именно здесь Мартынов написал лучшие свои поэмы: «Встреча», «Сестра», «Рассказ про мастерство», «Волшебные сады», «Исповедь Елтона», «Правдивая история об Увенькае», «Тобольский летописец», «Домотканая Венера», «Искатель рая», «Сказка про атамана Василия Тюменца, посла к золотому царю», «Рассказ о русском инженере», «Поэзия как волшебство».

В первые годы войны стихотворные подписи Мартынова часто появлялись в «Окнах ТАСС». Тогда же вышли его книжки – «За Родину!» (1941), «Мы придем!» (1942), «Жар-Цвет» (1944). «В армию Мартынов был призван в сентябре 1943 года, после прохождения обучения в городском Всеобуче, – вспоминал Утков, – и был зачислен курсантом в Омское пехотное училище имени М. В. Фрунзе. Командование поручило ему, не освобождая от обычных военных занятий, подготовку материалов к истории училища. Тема

не была для Мартынова новой, он хорошо знал прошлое Омского кадетского корпуса, на базе которого было организовано пехотное училище. Из стен корпуса вышло немало видных отечественных военных и ученых – Григорий Потанин, Николай Ядринцев, Чокан Валиханов, Валериан Куйбышев, Дмитрий Карбышев и другие. В „Крепости на Оми“ Мартынов не одну страницу посвятил истории кадетского корпуса. Теперь он стал изучать историю училища после установления Советской власти в Сибири. В печати появляются заметки, статьи, очерки, отражающие жизнь училища, его прошлое, боевой путь его воспитанников, участие их в Великой Отечественной войне, подписанные курсант Леонид Мартынов...» С тем же упорством, с тем же терпением поэт все эти годы развивал свои художественные представления о сказочном Лукоморье. «Кто ответит – где она: затопило ее море, под землей погребена, ураганом сметена? Кто ответит – где она, легендарная страна старых сказок – Лукоморье?... Лукоморье! Где оно? Не участвую я в споре тех ученых, что давно потеряли Лукоморье на страницах старых книг, в не записанном фольклоре. Знаю я: где север дик, где сполоха ал язык, – там и будет Лукоморье...» В понятие о Лукоморье Мартынов включил легенды о златокипящей Мангазее, в которой свободно живет любому люду, бежавшему из-под государевых лап, и легенды о Златой деве, охраняющей древнюю страну, наконец, легенды о волшебном Эрцинском лесе, «чи корни до сердец, вершины до небес». «Тема о потерянном и вновь обретаемом Лукоморье, – писал Мартынов, – стала основной темой моих стихов в дни Великой Отечественной войны, войны с фашизмом. Где бы я ни был в то время – в затемненной Москве, в глубоком тылу, где работали на оборону эвакуированные заводы, – я повествовал, как умел, о борьбе народа за свое Лукоморье, за свое счастье...»

В 1945 году, незадолго до дня Победы, в Москве вышел в свет большой сборник стихов Мартынова «Лукоморье», а через год в Омске другой – «Эрцинский лес». Сборник «Лукоморье» прошел практически не замеченным, а вот «Эрцинский лес» вызвал невероятный шум и гнев критики. Разумеется, Мартынов сразу понял, что шум этот является прямой реакцией на опубликованное в августе 1946 года Постановление ЦК ВКП(б) «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“». Это было ясно по тону, даже по лексике статей. О поэме „Искатель рая“ Вера Инбер, например, писала так („Уход от действительности“): „Можно было надеяться, что углубляя эту мысль („Рай я ищу, рай для живых людей...“), Мартынов в дальнейшем придет к более точному определению человеческого счастья и пойдет по пути к его достижению. Но этого не произошло. Неприятие современности превращается уже в неприкрытую злобу, там, где Мартынов говорит о своем современнике, человеке советской страны...“ – И дальше: – „Наша романтика – в уважении к великому созидательному труду советского человека, нашего лучшего вдохновителя. Но здесь, видимо, Леониду Мартынову с нами не по

пути. И если он не пересмотрит своих сегодняшних позиций, то наши пути могут разойтись навсегда...”

Результат был определен.

На многие годы поэт ушел в переводы.

Оставаться в Омске он не мог, боялся, слишком одиозную фигуру из него сделали. Он перебрался в Москву, где легче было пересидеть политическую непогоду, где было много издательств, а значит, всегда можно было найти заработок. В старом деревянном доме в районе старых Сокольников у Мартыновых стал появляться поэт Антал Гидаш. Именно он предложил поэту перевести для готовящегося к печати однотомника стихи венгерского классика Шандора Петефи.

Благодаря огромной многолетней работе Мартынова вышли на русском языке стихи и поэмы Десанки Максимович, Адама Мицкевича, Констанцы Ильдефонса Галчинского, Юлиана Тувима, Иржи Волькера, Витезслава Незвала, Сальваторе Квазимодо, Пабло Неруды, Артюра Рембо. Но больше всего Мартынов переводил именно венгров – Шандора Петефи, Эндре Ади, Йожефа Атиллу, Антала Гидаша, Дьюлу Ийеша. Правительство Венгрии наградило поэта орденом Золотой Звезды первой степени и орденом Серебряной Звезды.

К переводам Мартынов подходил своеобразно: он одновременно был скрупулезен и не боялся импровизаций. В известном стихотворении «К проблеме перевода», обращаясь к Верлену, Вийону и Рембо, он понимающе восклицал: «Но если бы, презрев все устрасенья, не сглаживая острые углы, я перевел вас, – все-таки мишенью я стал бы для критической стрелы, и не какой-то куро-петушиной, но оперенной дьявольски умно: доказано бы было все равно, что только грежу точности вершиной, но не кибернетической машиной, а мною это переведено, что в текст чужой свои вложил я ноты, к чужим свои прибавил я грехи и в результате вдумчивой работы я все ж модернизировал стихи...»

В 1954 году в сборнике «Разговор перед съездом» появилась статья Ильи Сельвинского «Наболевший вопрос». Говоря о советских поэтах, Сельвинский упомянул Мартынова: «Вот Леонид Мартынов – человек, постигший тайну скрипичного волшебства. Мы, поэты, очень любим его чудесную „Кружевницу“, его тонкое стихотворение „След“, незаурядные русские пейзажи. После таких стихов чувствуешь себя благороднее, возвышеннее, счастливее. Хочется быть лучше и чище, потому что приобщился к какой-то большой духовной красоте. К сожалению, широкий читатель знает главным образом переводы Мартынова, о собственных же его стихах имеет слабое представление...» Статья эта послужила первым толчком к возвращению поэта из забвения. «Мартынов, – вспоминал Илья Эренбург, – разговаривал мало и в жизни бывал незрячим, скажу даже – косноязычным. Однажды я его познакомил с Пабло Нерудой. Мартынова чилийский поэт изумил, как явление природы, а ливни, засуха, таяние снегов, ветер всегда его изумляли. Он написал стихи о Неруде и показал его таким, каким он изображался в

газетных статьях – богатырем, мифическим Баяном. А Неруда понял Мартынова: „Настоящий поэт – перед его глазами второй мир – искусства“. Мартынова после 1946 года не печатали. Он продолжал писать стихи, вынимая из карманов смятые листочки, читал мне, и каждый раз я дивился его поэтической силе: метеорология становилась эпопеей. А он рассеянно пил чай и отвечал невпопад на вопросы. То были годы расцвета его творчества. В 1955 году Мартынову исполнилось пятьдесят лет. Молодые поэты добились устройства его вечера в Доме литераторов и читали его стихи. Из старых писателей был, кажется, только я. Потом выступали представители литературных кружков московских заводов, железнодорожники. Все они говорили, что переписанные стихи Мартынова помогли им понять современную поэзию. Судьба поэта изменилась...»

В 1955 году вышел сборник Мартынова – «Стихи». Эта небольшая книжка мгновенно стала популярной. О полузабытом поэте заговорили, в одно мгновение он стал знаменитостью. «Что такое случилось со мною? – удивлялся он сам. – Говорю я с тобою одною, а слова мои почему-то повторяются за стеною, и звучат они в ту же минуту в ближних рощах и в дальних пущах, в близлежащих людских жилищах и на всяческих пепелищах, и повсюду среди живущих. Знаешь, в сущности, это не плохо! Расстояние не помеха ни для смеха и ни для вздоха. Удивительно мощное эхо! Очевидно, такая эпоха».

В 1966 году книга стихов Мартынова «Первородство» была удостоена Государственной премии РСФСР, в 1974 году книга стихов «Гиперболы» – Государственной премии СССР.

«Я никогда не видел Мартынова пишущим, – вспоминал один из близких ему людей. – Естественно, что, встречаясь с друзьями, он давал себе волю отдохнуть, занять ум непринужденной беседой, а то и просто шуточной болтовней. Но, разговаривая о чем угодно, он нет-нет да и сворачивал к тому, что всего сильнее занимало, а это всегда была очередная работа, самая неотложная, лучшая, наиглавнейшая. Многие сюжеты будущих новелл он, очевидно, специально проговаривал заранее, как бы прикидывая, с какого боку это удобнее положить на бумагу. Иногда пересказывал уже существующее в набросках. При этом по ходу пересказа к произведению добавлялись какие-то неожиданные штрихи и детали. И наконец, Леонид Николаевич нередко зачитывал вслух черновые варианты почти готовых вещей. Нина Анатольевна обычно против этого возражала, полагая, что автор слишком торопится и докучает гостю. „А ты думаешь, что я должен читать другу только шедевры! – не соглашался поэт. – Почему я не могу поделиться с ним своими сомнениями? Пусть откровенно выскажется, как идет дело...“

20 августа 1979 года умерла жена Мартынова. «После кончины Нины Анатольевны, – писал его друг Л. Лавлинский, – что-то начало неотвратимо разрушаться и в характере поэта. Его скорбь и долголетние болезни приняли слишком жизнеопасную форму. Его нужно было буквально спасать от гибели. При нем, правда, почти неотлучно дежурила Галина Алексеевна Сухова –

врач, на протяжении многих и многих лет лечившая эту семью. Отношения трех людей давно уже переросли в прочную и нежную дружбу, и не случалось праздника, чтобы я не заставал в доме поэта Галину Алексеевну. Мне даже известно, и думаю, что я вправе об этом сказать: за несколько дней до кончины Нина Анатольевна, предчувствуя ее приближение, наказывала Суховой не оставлять поэта заботой. Завещание это было выполнено...» К сожалению, через год, 21 июня 1980 года, скончался и сам поэт.

Арсений Александрович Тарковский

Родился 12 (25) июня 1907 года в Елисаветграде Херсонской губернии.

Отец служил в банке, иногда подрабатывал журналистикой. Мать – учительница. Мальчишкой Тарковский бегал на все литературные вечера часто тогда гастролировавших по югу России Игоря Северянина, Константина Бальмонта, Федора Сологуба.

Закончив трудовую школу-семилетку, уехал в 1925 году в Москву, где поступил на Высшие литературные курсы при Союзе поэтов. Как многие молодые литераторы, на жизнь зарабатывал в газете «Гудок» и в журнале «Прожектор» – писал стихотворные фельетоны и судебные очерки. Женитьба (на М. Вишняковой, сокурснице) потребовала новых расходов. Не гнушался никаких заказов, для московского радио, например, написал агитационную поэму – «Стекло». В 1926 году, будучи в Ленинграде, показал свои стихи Ф. Сологубу. Знаменитый поэт ничем не обрадовал Тарковского: «У вас плохие стихи, молодой человек». Правда, и надежды он не отнял: «Пишите. Возможно, что-нибудь получится». Впрочем, дальнейшую судьбу поэта определила все-таки не эта встреча. Гораздо больше дала ему дружба с поэтом и переводчиком Георгием Шенгели, предложившим Тарковскому попробовать себя в переводах. На всю жизнь поэтические переводы стали для Тарковского главным делом – с одной стороны вынужденным (поскольку он брался за переводы ради денег), с другой – вполне добровольным (поскольку дело это отвечало внутренним потребностям поэта, позволяло при любых внешних обстоятельствах оставаться в русле мировой культуры). Уже в 1934 году вышел в свет первый отдельный сборник переводов Тарковского.

В 1937 году поэт развелся с М. Вишняковой и женился на А. Трениной.

В 1940 году Тарковского приняли в Союз советских писателей.

Жизнь установившаяся, лишенная особых событий, позволяла поэту работать тщательно, по плану. Впервые напечатавшись в 1926 году в никому неизвестном студенческом сборнике, Тарковский вполне сознательно не торопился предлагать журналам собственные стихи. «Следует констатировать, что этот талантливый и в меру благополучный переводчик, – писал позже поэт Юрий Кублановский, – переводчик советский, ибо переводил не из потребности, а для заработка, был на деле, быть может, сам того не осознавая, настоящим литературным подпольщиком, десятилетиями

неуклонно творящим свой несравненный лирический микрокосм, который не прейдет, куда существует наша словесность. С органическим мастерством и упорством выбирал он из хаоса лирически совершенную речь, существующую, впрочем, изначально, но по-новому фокусирующую в реальность каждым настоящим поэтом. Ведь стихотворчество не столько рождение, сколько высвобождение организованной речи...»

«И страшно умереть, и жаль оставить всю шушеру пленительную эту, всю чепуху, столь милую поэту, которую не удалось прославить... Я так любил домой прийти к рассвету и в полчаса все вещи переставить, еще любил я белый подоконник, цветок и воду, и стакан граненый, и небосвод голубизны зеленой, и то, что я – поэт и беззаконник... А если был июнь и день рожденья, боготворил я праздник суетливый, стихи друзей и женщин поздравленья, хрустальный смех и звон стекла счастливый, и завиток волос неповторимый, и этот поцелуй неотвратимый...» – Но в эту, казалось бы, навсегда налаженную идиллию вторгается голос странной тревоги:

«...Расставлено все в доме по-другому, июнь прошел, я не томлюсь по дому, в котором жизнь меня терпенью учит, и кровь моя мутится в день рожденья, и тайная меня тревога мучит, – что сделал я с высокою судьбою, о Боже мой, что сделал я с собою!»

В начале войны Тарковский со многими другими членами Союза писателей был эвакуирован в Чистополь. К службе в армии поэта признали полностью непригодным, однако он настойчиво подавал в военкомат заявление за заявлением. Наконец, с декабря 1941 года Тарковскому было разрешено работать в армейской газете «Боевая тревога». Как военный корреспондент поэт побывал на трех фронтах – Московском, Брянском, на 1-ом Балтийском фронтах, заслужил звание капитана, был награжден орденом Красной Звезды. В 1943 году Тарковского тяжело ранило: сложная операция, которую он перенес, закончилась ампутацией правой ноги. Нежнейшее стихотворение – «Бабочка в госпитальном саду» – откликнулось памятью тех ужасных событий.

«Из тени в свет перелетая, она сама и тень и свет, где родилась она такая, почти лишенная примет? Она летает, приседая, она, должно быть, из Китая, здесь на нее похожих нет, она из тех забытых лет, где капля малая лазори, как море синее во взоре... Она клянется: навсегда! – Не держит слова никогда, она едва до двух считает, не понимает ничего, из целой азбуки читает две гласных буквы – А и О, а имя бабочки – рисунок, нельзя произнести его, и для чего ей быть в покое? Она как зеркальце простое... Пожалуйста, не улетай, о госпожа моя, в Китай! Не надо, не ищи Китая, из тени в свет перелетая, душа, зачем тебе в Китай? О госпожа моя цветная, пожалуйста, не улетай...»

В 1945 году Тарковский впервые подготовил к печати книгу своих собственных стихов. Рукопись одобрили известные поэты – Маргарита Алигер, Павел Антокольский, Лев Ошанин, Павел Шубин, однако Постановление ЦК ВКП(б) «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“, а так же

недоброжелательная внутренняя рецензия, написанная поэтессой Е. Книпович привели к тому, что уже готовый набор книги был рассыпан. В результате, стихи Тарковского (сборник „Перед снегом“) пришли к читателям только через много лет – в 1962 году, когда поэту исполнилось пятьдесят пять лет. Поразительно, но рецензия Анны Ахматовой, тогда же написанная на эту книгу, тоже появилась в печати только через много лет – в 1976 году.

«От него (Тарковского) я впервые услышал еще не напечатанное в ту пору стихотворение Пастернака „Свеча горела на столе“, – вспоминал Каверин. – Мы говорили тогда об ощущении „всеобщности“ этого поэта, его „надбиографичности“, о его принадлежности каждому, о его праве открывать свое, самое личное, всему миру. Тарковский с вдохновением настаивал на этом праве... Помню я и другой разговор после одного из чтений Арсения Александровича... Он был тогда в отчаянии – это была трудная полоса в истории нашей литературы и его почти не печатали. Я ни минуты не сомневался в том, что он будет признан, потому что его поэзия нужна и, стало быть, он отвечает не только за себя, а за нас всех. „Вы доказали это!“ И я процитировал: «Пускай меня простит Винцент Ван Гог за то, что я помочь ему не мог...»

Благодаря огромной переводческой работе Тарковского стало возможным прочесть на русском языке стихи и поэмы многих национальных поэтов. «Шах с бараньей мордой – на троне. Самарканд – на шахской ладони... У подножья – лиса в чалме с тысячью двустий в уме... Розы сахаринной породы, соловьиная пахлава, ах, восточные переводы, как болит от вас голова...» Высокое мастерство Тарковского ни у кого не вызывало сомнений, даже у высших советских чиновников. Когда к семидесятилетнему юбилею Сталина решено было перевести и издать юношеские стихи вождя, выбор переводчика не оказался сложным – конечно, обратились к Тарковскому. Правда, сам Сталин решительно отклонил возможность такого издания.

В 1966 году вышел сборник стихов Тарковского «Земле – земное», за ним – «Вестник» (1969), «Стихотворения» (1974), «Волшебные горы» (1978, Тбилиси), «Зимний день» (1980), «Избранное» (1982), «Стихи разных лет» (1983), «От юности до старости» (1987), «Звезды над Арагацем» (1988, Ереван). Написал Тарковский немного, большинство указанных сборников – избранное. Переводы поэта были удостоены Государственной премии Каракалпакской ССР и Туркменской ССР, а книга оригинальных стихов «От юности до старости» – Государственной премии СССР (посмертно).

Умер 27 мая 1989 года в Москве.

Николай Михайлович Рубцов

Родился 3 января 1936 года в поселке Емецк.

Отец работал в леспромхозе, мать занималась домашним хозяйством. В 1942 году, уже из Вологды, отца забрали на фронт. «Шел первый год войны. Моя мать лежала в больнице. Старшая сестра, поднимаясь задолго до рассвета, целыми днями стояла в очередях за хлебом, а я после бомбежек с

большим увлечением искал во дворе осколки и, если находил, то гордился ими и хвастался. Часто я уходил в безлюдную глубину сада возле нашего дома, где полюбился мне один удивительно красивый алый цветок. Я трогал его, поливал и ухаживал за ним, всячески, как только умел. Об этом моем занятии знал только мой брат, который был на несколько лет старше меня. Однажды он пришел ко мне в сад и сказал: „Пойдем в кино“. – „Какое кино?“ – спросил я. – „Золотой ключик“, – ответил он. – „Пойдем“, – сказал я. Мы посмотрели кино „Золотой ключик“, в котором было так много интересного, и, счастливые, возвращались домой. Возле калитки нашего дома нас остановила соседка и сказала: „А ваша мама умерла“. У нее на глазах показались слезы. Брат мой заплакал тоже и сказал мне, чтобы я шел домой. Я ничего не понял тогда, – что случилось тогда, но сердце мое содрогнулось...»

Сироту взяла к себе соседка, но однажды в доме пропали карточки на хлеб и, обвиненный в краже, мальчишка убежал в лес. Жил там неделю, потом был пойман и отправлен в детдом под Вологду. Из детдома пешком ушел в город к сестре, тогда упорного беглеца отправили в Никольский детдом, расположенный в совсем глубинном Тотемском районе. Генриетта Михайловна Шамахова, первая жена поэта, позже вспоминала: «Родилась здесь, в Николе, окончила семилетку. Работала на почте, на маслозаводе. Когда познакомилась с Рубцовым, заведовала клубом. Пьесы ставили, в хоре пели. Весело жили. Приходил и Николай в кино, в бильярд поиграть. Я знала его давно. По детдому. Матери моей, повару в интернате, подвели порчу пяти тонн картошки, ну ее и посадили на пять лет в тюрьму. А меня определили в детдом, в младшую группу. Рубцов был в старшей. Учился он хорошо. Выступали вместе в самодеятельности, в Тотьму на олимпиаду ездили. Я показывала акробатический номер, а Коля играл на гармошке. Когда окончила семь классов, мы все провожали его в Ригу, в морское училище, но он по каким-то причинам не попал туда, вернулся домой. Учился потом в лесном техникуме в Тотьме... С тех пор мы не виделись одиннадцать лет. Была у нас вечеринка, кого-то в армию провожали. Смотрю, заходит кто-то. Говорят – Рубцов. Мы как бы заново познакомились. Останавливался он в тот раз у старого школьного учителя Ивана Дмитриевича Аносова. Играли вместе в волейбол. Началась дружба. Вскоре я укатила в Ленинград, подружка сманила – работала там почтальоном. Коля приезжал на мой день рождения. Потом опять жили в деревне. В 1963 году тут родилась дочь Лена. Жилось трудно – характер у него был неровный. Да и материально туго было. Печатали мало. Даже в районной газете. „Боятся меня печатать!“ – говорил он. Как-то (я же заведовала клубом) попросила написать сатирические частушки. Наотрез отказался: „Не могу“. Когда играл на гармошке и пел свою песню „Я уеду из этой деревни“, то все, кто слушал – и женщины, и мужчины, – плакали. И он действительно уехал... Осенью 1970 года я была на семинаре в Тотьме. Выхожу из ДК, смотрю Рубцов. Спросила, откуда явился. А он ответил, что пришел узнать, когда мы с Леной к нему

приедем. Жил он в Вологде. „Лена в школу пошла, – отвечаю, – может, весной“. – „А я, может, и не доживу до весны“, – говорит. Ну, ладно. Пошла к его другу, Василию Николаевичу Баранову, он в газете работал. Вечеринка не получилась. Утром на пристани смотрю – снова он, передал гостинец Лене. Сказал: „хочу с тобой поехать“. Спустились в каюту. Он немного выпил, уснул. А я сошла на пристани в Николе. Так мы безмолвно и расстались – то была наша последняя встреча...»

«В горнице моей светло, это от ночной звезды. Матушка возьмет ведро, молча принесет воды... Красные цветы мои в садике завяли все. Лодка на речной мели скоро догнет совсем... Дремлет на стене моей ивы кружевная тень, завтра у меня под ней будет хлопотливый день... Буду поливать цветы, думать о своей судьбе. Буду до ночной звезды лодку мастерить себе...»

В 1965 году вышла первая книга Рубцова – «Лирика», в 1967 году вторая – «Звезда полей». «Два декабрьских дня пишущая вологодская братия гуляла напропалую. Угощал друзей, знакомых и просто ценителей поэзии Николай Михайлович Рубцов, – вспоминал позже журналист В. Федотов. – „Откуда деньги-то, Михалыч?“ – спросил я его при случайной встрече в центре города. Ведь уже тогда получила широкую известность его искренняя „Элегия“: «Стукнул по карману – не звенит. Стукнул по другому – не слышать». – «А влез в долги под гонорар из вашей „Правды“. – „Большой вы поэт, но человек, извините, наивный. Сколько в подборке строк? Я считал: 96. Значит, больше сотни не получите“. – „Не смейся! По рублю за строчку платят даже в областном „Красном Севере“. – „Знаю. Но и „Правда“ такая же бедная, только в союзном масштабе. Весь доход идет Управлению делами ЦК КПССС“. – „Не верю!“ – вмешался в разговор, уже не помню, кто-то из писателей. – Поспорили. Я тут же дал телеграмму в адрес бухгалтерии издательства: „Прошу срочно перечислить гонорар Н. М. Рубцову за стихи „Детство“ и „Шумит Катунь“, напечатанные 8 декабря нынешнего, 1967 года на третьей полосе...“ – Увы, спор я выиграл, не получив, правда, от этого никакого удовлетворения. Удивительно, что и Николай Михайлович не очень огорчился. Эйфория не проходила: ведь напечататься тогда в „Правде“ – значило получить пропуск во многие издания. Да и признание местных властей...“ Видимо, последнее-то и привлекало Рубцова, ведь в Вологде он жил неустроенно, не имел нормального угла. Сохранилось письмо, написанное им В. И. Другову, в то время секретарю по идеологии Вологодского обкома КПСС.

«Обращаюсь к вам в крайнем случае по чрезвычайно важному для меня делу. Я вовсе не склонен к официальному тону своего обращения к вам – поэтому пишу вам обычное (ну, пусть просительное) письмо, а не специальное заявление. Для ясности общей картины расскажу немного, без всякого художества и подробностей о своей жизни. Родился в 1936 году. Родителей лишился рано, поэтому исключительно мало знаю о них. С пяти лет воспитывался в различных детдомах Вологодской области, в частности, в Никольском Тотемского района. Там закончил семь классов. И с тех пор мой,

так сказать, дом всегда находился там, где я учился или работал. А учился я в двух техникумах – в лесотехническом и горном, работал кочегаром тралового флота треста „Севрыба“, слесарем-сборщиком в г. Ленинграде, шихтовщиком на Кировском (бывшем Путиловском) заводе, прошел четыре года военной службы на эскадренном миноносце Северного флота. В 1962 г. сдал экстерном экзамены за десять классов и поступил на заочное отделение Литературного института им. Горького в Москве. В настоящее время – студент-заочник последнего курса этого института. Начиная с того же, 1962 г., я постоянно жил и зарабатывал, как говорится, на хлеб (а также занимался студенческими делами) в Вологде и ее окрестностях. Но постоянного адреса все это время не имел. Снимал „углы“, ночевал у товарищей и знакомых, иногда выезжал в Москву – на период экзаменационных сессий. В общем, был совершенно не устроен. При вашем благожелательном участии (вы, конечно, помните встречу с вами в доме вологодских и других писателей) я получил место в общежитии. Искренне и глубоко благодарен вам, Василий Иванович, за эту помощь, так как с тех пор я живу в более-менее нормальных бытовых условиях. Хочу только сообщить следующее: 1. Нас в комнате проживает трое. 2. Мои товарищи по месту жительства – люди другого дела. 3. В комнате безусловно бывают родственники и гости. Есть еще много такого рода пунктов, вследствие которых я до сего времени не имею нормальных условий для работы. Возраст уже не тот, когда можно бродить по морозным улицам и на ходу слагать поэмы и романы. Вследствие тех же „пунктов“ я живу отдельно от жены, впрочем, не только вследствие этого: она сама не имеет собственного жилья. Среди малознакомых людей я привык называть себя „одиноким“. Главное, не знаю, когда это кончится, Василий Иванович! Вряд ли я ошибусь, если скажу, что жизнь зовет к действию...»

В 1969 году Рубцов окончил Литературный институт, а в 1970 вышел сборник его стихов «Сосен шум». «Быть может, я для вас в гробу мерцаю, но должен заявить в конце концов: я – Николай Михайлович Рубцов, возможность трезвой жизни отрицаю». «Трудно сейчас подсчитать, сколько месяцев Рубцов был профессиональным литератором, – писал корреспондент „Комсомольской правды“ Д. Шеваров. – Он пытался зажечь жизнь писателя, но всякий раз его настигала или нищета или участковый. Он прятался в деревне, но и там его находили и предупреждали, что специально для него берегут некоторые статьи Уголовного кодекса. Он работал слесарем-сборщиком, шихтовщиком, литконсультантом, кочегаром. За публикации своих стихов в районных газетах, а если повезет – в областных, он получал гроши. Не зная, чем подработать в деревне, он собирает для заготконторы то ягоды, то грибы, то вербует на рубку леса, то пишет в „районку“ заметку о сельском фельдшере...» Сам Рубцов в стихотворении «Добрый Филя» писал: «Я запомнил, как диво, тот лесной хуторок, задремавший счастливо меж звериных дорог... Там в избе деревянной, без претензий и льгот, так, без газа, без ванной, добрый Филя

живет... Филя любит скотину, ест любую еду, Филя ходит в долину, Филя дует в дуду... Мир такой справедливый, даже нечего крыть... Филя! Что молчаливый?... А о чем говорить?».

Поэтесса Галина Соболева, хорошо знавшая Рубцова, вспоминала: «О нем тогда (1965) много говорили, на всех этажах общежития (Литературного института) пели песни на его стихи. Их автор казался мне человеком необычайно красивым. Николай Рубцов, которого мы с Соболевым встретили в коридоре общежития, озадачил меня своим несоответствием со своей поэзией. Передо мной стоял невысокого роста и неопределенного возраста человек, плохо одетый и на первый взгляд ничем не примечательный. С Соболевым они дружески обнялись, и, пока разговаривали, Рубцов буравил меня колючим взглядом своих темных глаз, как бы оценивая, что я такое и не испорчу ли жизнь этому красивому человеку, стоящему рядом со мной. Взгляд был недоброжелательным. Узнав его ближе, я поняла о его сложных отношениях с женщинами. Рано лишившись матери, он так и не нашел в своей жизни женщину, которая совместила бы в себе материнскую нежность с его поэтическим понятием о женском предназначении...»

Тогда же Рубцов познакомился с поэтессой Людмилой Дербиной. Кто мог думать, сколь пророческими окажутся ее стихи, обращенные к поэту. «О, как тебя я ненавижу! И так безудержно люблю, что очень скоро (я предвижу!) забавный номер отколю. Когда-нибудь в пылу азарта взовьюсь я ведьмой из трубы и перепутаю все карты твоей блистательной судьбы!» Когда через несколько лет В. Каркавцев, специальный корреспондент «Комсомольской правды», проводившей собственное расследование гибели поэта, спросил Дербеневу: «Почему же вы все-таки оказались рядом? Сами говорите – потухший взгляд, признаки белой горячки, пьяная агрессивность...», она ответила: «Честно говоря, я ведь его и за мужика-то не считала. Я была молодая, статная, копна огненных волос – прохожие постоянно оглядывались. А он... Встретишь в толпе – пройдешь мимо... Но была какая-то могучая внутренняя сила. И ум. Глубокий, пытливый, ироничный. Ни до, ни после я не встречала такого умного собеседника...» – «Постойте, постойте, – возразил Каркавцев, – мне не раз попадалось в воспоминаниях о Рубцове нечто противоположное: что был Рубцов собеседником вялым и косноязычным, что никогда особым умом не блистал». – «А-а-а, и вы тоже, – отмахнулась поэтесса. – Он был особенным человеком, всех этих, что теперь записались к нему в друзья, просто-напросто презирал – за скудоумие и приспособленчество. А уж поддерживать „умную“ беседу ради соблюдения светскости – никогда за ним это не водилось. Настоящий Рубцов открывался редко, только тем, кто был близок ему по мироощущению. У нас оказалось много общего. И трудные деревенские „университеты“, и война – безотцовщина, и незадавшаяся семейная жизнь – у него была маленькая дочка и у меня... А взгляды... Он так истово любил растерзанную Россию, так о ней горевал, что дух захватывало... Мне все это было больно и близко...» –

«У вас в стихах не раз говорилось, будто вы осознавали: связь эта роковая, добром не кончится. «Как мне кричали те грачи, чтоб я рассталась с ним, рассталась!.. Я не послушалась (молчи!) и вот что случилось, вот что случилось...» Правда, что было предчувствие или это такой красивый трагический образ? Уж извините, ради Бога, за нечаянный прокурорский тон». – «Да что там извиняться, столько грязи, столько боли обрушилось тогда – мне ли не знать прокурорского тона. Да, было предчувствие: и он знал, и я, что идем к беде... Но как в воронку тянуло... Мы были сироты друг без друга. Поймите, он слабый, неприспособленный, безбытный. Всегда удивлялся: „Люда, сколько жизни в тебе, сколько энергии!“ А я для него жила, он ведь был мне муж, хоть и не расписались. Быт его совсем не интересовал, купила как-то куртку, замшевую такую, на „молнии“, через месяц спрашиваю – где? Он так спокойно: „А-а, подарил, понравилась тут одному“. – И дальше, отвечая на вопрос спецкора: „О, Господи, это была не одна, а две бессонные ночи подряд, когда в слепом пьяном сумасбродстве он швырял в меня все, что попадется, когда держал меня у стены под двумя ножами... Тупое терпение вдруг сменилось звериной яростью: да я тебя разорву на кусочки!“.

Это случилось ночью 19 января 1971 года.

Людмила Дербина отбыла срок за убийство. Позже она призналась Каркавцеву: «Сказать, когда меня впервые отпустило? Через восемнадцать лет, в 89-м, 3 января, на Колин день рожденья. Три года до этого епитимью исполняла, наказание за грехи. Раньше все это угнетало, очень тяжело было жить. А снял отец Иринарх епитимью – сразу стало легче, что-то я познала такое, такую истину. Мне и Коля приснился, в его день рождения. Хорошо приснился. Будто ведут меня на расстрел – за то, что его погубила. Идем, сбоку ров глубокий, а на той стороне – группа морячков. Один оборачивается, улыбается, я смотрю – Коля. Вдруг он отделился от этой группы и идет ко мне. У меня сердце замерло. А он перепрыгнул ров, подошел, приобнял меня. „Вот видишь, – говорю, – меня из-за тебя расстрелять хотят“. А он в ответ с улыбкой: „Знаю“.

Иосиф Александрович Бродский

Родился 24 мая 1940 года в Ленинграде.

Отец, фотокорреспондент, прошел войну, в 1950 году был демобилизован, мать работала бухгалтером. О том, что толкнуло поэта к стихам, сам рассказал в известных беседах с Соломоном Волковым. «Таких импульсов было, пожалуй, два. Первый, когда мне кто-то показал „Литературную газету“ с напечатанными там стихами Слуцкого. Мне тогда было лет шестнадцать, вероятно. Я в те времена занимался самообразованием, ходил в библиотеки. Нашел там, к примеру, Роберта Бернса в переводах Маршака. Мне все это ужасно нравилось, но сам я ничего не писал и даже не думал об этом. А тут мне показали стихи Слуцкого, которые на меня произвели очень сильное впечатление. А второй импульс, который, собственно, и побудил меня взяться за сочинительство, имел место, я думаю, в 1958 году. В

геологических экспедициях об ту пору подвизался такой поэт – Владимир Британишский, ученик Слуцкого, между прочим. И кто-то мне показал его книжку, которая называлась „Поиски“. Я как сейчас помню обложку. Ну, я подумал, что на эту же самую тему можно и получше написать. Такая амбициозность-неамбициозность. Что-то вроде этого. И я чего-то там начал сочинять сам...»

Школу не закончил. Все свободное время отдавал книгам. Причем часто книгам вовсе не тем, которые можно получить в библиотеке.

«Неофициальная культура, – сказал он позже в одном из своих интервью, – привлекательна хотя бы потому, что антитезис, он всегда более приятен и занятен, и более живое явление, чем тезис, или, по крайней мере, открывает возможности для развития. В ней (в неофициальной культуре) проявилась главная тенденция русской культурной жизни, а именно вот эта самая тоска по мировой культуре, и этой тоски она была порождением...» Та же самая тоска привела Бродского к изучению языков, прежде всего, польского и английского. На жизнь зарабатывал всем, чем придется. Работал кочегаром, лаборантом, в больнице, в морге, фрезеровщиком на заводе «Арсенал», пытался устроиться лесником. В 1958 году написал «Пилигримов», которых запели в разных уголках страны. Тогда же в литературном объединении Технологического института познакомился с Евгением Рейном и с его приятелями – поэтами Анатолием Найманом и Дмитрием Бобышевым; это их Ахматова позже называла «волшебным хором».

«Это было, – вспоминал Бродский о знакомстве с Ахматовой, – если не ошибаюсь, в 1961 году, то есть мне шел тогда двадцать второй год. Евгений Рейн привел меня к ней на дачу. Самое интересное, что начало этих встреч я помню не очень отчетливо. До меня как-то не доходило, с кем я имею дело, тем более, что Ахматова кое-какие из моих стихов похвалила, а меня похвалы не особенно интересовали. Так я побывал у нее на даче раза три-четыре, вместе с Рейном и Найманом. И только в один прекрасный день, возвращаясь от Ахматовой в набитой битком электричке, я вдруг понял – знаете, вдруг как бы спадает завеса – с кем или, вернее, с чем я имею дело. Я вспомнил то ли ее фразу, то ли поворот головы – и вдруг все встало на свои места. С тех пор я не то чтобы зачастил к Ахматовой, но, в общем, виделся с нею довольно регулярно. Я даже снимал дачу в Комарове в одну из зим. Тогда мы с ней виделись буквально каждый день. Дело было вовсе не в литературе, а в чисто человеческой и – смею сказать – обоюдной привязанности. Между прочим, как-то раз произошла замечательная сцена. Мы сидели у нее на веранде, где имели место все разговоры, а также завтраки, ужины и все прочее, как полагается. И Ахматова вдруг говорит: „Вообще, Иосиф, я не понимаю, что происходит; вам же не могут нравиться мои стихи“. Я, конечно, взвился, заверещал, что ровно наоборот. Но до известной степени, задним числом, она была права. То есть в те первые разы, когда я к ней ездил, мне, в общем, было как-то не до ее стихов. Я даже читал-то этого мало. В конце концов я был нормальный молодой советский

человек. „Сероглазый король“ был решительно не для меня, как и „перчатка с левой руки“ – все эти дела не представлялись мне такими уж большими поэтическими достижениями. Я думал так, пока не наткнулся на другие ее стихи, более поздние...»

Свободный образ жизни молодого поэта в те годы не мог не бросаться в глаза. 29 ноября 1963 года в «Вечернем Ленинграде» появился фельетон некоего Лернера, руководителя так называемой народной дружины – «Окололитературный трутень». «Главным объектом внимания этой дружины, – рассказывал Бродский Волкову, – была гостиница „Европейская“, где останавливалось много иностранцев. Как вы знаете, она расположена на улице Исаака Бродского, так что, может быть, этот господин стал проявлять ко мне интерес именно из этих соображений? Охотились они главным образом за фарцами. И между прочим, когда эти дружинники фарцовщиков шмонали, многое у них прилипало к рукам – и деньги, и иконы. Что касается Лернера, то он вообще был никто. Такой отставной энтузиаст со слезящимися глазами...» Тем не менее, газетный фельетон подействовал, ибо тунеядцы тогда преследовались законом, – а разве поэт, человек, формально не работающий, не подходил идеально под такое понятие? Опасаясь нехороших последствий, Бродский почти всю зиму провел на дачах у знакомых, иногда уезжал в Москву, даже пытался устроиться на работу, но 13 февраля 1964 года, при возвращении из Тарусы в Ленинград, был все же арестован. 18 февраля состоялся скорый суд, отправивший Бродского на психиатрическую экспертизу, где он был признан вменяемым. А 13 марта второй суд приговорил Бродского к пяти годам принудительных работ на Севере. Этапом поэт был отправлен в деревню Норенская Коношского района Архангельской области. «Какую биографию творят нашему рыжему! Как будто он кого-то нарочно нанял!» – воскликнула, узнав об этом, Ахматова.

«Раз в месяц, – рассказывал Бродский Волкову, – приезжали ко мне устраивать обыск из местного отделения. Два человека приезжали на мотоцикле, входили ко мне в избу. Замечательная у меня была изба, между прочим. Отношения – самые патриархальные. Я понимал, зачем они приехали. Они: „Вот, Иосиф Александрович, в гости приехали“. Я: „Да, очень рад вас видеть“. Они: „Ну, как гостей надо приветствовать?“ Ну, я понимаю, что надо идти за бутылкой. Возвращался я с бутылкой минут через сорок-пятьдесят, когда дело было уже сделано. Они уже сидели всем довольные, поджидали меня. Да и что они могли понять во всех этих книжках, которые там валялись? Тут мы сели и распивали эту бутылку, после чего они уезжали...»

В сентябре 1965 года благодаря вмешательству видных деятелей европейской культуры и таких подвижников, как Фрида Абрамовна Вигдорова, опубликовавшая на западе записи судебного процесса, Бродский был досрочно освобожден. «Вчера утром вдруг – Иосиф, – записала в дневнике 1 декабря 1965 года Л. К. Чуковская. – Был у Гитовича, который

отбирает с ним его стихи для книги. Чудеса!.. На днях он с успехом выступал в Союзе на семинаре молодых, все хвалили. Кетлинская („она всегда на два шага впереди прогресса“, – говорит о ней Дар) в восторге и обещает напечатать его стихи. Ездил он в Москву, видел трижды в больнице АА (Ахматову) и получил множество переводов – в „Прогрессе“ и в Гослите. Все, казалось бы, хорошо. Но он грустен, темен, тяжел, невнятен. Два раза его слова полоснули меня по сердцу. Я позвала его обедать. Мы вообще-то всегда в складчину кормим всех гостей – жен Gladkova и Lяlenkova, Наташу Долинину и пр. А тут был обед уехавшего Дара. Так что я звала Иосифа уверенно. Он пошел – по двору шел очень лихо, руки в брюки, свистал. И вдруг на крыльце: „А меня там никто не унизит?“ За столом быстро познакомился с Gladkovым, поговорил с ним о Цветаевой. Вернулся в комнату, сел. И вдруг: „Если бы меня хоть через день кормили таким обедом, я бы перевел все на свете...“

В эти же годы вышла в Нью-Йорке книга Бродского «Стихотворения и поэмы», затем появились издания в Голландии, в Германии, во Франции. Скандальный оттенок нарастающей известности, несомненно, мучил самого Бродского, но привлекал к нему людей. «Когда я только освободился, – рассказывал поэт, – интеллигентные люди всячески меня, что называется, на щите носили. И Евтушенко выразил готовность поспособствовать моей публикации в „Юности“, что в тот момент давало поэту как бы „зеленую улицу“. Евтушенко попросил, чтобы я принес ему стихи. И я принес стихотворений пятнадцать-двадцать, из которых он в итоге выбрал, по моему, шесть или семь. Но поскольку я находился в это время в Ленинграде, то не знал какие. Вдруг звонит мне из Москвы заведующий отделом поэзии „Юности“. Ну, вот звонит он и говорит, что, дескать, Женя Евтушенко выбрал для них шесть стихотворений. И перечисляет их. А я ему в ответ говорю: „Вы знаете, все это мило, но меня эта подборка не устраивает, потому что уж больно „овца“ получается“. И попросил вставить его хотя бы еще одно стихотворение – как сейчас помню, это было „Пророчество“. Он чего-то там заверещал – дескать, мы не можем, это выбор Евгения Александровича. Я говорю: „Ну это же мои стихи, а не Евгения Александровича!“ Но он уперся. Тогда я говорю: „А идите вы с Евгением Александровичем... по такому-то адресу“. Тем дело и кончилось...»

Повинуясь указанию свыше (а наверху были очень заинтересованы в том, чтобы дело опального поэта поскорее забылось), в 1966 году в издательстве «Советский писатель» начали готовить к изданию книгу стихов Бродского, но она, конечно, не вышла. Даже переводы, сделанные им по заказу разных издательств, не всегда находили место. Умерла А. А. Ахматова, растаяли последние признаки «оттепели». Менялся и сам поэт. «Бродский был стариком уже в шестидесятые, – написал о нем Э. Лимонов, не умеющий щадить друзей. – Уже тогда был лыс, уклончив и умел себя поставить. Создать ощущение недоступности. Как-то мы ждали его в Москве на день рождения к поэту и ученому Славе Льну на Болотниковскую улицу. Он

приехал только тогда, когда мы уже перестали его ждать. Драматически вовремя, когда мы израсходовали уже все душевные силы, из темноты, из-за двери в квартиру появился он – в кепке, боком как-то – обыкновенный гений, в сопровождении компаньона, случайной личности. Кажется это был 68-й год. Прикрывшись насмешливостью (на самом деле, по-моему, он нас боялся, пьяных, московских), он поспешно с нами поздоровался, чего-то выпил, чего-то съел, съязвил по какому-то поводу, успел надерзить нескольким красавицам и удалился в „его комнату“: оказывается, он собирался тут переночевать. Мы поворчали, перешли на кухню, кто-то было предложил разбудить его, но все утихло само собой, ибо гений пришел и лег спать. Ворча, мы разбрелись тогда по Москве... Позднее, уже в Америке, я заметил, что Иосиф уходит с тусовок очень рано, всегда – как будто поставил себе за правило уходить. Я уверен, что ему не хотелось покидать людей, но он насиловал себя. Небольшой, тщательно продуманный набор привычек создал ему пьедестал, сделал его живым памятником. Он, может быть, в ссылке продумал себя и уже до тридцати решил стать противным, желчным старикашкой, мятым, всклокоченным и шизоидным, как Эйнштейн, демонстративно одиноким. И стал. Я убежден, что ему хотелось поговорить, остаться, ввязаться в пьяный спор, дышать жарким потом пьяненьких юных поэтов, дерьмовыми сигаретами, но он уходил: положение обязывало. А может, он всю жизнь боялся людей, потому и общался только с проверенными...»

«Посылаю тебе, Постум, эти книги. Что в столице? Мягко стелют? Спать не жестко? Как там Цезарь? Чем он занят? Все интриги? Все интриги, вероятно, да обжорство... Пусть и вправду, Постум, курица не птица, но с куриными мозгами хватит горя. Если выпало в Империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря...»

Жизнь даже в глухой провинции Бродскому уже не светила: 4 июня 1972 года его выслали из СССР. Некоторое время поэт жил в Лондоне, затем по приглашению издателя Карла Проффера переехал в Америку. С этой поры и до конца жизни он занимался преподаванием – в Мичиганском, в Колумбийском, в Нью-йоркском университетах, в Квинс-колледже, а с 1980 года – в «Пяти колледжах» Массачусетса.

В 1977 году вышли сразу два сборника стихов Бродского – «Конец прекрасной эпохи» и «Часть речи». «И при слове „грядущее“ из русского языка выбегают мыши и всей оравой отгрызают от лакомого куска памяти, что твой сыр дырявый... После стольких зим уже безразлично, что или кто стоит в углу у окна за шторой, и в мозгу раздается не неземное „до“, но ее шуршание. Жизнь, которой... как дареной вещи, не смотрят в пасть, обнажает зубы при каждой встрече. От всего человека вам остается часть речи. Часть вообще. Часть речи...»

На вопрос, делит ли он свою жизнь на жизнь в России и на жизнь после России, Бродский отвечал: «Думаю, что нет. Когда я уехал, то есть оказался в Соединенных Штатах в достаточной степени внезапно, я сказал себе:

„Жозеф, веди себя так, как будто ничего не произошло“. Потому что был бы ну чистый моветон как-то реагировать на эту, объективно говоря, драматическую ситуацию – примерно то, чего от меня ожидали. И некоторая извращенность натуры подсказала мне тот тип поведения, о котором я вам только что сказал. А кроме того, для этого не требовалось такого уж большого напряжения. В конечном счете каждая страна всего лишь продолжение пространства. Как каждый час и год – продолжение времени...»

В 1980 году Бродский получил гражданство США.

В 1987 году он стал Нобелевским лауреатом по литературе.

«Человек, – сказал поэт в Нобелевской премии, – принимается за сочинение стихотворения по разным соображениям: чтоб завоевать сердце возлюбленной, чтоб выразить свое отношение к окружающей его реальности, будь то пейзаж или государство, чтоб запечатлеть душевное состояние, в котором он в данный момент находится, чтоб оставить – как он думает в эту минуту – след на земле. Он прибегает к этой форме – к стихотворению – по соображениям, скорей всего, бессознательно-миметическим: черный вертикальный сгусток слов посреди белого листа бумаги, видимо, напоминает человеку о его собственном положении в мире, о пропорции пространства к его телу. Но независимо от соображений, по которым он берется за перо, и независимо от эффекта, производимого тем, что выходит из-под его пера, на его аудиторию, сколь бы велика или мала она ни была, – немедленное последствие этого предприятия – ощущение вступления в прямой контакт с языком, точнее – ощущение немедленного впадения в зависимость от оно́го, от всего, что на нем уже высказано, написано, осуществлено...»

В мае 1991 года Бродский занял пост поэта-лауреата США, а в июне того же года – получил мантию почетного доктора Оксфордского университета.

«Я входил вместо дикого зверя в клетку, выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке, жил у моря, играл в рулетку, обедал черт знает с кем во фраке... С высоты ледника я озираю полмира, трижды тонул, дважды бывал распорот. Бросил страну, что меня вскормила. Из забывших меня можно составить город... Я слонялся в степях, помнящих вопли гунна, надевал на себя, что сызнава входит в моду, сеял рожь, покрывал черной телью гумна, и не пил только сухую воду... Я впустил в свои сны вороненый зрачок конвоя, жрал хлеб изгнанья, не оставляя корок, позволял своим связкам все звуки, помимо воя; перешел на шепот. Теперь мне сорок... Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной... Только с горем я чувствую солидарность... Но пока мне рот не забили глиной, из него раздаваться будет лишь благодарность...»

В январе 1994 года на вопрос журналистки Е. Якович: «Вы ощущаете сегодня Россию уставшей или, наоборот, страной пробудившейся, способной на некоторый прорыв в будущее?» – Бродский ответил: «Нет, это страна, которая в будущее не ориентирована. Все, что будет происходить,

произойдет, как бы сказать, невольно и в сильной степени противу желания людей, будет продиктовано не столько видением, концепцией, не говоря уж о диалоге с миром, сколько необходимостью, повседневной жизнью. У России была возможность стать чем-то иным в этом столетии... Была возможность... если бы революция 17-го произошла на тридцать лет позже, если бы индустриализация, начавшаяся на рубеже веков, получила развитие и некая широкая промышленная база с коммуникациями и всеми прочими делами была бы унаследована новой политической системой... Но этого не произошло... Дело в том, что видение общества, жертвами которого оказались жители Европы и России в особенности, – основание этого видения. Этой концепции социалистической положили люди типа Гегеля, типа Маркса, и это были городские умы, городские мальчишки. И когда они говорили об обществе, они видели не все общество, они видели город. Когда они говорили о прогрессивных силах в обществе, они имели в виду пролетариат, о консервативных – деревню. Но делить общество на прогрессивные и консервативные силы для социального реформатора, для социального мыслителя просто преступно. Нельзя устанавливать иерархию между людьми. В результате возникла довольно диковинная ситуация – не только в России, уверяю вас, – возникла совершенно замечательная пирамида общества, на основании которой никто не обращал внимания. И кончилось тем, чем это кончилось, – в России прежде всего пирамида осела...»

«В Ленинграде мы принадлежали к разным литературным кругам, – рассказывал автору этой книги русский поэт и прозаик Евгений Любин, давно уже живущий в Америке. – Но были у нас общие знакомые, Эткинды – литературовед Ефим Григорьевич и его дочь Маша. Этого оказалось достаточно, чтобы в Нью-Йорке Иосиф встретил меня по-дружески. В полуподвальной квартире на Мортон-стрит, где он поселился, был невероятный беспорядок, что несколько примирило меня с собственной неорганизованностью. Мы поговорили о писательских перспективах в Штатах, и он с гордостью показал только что вышедшие в издательстве „Ардис“ книги: „Часть речи“ и „Конец прекрасной эпохи“, которые тут же мне подарил. Потом он повел меня в какое-то кафе, где мы долго сидели и говорили. Он рассказал мне о дружбе с издателем Штраусом, и с иронией признался, что он, пожалуй, первый русский литератор, вошедший в американский истеблишмент. Мне похвастаться было нечем: ни одной изданной книги, если не считать литературных записей. Но захватил я с собой „Русский триптих“ и отдал Иосифу рукопись, впрочем, не надеясь, что он ее прочтет...»

Плохо ли, хорошо ли это, но каждый человек, как мне кажется, проносит по жизни некие святые вещи (принципы, понятия), которые определяют его суть и дают цельность его творчеству, его философии. Для меня в эти понятия, среди других (например, милосердия, верности) входит и страна, где я родился, где провел большую часть жизни и все, что с этим связано. Но вот, я

открыл сборник Иосифа и прочел: «Се вид отечества, гравюра. На лежанке Солдат и Дура. Старуха чешет мертвый бок. Се вид отечества, лубок. Собака лает, ветер носит, Борис у Глеба в морду просит. Кружатся пары на балу. В прихожей куча на полу...» Стихи сильные, но оттого и страшные. Я, примерно в то же время (уже в эмиграции), писал совсем с другим чувством: «Да, я люблю мою Россию, со всем ее добром и злом, ее неистребимой синью, ее угасшим божеством...» Вот эта разница в отношении к России, к ее прошлому, к ее культуре и определила наши отношения... Время от времени я спрашивал Иосифа, использует ли он русский язык лишь как орудие труда, или признает влияние на него отечественной литературы и культуры. Он отмахивался, улыбаясь краями губ, и ничего не говорил. Он, вообще, всегда был не прост и во многое вкладывал скрытый смысл. Но на публике и в интервью он сдержанно признавал русское влияние...»

В Америку Бродский прилетел уже больным. «Был инфаркт, – объяснял он Волкову, – после чего я два года кое-как мыкался. Состояние несколько не улучшалось, а даже ухудшалось. Я, правда, тоже хорош – курил и так далее. И тогда врачи решили меня разрезать, поскольку они сделали всякие там анализы и убедились, что из четырех артерий, три – „но пасаран“, да? Совершенно забиты. И они решили приделать артерии в обход, в объезд. Вскрыли меня, как автомобиль. Все откачали – кровь, жидкость. В общем, операция была довольно-таки массивная. И, значит, они вставили три объездных, запасных пути, развязки, если угодно. Но впоследствии выяснилось, что из трех путей только два действуют как следует, а третий – смотрит в лес. И операцию эту пришлось повторить. И от этого всего жизнь временами чрезвычайно неуютна, а временами все нормально, как будто ничего и не происходит. А когда болит, тогда, действительно, страшно. Чрезвычайно неприятно. И сделать ты ничего не можешь. И не то, чтобы это был действительно страх... Потому что ко всему этому привыкаешь, в конце концов, и возникает такое ощущение, что когда ты прибудешь туда, то там будет написано – «Коля и Маша были здесь». То есть ощущение, что ты там уже был, все это видел и знаешь... Но тем не менее болезнь эта несколько обескураживает. Выводит просто из строя...»

«Он здесь бывал: еще не в галифе – в пальто из драпа; сдержанный, сутулый. Арестом завсегдадаев кафе покончив позже с мировой культурой, он этим как бы отомстил (не им, но Времени) за бедность, униженья, за скверный кофе, скуку и сраженья в двадцать одно, проигранные им...»

«Ну если уж мы заговорили о том, что под конец века все на культурной сцене как бы расставляется по своим местам, то я вот что скажу: никто не должен волноваться по этому поводу, – говорил Волкову Бродский. – Потому что на свои места ставит само время – независимо от наличия железного занавеса или же его отсутствия. Существует закон сохранения энергии: энергия, выданная в мир, не пропадает бесследно при любой политической или культурной изоляции. И если в этой энергии вдобавок есть еще и какое-то определенное качество, то тогда волноваться уж совершенно незачем.

Поэтому зря поэты предаются вельшмецеру по поводу того, что их не печатают или не признают. Им надо волноваться только по поводу качества того, что они делают. Потому что при наличии качества все рано или поздно станет на свои места. Особенно теперь, когда благодаря популяционному взрыву людям нечем заняться и многие из них идут в критики или литературоведы. Так что вниманием никто не будет обойден, с этим все будет в порядке. Неизвестных гениев – нет. Это просто такая мифология, доставшаяся нам в наследство от XIX века – мифология довольно-таки неубедительная. В будущем все сестры получат по серьгам...»

В сентябре 1990 года Бродский женился – на итальянке Марии Содзани. В июне 1993 года у них родилась дочь. Казалось, все плохое осталось далеко позади, но время от времени прошлое продолжало напоминать о себе хамскими, а то и угрожающими письмами из России. На слова Волкова: «Теперь я, пожалуй, понимаю, почему вы до сих пор не съездили в Россию, в частности, в родной город», – Бродский ответил: «Ну мы ведь знаем, что дважды в ту же самую реку вступить невозможно, даже если эта река – Нева. Более того, на тот же асфальт невозможно вступить дважды, поскольку он меняется после каждой новой волны траффика. А если говорить серьезно, современная Россия – это уже другая страна, абсолютно другой мир. И оказаться там туристом – ну это уже полностью себя свести с ума. Ведь как правило куда-нибудь едешь из-за некоей внутренней или, скорее, внешней необходимости. Ни той, ни другой я, говоря откровенно, в связи с Россией не ощущаю. Потому что на самом деле – не едешь куда-то, а уезжаешь от чего-то. По крайней мере со мной все время так и происходит. Для меня жизнь – это постоянное удаление „от“. И в этой ситуации лучше свое прошлое более или менее хранить в памяти, а лицом к лицу с ним стараться не сталкиваться...» – «Вы действительно совсем не ощущаете своей российскости?», – спросила поэта журналистка Якович. Бродский ответил: «Мне вчера Рейн говорит: „Ты совершенно перестал быть русским поэтом. Ты занимаешься мировыми, европейскими проблемами“, ну что-то в этом роде. За вопросом, который вы задаете, стоит неверная посылка. Я, может быть, самый русский, если хотите. Русский человек – это то, чем он может быть, или то, что его может интересовать. Вот чем определяется человек, а не тем, откуда он». – «Просто сложился миф, что вы оторвались от России». – «Ну, миф – это не мое дело. Знаете, тут есть одна довольно интересная вещь. Есть колоссальное достоинство и мудрость в том, чтобы сидеть на одном месте и смотреть на мир, и тогда в тебе все отражается, как в капле воды. Но я не думаю, что это плодотворно. Что ты выигрываешь в этом случае, так это душевный, если хотите, духовный комфорт. Человек ведь на самом деле изрядный буржуа и, по существу, стремится к комфорту. А самый главный комфорт – это комфорт убеждения и нравственной позиции. Куда, на мой взгляд, интереснее, но и опаснее дискомфорт, когда тебе никто и ничто не помогает, когда тебе не на что опереться, и если все же вообразить, что ты дерево, то поддерживают тебя не корни, но вершина, которую треплет

изрядно. Говорят, дискомфорт губителен, но я воспитался на том, что читал. И мне так повезло, совпало так, что читал я Марину Ивановну и одновременно Шестова. А Шестов ужасно любил цитировать Тертуллиана: „Верую, ибо это абсурдно“. И вот когда вы дочитываетесь до такого... Блажен, кто верует, тепло ему на свете. Но блаженнее, кто верует, когда ему холодно на этой земле... Мир, который начинается не в центре, а мир, начинающийся с окраин, потому что окраины – это не конец мира, но начало его. Мне кажется, эта схема ближе нашему поколению...» – «Но вы уехали, когда вам было 33. А у тех, кому сейчас 33, есть возможность съездить и вернуться. Вот разница между поколениями». – «Перед вами совершенно замечательный мир. Главное, по-моему, не совершить одной ошибки – не поддаваться идеям изолирующим. То есть когда говорят: Россия, Родина, то-се, пятое-десятое, мы специфическая душа... Господь Бог души не распределяет согласно географическому принципу: вот это будет чешская, это будет бразильская, а вот эта – русская. Существуют некоторые интегрирующие вещи в человечестве, их надо искать, а не в сторону глядеть». – «И что получится?» – «Одна простая вещь. На самом деле русская культура, по существу, всего лишь часть мировой христианской культуры. Один из ее приходов. И единственное, что может получиться, это то, что уже начиналось в начале века, когда русские становились частью Европы, взять этих самых Дягилевых и Стравинских... Кто был Стравинский – американец или русский? Впрочем, это не так уж и важно. Но вот то, что ему дала Россия, через эти фильтры, через горнило пропущенное, и делает Стравинского, делает эту музыку... Можно Кандинского объяснить немцем... Но абсолютно неважно, кем себя считают, важно, что ты делаешь. И Россия важна постольку, поскольку сформировывает тебя как личность, как она твой глаз немножко выворачивает или расширяет или к какой дистанции она тебя приучает...»

Умер от сердечного приступа в ночь на 28 января 1996 года.

«За две недели до смерти (а я с ним разговаривал за два часа до его кончины), – вспоминал друг поэта Илья Кутик, – он купил себе место на кладбище. Смерти он боялся жутко, не хотел быть ни зарытым, ни сожженным, его устроило бы, если бы он оказался куда-нибудь вмурованным. Так оно поначалу и получилось. Он купил место в маленькой часовенке на ужасном нью-йоркском кладбище, находящемся на границе с плохим Бродвеем. Это была его воля. После этого он оставил подробное завещание по русским и американским делам, составил список людей, которым были отправлены письма. В них Бродский просил получателя дать подписку в том, что, по-моему, до 2020 года он не будет рассказывать о Бродском как о человеке, не будет обсуждать его частную жизнь, – о Бродском поэте можно говорить сколько угодно. В России об этом факте почти никому не известно, поэтому многие из получивших то письмо и не держат данного слова...»

А потом было перезахоронение в Венеции. Это вообще гоголевская история, о которой в России тоже мало кто знает. Бродский не был ни

иудеем, ни христианином, по той причине, что человеку, считал он, может быть, воздастся за деяния его. Но в конце концов ни к какой конфессии он так и не примкнул, хотя его вдова Мария хоронила его по католическому обряду. У Бродского было два определения себя: русский поэт и американский эссеист. И все.

Итак о перезахоронении. Мистика началась уже в самолете: гроб в полете открылся. Надо сказать, что американские гробы закрываются на шурупы и болты, они не открываются даже от перепадов высоты и давления. В Венеции стали грузить гроб на катафалк, он переломился пополам. Бродского пришлось переключать в другой гроб. Напомню, это было год спустя после смерти. Дальше на гондолах его доставили на Остров Мертвых. Первоначальный план предполагал его погребение на русской половине кладбища между могилами Стравинского и Дягилева. Оказалось, это невозможно, поскольку необходимо разрешение Русской Православной Церкви в Венеции, а она его не дает, потому что Бродский не был православным. Гроб стоит, люди стоят, ждут. Начались метания, часа два шли переговоры. В результате принимается решение похоронить его на евангелистской стороне кладбища. Там нет свободных мест, в то время как на русской – никаких проблем. Тем не менее место нашли – в ногах у Эзры Паунда. (Замечу, что Паунда как человека и антисемита Бродский не выносил, как поэта очень ценил. Все же не лучшее место для упокоения Бродского.) Начали копать – прут черепа да кости, хоронить невозможно. В конце концов бедного Иосифа Александровича в новом гробу отнесли к стене, за которой воют электропилы и прочая техника, положив ему бутылку его любимого виски и пачку любимых сигарет, захоронили практически на поверхности, едва присыпав землей. Потом в головах поставили крест. Ну что ж, думаю, он вынесет и крест.

И еще одно обстоятельство, о котором писали только в Италии. Президент России Ельцин отправил на похороны Бродского шесть кубометров желтых роз. Михаил Барышников с компанией перенес все эти розы на могилу Эзры Паунда. Ни одного цветка от российской власти на могиле Бродского не было, что, собственно, отвечает его воле».